

СТАНИСЛАВ

ЛЕМ



S T A N I S Ł A W

L E M

DZIEŁA ZEBRANE

С Т А Н И С Л А В

Л Е М

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ



НАСМОРК *роман*
АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА
МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА
ПРОВОКАЦИЯ *эссе*

МОСКВА «ТЕКСТ» 1995

84.4П
Л44

Издание подготовлено совместно
с литературно-издательской студией «РИФ»

Художник Владимир Галиев

Ответственный редактор Александр Мирер

Л 4703010100-041 подл.
95

ISBN 5-87106-063-3
© С.Лем, 1971, 1973, 1974, 1976, 1980
© «Текст», 1995

НАСМОРК

роман



Н Е А П О Л Ь — Р И М

Мне казалось, что этот последний день никогда не кончится. Не из чувства страха; я не боялся. Да и чего бояться? Я был один в разноязыкой толпе. Никто не обращал на меня внимания. Опекуны не показывались на глаза; в сущности, я даже не знал их в лицо. Я не верил, что, ложась в постель в пижаме Адамса, бреясь его бритвой и прогуливаясь его маршрутами вдоль залива, навлеку на себя проклятие, и все же чувствовал облегчение от того, что завтра сброшу чужую личину. В дороге тоже нечего опасаться засады. Ведь на автостраде ни один волос не упал с его головы. А единственную ночь в Риме мне предстояло провести под усиленной опекой. Я говорил себе, что это — всего лишь желание поскорее свернуть операцию, которая не дала результата. Я говорил себе немало других разумных вещей, но все равно то и дело выбивался из расписания.

После купания надо было вернуться в «Везувий» ровно в три, но уже в двадцать минут третьего я оказался поблизости от гостиницы, словно что-то гнало меня туда. В номере со мной ничего не могло случиться, и я принялся бродить по улице. Эту улицу я уже знал наизусть. На углу — парикмахерская, дальше — табачная лавка, бюро путешествий, за которым, в бреши между домами, помещалась гостиничная автостоянка. Дальше, за гостиницей, — лавка галантерейщика, у которого Адамс починил оторванную ручку чемодана, и небольшой кинотеатр, где безостановочно крутили

фильмы. Я едва не сунулся сюда в первый же вечер, приняв розовые шары на рекламе за планеты. Только перед кассой понял, что ошибся: это была гигантская задница. Сейчас, в недвижимом зное, я дошел до угла, где стояла тележка с жареным миндалем, и повернул назад. Досыта налюбовавшись трубками на витрине, я вошел в табачную лавку и купил пачку «Куул», хотя обычно не курю ментоловые. Перекрывающая уличный шум, из громкоговорителей кинотеатра долетали хрипение и стоны, как с бойни. Продавец миндаля повез тележку под козырек над подъездом гостиницы, в тень. Может, когда-то «Везувий» и был роскошным отелем, но сейчас все вокруг свидетельствовало о безусловном упадке.

Холл был почти пуст. В лифте всяло прохладой, но в номере стояла духота. Я обвел комнату испытующим взглядом. Укладывать чемоданы в такую жару — значит, обливаться потом, и тогда датчики не будут держаться. Я перебрался со всеми вещами в ванную — в этой старой гостинице она была величиной с комнату. В ванной тоже оказалось душно, но здесь был мраморный пол. Приняв душ в ванне, покоящейся на львиных лапах, и нарочно не вытершись досуха, босой, чтобы было не так жарко, я принялся укладывать вещи. В саквояже нашарил увесистый сверток. Револьвер. Я совершенно забыл о нем. Охотнее всего я швырнул бы его под ванну. Переложил револьвер на дно большого чемодана, под рубашки, старательно вытер грудь и стал перед зеркалом прицеплять датчики. Когда-то в этих местах у меня на теле были отметины, но они уже исчезли. Подушечками пальцев я нащупал ложбинку между ребрами, сюда — над сердцем — первый электрод. Второй, в ямке возле ключицы, не хотел держаться. Я снова вытерся и аккуратно прижал пластырь с обеих сторон, чтобы датчик прилегал плотнее. У меня не было навыка — раньше не приходилось этого делать самому. Сорочка, брюки, подтяжки. Я стал носить подтяжки с тех пор, как вернулся на Землю. Для удобства. Чтобы то и дело не хвататься за штаны, опасаясь, что они свалются. На орбите одежда ничего не весит, и после возвращения возникает этот «брючный рефлекс».

Готово. Весь план я держал в голове. Три четверти часа на то, чтобы пообедать, оплатить счет и взять ключи от машины, еще полчаса, чтобы доехать до автострады; учитывая час пик, десять минут иметь в запасе. Я заглянул во все шкафы, поставил чемоданы у двери, ополоснул лицо холодной водой, проверил перед зеркалом, не выпирают ли датчики, и спустился на лифте. В ресторане была толчея. Обливающийся потом официант поставил передо мной кьянти,

я заказал макароны с базиликовым соусом и кофе в термос. Я уже заканчивал обед, то и дело поглядывая на часы, когда из рупора над входом послышалось: «Мистера Адамса просят к телефону!» Волоски на руках у меня встали дыбом. Идти или не идти? Из-за столика у окна поднялся толстяк в рубашке павлиньей расцветки и направился к кабине. Какой-то Адамс. Мало ли на свете Адамсов? Стало ясно, что ничего не начинается, но я разозлился на себя. Не таким уж надежным оказалось мое спокойствие. Я вытер жирные от оливкового масла губы, принял горькую зеленую таблетку плимазина, запил ее остатками вина и пошел к стойке портье. Гостиница еще кичилась своей лепниной, плюшем и бархатом, но все пропиталось кухонным смрадом. Словно аристократ рыгнул капустой.

Вот и все прощание. Я вышел в густой зной след за портье, который вывез на тележке мои чемоданы. Автомобиль, взятый напрокат в фирме Херца, стоял двумя колесами на тротуаре. «Хорнет» — черный, как катафалк. Укладывать чемоданы в багажник я портье не позволил — там мог находиться передатчик, — отделался от него ассигнацией, положил вещи сам и сел в машину, будто в печку. Руки вспотели, я стал искать в карманах перчатки. Хотя к чему, руль обтянут кожей. В багажнике передатчика не было — где же он? На полу, перед свободным сиденьем, под журналом, с обложки которого холодно глядела на меня голая блондинка, высунувшая блестящий от слюны язык. Я не издал ни звука, но внутри у меня что-то тихонько ёкнуло.

Машины стояли плотными колоннами от светофора до светофора. Хоть я и отдохнул, но чувствовал какую-то вялость, может, оттого, что умял целую тарелку макарон, которые ненавижу. Пока весь ужас моего положения заключался в том, что я начал толстеть, — так по-дурацки я подтрунивал над собой. За следующим перекрестком включил вентилятор. Жарко обдало выхлопными газами. Пришлось выключить. Машины на итальянский манер налезали друг на друга. Объезд. В зеркальцах — капоты и крыши. *La potente benzina italiana** угарно вонял. Я тащился за автобусом в смрадном облаке выхлопных газов. Через заднее стекло автобуса на меня глазели дети, в одинаковых зеленых шапочках. В желудке у меня были макароны, в голове — жар, на сердце — датчик, который цеплялся через рубашку за подтяжки при каждом повороте руля.

* Могучий итальянский бензин (ит.)

Я разорвал пакет бумажных носовых платков и разложил их около рычага передач, потому что в носу защекотало, как перед грозой. Чихнул раз, другой и так увлекся этим занятием, что даже не заметил, когда именно, канув в приморскую голубизну, остался позади Неаполь. Теперь я уже катил по del Sole*. Для часа пик почти просторно. От таблетки плимазина никакого толку. Саднило в глазах, из носа текло. А во рту было сухо. Пригодился бы кофе, но теперь я мог его выпить только около Маддалены. «Интернэшнл геральд трибюн» в киоске снова не оказалось из-за какой-то забастовки. Я включил радио. Последние известия. Понимал с пятого на десятое. Демонстранты подожгли... Представитель частной полиции заявил... Феминистское подполье грозит новыми актами насилия... Дикторша глубоким альтом читала декларацию террористок, потом осуждающее заявление папы римского и комментарии газет. Женское подпольное движение. Никто ничему уже не удивляется. У нас отняли способность удивляться. Что же их, в сущности, тревожит — тиранья мужчин? Я не чувствовал себя тираном. Никто себя им не чувствовал. Горе плейбоям. Что террористки с ними сделают? А священников они тоже будут похищать? Я выключил радио, будто захлопнул мусоропровод.

Быть в Неаполе и не видеть Везувия! А я не видел. К вулканам я всегда относился благожелательно. Отец рассказывал мне о них перед сном едва ли не полвека назад. Скоро стану стариком, подумал я и так удивился, словно сказал себе, что скоро стану коровой. Вулканы — это нечто солидное, вызывающее чувство доверия. Земля раскалывается, течет лава, рушатся дома. Все ясно и чудесно, когда тебе пять лет. Я полагал, что через кратер можно спуститься к центру Земли. Отец возражал. Жаль, что он не дожил, — порадовался бы за меня.

Когда слышишь роскошное ляганье зацепов, стыкующих ракету с орбитальным модулем, не думаешь об ужасающей тишине бесконечных пространств. Правда, моя карьера была недолгой. Я оказался недостойным Марса. Отец переживал это, пожалуй, тяжелее меня. Что ж, лучше было бы, если б он умер после моего первого полета? Хотеть, чтобы он закрыл глаза с верой в меня, — это цинично или просто глупо?

А не угодно ли вам следить за движением?.. Втискиваясь в брешь за «ланчией», размалеванной в психоделические

* Солнечное шоссе (ит.)

цвета, я бросил взгляд в зеркальце. «Крайслер» фирмы Херца пропал бесследно. Около Марьянелли блеснуло далеко позади что-то похожее, но я не был уверен, что это они; к тому же та машина сразу скрылась. Заурядная короткая трасса, по которой катило столько людей, одного меня приобщала к тайне, чей зловещий смысл не удалось разгадать всем полициям мира, вместе взятым. Однако я положил в машину надувной матрац, ласты и ракетку вовсе не потому, что собрался отдыхать, а с целью навлечь на себя неведомый удар.

Вот так я пытался подзадорить себя, но тщетно — это рискованное предприятие уже давно потеряло для меня свою привлекательность, я не ломал голову над загадкой смертоносного заговора. Сейчас я думал лишь о том, не принять ли вторую таблетку плимазина, поскольку из носа все еще текло. Не все ли равно, где этот «крайслер». Радиус действия пердатчика — сто миль. А у моей бабушки на чердаке сушились штанишки цвета этой вот «ланчии».

В шесть двадцать я нажал на газ. Какое-то время мчался за «фольксвагеном», у которого сзади были нарисованы большие бараньи глаза, смотревшие на меня с ласковым укором. Автомобиль — гипертрофированный отпечаток личности владельца. Потом пристроился за земляком из Аризоны с наклейкой «Have a nice day»* на бампере. На крышах идущих в потоке машин громоздились моторные лодки, водные лыжи, удочки, доски для плавания, тюки с палатками малинового и апельсинового цветов. Европа из кожи лезла вон, чтоб дорваться до этого «a nice day». Шесть двадцать пять. Я поднял, как делал уже сотни раз, правую, потом левую руку, взглянул на распрямленные пальцы. Не дрожат. А дрожь в пальцах — первый предвестник. Но можно ли утверждать это с полной уверенностью? Ведь никто ничего толком не знает. А может, задержать на минутку дыхание, вот Рэнди перепугается... Что за идиотская мысль!

Виадук. Воздух зашелестел вдоль шеренги бетонных столбиков. Я воровато покосился на пейзаж за окошком. Чудесно, зеленое пространство до самого горизонта, замкнутого горами. С левой полосы меня согнал «феррари», плоский, будто клоп. Я опять зачихал, чертыхаясь между залпами. На ветровом стекле точками чернели останки мух, брюки липли к ногам, блики от дворников резали глаза. Я вытер нос, пачка бумажных платков упала между сиденьями и затрепетала на сквозняке. Кто изобразит натюрморт на орби-

* Желаю приятного дня (англ.)

те? Ты думаешь, что все уже привязал, намагнитил, приклеил лентой, а тут начинается истинное светопреставление — роятся шариковые ручки и очки, свободные концы кабелей извиваются, будто ящерицы, а хуже всего — крошки. Охота с пылесосом за кексами... А перхоть?! Закулисную сторону космических шагов человечества принято замалчивать. Только дети обыкновенно спрашивают, как плачут на Луне...

Горы становились все выше — бурые, спокойные, массивные и словно бы родные. Одна из достопримечательностей Земли. Дорога меняла направление, солнечные квадраты вползали в машину, и это тоже напоминало безмолвное, величественное коловращение света в кабине корабля. День посреди ночи, одно и другое вперемежку, как перед сотворением мира, и летаешь наяву, будто во сне, а тело потрясено тем, что все происходит так, как быть не может. Я слушал лекции о локомоционной болезни, но все оказалось иначе. Это была не обычная тошнота, а паника кишок и селезенки; внутренности, обычно неощутимые, негодовали и выражали бурный протест. Я искренне сочувствовал их недоумению. Мы наслаждались космосом, но нашим телам от него было неважно. С первой же минуты невесомость им не понравилась. Мы тащили их в космос, а они сопротивлялись. Конечно, тренировка делала свое. Даже медведя можно научить ездить на велосипеде, но разве медведь создан для этого? Его езда — курам на смех. Мы не сдавались, и унимался прилив крови к голове, приходили в норму кишки, но это было лишь отсрочкой в сведении счетов — в конце концов приходилось возвращаться. Земля встречала нас убийственным прессом; распрямить колени, спину значило совершить подвиг, голова болталась из стороны в сторону, как свинцовый шар. Я знал, что так будет, видел мужчин атлетического вида, испытывавших чувство неловкости от того, что они не в силах сделать и шага, сам укладывал их в ванну, вода временно освобождала тела от тяжести, но черт знает почему верил, что со мной такого не произойдет.

Тот бородатый психолог говорил, что каждый так думает. А потом, когда снова привыкаешь к тяготению, орбитальная невесомость возвращается в снах, как ностальгия. Мы не годимся для космоса, но именно поэтому не откажемся от него.

Нога отреагировала на красную вспышку впереди раньше, чем я это осознал. Через секунду я понял, что торможу. Шины зашуршали по рассыпанному рису. Что-то более

крупное, вроде градин. Нет, это стекло. Колонна двигалась все медленней. На правой полосе выстроились конусы ограждения. Я попытался рассмотреть их за скопищем машин. На поле медленно приземлялся желтый вертолет; пыль, будто мука, клубилась под фюзеляжем. Вот. Две намертво сцепившиеся коробки с сорванными капотами. Так далеко от дороги? А люди? Шины снова зашуршали по стеклу, с черепашьей скоростью мы двигались вдоль полицейских, машущих руками: «Живо, живо!» Полицейские каски, кареты «скорой помощи», носилки, колеса опрокинутой машины еще вращались, мигал указатель поворота. Над дорогой стлался дым. Асфальт? Нет, скорей всего, бензин. Колонна возвращалась на правую полосу, при быстрой езде стало легче дышать. Согласно прогнозу, на сегодня предполагалось сорок трупов. Показался ресторан на мосту, дальше в полумраке корпусов большой Area di Servizio* бешено вспыхивали звездочки сварки. Я взглянул на счетчик. Скоро будет Кассино. На первом же вираже вдруг перестало свербить в носу, словно плимазин только сейчас пробился сквозь макароны.

Второй вираж. Я вздрогнул, почувствовав взгляд, непонятным образом исходивший снизу, словно кто-то, лежа на спине, бесстрастно наблюдал за мной из-под сиденья. Это солнце осветило обложку журнала с блондинкой, высунувшей язык. Я, не глядя, наклонился и перевернул глянцевый журнал на другую сторону. Для астронавта у вас слишком богатая внутренняя жизнь, сказал мне психолог после теста Роршаха. Я вызвал его на откровенность. А может, это он меня. Он сказал, что существует страх двух видов: высокий — от чрезмерного воображения и низкий, идущий прямо из кишок. Возможно, намекая, что я слишком хорош, он хотел меня утешить?

Небо выдавливало из себя облака, сливающиеся в сплошную пелену.

Приближалась бензоколонка. Я сбросил скорость. Меня обогнал молодящийся старик, длинные седые космы развевались по ветру, — одряхлевший Вотан, он мчался вперед, включив хриплую сирену. Я свернул на заправку и, пока заливали бак, одним махом осушил содержимое термоса с порыжевшим сахаром на дне. Потеки жира и следы мух с ветрового стекла так и не вытерли. Я отъехал в сторону и вышел из машины, чтобы размять кости. По соседству воз-

* Зона обслуживания (ит.).

вышался большой застекленный павильон. Адамс купил в нем колоду карт — копию итальянских карт XVIII или XIX века для игры в тарок.

Бензоколонку расширяли, вокруг котлована, вырытого для нового здания, белел не утрамбованный еще катком гравий. Стеклянная дверь распахнулась передо мной, и я вошел в павильон. Пусто. Сиеста? Нет, сиеста уже кончилась. Я прошелся между грудями разноцветных коробок и искусственных фруктов. Белый эскалатор, ведущий на второй этаж, пришел в движение, когда я приблизился к нему, и остановился, стоило мне шагнуть в сторону. Я заметил свой профиль в телевизоре около витрин, черно-белое изображение дрожало в солнечных бликах. Надеюсь, на самом деле я не так бледен. Ни одного продавца. На прилавках свалены дешевые сувениры, колоды карт, наверняка тех же самых.

Я рылся в карманах в поисках мелочи, ища взглядом продавца, когда услышал, как на улице зашуршал гравий. Из резко затормозившего белого «опеля» вышла девушка в джинсах, обогнула канаву и вошла в павильон. Я видел ее, стоя к ней спиной, на экране телевизора. Она застыла, не двигаясь, шагах в пятнадцати позади меня. Я взял с прилавка сделанную под старину гравюру — Везувий, курящийся над заливом; были там и открытки с изображением помпейских фресок, шокировавших наших отцов. Девушка сделала несколько шагов в мою сторону как бы в неуверенности, продавец ли я. Эскалатор двинулся. Он тихонько двигался, а она стояла — маленькая фигурка в джинсах. Я повернулся, чтобы выйти. В ней не было ничего необычного. Лицо почти детское, невыразительное, маленький рот, и только оттого, что она глядела на меня округлившимися глазами, царапая ногтем воротник белой блузки, я, проходя мимо, замедлил шаг; в тот же миг она с бесстрастным выражением лица, не издав ни звука, стала падать назад, как бревно. Это было настолько неожиданно, что я едва успел схватить ее за плечи, но сумел лишь ослабить падение — казалось, с ее согласия опустил ее на землю. Она лежала, словно кукла. Со стороны это выглядело так, будто я склонился над опрокинувшимся манекеном, потому что справа и слева от меня, за окнами стояли манекены в неаполитанских костюмах.

Я нащупал у девушки пульс, он был едва уловим, но тикал ровно. Казалось, она заснула. В ста метрах от нас подъезжали к заправке машины, потом они разворачивались и в облаке белой пыли возвращались в гремющий поток del Sole.

Только две машины стояли перед павильоном — моя и этой девушки. Я медленно выпрямился. Еще раз бросил взгляд на нее. Рука с гибкой кистью, которую я выпустил, откинулась в сторону. Стали видны светлые волоски под мышкой, чуть ниже их я разглядел два маленьких знака, похожие на царапины или миниатюрную татуировку. Нечто подобное я видел когда-то у пленных эсэсовцев, их рунические знаки. Но здесь, скорее всего, были просто родинки. Ноги у меня дрогнули, я хотел снова опуститься на колени, но удержался. Направился к выходу.

Как бы в знак того, что инцидент исчерпан, бесшумнодвигающийся эскалатор остановился. С порога я обернулся. Разноцветные воздушные шары заслоняли девушку, но я увидел ее в дальнем телевизоре. Изображение дрожало. Мне показалось, что это она шевельнулась. Подождал две или три секунды. Нет, ничего. Стеклопанель двери услужливо распахнулась предо мной. Я перескочил канаву, сел в «хорнет» и подал назад, чтобы взглянуть на номер ее «опеля». Номер был немецкий. В машине из красочной мешанины вещей торчала клюшка для гольфа. Было над чем подумать. Похоже, это малый эпилептический припадок, *petit mal*. Бывают такие, без судорог, она могла почувствовать приближение и потому затормозила, а в павильон вошла, уже теряя сознание. Отсюда невидящий взгляд и паузы движения пальцев, царапающих воротник. Но это могла быть и симуляция. На автостраде я ее «опеля» не отмечал. Правда, я был не слишком внимателен, а такие машины, белые и угловатые, встречались часто. Словно разглядывая под увеличительным стеклом, перебирал я сейчас в памяти каждую запомнившуюся подробность. В павильоне должны были находиться два, а то и три продавца. Все сразу пошли пропустить по рюмке? Странно. Хотя, правду говоря, в наши дни и такое возможно. Ушли в кафе, зная, что в эту пору никто в павильон не заходит, а девушка подъехала, поскольку предпочла, чтобы припадок случился здесь, а не у бензоколонки, не хотела устраивать представление для мальчиков в спецовках «Суперкортемаджоре». Все логично, верно? А не слишком ли логично? Она была одна. Кто в таком положении ездит один? И что же? Если б она очнулась, я не повел бы ее к машине. Постарался бы отговорить от дальнейшей поездки. А потом? Я предложил бы ей оставить «опель» и пересесть ко мне. Каждый бы так поступил. Я наверняка сделал бы так, будь я здесь обычным туристом.

Мне стало жарко. Надо было остаться, чтобы впутаться

в это дело — если было во что впутываться! Для этого я сюда и приехал! Дьявольщина! Все яростнее я убеждал себя в том, что она на самом деле потеряла сознание, и все больше в этом сомневался. И не только в этом. Торговый павильон, почти универмаг, не оставляют без присмотра. Хотя бы кассир должен находиться на месте. А касса пустовала. Правда, весь павильон просматривался из кафе за котлованом. Но кто мог знать, что я загляну в него? Никто на свете. Значит, это не могло быть провокацией. Мне готовили участь анонимной жертвы? Чьей же? Все — и продавцы, и кассир, и девушка — в заговоре? Это уже отдавало фантастикой. Значит, обыкновенное стечение обстоятельств. Я твердил себе это не переставая. Адамс доехал до Рима благополучно. И к тому же один. Ну а другие? Вдруг я вспомнил о клюшке для гольфа в «опеле». Милосердный Боже, ведь такие клюшки...

Я решил, что надо взять себя в руки, даже если я вконец оскандалился. Как скверный, но упрямый актер, я снова и снова возвращался к несудавшейся роли. На следующей заправке, не выходя из машины, попросил камеру. Смазливый брюнет в спецовке бросил взгляд на колеса: у вас бескамерные шины. Но мне нужна камера! Я платил, наблюдая за автострадой, чтобы не прозевать «крайслер», но его не было. Проехав девять миль, я сменил исправное колесо на запасное. Именно здесь менял колесо Адамс. Присев на корточки у домкрата, я почувствовал, что зной усиливается. Несмазанный домкрат скрипел, невидимые реактивные самолеты разрывали небо над головой, и эти громовые раскаты напомнили мне судовую артиллерию, прикрывавшую Нормандский плацдарм. Почему вспомнилось это? Я и после был в Европе, но уже в качестве официального экспоната, правда, второго сорта, как дублер, иначе говоря, почти фиктивный участник марсианского проекта.

Европа демонстрировала тогда достойный фасад. Только сейчас я узнавал ее — если не лучше, то хоть без парадного блеска: провонявшие мочой переулки Неаполя, кошмарные проститутки, гостиница, еще отмеченная звездочками в путеводителях, но уже ветшающая, окруженная лавчонками торговцев, кинотеатр, демонстрирующий порнофильмы, которые раньше невозможно было представить себе рядом с таким отелом. Может, и не это главное, может, правы те, кто говорит, что Европа разлагается с головы, сверху?

Металлическая обшивка кузова и инструмент обжигали. Я вымыл руки жидким кремом, вытер бумажными платками

и сел в автомобиль. Долго, так как перочинный нож куда-то запропастился, открывал бутылку швепса, купленную на станции, наконец принялся тянуть горьковатую жидкость, думая о Рэнди, который где-то на трассе слышит, как я пью. Подголовник успел нагреться на солнце и тоже обжигал. Кожа на шее болела. Асфальт у самого горизонта вспыхнул металлическим блеском, словно там была вода. Что это, гроза? Да, загремело. Наверно, и раньше гремело, но звуки заглушал непрерывный гул автострады. Сейчас гром перекрыл этот гул, всколыхнув небо с золотистыми еще облаками, но золото над горами уже заволакивала спекшаяся желчь туч.

На указателе появилась надпись: «Фрозиноне». Пот струился по спине, словно кто-то перышком водил между лопатками, а буря, по-итальянски театральная, вместо того чтобы взяться за дело, страшила громом без капли дождя. Но седые, как осенний дым, гривы все же потянулись над полями, и я, входя в широкий вираж, увидел место, где косо повисшая мгла притягивала тучу к автостраде. С облегчением воспринял я первые крупные капли на ветровом стекле. Внезапно дождь хлынул как из ведра.

На ветровом стекле разыгралось истинное побоище. Когда дворники соскребли остатки насекомых, я съехал на обочину и выключил их. Здесь предстояло провести битый час. Дождь шел волнами, барабанил по крыше, и пронсящие мимо машины тянули за собой мутные полосы искрящейся воды, а я глубоко дышал. Через открытое окно брызгало на колени. Я зажег сигарету, пряча ее в ладони, чтобы не намокла, но она оказалась неприятная, ментоловая на вкус. Проехал «крайслер» металлического цвета, но вода падала стеной, и я не разглядел — тот ли. Становилось все темнее. Молнии и скрежет, словно жесть разрывают на части. Скуки ради я считал мгновения от вспышки до грома, автострада же продолжала гудеть — ничто не в силах было остановить движение.

Часовая стрелка миновала семерку — пора. Вздохнув, я выбрался из машины. Холодный душ поначалу был неприятен, но потом даже взбодрил меня. Я наклонился над дворниками, как бы поправляя их, и при этом поглядывал на дорогу, но никто не обращал на меня внимания, полиции тоже не было видно. Промокнув до последней нитки, сел в машину и включил скорость. Буря затихла, хотя светлее не стало; асфальт высыхал, свет фар врезался в туман, ставший над лужами. За Фрозиноне из-за туч выглянуло солнце, словно пейзаж перед наступлением темноты решил явить себя в новом блеске.

В розовом неземном сиянии я съехал на стоянку, отлепил от тела рубашку, чтобы датчики не были заметны, и направился в ресторан, расположенный на мосту Павезе. «Крайслера» на стоянке я не обнаружил. Наверху галдела разноязыкая толпа, занятая едой и не обращающая внимания на машины, которые неслись под нами, как шары в кегельбане. Во мне, сам не знаю когда, произошла перемена — я успокоился; в сущности, мне стало все равно, о девушке я думал так, словно видел ее много лет назад; выпил две чашки кофе, швепс с лимоном, может, посидел бы еще, но тут мне пришло в голову, что железобетонная конструкция моста экранирует волны и в «крайслере» не знают, что с моим сердцем. Между Хьюстоном и Луной таких проблем не возникает. Выходя, ополоснул в туалете руки и лицо. Пригладил волосы перед зеркалом, поглядев на себя скорее с неприязнью, и — в путь.

Сейчас снова надо было убить время. Я ехал, как бы отпустив вожжи, доверившись знающей дороге лошади. Никуда не устремлялся мыслью, не видел снов наяву, а просто отключился, словно меня и не было. Этакое растительное бытие. Но какой-то счетчик во мне все-таки работал — затормозил я точно по расписанию у подножия пологого холма, в том месте, где в его спину геометрической выемкой врезалась автострада. Стоять здесь было приятно. Сквозь эту выемку, как через огромные ворота, я мог обозреть пространство до самого горизонта, где бетонная полоса решительно прошивала насквозь следующий пологий горб. Словно здесь прорезь прицела, а там — мушка. Бумажные платки кончились, и, чтобы протереть стекла, пришлось лезть в багажник. Коснувшись мягкого дна чемодана, я нащупал твердое ребро пистолета.

Как по тайномуговору, все почти одновременно включили подфарники. Я огляделся. В сторону Неаполя автострада была исчеркана белыми полосами, а в сторону Рима краснела, словно по ней катились раскаленные угольки. На дне долины машины тормозили, и там вспыхивала зыбкая краснота, будто стоячая волна. Будь автострада раза в три шире, могло показаться, что ты в Техасе или в Монтане.

Меня охватило благостное спокойствие одиночества, хотя дорога была совсем рядом. Людям, как и козам, нужна трава, только они не осознают этого столь хорошо, как козы. Когда в невидимом небе пророкотал вертолет, я бросил сигарету и сел в машину. В ней еще ощущалась дневная духота.

За следующими холмами появились бестеневые лампы дневного света, предвещавшие близость Рима. Мне предстояло обогнуть город. Темнота превратила людей в машинах в невидимок, а нагромождению вещей на крышах придала загадочность. Все стало значительным, недосказанным, словно в конце дороги находилось нечто непостижимо важное. Астронавт-дублер должен быть хоть капельку свиньей. Ведь что-то в нем ждет, чтобы те, первые, споткнулись, а если не ждет, то он просто дурак. Вскоре пришлось остановиться еще раз: кофе, плимазин, швепс, вода со льдом давали о себе знать, я отошел от дороги на несколько шагов и удивился: казалось, исчезло не только движение, но вместе с ним и время. Стоя спиной к дороге, сквозь смрад выхлопных газов в чуть-чуть дрожащем воздухе я уловил запах цветов. Что бы я сделал, будь мне сейчас тридцать? Чем искать ответ на подобные вопросы, лучше застегнуть ширинку и ехать дальше. Ключи упали в темноту между педалями, я искал их на ощупь — не хотелось зажигать лампочку над зеркальцем. Поехал дальше, не сонный и не бодрый, не раздраженный и не спокойный — какой-то вялый и слегка озадаченный. Свет высоких фонарей вливался через ветровое стекло и, выбелив мои руки, вытекал из машины, дорожные указатели проносились мимо, светясь, словно призраки, а стыки между бетонными плитами отзывались мягкой барабанной дробью. Сейчас — направо, на кольцевую вокруг Рима, чтобы въехать в него с севера, как въехал Адамс. Я совсем не думал о нем, он был одним из одиннадцати, простая игра случая, что я получил его вещи. Рэнди настаивал на этом и, вероятно, был прав. Если уж воспроизводить что-то, то с предельной точностью. Меня самого то, что я пользуюсь рубашками и чемоданами покойника, оставляло, пожалуй, равнодушным. Если поначалу и трудно было, то оттого, что это вещи чужого человека, а не потому, что он мертв.

Когда попадались пустынные отрезки дороги, мне казалось, что чего-то не хватает. Через открытые окна врвался воздух, полный благоухания цветущих растений. Травы уже засыпали. Я даже перестал шмыгать носом. Психология психологией, но все решил насморк. Я не сомневался в этом, хотя меня и убеждали в обратном. Если рационально подходить к делу, все верно — разве на Марсе растет трава? Так что поллиноз — вовсе не изъян. Да, но в какой-то из рубрик моего личного дела, в примечаниях, наверняка написано «аллергик», иначе говоря — неполноценный. Неполноценный дублер — нечто вроде карандаша, который оттачивают са-

мым лучшим инструментом, чтобы в итоге не поставить им и точки. Дублер Христофора Колумба, вот как это звучит.

Навстречу катила нескончаемая колонна, каждая машина слепила фарами, и я закрывал попеременно то правый, то левый глаз. А может, я заблудился? Да вроде не было съезда с автострады. Мной овладело безразличие: что еще делать-то, ехать себе в ночь, и все. В косом свете мачтового фонаря замаячил щит: «Roma Tiberina». Уже, значит. По мере того как я приближался к центру, ночной Рим наполнялся светом и движением. Хорошо, что гостиницы, в которые мне предстояло поочередно нанести визит, находились близко друг от друга. Везде только руками разводили: сезон, мест нет, и я снова садился за руль. В последней гостинице оказалась свободная комната, но я тут же потребовал тихую, с окнами во двор, портье вылупил на меня глаза, а я с сожалением покачал головой и вернулся в машину.

Пустой тротуар перед отелем «Хилтон» заливал яркий свет. Выбираясь из машины, я не заметил «крайслера» и вздрогнул от мысли, что у них произошла авария и поэтому я не встретил их по дороге. Машинально захлопнул дверцу и в отражении, пробежавшем по ветровому стеклу, увидел сзади рыло «крайслера». Он прятался за стоянкой, в тени, между цепями и знаком запрета. Я направился к подъезду. По пути заметил, что в «крайслере» темно и вроде никого нет, но боковое стекло до половины опущено. Когда я был шагах в пяти от него, там вспыхнул огонек сигареты. Хотелось махнуть им рукой, но я сдержался, рука только дрогнула, и, поглубже сунув ее в карман, я вошел в холл.

Этот незначительный эпизод означал лишь, что закончилась одна глава и начинается следующая, но в прохладном ночном воздухе все обрело выразительность: очертания автомобилей на стоянке, мои шаги, рисунок мостовой, и поэтому то, что я не посмел даже помахать им рукой, привело меня в раздражение. До этой минуты я придерживался графика, как ученик расписания уроков, и по-настоящему не думал о человеке, который ехал до меня той же дорогой, так же останавливался, пил кофе, кружил от гостиницы к гостинице по ночному Риму, чтобы завершить свой путь в «Хилтоне», откуда он уже не вышел. Сейчас в той роли, что я исполнял, мне почудилось нечто кошунственное, словно я искушал судьбу.

Молодой швейцар в перчатках, одеревеневший от собственной важности, а может, просто борющийся с дремотой, вышел за мной к машине и извлек из нее запыленные че-

моданы, а я бессмысленно улыбался, глядя на его блестящие пуговицы. Холл был пуст, другой верзила-швейцар внес мой багаж в лифт, взмывший вверх с перезвоном музыкальной шкатулки. Я все еще не мог освободиться от ритма дороги. Он засел в мозгу, как назойливая мелодия. Швейцар остановился, открыл одну за другой двери номера, включил бра и лампы дневного света под потолком в кабинете и спальне, поставил мои чемоданы, и я остался в одиночестве. От Неаполя до Рима рукой подать, и все-таки я чувствовал необычную, какую-то напряженную усталость, и это снова удивило меня. Словно выпил банку пива по чайной ложке — какая-то пьянящая пустота. Я обошел комнаты. Кровать была без ножек, не надо играть в прятки. Я пооткрывал все шкафы, отлично зная, что ни в одном из них не скрывается убийца, — если бы все было так просто! — но делал лишь то, что должен был сделать. Откинул простыни — двойные матрасы, регулировка изголовья, как-то не верилось, что я с этой кровати не встану. Ой ли? Человек по своей природе недемократичен, похож на показной парламент: центр сознания, голоса справа и слева, но есть еще катакомбы, которые все и определяют. Евангелие от Фрейда. Я проверил кондиционер, поднял и опустил жалюзи, потолки были гладкие, светлые, это вам не гостиница трех ведьм*. Насколько явна и откровенно ужасна была опасность, подстерегавшая там: балдахин над кроватью опускается на спящего и душит его, — а тут ни балдахина, ни прочей дешевой романтики! Кресла, письменный стол, ковры — меблировано со вкусом, привычные атрибуты комфорта. Выключил ли я в машине свет? Окна выходили на другую сторону, отсюда я не мог ее увидеть, наверно, выключил, а если и забыл, пускай переживает фирма Херца.

Я задернул шторы, разделся, разбросав в беспорядке одежду, и только тогда аккуратно отклеил датчики. После душа придется снова приклеивать. Открыл большой чемодан; коробка с пластырем лежала наверху, но ножниц не было. Я стоял посреди комнаты, чувствуя легкий спазм в голове, а ступнями ощущая пушистый ковер; ах да, ведь я сунул ножницы в портфель. Я нетерпеливо дернул замок, вместе с ножницами выпала реликвия в пластиковой рамке: желтая, словно Сахара, фотография Sinus Aurogae — моя несостоявшаяся посадочная площадка номер один. Она ле-

* «Гостиница трех ведьм» — рассказ английского писателя польского происхождения Джозефа Конрада (1857—1924) (Прим. ред.)

жала на ковре у моих босых ног, это было неприятно, глупо и чересчур многозначительно. Я поднял ее, стал рассматривать в белом свете верхних ламп: десятый градус северной широты и пятьдесят второй восточной долготы, наверху — подтек *Bosporus Gematus*, пониже — экваториальные образования. Места, по которым я мог ходить. Я постоял с этим снимком, в портфель засовывать его не стал, а положил рядом с телефоном на ночной столик и отправился в ванную.

Душ был превосходный, вода ударяла сотней горячих струй. Цивилизация начинается с проточной воды. Клозеты царя Миноса на Крите. Какой-то фараон приказал вылепить кирпич из грязи, которую соскребывали с него на протяжении всей его жизни, и положить ему под голову в саркофаге. Омовения всегда чуточку символичны.

Мальчишкой я не мыл машину, пока в ней имелся хотя бы малейший дефект, и только после ремонта, возвращавшего ей достоинство, натирал мастикой и наводил блеск. А что я мог знать тогда о символике чистоты и скверны, символике, переходившей из религии в религию! В апартаментах стоимостью в двести долларов я ценю только ванны. Человек чувствует себя соответственно состоянию его кожи. В зеркале во всю стену я увидел свой намыленный торс с отметиной от датчика, словно я снова находился в Хьюстоне; бедра белые от плавок; я пустил воду сильнее, и трубы жалобно завывали. Вычислить такую кривизну, чтобы трубы никогда не резонировали, — кажется, неразрешимая для гидродинамики задача. Сколько во мне этих ненужных сведений. Я вытерся первым попавшимся полотенцем и, оставляя мокрые следы, нагишом пошел в спальню. Прилепил на сердце датчик и вместо того, чтобы лечь, уселся на кровати. Мгновенно подсчитал: включая содержимое термоса, не менее семи чашек кофе. Раньше я все равно заснул бы, как сурок, но теперь мне уже знакомо, что значит ворочаться с боку на бок. В чемодане тайком от Рэнди я припас секонал, средство, рекомендуемое астронавтам. У Адамса никаких таблеток не было. Видимо, он спал превосходно. Принять сейчас секонал было бы нечестно.

Я забыл погасить свет в ванной. Пришлось встать, хотя мои кости и протестовали. В полумраке комната казалась больше. Голый, я стоял в нерешительности спиной к кровати. Ах да, надо же запереть дверь. Ключ должен остаться в замке. 303 — тот же самый номер. Они позаботились и об этом. Ну и что же? Я попытался разобраться: испытываю ли страх? Было какое-то смутное чувство, стыдно, но что по-

делаешь, я не знал, откуда это беспокойство, от какой перспективы — бессонной ночи или агонии. Все суеверны, хоть и не все признаются в этом. Я еще раз в свете ночника окинул взглядом комнату — с уже нескрываемой подозрительностью. Чемоданы были полуоткрыты, вещи в беспорядке разбросаны на креслах. Настоящая генеральная репетиция. Револьвер? Идиотизм. С жалостью к себе я покачал головой, уже лежа погасил ночную лампу, расслабил мышцы и принялся размеренно дышать. Засыпание в назначенный час входит в обязательную программу тренировок. Да и внизу в машине сидят два человека и смотрят на осциллоскоп, на экране которого светящимися линиями фиксируется реакция моих легких и сердца на каждое мое движение. Дверь заперта изнутри, окна закрыты герметически; какое мне дело, что он ложился в это же время и в эту же кровать?

Разница между «Хилтоном» и гостиницей трех ведьм казалась бесспорной. Я представил свое возвращение: не предупредив никого, подъезжаю к дому — или лучше к аптеке, и иду пешком, словно с прогулки; мальчики, уже вернувшиеся из школы, видят меня сверху, под ними грохочет лестница, — и тут же вспомнил, что надо еще выпить джина. Минуту я лежал в нерешительности, облокотясь на подушку: бутылка-то в чемодане. Слез с постели, в потемках добрался до стола, нашупал под рубашками плоскую бутылку, налил в стаканчик-крышку, жидкость потекла по пальцам. Осушил металлический стаканчик с дурацким ощущением, что играю в любительском спектакле. Делаю что могу, оправдывался я перед собой.

Вернулся к постели невидимкой; грудь, руки, ноги исчезли, загар сливался с темнотой, только бедра маячили белесой полосой. Лег, стал ворочаться, алкоголь согрел желудок; я бухнул по подушке кулаком: до чего ты дошел, дублер. Натянул одеяло и давай дышать. Накатила полудремота, в которой остатки бодрствования может слизнуть только полная пассивность. Мне даже что-то приснилось: я летал. Любопытно, но точь-в-точь такие полеты снились мне перед космосом. Словно неподатливые катакомбы моего сознания не желали учитывать поправки, добытых опытом. Полеты во сне — фикция: тело при этом сохраняет ориентировку, а движения рук и ног так же легки, как и наяву, хотя и более плавны. В космосе же все обстоит иначе. В мышцах воцаряется полный беспорядок. Хочешь что-нибудь оттолкнуть, а сам летишь назад, хочешь сесть, подтягиваешь ноги к подбородку — неосторожным, резким движением можно пока-

утирывать себя коленом. Тело ведет себя как одержимое, но на самом деле оно просто перестает сдерживаться, лишившись спасительного сопротивления, которое ему оказывает Земля.

Проснулся я от удушья. Что-то мягко, но настойчиво не позволяло мне сделать вдох. Я вскочил, вытянув руки, будто пытаюсь схватить душителя. Сидя, приходил в себя — с трудом, словно сдирает с мозга неотвязную, липкую корку. В щель между шторами сочился ртутный блеск улицы. В его мерцании я разглядел, что никого рядом со мною нет. Дышать я все еще не мог, нос как будто забетонировали, губы спеклись, язык пересох. Храпел я, наверно, жутко. Кажется, этот храп я слышал сквозь сон, уже просыпаясь.

Я встал, чуть пошатываясь: сон по-прежнему наполнял меня свинцовой тяжестью. Наклонившись над чемоданом стал на ощупь искать в боковом кармашке трубочку с пирибензамином. Травы, наверно, уже зацвели и в Риме. Их полные пыльцы метелки вначале рыжеют на юге, а потом волна порыжения катится к более высоким широтам; это известно каждому, кто пожизненно приговорен к сенной лихорадке. Был второй час. Забеспокоившись, как бы опекуны мои не выскочили из машины, увидев, как брыкается в осциллографе мое сердце, я снова лег щекой на подушку — так быстрее проходит отек слизистой носа. Лежал, одним ухом прислушиваясь к тому, что творится за дверью, — не прибывают ли непрошенные подкрепления. Стояла тишина, и сердце скоро обрело обычный ритм.

Я уже не пытался вернуться мыслями к дому, не хотел во все это втягивать мальчишек. В самом деле, засыпать с помощью детей! Достаточно йоги, приспособленной для нужд астронавтов доктором Шарпом и его помощниками. Я знаю эту йогу, как вечернюю молитву, и применил ее с таким успехом, что мой нос тут же услужливо засвистел, понемногу пропуская воздух, а пирибензамин, лишенный отрезвляющей примеси, заволок мозг характерной, немного как бы нечистой, мутной сонливостью, и я не заметил, как заснул.

РИМ — ПАРИЖ

В восемь утра я отправился к Рэнди в гревосходном расположении духа, потому что начал день с плимазина и в носу у меня, несмотря на удушливую жару, не свербило. Гостилице Рэнди далеко было до «Хилтона». Я разыскал ее непо-

далеку от площади Испании на заставленной автомобилями улочке, мощенной римским булыжником. Забыл название этой улочки. Поджидая Рэнди в закутке, который служил холлом и кафе, я листал купленную по дороге «Интернэшнл геральд трибюн», заинтересовавшись переговорами «Эр Франс» с правительством, потому что мне не улыбалась перспектива застрять в Орли. Бастовали вспомогательные службы аэропорта, но Париж пока принимал.

Вскоре появился Рэнди, в не таком уж дурном настроении, если учесть, что ночь он провел без сна. Правда, какой-то смурной, но ведь наше поражение было налицо. Оставался еще Париж, последняя наша надежда. Рэнди предложил отвезти меня на аэродром, но я отказался. Надо же дать человеку выспаться! Он утверждал, что в его номере сделать это невозможно, и мне пришлось подняться с ним наверх. Комната действительно выходила на солнечную сторону, а из ванной вместо прохлады тянуло прачечной вонью.

К счастью, установился азорский антициклон с сухой погодой, поэтому, применив свои профессиональные познания, я задернул шторы, намочил их нижнюю часть, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, пустил небольшой струей воду из всех кранов и после этой самаритянской операции попрощался с Рэнди, пообещав позвонить, если узнаю что-нибудь конкретное. В аэропорт я поехал на такси, по дороге прихватив багаж из «Хилтона», и около одиннадцати уже катил тележку с чемоданами. Я впервые был в здании нового римского аэровокзала и искал взглядом чудеса противодействующей террористам техники, не подозревая, насколько досконально мне придется с ними познакомиться.

Пресса приветствовала открытие аэровокзала радостным воплем: дескать, теперь наверняка будет положен конец воздушному терроризму. Только застекленный зал регистрации выглядел как обычно. Здание же аэровокзала, похожее сверху на барабан, заполняли эскалаторы и движущиеся тротуары, незаметно фильтрующие пассажиров. В последнее время террористы наловчились проносить оружие и взрывные устройства по частям, которые потом можно собрать в туалете самолета, поэтому итальянцы первыми отказались от магнитометров. Одежду и тела зондируют ультразвуком во время передвижения по эскалаторам, а результат такого незаметного обыска подытоживает компьютер, указывающий на всех подозрительных. Писали, что ультразвук находит каждую пломбу в зубе и пряжку на подтяжках. От него нельзя укрыть даже неметаллическое взрывное устройство.

Новый аэропорт неофициально называют Лабиринтом. Во время пробного пуска сыщики с хитроумно спрятанным оружием несколько недель бегали по эскалаторам и никому из них якобы ничего не удалось пронести. Лабиринт действовал с апреля — без серьезных инцидентов; пока вылавливали только людей со странными, хотя и невинными предметами, вроде детского револьвера или его силуэта, вырезанного из алюминиевой фольги. Одни эксперты утверждали, что это психологическая диверсия разочарованных террористов, другие — что это попытка установить, насколько хорошо действуют фильтры. Юристы хлебнули с лжеконтрабандистами немало горя — их намерения были однозначны, но уголовно не наказуемы. Единственное серьезное происшествие произошло накануне, в день, когда я покидал Неаполь. Какой-то азиат, избалованный ультразвуком посередине Лабиринта, на так называемом «мосту вздохов», решил избавиться от настоящей бомбы. Он бросил ее в зал, над которым расположен мост, но взрыв не причинил вреда, хотя и потрепал нервы пассажирам. Вот и все происшествия. Сейчас я думаю, что эти незначительные инциденты были подготовкой операции, в которой новому виду защиты предстояло испытание новым видом атаки.

Моя «Алitalia» на час задерживалась, неясно было, примет нас Орли или аэропорт имени де Голля. Я решил переодеться, потому что и в Париже обещали 30 градусов в тени. И поскольку не помнил, в каком чемодане у меня сетчатые рубашки, отправился к ванным комнатам с тележкой, на которой лежали все мои вещи, и долго блуждал по пандусам подземной части здания, пока какой-то раджа не показал мне дорогу. Не знаю, был ли он действительно раджей, хоть и носил зеленый тюрбан, скорей всего, нет — слишком скверно он говорил по-английски. Интересно, снимет он тюрбан в ванне? Он тоже шел купаться. На эту прогулку с тележкой я ухлопал столько времени, что душ принял наскоро, живо переоделся в полотняный костюм, надел легкие туфли со шнуровкой и, сунув саквояж с мелочами в чемодан, поспешил к стойке регистрации. Отошел от нее с пустыми руками, сдав все в багаж. Это оказалось разумным; сомневаюсь, чтобы микрофильмы — они были в саквояже — уцелели бы в «бойне на лестнице».

Кондиционеры в зале регистрации барахлили, от них тянуло то холодом, то жаром. У стойки на Париж дул горячий ветер, и я, сняв куртку, набросил ее на плечи, что тоже оказалось потом очень кстати. Каждый из нас получил «про-

пуск Ариадны» — пластиковый пенал для билета со вделанным в него электронным резонатором. Без него в самолет не впускали. Тут же за вертушкой прохода начинался эскалатор, такой узкий, что на него входили гуськом. Путешествие на нем чем-то напоминало Тиволи или Диснейленд. Вначале едешь вверх, и там ступеньки превращаются в тротуар, бегущий над залом в ярком сиянии ламп дневного света. Дна не видно, оно скрыто во мраке. Не знаю, как добились такого эффекта. За «мостом вздохов» тротуар делает поворот и, снова превратившись в довольно крутую лестницу, пересекает тот же самый зал, который можно узнать лишь по ажурному потолку, потому что эскалатор с обеих сторон закрыт алюминиевыми щитами с изображениями мифологических сцен. С концом этой дороги мне не суждено было познакомиться. Идея ее проста — пенал пассажира, имеющего при себе нечто подозрительное, дает об этом знать пронзительным писком. Заклейменный пассажир убежать не может, потому что эскалатор слишком узок, а писк, разносящийся по всему залу, должен нагнать на него страху и заставить избавиться от оружия. В зале развешаны предостережения на двадцати языках: всякий, у кого будет обнаружено оружие или взрывчатка или кто попытается терроризировать пассажиров, поплатится жизнью. Смысл этих туманных угроз толковали по-разному. Я слышал даже о снайперах, якобы притаившихся за алюминиевыми щитами, хоть и не верил этому.

Рейс был чартерный, но нанятый «боинг» превзошел потребности его нанимателей, и в кассах до самого отлета продавали оставшиеся билеты. В переплет попали те, кто, как и я, приобрел билет в последнюю минуту. «Боинг» зафрахтовал какой-то консорциум банков, но мои соседи на лестнице не походили на банкиров. Первой ступила на эскалатор старуха с тростью, затем блондинка с собачкой, за ней я, девочка и японец. Оглянувшись через плечо, я увидел, что стоявшие сзади мужчины тут же уткнулись в газеты, и, решив не разворачивать свою «Геральд трибюн», сунул ее под подтяжки на плече, словно пилотку.

Блондинка в вышитых жемчугом брючках, обтягивающих так, что сзади видны были очертания трусиков, держала чучело собаки. Собака, как живая, то и дело моргала. Блондинка напоминала крапотку с обложки журнала, сопровождавшего меня по пути в Рим. Девочка с живыми глазками в своем белом платье походила на куколку. Японец, несамного выше ее, являл собой ревностного туриста. Каза-

лось, он только что от знаменитого портного. На застегнутом на все пуговицы клетчатом пиджаке скрещивались ремни транзистора, бинокля, большого фотоаппарата «Никон-5»; когда я оглянулся, он как раз расстегивал футляр, словно собираясь запечатлеть чудеса Лабиринта. Лестница перешла в тротуар, когда я услышал тоненький писк. Обернулся. Писк исходил от японца. Девочка в испуге отшатнулась от него, прижимая к груди свой пенал с билетом, но японец и бровью не повел, только увеличил громкость транзистора. Наверно, наивно надеялся заглушить писк, а ведь это было только первое предупреждение.

Мы плыли над огромным залом. По сторонам помоста блестели в лампах дневного света фигуры Ромула, Рема и Волчицы, а пенал японца выл уже душераздирающе. Дрожь пробежала по столпившимся пассажирам, хотя никто не произнес ни звука. Японец добрую минуту стоял с каменным лицом в этом все усиливающемся вое, но на лбу его проступил пот. Потом, вырвав из кармана пенал, он стал с ним ожесточенно сражаться. Дергал его, как берсеркер*, под взглядами продолжавших молчать пассажиров. Ни одна женщина не вскрикнула. Мне же просто было любопытно, как его выловят из нашей группы.

Когда «мост вздохов» кончился и тротуар поплыл к повороту, японец присел на корточки — внезапно и очень низко, словно провалился. Я не сразу понял, что он делает, скорчившись. А он выдернул из футляра и открыл свой фотоаппарат. Тротуар со всеми нами двигался по прямой, но ступени уже начали подниматься: тротуар превращался в эскалатор, поскольку второй «мост вздохов» — это, по сути, лестница, наискосок возвращающаяся через большой зал.

Выхватив из «Никона» искрящийся сахаристыми иголками цилиндр, который едва бы уместился у меня на ладони, японец выпрямился. Это была неметаллическая корундовая граната с игольчатой сварной оболочкой, без черенка. Я перестал слышать вой пенала. Японец обеими руками прижал к губам донышко гранаты, словно целуя ее, и, лишь когда он отнял гранату от лица, я понял, что он зубами вырвал чеку — она осталась у него во рту. Я рванулся к гранате, но только коснулся ее, потому что японец ударил меня башмаком в колено и резко подался назад, сбивая с ног стоящих за ним людей. Падая, я попал локтем девочке в лицо, меня занесло на перила, я еще раз натолкнулся на девочку и, пе-

* Норманнский воин, приходивший в бешенство во время боя.

ремахнув через барьер, увлек ее за собой. Вдвоем мы полетели вниз из яркого света во мрак. Я сильно ударился обо что-то поясницей.

Я ждал удара о песок. Газеты не писали, что находится на дне зала, под мостками, но подчеркивали, что взрыв бомбы не причинил никакого вреда. Итак, я ждал песка и в падении постарался напрячь ноги. Но вместо песка почувствовал под ногами нечто мягкое, податливое, влажное, оно расступилось подо мной, словно пена, а ниже была ледяная жидкость; и тут же до мозга костей меня потряс грохот взрыва. Девочку я потерял. Ноги увязли в топком иле или грязи, я погружался туда, отчаянно барахтаясь, пока усилием воли не заставил себя успокоиться. У меня было около минуты или даже чуть больше, чтобы выкарабкаться. Сперва думать, потом действовать! Этот бассейн своей формой должен уменьшать кумуляцию ударной волны. Итак, не чаша, а скорей воронка, выложенная по дну вязкой массой, заполненная водой с толстым слоем пены на поверхности. Я увяз по колено. Вместо того чтобы тщетно рваться вверх, я полягушачьи присел, нащупывая растопыренными пальцами дно. Справа оно поднималось. Загребая ладонями, словно лопатами, я пополз вправо, выдергивая ноги из грязи, — это было неимоверно трудно. Соскользнув с наклонной плоскости, снова стал загребать руками, подтягиваясь, как альпинист, без кошек поднимающийся по заснеженному склону, но там хоть можно дышать!..

Я лез вверх, пока на лице не стали лопаться пузырьки пены, и, задыхаясь, хватая ртом воздух, вынырнул в полумрак, наполненный хоровым воем надо мной. Огляделся, высунув голову из колышущейся пены. Девочки не было. Я вдохнул поглубже и нырнул. Глаз открыть не мог, в воде была какая-то пакость, от которой глаза горели огнем, три раза я всплывал и нырял снова, теряя последние силы; от топкого дна нельзя было оттолкнуться, пришлось плавать над ним, чтобы снова не засосало. Я уже терял надежду, когда наткнулся рукой на ее длинные волосы. От пены девочка стала скользкой, как рыба. Я схватил ее за платье, но ткань лопнула.

Сам не знаю, как выбрался я с нею наверх. Помню какую-то возню, липкие пузыри, которые соскребал с ее лица, мерзкий металлический вкус воды, мои беззвучные проклятия, помню, как толкал ее через борт воронки — толстый, упругий вал, будто из резины. Когда девочка оказалась за ним, я не сразу вылез из воды, а свесился вниз, весь облеп-

ленный лопавшейся пеной, тяжело дыша. Сверху доносились человеческие вопли. Мне показалось, что моросит редкий теплый дождь. Я чувствовал на коже отдельные его капли. Видно, бред, подумалось мне. Откуда здесь быть дождю? Задрал голову, я различил мост. Алюминиевые щиты свисали с него, скомканные, как тряпки, а пол просвечивал, словно сито. Стальные ступени, о которых писали в газетах, что они сделаны в виде решета, которое пропустит ударную волну, но задержит осколки.

Я выбрался из воронки под непрекращающимся дождем и перекинул девочку через колено, лицом вниз. Ее состояние оказалось лучше, чем я ожидал, ее тут же вытошнило. Я стал массировать ей спину, чувствуя, как мерно вздымаются ребра. Девочка захлебывалась и кашляла, но уже дышала. Меня тоже подташнивало. Я помог себе пальцем. Стало легче, но все еще не хватало сил встать на ноги. Я уже мог кое-что разглядеть, хотя свет сюда почти не проникал, тем более что часть ламп над мостом погасла. Вой над нами перешел в стоны и хрипение. Там умирающие, мелькнула у меня мысль, но почему никто не приходит на помощь? Откуда-то доносился шум, что-то лязгало, словно пытались привести в движение застывший эскалатор. Снова послышались крики, но другие, людей здоровых, целых. Я не знал, что творилось наверху. Эскалатор во всю длину был забит пассажирами, в панике повалившимися друг на друга. Нельзя было подступиться к умирающим, не удалив вначале обезумевших от страха. Одежда и обувь пассажиров застряли между ступенями. Никакого бокового подхода к лестнице не было, мост оказался западной.

Настала пора позаботиться о себе и девочке. Она села и, мне показалось, уже пришла в себя. Я говорил ей, что все обошлось и не надо бояться, мы вот-вот выберемся отсюда. Глаза привыкли к темноте, и я действительно скоро обнаружил выход. Это был люк, по небрежности оказавшийся открытым. Если бы не это, мы застряли бы здесь, как мыши в капкане. За люком тянулся туннель, похожий на канал, кончавшийся дверцей, точнее, выпуклым диском, тоже приотворенным. Коридор с лампочками в зарешеченных нишах вывел нас в подземелье, низкое, с переплетением кабелей и всевозможных труб.

— Эти трубы приведут нас к ваннам. — Я повернулся к девочке, но не увидел ее. — Эй! Где ты?! — крикнул я, окидывая взглядом подвал.

Я заметил ее впереди — она босиком перебежала между

бетонными опорами, подпиравшими потолок. Догнал ее двумя прыжками, хоть невыносимо заныла поясница, и, взяв за руку, сурово сказал:

— Что это за шутки, моя дорогая? Нам надо держаться вместе, иначе заблудимся.

Она молча пошла за мной. Вдали забрезжил свет. Пандус с выложенными белым кафелем стенами. По нему мы поднялись на другой этаж подземелья, и мне хватило беглого взгляда, чтобы узнать место, где час назад я толкал багажную тележку. За углом тянулся коридор с рядом дверей. Я открыл ближнюю, бросив монету — мелочь не выпала из кармана, — и взял девочку за руку; мне показалось, что она снова хочет удрать. Наверно, она еще в состоянии шока. Не удивительно. Я затащил ее в ванную кабину. Она отмалчивалась, и я тоже перестал приставать к ней с разговорами, увидев в ярком свете, что вся она в крови, с головы до ног. Это и был тот теплый дождь. Я, наверно, выглядел не лучше. Я сорвал с нее и с себя все, швырнул одежду в ванну, открыл кран, а сам, в плавках, толкнул девочку под душ. Боль в пояснице немного утихла от горячей воды, которая стекала розовыми струями. Я тер девочке спину и бока, чтобы смыть кровь и окончательно привести ее в чувство. Она не сопротивлялась, не пискнула даже, когда я как мог стал отмывать ей волосы. Когда мы вышли из-под душа, я небрежно спросил, как ее зовут. Аннабель. Англичанка? Нет, француженка. Из Парижа? Нет, из Клермона. Я заговорил с ней по-французски, вынимая наши вещи из ванной, чтоб постирать.

— Если ты в силах, — предложил я, — может, прополощешь свое платье?

Она послушно склонилась над ванной. Выжимая брюки и рубашку, я прикидывал, что делать дальше. Аэропорт закрыт, в нем полно полиции. Просто идти, пока не задержат? Но итальянские власти ничего не знают о нашей операции. Единственный, кто в курсе, это Дю Буа Феннер, первый секретарь посольства. Свою куртку с билетом на другую фамилию, не ту, что значилась в гостиничном счете, я обронил на лестнице. Револьвер и датчики оставил в «Хилтоне», в пакете, который Рэнди должен забрать вечером. Если полиция перехватит его, это будет серьезной уликой. Меня и так могли заподозрить: слишком большая сноровка в отчаянном прыжке, слишком хорошая ориентация в подземельях аэровокзала, слишком тщательно отмытые следы крови. Можно даже ждать обвинения в каком-нибудь пособничестве.

Никто не может быть вне подозрений с тех пор, как допочтенные адвокаты и прочие деятели из идейных побуждений перевозят бомбы. Конечно, я выпутаюсь из всего этого, но сначала меня упрячут под замок. Ничто не приводит в такой раж полицию, как ее собственная беспомощность.

Я внимательно пригляделся к Аннабель. Фонарь под глазом, мокрые волосы свисают космами; она сушила платице под электрической сушкой для рук — расторопная девчонка. План у меня уже созрел.

— Послушай меня, милая, — начал я. — Ты знаешь, кто я такой? Я американский астронавт, а в Европе нахожусь инкогнито с чрезвычайно важной миссией. Понимаешь? Мне необходимо еще сегодня быть в Париже, а тут нас станут по сто раз допрашивать. Пустая трата времени. Поэтому я должен позвонить в посольство, чтобы вызвать сюда первого секретаря. Он нам поможет. Аэропорт наверняка закрыт, но кроме обыкновенных бывают специальные самолеты с дипломатической почтой. Мы полетим на таком самолете. Вместе. Как тебе это нравится?

Она только пялила на меня глаза. Еще не пришла в себя, подумал я и начал одеваться. Мои туфли уцелели, потому что были на шнурках, Аннабель же свои сабо потеряла. Правда, босая девочка на улице сейчас не вызывает удивления. Я помог ей расправить сзади складки на уже почти сухом платице.

— Сейчас мы будем изображать отца и дочь. Так легче добраться до телефона, — сказал я. — Понимаешь?

Она кивнула, я взял ее за руку, и мы двинулись в широкий мир. На первый кордон мы наткнулись сразу за пандусом. Карабинеры выталкивали за дверь журналистов с фотоаппаратами, пожарные в касках бежали в другую сторону, никто не обратил на нас внимания. Полицейский, с которым я говорил, немного владел английским. Я сказал, что мы были в душе, но он не стал слушать, велел нам подняться по эскалатору В в европейскую секцию, где собирают всех пассажиров. Мы пошли к эскалатору, но, едва лестница заслонила нас, я свернул в боковой коридор. Шум остался позади. Мы вошли в пустой зал для выдачи багажа. За бесшумно бегущими транспортерами выстроились кабины с телефонами-автоматами. Я взял Аннабель в кабину и набрал номер Рэнди. Вырвал его из объятий сна. В желтом свете лампочки, прикрыв ладонью раковину трубки, рассказал ему, что случилось. Он прервал меня только раз, будто решив, что

ослышался, а потом из трубки доносилось только тяжелое дыхание, словно он утратил дар речи.

— Ты слушаешь? — спросил я, кончив рассказ.

— Парень! — сказал Рэнди. И повторил еще раз: — Парень!

Ничего больше я от него не услышал.

Тогда я приступил к главному. Он должен вытянуть Феннера из посольства и тотчас приехать вместе с ним. Это надо сделать побыстрее: ведь мы застряли между двумя кордонами полиции. Аэропорт оцеплен, но Феннер как-нибудь проберется. Девочка со мной. Мы ждем в левом крыле здания, у телефонных кабин, возле багажного транспортера E-10. Если нас там не окажется, значит, мы в зале европейской секции или, скорее всего, в префектуре. Я попросил его коротко все повторить. Взглянул на девочку, ожидая увидеть улыбку или хотя бы успокоение на ее лице, поскольку все так удачно сошло, но она по-прежнему казалась какой-то оцепеневшей. Лишь когда я отворачивался, она украдкой косилась на меня. Словно ждала чего-то. Между кабинами был мягкий диван. Мы сели на него. Поодаль сквозь стеклянные стены просматривался подъезд аэропорта. Одна за другой прибывали машины технической помощи. Из глубины здания доносился женский визг. Чтобы не молчать, я спросил девочку о родителях, об экскурсии, провожал ли ее кто-нибудь, но она отвечала как-то невпопад, односложно, не захотела даже назвать свой адрес в Клермоне, что меня уже немного разозлило. Часы показывали сорок минут второго. После разговора с Рэнди прошло более получаса. Люди в спецовках рысцей пронеслись через зал ожидания, волоча нечто похожее на электро-сварочный аппарат, в нашу сторону они даже не взглянули. Снова послышались шаги. Вдоль кабин шел техник с наушниками, прикладывая диск миноискателя к каждой двери. При виде нас он остановился. За ним появились двое полицейских. И они задержались перед нами.

— Что вы тут делаете?

— Ждем, — ответил я чистую правду.

Один из карабинеров побежал куда-то и вернулся с высоким человеком в штатском. На повторный вопрос я ответил, что мы ждем представителя американского посольства. Штатский пожелал увидеть мои документы. Когда я вынимал бумажник, техник показал на кабину, рядом с которой мы сидели. Ее стекла изнутри запотели — от нашей одежды, пока я разговаривал по телефону, шел пар. Они вытаращили на нас глаза. Карабинер коснулся моих брюк.

— Мокрые!

— Да! — радостно подтвердил я. — Хоть выжми!

Они наставили на нас дула автоматов.

— Ничего не бойся, — сказал я Аннабель.

Штатский вынул из кармана наручники. Без всяких предисловий он приковал меня к себе, а девчонкой занялся полицейский. Она смотрела на меня как-то дико. Штатский поднес к губам рацию, болтавшуюся через плечо, и забормотал по-итальянски так быстро, что я не понял ни слова. Ответ обрадовал его. Нас повели боковым проходом, где к шествию присоединились три других карабинера. Эскалатор бездействовал. Мы сошли по широкой лестнице в зал регистрации. Увидев за окнами ряд полицейских «фиатов», я успел подумать: любопытно, который предназначен для нас, и тут с другой стороны появился черный «континенталь» посольства с флажком. Не помню, когда еще вид этих звезд и полос был мне так приятен. Все происходило как на сцене — мы, закованные, двигались к стеклянной двери, а они — Дю Буа Феннер, Рэнди и переводчик посольства — в эту минуту входили в нее. Вид у них был несколько странный: Рэнди — в джинсах, а эти двое — в смокингах. Рэнди вздрогнул, увидев меня, наклонился к Феннеру, а тот, в свою очередь, обратился к переводчику, который тут же подошел к нам.

Обе группы остановились, и разыгрался короткий, красочный спектакль. Представитель посольства обратился к штатскому, к которому я был прикован. Разговор шел в быстром темпе, мой итальянец имел только тот *handicap*^{*}, что был скован со мной и, постоянно забывая об этом, жестикулировал, то и дело дергая мою руку. Кроме «*austronauta Americano*» и «*presto, presto!*»^{**} я ничего не понял. Наконец мой опекун позволил себя убедить и снова воспользовался рацией. Честь сказать несколько слов в аппарат была оказана и Феннеру. Потом агент в штатском еще раз сказал что-то в ящик, который ответил ему так, что он сразу вытянулся по стойке «смирно». Ситуация изменилась, как в фарсе. С меня сняли наручники, мы повернули назад и в таком же порядке, но уже в другом качестве — охрана вдруг превратилась в почетный эскорт — направились на второй этаж. Миновали залы ожидания, полные пассажиров, кордон полицейских и через две обитые кожей двери вошли в кабинет, забитый людьми.

* Здесь: преимущество (англ.).

** Американский астронавт (и) быстро, быстро! (ит.)

Верзила апоплексического вида тут же принялся вышвыривать всех за дверь. Хотя выставили многих, в комнате все равно осталось человек десять. Охрипший верзила оказался вице-префектом полиции. Мне придвинули кресло, Аннабель уже сидела в другом. Несмотря на солнечный день, горели все лампы, на стенах висели схемы Лабиринта, а его макет стоял на тележке возле письменного стола, на столе блестели влажные еще фотографии. Нетрудно было догадаться, что на них изображено. Феннер, усаживаясь за спиной у меня, сжал мне плечо: все шло так гладко, потому что он позвонил префекту еще из посольства. Часть присутствующих столпилась вокруг стола, другие уселись на подоконниках, вице-префект молчал, расхаживая из угла в угол, из соседней комнаты вывели под руки заплаканную секретаршу, переводчик вертел головой, поглядывая то на меня, то на девочку, приготовившись прийти нам на помощь, но мой итальянский почему-то стал лучше.

Я узнал, что аквалангисты выловили из воды мою куртку и сумочку Аннабель, благодаря чему я сделался основным объектом подозрения, поскольку они успели связаться с «Хилтоном». Меня считали сообщником японца. Мы с ним собирались, выдернув из гранаты чеку, удрать вверх по эскалатору, почему и ступили на лестницу чуть ли не первыми. Что-то нам, однако, помешало, японец погиб, а я спасся, прыгнув вниз. Дальше мнения разделились. Одни считали Аннабель террористкой, другие полагали, что я похитил ее как заложницу, чтобы потом вести переговоры с властями. Обо всем этом я узнал в частном порядке, формально допрос еще не начался — ждали начальника охраны аэропорта. Когда он явился, Рэнди как неофициальный представитель американской стороны сделал заявление о нашей операции. Я слушал его, незаметно отдирая мокрые штанины от икр. Он объяснил самое необходимое. Феннер тоже был лаконичен. Заявил, что наша операция для посольства не тайна и о ней поставлен в известность Интерпол, который, в свою очередь, обязан уведомить итальянскую сторону. Это был ловкий ход — вся ответственность перекладывалась на международную организацию. Разумеется, наша акция их совершенно не интересовала. Они хотели знать, что произошло на лестнице. Инженер технической службы аэропорта не понимал, как я мог выбраться из воронки и подземелья, не зная тамошних устройств, однако Рэнди заметил, что не следует недооценивать подготовку американских десантников, которую я прошел. Он не ска-

зал только, что я прошел ее тридцать с лишним лет назад. Все еще слышались удары по железу, от которых дрожали стены. Спасательные работы продолжались — требовалось перерезать часть моста, искореженную взрывом. Пока из-под обломков извлекли девять трупов и двадцать два раненых, из них семь — тяжело. За дверью послышался шум, и вице-префект жестом направил туда одного из офицеров. Когда офицер выходил, за расступившимися людьми я заметил отдельный столик и на нем мою куртку, распоротую по всем швам, и столь же истерзанную сумочку Аннабель. Ее содержимое было разложено на листах белой бумаги, рассортированное наподобие игральных фишек. Офицер вернулся и развел руками: пресса!

Какие-то предприимчивые журналисты сумели прорваться даже сюда. Пока их выпроваживали, другой офицер обратился ко мне:

— Лейтенант Каннети. Что вы можете сказать о взрывном устройстве? Как его пронесли?

— Фотоаппарат был с начинкой. Когда японец вынул его из футляра, задняя стенка вместе с пленкой выскочила, как чертик из шкатулки. И он выхватил гранату.

— Вам знаком этот тип гранаты?

— Я видел такие в Штатах. Часть пороховой дорожки находится в черенке. Заметив, что черенка нет, я догадался: запал переделан. Это граната оборонительного действия, с большой силой поражения. Металла в ней — кот наплакал. Оболочка сплавлена из корундовых кристаллов.

— В этом месте эскалатора вы оказались случайно, не так ли?

— Нет. — В напряженной тишине, прерываемой только далеким лязганьем, я искал подходящие слова. — Я оказался там не совсем случайно. Японец пошел вслед за девочкой, потому что знал, что она наверняка не сможет ему помешать. Девочка, — я показал на нее взглядом, — прошла вперед, потому что ей понравилась собачка, — мне так показалось. Верно? — спросил я у Аннабель.

— Да, — с явным удивлением ответила она.

Я улыбнулся ей.

— Что касается меня... я спешил. Это, конечно, иррационально, но, когда человек торопится, он невольно хочет первым оказаться в самолете, а значит, и на лестнице тоже. Я не думал об этом. Так получилось само собой.

Они перевели дух. Каннети что-то шепнул префекту. Тот кивнул.

— Мы хотели бы, чтобы барышня не слышала... некоторых подробностей. Не соизволит ли барышня покинуть нас на минутку?

Я взглянул на Аннабель. Она впервые за все это время улыбнулась мне и встала. Перед ней отворили дверь. Каннети снова обратился ко мне:

— У меня такой вопрос: когда вы начали подозревать японца?

— Я вообще его не подозревал. Свою роль он выполнил безукоризненно. Когда японец присел на корточки, я подумал, что он сошел с ума! А когда он вырвал чеку, я сообразил, что в запасе у меня нет и трех секунд.

— А сколько же?

— Этого я знать не мог. Граната не взорвалась, когда он вырвал чеку, значит, была с замедлением. Думаю, каких-нибудь две секунды, может, две с половиной.

— Мы тоже так считаем, — вставил кто-то из стоявших у окна.

— Вам, кажется, трудно ходить? Вас не контузило?

— Взрывом — нет. Я услышал его, входя в воду. Сколько с этого моста? Пять метров?

— Четыре с половиной.

— Итак, одна секунда. Моя попытка схватить гранату и прыжок через перила — тоже секунда. Вы спрашивали о контузии? Я ударился обо что-то поясницей, когда падал. Когда-то у меня была трещина в крестце.

— Там находится дефлектор, — объяснил человек у окна. — Консоль с подвешенным откосом. Любой упавший объект направляется им к центру воронки. Вы ничего не знали о дефлекторе?

— Нет.

— Извините. У меня еще вопрос, — заговорил Каннети. — Этот человек, японец, бросил гранату?

— Нет. Продолжал держать ее в руках.

— Не пытался убежать?

— Нет.

— Польштринелли, начальник охраны аэропорта, — включился в разговор стоявший у стола мужчина в заляпанном грязью комбинезоне. — Вы уверены, что этот человек хотел погибнуть?

— Хотел ли? Да. Он не пытался спастись. Ведь он мог выбросить свой фотоаппарат.

— Вы позволите? Для нас это крайне важно. Не могло ли быть так: он хотел бросить гранату в пассажиров и прыг-

нуть с моста, но вы ему помешали? Тогда он упал, а граната взорвалась.

— Этого быть не могло. Но могло быть иначе, — признал я. — Я ведь не нападаю на него. Я хотел только вырвать у него гранату, когда он отнял ее от лица. Я увидел у него в зубах чеку. Она была нейлоновая, а не из проволоки. Японец держал гранату обеими руками. Так ее не бросают.

— Вы ударили сверху?

— Нет. Так я ударил бы, если б никого на лестнице не было или мы стояли последними. Но поэтому он и не встал в конце. Ударом кулака сверху можно вышибить любую бесчеренковую гранату. Она покатила бы по ступеням, но не особенно далеко. Некоторые ставят на ступеньки багаж, хотя это, кажется, запрещено. Она никуда не укатилась бы. Я потянулся к гранате левой рукой, а этого он не ожидал.

— Не ожидал, что слева? Вы левша?

— Да. Такого он не ожидал. Он сделал неверное движение, хоть и профессионал: заслонился поднятым локтем.

— Что было дальше?

— Он ударил меня ногой и откинулся назад. Он прошел великолепную тренировку, решившему погибнуть человеку невероятно трудно опрокинуться на ступеньки таким образом. Мы предпочитаем смотреть смерти в лицо.

— Лестница была полна людей.

— Это правда. А все-таки! Ступенька за ним была свободна. Кто мог, отпрянул.

— Этого он не мог видеть.

— Не мог, но это не выглядело импровизацией. Слишком быстро он действовал. Все движения были отработаны.

Начальник охраны с такой силой сжимал пальцами столешницу, что костяшки побелели. Вопросы сыпались быстро, как при перекрестном допросе.

— Я подчеркиваю, что ваше поведение выше всякой критики. Но, повторяю, для нас чрезвычайно важно установить, как все обстояло на самом деле. Вы понимаете почему?

— Вас интересует, есть ли у них люди, готовые на верную смерть?

— Да. Поэтому прошу, чтобы вы еще раз подумали о происшедшем в течение этой секунды. Сейчас я поставлю себя на его место. Выдергиваю чеку. Хочу спрыгнуть с моста. Вы пытаетесь вырвать у меня гранату. Если бы я придерживался плана, вы могли бы поймать брошенную гранату и швырнуть ее вниз, за мной. Я колеблюсь, и это решает дело. Не могло быть так?

— Нет. Человек, который хочет бросить гранату, не держит ее обеими руками.

— Но вы же толкнули его, пытаясь вырвать гранату!

— Нет. Если бы у меня не соскользнули пальцы, я бы потянул его на себя. Прием не удался, так как он отскочил, падая на спину. Это был обдуманый ход. И скажу вам еще кое-что. Я недооценил противника. Я должен был схватить его и перебросить через перила вместе с гранатой. Наверное, я попытался бы это сделать, если бы он не застал меня врасплох.

— Тогда он отпустил бы гранату вам под ноги.

— А я прыгнул бы вслед за ним. Точнее — попробовал бы. Наверняка это было бы уже, так сказать, горчицей после обеда. Но я все-таки рискнул бы. Я вдвое тяжелее его. Руки у него были как у ребенка.

— Благодарю. У меня больше нет вопросов.

— Инженер Скаррон, — представился молодой, но уже седой человек в роговых очках, одетый в штатское. — Можете вы вообразить защиту, которая гарантировала бы от подобных покушений?

— Вы многого от меня хотите. Кажется, у вас тут собраны все возможные виды страховки.

Он сказал, что они подготовлены ко многому, но не ко всему. Например, от операции типа «Лод» нашли защиту. Отдельные части эскалатора нажатием кнопки можно превратить в наклонную плоскость, с которой пассажиры соскальзывают в водоемы.

— С этой пеной?

— Нет. Под мостом — противовзрывной бассейн. Есть и другие.

— Почему же вы этого не сделали? Впрочем, это ничего не дало бы...

— Вот именно... Кроме того, террорист действовал слишком быстро.

Он показал мне на схеме закулисную часть Лабиринта. Трассу спроектировали как поле боя. Сверху можно пустить под напором струю воды, которая сбивает с ног. Из воронки выбраться нельзя; то, что на сей раз не все люки оказались герметически закрыты, — следствие серьезного недосмотра. Он хотел подвести меня и к макету, но я вежливо отказался.

Инженер волновался. Ему хотелось показать, что он все предусмотрел, при этом он понимал, сколь это бессмысленно. И об универсальной страховке спросил меня только для того, чтобы я подтвердил невозможность ее создания. Я ду-

мал, что на этом все кончится, но пожилой человек, который уселся в кресло Аннабель, поднял руку:

— Доктор Торичелли. У меня один вопрос: каким образом вы спасли девочку?

Я задумался.

— Это был счастливый случай. Девочка стояла между нами. Я оттолкнул ее, чтобы добраться до японца, а когда он ударил меня, с размаху налетел на нее. Перила низкие. Если бы там стоял взрослый, грузный человек, я бы не сумел его перебросить, может, не стал бы и пытаться.

— А если бы там стояла женщина?

— Там стояла женщина, — сказал я, глядя ему прямо в глаза. — Передо мной. Блондинка в жемчужных брюках с чучелом собаки. Что с ней?

— Умерла от потери крови, — сказал начальник охраны. — Взрывом ей оторвало ноги.

Сделалось тихо. Люди вставали с подоконника, загремели стулья, а я еще раз вернулся мыслями к той минуте. Я знаю одно: я не пытался удержаться за перила. Оттолкнувшись от ступени, я уцепился за перила правой рукой, а левой подхватил девочку. Перепрыгнув через барьер, как через гимнастического коня, увлек ее вниз. А вот умышленно я это сделал, или она просто под руку подвернулась, не знаю.

Вопросов у них больше не было, но я хотел теперь, чтобы они спасли меня от прессы. Меня стали уверять, что это излишняя скромность, но я остался глух к увещаниям. Дело не в скромности. Просто я не желал иметь ничего общего с этой «бойней на лестнице». Вероятно, только Рэнди догадался, какими мотивами я руководствовался.

Феннер предложил мне на сутки остаться в Риме гостем посольства. Но и здесь я проявил упорство. Мне хотелось улететь с первым же самолетом, который возьмет курс на Париж. Был такой: «сессна» с материалами конференции, которая закончилась приемом в полдень, — поэтому Феннер с переводчиком и явились в аэропорт в смокингах. Мы продвигались к двери, продолжая разговаривать, когда меня отвела в сторону незнакомая дама с чудесными черными глазами. Она была психологом и все это время занималась Аннабель. Она спросила, действительно ли я хочу взять девочку с собой в Париж.

— Ну да. Она сказала вам, что я обещал ей это?

Дама улыбнулась. Спросила, есть ли у меня дети.

— Нет. Точнее, есть, но не совсем мои: два племянника.

— Любят вас?

— Конечно.

Она выдала мне секрет Аннабель. Оказывается, девочку замучила совесть. Я спас ей жизнь, а она была самого дурного обо мне мнения. Думала, что я сообщник японца или что-то в этом роде. Поэтому и пыталась бежать. В ванной я напугал ее еще больше.

— Чем, Бога ради?

В астронавта она не поверила. В посольство тоже. Думала, что я говорю по телефону с каким-то сообщником. А поскольку у ее отца винный завод в Клермоне, она решила, будто я собираюсь похитить ее, чтобы потребовать выкуп. Я пообещал даме, что ни словом не обмолвлюсь Аннабель об этом.

— А может, она сама захочет мне рассказать? — спросил я.

— Никогда в жизни или лет через десять. Возможно, вы и знаете мальчиков. Девочки — другие.

Она улыбнулась и ушла, а я принялся «вышибать» билеты на самолет. Одно место нашлось. Я заявил, что должно найтись и второе. Дошло до телефонных переговоров, и какое-то высокопоставленное лицо уступило место Аннабель. Феннер торопился на важную встречу, но готов был отложить ее, если я соглашусь с ним отобедать. Я отказался еще раз. Когда дипломаты вместе с Рэнди уехали, я спросил, не можем ли мы с девочкой перекусить в аэропорту. Все бары и кафе были закрыты, но нас это не касалось. Правила на нас не распространялись. Кудлатый брюнет, наверно агент в штатском, повел нас в маленький бар за залом регистрации. У Аннабель глаза были красные. Заплаканные. Но она уже приободрилась. Когда кельнер принимал заказ и я спросил, что она будет пить, она без запинки ответила, что у них дома всегда пьют вино. На ней была длинная блузка с закатанными рукавами, на ногах туфли, которые были ей велики. Я чувствовал себя бесподобно: и брюки успели высохнуть, и можно не есть макароны. Вдруг я вспомнил о родителях девочки. Сообщение уже могло появиться в телевизионном выпуске новостей. Мы составили телеграмму; едва я встал из-за стола, как словно из-под земли вырос наш чичероне и побежал ее отправлять. При оплате счета оказалось, что мы были гостями дирекции. Так что я расщедрился на такие чаевые, каких Аннабель и ждала от настоящего астронавта. В ее глазах я уже стал личностью негероической, но и близкой — она призналась, что мечтает переодеться.

Чичероне отвел нас в гостиницу «Алиталии», где в номере ждали наши чемоданы.

Пришлось немного поторопить девочку. Она принарядилась, и мы с важным видом двинулись к выходу. За нами пришел заместитель директора аэропорта: директор занемог. Нервы. «Фиатик» службы контроля полетов подвез нас к «сеснс», у трапа изысканного вида юноша спросил, не хочу ли я иметь фотографии, на которых запечатлены драматические события. Их вышлют по указанному адресу. Я подумал о блондинке и, поблагодарив, отказался. Последовали рукопожатия. Не могу поклясться, что в общей суматохе не пожал руки, к которой еще недавно был прикован.

Люблю летать на маленьких самолетах. «Сессна» подскочила, словно пташка, и помчалась на север. В семь мы приземлились в Орли. Отец ждал Аннабель. Еще в самолете мы с ней обменялись адресами. Мне приятно ее вспоминать, чего не могу сказать об ее отце. Он рассыпался в благодарностях, а на прощание наградил меня комплиментом, который наверняка придумал, услышав о том, что произошло. Он сказал, что меня отличает *esprit de l'escalier**.

ПАРИЖ (ОРЛИ—ГАРЖ—ОРЛИ)

Переночевал я в Орли, в гостинице «Эр Франс» — моего человека в Национальном центре научных исследований уже не было, а являться к нему домой не хотелось. Перед сном пришлось закрыть окно, потому что опять засвербило в носу. И тут я осознал, что за целый день не чихнул ни разу. Вообще-то можно было принять предложение Феннера, но уж очень я спешил в Париж.

Наутро, сразу после завтрака, я позвонил в НЦНИ и услышал, что мой доктор в отпуске, но никуда не уехал, поскольку занят отделкой дома. Я позвонил в Гарж, где он жил, но оказалось, что ему как раз сейчас подключают телефон. Пришлось поехать без предупреждения. Поезда от Северного вокзала не ходили: бастовали железнодорожники. Увидев километровую очередь на стоянке такси, я спросил, где ближайший пункт проката автомобилей — это оказалось отделение Херца, — и взял маленький «пежо». Сущее наказание ездить по Парижу, не зная дороги. Неподалеку от

* Буквально: сообразительность на лестнице (*фр.*), соответствует русскому: задним умом крепок.

Оперы — я этого пути не выбирал, просто меня туда занесло — какой-то фургон стукнул мой «пежо» в бампер, но вреда не причинил, и я поехал дальше, думая о канадских озерах и воде со льдом, потому что небо источало зной, редкий в такое время года. Вместо Гаржа я по ошибке въехал в Сарсель, уродливый стандартный жилой массив, затем долго стоял перед железнодорожным шлагбаумом, обливаясь потом и с грустью вспоминая о кондиционерах.

Доктор Филипп Барт, «мой человек», был известным французским кибернетиком и одновременно научным консультантом Сюрте. Он возглавлял коллектив, разрабатывающий компьютерную программу решения следственных задач, в которых объем важных для следствия исходных данных превосходит возможности человеческой памяти.

Облицованный разноцветной плиткой дом стоял посреди довольно старого сада. Одно его крыло осеняли чудесные вязы, дорожка к подъезду была посыпана гравием, посредине сада красовалась клумба, кажется, с ноготками: ботаника — единственная наука, от изучения которой избавлены астронавты. У открытого сарая, временно служившего гаражом, стоял весь заляпанный грязью «2СВ», а рядом — кремовый «Пежо-604» с открытыми настежь дверцами, с вынутыми ковриками, истекающий пеной, — его мыли несколько детей сразу, и так бойко, что в первую минуту я не мог их пересчитать. Это были дети Барта. Двое старших, мальчик и девочка, приветствовали меня на коллективном английском языке: когда одному не хватало слов, другой подсказывал. Откуда они знали, что ко мне надо обращаться по-английски? Потому что из Рима пришла телеграмма о приезде астронавта. А почему они решили, что именно я астронавт? Потому что подтяжек больше никто не носит. Итак, старина Рэнди сдал меня с рук на руки. Я разговаривал со старшими, а младший — не знаю, мальчик или девочка, — заложив руки за спину, ходил вокруг меня, словно в поисках точки, откуда бы я выглядел наиболее импозантно.

У их отца было по горло дел, и я уже подумал, что лучше не входить в дом, а мыть с детьми машину, но тут доктор Барт высунулся из окна первого этажа. Он оказался неожиданно молодым, а может, я просто никак не могу привыкнуть к своему возрасту. Барт поздоровался со мной вежливо, но в этой вежливости я почувствовал холодок и подумал, что напрасно мы подступили к нему со стороны Сюрте, а не НЦНИ. Но Рэнди был на дружеской ноге с полицией, а не с учеными.

Барт провел меня в библиотеку, потому что в кабинете был беспорядок после переезда, и, извинившись, на минуту оставил меня — на нем был заляпанный краской халат. Дом был весь как с иголки, книги на полках только что расставлены. Пахло сохнувшей политурой и мастикой. На стене я заметил большой снимок — Барт с детьми сидит на слоне. Я пригляделся к его лицу на снимке; никто не сказал бы, что он — надежда французской кибернетики, однако я уже давно заметил, что представители точных наук выглядят невзрачными в сравнении с гуманитариями, с философами, например.

Барт вернулся, с неудовольствием поглядывая на руки — со следами краски, и я стал давать ему советы, как от нее избавиться. Мы сели около окна. Я сказал, что я не детектив и не имею ничего общего с криминалистикой, а просто втянут в дикое и мрачное дело и теперь пришел к нему, потому что он — последняя наша надежда. Его удивил мой французский язык, беглый, хоть и не европейский. Я объяснил, что я родом из французской Канады.

Рэнди больше верил в мое обаяние, чем я сам. Я так нуждался в расположении этого человека, что испытывал смущение в создавшейся ситуации. Рекомендация Сюрте имела для него, вероятно, небольшую ценность. В университетских кругах, где царил антивоенный дух, все были убеждены: астронавтов набирают из армии, что не всегда соответствовало истине, например, в моем случае. Но ведь не мог я сейчас излагать ему свою биографию. Я колебался, не зная, как растопить лед. Как он много позже рассказывал, я походил на плохо подготовившегося к экзамену студента; выглядел столь беспомощно, что растрогал его. Хотя мои догадки оказались справедливыми: полковника, рекомендацию которого раздобыл для меня Рэнди, Барт считал фанфароном, а его собственные отношения с Сюрте складывались не лучшим образом. Но не мог же я знать, сидя перед ним в библиотеке, что лучшая тактика — нерешительность.

Барт согласился меня выслушать. Я влез в это дело прочно и был способен обо всем, что касалось его, говорить без запинки. К тому же я захватил с собой микропленку со снятыми материалами. Барт распаковал проектор, и мы включили его, не зашторивая окон, — от раскидистых деревьев за окном в библиотеке стоял зеленоватый полумрак.

— Это головоломка, — сказал я, укрепляя в проекторе катушку, — составленная из кусочков, каждый из которых по отдельности ясен, но вместе они не создают ясное целое.

Интерпол уже поломал на ней зубы. В последние дни мы провели имитирующую операцию, о которой я расскажу вам в конце. Она не дала никаких результатов.

Я знал, что компьютерная программа Барта находится в стадии доработки и, по сути, еще не применялась; о ней говорили разное, но мне хотелось заинтриговать его, и я решил рассказать о деле, правда, в сокращенном варианте.

Двадцать седьмого июня позапрошлого года дирекция неаполитанской гостиницы «Савой» сообщила полиции, что Роджер Т.Коберн, пятидесятилетний американец, накануне утром не вернулся с пляжа. Коберн, живший в отеле «Савой» уже двенадцать дней, ходил на пляж каждое утро и, так как от гостиницы до пляжа было около трехсот шагов, совершал прогулку в купальном халате. Этот халат сторож обнаружил вечером в кабине для переодевания. Коберн слыл прекрасным пловцом. Двадцать с лишним лет назад он считался одним из лучших кролистов Америки, да и в пожилом возрасте сохранил форму, хотя и располнел. На многолюдном пляже никто не заметил его исчезновения. Но пять дней спустя во время небольшого шторма волны выбросили его тело на берег.

Эту смерть сочли бы несчастным случаем, какие происходят ежегодно на любом большом пляже, если бы не одна странная деталь, положившая начало следствию. Покойный, маклер из штата Иллинойс, был одиноким человеком; так как он скончался скоропостижно, произвели вскрытие, которое показало, что он утонул с пустым желудком. Между тем дирекция гостиницы утверждала, что он отправился на пляж после плотного завтрака. Вроде бы пустяковое противоречие, но префект полиции был на ножах с группой членов городского совета, вложивших капиталы в гостиничный бизнес, в том числе и в «Савой». А незадолго до этого в том же «Савое» произошел случай, о котором еще пойдет речь. Префектура обратила внимание на гостиницу, где с обитателями происходят несчастья. Негласное следствие поручили молодому практиканту. Тот взял гостиницу и ее обитателей под наблюдение. Свежеиспеченный детектив страстно хотел блеснуть перед своим шефом, и, благодаря его рвению, обнаружились довольно-таки странные вещи.

По утрам Коберн находился на пляже, после обеда отдыхал, а под вечер отправлялся в грязелечебницу братьев Витторини принимать сероводородные ванны, которые прописал ему местный врач доктор Джионо, — Коберн страдал легкой

формой ревматизма. За последнюю до кончины неделю он трижды попадал в аварии по дороге из лечебницы и каждый раз при одинаковых обстоятельствах: пытался проскочить перекресток на красный свет. Аварии были не опасные, кончались царапинами на кузове, денежным штрафом и нагоняем в полиции. В те же дни он стал ужинать в номере, а не в ресторане, как раньше. Официанта впускал, лишь убедившись, что это сотрудник гостиницы. Перестал он и гулять по берегу залива после заката, что регулярно делал в первые дни. Все указывало на манию преследования; попытки уйти при смене желтого света красным — известный среди автомобилистов способ избавиться от погони. Манией преследования можно объяснить и меры предосторожности, которые Коберн предпринимал в гостинице.

Но ничего больше следствие не обнаружило. Коберн, разведенный четырнадцать лет назад, бездетный человек, ни с кем в гостинице не сблизился; в городе, как выяснилось, у него тоже не было знакомых. Удалось установить только, что за день до смерти он, не зная, что в Италии на это необходимо специальное разрешение, пытался приобрести револьвер. Ему пришлось удовлетвориться покупкой оружия, имитирующего вечное перо, из которого можно обрызгать нападающего смесью слезоточивого газа и несмываемой краски. Перо, не распакованное, обнаружили в вещах американца; след привел к фирме, которая продала его. Коберн не говорил по-итальянски, а человек, продавший перо, весьма слабо владел английским. От него узнали, что американец хотел приобрести оружие, способное обезвредить грозного противника, а не просто воришку.

Поскольку аварии у Коберна каждый раз происходили по пути из грязелечебницы, практикант направил свои стопы к братьям Витторини. Там помнили американца — он был довольно щедр с прислугой. В его поведении, однако, не заметили ничего особенного, если не считать, что в последние дни он спешил и уходил, не просушившись как следует, не обращая внимания на просьбы служителя подождать положенные десять минут. Столь скудные результаты не удовлетворили практиканта, в припадке вдохновения он принялся листать книги лечебницы, в которых регистрировалась плата клиентов за грязевые ванны и водные процедуры.

Во второй половине мая у Витторини кроме Коберна побывало десять американских граждан, и четверо из них, оплатив, как и Коберн, абонемент на полный лечебный курс (были абонементы на одну, две, три и четыре недели), через

восемь — девять дней перестали появляться в лечебнице. В этом еще ничего странного не было, каждый из них по каким-то личным причинам мог уехать, не востребовав деньги, однако практикант, узнав по приходной книге их фамилии, решил проверить, что с ними случилось. Когда у него спрашивали потом, почему в своих поисках он ограничился гражданами Соединенных Штатов, он не мог дать вразумительного ответа. То говорил, что ему вспомнилась афера, связанная с американцами, — полиция недавно обнаружила цепочку контрабандистов, которые доставляли героин в США через Неаполь, то ссылаясь на американское гражданство Коберна.

Один из четырех мужчин, оплативших курс и переставших принимать ванны, Артур Дж. Холлер, юрист из Нью-Йорка, срочно выехал, получив известие о смерти брата, и сейчас находился в своем родном городе. Женатый, тридцатилетний человек, он служил юридическим советником в большом рекламном агентстве. Судьба остальных троих сложилась трагически. Все они были в возрасте от сорока до пятидесяти лет, довольно состоятельными, одинокими и все лечились у доктора Джоно, причем один из них — Росс Бреннер-младший — жил, как и Коберн, в гостинице «Савой», а двое других — Нельсон С. Эммингс и Адам Осборн — в небольших пансионатах, расположенных у залива. Доставленные из Штатов фотографии продемонстрировали физическое сходство этих людей. Они были атлетического сложения, начинали полнеть, лысеть и при этом явно старались скрыть плешь.

Итак, хотя на теле Коберна, тщательно обследованном в клинике судебной медицины, не нашли следов насилия и считалось, что он утонул из-за судороги мышц или усталости, префектура приказала продолжать следствие. Занялись судьбой этих трех американцев. Вскоре установили, что Осборн выехал из Неаполя в Рим, Эммингс улетел в Париж, а Бреннер сошел с ума.

История Бреннера уже была известна полиции. Этот автоконструктор из Детройта с начала мая находился в неаполитанской городской больнице, куда попал из гостиницы «Савой». Первую неделю пребывания в гостинице он вел себя самым примерным образом — утром посещал солярий, вечером братьев Витторини, а воскресенье посвятил дальней экскурсии. Маршрут этой экскурсии удалось выяснить — их организовывало бюро путешествий, филиал которого находился в «Савое». Бреннер побывал в Помпее и Геркулануме.

В море он не купался — врач запретил из-за камней в почках. От оплаченной уже экскурсии в Анцио он отказался накануне ее, в субботу, но уже двумя днями раньше повел себя странно. Перестал ходить пешком и, даже собираясь отправиться за два квартала, требовал подать его машину, что было довольно хлопотным делом; новая стоянка гостиницы только оборудовалась и машины ее обитателей ставили впритык друг к другу в соседнем дворе. Бреннер, не желая сам выводить оттуда машину, требовал, чтобы ее пригонял кто-нибудь из служителей гостиницы — дело доходило до скандалов. В воскресенье он не только не отправился на экскурсию, но и не спустился в ресторан. Он заказал обед в номер и, едва официант вошел, набросился на него и стал душить. В потасовке повредил официанту палец, а сам выскочил из окна. Упав с третьего этажа, сломал ногу и тазобедренный сустав. В больнице установили, что у него приступ шизофрении.

Дирекция гостиницы по понятным причинам постаралась замять происшествие. Но после смерти Коберна префектура возобновила следствие и тщательно расследовала все обстоятельства дела. Возникли сомнения: действительно ли Бреннер сам выскочил из окна или его выбросили? Однако улики, опровергающих показания официанта, до того имевшего безупречную репутацию, не нашли. Бреннер по-прежнему находился в больнице: приступ безумия миновал, но бедро срасталось медленно, а родственник, который должен был прибыть за ним из Штатов, все откладывал свой приезд. В конце концов то, что у Бреннера было обострение шизофрении, подтвердил в своем диагнозе крупный специалист, и следствие снова зашло в тупик.

Второй из американцев, Адам Осборн, старый холостяк, по образованию экономист, выехал пятого июня из Неаполя в Рим на машине, взятой напрокат в фирме «Авис», причем покинул гостиницу в такой спешке, что оставил личные вещи: электробритву, зубную щетку, эспандер, шлепанцы. Чтобы передать ему все это, из «Савоя» позвонили в римскую гостиницу, в которой Осборн забронировал номер, но его там не оказалось. Гостиница не обременила себя дальнейшими поисками, и только в ходе следствия удалось установить, что до Рима Осборн не доехал. В бюро фирмы «Авис» детектив выяснил, что арендованный Осборном «опель-рекорд» со всеми его вещами обнаружили в полной исправности на стоянке у автострады под Загороло, неподалеку от Рима. «Опель» числился за римским парком фирмы

и был там зарегистрирован, а в Неаполе оказался потому, что на нем приехал какой-то французский турист. Сообщили о происшествии в римскую полицию. Вещи Осборна, найденные в машине, забрала римская префектура, она же вела и следствие, потому что Осборна на рассвете следующего дня обнаружили мертвым. Его сбила машина на съезде с автострады в сторону Палестрино, то есть почти в девяти километрах от места, где он оставил взятый напрокат «опель».

Было похоже, что он почему-то вышел из своей машины и шагал по обочине автострады до первой боковой дороги; именно там кто-то сбил его, а потом скрылся. Все это установили довольно точно благодаря тому, что Осборн пролил на резиновый коврик в «опеле» одеколон и полицейская собака, несмотря на прошедший ночью дождь, легко взяла след. Осборн шел по краю обочины, но там, где автострада вгрызается в холм, несколько раз сворачивал в сторону, взбираясь на самый верх холма, а потом снова возвращался на шоссе, то есть двигался широкими зигзагами, словно пьяный. Умер он на месте, где его сбила машина, от травмы черепа. На бетоне остались пятна крови и осколки стекла фары. Римская полиция до сих пор не нашла виновника. Самое удивительное, что Осборн прошел по автостраде девять километров и никто не обратил на него внимания. Им должен был заинтересоваться хотя бы дорожный патруль, так как ходить по автостраде запрещено. Почему его не задержали, стало ясно через несколько дней, когда ночью кто-то подбросил в полицейский участок сумку с клюшками для гольфа, принадлежавшими Осборну — на ручках значилась его фамилия. Видимо, Осборна, одетого в рубашку с короткими рукавами и джинсы, с сумкой на плече, из которой торчали ручки клюшек, принимали за дорожного рабочего. Клюшки, наверное, валялись на месте происшествия, и кто-то их подобрал, но, узнав из газет, что ведется следствие, испугался и решил от них избавиться.

Что заставило Осборна покинуть машину и отправиться по шоссе с клюшками для гольфа, осталось неясным. Пролитый в машине одеколон и валявшийся там флакон из-под него наводили на мысль, что Осборн почувствовал себя плохо, возможно, был близок к обмороку и пытался освежиться, смачивая одеколоном лицо. Во время вскрытия в крови не обнаружили ни алкоголя, ни ядов. Прежде чем покинуть гостиницу, Осборн сжег в корзине для мусора несколько исписанных листков. От них, конечно, ничего не осталось, но в вещах, забытых Осборном в гостинице, нашли пустой кон-

верт, адресованный в префектуру, словно он собирался обратиться в полицию, да передумал.

Третий американец, Эммингс, был корреспондентом Юнайтед Пресс Интернэшнл. Возвращаясь с Ближнего Востока, откуда он посылал в Штаты репортажи, он задержался в Неаполе. В гостинице сказал, что проживет не менее двух недель, но на десятый день неожиданно уехал. Он купил в кассе «Британских европейских авиалиний» билет на Лондон, и одного телефонного звонка оказалось достаточно, чтобы установить: прилетев в Лондон, он в туалете аэропорта выстрелил себе в рот и три дня спустя, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Причина его отъезда была вполне оправданной: он получил телеграмму от ЮПИ с указанием взять в Лондоне несколько интервью — ходили слухи о новом скандале в парламенте. Эммингс славился личной отвагой и хладнокровием. Он появлялся всюду, где возникали военные конфликты, — был во Вьетнаме, а еще раньше, начинающим репортером, сразу после капитуляции Японии, оказался в Нагасаки, корреспонденции откуда принесли ему известность.

Получив такие факты, практикант — он продолжал вести следствие — собирался слетать в Лондон, на Ближний Восток и чуть ли не в Японию, но начальство поручило ему сперва допросить лиц, которые сталкивались с Эммингсом в Неаполе. Снова пришлось расспрашивать персонал гостиницы, поскольку Эммингс путешествовал в одиночестве. В его поведении не заметили ничего странного. Только уборщица, приводившая в порядок номер после его отъезда, вспомнила, что в раковине и в ванне были следы крови, а на полу в ванной комнате валялись окровавленные бинты. Медицинская экспертиза в Лондоне обнаружила у Эммингса на запястье левой руки порез. Свежая рана была заклеена пластырем. Напрашивался вывод: еще в гостинице Эммингс пытался покончить с собой, но потом передумал, без посторонней помощи остановил кровь и уехал в аэропорт.

До этого Эммингс принимал сероводородные ванны, бывал на пляже и катался по заливу на катере, взятом на прокат, иначе говоря, вел себя совершенно нормально. За три дня до смерти он отправился в Рим повидаться с пресс-атташе американского посольства, своим старым приятелем. Атташе дал показания, что Эммингс был в превосходном настроении, но по пути в аэропорт странно поглядывал через заднее стекло, чем привлек внимание дипломата.

Он даже в шутку спросил у Эммингса, не завелись ли у него враги в «Аль Фатах»? Эммингс только улыбнулся и ответил, что дело совершенно не в том и он пока ничего не может рассказать, впрочем, вскоре об этом можно будет прочесть на первых полосах газет. Три дня спустя Эммингс был мертв.

Практикант, призвав на помощь нескольких агентов, снова отправился в грязелечебницу, чтобы посмотреть книги регистрации за минувшие годы. У братьев Витторини относились к его визитам со все большей неприязнью, опасаясь, что частые визиты полиции опорочат доброе имя заведения. Однако книги были положены на стол, и в них обнаружались наводящие на размышления факты. Еще восемь иностранцев в возрасте от сорока до пятидесяти лет, ведшие по приезду размеренный образ жизни, к началу второй недели вдруг прекратили процедуры и исчезли из Неаполя.

Два следа из восьми оказались ложными. Эти американцы сократили срок своего пребывания в Неаполе по не зависевшим от них причинам — у одного на предприятии, которым он владел, началась забастовка, другому пришлось выступить истцом в суде против строительной фирмы, неудовлетворительно выполнившей работы на его участке; суд неожиданно был перенесен на более ранний срок. По делу владельца предприятия начали следствие — этот человек успел умереть, а каждый случай смерти сейчас расследовали с пристрастием. В конце концов американская полиция сообщила, что фабрикант спустя два месяца после возвращения в Америку умер от инсульта: покойный много лет страдал склерозом. Еще один случай имел уголовную подоплеку, но не был включен в досье, потому что причиной исчезновения американца послужил его арест местной полицией. Она действовала по поручению Интерпола и обнаружила у арестованного запасы героина. Он ждал суда в неаполитанской тюрьме.

Итак, три случая из восьми были исключены. Еще два были несколько сомнительны. В одном дело касалось сорокалетнего американца, который принимал у братьев Витторини водные процедуры, но не сероводородные ванны. Он перестал бывать в лечебнице, повредив позвоночник при катании на водных лыжах с воздушным змеем за спиной, что позволяло, оторвавшись от воды, парить в воздухе. Моторка сделала слишком крутой поворот, и он упал с высоты десяти с лишним метров. При такой травме полагалось длительное время лежать в гипсовом корсете. Моторкой правил тоже

американец, знакомый пострадавшего. Этот случай не был окончательно отвергнут, так как у пострадавшего в больнице подскочила температура и начались галлюцинации с бредом. Диагноз колебался между какой-то экзотической болезнью, завезенной из тропиков, и затянувшимся пищевым отравлением.

Следующий сомнительный случай касался шестидесятилетнего пенсионера, итальянца, американского подданного. Он вернулся в родной Неаполь, но пенсию он получал в долларах. Он принимал сероводородные ванны как ревматик и внезапно прервал их, решив, что они дурно влияют на сердце. Он утонул в ванне, в собственной квартире, через семь дней после последнего визита в лечебницу. Вскрытие показало, что легкие наполнены водой, а сердце остановилось внезапно. У судебного эксперта никаких сомнений не возникло, но следствие, занимавшееся клиентами лечебницы братьев Витторини, натолкнувшись на это дело, снова подняло его. Возможно, пенсионер утонул не от внезапного коллапса, а просто кто-то затолкал его под воду: дверь ванной не была заперта изнутри. Допрос родственников, однако, не подтвердил возникших подозрений, к тому же отсутствовал материальный мотив: пенсия была пожизненной и к наследникам отношения не имела.

Последние три случая оказались горячими следами: они привели к новым жертвам с похожей судьбой. Снова это были одинокие мужчины, на пороге подступающей старости, но среди них оказались не только американцы. Один из них, Ивар Олаф Лейге, был инженером из Мальмё. Другой, Карл Хайнц Шиммельрейтер, — австрийцем, родом из Граца. Третий, Джеймс Бригг, выдававший себя за писателя, был сценаристом, пробавлялся случайными заработками. Он прибыл из Вашингтона через Париж, где искал подходы к издательству «Олимпия Пресс», выпускающему эротическую и порнографическую литературу. В Неаполе поселился в итальянской семье, сдавшей ему комнату. Хозяева не знали о нем ничего, кроме того, что он сам сообщил, въезжая, а именно, что он собирается изучать «отбросы общества». Для них оказалось новостью, что Бригг посещал водолечебницу. На пятый день он не вернулся ночевать. И бесследно исчез. Прежде чем уведомить полицию, хозяева, стремясь выяснить платежеспособность жильца, запасным ключом открыли его комнату и убедились, что вместе с Бриггом исчезли его вещи. Остался только пустой чемодан. Тогда они вспомнили, что жилец каждый день выходил с туго набитым

портфелем, а возвращался с пустым. Поскольку эта семья пользовалась прекрасной репутацией и давно сдавала комнаты, ее показания приняли на веру. Бригг был лысеющим, атлетического сложения мужчиной, со шрамом на лице — след зашитой заячьей губы. Семьи у него, видимо, не было, во всяком случае, обнаружить ее не удалось. Парижский издатель показал, что Бригг предложил ему издать книгу о закулисных махинациях на выборах мисс Красоты в Америке. Издатель отверг это предложение как малоинтересное. Все сказанное походило на правду. Показания хозяев квартиры не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Бригг как в воду канул. Попытки обнаружить его в среде проституток, сутенеров и наркоманов результатов не дали. Итак, случай с Бриггом, в сущности, относился к числу сомнительных и, как ни странно, был включен в досье лишь потому, что Бригг страдал сенным насморком.

Зато судьба шведа и австрийца никаких сомнений не вызвала. Лейге, многолетний член гималайского клуба, покоритель «семятысячников» Непала, приехал в Неаполь после развода с женой. Жил он в гостинице «Рим», в центре города, в море не купался, на пляж не ходил, а только загорал в солярии, посещал музеи и принимал сероводородные ванны. Поздним вечером девятнадцатого мая он выехал в Рим, хотя до этого собирался провести в Неаполе все лето. В Риме, оставив багаж в машине, отправился в Колизей, взобрался на самый верх и бросился оттуда. Он разбился насмерть. Судебная экспертиза сделала вывод, что это было самоубийство или несчастный случай, вызванный внезапным умопомрачением. Швед, статный блондин, выглядел моложе своих лет. Он тщательно следил за своей внешностью и заботился о здоровье. Каждый день в шесть утра играл в теннис, не пил и не курил, одним словом, во что бы то ни стало хотел быть в форме. С женой он разошелся незадолго до смерти. Но брак был расторгнут при обоюдном согласии, из-за несходства характеров. Это обстоятельство, установленное шведской полицией, исключало как причину самоубийства депрессию после расторжения многолетнего брака. Шведская полиция также сообщила, что супруги давно уже жили врозь и обратились в суд, чтобы придать юридическую силу фактическому положению вещей.

История австрийца Шиммельрейтера оказалась более запутанной. В Неаполе он находился с половины зимы, сероводородные ванны стал принимать в апреле. До конца месяца он утверждал, что ванны ему на пользу, и продлил абоне-

мент на май. Неделю спустя он перестал спать, сделался раздражительным и ворчливым, жаловался, что кто-то роется в его чемоданах, что пропали запасные очки в золотой оправе, а когда они нашлись за диваном, заявил, что их туда подкинули. До этого, однако, он успел подружиться с хозяйкой-итальянкой небольшого пансионата, в котором жил, и благодаря этому о его жизни в Неаполе удалось узнать довольно подробно. Десятого мая Шиммельрейтер споткнулся на лестнице и с разбитой коленкой слег в постель. Как ни странно, в эти дни он стал поспокойнее, между ним и хозяйкой снова установились наилучшие отношения, до того испорченные его раздражительностью. После прекращения болей в коленном суставе австриец возобновил посещение водолечебницы — его продолжал донимать ревматизм. И вот спустя два дня он поднял ночью на ноги весь пансионат, истошно взывая о помощи. Разбил рукой зеркало, за которым якобы кто-то скрывался, и бежал через окно. Зеркало висело на стене, и спрятаться за ним никто, конечно, не мог. Не зная, как справиться с чрезвычайно возбужденным Шиммельрейтером, хозяйка вызвала знакомого врача, и тот обнаружил у австрийца предынфарктное состояние, которое иногда случается при нарушениях психики, — так, во всяком случае, утверждал врач. Хозяйка настояла на отправке австрийца в больницу, что и было сделано. Покидая пансионат, он разбил зеркало в ванной и еще одно, на лестнице, пока у него не отняли трость, которой он орудовал. В больнице он вел себя беспокойно, плакал, пытался спрятаться под кровать да еще постоянно терял сознание от приступов удушья — он был астматиком. Студенту-медику, проходившему практику в больнице, он по секрету сообщил, что в лечебнице братьев Витторини его дважды пытался отравить, подсыпая в ванну яд, служитель — несомненно агент израильской разведки. Практикант усомнился, вносить ли эти слова в историю болезни. А ординатор счел их явным признаком мании преследования на почве склеротического слабоумия. В конце мая Шиммельрейтер умер от прогрессирующего отека легких. Семьи у него не оказалось, и его похоронили в Неаполе за счет города — пребывание в больнице исчерпало его скромные финансы.

Этот случай выделялся из всей серии тем, что Шиммельрейтер в отличие от остальных жертв не был состоятельным человеком. Следствие установило, что в годы войны он служил писарем в концлагере Маутхаузен, а после поражения Германии предстал перед судом, но был оправдан, так как

большинство свидетелей, прежних заключенных, не подтвердили его вины. Некоторые, правда, заявляли, что слышали, будто он избивал узников, но эти показания сочли недостаточными.

Хотя между ухудшением его здоровья и посещением лечебницы братьев Витторини угадывалась причинная связь, утверждения Шиммельрейтера, что его отравили, признали беспочвенными: нет яда, который при растворении в воде воздействует на мозг. Служитель, которого покойный заподозрил, оказался не евреем, а итальянцем с Сицилии и с израильской разведкой не имел ничего общего. Так что и в этом случае уголовную подоплеку смерти установить не удалось.

Досье включало уже (если не считать пропавшего без вести Бригга) пять человек, скоропостижно скончавшихся по разным, как бы случайным причинам. Однако нити во всех случаях вели в водолечебницу. Поскольку таких лечебниц в Неаполе несколько, решили просмотреть и их регистрационные книги. Следствие разрасталось подобно горному обвалу — теперь предстояло расследовать уже двадцать шесть случаев, когда клиенты-иностранцы неожиданно прекращали принимать ванны, не требуя вернуть деньги, и исчезали. По каждому такому следу приходилось идти до конца, и расследование подвигалось медленно. Дело прекращали, лишь обнаружив человека в полном здравии.

В середине мая в Неаполь прилетел Герберт Хайне, немец по происхождению, натурализовавшийся в Америке, сорокадевятилетний владелец нескольких закусочных в Балтиморе. Он много лет лечился от астмы, и врач-фтизиатр посоветовал ему сероводородные ванны для профилактики ревматических осложнений. Он принимал их в небольшой водолечебнице неподалеку от гостиницы на Муниципальной площади, в которой жил, столовался там же в ресторане и на девятый день учинил скандал из-за якобы отвратительно горькой пищи. После этого он покинул гостиницу и уехал в Салерно, где поселился в приморском пансионате. Поздним вечером он отправился купаться. Уже темнело, море было беспокойным, портье хотел остановить его, но он ответил, что не утонет, дескать, ему суждено умереть от поцелуя вампира, но не скоро. Он даже показал на запястье место, куда придется поцелуй смерти. Портье был тирольцем, считал пестояльца земляком, поскольку разговор шел по-немецки; через минуту после Хайне он вышел на берег и тут же услышал его крик. Прибежал спасатель; пока немца вы-

таскивали, он вел себя словно сумасшедший — сопротивлялся, искусал спасателя; его отправили на «скорой помощи» в больницу, где ночью он встал с постели, разбил окно и куском стекла вскрыл себе вены на руках. Дежурная сестра вовремя подняла тревогу, Хайне отходили, но он вскоре заболел крупозным воспалением легких, тяжелым, как обычно у астматиков. Через три дня он умер, не приходя в сознание. Попытку самоубийства следствие объяснило шокком после несчастного случая; морское купание посчитали и причиной воспаления легких.

Историей Хайне два месяца спустя занялся Интерпол — из-за письма, посланного покойным перед отъездом из Неаполя своему юридическому советнику в Балтиморе. В нем Хайне просил в случае его неожиданной смерти немедленно сообщить в полицию, поскольку кто-то хочет его убить. Кроме намека, что этот «кто-то» живет в той же самой гостинице, письмо никаких конкретных фактов не содержало. Оно изобиловало грубыми германизмами, хотя Хайне, уже двадцать лет живший в Штатах, в совершенстве владел английским. Это, а также несколько измененный почерк были причиной того, что адвокат усомнился в подлинности письма (написанного на бланке гостиницы) и, только узнав, при каких обстоятельствах умер Хайне, сообщил о письме властям. Графологическая экспертиза установила, что письмо подлинное, но Хайне писал его в невероятной спешке и возбуждении. Полиции и здесь пришлось прекратить расследование.

Следующим человеком, историю которого удалось восстановить, был Айан Э.Свифт, гражданин Соединенных Штатов, по происхождению англичанин, пятидесятидвухлетний владелец большой мебельной фирмы в Бостоне, прибывший в Неаполь на корабле в первых числах мая. Он оплатил сероводородные ванны в лечебнице «Адриатика», но через неделю перестал там появляться. Поначалу он жил под Ливорно, в одной из дешевых гостиниц, откуда переехал в фешенебельный «Эксельсиор» в тот самый день, когда прекратил принимать ванны. Сведения, полученные в этих гостиницах, касались, казалось, двух совершенно разных людей. Свифт, каким его запомнили в Ливорно, целыми днями корпел над торговой корреспонденцией — он снял номер с полным содержанием, ибо так выходило дешевле, — а по вечерам ходил в кино. В «Эксельсиоре» же Свифт заказал машину с шофером и нанял частного детектива, с которым катался по ночным заведениям. Он требовал, чтобы

ему ежедневно меняли постельное белье, присылал самому себе в гостиницу цветы, приставал на улице к девушкам, приглашая их покататься, а потом поужинать, наконец, покупал в магазинах все, что подвернется под руку. Эта разгульная жизнь продолжалась всего четыре дня. На пятый он оставил у портье письмо детективу. С удивлением прочтя его, тот хотел объясниться со Свифтом по телефону, но Свифт, находившийся в номере, не снял трубку. Он не выходил целый день, не обедал, но заказал ужин; когда официант принес его, Свифт находился в ванной и разговаривал с официантом через приоткрытую дверь. Точно так же он вел себя и на следующий день, словно не выносил самого вида официанта. Эти чудачества продолжались, когда в «Эксельсиоре» поселился Гарольд Кан, старый приятель Свифта и бывший его компаньон, который возвращался в Штаты после длительного пребывания в Японии. Случайно узнав, что Свифт в той же гостинице, он зашел к нему, и через сорок восемь часов они улетели в Нью-Йорк на самолете «Пан Америкен».

Случай со Свифтом включили в число отобранных, хотя он и казался нетипичным: отсутствовала роковая развязка. Однако многое указывало на то, что Свифт благополучно вернулся домой лишь благодаря Кану. Частный детектив показал, что Свифт производил впечатление человека не совсем нормального. Он рассказывал детективу о своих связях с террористической организацией «Силы ночи», которой собирался платить, чтобы она защитила его от платного убийцы, якобы подосланного конкурентами из Бостона, он хотел, чтобы детектив присутствовал на переговорах с террористами и охранял его от возможных покушений. Все это звучало крайне неправдоподобно, и поначалу детектив решил, что клиент одурманен наркотиками. Но Свифт неожиданно отказался от его услуг — коротенькой запиской, к которой присовокупил стодолларовый банкнот. О людях, угрожавших ему, он говорил, что они приходили к нему в гостиницу в Ливорно. Однако удалось установить: в гостинице его никто не посещал.

Нелегко было выжать из Кана сведения о том, что произошло в Неаполе между ним и Свифтом, — американская полиция не имела ни малейших оснований для возбуждения дела. Ни Свифт, ни Кан не совершили никакого преступления, оба благополучно вернулись в Штаты, и Свифт по-прежнему возглавлял свою фирму, но итальянская сторона настаивала на их показаниях в надежде, что Кану известны

какие-то подробности, которые прольют свет на загадочные события. Кан поначалу ничего не хотел говорить; лишь когда его частично ввели в курс дела и заверили, что тайна будет сохранена, он согласился дать письменные показания.

Протокол разочаровал итальянскую полицию. Свифт принял Кана наилучшим образом, правда сначала удоставившись; что за дверью стоит именно он. С некоторым смущением признался ему, что в последние дни натворил «глупостей», так как его отравили. Вел он себя совершенно разумно, а номер не покидал, поскольку утратил доверие к своему детективу: он считал, что тот «переметнулся на другую сторону». Свифт и показал Кану страничку письма, в котором от него требовали двадцать тысяч долларов, угрожая в противном случае отравлением. Письмо он якобы получил еще в Ливорно и напрасно пренебрег опасностью, потому что на следующее утро после истечения срока, назначенного для откупа, едва встал с постели от слабости. Полдня его мучили головокружения и галлюцинации, и он, по возможности быстрее собрав вещи, переехал в «Эксельсиор». Он не надеялся легко избавиться от шантажистов и поэтому нанял детектива, но не сказал ему зачем, рассчитывая сначала приглядеться к этому, в сущности, чужому человеку, «подвергнуть его испытанию» и ведя с этой целью определенный образ жизни.

Во всем этом была какая-то логика, непонятно только, почему Свифт остался в Неаполе. Правда, он твердил, что сероводородные ванны благотворно воздействуют на его ревматизм и он хочет закончить курс лечения. Поначалу аргумент этот убедил Кана. Но, поразмыслив над рассказом Свифта, он счел всю историю маловероятной. Сомнения усилились, когда он услышал от прислуги гостиницы о поведении Свифта. На самом деле, странно, что Свифт устраивал пьянки с подозрительными женщинами, только чтобы испытать детектива. Кан сказал об этом Свифту прямо в лицо. Тот признал его правоту, но повторил, что из-за отравления действовал не всегда осмысленно. Тогда Кан, почти уверившись, что приятель страдает душевной болезнью, решил поскорее доставить его в Штаты. Он оплатил счет в гостинице, купил билеты на самолет и не отходил от Свифта, пока они вместе не упаковали чемоданы и не отправились в аэропорт.

По некоторым деталям в рассказе Кана можно было догадаться, что Свифт принял эту самаритянскую помощь не без сопротивления. Прислуга гостиницы также подтвердила, что

перед самым отъездом американцы крупно повздорили. Однако применил Кан наряду со словесными аргументами силу или нет, выяснить не удалось — ждать от него информации, полезной для следствия, было бесполезно. Письмо с угрозами — единственная улика — пропало: Кан видел только его первую страничку и запомнил, что английский текст изобиловал грамматическими ошибками, к тому же оно плохо читалось, это был не первый экземпляр. Свифт, которого он уже в Америке спросил о письме, рассмеялся и открыл ящик стола, чтобы дать его Кану, но письма там не оказалось.

Сам Свифт категорически отказывался отвечать на вопросы, связанные с пребыванием в Неаполе. Специалисты сочли, что материал, добытый следствием, состоит из подлинных и абсурдных фактов. Печатаение письма, содержащего шантаж, через несколько листов толстой бумаги — способ затруднить идентификацию машинки, на которой отпечатан текст. Метод новый, широкая публика о нем не знает. Это как бы указывало на подлинность письма. А вот поведение Свифта — дело другое. Человек, которого шантажируют и который верит, что угрозы начинают осуществляться, так поступать не станет. Поэтому эксперты решили, что здесь переплелись шантаж, попытка получить выкуп, сделанная в Ливорно кем-то из местных (об этом свидетельствовал скверный английский язык), и временный приступ помешательства, случившийся с американцем. Если даже так оно и было, включение дела Свифта в контекст общего расследования только затемняло ситуацию вместо того, чтобы внести ясность, поскольку отклонения в поведении Свифта были типичны для всех случаев, но здесь присутствовала и реальная угроза.

Следующий случай касался швейцарца Франца Миттельгорна, прибывшего в Неаполь двадцать седьмого мая, и отличался от остальных тем, что Миттельгорна хорошо знали в пансионате, в котором он остановился: он приезжал сюда ежегодно. Состоятельный владелец большой антикварной лавки в Лозанне, старый холостяк, он славился своими чудачествами, которые, однако, терпели — Миттельгорн был завидным клиентом. Он занимал две смежные комнаты, одна служила кабинетом, другая спальней. Каждый раз перед едой он с помощью лупы проверял чистоту тарелок и столовых приборов, требовал готовить ему блюда по его собственным рецептам, потому что страдал пищевой аллергией. Когда у него распухало лицо, как бывает при отеке Квинке, он вызывал повара и устраивал ему публичный разнос. Офи-

цианты утверждали, что Миттельгорн, помимо их ресторана, посещал дешевые городские кафе; он обожал противопознанный ему рыбный суп и нарушал диету, а потом закатывал скандалы в пансионате. Во время своего последнего пребывания там он несколько изменил образ жизни, потому что еще зимой начал испытывать ревматические боли и врач прописал ему грязевые ванны. Он принимал их у братьев Витторини. В Неаполе у него был постоянный парикмахер, который приходил к нему в пансионат и пользовался личными инструментами Миттельгорна, не признававшего бывших в употреблении бритв и расчесок. Узнав в последний свой приезд, что парикмахер больше не работает, Миттельгорн пришел в ярость и успокоился, лишь подыскав себе нового доверенного цирюльника.

Седьмого июня он потребовал развести огонь в камине. Камин служил украшением большей из комнат, его не топили, но обычно никто не ждал от Миттельгорна повторного приказа. Хотя было больше двадцати градусов и к тому же солнечно, сделали, как он хотел. Камин слегка дымил, но Миттельгорна это не смутило. Он заперся в номере и даже не спустился к ужину. Уже это показалось странным, ибо он отличался большой пунктуальностью, ради соблюдения которой носил при себе не только наручные, но и карманные часы, и ни разу не пропустил ни обеда, ни ужина. Он не подошел к телефону, не отозвался на стук в дверь, тогда ее взломали, потому что замок оказался заткнутым изнутри сломанной пилкой для ногтей. Швейцарца нашли без чувств в задымленной комнате. Пустая трубочка из-под снотворного указывала на отравление. «Скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу.

В конце июня Миттельгорн собирался отправиться в Рим на аукцион древностей и привез с собой полный чемодан старинных рукописей и гравюр. Сейчас чемодан был пуст, зато камин полон обугленной бумаги. Пергамент, плохо горевший, он разрезал парикмахерскими ножницами на мелкие полоски, а рамки, которыми были окантованы старые гравюры, изломал в щепки. Имущество пансионата осталось нетронутым, только шнур от портьеры был сорван и, завязанный узлом, валялся возле стула, приставленного к окну, словно Миттельгорн пытался повеситься, но шнур не выдержал тяжести.

Когда после двухдневного забытья он пришел в сознание, врач, заподозрив начало воспаления легких, решил сделать ему рентген. Ночью Миттельгорн стал метаться, бредил,

кричал, что он невиновен и что это не он, кому-то грозил, наконец, попытался вскочить с постели, и сестра, не в силах с ним справиться, побежала за врачом. Воспользовавшись ее отсутствием, он ворвался в дежурку рядом со своей палатой, разбил стекло в аптечке и выпил бутылку йода. Умер он на третий день от тяжелых ожогов внутренних органов.

Судебная экспертиза констатировала самоубийство на почве внезапного помрачения рассудка. Но когда расследование возобновили и с пристрастием допросили прислугу гостиницы, портье вспомнил странный инцидент, происшедший вечером накануне критического дня.

На стойке у портье находилась коробка с конвертами, куда были вложены листочки бумаги для удобства приезжих и посетителей. После ужина посыльный принес билет в оперу, заказанный немцем, который жил по соседству с Миттельгорном на втором этаже. Немца не было, портье положил билет в конверт и сунул его в отделение для ключей. По ошибке конверт оказался в секции Миттельгорна. Забирая ключ, тот взял вместе с ним и конверт, вскрыл и подошел к лампе в холле, чтобы прочитать письмо. Тут у него словно подкосились ноги, он опустился в кресло и заслонил глаза рукой. Так он сидел довольно долго, потом еще раз бросил взгляд на бумажку, которую держал в руке, и торопливо, почти бегом направился в номер. Вот тогда портье вспомнил про доставленный посыльным билет и растерялся, потому что сам заказывал билет по телефону и знал, что предназначался он для немца, а не для Миттельгорна. Увидев, что конверт немца отсутствует, он удостоверился в своей ошибке и направился к Миттельгорну. Постучался и, не получив ответа, вошел. Комната была пуста. Разорванный конверт и смятый листок лежали на столе. Портье заглянул в конверт и обнаружил билет, который Миттельгорн, по-видимому, вообще не заметил. Он вынул злополучный билет и, движимый любопытством, расправил листок, который так ошеломил швейцарца. Листок был абсолютно чист. Портье вышел в растерянности, так ничего и не сказав Миттельгорну, который в этот момент возвращался в номер с бутылкой минеральной воды, взятой из холодильника.

На этом этапе расследования хватались за соломинку, и вопрос о чистом листке бумаги приобрел особое значение, тем более что на следующий день после этой истории Миттельгорн велел развести огонь в камине и жег свои бесценные рукописи и гравюры, кажется, с утра до поздней ночи, хотя на обед все же спустился. Возможно, чистый листок

был паролем или неким условным сигналом, ввергшим Миттельгорна в депрессию, или же в холле у него начались галлюцинации и он «вычитал» на чистом листке отсутствовавший там текст.

Первый вариант казался совершенно невероятным, попахивал дешевым трюком из детективного фильма и не вязался с представлениями о Миттельгорне. Ведь он был олицетворением респектабельности, почтенным антикваром и известным экспертом; в его делах не нашли даже намека на тайну или преступление. Однако, углубившись в его прошлое, докопались до давних фактов периода второй мировой войны. Миттельгорн заведовал тогда антикварным магазином в Мюнхене — одним из самых больших в Германии. Владельцем же был пожилой богатый еврей. После введения нюрнбергских законов* Миттельгорн стал поверенным антиквара. Потом владельца отправили в Дахау, где он и погиб. После войны Миттельгорн вступил во владение магазином, предъявив документ, по которому покойный передавал ему все свое имущество. Однако вскоре поползли слухи, что антиквара вынудили составить этот документ и что Миттельгорн якобы был к этому причастен. Это были только слухи, но два года спустя Миттельгорн перевел свою фирму в Швейцарию и обосновался в Лозанне. Напрашивался вывод, что его психологический кризис связан с событиями сорокалетней давности: в пароксизме зрительной галлюцинации он принял чистый лист бумаги за какое-то известие, возможно, за напоминание о его грехах, в смятении уничтожил ценные манускрипты и наглотался снотворного. В больнице он бредил, ему мерещился погибший в Дахау хозяин магазина, в припадке безумия он повторил попытку самоубийства.

Все это могло быть именно так, хотя гипотеза казалась чересчур замысловатой и несколько не объясняла, что, собственно, привело столь уравновешенного человека во внезапное помешательство. Удалось отыскать соседа Миттельгорна по этажу, который подтвердил показания портье: он действительно не получил вовремя заказанный билет в оперу, билет вручили ему лишь на следующее утро. На этом следствие по делу чудаковатого антиквара зашло в тупик.

В досье сосредоточилось уже девять загадочных случаев с неизменно трагической развязкой. Сходство их казалось очевидным, но по-прежнему не удавалось свести их в одно

* Расистские законы, принятые в 1935 году в гитлеровской Германии.

уголовное дело и начать поиски виновных — неясно было, существуют ли они вообще.

Самое удивительное произошло уже вслед за прекращением дела Миттельгорна. Через год после всех перипетий в пансионат на его имя пришло письмо из Лозанны. Адрес на конверте отпечатан был на машинке, а внутри лежал чистый листок бумаги. Кто отправил письмо, установить не удалось. Это не могло быть идиотской шуткой какого-нибудь читателя газет — печать ни словом не обмолвилась о первом письме-пустышке.

У меня по этому вопросу свое мнение, но я пока оставлю его при себе. Что касается последних двух случаев, то один из них произошел несколько лет назад, другой совсем недавно. Начну с первого.

Весной, в мае, в Портичи, около Геркуланума, поселился немец из Ганновера Иоганн Тиц. Он выбрал небольшой пансионат с чудесным видом на Везувий, который его весьма интересовал — Тиц издавал открытки и собирался выпустить серию с видами Везувия. Вообще-то он приехал сюда лечиться — с детства его мучила астма. Поселившись в пансионате, он стал ходить на пляж, где загорел так, что кожа покрылась волдырями. Дерматолог, к которому он обратился, запретил ему солнечные ванны и был удивлен резкой реакцией пациента, утверждавшего, что загар — единственный способ избавления от астмы. В этом его якобы уверил врач в Ганновере. Принимал Тиц и грязевые ванны в небольшой лечебнице, куда ежедневно ездил из Геркуланума на собственной машине. Девятого мая Тиц почувствовал себя скверно — началось головокружение; он решил, что это желудок реагирует на несвежую рыбу, которой хозяйка накормила его, устроил скандал, заявив, что не заплатит ни гроша, однако все-таки оплатил счет и покинул пансионат.

Убирая комнату после его отъезда, хозяйка обнаружила на стене надпись красной тушью: «Здесь я был убит». Тушь так глубоко въелась в штукатурку, что пришлось заново белить стену, поэтому хозяйка пожаловалась на бывшего жильца в полицию. Между тем Тиц направился на север, где-то под Миланом на прямом участке автострады неожиданно свернул влево и, переехав разделительную полосу, помчался навстречу движению, не обращая внимания на сигналы, на которые не скупилась водители. И вот что удивительно: он проехал таким образом почти четыре километра, вынуждая идущие навстречу машины к отчаянным маневрам. Некоторые потом утверждали, что он, похоже,

искал во встречном потоке «подходящую» машину — чтобы врезаться в нее. Огромный грузовик «Интертранса» для дальних перевозок, который загородил ему дорогу, он объехал по разделительному газону и снова вернулся на левую полосу, чтобы менее чем через километр столкнуться с маленькой «симкой», в которой ехали супруги с ребенком. Жив остался только ребенок, получивший тяжелые увечья. Тиц, ехавший без привязных ремней и на большой скорости, погиб за рулем. Пресса высказывала догадку: может, это новая форма самоубийства, когда смертник стремится увлечь за собой на тот свет и других? Врезавшись в огромный грузовик с прицепом, Тиц погиб бы один, поэтому он, вероятно, и не воспользовался представившимся «случаем».

Историю Тица включили в досье, узнав о событиях, предшествовавших аварии. Выяснилось, что, проехав Рим, Тиц, у которого барахлил мотор, остановился на станции обслуживания и умолял механиков поторопиться с ремонтом, так как за ним «гонится красный бандит». Механики сначала думали, что это шутка, но изменили мнение, когда он пообещал им по десять тысяч лир, если они починят двигатель за пятнадцать минут, и слово свое сдержал. Более того, он заплатил по десять тысяч лир всем до единого механикам станции (а их было девять человек), и тогда они решили, что он спятил. Может, и не удалось бы установить, что на станции побывал именно Тиц, но при выезде на шоссе он задел одну из стоявших у ворот машин, поцарапав ее кузов, и его номер записали.

Последний случай касался Артура Т. Адамса II, который поселился в неаполитанской гостинице «Везувий» с намерением три недели принимать ванны, но прекратил лечение уже через несколько дней, поскольку оказалось, что у него аллергия на серу. Это был сорокадевятилетний рослый мужчина, подвижный и на вид добродушный, хотя и неустроенный: раз десять он менял профессию. Был поочередно банковским служащим, сотрудником «Медикара», продавцом роялей, учил по переписке банковскому делу, преподавал дзюдо и каратэ, но еще с большей охотой предавался различным хобби. Получил свидетельство парашютиста, был любителем-астрономом, целый год издавал непериодический журнал под названием «Артур Т. Адамс II», где помещал комментарии по вопросам, которые его в то время занимали. Печатал журнал за собственный счет и бесплатно рассылал нескольким десяткам своих знакомых. Он был членом множества обществ, начиная с дианоэтического и кон-

чая союзом страдающих сенной лихорадкой. Возвращаясь на машине из Неаполя в Рим, он вел себя странным образом. То мчался вовсю, то останавливался посреди поля, купил по дороге камеру, хотя у него были бескамерные шины, а когда под Римом началась гроза, остановил автомобиль. Полицейскому патрулю, который затормозил рядом, сказал, что у него вышли из строя дворники. На самом деле они были в исправности. В Рим прибыл ночью и, хотя из Неаполя забронировал себе номер в «Хилтоне», объехал гостиницы в поисках свободной комнаты и, лишь нигде ее не найдя, прикатил в «Хилтон».

Наутро его нашли в постели мертвым. Вскрытие показало умеренную эмфизему легких, расширение сердца и гипертрофию внутренних органов, типичную при смерти от удушья. Однако непонятно было, как это могло произойти. В судебно-медицинском заключении говорилось, что смерть наступила либо от перенапряжения парасимпатической нервной системы, либо от удушья во время астматического приступа в сочетании с сердечной недостаточностью. Этот случай какое-то время дискутировался в медицинских журналах, где судебное заключение подверглось критике как ошибочное. Только младенец способен задохнуться, зарывшись лицом в подушку. Если же во сне взрослому человеку нечем станет дышать, он тотчас проснется. О том, что Адамс страдал астмой, никто никогда не слышал. Откуда же взялся приступ? Мертвый лежал ничком, зарывшись головой в подушку, которую руками прижал к лицу. Если это самоубийство, судебная медицина не знает подобного прецедента. Говорили о смерти от страха. Такое и в самом деле случается, но не на почве ночных кошмаров.

Интерпол занялся этим делом с большим опозданием, когда в Штаты пришли письма, посланные покойным из Неаполя бывшей жене, с которой и после развода он поддерживал добрые отношения. Письма, отправленные с трехдневным промежутком, пришли одновременно из-за забастовки почтовых работников. В первом письме Адамс сообщал, что пребывает в угнетенном состоянии, потому что у него начались галлюцинации, «точь-в-точь такие, как после рафинада». Он имел в виду период перед разводом, когда Адамс и его жена принимали псилоцибин на сахаре. Он недоумевал, почему именно сейчас, пять лет спустя, его вновь стали посещать жуткие ночные галлюцинации. Другое письмо по тону и содержанию оказалось совершенно иным. Галлюцинации продолжались, но перестали его тревожить — он открыл их причину.

«Мелочь, до смысла которой ты никогда не докопалась бы, открыла мне глаза на неслыханную аферу. Я раздобыл материал для целой серии статей о совершенно новом типе преступления, преступления не только немотивированного, но и безадресного, как если бы кто-то рассыпал гвозди на шоссе. Ты знаешь, что я не очень-то склонен к преувеличениям, но, когда я начну это публиковать, всколыхнется не только пресса. Мне приходится соблюдать осторожность. Материалы я при себе не держу. Они в безопасности. Писать тебе об этом отсюда больше не буду. Дам знать, когда вернусь. Напишу из Рима, постараюсь быстрее, потому что я наткнулся на золотую жилу, мечту каждого журналиста. Но это золото убивает».

Не стоит распространяться о том, как рьяно искали тайник Адамса. Поиски не дали никаких результатов. Оставалось предположить: либо это письмо — результат бреда, либо он слишком надежно упрятал полученную информацию.

Смертью Адамса завершился список трагических происшествий, берущих начало в Неаполе и его окрестностях. В расследовании наряду с итальянской участвовали полиции других стран, в зависимости от подданства жертв, — шведская, немецкая, австрийская, швейцарская и, конечно, американская. Всю работу координировал Интерпол. Попутно вскрылось множество мелких нарушений, например, что гостиницы с опозданием заявляют об исчезнувших клиентах, что иногда в случаях скоропостижной смерти не производится вскрытие трупов. Но нигде не было выявлено преступных намерений — только халатность, медлительность или своекорыстие.

Первым отказался продолжать расследование Интерпол, а вслед за ним и полиции отдельных государств, в том числе и итальянская. Лишь после шагов, предпринятых миссис Урсулой Барбур, главной наследницей Адамса, с папок стряхнули пыль. Адамс оставил около девяноста тысяч долларов в ценных бумагах и акциях. Миссис Барбур, восьмидесятилетняя женщина, заменявшая Адамсу мать, решила часть этого капитала употребить на розыск убийц приемного сына. Ознакомившись с обстоятельствами смерти Адамса и содержанием его последнего письма бывшей жене, она уверилась, что Адамс стал жертвой дьявольски изощренного преступления, раз оно не по зубам полициям всего мира.

Миссис Барбур поручила вести дело серьезному агентству «Элджин, Элджин и Торн», которое возглавлял Сэмюэль Олин-Гаар, юрист, старый друг моего отца. Это произошло

в те дни, когда стало очевидным, что моя карьера астронавта кончается. После того как сотрудники агентства еще раз перелистали предоставленные в их распоряжение дела, прошли по каждому следу, ухлопали массу денег на консультации у светил криминалистики и судебной медицины и не продвинулись при этом ни на шаг, Олин-Гаар, по совету одного из самых старых своих сотрудников — Рэндольфа Лерса, которого друзья запросто звали Рэнди, движимый скорее отчаянием, чем надеждой на успех, решил организовать имитирующую операцию, а именно: выслать в Неаполь одинокого американца, по мере возможности похожего на жертву.

Я часто гостил в доме старого мистера Олина, и как-то он полусуто стал вводить меня в курс дела, считая, что не нарушает этим профессиональную тайну. Задуманная им операция выдавала стремление умыть руки, расписавшись в собственной беспомощности, чтобы затем поскорее забыть об этой истории. Меня же мысль о моей кандидатуре забавляла, пока не выяснилось, что она, пожелай я этого, будет принята. В самом деле: мне стукнуло пятьдесят, я был в приличной физической форме, хотя при смене погоды давали о себе знать легкая ломота в костях и, разумеется, сенной насморк.

Поскольку эта история с того берега океана представлялась довольно интересной, я позволил вовлечь себя в авантюру. С документами на имя Джорджа Л. Симпсона, маклера из Бостона, я три недели назад прилетел в Неаполь, чтобы поселиться в гостинице «Везувий», взять абонемент у братьев Витторини, купаться, загорать и играть в волейбол. Стремясь добиться как можно большего сходства, я даже запасся личными вещами Адамса, хранившимися у миссис Барбур. В Неаполе меня опекала бригада из шести человек — две пары на смену и помимо них два специалиста, следившие на расстоянии за моим кровообращением, работой легких и сердца. Только на пляж я ходил без датчиков, и тогда в ход пускались бинокли. По приезде я положил в сейф гостиницы девятнадцать тысяч долларов, чтобы взять их через пять дней и держать в номере. Я не избегал случайных знакомств, посещал те же музеи, что Адамс, как и он, побывал в опере, бродил его маршрутами по берегу залива, а в Рим поехал на том же самом «хорнете». В нем имелся усилитель, увеличивавший радиус действия датчиков. В Риме меня ждал доктор Сидней Фокс, судебно-медицинский эксперт. Ему предстояло просмотреть все ленты с

записями, что он и сделал. И вот так — полным провалом — наша операция и завершилась.

Я представил Барту «дело одиннадцати» в сокращенном варианте, которым мы пользовались, когда подключали к следствию кого-то нового. Этот вариант мы называли панорамным.

Окна кабинета выходили на север, а тень от больших ваз делала его еще темнее. Когда я выключил проектор, Барт зажег настольную лампу, и комната сразу преобразилась. Барт молчал, несколько удивленно приподняв брови, а мне это вторжение к нему, совершенно чужому человеку, показалось вдруг абсолютно бессмысленным. Я опасался, что он спросит, какой, собственно, видится мне его помощь, а то и прямо заявит, что подобные проблемы — вне сферы его интересов. Между тем Барт встал, прошелся по комнате, остановился за прекрасным старинным креслом и, положив руки на резную спинку, сказал:

— Знаете, что надо было сделать? Послать целую группу «симулянтов». По меньшей мере человек пять.

— Вы думаете?.. — удивился я.

— Да. Если представить вашу операцию в категориях точного эксперимента, то вы не выполнили исходных, или граничных, условий. Чего-то недоставало вам или вашему окружению. Следовало подобрать людей в таком интервале дисперсии, какой наблюдался у жертв.

— Ну и подход у вас! — непроизвольно вырвалось у меня.

Он улыбнулся:

— Вы привыкли к другому словарю, не так ли? Потому что оказались в кругу людей, мыслящих полицейскими категориями. Эти категории хорошо разработаны для поимки преступников, но не для решения проблемы: существует ли преступник вообще? Я полагаю, что, даже очутившись в опасности, вы могли ее не заметить. Конечно, до поры до времени. Но и позже вы разглядели бы сопутствующие обстоятельства, а не причинный механизм.

— Разве одно не может быть одновременно и другим?

— Может, но не обязательно.

— Но ведь я, в отличие от тех одиннадцати, был подготовлен к этому заранее. Я должен был записывать любую подозрительную деталь.

— И что же вы записали?

Смешавшись, я улыбнулся:

— Ничего. Раза два хотелось, но я счел, что это от обостренного самоанализа.

— Вы когда-нибудь подвергались действию галлюциногенов?

— Да. В Штатах до начала этой операции. ЛСД, псилоцибин, мескалин — под медицинским контролем.

— Понимаю. Закалка. А можно узнать, на что вы рассчитывали, согласившись выступить в подобной роли? Вы лично.

— На что я рассчитывал? Я был умеренным оптимистом. Надеялся, что мы хотя бы установим, преступление это или стечение обстоятельств.

— Вы были большим оптимистом! Неаполитанская западня существует — это кажется мне бесспорным. Однако это не часовой механизм, а скорее лотерея. Симптомы изменчивы, прихотливы, они исчезают или вовсе не проявляют себя. Не так ли?

— Безусловно.

— Ну вот. Моделью может служить участок, находящийся под обстрелом. Вас могут убить и взяв на мушку, и вследствие плотности обстрела. Но ведь так или иначе на той стороне кто-то заинтересован в трупах.

— Ах, вот как вы это себе представляете! Шальная пуля не исключает преступления?

— Само собой. А вы об этом не думали?

— В общем-то нет. Однажды, правда, подобная мысль была высказана, но на это возразили, что в таком случае придется соответственно повернуть следствие...

— Да, да! Злой человек или злая судьба! Недаром же существует выражение *corriger la fortune**. Кстати, почему вы не применяли двусторонней связи?

— Это было бы обременительно. Не мог же я ходить увешанным электроникой. Имелась и еще одна опасность, проявившаяся в истории со Свифтом, которого спас знакомый, остановившийся в той же гостинице. Свифт настолько впечатляюще изложил ему свои бредовые видения, что почти убедил его.

— Ага, *folie à deux*** Вы опасались, что бред, начавшись, окажется заразительным для ваших ангелов-хранителей?

— Вот именно.

— Поправьте меня, если я ошибаюсь: из одиннадцати двое уцелели и один исчез. Его фамилия — Бригг. Верно?

— Да, но Бригг был бы уже двенадцатым. Мы все-таки не включили его в серию.

* Поправлять судьбу (фр.).

** Безумие вдвоем (фр.).

— Не хватило данных? Теперь — о хронологической последовательности. Ваш отчет в этом отношении составлен плохо. Вы излагаете эпизоды в том порядке, в каком их выявляли, то есть совершенно произвольно, а не в том, в каком они происходили на самом деле. Сколько сезонов это продолжалось? Два?

— Да, Тиц, Коберн и Осборн — два года назад. Тогда же исчез и Бригг. Все остальные в прошлом году.

— А в нынешнем?

— Если что и произошло, мы узнаем об этом не раньше осени. Тем более что полиция прекратила следствие.

— Похоже, шло по возрастающей: в первой серии три жертвы, во второй — восемь. Что ж... Вы сыграли роль приманки не только в Неаполе, но и здесь, в Париже...

— Как это понимать?

— Вы и меня поймали на удочку. Признаюсь: это втягивает! В вашем изложении проблема кажется такой ясной! Закономерность просто бросается в глаза. Но поскольку все на этом поломали зубы, можно сделать вывод, что она каверзна! Каверзна, хотя уверенность в том, что это какая-то форма безумия, никем умышленно не вызванного, растет с каждым последующим случаем. Вы того же мнения?

— Конечно. Это общая точка зрения. Иначе следствие не прекратили бы.

— Почему же тогда остаются подозрения, что это злодеяние?

— Как вам сказать... Так рассматриваешь снимок в газете. Невооруженным глазом видишь лишь общие очертания фигуры, но не отдельные детали. Рассматриваешь снимок в лупу — что-то вырисовывается лучше, но одновременно расплывается. Берешь самую мощную линзу, и картина исчезает, рассыпавшись на отдельные точки. Каждая точка сама по себе, воедино они уже не складываются.

— Вы хотите сказать, что, приняв гипотезу о случайной серии отравлений, мы опровергаем ее тем успешнее, чем тщательнее проводим расследование?

— Вот именно!

— А когда переходим к гипотезе о преднамеренных убийствах, происходит то же самое?

— То же самое. Результаты примерно таковы: никто никого не отравлял и нечем было отравиться. Тем не менее... — Я пожал плечами.

— Так почему вы настаиваете именно на этой альтернативе: преступление или случайность?

— А что же еще остается?

— Хотя бы это, — кивнул он на лежащую на столе «Франс суар». — Вы читали сегодняшние газеты?

Он показал на аршинные заголовки: «Бомба в Лабиринте», «Бойня на лестнице», «Таинственный спаситель девочки».

— Да, — сказал я. — Я знаю, что там случилось.

— Ну вот, пожалуйста. Классический пример современного преступления: совершено оно преднамеренно, а жертвы случайные — погибли те, кто оказался в его орбите.

— Но ведь здесь нечто совсем другое!

— Конечно, это не одно и то же. В Неаполе смерть предопределяли какие-то индивидуальные особенности. В римском аэропорту это не имело значения. Разумеется. Однако уже тот человек, Адамс, писал жене о преступлении бездарном и в качестве примера привел гвозди, рассыпанные на шоссе. Это, ясное дело, слишком упрощенная модель. Но не менее ясно: если кто-то и стоит за этими смертями, он ни в чем так не заинтересован, как в создании впечатления, буд-то его нет вообще!

Я молчал, а Барт, бросив на меня взгляд, прошелся по комнате и спросил:

— А что вы сами об этом думаете?

— Могу сказать только, что меня больше всего поражает. При отравлении должны быть одинаковые симптомы.

— А разве они не одинаковы? Я полагал, что да. Очередность достаточно типичная, фаза возбуждения и агрессивности, фаза бредовых видений, обычно на почве мании преследования, фаза исхода: бегство из Неаполя или даже из жизни. Спасались кто как умел: на машине, самолете, даже пешком или же при помощи стекла, бритвы, веревки, выстрела в рот, настойки йода...

Мне показалось, что он хочет блеснуть своей памятью.

— Да, симптомы сходные, но когда начинаешь внимательно изучать биографию каждой жертвы, поражаешься...

— Ну, ну?

— Обычно то, как умирает человек, не связано с его характером. Ведь от характера не зависит, умираешь от воспаления легких, от рака или в результате автомобильной катастрофы. Бывают, конечно, исключения, например, профессиональная смерть летчиков-испытателей... но обычно нет корреляции между образом жизни и смертью.

— Короче говоря, смерть не соотносится с индивидуальностью. Скажем, так. И что же дальше?

— А здесь она соотносится.

— Дорогой мой, вы потчуете меня демонологией! Как прикажете это понимать?

— В буквальном смысле. Великолепный пловец тонет. Альпинист гибнет при падении. Страстный автолюбитель разбивается при лобовом столкновении на шоссе.

— Постойте! Ваш автолюбитель — это Тиц?

— Да. У него было три машины. Две спортивные. Погиб, когда ехал на «порше». Пойдем дальше: человек, боязливый по натуре, гибнет, убегая...

— Это который из них?

— Осборн. Погиб, когда, бросив машину, шел по автостраде, и его принимали за дорожного рабочего.

— Вы ничего не говорили о его трусости!

— Простите. В сокращенном варианте, который я вам изложил, многие детали опущены. Осборн работал по страховой части, сам был застрахован и пользовался репутацией человека, избегающего любого риска. Почувствовав себя в опасности, он принялся писать в полицию, но испугался, сжег письма и сбежал. Адамс, человек неуравновешенный, погиб, как и жил, — необычно. Отважный репортер держался молодцом, пока не кончил выстрелом в рот...

— А его отъезд из Неаполя не был бегством?

— Не думаю. Ему велено было лететь в Лондон. Он, правда, впал на какое-то время в депрессию, вскрыл себе вены, но забинтовал руку и полетел выполнять задание. А застрелился, потому что почувствовал: он не в силах его выполнить. Он был слишком самолюбив. Не знаю, каким мог оказаться конец Свифта, но в молодости он отличался слабоволием: типичный блудный сын — воздушные замки, излишества, — он всегда нуждался в опеке более сильного человека. Жены, друга. Все это повторилось в Неаполе.

Барт, нахмурившись, тер пальцем подбородок, устремив прямо перед собой невидящий взгляд.

— Что ж, это, в сущности, объяснимо. Регрессия... отступление к начальному периоду жизни, я не специалист, но галлюциногены, пожалуй, вызывают... А что говорят токсикологи? Психиатры?..

— Симптомы имеют определенное сходство с симптомами после приема ЛСД, но ЛСД не воздействует так индивидуально. Фармакология не знает столь личностных средств. Когда я знакомился с жизнью этих людей, мне казалось, что ни один из них, сходя с ума, не отошел от своего естества, наоборот, каждый проявил его карикатурно-утрированно. Бережливый становился скрягой, педант... этот антиквар,

целый день резал бумагу на тонкие полоски... И другие... Я могу оставить вам материалы, вы сами убедитесь.

— Обязательно оставьте. Значит, фактор X — как бы «отравитель личности»? Это существенно... Однако с этой стороны, пожалуй, не подберешься к разгадке. Изучение психологии жертв может показать, как действует подобный фактор, но не как он проникает в организм.

Он сидел, подавшись вперед, с опущенной головой, глядя на руки, охватившие колени, и вдруг посмотрел мне в глаза:

— Я хочу задать вам вопрос личного свойства... Можно? Я кивнул.

— Как вы себя чувствовали во время операции? Все время уверенно?

— Нет. Это, в общем, было неприятно — в Америке я представлял себе все по-другому. И неприятно не потому даже, что я пользовался вещами умершего, к этому я скоро привык. Предполагалось, что я как нельзя лучше подхожу для такой операции в связи с моей профессией...

— Да? — поднял он брови.

— Публике преподносят ее как нечто увлекательное, но сводится она к тренировкам и еще раз к тренировкам. Скудное однообразие и лишь краткие минуты подъема.

— Ага! Почти то же, что и в Неаполе, верно?

— Да, к тому же нас приучают к самонаблюдению. Показания приборов могут подвести, тогда последним индикатором остается человек.

— Итак, скучное однообразие. А что внесло разнообразие в Неаполе? Когда и где?

— Когда я испугался.

— Испугались?

— По крайней мере дважды. Это меня развлекло.

Я подбирал слова с трудом, настолько это ощущение было неуловимо. Он не спускал с меня глаз.

— Вам приятно ощущение страха?

— Не могу сказать, да или нет. Хорошо, когда возможности человека совпадают с желаниями. Я обычно хотел то, чего не мог. Существует масса разновидностей риска, но банальный риск, скажем, вроде того, которому подвергаешься в русской рулетке, мне не по душе. Это бессмысленный страх... А вот то, что нельзя определить, предугадать, разграничить, меня всегда привлекало.

— Поэтому вы и решили стать астронавтом?

— Не знаю. Возможно. Нас считают смышленными шимпанзе, которыми по хорошо разработанной программе уп-

завляет на расстоянии земной компьютер. Наивысшая организованность как знак цивилизации, противоположный полюс которой все это. — Я указал на газету с фотографией римского эскалатора на первой полосе. — Не думаю, однако, что все так просто. А если даже это и так, то на Марсе мы все равно будем в полном одиночестве. Я с самого начала знал, что мой физический недостаток дамочным мечом висит надо мною, ведь шесть недель в году, когда цветут травы, я ни на что не гожусь. Правда, я рассчитывал полететь — на Марсе травы не растут. Это совершенно точно известно, и мои начальники тоже считали, что я годен, но в итоге проклятый насморк отодвинул меня в дублиеры, и мои шансы свелись к нулю.

— Шансы полета на Марс?

— Да.

— Но вы согласились остаться дублиером?

— Нет.

— *Aut Caesar, aut nihil**.

— Если вам угодно.

Барт расплел пальцы и весь ушел в кресло. Казалось, так вот, прикрыв веки, он переваривает мои слова. Затем приподнял брови и слегка улыбнулся:

— Вернемся на Землю! Все эти люди были аллергиками?

— Почти наверняка все. Только в одном случае не удалось установить точно. Аллергия была разной — в основном на пыльцу растений, а кроме того, астма...

— А можно узнать, когда вы испугались? Вы сказали минуту назад...

— Запомнились два момента. Один раз в ресторане гостиницы, когда к телефону позвали Адамса. Это распространенная фамилия, речь шла о другом человеке, но мне показалось, что это не простая случайность.

— Вам подумалось, что к телефону просят покойного?

— Нет, конечно. Я подумал: что-то начинается. Что это пароль, предназначенный для меня, о котором никто из присутствующих не мог бы догадаться.

— А вы не думали, что это кто-нибудь из вашей группы?

— Нет. Это исключалось. Им запрещено было вступать со мной в контакт. Если бы произошло нечто, отменяющее нашу операцию, скажем, началась бы война, ко мне пришел бы Рэнди — руководитель группы. Но только в подобном случае.

* Цезарем или никем (лат.).

— Простите, что я так назойлив, но для меня это важно. Итак, позвали Адамса. Но если имели в виду вас, это значило бы, что ваша игра раскрыта и вам дают это понять — вы-то выступали не под именем Адамса!

— Конечно. Наверно, поэтому я и испугался. Хотел подойти к телефону.

— Зачем?

— Чтобы выйти на связь с ними — с другой стороной. Лучше так, чем ничего не знать.

— Понятно. Но вы не подошли?

— Нет, обнаружился настоящий Адамс.

— А во второй раз?

— Это было уже в Риме, ночью, в гостинице. Мне дали тот же номер, в котором во время сна умер Адамс. Что ж, расскажу вам и про это. Когда меня направляли, обсуждались различные варианты моего поведения. Я мог повторить путь любой из жертв, не обязательно Адамса, но я участвовал в совещаниях и перетянул чашу весов в пользу Адамса...

Я прервал рассказ, видя, как у него заблестели глаза.

— Понятно. Не сумасшествие, не море, не автострада, а просто безопасный запертый номер в гостинице — одиночество, комфорт и смерть. Верно?

— Возможно, но тогда я об этом не думал. Предполагали, как мне кажется, что я избрал его маршрут, рассчитывая обнаружить сенсационные материалы, которые он раздобыл и где-то припрятал, но и это было не так. Просто этот человек мне чем-то imponировал.

Хотя Барт и уязвил меня минуту назад своим «Aut Caesar, aut nihil», я по-прежнему говорил откровеннее, чем привык, поскольку был в нем крайне заинтересован. Не могу сказать, когда именно стремление раскрыть это дело стало моей навязчивой идеей. Поначалу к обезличенности источника зла я относился как к своего рода правилу игры, с которым необходимо считаться. Сам не знаю, когда эта игра меня затянула, чтобы потом отвергнуть. Я поверил в обещанные ужасы, у меня были доказательства, что это не выдумка, — я едва не пережил их, но все оказалось иллюзией. Я не удостоился приобщения. Сыграл Адамса как умел, но не соприкоснулся с его судьбой, ничего не испытал, а поэтому и ничего не узнал. Быть может, слова Барта так меня задели именно потому, что в них была правда. Фрейдист Керр, коллега Фицпатрика, тоже фрейдиста, наверняка сказал бы, что я все поставил на карту, предпочтя скорее погибнуть, чем проиграть, именно погибнуть, поскольку я про-

игрывал; мою ставку на Адамса и всю операцию он свел бы к фрейдистской схеме влечения Танатоса*. Наверняка бы так сказал. Все равно. Помощь Барта была как бы нарушением кодекса альпинизма, я уступал дорогу, чтобы позволить затащить себя в гору на веревке, но лучше уж так, чем полный провал. Я не хотел и не мог покончить с этим делом так, словно меня выставили за дверь.

— Поговорим о методе, — вернул меня к действительности голос Барта. — Вы произвольно ограничили количество рассматриваемых случаев и разделили их на существенные и несущественные.

— Вы так считаете? Почему?

— Потому что случаи разделились не сами по себе. За дискриминант существенных вы приняли безумие и смерть, по меньшей мере безумие, если даже оно не привело к смерти. Однако сравните поведение Свифта и Адамса. Свифт сошел с ума, так сказать, с размахом, а то, что Адамса донимали галлюцинации, вы узнали только из его писем к жене. А сколько могло быть случаев, о которых вы вовсе не знаете!

— Простите, — возразил я, — тут уж ничего не попишешь. Вы зря нас обвиняете, мы столкнулись с классической дилеммой при изучении неизвестных явлений. Чтобы их четко разграничить, надо знать причинный механизм, а чтобы познать причинный механизм, следует четко разграничить явления.

Он посмотрел на меня с явной благосклонностью:

— Ах, значит, и вам знаком этот язык. Надо думать, не от сыщиков?

Я не ответил. Он потер подбородок.

— Да, это действительно классическая дилемма индукции. Итак, поговорим об отвергнутых вами фактах. О тех следах, которые вы сочли ложными. Имелись ли следы, которые обнадеживали, но в конце концов обрывались? Было что-нибудь подобное?

Теперь я посмотрел на него с уважением:

— Да. Был один любопытный след. Мы ждали от него многого. Все американцы из числа жертв перед поездкой в Италию побывали в одной из клиник доктора Стеллы. Вы слышали о нем?

— Нет.

— Говорят про него разное: одни называют великолеп-

* Влечение к смерти.

ным врачом, другие — шарлатаном. Пациентов с ревматическими недомоганиями он направлял на сероводородные ванны в Неаполь.

— Однако!

— Я тоже в свое время подскочил, услышав об этом, но это ложный след. Стелла считал, что сероводородные источники близ Везувия самые лучшие, а ведь у нас в Штатах достаточно своих собственных. Больные, которых ему удавалось склонить к поездке, все-таки составляли меньшинство: это неправда, что американцы сорят деньгами. Когда пациент заявлял, что не может себе позволить Везувий, Стелла направлял его к американским источникам. Мы разыскали этих людей. Их около сотни. Все они живы, здоровы, вернее, некоторые из них так же скрючены ревматизмом, как и до этих ванн, но, во всяком случае, мы не обнаружили ни одной смерти итальянского типа. С этими пациентами Стеллы все в порядке. Если они и умирали, то самым естественным образом — от инфаркта или рака.

— Может, у них были жены, семьи, — задумчиво произнес Барт.

Я невольно улыбнулся:

— Доктор, уже и у вас заработали жернова, которыми перемалывают в агентстве это дело... Разумеется, у большинства были семьи, но хватало и вдовцов и старых холостяков, а впрочем, разве жена и дети — это панацея? Противоядие? И от чего, собственно?

— Только преодолев море глупостей, приходят к истине, — нравоучительно, но весело произнес Барт и спросил: — А вы знаете, сколько пациентов этот Стелла направил в Неаполь?

— Знаю. И это самое удивительное во всей истории. Когда я об этом думаю, мне всегда чудится, что я на волосок от разгадки. Он послал в Неаполь двадцать девять ревматиков. Среди них пятеро наших американцев: Осборн, Бренер, Коберн, Хайне и Свифт.

— Пятеро из семи американцев?

— Да. Ни Эммингс, ни Адамс не лечились у Стеллы. Бригг тоже, но его мы, как я уже сказал, не причислили к жертвам.

— Высокий показатель! А остальные, еще двадцать четыре пациента Стеллы?

— Эту статистику я знаю наизусть... Шестнадцать он направил тогда, когда подобных происшествий еще не случилось. Все вернулись в Штаты живыми-здоровыми. В минув-

шем году он направил тринадцать человек. Из них пятеро — жертвы...

— Пятеро из тринадцати. А среди тех восьми, с которыми ничего не произошло, были люди, схожие с погибшими?

— Да. Даже в трех аспектах: одинокие, состоятельные, под пятьдесят. Все возвратились. Живут и здравствуют.

— Только мужчины? Женщин Стелла не лечил? Почему?

— Нет, лечил. Еще до этих происшествий направил в Неаполь четырех, а в прошлом году двух женщин. В этом сезоне ни одной.

— Откуда такая диспропорция полов?

— Клиники Стеллы приобрели известность преимущественно как мужские. Нарушения потенции, облысение, потом перестали на это упирать, но уже утвердилось мнение, что Стелла — специалист по мужским недугам. Этим объясняется диспропорция.

— Вы так считаете... А ведь ни одна женщина не погибла, а одиноких пожилых дам и в Европе хватает. Есть ли у Стеллы клиника в Европе?

— Нет. Жертвы из Европы с ним ничего общего не имели. Это исключено. Ни один из этих европейцев за последние пять лет в Штаты не приезжал.

— Исследовали ли вы возможность действия двух отдельных механизмов — одного против американцев, а другого против европейцев?

— Да. Мы сравнивали эти две группы, но это ничего не дало.

— А почему, собственно, Стелла всех направлял в Неаполь?

— Очень просто. Он итальянец, натурализовавшийся в Америке, его семья откуда-то из-под Неаполя, и он, вероятно, был в этом как-то заинтересован, поскольку поддерживал связь с итальянскими бальнеологами, с доктором Джионо, например. Ознакомиться с перепиской нам не удалось: врачебная тайна; но то, что он рекомендовал своих пациентов итальянским коллегам, представляется вполне естественным. Во всяком случае, в таком альянсе мы не усмотрели ничего подозрительного. Полагаю, что за каждого пациента он получал какой-то процент.

— Как вы объясняете загадочное письмо без текста, пришедшее на имя Миттельгорна после его смерти?

— Думаю, его прислал кто-то из родни, кто знал обстоятельства его смерти и, подобно миссис Барбур, был заинтересован в продолжении расследования, но не хотел или не

мог вмешиваться столь явно, как она. Кто-то убежденный в уголовной подоплеке дела решил снова возбудить подозрения и заставить полицию вернуться к следствию. У Миттельгорна были родственники в Швейцарии, а письмо пришло именно оттуда...

— Были среди пациентов Стеллы наркоманы?

— Да. Двое, но не хроники. Оба пожилые мужчины: вдовец и старый холостяк. Оба приехали в Неаполь в конце мая — начале июня прошлого года, оба купались, загорали, словом, по статистике, подвергались максимальной опасности, однако вышли целыми и невредимыми. Добавлю еще, что первый был чувствителен к пыльце растений, а второй — к землянике!

— Это ужасно! — воскликнул Барт.

— Вы рассчитывали на аллергию, да? Я тоже.

— А что они принимали?

— Земляничник — марихуану, а тот, что с поллинозом, — ЛСД, но от случая к случаю. Запасы ЛСД у него кончились еще до возвращения в Штаты, может, поэтому он и уехал раньше, прервав лечение. Как по-вашему? Уехал потому, что не смог ничего достать в Неаполе. Полиция как раз в это время ликвидировала разветвленную ближневосточную сеть с итальянским плацдармом, а уцелевшие поставщики затаились, словно мыши под метелкой...

— Земляничник... — пробурчал Барт. — Ну да. А психические болезни?

— Только отрицательные данные. Вы знаете, как это бывает: в роду почти всегда можно кого-то обнаружить, но это слишком далекие ответвления. И в группе жертв и в группе уцелевших пациентов Стеллы царило психическое здоровье. Вегетативный невроз, бессонница, вот и все. Это среди мужчин. Что касается женщин, то были три случая — меланхолия, климактерическая депрессия, попытка самоубийства.

— Самоубийство? Ну?

— Типичная истерия, так называемый крик о помощи; травилась при обстоятельствах, гарантирующих спасение. В нашей группе все наоборот: никто не афишировал манию самоубийства. Характерна абсолютная решимость — если первая попытка не удалась, делалась вторая.

— Но почему только Неаполь? — поинтересовался Барт. — А Мессина? Этна? Ничего?

— Ничего. Вы, конечно, понимаете, что мы не могли учесть все сероводородные источники мира, но итальянские

обследовали. Абсолютно ничего. Кого-то сожрала акула, кто-то утонул...

— Коберн тоже утонул.

— Да, но в припадке безумия.

— Это точно?

— Почти. О нем известно сравнительно немного. Собственно, только то, что он не притронулся к своему завтраку, но спрятал гренки, масло и яйца в коробку из-под сигар, а часть положил перед тем, как выйти из гостиницы, на карниз за окном.

— Вот оно как! Он заподозрил яд и хотел, чтобы птицы...

— Конечно. А с коробкой, наверное, хотел отправиться к токсикологу, но утонул.

— Что показала экспертиза?

— Это два толстых тома машинописи. Мы употребили даже дельфийский метод — голосование экспертов.

— И?..

— Большинство высказалось за неизвестное психотропное средство, отчасти сходное по действию с ЛСД, что, однако, не означает сходства по химической структуре.

— Неизвестный наркотик? Странное заключение.

— Не обязательно неизвестный. По их мнению, это могла быть и смесь хорошо известных веществ, часто симптомы синергизма нельзя свести к действию отдельных компонентов.

— А голос меньшинства?

— Острый психоз с невыявленной этиологией. Вы же знаете, как много могут говорить специалисты, врачи, когда абсолютно ничего не понимают.

— Знаю прекрасно. Не смогли бы вы теперь повторить свой обзор с точки зрения типологии смертей?

— Пожалуйста. Коберн утонул нечаянно или сознательно. Бреннер выскочил из окна, но выжил.

— Простите, что с ним сейчас?

— Он в Штатах, жив, хотя и болен. Помнит случившееся в общих чертах, но не хочет к этому возвращаться. Официанта он принял за мафиозо, думал, что его преследуют. Ничего больше он сказать не мог. Продолжать?

— Конечно.

— Осборн пытался сбежать на автомобиле, но зачем-то вышел на шоссе. Его задавила машина. Виновник не обнаружен. Эммингс дважды хотел покончить с собой. Застрелился. Лейге, швед, добрался до Рима и бросился с Колизея. Шimmelрейтер умер естественной смертью в больнице от

отека легких после острого приступа безумия. Хайне едва не утонул, а в больнице вскрыл себе вены. Его удалось спасти, но вскоре он умер от крупозного воспаления легких. Свифт уцелел. Миттельгорн дважды пытался покончить с собой с помощью снотворного, потом выпил пузырек йода. Умер от ожога желудка. Тиц погиб при аварии на автостраде. Наконец, Адамс скончался во сне от удушья при невыясненных обстоятельствах в римской гостинице «Хилтон». О Бригге ничего не известно.

— Спасибо. А те, что уцелели, запомнили какие-то первые симптомы?

— Да. Дрожь в руках и изменение вкуса пищи. Об этом мы узнали от Свифта. Бреннер, соглашаясь с тем, что еда изменила вкус, не помнил, однако, о дрожи в руках. Вероятно, у Бреннера после всех переживаний проявился так называемый остаточный психический дефект, поэтому он и забывал. Таково мнение врачей.

— Разброс в схеме смертей значителен, видимо, самоубийцы обращались к доступным средствам, к тому, что было под рукой. А каков результат исследования с точки зрения *cui prodest*?

— Вы имеете в виду материально заинтересованных лиц? Что из того, если имеются наследники, когда между ними и любой из этих смертей невозможно установить связь.

— Пресса?

— Полиция старалась блокировать информацию, чтобы не осложнять следствие. Разумеется, местная печать помещала заметки о каждой из этих смертей, но они тонули в рубриках происшествий. Только какая-то газета в Штатах, забыл, какая именно, намекала на роковую судьбу пациентов Стеллы. Сам Стелла утверждал, что эти намеки делают озлобленные конкуренты. Тем не менее в нынешнем году ни одного ревматика в Неаполь он не направил.

— Перестал, значит! Разве это не подозрительно?

— Не очень. Еще один подобный случай, и скандальная газетная статья нанесла бы ему ущерб, которого не покрыла бы выручка от всего предприятия. Комиссионные наверняка были мизерные.

— Я предлагаю игру, — сказал Барт. — Она называется «Как погибнуть в Неаполе при загадочных обстоятельствах?». Какими качествами необходимо для этого обладать? Вы мне поможете, хорошо?

* Кому выгодно? (лат.)

— Охотно. Здесь имеют значение пол, возраст, телосложение, недуги, материальное положение и некоторые другие особенности, которые я постараюсь перечислить. Надо быть мужчиной лет под пятьдесят, желательно рослым, пикнического или атлетического сложения, холостяком либо вдовцом, во всяком случае, прибыть в Неаполь в одиночку. Учитывая случай с Шиммельрейтером, следует признать, что быть состоятельным не обязательно. Зато полезно совсем не знать итальянского языка или едва-едва говорить на нем.

— Никто из них не владел итальянским?

— Никто. Перехожу к незначительным деталям. Чтобы погибнуть, не следует страдать диабетом.

— Это еще почему?

— Никто из жертв диабетом не страдал. А те пятеро диабетиков, которые были среди ревматиков, направленных Стеллой в Неаполь, вернулись домой целехонькими.

— Как это объясняли ваши эксперты?

— Не знаю даже, что вам сказать. Они рассуждали об обмене веществ, об ацетоновых телах, которые могут служить противоядием, но другие специалисты, не столь, быть может, блестящие, зато более добросовестные — впрочем, это только мое впечатление, — оспаривали их выводы. Ацетоновые тела возникают как реакция на отсутствие в крови инсулина, а сейчас любой диабетик регулярно принимает соответствующие лекарства. Следующая необходимая особенность — аллергия. Чувствительность к цветущим травам, поллиноз, астма. Однако были люди, которые отвечали всем этим условиям, и с ними ничего не произошло. Например, пациент Стеллы, которого я назвал «земляничником», и второй — с насморком.

— Состоятельные, одинокие, пожилые, принимали серные ванны, все атлетического сложения, аллергии, не знали итальянского?

— Да. Принимали одни и те же лекарства против аллергии, в том числе и плимазин.

— Что это?

— Антигистаминный препарат с примесью риталина. Риталин — это хлористо-водородная соль ацетилованного фенилальфапиперидила. Одна из составных частей плимазина — пирибензамин снимает аллергическую реакцию, но вызывает сонливость, затормаживает рефлексы; тем, кто водит машину, приходится принимать его с добавлением стимулятора — риталина.

— Вы еще и химик!

— Сам принимаю это много лет. Каждый аллергик отчасти сам себе врач. Плимазин — швейцарский препарат. В Штатах я принимал тамошний его эквивалент. Итак, плимазин. Но тот, с насморком, Чарльз Деккер, тоже принимал плимазин, а ведь ни один волос не упал с его головы... Пойдите!..

Я замер с полуоткрытым ртом как идиот. Барт молча глядел на меня.

— Они все лысые... — наконец выдавил я.

— Лысые?

— Начинающие лысеть. Подождите! Да. У Деккера тоже проявилась тонзура на темени, однако — ничего.

— Зато вы не лысеете, — заметил Барт.

— Что? Ах да, я не лысею. Это недостаток? Но раз с Деккером ничего не случилось, хоть он и начал лысеть... Впрочем, какая может быть связь между облысением и приступом безумия?

— А какая — между безумием и диабетом?

— Вы правы, доктор, это запрещенный вопрос.

— Неужели вы пропустили эту их особенность — облысение?

— Тут, знаете ли, дело обстоит так. Мы продифференцировали множество тех, кто погиб, и сравнили с множеством тех, кто возвратился из Неаполя невредимым. Эта деталь, конечно, всплыла. Сложность заключалась в том, что обнаружить лысину наверняка можно лишь у покойника: уцелевшие могли скрывать, что носят парик. Человеческое самолюбие в этом вопросе чертовски чувствительно, и невозможно дергать каждого за волосы или пристально разглядывать чью-то шевелюру. Для точного диагноза потребовалось бы отыскать косметическое заведение, где такой человек заказал парик или прибегнул к подсадке волос, а на это у нас не было ни времени, ни сил.

— Вам это казалось таким существенным?

— Мнения разделились. Некоторые сочли это пустяком — если среди пациентов Стеллы были люди, скрывавшие, что они лысеют, какая тут связь с трагической судьбой остальных ревматиков?

— Допустим. Но раз вы обращали внимание на состояние их волос, что именно вас поразило минуту назад?

— Корреляция отрицательного порядка. То, что ни один из умерших лысины не скрывал. Никто из них не носил парика, не подвергался пересадке волос, не наращивал на голем черепе растительность... Делают и такие операции.

— Знаю. И что же?

— Ничего, кроме того, что все жертвы лысели и не делали из этого тайны, в то время как среди уцелевших имелись и лысые, и люди с нормальными шевелюрами. Меня вдруг осенило, что у Деккера была плешь, только и всего. Мне показалось, будто я напал на горячий след. Такое ощущение охватывало меня не раз. Поймите, я так влез в это дело, что мне стало мерещиться. Я вижу духов...

— О, это уже похоже на наитие, одержимость, на тайное заклание. Духи... А может, в этом что-то есть?

— Вы верите в духов? — вытаращил я глаза.

— Может, достаточно того, что верили они? Как по-вашему? Допустим, в Неаполе практикует какой-то прорицатель, который охотится на богатых иностранцев...

— Хорошо, допустим! — Я заерзал в кресле. — И что дальше?

— Можно предположить, что он с помощью разных трюков, приемов пытается завоевать их доверие, скажем, даром дает им некий чудодейственный тибетский эликсир, а на самом деле — наркотическое снадобье, чтобы подчинить их своей воле, заверяет, что это снадобье исцелит от всех недугов, — и вот из сотни таких людей десять или одиннадцать, приняв по легкомыслию в один прием слишком большую дозу...

— Ага! — воскликнул я. — Допустим. Но тогда итальянцы о чем-нибудь подобном слышали бы. Их полиция. Впрочем, распорядок дня некоторых жертв мы изучили так тщательно, что нам известно, в котором часу они выходили из гостиницы, как были одеты, в каком киоске и какие газеты покупали, в какой кабине на пляже раздевались, где и что ели, какую оперу слушали, — так что подобного «гуру» мы могли упустить в одном-двух, но не во всех случаях. Нет, ничего такого не было. Да это и правдоподобно. Итальянского они почти не знали. Неужели швед с высшим образованием, антиквар, почтенный предприниматель ходили бы к итальянской гадалке? Наконец, у них на это не было времени...

— Как убежденному, но не побежденному мне полагается еще один выстрел! — поднялся Барт со своего кресла. — Если они клюнули на какой-то крючок, который их осторожно подсек, то это был крючок, не оставивший следа... Согласны?

— Согласен.

— Итак, «это» брало их в порядке частном, интимном, индивидуальном и вместе с тем мимоходом. Секс?!

Я помедлил с ответом.

— Нет. Вероятно, некоторые из них заводили какие-то связи, но это совсем не то. Мы изучили их жизнь столь тщательно, что не пропустили бы таких значительных факторов, как женщины, эксцессы, связанные с ними, или посещения домов свиданий. Тут, очевидно, должен быть совершенный пустяк...

Я сам удивился последним своим словам, поскольку до сих пор так не думал. Но Барт подхватил:

— Пустяк с летальным исходом? Почему бы и нет? Не-что такое, чему предаются по тайному влечению, старательно скрываемому от окружающих... И при этом мы с вами подобного, может, и не стыдились бы. Возможно, только известную категорию людей разоблачение подобной страстишки компрометировало бы...

— Круг замкнулся, — заметил я, — вы вернулись в сферу, из которой изгоняли меня, — к психологии.

За окном посигналили. Доктор поднялся — он показался мне неожиданно молодым, — посмотрел вниз и погрозил пальцем. Гудки оборвались. Я с удивлением обнаружил, что смеркается, взглянул на часы, и мне стало не по себе — я сидел у него четвертый час! Встал, чтобы попрощаться, но Барт и слышать об этом не хотел.

— О нет, дорогой мой. Во-первых, вы останетесь ужинать, во-вторых, мы ни о чем не договорились, а в-третьих, или скорей во-первых, я хочу перед вами извиниться. Я поменялся с вами ролями! Взялся за вас как следователь! Не стану скрывать: у меня была определенная цель, может быть, недостойная хозяйина дома... Мне хотелось узнать о вас и через вас то, чего нельзя почерпнуть из материалов. Атмосферу дела способен передать только живой человек, в этом я убежден. Я даже попытался малость расшевелить вас колкостями, и, должен признаться, вы сносили это великолепно, хотя и не столь бесстрастно, как вам, наверное, кажется, — до бесстрастности игрока в покер вам далеко. Если я и могу чем-то оправдаться перед вами, то лишь тем, что у меня благие намерения, — я готов впрячься в это дело... Однако присядем на минутку. Ужин еще не подан. У нас звонят...

Мы опять уселись. Я испытывал немалое облегчение.

— Я займусь этим, — продолжал Барт, — хотя шансы на успех невелики... Можно узнать, как, собственно, вы представляли себе мое участие?

— Дело позволяет, пожалуй, прибегнуть к многофактор-

ному анализу... — начал я осторожно, взвешивая каждое слово. — Не знаю вашей программы, но знаком с программами подобного типа и думаю, что следственная программа должна с ними в чем-то совпадать. Это загадка не столько для детектива, сколько для ученого. Компьютер, разумеется, не укажет виновного. Но этого виновного как неизвестную величину можно спокойно исключить из уравнений: решить проблему означает разработать теорию гибели этих людей. Сформулировать закон, который их погубил...

Доктор Барт сочувственно поглядывал на меня. А может, мне это почудилось, потому что сидел он прямо под лампой и при малейшем движении по его лицу пробегали тени.

— Дорогой мой, говоря, что я готов попробовать, я имел в виду упряжку из людей, а не из электронов. У меня великолепный коллектив ученых разных дисциплин, плеяда лучших умов Франции, и я уверен, что они кинутся на эту загадку, как борзые на лисицу. А вот программа... Да, мы разработали ее, она неплохо себя показала в экспериментах, но такая история... нет, нет... — повторял он, качая головой.

— Почему?

— Очень просто! Компьютер не может работать без машинного кода, а здесь, — развел он руками, — что мы будем кодировать? Допустим, в Неаполе действует шайка торговцев наркотиками и гостиница — то место, где покупателям вручают товар, скажем заменяя соль в определенных солонках; разве время от времени солонки не могут поменять местами? И разве опасности отравления не подвергались бы в первую очередь люди, любящие пересаливать еду? Но каким образом, спрашиваю я вас, все это вычислит компьютер, если во введенных данных не будет ни одного бита о солонках, наркотике и кулинарных пристрастиях жертв?

Я с уважением посмотрел на него. С какой легкостью он сооружал из воздуха такие концепции! Донесся звон колокольчика, он становился все пронзительней, потом оборвался, и я услышал женский голос, отчитывающий ребенка. Барт поднялся:

— Нам пора... Ужинаем мы всегда в одно время.

В столовой на столе горел длинный ряд розовых свечей. Еще на лестнице Барт шепнул мне, что вместе со всеми ужинает его девяностолетняя бабка, хорошо сохранившаяся, пожалуй, даже несколько эксцентричная. Я понял это как приглашение ничему не удивляться, но не успел ответить, поскольку настало время знакомиться с обитателями дома.

Кроме троих детей, уже мне знакомых, и мадам Барт я увидел сидевшую в резном кресле — таком же, как в кабинете наверху, — старуху, одетую во все фиолетовое, словно епископ. На груди у нее искрился бриллиантиками старомодный лорнет; ее маленькие черные, как блестящие камешки, глазки вонзились в меня. Энергичным жестом она подала мне руку — подняла так высоко, что руку пришлось поцеловать, чего я никогда не делаю, и неожиданно сильным, мужским голосом, как бы принадлежащим другому человеку — словно в неудачно озвученном фильме, — сказала:

— Значит, вы астронавт? Мне еще не приходилось ужинать с астронавтом.

Даже Барт удивился. Его жена объяснила, что бабушке рассказали обо мне дети. Старуха велела мне сесть рядом и говорить громко, потому что она плохо слышит. Возле ее прибора лежал слуховой аппарат, похожий на две фасолинки, — она им почему-то не пользовалась.

— Вы будете развлекать меня беседой. Не думаю, чтобы мне скоро представился такой случай. Расскажите, как на деле выглядит Земля оттуда, сверху. Я не верю фотографиям!

— И правильно, — сказал я, подавая ей салат; мне стало весело оттого, что она так бесцеремонно за меня взялась. — Никакие фотографии не могут этого передать, особенно если орбита низка, потому что Земля тогда заменяет небо! Она становится небом. Не заслоняет его, а становится им. Такое создается впечатление.

— Это и вправду так прекрасно? — В ее голосе прозвучало сомнение.

— Мне понравилось. Самое сильное впечатление — что Земля так пустынна. Не видно ни городов, ни дорог, ни портов — ничего, только океаны, материки и тучи. Впрочем, океаны и материки примерно такие, как на школьных картах. Зато тучи... оказались очень странными, может, потому, что они не похожи на тучи.

— А на что похожи?

— Это зависит от высоты орбиты. С большого расстояния они напоминают очень старую, сморщенную шкуру носорога, такую синевато-серую, с трещинами. А вблизи выглядят как разномастная овечья шерсть, расчесанная гребнями.

— А на Луне вы были?

— Нет, к сожалению.

Я приготовился к дальнейшим расспросам о космосе, но она неожиданно переменяла тему:

— По-французски вы говорите вполне свободно, хотя как-то странно. Иногда употребляете не те слова... Вы не из Канады?

— Мои родители оттуда. А я родился уже в Штатах.

— Вот видите. Ваша мать француженка?

— Да, по происхождению.

Я видел, как Барт с женой поглядывали на старую даму, словно пытаясь умерить ее любопытство, но она не обращала на это внимания.

— И мать говорила с вами по-французски?

— Да.

— Вас зовут Джон. Но она наверняка называла вас Жаном.

— Да.

— Тогда и я буду называть вас так. Будьте любезны, отодвиньте от меня спаржу. Мне ее нельзя есть. Суть старости, мсье Жан, в том, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться. И поэтому они, — показала она на остальных, — правы, что со мной не считаются. Вы об этом ничего не знаете, но между семьюдесятью и девяноста годами — большая разница. Принципиальная, — подчеркнула она и умолкла, принявшись за еду. Оживилась, только когда меняли тарелки.

— Сколько раз вы были в космосе?

— Дважды. Но я недалеко улетел от Земли. Если сравнить ее с яблоком, то на толщину кожицы.

— Вы скромный человек?

— Скорее, напротив.

Это была достаточно странная беседа; не могу сказать, что она была мне неприятна, — у старой дамы было какое-то особое обаяние. Поэтому к продолжению допроса я отнесся без раздражения.

— Считаете ли вы, что женщины должны летать в космос?

— Как-то над этим не задумывался, — ответил я совершенно искренне. — Если им хочется, почему бы и нет?

— У вас там, в Штатах, очаг этого сумасшедшего движения — *women's liberation**. Это ребячество, это вульгарно, но, по крайней мере, удобно.

— Вы думаете? Почему удобно?

— Удобно сознавать, кто всему виной. По мнению этих дам — мужчины. Эти дамы считают, что только женщины

* Освобождение женщин (англ.).

способны навести порядок в мире, и стремятся занять ваши места. И хотя это абсурдно, у них есть ясная цель, а у вас нет ничего.

После десерта — огромного пирога с ревенем в сахаре — дети улетучились из столовой, а я начал собираться в дорогу. Узнав, что я поселился в Орли, доктор Барт стал уговаривать меня перебраться к ним. Мне не хотелось злоупотреблять его гостеприимством, хотя соблазн был велик. Грубо говоря, это означало сесть ему на шею.

Мадам Барт поддержала мужа, показав мне пока еще чистую книгу гостей: недурная примета, если первым распишется астронавт. Мы состязались в вежливости, наконец я уступил. Решили, что я переберусь к ним завтра. Доктор проводил меня к машине и, когда я садился, сказал, что я понравился бабушке, а это — немалое достижение. Попрощавшись с ним у распахнутых ворот, я двинулся, чтобы вскоре окунуться в ночной Париж.

Я боялся угодить в уличную пробку и обогнул центр, держа курс к бульварам у Сены; там оказалось совсем пустынно: близилась полночь. Несмотря на усталость, я был доволен. Беседа с Бартом пробудила неясную надежду. Ехал медленно, так как выпил довольно много вина. Передо мной возник маленький «2СВ», он тащился с преувеличенной осторожностью у самой кромки тротуара. Впрочем, улица была свободна, за парашютом набережной на другом берегу Сены виднелись большие склады универмагов. Механически я фиксировал их глазами, потому что мысли мои были далеко. Вдруг, словно два солнца, в зеркальце вспыхнули фары шедшей позади машины. В это время я начал обгонять маленький «2СВ» и слишком высунулся влево. Уступая дорогу ночному гонщику, я хотел вернуться за медлительный автомобильчик, но не успел. Свет фар сзади залил кабину, и сплюснутый силуэт с ревом скользнул в брешь между мною и автомобильчиком. Мой «пежо» занесло. Не успел я выровнять машину, как тот уже скрылся. На правом крыле чего-то не доставало. От зеркальца остался лишь черенок. Срезано начисто. Я ехал и думал: не выпей я столько вина, лежать бы мне в разбитой машине, потому что я успел бы занять брешь, в которую тот проскочил. Было бы Рэнди над чем поразмыслить! Как великолепно вписалась бы моя смерть в неаполитанскую схему! Как прочно уверовал бы Рэнди, что она связана с имитирующей операцией! Но мне, видно, не суждено было стать двенадцатым: до гостиницы я доехал без новых приключений.

Барт хотел, чтобы его группа включилась в работу непри-
нужденно, а может, желал похвастаться новым домом; во
всяком случае, на четвертый день моего гостевания, в вос-
кресенье, он устроил прием человек на двадцать. Я хотел
съездить в Париж за приличным костюмом, но Барт отсоветовал.
Гостей я встречал, стоя вместе с хозяевами у дверей,
в потрепанных джинсах и потертом свитере — более при-
личную одежду распотрошила итальянская полиция в аэро-
порту. Стены комнат внизу раздвинули, и первый этаж пре-
вратился в просторную гостиную.

Вечер оказался довольно своеобразным. Среди бородатых
юнцов и ученых барышень в париках я чувствовал себя не
то случайным гостем, не то одним из хозяев, потому что
вместе с ними развлекал прибывших. Подстриженный и вы-
бритый, я выглядел как старый скаут. Не было ни церемо-
ниальной чопорности, ни ее отвратительной противополож-
ности — бунтарской буффонады интеллектуалов. Впрочем,
со времени последних событий в Китае число маоистов по-
убавилось. Я старался уделять внимание каждому: ведь они
приехали познакомиться с астронавтом, страдающим на-
сморком, и вместе с тем коммивояжером-детективом *ad interim**.

Беспечный разговор быстро свелся к обсуждению язв со-
временного общества. Впрочем, это скорее была не беспеч-
ность, а демонстративный уход от ответственности — мно-
говековая миссия Европы кончилась, и выпускники
Нантера** и Эколь Суперьер*** понимали это лучше своих
соотечественников. Европа вышла из кризиса только в эконо-
мике. Процветание вернулось, но ощущения прежнего
комфорта уже не было. Это не походило на страх больного
с вырезанной опухолью перед метастазами, а было понима-
нием того, что дух истории отлетел и если вернется, то уже
не сюда. Франция потеряла силу. Французы перешли со
сцены в зрительный зал и потому теперь свободно рассу-
ждают о судьбах мира. Пророчества Мак-Люэна**** сбывают-
ся, однако навыворот, как обычно бывает с пророчествами.
Его «глобальная деревня» действительно возникает, но раз-

* На данное время (лат.).

** Пригород Парижа, в котором находится филиал Парижского универ-
ситета.

*** Высшая школа.

**** Мак-Люэн Херберт Маршалл (1911—1980) — канадский социолог
и публицист, который утверждал, что средства массовой коммуникации
формируют характер общества.

деленная на две половины. Бедная половина бедствует, а богатая смотрит на эти страдания по телевизору, сочувствуя им издали. Известно даже, что так продолжаться не может, однако все-таки продолжается. Никто у меня не спрашивал, что я думаю о новой доктрине государственного департамента, доктрине «пережидания» в пределах экономических санитарных кордонов, и я молчал.

Со страданий мира разговор перешел на его безумства. Я узнал, что известный французский режиссер собирается поставить фильм о «бойне на лестнице». Роль таинственного героя предложена Бельмондо, а спасенной им девушки, которая займет место ребенка — с ребенком ведь не переспишь, — популярной английской актрисе. Эта кинозвезда как раз выходила замуж и пригласила на модную сейчас публичную брачную ночь уйму «гузов», чтобы вокруг супружеского ложа устроить сбор денег в пользу жертв в римском аэропорту. С тех пор как я услышал о бельгийских монашках, решивших благотворительной проституцией искупить фарисейство церкви, такого рода истории меня не удивляют.

Говорили и о политике. Новостью дня оказалось разоблачение аргентинского движения Защитников отчизны как правительственных наемников. Высказывались опасения, что нечто подобное может произойти и во Франции. Фашизм изжил себя, примитивные диктатуры — тоже, по крайней мере в Европе, но против экстремистского террора нет средства более действенного, чем превентивное уничтожение его активистов. Демократия не может себе позволить откровенных профилактических убийств, но способна закрыть глаза на верноподданническую расправу с потенциальными террористами. Это уже не прежние тайные убийства, репрессии именем государства, но конструктивный террор *per procura**. Я услышал о философе, который предлагает всеобщую легализацию насилия. Еще де Сад определил это как расцвет подлинной свободы. Следует конституционно гарантировать любые антигосударственные выступления наравне с выступлениями в защиту государства, и, поскольку большинство заинтересовано в сохранении статус-кво, порядок при столкновении двух форм экстремизма возьмет верх, даже если дело дойдет до некоего подобия гражданской войны.

Около одиннадцати Барт повел любопытных осматривать дом, гостиная опустела, и я присоединился к трем гостям,

* Здесь: по доверенности (*лат.*).

беседовавшим возле дверей, распахнутых на террасу. Двое были математиками из враждебных лагерей: Соссюр, родственник Лагранжа, занимался анализом, то есть чистой математикой, а второй, по образованию статистик, прикладной математикой, программированием. Внешность их забавно контрастировала. Соссюр, тщедушный, смуглый, с худым лицом, обрамленным бакенбардами, в пенсне с золотой оправой на шнурке, как бы сошедший с дагерротипа, носил на шее японский транзисторный калькулятор, словно командорский орден. Наверно, ради шутки. Статистик — массивный, с золотистыми кудрями — смахивал на тяжеловесного боша с французских открыток времен первой мировой войны и действительно происходил из немецкой семьи. Его фамилия оказалась Майер, а не Майо, как я подумал вначале, когда он произнес ее на французский лад.

Математики не спешили вступать со мной в разговор, и ко мне обратился третий из присутствовавших, фармаколог доктор Лапидус. Он выглядел так, словно только что возвратился с необитаемого острова, — такой он был заросший. Он спросил, не выявило ли следствие пресеченных случаев, иначе говоря, таких, при которых приступы безумия начались и сами собой прекратились. Я ответил, что если не рассматривать историю Свифта как пресеченный случай, то таковых не было.

— Это удивительно! — сказал он.

— Почему?

— Симптомы были разной интенсивности, а когда человека клали в больницу, как, например, того, что выпрыгнул из окна, они ослабевали. Если принять гипотезу, что психоз вызван химическими веществами, то, значит, доза постепенно увеличивалась. Неужели никто не обратил на это внимания?

— Мне не совсем ясно, что вы имеете в виду.

— Нет психотропного вещества с таким замедленным действием, чтобы, принятое, скажем, в понедельник, первые симптомы оно вызвало во вторник, галлюцинации в среду, а максимальный эффект — в субботу. Конечно, в организме можно создать «склад», вводя под кожу препарат с таким расчетом, чтобы он всасывался постепенно, даже на протяжении недель, но такая процедура оставляет след, который при вскрытии трупа легко обнаружить. Однако в документах я не нашел об этом ни слова.

— Не нашли потому, что ничего подобного обнаружено не было.

— Это меня и поражает!

— Но ведь жертвы могли принимать препарат не раз, и налицо была кумуляция...

Он с неудовольствием покачал головой:

— Каким образом? От перехода к новому образу жизни до появления первых симптомов проходило шесть, восемь, а то и десять дней. Нет средства с таким замедленным действием, и такая кумуляция невозможна. Предположим, они начинали принимать это вещество в первый или во второй день по приезде, тогда симптомы должны были появиться не позднее чем через сорок восемь часов, то есть на третий-четвертый день их пребывания в Неаполе. Если бы эти люди страдали болезнями почек или печени, еще можно было спорить, но такие среди них отсутствовали!

— Каково же ваше мнение?

— Складывается впечатление, что их отравляли систематически, *постепенно и непрерывно*.

— По-вашему, это — преднамеренное отравление?!

Он блеснул золотыми зубами.

— Нет. Не знаю, может, это были гномы, или мухи прилетали прямо из какой-нибудь фармакологической лаборатории и садились на их гренки, предварительно прогулявшись по ароматным производным лизергиновой кислоты, но я утверждаю, что концентрация вещества в крови жертв нарастала *медленно*.

— А если это какое-то неизвестное соединение?

— Нам неизвестное?

Он произнес это так, что я улыбнулся.

— Да. Вам. Химии. Разве это невозможно?

Он поморщился и ответил, блеснув золотыми зубами:

— Неизвестных соединений больше, чем звезд на небе. Но не может быть таких, которые одновременно устойчивы и неустойчивы в тканевом обмене веществ. Кругов бесконечное множество, но нет кругов квадратных.

— Не понимаю.

— Это совсем просто. Вещества, вызывающие резкую реакцию в организме, вступают в устойчивые соединения: например, угарный газ или цианиды соединяются с гемоглобином. Такие соединения можно всегда обнаружить в организме при вскрытии. Скажем, при помощи микрохимического анализа, например хроматографии. В ваших же случаях с ее помощью ничего выявить не удалось. А раз так, значит, соединение было нестабильное. Если же оно легко разрушается, его надо вводить *часто*, малыми дозами или

одной большой дозой! Но если бы его ввели одной дозой, симптомы обозначились бы через несколько часов, а не дней. Вам ясно?

— Да. Ясно. И по-вашему, нет иного варианта?

— Вообще-то есть. Если это вещество при поступлении в организм было совершенно безвредным, а свои психотропные свойства обретало, разлагаясь в крови или тканях. Например, в печени. Стремясь устранить из организма безвредное соединение, печень преобразовала бы его в яд. Это занятная биохимическая ловушка, но и чистейшая фантазия: такого в природе нет и, пожалуй, быть не может.

— Почему вы в этом так уверены?

— Такого яда, такого «троянского коня», фармакология не знает, а если чего-то никогда не было, то мало вероятно, что когда-нибудь будет.

— Следовательно?

— Не знаю.

— Вы только это хотели мне сказать?

Я был невежлив, но Лапидус меня раздражал. Впрочем, он не чувствовал себя задетым.

— Нет, еще кое-что. Это мог быть совокупный эффект.

— Введения разных веществ?.. Ядов?

— Да.

— Но ведь это уж наверняка свидетельствовало бы о преднамеренных покушениях.

Вместо фармаколога неожиданно отозвался Соссюр:

— Некая девушка из Ломбардии работала прислугой у парижского врача на улице Сен-Пьер в доме сорок восемь, на третьем этаже. Родная сестра, приехавшая навестить ее, спутала название улицы и вместо улицы Сен-Пьер отправилась на бульвар Сен-Мишель, нашла дом сорок восемь, поднялась на третий этаж, отыскала табличку врача, позвонила и спросила Мари Дюваль, свою сестру. Так сложилось, что на другой улице, у другого врача тоже служила девушка по фамилии Дюваль и даже звали ее Мари, как сестру приезжей. Но это была не она... На вопрос, какова априорная вероятность такого происшествия, нельзя дать вразумительный, математически достоверный, ответ. Все случившееся вроде бы пустяк, но, уверяю вас, это настоящая бездна! Единственная область, где применимо вероятностное моделирование, — это Гиббсов мир, или мир повторяемых процессов. События уникальные, не поддающиеся статистике в своей однократности, происходят, но говорить об их вероятности невозможно.

— Нет уникальных событий, — вставил Майер, который все это время гримасничал, оттопыривая языком щеку.

— Есть! — возразил Соссюр.

— Но не в виде серии.

— Ты сам уникальная серия событий. И другие тоже.

— Дистрибутивно или коллективно?

Началась перепалка отвлеченного характера, но Лапидус положил каждому из них руку на колено и произнес:

— Господа!

Оба улыбнулись. Майер снова оттопырил языком щеку, а Соссюр продолжил:

— Конечно, можно разработать частотное распределение фамилии Дюваль и квартир парижских врачей, но как соотносится замена улицы Сен-Пьер на Сен-Мишель с частотой этих имен в названиях улиц во Франции? И какое числовое значение следует приписать случаю, при котором в доме, куда попадает эта девушка, живет какая-нибудь Дюваль, но на четвертом, а не на третьем этаже? Словом, где замыкается множество соотношений?

— Вероятно, не в бесконечности, — снова вставил Майер.

— Могу доказать, что оно бесконечно, путем как обычной, так и трансфинитной индукции.

— Простите, доктор Соссюр, — вставил я, думая о своем, — вы, вероятно, сказали это очень кстати, но в каком смысле?

Майер сочувственно взглянул на меня и вышел на террасу. Соссюра, казалось, удивила моя недогадливость.

— Вы, наверное, уже побывали в саду за беседкой, там, где растет земляника?

— Конечно.

— Там стоит круглый деревянный стол, по окружности украшенный медными гвоздями. Видели вы его?

— Да.

— Можно ли, по-вашему, из пипетки выпустить сверху столько капель воды, сколько там гвоздей, и так, чтобы каждая капля угодила в шляпку?

— Что ж... если как следует прицелиться, почему бы и нет...

— А если вслепую, то, наверно, нет?

— Конечно, нет.

— Но ведь достаточно пятиминутного дождя, и каждый гвоздь *наверняка* получит свою каплю воды...

— Как это... — Я только теперь начал понимать, куда он клонит.

— Да, да, да! Моя позиция радикальна. Загадки нет вообще. Любую возможность предопределяет мощность множества событий. Чем мощнее множество, тем менее правдоподобные события могут в нем происходить.

— Нет серии жертв?

— Жертвы есть. Но их породили вероятностные процессы. Из бездны случайностей — наподобие той, что была в моем анекдоте, — вы выхватили некую изолированную часть, отличающуюся многофакторностью. Вы рассматриваете ее как целую серию, и отсюда ее загадочность.

— Итак, вы, как и месье Лапидус, считаете, что надо искать пресеченные случаи?

— Нет. Я так не считаю, потому что вы их не найдете. Множество солдат на передовой включает в себя подмножество убитых и раненых. Это подмножество выделить нетрудно, но вы не выделите подмножество солдат, оказавшихся на волосок от пули, так как они ничем не отличаются от солдат, которых пули обходили за километр. Поэтому успеха в вашем деле вы можете добиться лишь по воле случая. Противника, избравшего вероятностную стратегию, можно победить только его оружием!

— Что вам тут опять месье Соссюр рассказывает?.. — послышалось сзади. Это подошел Барт в сопровождении худого сидящего мужчины. Он представил его, но я не разобрал фамилии. Барт относился к Соссюру не как к члену своей группы, а скорее как к одиночке-уникуму. Я узнал, что год назад математик работал в «Фютюрибль», откуда перешел во французскую группу СЕТИ, изучающую космические цивилизации, но и там не смог ужиться. Я поинтересовался, что он думает об этих цивилизациях, считает ли, как другие, что их нет.

— Это уже не так просто, — заявил он, вставая. — Другие цивилизации существуют, хотя и не существуют.

— Как это понимать?

— Не существуют как эквиваленты наших представлений о них, следовательно, то, что составляет их цивилизацию, человек цивилизацией не назвал бы.

— Возможно, — согласился я, — но в их множестве должно быть как-то очерчено и наше место, не так ли? Либо мы заурядная посредственность космоса, либо аномалия, может, и самая крайняя.

Наши слушатели расхохотались. Я с удивлением узнал, что именно такая аргументация заставила Соссюра уйти из СЕТИ. Один он сохранял серьезность. Молчал, играя своим

калькулятором как брелоком. Прорвав кольцо гостей, я увел Соссюра к столу, подал бокал вина, сам взял другой, выпил за его идеи насчет цивилизаций и попросил ознакомить меня с его концепцией.

Это лучшая тактика, я перенял ее от Фицпатрика: надо вести себя так, чтобы собеседник не понял, серьезен ты или шутишь. Соссюр стал растолковывать мне, что научный прогресс — не что иное, как постепенный отказ от простоты мира. Раньше человеку хотелось, чтобы все было просто, пускай даже и загадочно. Единый Бог, единый закон природы, один тип возникновения разума во Вселенной и так далее. Возьмем астрономию. Она утверждала, что все сущее — это звезды существующие, возникающие и потухшие плюс их обломки в виде планет. Однако ей пришлось согласиться с тем, что многие космические явления в эту схему не вменяются. Человеческая тяга к простоте способствовала успеху «бритвы Оккама», отвергавшей возможность умножать «сущности» — классификационные ячейки — сверх необходимости. Однако разнородность, которую мы не хотели принять к сведению, побеждает наши предубеждения. Физики вывернули сентенцию Оккама наизнанку, утверждая, что возможно все, кроме запрещенного. Это в физике. А разнородность цивилизаций гораздо шире, чем разнородность физических явлений.

Я бы с охотой слушал дальше, но Лapidус потащил меня к врачам и биологам. Их мнение было единым: мало данных! Надо проверить гипотезу, что серия смертей есть результат специфической врожденной реакции организма на биосферу Неаполя. Следует взять две группы мужчин примерно сорока — пятидесяти лет, пикнического типа, отобранных по жребью, и купать их в неаполитанском сероводороде, жечь в лучах солнца, делать им массаж, заставлять потеть, опалить кварцем, пугать фильмами ужасов, возбуждать порнографией и ждать, пока кто-нибудь из них спятит. Вот тогда надо взяться за анализ наследственности этих людей, изучить генеалогическое древо, найти там случаи внезапных и невыясненных смертей, и в этом компьютер наверняка окажет нам колоссальную услугу! Одни говорили, обращаясь ко мне, другие беседовали между собой о химическом составе лечебных вод и воздуха, об адrenoхромах, о шизофреническом бреде на почве нарушения обмена, пока доктор Барт не выручил меня, решив познакомить с юристами.

У этих оказались свои гипотезы. Некоторые винули мафию, другие считали, что это новая, доселе неизвестная ор-

ганизация, которая не спешит воспользоваться результатами загадочных смертей. Мотивы? А с какой целью этот японец поубивал в Риме сербов, голландцев и немцев? Видел ли я сегодняшние газеты? Новозеландский турист в знак протеста против похищения в Боливии австралийского дипломата пытался в Хельсинки угнать самолет с католиками, отправлявшимися в Ватикан. Принцип римского права: *id fecit cui prodest** — утратил свое значение. Нет, скорее, мафия, членом ее может оказаться любой итальянец — перекупщик, портье, служитель грязелечебницы, водитель. Острый психоз свидетельствует в пользу галлюциногенов, в ресторане их подать нелегко, а когда человек с наибольшей охотой выпьет одним духом освежающий напиток, как не пропотев после горячей лечебной ванны?

Юристов окружили врачи, которых я только что оставил, и разгорелся спор о лысынах, ни к чему, однако, не приведший. В общем, все это было даже забавно. В первом часу ночи разрозненные группки слились в одну шумную толпу, и за шампанским кто-то затронул проблему секса. Список лекарств, найденных у жертв, явно не полон. Как же, в нем отсутствуют современные возбуждающие средства. Стареющие мужчины наверняка их применяли!.. Их ведь множество: топкрафт, биос-6, дюлонг, антипрекокс, оркасфлюид, секс тоникум, санурекс эректа, египетский эликсир, эректовите, топформ, экшн крим. Такая эрудиция ошеломила меня, но и смутила, ибо в следствии оказался пробел: никто не анализировал психотропного действия подобных препаратов. Мне посоветовали этим заняться. Их нигде и ни у кого не обнаружили? Вот это и подозрительно! Молодой человек не скрывал бы ничего такого, но стареющие господа, как известно, лицемеры и ханжи, они заботятся о приличиях. Пользовались ими и уничтожали упаковки...

Стоял шум, все окна были распахнуты, стреляли пробки, улыбающийся Барт возникал то в одних, то в других дверях, прислуга — девушки-испанки — кружила с подносами, жемчужно-золотистая блондинка, кажется, жена Лapidуса, привлекательная в полумраке, говорила, что я похож на ее давнего друга.

Вечер, несомненно, удался, но я был разочарован и впал в меланхолию, смягченную шампанским. Ни один из этих симпатичных энтузиастов не обладал той искрой следовательского таланта, которой в искусстве соответствует вдох-

* Сделал тот, кому выгодно (*лат.*)

новение. Способностью извлекать из потока фактов существенное. Вместо того чтобы думать о решении задачи, они усложняли ее, выдвигая новые вопросы. У Рэнди был этот дар, но ему не хватало знаний; этих знаний было в избытке в доме Барта, но они не могли сфокусироваться на задаче.

Я оставался в гостиной до конца, вместе с хозяевами провожал последних гостей; машины отъезжали одна за другой, дорожки опустели, дом сиял всеми окнами, а я отправился наверх с ощущением провала, злясь больше на себя, чем на них. За окном, за темной зоной садов и пригородов, светился Париж, но и он не мог затмить Марса, сияющего на небосклоне, словно кто-то поставил над всем желтую точку.

Бывают иногда знакомые, с которыми тебя не связывают ни общие интересы, ни пережитое, с которыми не переписываешься, видишься редко, от случая к случаю, и тем не менее само существование их имеет важный, хотя и неясный смысл. В Париже таким знакомым была для меня Эйфелева башня, и не как символ города, — к самому Парижу я достаточно равнодушен. То, что она мне дорога, я понял, когда прочитал в газете заметку о проекте ее разборки, и испугался.

Сколько ни бываю в Париже, всегда иду взглянуть на нее. Только взглянуть, ничего больше. Прохожу к ее основанию между четырьмя мостовыми опорами, откуда видны соединяющие их арки, фермы на фоне неба и старомодные громадные колеса, приводящие в движение лифты.

Туда я и направился на следующий день после приема у Барта. Башня не изменилась, хоть ее и обступили коробки небоскребов. День выдался чудесный. Я сидел на скамье и думал, как выпутаться из этой истории, потому что утром проснулся именно с таким решением. Дело, которому я отдал столько сил, стало для меня чужим, ненужным и как бы фальшивым. То есть фальшивым оказался мой энтузиазм, мое отношение к нему. Словно вдруг очнувшись или поумнев, я увидел собственную незрелость, тот самый инфантилизм, который сопутствовал любым моим жизненным начинаниям. Из озорства в восемнадцать лет я решил стать десантником, и мне удалось увидеть нормандский плацдарм, но с носилок, потому что наш планер, подбитый в воздухе зениткой, сбросил нас, тридцать человек, далеко за целью, прямо к немецким блиндажам, и после той ночи я с треснувшим крестцом угодил в британский госпиталь. И с Марсом вышло нечто в том же роде. Если бы я там и побывал,

это не стало бы моим всежизненным утешением; скорее, мне грозила бы судьба астронавта, ступившего на Луну вторым: он маялся мыслями о самоубийстве, оттого что его не устраивали предлагаемые ему посты в контрольных советах крупных фирм. Один из моих коллег стал заведовать сетью оптовой продажи пива во Флориде. Когда я беру в руки жестянку с пивом, непременно представляю его себе — в девственно-белом скафандре, входящим в подъемник; я и в аферу эту ринулся, чтобы не последовать его примеру.

Поглядывая на Эйфелеву башню, я размышлял над всем этим. Фатальная профессия, соблазняющая перспективой, что за «маленьким шагом одного человека» последует «великий шаг человечества», как сказал Армстронг, высшая точка, апогей, символизирующий все человеческое бытие, с его алчным стремлением к недостижимому. С той только разницей, что под понятие «лучшие годы жизни» здесь подпадают считанные часы. Олдрин знал, что следы его массивных башмаков на Луне переживут не только память о программе «Аполлон»*, но, пожалуй, и само человечество, ибо только через полтора миллиарда лет сметет их пламя Солнца, переклестнувшее через земную орбиту, — и вот вопрос: как может довольствоваться продажей пива человек, едва не приобщившийся к вечности? Осознать, что все уже позади, понять это так внезапно и с такой неумолимостью — это больше чем поражение, это насмешка над взлетом, который ему предшествовал. Я сидел, глядя на железный монумент, поставленный девятнадцатому веку степенным инженером, и все больше дивился собственной слепоте, тому, что столько лет не мог прозреть, и только стыд помешал мне тотчас вернуться в Гарж и тайком собрать свои вещи. Стыд и чувство долга.

После полудня в мою мансарду явился Барт. Похоже, он был не в своей тарелке. Принес новость. Инспектор Пиньо, связной между Сюрте и его группой, приглашал нас к себе. Речь шла о случае, следствие по которому вел в свое время один из его коллег, комиссар Леклерк. Пиньо считал, что мы должны ознакомиться с этим делом. Я, разумеется, согласился, и мы вместе отправились в Париж. Пиньо ждал нас. Я узнал его: седеющий молчальник, которого я видел мельком вчера вечером на приеме; он был гораздо старше, чем мне показалось накануне. Пиньо принял нас в неболь-

* Речь идет о первой высадке человека на Луну («Аполлон-11» 21.07.69) Первым ступил на Луну Н.Армстронг, вторым — Э Олдрин

шом кабинете сбоку здания; поднялся из-за стола, на котором стоял магнитофон. Без предисловий сообщил, что комиссар заходил позавчера — он уже на пенсии, но иногда навещает бывших коллег. В разговоре всплыло дело, которое Леклерк не согласился изложить мне лично, но по просьбе инспектора записал свой рассказ на магнитофон. Предложив расположиться поудобней, потому что история довольно длинная, Пиньо оставил нас, как бы не желая мешать, и это показалось мне странным.

Слишком много благодеяний, вопреки обычаям любой полиции, а тем более французской. Слишком много и слишком мало. Прямой лжи в словах Пиньо, пожалуй, не было. Следствие наверняка не сфабриковано, история не выдуманна, комиссар, видимо, на самом деле пенсионер, но ведь нет ничего легче, как устроить с ним свидание. Я бы еще понял нежелание знакомить с делом, это для них святыня, но магнитофонная запись наводила на мысль, что они хотят избежать любой дискуссии, предпочитают ограничиться информацией без комментариев. Магнитофонной ленте вопросов не задают. Что за этим скрывается? Барт, очевидно, тоже был сбит с толку, но не хотел или не мог делиться своими сомнениями. Все это промелькнуло у меня в голове, когда магнитофон включили и послышался низкий, самоуверенный, несколько астматический голос:

— Сэр, чтобы избежать недоразумений, я расскажу вам только то, что могу. Инспектор Пиньо за вас ручается, но есть вещи, о которых я вынужден умолчать. До вашего прихода я ознакомился с досье, которое вы привезли, и хочу высказать свое мнение: в нем нет материала для следствия. Вам ясно, что я имею в виду? Меня с профессиональной точки зрения не интересует то, что не подпадает под статьи уголовного кодекса. На свете уйма необъяснимого: летающие тарелки, изгнание бесов, какие-то типы — видел по телевидению — гибнут на расстоянии вилку, но меня как полицейского все это не касается. Как читатель «Франс суар» я, может быть, заинтересуюсь этим на пять минут и скажу: «Ну и ну!» Когда я говорю, что в этой итальянской истории нет материала для следствия, я могу ошибаться, но у меня за спиной тридцатилетний опыт службы в полиции. Впрочем, вы можете со мной не согласиться. Дело ваше. Инспектор Пиньо попросил ознакомить вас с делом, которое я вел два года назад. Когда я закончу, вы поймете, почему оно не стало достоянием прессы. Сразу же, пренебрегая вежливостью, добавлю: если вы попытаетесь использовать материал

для публикации, все будет опровергнуто. Почему, вы тоже поймете. Речь идет об интересах государства, а я — сотрудник французской полиции. Не обижайтесь, речь идет о служебной лояльности. Так уж принято.

Это дело сдано в архив. Им занималась полиция, Сюрте, а потом и контрразведка. Папки в архиве весят добрые килограммы. Итак, приступаю. Главный персонаж — Дьедонне Прок. Прок — фамилия, которая звучит не по-французски. Сначала его звали Прокке. Это немецкий еврей, который юношей вместе с родителями эмигрировал во Францию при Гитлере, в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Отец и мать Прока из мещан, до прихода нацистов — немецкие патриоты. У них были дальние родственники в Страсбурге, осевшие во Франции еще в XVIII веке. Ухожу так далеко, потому что мы все прощупали, как всегда в трудном деле. Чем дело запутаннее, тем глубже мы в него погружаемся.

Отец, умирая, не оставил Проку ничего. Сын выучился на оптика. В годы войны жил в неоккупированной зоне, в Марселе, у других родственников. Все остальные годы, кроме этих шести, безвыездно жил в Париже, в моем округе. У него была небольшая лавка оптики на улице Амели. Дела Прока шли, пожалуй, неважно. Он не располагал средствами и не мог конкурировать с солидными фирмами. Торговля шла слабо, он больше занимался ремонтом: менял линзы, иногда чинил игрушки, не обязательно оптические. Словом, оптик бедных и неимущих. Он был холостяком, жил с матерью. Она дотянула почти до девяноста.

Когда случилось то, о чем я расскажу, Проку шел шестьдесят первый год. К суду он не привлекался, в наших картотеках не значился, хоть мы и знали, что фотолаборатория, устроенная позади мастерской, была не таким уж невинным хобби, как он утверждал. Есть люди, которые делают рискованные снимки, не обязательно порнографические, не умеют или не хотят их проявлять и нуждаются в доверенном лице, которое бы этим занялось. Желательно, чтоб это был солидный человек, который не станет делать лишних отпечатков для себя, а то и не только для себя. Что ж, до известных пределов это ненаказуемо. Попадаются и любители пошантажировать: вовлекут кого-нибудь в щекотливую ситуацию и украдкой снимают их. Как правило, такие люди у нас зарегистрированы, им не с руки заводить собственную лабораторию или обращаться к услугам фотографа, который на подозрении у полиции. Прок иногда выполнял подобные

заказы, но в меру. Мы знали об этом. Обычно он брался за них, когда его финансовые дела оказывались совсем плохи. Однако оснований для вмешательства не было. И не на такие вещи полиция смотрит сейчас сквозь пальцы. Не хватает штатных единиц, не хватает средств. Впрочем, Прок на этом зарабатывал немного. Он никогда не осмелился бы требовать у клиентов лишнее, ссылаясь на характер заказов. Он осторожничал, да и по натуре был трусоват, находился под пятой у матери. Они жили как по расписанию. Каждый год ездили отдыхать, всегда в июле и всегда в Нормандию, их трехкомнатная квартира, забитая рухлядью, помещалась над магазином в старом доме, где жильцы знали друг друга давно, еще с довоенных времен.

Я должен описать вам Прока, поскольку это важно, особенно для вас. Низкий, худой, преждевременно сгорбившийся, с тиком левого глаза и падающим веком; на людей, не знавших его, производил впечатление тугого на ухо, глуповатого или рассеянного. В умственном отношении он был совершенно нормален, но его одолевали приступы сонливости, чаще около полудня — из-за пониженного давления. Поэтому на столе в мастерской он всегда держал термос с кофе — пил его, чтобы не заснуть за работой. С годами приступы сонливости, зевота, тошнота, страх перед обмороком донимали его все сильнее. Наконец мать настояла, чтобы он показался врачу. Он побывал у двух, врачи прописали ему невинные возбуждающие средства, которые какое-то время помогали.

То, что я вам рассказываю, знал любой из обитателей дома, и любой сказал бы то же самое. Соседи, пожалуй, догадывались о его темных делишках в фотолаборатории. Сам-то он в дурном не был замешан. Эти фотографии, в сущности, детские забавы в сравнении с тем, чем полиции приходится заниматься ежедневно. Впрочем, я сам из уголовной, а пюеигс, полиция нравов, — это особый мир. После того, что произошло, мы их подключили к следствию, но безрезультатно.

Что еще добавить к его портрету? Он собирал старые открытки, жаловался на чувствительность кожи, не выносил солнца — сразу начиналось какое-то раздражение, впрочем, он вовсе не стремился загореть. Но осенью позапрошлого года лицо его стало смуглым, кожа приобрела бронзовый оттенок, как при искусственном загаре, и старые клиенты, знакомые заинтересовались: что, месье Прок, вы посещаете солярий? А он, краснея, как барышня, объяснял каждому,

что нет, просто свалилось на него страшное несчастье, фурункулы на самом неудобном месте, и продолжается это так долго, что врач, помимо витаминов и мази, прописал облечение всего тела кварцем. И это ему помогло.

Стоял октябрь, довольно скверный в том году, дождливый, холодный; осенью оптик особенно страдал от приступов сонливости в полуденные часы, он снова пошел к врачу, и тот прописал ему тонизирующие пилюли. В конце месяца он сообщил матери за обедом, оживленный и довольный, что получил выгодный заказ: проявить много пленок и сделать цветные снимки большого формата. Он рассчитывал на тысячу шестьсот франков прибыли, солидную для него сумму. После семи вечера он опустил шторы и заперся в лаборатории, предупредив мать, что ляжет поздно, так как работа срочная.

Около часа ночи мать разбудил какой-то шум, доносившийся из комнаты сына. Тот сидел на полу и плакал «так ужасно, как ни один человек еще не плакал», — это слова из³ се показаний. Кричал, рыдая, что загубил свою жизнь, что должен покончить с собой. Разорвал коллекцию любимых открыток, перевернул мебель, старушка не могла с ним справиться — обычно такой послушный, он не обращал на нее внимания. Она семенила за ним по комнате, цеплялась за одежду, а он, как в дешевой мелодраме, искал веревку — отрезал шнур от гардины, впрочем, слишком слабый, мать в конце концов вырвала этот шнур у него из рук, тогда он бросился на кухню искать нож, порывался спуститься вниз за ядом. В фотолаборатории реактивов хватало, но вдруг он ослаб, опустился на пол и, наконец, захрапел, всхлипывая сквозь сон. Так и проспал до утра, у матери не хватило сил перетащить его на кровать, а обращаться за помощью к соседям не хотелось, поэтому она только подложила ему под голову подушку.

Назавтра он был на вид нормален, хоть и казался подавленным. Жаловался на страшную головную боль, говорил, что у него такое чувство, словно он пил ночь напролет, а ведь он всю жизнь ограничивался стаканом белого вина за обедом. Наглотавшись порошков, он спустился в лавку. День провел как всегда. Клиентов у него бывало немного, и лавка обычно пустовала, а он шлифовал линзы в задней комнате или печатал снимки в фотолаборатории. В этот день у него побывало только четыре клиента. Он вел книгу, куда записывал выполняемую им работу, даже самую пустяковую, сделанную в присутствии заказчика. Если заказчик

был ему не знаком, он заносил в книгу только вид заказа без фамилии. Конечно, на фотоработы это правило не распространялось. Последующие два дня также прошли без происшествий. На третий день он получил часть платы за снимки. Подобные поступления он не фиксировал, не настолько был глуп. Ужин у них с матерью был на славу, по крайней мере по их масштабам: вино подороже, рыба, сейчас я уже не помню всего, сами понимаете, но тогда я знал даже, сколько было сортов сыра. На следующий день он получил новую партию пленок от того же клиента. За обедом пребывал в великолепном настроении, говорил матери, что они еще построят себе дом, вечером снова заперся в лаборатории, и в полночь оттуда до матери донесся дикий шум. Она спустилась вниз, стучалась из прихожей в заднюю дверь, слышала через фанерную переборку, как он завывает, гремит, переворачивает все, бьет стекло, и, потрясенная, позвала соседа, гравера, его мастерская на той же улице. Сосед, спокойный пожилой вдовец, поддел резцом засов в переборке. В помещении было темно. Прок лежал на полу среди полупроявленных, слипшихся порнографических пленок, раскиданных повсюду и частично порванных, линолеум был залит химикатами — он разбил банки с реактивами, сбросил со стола увеличитель, ошпарил кислотой руки, прожег одежду, из крана струей била вода, и сам он был мокр с головы до ног. Видимо, когда ему стало худо, он пытался привести себя в чувство, смачивая лицо водой, потом сунул голову под кран. Наверно, хотел отравиться, но вместо цианистого калия принял бром и лежал теперь совершенно одурманенный. Позволил отвести себя домой; сосед почти нес его на руках. После ухода соседа, по словам матери, Прок снова принялся буйствовать, но сил у него совсем не было; все это смахивало на дешевую комедию — лежа на кровати, пытался разодрать простыню, чтобы на ней повеситься, запихивал наволочку в рот, хрипел, плакал, выкрикивал проклятия, а когда попробовал вскочить, свалился с кровати и, как в первый раз, уснул на полу.

На следующий день встал поздно, выглядел, словно его сняли с креста. Был в отчаянии, но уже по конкретному поводу — из-за ущерба, причиненного самому себе. Все утро собирал, промывал, спасал как мог слипшиеся пленки, подметал и приводил в порядок лабораторию, а в полдень вышел на улицу — он опирался на трость, у него кружилась голова, но надо было купить новые реактивы взамен уничтоженных. Вечером жаловался матери, что это, наверно,

психическая болезнь, спрашивал, не было ли сумасшедших в роду, и не хотел верить, что она ни о чем таком не знает. По тому, как он к ней обращался, как обвинял ее во лжи, мать догадалась, что он еще не совсем в норме — поскольку обычно он не смел повышать на нее голос. Никогда он не держался так агрессивно, однако можно понять возбуждение и страх человека, который неожиданно для себя несколько дней подряд впадает в буйство. Каждый бы подумал, что близок к помешательству. Он сказал матери, что, если подобное хоть раз повторится, он пойдет к психиатру. Такая решительность была ему не свойственна, раньше проходили недели, прежде чем он, порядком измучившись от фурункулов, решался нанести визит кожнику, и даже не из-за скупости — он имел медицинскую страховку, — просто мельчайшее отклонение от установленного распорядка было для него невыносимо.

С клиентом, который дал ему пленку, он поссорился, поскольку тот недосчитался нескольких кадров. Что между ними произошло, неизвестно, — это единственный момент во всем деле, который не удалось прояснить.

Потом целую неделю ничего не происходило. Прок успокоился, в беседах с матерью не возвращался больше к предположению, что он болен психически. В воскресенье был с ней в кино. А в понедельник — сошел с ума. Это выглядело так. В одиннадцать утра он вышел из мастерской, оставив дверь открытой, не ответил, как обычно отвечал, на приветствие знакомого кондитера-итальянца, у которого была лавчонка на углу, — тот стоял в дверях и первым поздоровался с ним. Прок, показавшийся кондитеру каким-то странным, вошел в лавку, купил сладостей, пообещав расплатиться по возвращении, потому что тогда будет при «больших деньгах» — вообще-то он никогда не хвастался доходами, — сел на стоянке в такси — такси он не пользовался лет десять — и назвал шоферу адрес. Там велел ему обождать и через четверть часа вернулся к машине, громко разговаривая сам с собой и размахивая руками — в одной он сжимал конверт, полный банкнотов. Проклина мерзавца, пытавшегося лишить его заработка, он велел ехать по направлению к Нотр-Дам. Там, на острове, заплатил шоферу сто франков, отказался от сдачи — таксист заметил, что в конверте одни сотенные бумажки, — и, прежде чем машина успела отъехать, начал перелезать через перила моста. Какой-то прохожий схватил его за ногу, они стали бороться; видя это, шофер выскочил из такси, но даже вдвоем им не удавалось

справиться с оптиком. На мостовой валялись стофранковые банкноты. Появился полицейский, втроем они сунули Прока в машину, а тот все буйствовал. Наконец полицейский пристегнул его наручниками к себе, и они поехали в больницу. По дороге оптику удалась весьма необычная штука. Когда машина тронулась, он как бы ушел в себя и лежал рядом с полицейским, безвольный, словно тряпка, а потом вдруг рванулся и прежде, чем тот водворил его на место, перехватил у шофера баранку. Вокруг было полно машин, и произошла авария. Такси так ударило в переднюю дверь ближнего «ситроена», что его водителю переломило запястье. Наконец полицейский на другом такси доставил Прока в больницу, но там отнеслись к нему недостаточно серьезно, отчасти потому, что он впал в ступор, временами всхлипывал, не отвечал на вопросы — в общем, вел себя смиренно. Его оставили для обследования, а при вечернем обходе главного врача обнаружилось, что он исчез. Нашли его под кроватью, где он лежал, завернутый в одеяло, вытащенное из пододеяльника, так плотно прижавшись к стене, что его не скоро заметили. Он потерял сознание от потери крови: лезвием, которое сумел переложить из одежды в больничную пижаму, вскрыл себе вены на руках. Его отходили, пришлось трижды переливать кровь. Потом начались осложнения, поскольку у него было слабое сердце.

Это дело я получил на следующий день после происшествия на острове Сен-Луи. Оно как будто было не по части Сюрте, но юрисконсульт владельца «ситроена» решил, что представился отличный случай «подоить» полицию. Адвокат выдвинул версию о возмутительной халатности полицейского, который, конвоируя обезумевшего преступника, позволил ему совершить наезд, в результате чего его клиенту не только причинен материальный ущерб, но нанесены телесные повреждения и тяжелая психическая травма. Следовательно, полиция несет ответственность и должна выплачивать пенсию из фондов министерства, поскольку виновный в случившемся полицейский находился при исполнении служебных обязанностей.

Чтобы обеспечить себе надежные позиции, адвокат в подобном духе информировал прессу. Поэтому дело из разряда банальных инцидентов перешло в ранг повыше: теперь речь шла о престиже Сюрте, точнее, уголовной полиции. Шеф поручил мне расследование.

В предварительном медицинском диагнозе констатировалось буйное помешательство на почве поздно проявившейся

шизофрении, но чем дольше исследовали Прока, уже после попытки самоубийства, тем сомнительнее казался диагноз. Шесть дней спустя это был сломленный, едва живой, внезапно постаревший, но, в сущности, вполне нормальный человек. На седьмой день пребывания в больнице он дал показания. Сказал, что сперва клиент уплатил ему вместо обещанных полутора тысяч всего сто пятьдесят франков, мотивируя это тем, что не получил всех снимков. В понедельник Прок шлифовал стекла для очков, и вдруг его охватила такая ярость, что, бросив все, он в чем был выбежал из мастерской, «чтобы с ним расквитаться». О посещении кондитерской он вообще не помнил. Не мог вспомнить и ничего из происшедшего на мосту, знал только, что закатил клиенту в квартире скандал и тот уплатил ему сполна. В ночь после дачи показаний его состояние резко ухудшилось. Он умер на рассвете от сердечной недостаточности. Врачи сошлись на том, что причиной был реактивный психоз. Хотя смерть Прока лишь косвенно была связана с тем, что произошло по дороге в больницу, дело снова приняло серьезный оборот. Труп — всегда козырная карта. Накануне смерти Прока я был у его матери. Для женщины столь преклонного возраста она была весьма вежлива. Я прихватил с собой на улице Амели практиканта из отдела наркотиков, чтобы он обследовал лабораторию и находящиеся там химикаты. У мадам Прок просидел долго: мышление у такой старой дамы вроде грампластинок, раз начала о чем-нибудь, приходится набраться терпения. Под конец визита мне показалось, что я слышу внизу, в лавке, дверной колокольчик — окно было открыто. Практиканта я застал за прилавком, где он просматривал книгу записей.

— Нашли что-нибудь? — поинтересовался я.

— Нет, ничего.

Однако вид у него был растерянный.

— Был кто-нибудь?

— Да. Откуда вы знаете?

— Я слышал колокольчик.

— Да, — повторил он и рассказал мне, что произошло. Он услышал колокольчик, но, поскольку стоял на стуле, открыв распределительный щиток — по ходу обыска, — то не смог сразу выйти в лавку. Пришедший, слыша, что кто-то возится, и будучи уверен, что это Прок, громко сказал:

— Ну, что там? Как вы сегодня себя чувствуете, старина Дьедонне?

При этих словах мой практикант вошел в лавку и увидел

мужчину средних лет, с непокрытой головой, который при виде его вздрогнул и инстинктивно подался к дверям. Виноват был случай. Обычно люди из отдела наркотиков ходят в штатском, но в тот день намечалось скромное торжество в связи с награждением одного из них, а с поздравлениями следовало являться в мундире. Торжество начиналось в четыре часа, и практикант отправился со мной уже в форме, чтобы не возвращаться домой.

Итак, пришедшего смутил полицейский мундир. Он сказал, что хочет получить очки, отданные в починку. Показал квитанцию с номером. Практикант ответил, что владелец мастерской занемог и поэтому клиент, к сожалению, не сможет получить свои очки. Было сказано все, что можно было сказать, однако клиент не уходил. Наконец, понизив голос, спросил, неожиданно ли заболел Прок. Практикант это подтвердил.

— Занемог серьезно?

— Довольно серьезно.

— Мне... крайне необходимы эти очки, — произнес незнакомец — явно только потому, что не осмеливался задать интересующий его вопрос. — А он... жив? — спросил он все-таки наконец.

Это практиканту совсем не понравилось. Не отвечая, он взялся рукой за подъемную доску прилавка, чтобы выйти и проверить документы у посетителя. Но тот стремительно повернулся и вышел. Когда практикант выскочил на улицу, незнакомца и след простыл. Близился четвертый час, моросил мелкий дождик, люди возвращались с работы, на тротуарах была толпа. Я, конечно, рассердился, что практикант позволил ему улизнуть, но нагоняй оставил на потом. Впрочем, у нас имелась книга заказов. Я спросил практиканта, запомнил ли он номер квитанции. Нет, он не обратил внимания. В книге за последние дни немало заказов было помечено одними инициалами клиентов. Это не предвещало ничего хорошего. Единственное, за что я мог зацепиться, было туманным, как облако, — поведение этого клиента. А он, видимо, неплохо знал Прока, раз обращался к нему по имени. Без особой надежды на успех я принялся переписывать последние записи из книги. А может, квитанции на очки — только удобное прикрытие? Наркотики могут лежать в тайнике, который не отыщешь за один день, если его устраивали профессионалы. Номер квитанции может быть фиктивным. Что я думал тогда о Проке? Так, ничего определенного. Если допустить, будто его мастерская действи-

тельно служила перевалочным пунктом для наркотиков, то бессмыслицей было предполагать, что Прок, получив партию товара, попробовал его первым и потому отравился. Товар могли подменить, такое бывает, но не помню случая, когда торговцы или посредники сами употребляли наркотики: они слишком хорошо знают последствия, чтобы соблазниться. Я пребывал в растерянности, пока практикант не помог мне, вспомнив, что, хотя и моросил дождь, у посетителя не было ни зонта, ни шляпы, а его плащ, ворсистый редингот, был почти сухим. Приехать на машине он не мог: улицу перекрыли из-за дорожного ремонта. Следовательно, этот человек должен жить поблизости.

Мы разыскали его на пятый день. Как? Очень просто. По описанию практиканта изготовили словесный портрет разыскиваемого, и сыщики обошли с ним консьержек на улице Амели. Клиентом оказался не кто-нибудь, а ученый-химик по фамилии Дюнан. Доктор Жером Дюнан. Тогда я снова перелистал книгу записей и обнаружил странное обстоятельство: инициалы Ж.Д. фигурировали в каждой из трех записей по дням, предшествовавшим трем припадкам безумия у Прока.

Доктор жил на этой же улице, несколькими домами выше, по другой стороне. Я отправился к нему после полудня. Он сам открыл дверь. Я тут же узнал его по наброску наших специалистов.

— Ага, — сказал он, — пожалуйста, проходите...

— Вы ожидали этого визита? — спросил я, следуя за ним.

— Да. Прок жив?

— Простите, но я хочу задать вам несколько вопросов, а не отвечать на ваши. Какие основания у вас думать, что Прок мог умереть?

— Сейчас я, в свою очередь, вам не отвечу. Самое важное, комиссар, чтобы это дело не получило огласки. Его необходимо скрыть от прессы. Иначе это может иметь роковые последствия.

— Для вас?

— Нет, для Франции.

Я не стал обращать внимание на эти слова, но так ничего от него и не добился.

— Увы, — отвечал он, — если я буду говорить, то только с вашим шефом в Сюрте, да и то получив санкцию своего начальства.

К сказанному он ничего не прибавил. Опасался, что я из

полицейских, снабжающих прессу сенсациями. Это я понял уже потом. С ним у нас было немало хлопот. В конце концов все обставили, как он требовал. Мой шеф вошел в контакт с начальством Дюнана — на его допрос потребовалось согласие двух министерств.

Как известно, все государства миролюбивы и все готовятся к войне. Франция не исключение. О химическом оружии все говорят с негодованием. Но и над ним работа не прекращается. Именно он, доктор Дюнан, занимался поисками препаратов, именуемых депрессантами, которые в виде газов или пыли поражали бы психику неприятельских солдат. Что нам в результате удалось выяснить? Под расписку о неразглашении нам сообщили, что доктор Дюнан более четырех лет работал над синтезом такого депрессанта. Начав с определенного химического соединения, он получил значительное количество производных. Одно из этих производных оказывало требуемое воздействие на мозг. Но лишь в огромных дозах. Нужно было принимать его ложками, чтобы вызвать характерные симптомы: сначала фазу возбуждения и агрессивности, потом — депрессии, переходящей в манию самоубийства. В подобных обстоятельствах нередко производят реакцию замещения различных химических групп в исходных соединениях и проверяют фармакологические свойства производных, то есть полагаются на случай, в надежде, что он укажет верный путь. Так можно работать годами, но можно получить вещество с нужными характеристиками сразу же. Первый вариант, конечно, куда более вероятен.

Доктор Дюнан страдал сильной близорукостью, носил очки и за последние годы не раз оказывался клиентом Прокка. Без очков он шагу не мог ступить, поэтому у него было три пары. Одни носил, вторые держал при себе как запасные, третьи хранил дома. Таким предусмотрительным он стал, когда очки, которыми он пользовался, разбились однажды у него в лаборатории и работу пришлось прервать.

Недавно, недели три назад, он разбил запасные очки. Работал он в абсолютной изоляции. Перед входом в лабораторию переодевался с ног до головы, менял даже башмаки и белье, а свои вещи оставлял в раздевалке, отделенной от рабочего места компрессорной камерой. На голову надевал прозрачный пластиковый шлем. Воздух подавали по специальному эластичному шлангу. Ни его тело, ни очки не соприкасались с веществами, с которыми он работал. Запасные очки Дюнан теперь до начала работы клал высоко над голо-

вой — на полку с реактивами. Как-то, потянувшись за нужным реактивом, он смахнул очки на пол и вдобавок наступил на них. Пришлось идти к Проку.

Явившись за очками два дня спустя, он едва узнал оптика. Тот выглядел как после тяжелой болезни. Пожаловался, что, наверно, чем-то отравился и ночью с ним был странный припадок; еще и сейчас, неизвестно почему, ему хочется плакать.

Дюнан не придавал словам оптика особого значения. Но починкой остался недоволен: одна дужка жала, а новая линза неплотно охватывалась нейлоновой оправой и через несколько дней вылетела, а так как это опять случилось в лаборатории, где пол выложен кафелем, стекло разбилось вдребезги.

Доктор снова принес очки Проку. Взял их на следующий день; Прок снова выглядел, как Лазарь, — словно за эти сутки постарел на десять лет. Дюнан из вежливости стал расспрашивать его о подробностях повторного «припадка». По описанию это походило на острую депрессию при химически вызванном психозе — полное совпадение с симптомами, какие вызывал препарат X, над которым Дюнан трудился так давно. Однако столь острую реакцию обычно вызывала доза порядка десяти граммов вещества в порошке — какая же могла быть связь между этим и очками, от данными в починку?..

Дюнан оба раза относил оптику запасные очки, которые обычно лежали на полке, над бунзеновской горелкой, и предположил, что пары вещества X, поднимаясь, могли в микроскопических дозах оседать на этих очках. Он решил проверить догадку, подверг линзы химическому анализу и убедился, что на них и на металлических шарнирах оправы действительно есть следы вещества X. Но это были дозы порядка микрограммов, то есть тысячных частей миллиграмма. Среди химиков известна история, как был открыт ЛСД. Ученый, работавший с этим веществом, не предполагал, как и никто в ту пору, что оно обладает галлюциногенным действием. Вернувшись домой из лаборатории, он испытал типичный «взлет», с видениями и психотическим состоянием, хотя, как всегда, перед уходом тщательно вымыл руки. Однако под ногтями у него осталось ничтожное количество ЛСД, попало в пищу, когда он готовил ужин, и этого оказалось достаточно для отравления.

Доктор Дюнан стал прикидывать, что, собственно, делает оптик, вставляя в оправу новые стекла и распрямляя дужки.

Чтобы выпрямить пластмассовые дужки, он быстро проводит ими над газовой горелкой. Неужели вещество X при подогреве подвергается изменениям, в миллион раз усиливающим его действие? Дюнан стал подогревать вещество всевозможными способами — над горелкой, спиртовкой, на пламени свечи, но безрезультатно. Тогда он решил поставить так называемый перекрестный опыт. Он согнул дужку очков и покрыл ее раствором препарата X, настолько разбавленным, что после испарения на оправе остались следы вещества порядка одной миллионной грамма. И отнес очки мастеру в третий раз. А когда явился за ними, увидел за прилавком полицейского. Вот и вся история. История без разгадки и тем самым без конца.

Доктор Дюнан предполагал, что какой-то реактив в мастерской оптика вызывал изменение препарата X. Что происходила каталитическая реакция, усиливающая действие препарата почти в миллион раз. Но найти катализатор ему не удалось.

Нам оставалось умыть руки: не было основания продолжать следствие, раз виновных надо искать не среди людей, а среди атомов. Преступления совершено не было, так как доза вещества X, нанесенная Дюнаном на очки, не могла убить и мухи. Насколько я знаю, все реактивы из фотолaborатории купил у мадам Прок Дюнан или кто-то по его поручению. Дюнан последовательно проверил их воздействие на вещество X, но безрезультатно.

Мадам Прок скончалась в том же году, под Рождество. Мои люди сообщили, что после ее смерти Дюнан на время перебрался в опустевшую мастерскую и чуть ли не всю зиму брал пробы со всего, вплоть до фанерной переборки, крошек от шлифовального камня, стеной краски, пыли на полу, но так и не обнаружил катализатора.

Я рассказал вам обо всем этом по просьбе инспектора Пиньо. Мне кажется, ваше дело из той же епархии. Такие дела творятся на свете с тех пор, как его научно усовершенствовали. Вот и все.

Мы возвращались в Гарж, целый час ехали через уличные заторы и почти всю дорогу молчали. Я узнал черты безумия Прока, как узнают знакомое лицо. Недоставало только фазы галлюцинаций, но кто знает, что привиделось этому несчастному? Странно, но к тем жертвам я относился, как к элементам головоломки, а Прока мне стало жаль — из-за Дюнана. Я понимал: тому не хватало мышей. Их нельзя было

довести до самоубийства. Ему нужен был человек. Дюнан ничем не рисковал — увидев в дверях полицейского, он зашел в Францию. И это я мог понять. Но его слова: *как вы сегодня себя чувствуете, старина Дьедонне?* — привели меня в бешенство.

Если японец в римском аэропорту был преступником, то кем был Дюнан? Фамилия, наверно, изменена. Я прикидывал, почему инспектор Пиньо дал мне прослушать эту историю: не просто же из симпатии. Что скрывалось за этим? Эпилог, возможно, также присочинен. В таком случае это могло быть попыткой под невинным предлогом передать Пентагону информацию о новом химическом оружии. Я поразмыслил над этим, и такое предположение показалось мне правдоподобным. Козырь был так ловко пущен в ход, что в случае необходимости легко от него отречься, я же слышал слова, что *ничего* не найдено, и не мог быть уверен в обратном. Будь я просто частным детективом, то наверняка не удостоился бы подобного сеанса, но астронавт, даже на второстепенных ролях, ассоциировался с НАСА, а НАСА — с Пентагоном. Если решение об этом приняли в высоких инстанциях, то Пиньо — только исполнитель, и смущение Барта тоже ни о чем не говорит. Положение Барта оказалось деликатнее моего. Он-то наверняка ощутил дуновение большой политики в столь неожиданном акте «помощи», но не хотел со мной об этом говорить, тем более что сам был ошарашен. В том, что его не предупредили, я не сомневался, поскольку знал правила игры в этих сферах. Не могли же его отозвать в сторону и сказать: «Этому «ами» мы покажем издали некую козырную карту, а он сообщит о ней дальше». Там по-простецки не действуют. С другой стороны, если бы в тайну посвятили одного меня, это выглядело бы дико — не могли они так поступить, зная, что Барт пообещал мне содействие. Они не могли ни обойти его, ни посвятить в закулисную сторону дела и избрали самый разумный вариант: он всего-навсего услышал то же, что и я, и сам должен был ломать голову над тем, что будет дальше. Возможно, он уже сожалел, что пообещал мне помочь.

Я сопоставил эту историю с моим следствием. Выводы были не радужными. В качестве предпосылок неаполитанских несчастных случаев мы выделили сероводородные ванны, возраст под пятьдесят, грузное телосложение, одиночество, солнце и аллергию, а здесь перед нами был человек за шестьдесят, хилый, не аллергик, живущий с матерью, не

принимавший сероводородных ванн, избегавший солнца и почти не выходявший из дому. Даже при желании не найдешь большей разницы!

В порыве великодушия я сказал Барту, что мы должны переварить услышанное врозь, чтобы не влиять друг на друга, а выводы сопоставим, встретившись вечером. Он охотно согласился. В три часа я отправился в сад, где за беседкой меня поджидал маленький Пьер. Это была наша тайна. Он показал мне детали для ракеты. Первой ступенью должно было стать корыто. Нет существ более ранимых, чем дети, поэтому я не стал говорить ему, что корыто для ракеты-носителя не годится, и нарисовал на песке ступени «Сатурна-V» и «Сатурна-IX».

В пять я был в библиотеке, как мы и условливались с Бартом. Он удивил меня. Начал с того, что если над препаратом X работали во Франции, то, вероятно, и в других странах. Такие исследования обычно идут параллельно. Значит, Италия тоже... Возможно, придется искать совершенно новый подход к делу. Препарат мог быть создан не в государственных лабораториях, а, например, в какой-нибудь частной фирме. Его мог создать, скажем, химик, поддерживающий контакт с экстремистами, или же они, что даже правдоподобнее, какое-то количество этого вещества попросту украли. Люди, завладевшие им, не знают, как использовать его с максимальным эффектом. Как же они поступают? Экспериментируют... Но почему их жертвами становятся иностранцы определенного возраста, ревматики и так далее? И на это у него имелся ответ.

— Поставьте себя на место руководителя такой группы. Вы уже слышали, что препарат обладает колоссальной силой воздействия, но какой именно, вы не знаете. Моральных принципов вы лишены, готовы испытать препарат на людях, но на каких? Не на своих же. Следовательно? На первом встречном? Но первый встречный — это итальянец, человек семейный. Уже начальные симптомы, такие, как болезненно резкая смена настроения, бросаются в глаза, и этот человек немедля окажется у врача или в клинике. А вот человек одинокий может вытворять Бог знает что, прежде чем окружающие обратят на него внимание, тем более в гостинице: там снисходительны к причудам клиентов. Чем лучше гостиница, тем совершеннее изоляция. В третьеразрядном пансионе хозяйка сует нос во все дела жильцов, зато в «Хилтоне» можно ходить на руках, голове и не привлечь к себе внимания. Администрация и прислуга глазом не моргнут, пока де-

ло не дойдет до уголовщины. Иноязычность — дополнительный фактор изоляции. Не так ли?

— А возраст? Аллергия? Ревматизм? Сера?..

— Результат эксперимента тем ощутимее, чем больше разница в поведении до и после приема препарата. Молодому человеку не сидится на одном месте: сегодня он в Неаполе, завтра на Сицилии. Зато пожилой мужчина — почти идеальный объект, особенно курортник, потому что живет он по четкому расписанию: от врача — на ванны, из солярия — в гостиницу, действие отравления видно как на ладони...

— А пол жертвы?

— Тоже не случайность. Почему только мужчины? Не потому ли, что новым средством собираются устранять именно мужчин? В этом я вижу чуть ли не ключ ко всей проблеме, поскольку это указывает на политическую подоплеку дела *rag excellence**. Если они собираются выводить из строя известных политиков, то их цель именно мужчины, как по-вашему?

— В этом что-то есть... — признался я с удивлением. — Итак, вы считаете, что у них агенты в гостиницах и они выбрали категорию приезжих, может, даже по возрасту соответствующих политикам, которых они хотят уничтожить, готовя государственный переворот? Верно? Вы это имели в виду?

— Ну, я бы не перебарщивал! Лучше не сужать чересчур поле наблюдения. Лет пятнадцать — двадцать назад эта концепция показалась бы мне бредом, заимствованным из бульварного романа, но сейчас, сами понимаете...

Я его понимал, и я вздохнул: перспектива возобновления следствия мне не улыбалась. С минуту взвешивал «за» и «против».

— Признаюсь, вы меня убедили... но остается еще масса неясностей. Почему все-таки аллергия? При чем здесь облысение? Ну, и время года — стык мая и июня... или и на это у вас есть объяснение?

— Нет. По крайней мере, сейчас. Следовало бы, мне кажется, подойти к проблеме и с другого конца: прикинуть возможных кандидатов уже не в «экспериментальные», а в настоящие жертвы. Надо приглядеться к итальянской политической элите. Если окажется, что там есть аллергики...

— Ах, так! Понимаю. Короче говоря, вы направляетесь ме-

* По преимуществу (фр.)

ня в Рим. Боюсь, придется ехать, это, может быть, горячий след...

— Вы собираетесь ехать? Надеюсь, не сразу?..

— Завтра, самое позднее — послезавтра, потому что такое по телефону не передашь...

На этом мы расстались. У себя в мансарде я обдумал концепцию Барта, и она показалась мне великолепной. Он выдвинул убедительную гипотезу и выбрался из тупика, вернув проблему на итальянскую почву и тем самым оставляя в стороне французскую историю с препаратом X. Обнаружил Дюнан катализатор в лаборатории на улице Амели или нет, уже роли не играло. Чем больше я над этим думал, тем сильнее утверждался во мнении, что выстрел Барта может попасть в цель. Препарат X существует и действует. Я в этом не сомневался. Как и в том, что такой метод устранения ведущих политиков приведет к непредвиденным по резонансу потрясениям — и не только в Италии.

Эффект будет сильнее, чем при «классическом» государственном перевороте. И «дело одиннадцати» вызывало у меня теперь неприязнь, близкую к отвращению. Там, где до этой минуты мерцала тайна, проступили контуры столь же заурядной, сколь и кровавой борьбы за власть. За оболочкой загадочности скрывалось политическое убийство.

Назавтра я поехал на улицу Амели. Не знаю, почему я это сделал. Но около одиннадцати уже шагал по тротуару, останавливаясь перед витринами магазинов. Еще выезжая из Гаржа, я не был уверен, что не изменю свой план, свернув к Эйфелевой башне, чтобы попрощаться с Парижем. Но, едва выехав на бульвары, я перестал колебаться. Правда, найти улицу Амели было непросто, я не знал этого района, не сразу удалось и поставить машину. Дом Дьедонне Прока я узнал раньше, чем увидел номер. Он выглядел почти так, как я его себе представлял. Старое, обреченное на снос здание с закрытыми окнами, со старомодными украшениями под карнизом; с их помощью архитекторы прошлого века придавали постройкам индивидуальность. Лавки оптика уже не существовало, спущенные жалюзи были заперты на замок. Возвращаясь, я остановился возле магазина игрушек. Пора было подумать о подарках, ведь я не собирался участвовать в дальнейшем следствии. Я решил передать Рэнди информацию от Барта и вернуться в Штаты. Итак, я зашел, чтобы купить что-нибудь для мальчиков сестры, — эта покупка могла послужить разумным оправданием моей вылазки на улицу Амели. На полках поблескивала наша пестрая

цивилизация в уменьшенных размерах. Я искал игрушки, памятные по собственному детству, но здесь была одна электроника, установки для запуска ракет, крошечные супермены в атакующих позициях дзюдо и каратэ. Дурачок, сказал я себе, для кого, собственно, ты покупаешь игрушки?

Я остановил выбор на парадных касках французских гвардейцев с плюмажами и игрушечной фигурке Марианны — в Детройте такого не было. Нагрузившись покупками, зашагал к машине и тут заметил на углу кондитерскую с белыми занавесками. В витрине отливал бронзой Везувий из жареного миндаля. Он напомнил мне о тележке, мимо которой я проходил, направляясь из гостиницы на пляж. Я не был уверен, понравится ли горьковатый миндаль мальчишкам, но вошел и купил несколько пакетиков. Любопытно, подумалось мне, что именно здесь со мной попрощался Неаполь.

Я шел к машине, как бы медля, словно не отрешившись от чего-то до конца, но от чего, собственно? Сам не знаю, может, от ощущения стерильности загадки, которое я, сам того не осознавая, до сих пор все же испытывал. Швырнул покупки на заднее сиденье и, закрывая дверцу, простился с улицей Амели. Мог ли я сомневаться в словах Леклерка, в гипотезе Барта? Какие-то смутные, не поддающиеся выражению мысли роились в голове, но мог ли я надеяться, что какая-то невероятная догадка озарит меня, что свяжу воедино детали, которые никто еще не связал, и в этом озарении доберусь до неведомой никому истины?!

Здесь еще сохранился кусочек старого Парижа, хотя и его вскоре сотрет с лица земли наступление гигантов, таких, как дома у площади Дефанс. Мне расхотелось даже смотреть на Эйфелеву башню. Доктор Дюнан наверняка сейчас в своей лаборатории среди фарфора и никеля. Мне почудилось, что я вижу его — в пластиковом шлеме, волочащего за своим синтетическим коконом кольчатый шланг, по которому подают воздух, глаза его поблескивают над колбами дистилляторов. Это мне было знакомо: у нас в Хьюстоне имелись великолепные лаборатории, стерильно чистые нефы ракетных храмов.

Мне надоело стоять и смотреть вокруг. Как перед стартом, когда через секунды все должно рухнуть вниз. Взяла такая тоска, что я быстро сел за руль, но не успел включить зажигание, как вдруг засвербило в носу. Минуту я со злостью задерживал дыхание, пока не зачихал. Над крышами прокатился гром, потемнело, ливень повис в воздухе, я вытирал нос и чихал, теперь уже посмеиваясь над собой. Пора

цветения растений, с которой я распрощался в Италии, настигла меня в Париже, а перед грозой бывает хуже всего. Из ящичка на передней панели я достал таблетку плимазина, и она горькими крошками застряла у меня в горле. Не найдя ничего лучшего под рукой, я вскрыл кулек и, жуя миндаль, покотился под проливным дождем в Гарж. Я не спешил, такая езда мне по душе, на автостраде дождь грязным серебром дымился в свете фар, гроза оказалась бурной и короткой. Когда вышел из машины возле дома, ливень уже прекратился.

Но в этот день мне не суждено было уехать. Спускаясь в столовую, я поскользнулся на лестнице, начищенной до блеска служанкой-испанкой, и ухнул по ступенькам вниз. И тут же согнулся в три погибели — крестец напомнил о себе. За столом, болтая со старой дамой, я пытался не обращать на боль внимания. Она уверяла меня, что я ушиб позвонки, в этих случаях лучше всего помогает серный цвет — универсальное средство от суставных недомоганий, стоит только насыпать его под рубашку. Я поблагодарил ее и, понимая, что в таком состоянии не могу лететь в Рим, принял предложение Барта, который вызвался отвезти меня к знаменитому массажисту.

Провожаемый всеобщим сочувствием, я кое-как дотащился до мансарды и, словно инвалид, взгромоздился на кровать. Выбрал позицию, в которой боль утихла, и заснул, но проснулся от собственного чихания. Ноздри были забиты едкой пылью, каким-то образом очутившейся на подушке. Я вскочил с кровати, забыв про крестец, и ойкнул от боли. Подумал было, что это какие-нибудь инсектициды, от излишнего рвения насыпанные в мою постель служанкой, но это оказалось всего лишь универсальное средство от ломоты в костях, которым юный Пьер решил меня вылечить. Я вытряхнул из постели желтый порошок, натянул на голову одеяло и снова заснул под монотонный шум дождя по крыше. А на завтрак спускался по лестнице, словно по обеденному трапу китобойного судна, сражающегося с арктическим штормом, — запоздалая предосторожность.

Массажист, к которому Барт меня доставил, оказался американским негром. Он сделал рентгеновский снимок и, закрепив его в зажимах над процедурным столом, принялся за меня своими ручищами. Пронзительная боль длилась недолго; я уже без посторонней помощи сполз со стола и убедился в том, что мне действительно полегчало. Пришлось полежать у него еще полчаса, затем в ближайшем отделении

«Эр Франс» я купил билет на вечерний рейс. Попытался со-звониться с Рэнди, но в гостинице его не оказалось, и я по-просил сообщить ему о моем звонке. Уже в Гарже сообразил, что нечего подарить Пьеру, и пообещал прислать ему из Штатов свой космический шлем, после чего попрощался с семьей Бартов и укатил в Орли. Там зашел в магазин «Фле-роп», попросил послать цветы мадам Барт, а затем, обло-жившись американскими газетами, устроился в зале ожида-ния. Я сидел и сидел, но на посадку почему-то не приглашали. О своем деле я уже думал как о далеком про-шлом. Чем теперь заняться, я не знал и попытался найти в этом незнании какую-то прелесть, правда, без особого успеха.

Время вылета между тем миновало, а из динамиков по-прежнему доносились только какие-то неразборчивые изви-нения. Потом появилась сотрудница аэропорта, чтобы сооб-щить огорчительную весть: Рим не принимает. Началась лихорадочная суэта, телефонные звонки, пока не выясни-лось, что Рим вообще-то принимает, но только машины «Алителии», «БЕА» и американских линий, зато «Свисс-эйр», «САС» и мой «Эр Франс» задерживают вылет. Это бы-ла, кажется, какая-то форма забастовки наземного персона-ла. Впрочем, Бог с ней, с забастовкой, важно было, что все устремились к кассам менять заказы и билеты на самолеты, которые делали посадку в Риме. Когда я протолкался к кас-се, все места уже раскупили более сообразительные пасса-жиры.

Ближайший лайнер «Британских европейских авиали-ний», на котором я мог улететь, отправлялся только завтра в ужасную рань — в пять часов сорок минут. Что подела-ешь. Я перерегистрировал билет на этот рейс, уложил вещи на тележку и покатил ее в гостиницу «Эр Франс», где ноче-вал по прибытии из Рима. Там меня ждал новый сюрприз. Гостиницу до отказа забили пассажиры, которые, подобно мне, остались на бобах. Возникла перспектива ночевки в Париже, при этом, чтобы поспеть на самолет, следовало в четыре утра сорваться с постели. Возвращение в Гарж не решало проблемы: Гарж к югу от Парижа. Через толпу об-манутых я протолкался к выходу; предстояло решить, что делать дальше. В конце концов можно на день отложить отъ-езд, но уж очень не хотелось. Нет ничего хуже таких про-волочек.

Я все е́ще колебался, когда появился киоскер с пачкой журналов и начал расставлять их на стенде у киоска. Мне бросился в глаза свежий номер «Пари-матч». С черной об-

ложки смотрел на меня мужчина, повисший в воздухе, как гимнаст, перемахивающий через планку. Брюки у него были на подтяжках, а перед грудью была девочка с волосами, размазанными воздушной волной, летящая головой вниз, словно они вдвоем исполняли цирковой номер. Не веря собственным глазам, я подошел к киоску. Это оказался я с Аннабель. Я, конечно, купил «Пари-матч» и обнаружил там репортаж из Рима. Над фотографией развороченного эскалатора, заваленного людскими телами, через всю страницу шел громадный заголовок: «Мы предпочитаем смотреть смерти в лицо». Я пробежал текст. Они разыскали Аннабель. Ее фотография вместе с родителями была помещена на следующей странице. Моя фамилия не упоминалась. На обложке был кадр видеомagneфона, регистрирующего продвижение пассажиров по Лабиринту. Эту деталь я не учел, впрочем, мне ведь гарантировали сохранение тайны. Я еще раз перечитал репортаж. Был там рисунок, изображавший эскалатор, место взрыва, противозрывной бассейн, стрелки указывали, откуда и куда я прыгнул, воспроизводился и увеличенный фрагмент снимка с обложки, между моими брючинами и барьером виднелся клетчатый рукав. Подпись гласила, что это «оторванная рука террориста». Я охотно побеседовал бы с журналистом, написавшим это. Что удержало его от упоминания моей фамилии? Они явно установили, кто я такой, раз уж в репортаже фигурировал некий астронавт и была названа фамилия Аннабель, «очаровательной девочки», которая ждет письма от своего спасителя. Между строк можно было вычитать намек на романтические чувства, порожденные этой трагедией.

Меня охватила холодная ярость, я резко повернулся, грубо пробился через толпу в вестибюле, ворвался в помещение дирекции и там, в кабинете, заполненном галдящими людьми, перекричал всех. Решив извлечь выгоду из своего героизма, я швырнул директору на стол «Пари-матч». И сейчас краснею от стыда, вспоминая ту сцену. Я добился-таки своего. Директор, не привыкший иметь дело с астронавтами, да еще такими героями, капитулировал и отдал мне единственный номер, каким еще располагал, — он клялся, что это действительно последний, потому что присутствующие накинулись на него, как свора, спущенная с цепи.

Я хотел идти за чемоданами, но мне сказали, что номер освободится после одиннадцати, а было только восемь. Багаж я оставил в администрации, и мне предстояло убить три часа в Орли. Я уже жалел о своем поступке — могли быть

неприятные последствия, если среди пассажиров есть репортеры, — и решил до одиннадцати держаться подальше от гостиницы. В кино идти не хотелось; ужинать тоже, поэтому я совершил глупость, которую чуть было не сделал однажды в Квебеке, когда из-за внезапной бури отложили вылет. Направился в другой конец аэровокзала, к парикмахеру, чтобы потребовать от него всего, на что он способен. Парикмахер оказался гасконцем, я мало понимал из того, что он мне говорил, но согласно принятому решению отвечал «да» на каждое очередное предложение, — иначе меня выдворили бы из кресла. Стрижка и мытье головы прошли нормально, но после этого он взял разгон. Поймал по транзистору, стоявшему между зеркалами, мелодию рок-н-ролла, увеличил громкость, закатал рукава и, притоптывая в такт, как бы отплясывая чечетку, принялся за меня по-настоящему. Лупил по лицу, оттягивал щеки, щипал подбородок, хлестал по глазам мокрыми обжигающими салфетками, время от времени приоткрывая в этих дьявольски горячих тряпках крохотную брешь, чтоб я преждевременно не задохнулся, о чем-то спрашивал, чего я не мог услышать, так как перед стрижкой он заткнул мне уши ватой. Я отвечал «*ça va bien*»*, и тогда он кидался к шкафчикам за новыми флаконами и кремами.

Я проторчал у него битый час. В заключение он расчесал мне брови, подровнял их, нахмурившись, отступил на шаг, пригляделся к делу рук своих, сменил халат, из отдельного шкафчика извлек золотой флакон, продемонстрировал мне, словно флягу благородного вина, плеснул на пальцы зеленое желе и принялся втирать мне в голову. При этом говорил без умолку, поразительно быстро, уверяя, что теперь я могу быть спокоен: облысение мне не грозит. Энергичными ударами щетки взбил мне волосы, смахнул все полотенца, компрессы, извлек вату из ушей, дунул в каждое деликатно и вместе с тем интимно, припорошил лицо пудрой, стрельнул перед самым носом салфеткой и с достоинством поклонился. Он был горд собой. Кожа у меня на голове стянулась, щеки пылали, я поднялся одурманенный, дал ему десять франков на чай и ушел.

До того как освободится номер, оставалось часа полтора. Я решил сходить на террасу для провожающих и поглядеть на летное поле, но заблудился. В аэровокзале велись ремонтные работы, часть эскалаторов была перекрыта, там во-

* Все в порядке (*фр.*).

зились электрики, я попал в толпу — спешащие на посадку военные в экзотических мундирах, монахини в накрахмаленных чепцах, голенастые негры — вероятно, из баскетбольной команды. Замыкая процессию, стюардесса катила инвалидную коляску со стариком в темных очках, державшим пушистый сверток, который, соскользнув внезапно с колен, покатился ко мне. Обезьянка в куцей зеленой курточке и в ермолке. Она глядела на меня снизу живыми черными глазами, я — на нее, пока наконец, подпрыгивая, она не бросилась вдогонку за отдалявшейся коляской.

Мелодия рок-н-ролла из парикмахерской так настырно привязалась ко мне, что я слышал ее в шуме шагов и гомоне голосов. У стены, в сиянии неоновых огней, стоял электронный игровой автомат, я бросил монету и несколько секунд следил за световым пятном, скачущим по экрану, как мячик, но оно резало глаза, и я отошел, не завершив партии. Снова двигались пассажиры на посадку, в их гуще я заметил павлина, который невозмутимо стоял, опустив хвост, а когда его задевали, наклонял голову, как бы прикидывая, кого долбануть в ногу. Сначала обезьянка, теперь павлин. Кто-нибудь его потерял? Я не смог пробиться через толпу и пошел кругом, но павлин куда-то исчез.

Вспомнив про террасу, я поискал глазами дорогу, но избранный мной коридор привел меня вниз, в лабиринт, где обосновались золотых дел мастера, скорняки, меняльные конторы и маленькие лавчонки; я бездумно разглядывал витрины и испытывал ощущение, что под плитами, на которых я стою, большая глубина, будто я оказался на замерзшей глади озера. Аэровокзал словно имел под собой свой темный негатив. Собственно говоря, я ничего не видел и не чувствовал, я просто знал об этой глубине. Поднялся по эскалатору, но в другое крыло, в зал, заполненный различными машинами. Тесными рядами ждали погрузки тележки для гольфа, багги, пляжные автоколяски; я бродил по проходам среди нагромождения кузовов, любуясь блеском сверкающих корпусов, словно натертых флюоресцирующей мазью. Я приписал этот эффект освещению и новой эмали. Постоял перед золотистым багги, золото было облито какой-то глазурью, и увидел в нем свое отражение. Мой двойник был желтый, как китаец, с физиономией то вытягивавшейся в струнку, то округлявшейся, а при определенном положении головы мои глаза превращались в желтые провалы, из которых выползали металлические скарабеи; когда я наклонился, за моим отражением замаячило другое, побольше и

потемнее. Я оглянулся, никого не было, но в зеркальном золоте темнела эта фигура — любопытный обман зрения.

Зал заканчивался раздвижными воротами на роликах, они были на замке, поэтому я вернулся прежним путем, окруженный со всех сторон бесконечными отражениями каждого моего жеста, как в галерее кривых зеркал. Это будило неясную тревогу. Я понял почему: казалось, что отражения повторяли меня с некоторым запозданием, хотя этого и не могло быть.

Чтобы отвязаться от засевшего в голове мотивчика рок-н-ролла, я принялся насвистывать «Джона Брауна». На террасу я почему-то никак не мог попасть и боковыми дверями вышел на улицу. Хотя неподалеку горели фонари, вокруг царил настоящий африканский мрак, такой густой, что, казалось, его можно потрогать. Мелькнула мысль, не начинается ли у меня куриная слепота, в порядке ли у меня с родопсином, но постепенно я стал видеть лучше. Наверно, меня просто ослепила прогулка по золотистой галерее, а стареющие глаза не так быстро привыкают к переменам освещения.

В море огней за стоянками для машин велось какое-то строительство. Под мачтовыми прожекторами ползали бульдозеры, перемещая горы песка, слепящего желтизной. Над этой ночной Сахарой, подобно галактике, висело плоское облако ртутных ламп, а черное пространство позади изредка прошивали медленные молнии — это машины сворачивали с шоссе к аэровокзалу. В этой привычной картине мне почудилось что-то таинственное, завораживающее. Кажется, именно тогда мои скитания по вокзалу обрели значительность ожидания. Не номера, хотя я не забывал о нем, — чего-то более важного, будто я осознал, что близится решающая минута. Я был уверен в этом, но, как человек, запятовавший фамилию, висящую на кончике языка, не мог определить точно, чего же именно жду.

Я смешался с толпой у главного входа, вернее, она втянула меня внутрь. Вернувшись в главный зал, решил, что пора перекусить, но сосиски оказались безвкусными, как бумага. Я швырнул их вместе с бумажной тарелкой в урну и вошел в кафе под гигантским павлином. Он расселся над дверьми — неправдоподобно огромный, это наверняка было не чучело. Я уже был здесь, под этим павлином, с Аннабель неделю назад, прежде чем нас разыскал ее отец. Посетителей было мало. Я пристроился с чашкой кофе в углу, вплотную к стене, потому что у стойки почувствовал

спиной чей-то взгляд, настойчивый взгляд, затем куда-то исчезнувший, — сейчас никто на меня не смотрел. Нарочно, что ли. Под приглушенный свист двигательсй, который долетал сюда, как из другого, более значительного мира, я поклевывал ложечкой сахар на дне чашки. На соседнем столике лежал журнал с красной полосой поперек черной обложки, наверно, «Пари-матч», но женщина, сидевшая там с невытым любовником, прикрывала название сумочкой. Умышленно? Кто же меня распознал — собиратель автографов или случайный репортер? Словно нечаянно, я смахнул на пол медную пепельницу. Никто не обернулся на грохот, это только усилило мои подозрения. Чтобы не приставали с расспросами, я одним глотком допил кофе и покинул бар.

Чувствовал я себя довольно скверно. Вместо ног — какие-то полые трубы, колотье в крестце напоминало о недавней травме. Хватит бродить попусту. Вдоль мерцающих витрин я двинулся к эскалатору с большими голубыми буквами «Эр Франс». Это был кратчайший путь в гостиницу. Металлическая гребенка на ступенях стерлась, и, чтобы не упасть, я вцепился в перила. Примерно на середине эскалатора заметил впереди женщину с собачкой на руках. Я вздрогнул, увидев распущенные белокурые волосы, точно такие, как у той, в римском аэропорту. Медленно оглянулся через плечо, уже зная, кто стоит за мной. Синеватая от ламп дневного света плоская физиономия, скрытая за темными очками. Я почти грубо протиснулся мимо блондинки вверх по эскалатору, — но не мог же я взять и убежать. Остановился наверху и вглядывался в пассажиров по мере того, как эскалатор плавно выплескивал их на площадку. Блондинка скользнула по мне взглядом и прошла вперед. В руках она держала шаль с бахромой. Эту бахрому я принял за собачий хвост. Мужчина оказался тучным и бледным. Ничего общего с японцем. «Esprit de l'escalier, — подумал я. — Плохи мои дела, пора идти спать!» По дороге купил бутылку швепса, сунул ее в карман и с облегчением посмотрел на часы над конторкой.

Номер уже был свободен. Гарсон, шагая впереди меня, внес мои вещи, в передней уложил маленький чемодан на большой и удалился, получив свои пять франков. Гостиница была погружена в успокоительную тишину; свист идущей на посадку машины прозвучал в ней диссонансом. Хорошо, что я прихватил швепс, мне хотелось пить, только нечем было сорвать пробку, и я вышел в коридор, где должен был

быть холодильник, а в нем консервный ключ. Бросились в глаза теплые мягкие тона ковровой дорожки и стен — французские дизайнеры знают свое дело. Я нашел холодильник, открыл бутылку и пошел к себе, и тут из-за поворота появилась Аннабель. Почему-то выше ростом, чем раньше, в темном платье, не в том, которое я запомнил, но с той же белой лентой в волосах и с тем же серьезным выражением темных глаз, она шла мне навстречу, легко помахивая сумочкой, переброшенной через плечо. Узнал я и сумочку, хотя, когда видел ее в последний раз, она была распорота. Аннабель остановилась у приоткрытой двери моего номера: выходя, я не захлопнул ее.

«Что ты здесь делаешь, Аннабель?» — хотел я спросить, пораженный и обрадованный, но выдавил только невразумительное «А...», потому что она вошла в комнату, приглашая меня кивком головы и таким многозначительным взглядом, что я остановился как вкопанный. Внутреннюю дверь она не притворила до конца. Оторопев, я подумал, что, может, она хочет поделиться со мной какой-то тайной или заботой, но, еще не переступив порог, услышал: дважды отчетливо стукнули туфли, сброшенные на пол, и скрипнула кровать. Все еще слыша эти звуки, я вошел, негодую, в комнату и задохнулся: она была пуста.

— Аннабель! — крикнул я. Постель оказалась нетронутой. — Аннабель! — Молчание.

Ванная? Я заглянул в темноту и ждал на пороге, пока, с опозданием замерцав, загорятся лампы дневного света. Ванна, биде, полотенце, раковина, зеркало, а в нем мое лицо. Я вернулся в комнату, больше не смея ее звать. Хоть она и не успела бы спрятаться в шкафу, я отворил дверцу. Шкаф был пуст. Колени у меня подогнулись, я опустился в кресло. Я ведь в точности мог описать, как она шла, что держала в руке, я осознавал: она потому показалась выше ростом, что была в туфлях на высоком каблуке, а в Риме на ней были босоножки на плоской подошве. Я помнил выражение ее глаз, когда она входила в номер; как оглянулась на меня, и ее волосы рассыпались по плечу. Помнил, как стукнули туфли, дерзко сброшенные с ног, как отозвалась сетка кровати, — эти звуки просто пронзили меня и вдруг оказались чистой иллюзией? Галлюцинацией?

Я коснулся своих колен, груди, лица, словно именно в таком порядке следовало начать проверку, провел ладонями по шероховатой обивке кресла, встал, пересек комнату, ударил кулаком в приоткрытую дверцу шкафа — все было солидно,

недвижимо, мертво, осязаемо и, однако же, ненадежно. Остановился у телевизора и в выпуклой матовости экрана увидел уменьшенное отражение кровати и двух девичьих туфелек небрежно сброшенных на коврик. С ужасом обернулся.

Там ничего не было. Возле телевизора стоял телефон. Я снял трубку. Услышал сигнал, но не набрал ни единой цифры. Что, собственно, я мог сказать Барту — что в гостинице мне привиделась девчонка и поэтому я боюсь оставаться один? Положил трубку на рычаг, вынул из чемодана несесер, отправился в ванную и вдруг застыл перед умывальником. Все, что я делал, имело известный мне аналог! Я плескал холодной водой в лицо, как Прок. Натер виски одеколоном, как Осборн...

В комнату я вернулся, не зная, что предпринять. Со мной ведь ничего не происходило. Разумнее всего побыстрее лечь в постель и заснуть. Однако я боялся раздеться, словно одежда служила защитой, — но это хоть было понятно.

Двигаясь бесшумно, чтобы не накликать беду, стянул брюки, башмаки, рубашку и, погасив верхний свет, уткнул голову в подушки. Сейчас тревогу источало окружающее — расплывчатая подразумеваемость предметов в слабом мерцании ночной лампы. Я выключил свет. Наплыло оцепенение. Заставил себя дышать медленно и равномерно. Кто-то постучал в дверь. Я даже не дрогнул. Стук повторился, дверь приоткрылась, и кто-то вошел в переднюю. Темный силуэт на фоне освещенного коридора приблизился к кровати...

— Мсье...

Я не проронил ни звука. Вошедший постоял надо мной, положил что-то на стол и неслышно удалился. Замок щелкнул, я остался один. Скорее разбитый, чем одурманенный, я сполз с кровати и зажег бра. На столе лежал сложенный вдвое телеграфный бланк. С бьющимся сердцем, стоя на ватных ногах, я взял депешу в руки. Она была адресована мне, в гостиницу «Эр Франс». Я взглянул на подпись, и мороз пронял меня до костей. Плотно зажмурил глаза, потом открыл их и еще раз прочел фамилию человека, который умер достаточно давно, чтобы сгнить в земле.

ЖДУ РИМЕ ХИЛТОН НОМЕР 303 АДАМС

Я перечитал текст раз десять, приближая его к глазам, вертя телеграмму и так и эдак. Ее отправили из Рима в 10.40, следовательно, всего час назад. Может, это обычная ошибка?

Рэнди мог перебраться в «Хилтон» — в гостинице возле площади Испании он остановился, не найдя ничего другого, а теперь перебрался и извещает меня об этом. Ему передали, что я звонил, он не дождался моего прибытия, узнал, что полеты задержаны, и отправил телеграмму. Но почему именно так переврали его фамилию?

Я сел, прислонившись к стене, и стал думать, уж не сон ли это? Горящее бра было надо мной. Все, на что я глядел, менялось. Оконная штора, телевизор, загнутый угол ковра, очертания теней казались предвестием чего-то непонятного. Вместе с тем все вокруг находилось в зависимости от меня, существовало только благодаря моей воле. Я решил устранить из окружающего шкаф. Блеск политуры померк, дверца потемнела, в стене возник рваный черный пролом, полный вязкой слизи. Я попытался восстановить шкаф, но тщетно. Комната, начиная с полуосвещенных углов, стала плавиться, я мог спасти лишь то, что оставалось в круге света. Потянулся к телефону. Трубка, насмешливо изогнувшись, выскользнула из ладони, телефон превратился в серый шершавый камень с дырой на месте диска. Пальцы прошли сквозь отверстие и коснулись чего-то холодного. На столе лежала шариковая ручка. Пока она не исчезла, я, напрягая все силы, нацарапал поперек бланка огромными каракулями: «11.00. NAUSEA* 11.50. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И ХИМЕРЫ».

Но я не следил за окружающим, пока писал, и теперь уже не мог с ним сладить. Ждал, что комната развалится на куски, но началось непредвиденное. Что-то происходило рядом — как я понял, с моим телом. Оно увеличивалось. Ноги и руки отдалялись. В ужасе, боясь удариться головой о потолок, я бросился на кровать. Лег на спину, дышал с трудом, грудь вздымалась, словно купол собора святого Петра, в каждой руке я мог зажать сразу несколько предметов мебели, да что там, я мог обнять всю комнату!

Это бред, сказал я себе. Не обращай внимания! Я разросся уже до того, что контуры моего тела растворились во тьме, отдалились на целые мили. Я ничего не чувствовал, даже кожей. Оставалось только мое нутро. Огромное. Гигантский лабиринт, пропасть, отъединившая мой разум от остального мира. Но и мир исчез. Задыхаясь, я наклонился над этой своей бездной. Где прежде были легкие, внутренности, жилы, теперь безраздельно царили мысли. Это они

* Тошнота (лат.)

казались необъятными. Они были отражением всей моей жизни. Запутанная, помятая, она горела, обугливалась, испепелялась. Рассыпалась огненной пылью, стала черной Сахарой. Это была моя жизнь. Комната, в которой я, как рыба, лежал на самом дне, сжалась до размеров зернышка. И тоже вошла в меня. А тело все росло, и я испугался. Меня убивала страшная сила моего разбухшего внутреннего пространства, все более алчно поглощавшего окружающее. Я застонал в отчаянии, засасываемый куда-то вглубь, и приподнялся на локтях, которые, казалось, опирались на матрац где-то в центре Земли. Боялся, что разрушу стену одним движением руки. Повторял себе, что этого не может быть, но каждой жилкой и нервом чувствовал: это реальность.

В безрассудной попытке бегства я соскользнул с кровати, грохнулся на колени и добрался вдоль стены до выключателя. Свет залил комнату белизной, острой, как нож. Я увидел стол, облитый вязкой радужной мазью, телефон, похожий на обгорелую кость, и далеко в зеркале лоснящееся от пота свое лицо; я узнал себя, но это ничего не изменило. Попытался понять, что со мной происходит, какая сила распирает меня в поисках выхода. Или эта сила я сам? И да и нет. Вздущаяся рука остается моей рукой. Но если она превратится в гору мяса и придавит меня кипящей громадой, смогу ли я и тогда считать, что это моя рука, а не стихия, которая раздула ее? Я пытался сопротивляться очередным превращениям, но запаздывал — все изменялось быстрее. Мой взгляд уже приподнимал потолок, отодвигал его; любая поверхность прогибалась, оседала, будто я жег и плавил постройки из воска.

— Это галлюцинации! — попытался я крикнуть.

Слова донеслись до меня, подобно эху из колодца. Я оттолкнулся от стены, широко расставил ноги, увязающие в топком паркете, повернул голову, словно купол громадной башни, и заметил на ночном столике часы. Их циферблат превратился в дно сверкающей воронки. Секундная стрелка тащилась по нему неимоверно медленно. Она оставляла на эмали след белее самого циферблата, тот раздвинулся, превратившись в равнину с колоннами войск, наблюдаемую с птичьего полета. Известковая почва между наступающими шеренгами вздымалась от взрывов, пороховой дым впивался в лица солдат, в податливые маски беззвучной агонии. Кровь растекалась округлыми лужицами алой грязи, но пехота в пыли и крови продолжала наступать под ритмичную дробь барабана. Когда я отложил часы, панорама битвы

уменьшилась, но не исчезла. Комната покачнулась. Сделала медленный поворот, отжимая меня к потолку. Что-то, однако, удержало меня. Я опустился на четвереньки возле кровати — комната замедляла бег, все опять собиралось воедино. И вдруг остановилось.

Положив голову на пол, как пес, я смотрел на часы, прислоненные к лампе на ночном столике. На них было без пятнадцати час. На циферблате ничего больше не происходило. Секундная стрелка бежала мерно, будто муравей. Я уселся на полу, его прохлада меня отрезвляла. Комната, залитая белым светом, казалась цельным кристаллом, заполненным неслышными звуками, с вплавленными внутрь светящимися предметами. Каждая вещь, каждая складка оконной шторы, тень, падающая от стола, застыли в этой прояснившейся среде и были неописуемо великолепны. Но я в моем напряжении не мог любоваться этой красотой, словно пожарный, который, ожидая появления дыма в амфитеатре, не видит прелестей сцены. Слабый и легкий, я встал на ноги. Превозмогая отчужденность пальцев, дописал на бланке: «12.50 ОБЛЕГЧЕНИЕ ПЛИМАЗИН УТРОМ ОРЛИ — ПАРИК-МАХЕР».

Я знал только это. Наклонившись над столом и продолжая глядеть на кривые буквы, я ощутил очередную перемену. Отблески на поверхности стола затрепетали, словно крылья стрекоз, взмыли вверх, стол зашелестел мне в лицо серыми перепончатыми крыльями летучих мышей, молочный свет ночника померк, край стола, в который я вцепился, обмяк — я не мог ни убежать от наплыва превращений, ни поспеть за ними. С этой минуты меня захватил новый шквал стремительных метаморфоз; чудовищные, величественные, карикатурные, они пронизывали меня, как ветер, даже если я зажмуривался — глаза стали не нужны. Помню смутное и неустанное усилие, с каким я пытался исторгнуть чуждую стихию, как бы изрыгнуть ее, — все было напрасно, но я защищался и все реже оставался зрителем, превратившись в часть несметных видений, слившись с мечущимся хаосом.

После часа ночи я выплыл еще раз. Процесс шел как бы волнами, и каждая фаза казалась предельной, но это было не так — всякий раз ощущения становились все ярче. Видения отступили между двумя и тремя часами ночи, и это оказалось самым ужасным — окружающее обрело нормальный внешний вид, но в какой-то иной реальности. Как это передать? Мебель и стены окаменели, застыв, затвердели в чудовищном напряжении; время остановилось, и ок-

ружающее, лавиной накатывавшее на меня со всех сторон, застыло, как в замедленной магниевой вспышке. Комната была как выдох между двумя воплями, а все, что грозило вот-вот случиться, с наглой усмешкой проглядывало в стыках узоров на обоях, в картинках с замками Луары над кроватью, в зеленых газонах перед этими замками. В этой зелени я прочитал свой приговор, я смотрел на нее, упав на колени, понимая, что проигрываю. И тогда я набросился на комнату, да, на комнату — сорвал шнуры с оконных занавесок и гардин, сдернул материю с колец, смахнул на пол постель, швырнул этот смертоносный клубок в ванну, ванную запер на ключ, а ключ сломал, всадив в замочную скважину наружной двери, — и вот тогда, запыхавшийся, стоя в оконной нише на поле битвы, понял, что мои усилия тщетны. Я не могу избавиться от окон и стен. Я вытряхнул на пол вещи из чемоданов, добрался до плоских колец, соединенных металлическим штырем, — Рэнди с улыбкой вручил мне их в Неаполе, чтобы я мог заковать убийцу, окажись он в моих руках. Я поймал его! Среди сорочек рассыпались темные катышки — миндаль из лопнувшего пакета, — я не стал о нем писать, боялся, что не успею, поэтому только швырнул горсть орехов на телеграфный бланк, придвинул кресло к батарее отопления, упал в него, уперся в него спиной, ногами в пол и, приковав себя к трубе калорифера, напрягшись до предела, ждал *этого*, как старта. Но стартовал я не вверх и не вниз, а в глубину — в жаркой бурой мгле, среди пляшущих стен, прикованный наручниками, мог дотянуться только до ножки кровати. Мне удалось придвинуть ее, и я, словно сбивая пламя, уткнулся головой в матрац, прогрыз его до поролоновой начинки; пористая масса не душила, и я свободной рукой схватил себя за горло и сжал его, воя от отчаяния, что никак не могу себя прикончить. Помню, что перед потерей сознания я почувствовал взрывы под черепной коробкой. Наверно, я колотился головой о трубу. Помню слабую вспышку надежды, что, может, теперь удастся. И больше ничего. Я умер, и мне не казалось странным, что я знаю об этом. Я плыл темными водопадами по неведомым гротам, в реве и шуме, словно слух мой не умер вместе с телом. Слышал звон колоколов. Темнота порозовела. Я открыл глаза и увидел огромное, чужое, бледное, неестественно спокойное лицо, склоненное надо мной. Это было лицо доктора Барта. Я сразу узнал его и хотел сказать об этом, но тут уже самым пошлым образом потерял сознание.

Меня нашли в четыре утра, прикованного к калориферу, — итальянцы из соседнего номера вызвали прислугу, и, поскольку это смахивало на приступ безумия, мне, прежде чем доставить меня в больницу, сделали успокаивающий укол. Старина Барт прочитал в газете наутро, что вылеты задержаны, позвонил в Орли и, узнав о происшедшем, поехал в больницу, где я все еще лежал без сознания. Окончательно я пришел в себя через тридцать часов. У меня были повреждены ребра, прокушен язык, на голову в нескольких местах наложили швы, запястье, сжатое кольцом наручников, раздулось, как пузырь, — так я рвался с цепи. К счастью, регулятор, к которому я себя приковал, был металлический, пластмассовый наверняка не выдержал бы, и тогда я выбросился бы из окна; ничего на свете я так не хотел, как этого...

Один канадский биолог обнаружил в кожной ткани людей, которые не лысеют, то же нуклеиновое соединение, что и у нелысеющей узконосой обезьяны. Эта субстанция, названная «обезьяньим гормоном», оказалась эффективным средством против облысения. В Европе гормональную мазь три года назад стала выпускать швейцарская фирма по американской лицензии Пфицера.

Швейцарцы видоизменили препарат, и он стал более действенным, но и более восприимчивым к теплу, от которого быстро разлагается. Под влиянием солнечных лучей гормон меняет химическую структуру и способен при реакции с риталином превратиться в депрессант, подобный препарату X доктора Дюнана, и тоже вызывающий отравление лишь в больших дозах. Риталин присутствует в крови у тех, кто его принимает, гормон же применяют наружно в виде мази, с примесью гиалуронидазы, что облегчает проникновение лекарства через кожу в кровеносные сосуды. Чтобы произошло отравление с психотическим эффектом, требуется втирать в кожу едва ли не двести граммов гормональной мази в сутки и принимать более чем максимальные дозы риталина.

Катализаторами, в миллион раз усиливающими действие депрессанта, являются соединения цианидов с серой — роданиды. Три буквы, три химических символа, CNS, — это ключ к решению загадки. Цианиды содержатся в миндале, они и придают ему характерный горьковатый привкус. Кондитерские фабрики в Неаполе, выпускающие жареный миндаль, страдали от засилья тараканов. Для дезинфекции кон-

дители применяли препарат, содержащий серу. Ее частицы проникали в эмульсию, в которую погружали миндаль перед посадкой в печь. Это не давало никакого эффекта, пока температура в печи оставалась невысокой. Только при повышении температуры карамелизации сахара цианиды миндаля, соединяясь с серой, превращались в родан. Но даже родан, попав в организм, сам по себе еще не служит эффективным катализатором для вещества X. Среди реагентов должны находиться свободные сернистые ионы. Такие ионы в виде сульфатов и сульфитов поставляли лечебные ванны. Итак, погибал тот, кто употреблял гормональную мазь, риталин, принимал сероводородные ванны и в придачу лакомился миндалем, по-неаполитански жаренным с сахаром. Роданиды катализировали реакцию, присутствуя в столь ничтожных количествах, что обнаружить их можно было только с помощью хроматографии. Причиной неосознанного самоубийства было лакомство. Тот, кто не ел сладостей из-за диабета или не любил их, уцелел. Швейцарская разновидность мази продавалась по всей Европе последние два года, поэтому раньше подобных несчастных случаев не происходило. В Америке их не было вовсе — там продавался препарат Пфицера, не разлагавшийся вне холодильника так быстро, как европейский. Женщины не пользовались этой мазью и в число жертв не попали.

Несчастный Прок угодил в ловушку другим путем. Он не лысел и не нуждался в гормонах, не бывал на пляже, не принимал сероводородных ванн, но ионы серы проникли к нему в кровь из вдыхаемых в фотолаборатории испарений сульфитного проявителя, риталин он принимал против сонливости, а соединение X преподнес ему с разбитыми очками доктор Дюнан. Просвещенный и терпеливый доктор, растирая в ступке каждый клочок, каждую щепотку пыли из мастерской Прока, беря пробы из фанеры переборки и шлифовальной крошки, не знал, что искомое таинственное вещество находится метрах в четырех над его головой — в виде пакетика с засахаренным миндалем в ящике старого комода.

Миндаль, обнаруженный на столе рядом с моими каракулями, открыл химикам Барта глаза, оказался недостающим звеном.

Возможно, несущественна, но весьма забавна одна анекдотическая деталь. Уже в Штатах знакомый химик сказал мне, что серный цвет, который маленький Пьер всыпал в мою постель, не играл никакой роли в моем отравлении, по-

сколько сера, превращенная способом возгонки в пыль, больше не растворяется. Этот химик предложил *ad hoc** следующую гипотезу. Сернистые ионы в мою кровь попали из сульфитированного вина. Как принято во Франции, я пил вино за каждой трапезой, но только у Бартов, потому что нигде больше не столовался, а химики из НЦНИ знали об этом, но не доложили, какое вино я пил, дабы не оконфузить своего шефа предположением, что он подает гостям дешевый напиток.

Впоследствии меня спрашивали, был ли миндаль моей «эврикой». Легче всего подтвердить это или опровергнуть, но я просто не знаю. Уничтожая все, что подворачивалось под руку, швыряя в ванну то, что мне казалось смертельно опасным, я вел себя как безумный, но в моем безумии были проблески сознания, значит, и с миндалем у меня могло произойти нечто подобное. Я хотел, это я помню, присовокупить миндаль к своим записям — результат многолетнего тренажа, меня приучали и в условиях сильнейшего стресса фиксировать события вне зависимости от своего мнения о существенности того или иного факта. Тут могла быть интуитивная догадка, связавшая утреннюю грозу, мое чихание, таблетку, застрявшую в горле, миндаль, которым я заел ее, образ Прока, входившего в последний раз в кондитерскую на углу улицы Амели. Такое наитие кажется слишком чудесным, чтобы оно могло случиться. Миндальные орехи напомнили мне о неаполитанском деле, наверно, потому, что кондитер соорудил из них в витрине подобие Везувия. Везувий здесь был ни при чем, он оказался чисто магической связкой, хоть и приблизил меня к самой сути.

Правда, если внимательно просмотреть мой отчет, можно заметить, как часто в ходе следствия происходили такие сближения, но вывода так и не последовало. К сути дела ближе всего подошел Барт, хоть он и ошибся относительно политической подоплеки происшествий. Он совершенно справедливо усомнился в самом принципе отбора «группы одиннадцати» и точно подметил, почему жертвами оказались только иностранцы, к тому же одинокие, вдвойне изолированные от неаполитанского окружения незнанием языка и отсутствием близких. Предвестник отравления — перемену в поведении — мог заметить на ранней стадии только близкий жертве человек.

Позже удалось докопаться до нескольких пресеченных

* Для данного случая (лат.).

случаев, когда отравлению подверглись итальянцы или иностранцы, прибывшие в Неаполь с женами. События обычно развивались одинаково. Жена, обеспокоенная странным поведением мужа, наблюдала за ним все внимательнее, а когда начинались галлюцинации, заставляла мужа уехать. Бегство домой было естественной реакцией на неведомую опасность. А итальянцы уже в начальной стадии отравления оказывались под наблюдением психиатра — чаще всего на этом настаивала семья — и в результате меняли образ жизни: человек переставал ездить в машине, употреблять плимизин, принимать сероводородные ванны — поэтому симптомы заболевания скоро исчезали. Следствие не выявило пресеченных случаев по заурядной причине: у пострадавшего всегда находился родственник, который аннулировал оплаченный абонемент, в приходных книгах лечебниц отмечали финансовое сальдо, а не сами факты прерванного лечения, поэтому несостоявшиеся жертвы не оставили в них никакого следа.

Впрочем, и другие факторы мешали следствию. Никто ведь не хвастает, что пользуется средством против облысения. Тот, кто не страдал из-за лысины или пользовался париком, избегал опасности, но как было до этого докопаться? Кто не применял гормональную мазь, тому, живому и здоровому, не о чем было рассказать; кто ее применял — погибал. Упаковку от швейцарской мази среди вещей погибших не обнаруживали: мазь предписывалось хранить в холодильнике, что дома делать гораздо проще, чем в гостинице, и пожилые педанты предпочитали пользоваться услугами местных парикмахеров, а не возиться с мазью самим. Ее применяли раз в десять дней, поэтому каждый из погибших только однажды проделал эту процедуру в Неаполе, и никто из проводивших следствие не подумал спросить в парикмахерских, что там втирают в кожу головы некоторым клиентам.

И наконец, жертвы отличались физическим сходством, поскольку им присущи были сходные психические черты. Это были мужчины на пороге увядания, еще с претензиями, еще борющиеся с надвигающейся старостью и вместе с тем скрывающие это. Кто переступил возрастной порог и, облысев как колено, отказался в шестьдесят лет от попыток сохранить моложавый вид, тот не искал чудодейственных средств, а кто лысел преждевременно, годам к тридцати, тому ревматизм не докучал настолько, чтобы начать бальнеологическое лечение. Итак, угроза нависла только над мужчинами, едва достигшими теневой черты.

Чем тщательнее теперь приглядывались к фактам, тем явственней проступала их взаимосвязь. Отравления случались только в период цветения трав — водители не принимали плимазин в другое время года, а тот, кто страдал тяжелой формой астмы, не садился за руль, ему не требовался препарат, рассчитанный на водителей.

Барт навещал меня в больнице, проявляя такую сердечность, что перед возвращением в Штаты я не мог не нанести ему прощальный визит. Пьер ждал меня у лестницы, но при моем появлении спрятался. Я понял, в чем дело, и заверил его, что не забыл про шлем. У Барта был доктор Соссюр, без сюртука, зато в рубашке с кружевными манжетами. Вместо калькулятора на шее у него теперь болтались часы. Мы сидели в библиотеке, он листал книги, а Барт высказал весьма забавную мысль: попытка применения компьютера в следствии блестяще удалась, хотя компьютер, не запрограммированный и не приведенный в действие, ни в чем не участвовал. Не прилети я в Париж именно с этой идеей, я не остановился бы у него, не пробуди я симпатий у его бабушки, юный Пьер не пытался бы исцелить меня от последствий падения с лестницы серным цветом, — одним словом, участие компьютера в решении загадки очевидно, хоть и в чисто идеальном смысле. Я со смехом заметил, что карамболь совершенно случайных происшествий, толкнувших меня в самый центр загадки, представляется теперь удивительнее ее самой.

— Вы допускаете ошибку эгоцентрического характера. — Соссюр повернулся ко мне от книжного шкафа. — Эта история — не столько знамение нашего времени, сколько провозвестник грядущего. Его предзнаменование, пока еще непонятное...

— А вам оно понятно?

— Я догадываюсь, в чем его смысл. Человечество настолько размножилось и уплотнилось, что на него начинают влиять законы, по которым существуют атомы. Каждый атом газа движется хаотически, но именно хаос рождает определенный порядок в виде постоянства давления, температуры, удельного веса и так далее. Ваш успех, достигнутый благодаря длинной цепи чрезвычайных совпадений, представляется парадоксальным. Но это вам только кажется. Вы возразите: мало было упасть с лестницы у Барта, вдохнуть серу вместо нюхательного табака, нужна была еще рекогносцировка на улице Амели, вызванная историей Прока, чихание перед бурей, миндаль, купленный в подарок ребенку,

задержка вылетов в Рим, переполненная гостиница, парикмахер — более того, гасконец, — чтобы началась цепная реакция.

— Ох, и это еще не все, — вставил я. — Если бы мое участие в освобождении Франции не кончилось трещиной крестца, то контузия, пожалуй, не дала бы о себе знать, и следовательно, после происшествия в Риме я скоро пришел бы в себя. Если бы я не попал на эскалатор рядом с террористом, моя фотография не появилась бы в «Пари-матч», а не будь этого, я не добился бы номера в «Эр Франс», поехал бы ночевать в Париж, и снова никакой развязки не происходит. Уже сама вероятность моего присутствия при покушении априори астрономически ничтожна. Я мог полететь другим самолетом, мог стоять ступенькой ниже... Да ведь все, как до этой минуты, так и потом, — сплошные невероятности! Не узнай я о деле Прока, я не отправился бы в Рим именно в день, когда отменили вылеты, но и это — чистейшее стечение обстоятельств.

— Ваше знакомство с делом Прока? Не думаю. Как раз об этом мы с доктором говорили до вашего прихода. Вас познакомили с этим делом по инициативе Сюрте и министерства обороны, а ими руководили политические расчеты. Кто-то хотел скомпрометировать одного военного, занявшегося политикой и покровительствовавшего Дюнану. Это такой бильярд, понимаете?

— Мне следовало стать шаром или кием?

— Вам следовало, как мы полагаем, способствовать извлечению дела Прока из архива, чтобы это косвенно ударило по Дюнану...

— Но если даже так, какая связь между целью моего приезда в Париж и политическими интригами во Франции?

— Разумнется, никакой! Именно поэтому такое мощное множество случайностей, столь точно нацеленных в самый центр загадки, кажется вам противоречащим здравому смыслу. Так вот, я заявляю: долой здравый смысл! Каждый взятый в отдельности отрезок ваших перипетий еще достаточно достоверен, но результирующая траектория, сумма этих отрезков, похожа на чудо. Вы так считали, не правда ли?

— Допустим.

— А тем временем, дорогой мой, случилось то, что я предрекал вам здесь, три недели назад! Представьте стрельбище, где вместо мишени в полумиле от огневого рубежа выставлена почтовая марка. Десятисантимовая марка с изображением Марианны. На ее лбу остался след от мухи.

Пусть теперь несколько снайперов откроют стрельбу. Они не попадут в эту точку уже хотя бы потому, что она не видна. Но пусть упражняется сотня посредственных стрелков, пусть они шпарят целыми неделями. Совершенно ясно, что пуля одного из них наконец попадет в цель. Попадет не потому, что он феноменальный снайпер, а потому, что велась уплотненная стрельба.

— Да, но это не объясняет...

— Я еще не кончил. Сейчас лето, и на стрельбище масса мух. Вероятность попадания в мушиный след мала. Вероятность одновременного попадания и в след, и в муху, подвернувшуюся под выстрел, еще меньше. Вероятность же попадания в след и в трех мух одной пулей будет уже, как вы выразились, астрономически ничтожна, однако уверяю вас, и такое стечение обстоятельств возможно, если стрельба будет продолжаться достаточно долго!

— Простите, вы говорите о граде пуль, а я-то был один...

— Это вам только кажется. В данный отрезок времени пуля, поражающая след и трех мух, тоже будет только одна. Стрелок, с которым это произойдет, будет ошеломлен не меньше вас. То, что попал именно он, отнюдь не удивительно и не странно, поскольку *кто-то должен был попасть*. Понимаете? Здравый смысл здесь ни при чем. Произошло то, что я предсказывал. Неаполитанскую загадку породило стечение случайных обстоятельств, и благодаря стечению случайных обстоятельств она была разгадана. Оба раза вступал в силу закон больших чисел. Естественно, что, не выполнив хотя бы одного условия из необходимого множества, вы не отравились бы, но рано или поздно кто-то другой выполнил бы все условия. Через год, через три года, через пять лет. Это все равно произошло бы, потому что мы живем в мире сгущения случайных факторов. Цивилизация — тот же молекулярный газ, хаотический и способный удивлять «невероятностями», только роль отдельных атомов выполняют люди. Это мир, в котором вчерашний феномен сегодня становится обыденностью, а сегодняшняя крайность — завтрашней нормой.

— Да, но я...

Он не дал мне говорить. Барт, который хорошо его знал, поглядывал на нас и часто моргал, как бы сдерживая смех.

— Простите, но дело совсем не в вас.

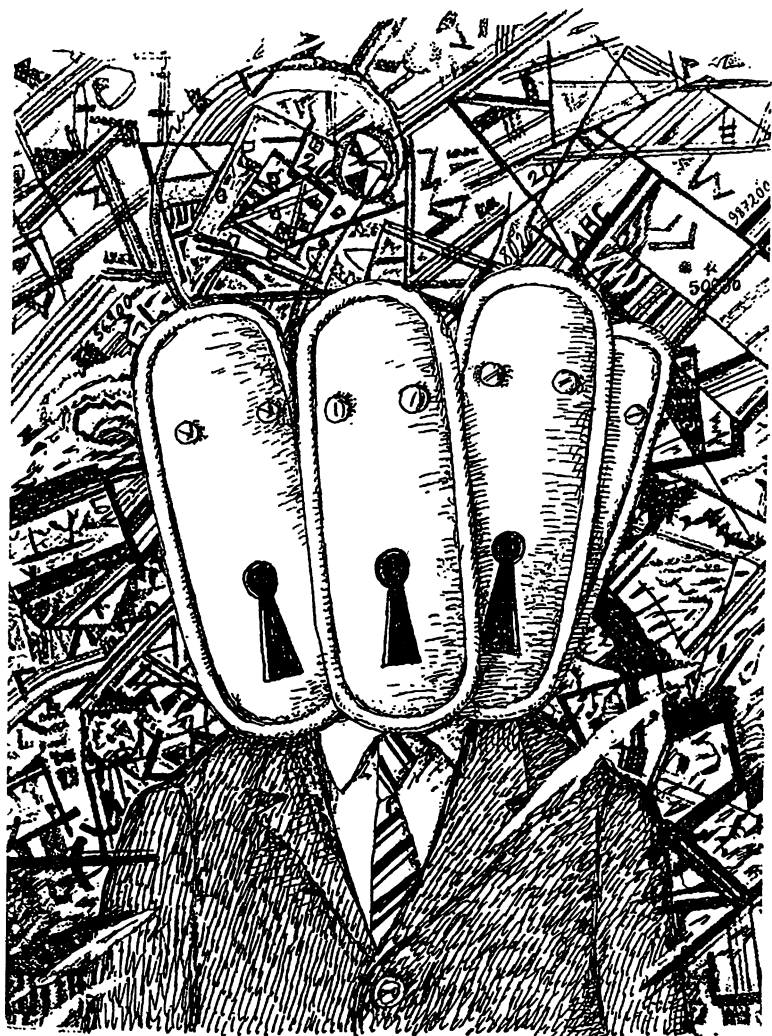
— Значит, если бы не я, то кто-то другой? Но кто же? Какой-нибудь сыщик?

— Не знаю кто, и это меня абсолютно не волнует. Кто-нибудь. Я слышал, кстати, что вы собираетесь написать об этом книгу?

— Барт вам сказал? Да. У меня даже есть издатель... Но почему вы заговорили об этом?

— Именно потому, что это имеет отношение к делу. Какая-то пуля на стрельбище должна попасть в цель, и какой-то человек должен постичь загадку. А раз так, то независимо от автора и издателя появление такой книги математически неизбежно.

АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА



St. Lem
«DOSKONAŁA PRÓZNIA»
(«Czytelnik» — Warszawa)

«АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА»

Рецензирование несуществующих книг не есть изобретение Лема; примеры можно найти не только у современного писателя — Х.Л.Борхеса (скажем, «Анализ творчества Герберта Куэйна» в сборнике «Хитросплетения»), идея гораздо старше — и даже Рабле был не первым, кто ее воплотил. Но курьезность «Абсолютной пустоты» в том, что автор решил создать целую антологию таких критических опытов. Систематичность педанта или шутника? Второе более вероятно, и этого впечатления не ослабляет предисловие — предлинное и ученое, в котором читаем: «Писание романов есть форма утраты свободы творчества. (...) В свою очередь, рецензирование — труд еще более каторжный и еще менее благодарный. О писателе можно хотя бы сказать, что он сам себя приневолил — избрав сюжет. Положение критика хуже: рецензент прикован к предмету рецензии, как каторжник к тачке. Писатель теряет свободу в своей книге, критик — в чужой».

Напыщенность этих сентенций слишком очевидна, чтобы принимать их всерьез. Чуть ниже в предисловии (названном «Автозоил») говорится: «Литература повествовала доселе о вымышленных персонажах. Мы пойдем дальше: будем описывать вымышленные книги. Вот она, возможность вновь обрести свободу творчества, а заодно — совершить обручение двух неродственных душ, беллетриста и критика».

«Автозоил», по Лему, есть творчество, свободное «в квад-

«Doskonała próznia», 1971

© Константин Душенко, перевод, 1995

рате», поскольку критик текста, введенный в сам текст, получает большую свободу маневра, нежели автор-повествователь традиционной или нетрадиционной литературы. С этим еще можно было бы согласиться: подобно марафонцу, что ловит второе дыхание, литература ныне стремится подчеркнуть дистанцию между собою и изображаемым. Хуже другое — теоретическое вступление тянется без конца. Лем рассуждает о положительных сторонах небытия, об идеальных математических объектах и новых метауровнях языка. Для шутки это уже длинновато. Больше того — своей увертюрой Лем просто мистифицирует читателя (а может, и самого себя?), так как псевдорецензии, составляющие «Абсолютную пустоту», вовсе не сводятся к набору шуток. Я разделил бы их — иначе, чем автор, — на три категории.

1) Пародии, подражания и передразнивания: сюда относятся «Робинзонады», «Ничто, или Последовательность» (оба текста высмеивают — по-разному — «Nouveau Roman»*), да еще, пожалуй, «Ты» и «Гигамеш». Впрочем, «Ты» — вещь довольно рискованная; выдумать плохую книгу и после ее за это высмеять — слишком дешевый прием. В формальном плане всего оригинальнее роман «Ничто, или Последовательность», поскольку его уж точно никто бы не смог написать; форма псевдорецензии позволяет выполнить акробатический трюк: дать критический разбор книги, которой не только нет, но и быть не может. «Гигамеш» понравился мне меньше всего. Речь идет о мешке и шиле; но, право, стоит ли при помощи таких шуток разделяться с шедеврами? Быть может — если сам их не пишешь.

2) Черновые наброски (ведь что это, если не своего рода черновики?), такие, как «Группенфюрер Луи XVI» или «Идиот», а также «Вопрос темпа». Каждый из них — как знать? — мог бы воплотиться в хороший роман. Однако эти романы следовало бы сперва написать. Изложение — безразлично, критическое или нет, — в конце концов всего лишь приправа к блюду, которого нет на кухне. Почему нет? Критика посредством инсинуаций — занятие неблагодарное, но один раз я себе это позволю. У автора были замыслы, которые он не мог осуществить в полном объеме: написать не сумел, а не писать было жалко; вот и вся тайна происхождения этой части «Абсолютной пустоты». Лем достаточно сметлив, чтобы предвидеть подобный упрек, и решил парировать его — предисловием. Поэтому в «Автозоиле» он

* «Новый роман» (фр.), или «антироман».

жалуется на убожество средств, которыми располагает прозаик, вынужденный, подобно мастеровому, обстругивать описания типа «маркиза вышла из дому в пять». Но настоящее мастерство не бывает убогим. Лем испугался трудностей, что ждали его при написании трех романов, названных мной для примера, и предпочел увернуться, как-нибудь выкрутиться, не рисковать. Заявляя, что «каждая книга — кладбище сонма других, которые она вытеснила и тем погубила», он дает нам понять, что идей у него больше, чем биологического времени (*Arg longa, vita brevis**). Но первоклассных, многообещающих идей в «Абсолютной пустоте» не очень-то много. Есть там, как уже говорилось, демонстрация трюков, но все это — шутки. Я, однако, подозреваю тут кое-что посерьезнее, а именно тоску по невоплотимому.

В том, что я не ошибаюсь, убеждает меня последняя группа рецензий, таких, как «*De Impossibilitate Vitae*», «Культура как ошибка» и — прежде всего! — «Новая Космогония».

«Культура как ошибка» ставит с ног на голову воззрения, которые Лем высказывал не единожды, как в беллетристических, так и небеллетристических книгах. Технологический взрыв, заклеянный там как могильщик культуры, здесь объявляется освободителем человечества. Вторично Лем оказывается отступником в «*De Impossibilitate Vitae*». Пусть нас не вводит в заблуждение забавная абсурдность необозримых причинно-следственных цепочек семейной хроники: за комизмом анекдотических историй кроется атака на святая святых Лема — на теорию вероятностей, то есть на категорию случайности, лежащую в основе всех его широкомасштабных концепций. Атака ведется в шутовском колпаке, что должно затупить ее острие. Но была ли она хоть на минуту задумана не как гротеск?

Эти сомнения снимает «Новая Космогония», поистине *pièce de resistance*, главное блюдо книги, укрытое в ней наподобие дара троянцев. Шуткой ее не назовешь, мнимой рецензией — также; что же это такое? Для шутки она чересчур тяжела, обвешана слишком массивной научной аргументацией — известно ведь, что Лем энциклопедию съел и стоит его потрясти, чтобы посыпались логарифмы и формулы. «Новая Космогония» — это вымышленная речь нобелевского лауреата, рисующая революционную картину Вселенной. Если бы я не знал ни одной книги Лема, кроме

* Искусство долговечно, жизнь коротка (*лат.*)

этой, я еще мог бы предположить, что перед нами шутка для тридцати посвященных на всем белом свете, то есть для физиков и прочих релятивистов. Но это кажется маловероятным. А значит?.. Подозреваю опять-таки, что автора осенила гипотеза — и он ее испугался. Понятно, он никогда не признается в этом, и никто не докажет, что идею Космоса как Игры он принял всерьез. В случае чего он может сослаться на несерьезность контекста, на само название книги («Абсолютная пустота» — то есть речь «ни о чем»); впрочем, лучшее убежище и отговорка — *licentia poetica**.

И все же я думаю, что за этими текстами кроется нечто серьезное. Вселенная как Игра? Интенциональная Физика? Почитатель науки, падающий ниц перед ее св. Методологией, Лем не мог открыто выступить в роли ее первого ересиарха и вероотступника, а следовательно, не мог изложить эту мысль где бы то ни было как свою собственную. А сделать «Игру в Космос» стержнем сюжетной интриги значило бы написать еще один, неизвестно какой уж по счету «нормальный» научно-фантастический роман.

Что же ему оставалось? Рассуждая здраво — ничего, кроме молчания. Так вот: книги, которых литератор не пишет, за которые он не возьмется никогда и никоим образом, которые можно приписать несуществующим авторам, — такие книги как раз потому, что их нет, удивительно сходны с абсолютным молчанием, не так ли? Можно ли еще определенно отмежеваться от неортодоксальных идей? Говорить об этих книгах, об этих высказываниях, как о чужих, — почти то же самое, что говорить молча. Особенно если все преподносится под видом шутки.

Итак, из хронического, застарелого голода на пригодный в духовную пищу рсализм, из мыслей, чересчур дерзких по отношению к собственным воззрениям, чтобы можно было их высказать прямо, из всего, о чем напрасно мечтается, — и получилась «Абсолютная пустота». Ученое предисловие, которое будто бы обосновывает «новый литературный жанр», — всего лишь отвлекающий маневр, намеренно подчеркнутый жест, которым фокусник отводит наш взгляд от того, что он *действительно делает*. Нам предлагают поверить, что будет показана ловкость рук, но это лишь видимость. Не прием «псевдорецензий» породил эти тексты, но сами они, тщетно требуя воплощения, воспользовались этим приемом как оправданием и предлогом. Иначе все так и ос-

* Поэтическая вольность (лат.)

талось бы в сфере молчания. Речь здесь идет об отказе от фантазирования в пользу прочно стоящего на земле реализма, об отступничестве в эмпирии, о еретическом духе в науке. Неужто Лем рассчитывал, что его уловка останется незамеченной? Она чрезвычайно проста: со смехом выкрикивать то, о чем всерьез и прошептать-то не хватит духу. Вопреки тому, что сказано в предисловии, критик не обязательно «прикован к книге, как каторжник к тачке»: его свобода не в том, что он может превознести или ниспровергнуть книгу, а в том, что через нее он может взглянуть, как через стеклышко микроскопа, в автора. И тогда «Абсолютная пустота» оказывается рассказом о том, чего хотелось бы, но чего, увы, нет. Это — книга невоплощенных мечтаний. И единственное, что еще мог бы сделать Лем, петляя и запутывая следы, — это перейти в контратаку, то есть заявить, что вовсе не я, критик, а сам он, автор, написал эту рецензию, пополнив еще и ею «Абсолютную пустоту».

«LES ROBINSONADES»
par Marcel Coscat
(Ed. du Seuil—Paris)

«РОБИНЗОНАДЫ»

Вслед за «Робинзоном» Дефо появился на свет куций швейцарский Робинзон для детского чтения и еще целое множество инфантилизованных вариантов жизни без людей; несколько лет назад парижская «Олимпия», идя в ногу со временем, выпустила «Сексуальную жизнь Робинзона Крузо», пошлую книжонку, автора которой можно и не называть, он скрыт под одним из псевдонимов, являющихся собственностью издателя, который нанимает литературных поденщиков с очевидными целями. Но «Робинзонад» Марселя Коски стоило дожидаться. В них изложена светская жизнь Робинзона Крузо, его общественно-благотворительная деятельность, его изнурительная, многотрудная и многолюдная жизнь, поскольку речь идет о социологии одиночества — о масскультуре необитаемого острова, под конец романа просто битком набитого народом.

Произведение господина Коски, как вскоре становится ясно читателю, не является перепевом уже имевшихся версий и не носит коммерческого характера. Автора не занимает ни сенсация, ни порнография безлюдья, он не направляет похоть потерпевшего на пальмы с волосатыми кокосами, на рыб, коз, топоры, грибы, колбасы, снятые с разбившегося корабля. В этой книге, вопреки версии «Олимпии», Робинзон не предстает перед нами разнузданным самцом, который, подобно фаллическому единорогу, топчет кусты, сминая заросли сахарного тростника и бамбука, насилует песчаные

«Les Robinsonades», 1971

© В.Кулагина-Ярцева, перевод, 1995

пляжи, горные вершины, воды залива, пронзительные крики чаек, гордые тени альбатросов или пригнанных к берегу штормом акул. Тот, кто ждал от книги чего-нибудь в этом роде, не найдет здесь пищи для распаленного воображения. Робинзон Марселя Коски — это логик в чистом виде, крайний конвенционалист, философ, сделавший из теории выводы, настолько далеко идущие, насколько возможно, а крушение корабля — трехмачтовой «Патриции» — распахнуло перед ним ворота, разорвало путы, подготовило лабораторную аппаратуру для эксперимента, поскольку это событие дало ему возможность постичь собственную суть, не искаженную присутствием других людей.

Серж Н., осознав свое положение, не столько покорно примиряется с ним, сколько решает сделаться подлинным Робинзоном и начинает с принятия этого имени, что вполне рационально, поскольку прежняя жизнь уже не имеет для него никакого смысла.

Судьба потерпевшего кораблекрушение со всеми ее житейскими невзгодами и так достаточно сурова, ее не стоит отягощать напрасными усилиями памяти, взыскующей утраченного. Мир, в который ты попал, нужно устроить по-человечески. Новый Робинзон господина Коски лишен каких бы то ни было иллюзий; ему известно, что герой Дефо — вымысел, а его реальный прототип — моряк Селькирк, спустя много лет случайно обнаруженный командой какого-то брига, оказался существом, совершенно потерявшим человеческий облик, вплоть до утраты речи. Робинзон Дефо сохранил себя не благодаря Пятнице — тот появился слишком поздно, — а потому, что добросовестно рассчитывал на общество, правда, суровое, но зато лучшее из всех возможных для пуританина, а именно самого Господа Бога. Этот сотоварищ внушил ему строгий педантизм в поведении, упорное трудолюбие, стремление постоянно соотносить свои деяния с собственной совестью и особенно ту чистоту и скромность, которая так раззадорила автора из парижской «Олимпии», что он обошелся с ней столь своевольно.

Серж Н., или Новый Робинзон, ощущая в себе некие творческие силы, знает заранее, что одного во всяком случае ему не создать — Всевышнего. Он рационалист и принимается за работу как рационалист. Он хочет взвесить все, начиная с вопроса, не проще ли вообще ничего не делать; это, скорее всего, приведет его к безумию, но кто знает, не окажется ли безумие лучшим выходом? Разумеется, если бы можно было подобрать себе род сумасшествия, как галстук

к рубашке, — гипоманиакальную эйфорию с присущим ей радостным мировосприятием, Робинзон охотно привил бы ее себе, но кто поручится, что его не занесет в депрессию, ведущую к попыткам свести счеты с жизнью? Эта мысль сражает его, особенно в эстетическом плане, к тому же бездействие не в его натуре. Для того чтобы повеситься или утопиться, всегда можно найти время — и этот вариант он откладывает *ad acta**. Мир снов — говорит он себе на одной из начальных страниц романа — вот то Нигде, которое может стать совершенным; это утопия, неявно выраженная, слабо разветвленная, еле проглядывающая в ночной работе мозга, который в этот момент не всегда на высоте задач, предъявляемых ему явью. «В снах ко мне являются, — рассуждает Робинзон, — различные люди и задают вопросы, на которые я не знаю ответа, пока не услышу его из их уст. Значит ли это, что они — кусочки моего отделившегося естества, соединенные с ним пуповиной? Сказать так — значит совершить нешуточную ошибку. Так же, как мне не известно, есть ли под этим плоским камешком, который я начинаю потихоньку приподнимать большим пальцем босой ноги, те, уже ставшие вкусными для меня земляные черви, толстенькие белые червячки, точно так я не знаю, что кроется в мозгу людей, посещающих меня в снах. Следовательно, по отношению к моему «Я» эти люди внешние в той же степени, что и червячки: речь идет не о том, чтобы стереть различие между сном и явью, — это путь к безумию! — а о том, чтобы создать новый, лучший порядок. То, что во сне удается лишь иногда, кое-как, путано, шатко и случайно, следует скорректировать, уплотнить, объединить и усилить; сон, пришвартованный к яви, выведенный на явь как метод, служащий яви, заселивший явь, набивший ее доверху самым лучшим товаром, перестанет быть сном, а явь, подвергшаяся такому воздействию, будет и по-прежнему трезвой и по-новому сформированной. Поскольку я один, мне можно не считаться ни с кем, но поскольку сознание того, что я один, для меня яд, то я не буду одинок; на Господа Бога меня действительно не хватит, но это еще не значит, что меня не хватит ни на кого!»

И дальше наш логик Робинзон говорит: «Человек без Других — как рыба без воды, но подобно тому, как большая часть вод грязна и мутна, так и мое окружение было помойкой. Родственников, родителей, начальство, учителей я вы-

* В архив (лат.)

бирал не сам — и даже любовниц, потому что отбирал их (если вообще отбирал) из того, что было под рукой. Поскольку, как любой смертный, я был отдан на волю своему происхождению, семейно-светским случайным обстоятельствам, то и жалеть не о чем. А потому пусть раздастся первое слово Бытия: «Долой этот хлам!»

Как мы видим, он произносит эти слова с тою же торжественностью, что Творец: «Да будет...» Поскольку именно с нуля Робинзон начинает создавать свой мир. Освободившись от людей — не только в результате случайной катастрофы, но и по собственному решению, — он начинает творить без оглядки. Так совершенно логичный герой Марселя Коски намечает программу, которая станет насмешкою над ним, уничтожит его впоследствии — не так ли, как человеческий мир своего Творца?

Робинзон не знает, с чего начать: может быть, ему стоит окружить себя существами идеальными? Ангелами? Пегасами? (Какое-то время его мучает желание создать кентавра.) Но, не питая иллюзий, он понимает, что присутствие существ, в какой-то мере совершенных, выйдет ему боком. Поэтому сначала он заводит себе того, о ком раньше, до сих пор, мог только мечтать, а именно верного слугу, *butler'a**, камердинера и лакея в одном лице — толстяка (толстяки покладисты!) Глюмма. В ходе робинзонады наш подмастерье Творца размышляет о демократии, которую, как и все люди (в этом он убежден), терпел лишь по необходимости. Еще мальчишкой он, засыпая, мечтал о том, как здорово было бы родиться великим властелином в средневековье. И вот наконец мечты могут исполниться. Глюмм умом не блещет и тем самым непроизвольно возвеличивает своего хозяина; звезд с неба не хватает, но расторопен и никогда не отказывается от работы; все исполняет вмиг, даже то, чего хозяин и пожелать-то не успел.

Автор никак не объясняет, сам ли — и каким образом — Робинзон работает вместо Глюмма, поскольку повествование ведется от первого лица, от лица Робинзона: если даже он сам (а как может быть иначе?) потихоньку делает то, что считается потом результатом службы лакея, то действует совершенно бессознательно, и поэтому видны только результаты этих усилий. Едва Робинзон утром протрет глаза, еще слипающиеся, у его изголовья уже лежат заботливо приготовленные устрицы, какие он больше всего любит, — слегка

* Дворецкий (англ.).

присоленные морской водою, приправленные кислотой из щавелевых стеблей, а на закуску — мягкие червяки, белые, как масло, на аккуратных тарелках-камешках; чуть в стороне — до блеска начищенные кокосовым волокном сияют туфли и в ожидании лежит одежда, разглаженная нагретым на солнце камнем; на брюках складка, а в петлице сюртука свежий цветок; господин, как обычно, слегка побрюзжит, завтракая и одеваясь, закажет на обед крачку, на ужин — кокосовое молоко, только как следует охлажденное; Глюмм, разумеется, как полагается хорошему дворецкому, выслушивает распоряжения в почтительном молчании.

Господин брюзжит — слуга слушает; господин приказывает — слуга исполняет; приятная это жизнь, вроде каких-нибудь каникул в деревне. Робинзон совершает прогулки, собирает интересные камни, даже коллекцию из них начинает составлять, а Глюмм в это время готовит еду — и при этом сам вообще ничего не ест — и экономно, и удобно! Однако вскоре в отношениях Господина и Слуги появляется первая трещина. Существование Глюмма неоспоримо: сомневаться в нем — все равно что смотреть на деревья и облака и думать, будто их нет вовсе. Но исполнительность слуги, его усердие, повиновение, послушание становятся назойливы: туфли *всегда* вычищены, каждое утро рядом с жестким ложем ждут ароматные устрицы. Глюмм помалкивает — еще бы, господин терпеть не может слуг-резонеров, но из этого всего не следует, что Глюмм как *личность* вообще существует на острове; Робинзон решает добавить что-нибудь способное эту ситуацию, слишком простую, усложнить. Наделить Глюмма нерадивостью, упрямством, легкомыслием не удастся: он уже такой, как есть, какой получился; тогда Робинзон берет на службу поваренка-мальчишку Смена. Это неряшливый, но, можно сказать, красивый цыганенок, с ленцой, но сообразительный, склонный к дурацким розыгрышам, и теперь у Слуги прибавляется работы — не с обслуживанием Господина, а с сокрытием от него выходок этого сопляка. В результате Глюмма, постоянно занятого натаскиванием Смена, нет в еще большей степени, чем раньше. Иногда Робинзон слышит отголоски Глюммовых нагоняев, доносимые морским ветром (скрипучий голос Глюмма удивительно напоминает крики больших крачек), но сам в ссоры слуг вмешиваться не собирается! Смен отвлекает Глюмма от Господина? Выгнать его, пусть идет на все четыре стороны. Ведь он даже осмеливался красть устрицы! Господин готов забыть об этом эпизоде, да

у Глюмма не получается. Он начинает работать небрежно; выговоры не помогают; слуга продолжает молчать, он по-прежнему тише воды, ниже травы, но, очевидно, о чем-то задумывается. Господину не пристало допрашивать слугу или вызывать его на откровенность — не исповедником же ему становиться?! Строгость ни к чему не приводит — тогда и ты, старый дурак, прочь с глаз моих! Держи трехмесячное жалованье — только убирайся!

Робинзон, гордый, как всякий Господин, тратит целый день, чтобы сколотить плот, добирается на нем до разбившейся о рифы «Патриции»; деньги, к счастью, на месте. Расчет произведен, Глюмм исчезает, но что поделаешь — причитающихся ему денег он не взял. Робинзон, получив от слуги такое оскорбление, не знает, что предпринять. Он чувствует, пока только интуитивно, что совершил ошибку: что же, что именно не удалось?

— Я всемогущ! — утешает он себя и заводит служанку Срединку. Она, как мы догадываемся, одновременно и обращение к парадигме Пятницы, и ее оппозиция (Пятница соотносится со Срединкой, как пятница со средой). Но эта молоденькая простушка могла бы ввести Господина в искушение. Он мог бы легко погибнуть в ее дивных — неощутимых — объятиях, вспылать похотью, потерять разум из-за слабой загадочной улыбки, невзрачного профиля, босых ступней, черных от золы очага, волос, пропахших бараньим жиром. И он сразу, по вдохновению, делает Срединку — трехногой; в обычной, банально объективной повседневности ему бы это не удалось! Но здесь он Господь Бог и Творец. Он поступает, как человек, имеющий бочку метилового спирта, ядовитого, но соблазнительного; он сам заколачивает ее наглухо, чтобы не подвергаться все время искушению, которому не желает поддаваться. Его разум будет непрерывно занят работой, потому что постоянное стремление раскупорить бочку никуда не исчезнет. Так и Робинзон с этих пор станет жить бок о бок с трехногой девушкой, будучи в состоянии воображать ее без средней ноги, — не более того. Он сохранит богатство нерастраченных чувств, нереализованных приемов обольщения (зачем же тратить их на этакое?). Срединка, которая вызывает у него ассоциации и с сиротинкой, и со средой (Mittwoch*, середина недели: здесь явно прослеживается символика Секса), станет его Беатриче. Подозревала ли вообще глу-

* Среда (нем.)

пенькая четырнадцатилетняя девчонка-подросток о муках вожделения Данте? Робинзон действительно доволен собой. Он сам сотворил ее и сам от себя в том же акте забаррикадировал — этой ее трехногостью. Но вскоре все начинает трещать по швам. Сосредоточившись на одной, впрочем, важной проблеме, Робинзон упускает из виду столько других черт Срединки!

Сначала речь идет о довольно невинных вещах. Ему иногда хотелось бы подсмотреть за нею, но гордость не позволяет поддаться этому желанию. Но затем разное приходит ему в голову. Девушка выполняет то, что прежде делал Глюмм. Собирать устрицы — это ерунда, но следить за гардеробом Господина, даже за его бельем? В этом можно увидеть нечто двусмысленное — да что там двусмысленное! Совершенно однозначное! И он поднимается украдкой, темной ночью — когда она наверняка спит, — чтобы постирать бельишко в заливе. Но, раз он начал так рано вставать, почему бы и ему как-нибудь забавы ради (но только ради своей господской, одинокой забавы) не выстирать ее белье? Разве это не будет его подарок? Не побоявшись акул, он несколько раз плавал, чтобы перерыть оставшиеся на «Патриции» вещи, — и нашел там кое-какие дамские одеяния — юбочки, платица, трусики; а выстирав, нужно все развесить на веревке между стволами двух пальм. Опасная игра! И опасная тем более, что, хотя Глюмма как слуги на острове нет, он не исчез окончательно. Робинзон чуть ли не ощущает его сопящее дыхание, угадывает его мысли: мне-то Господин ни разу ничего не постирал. Будучи рядом, Глюмм никогда бы не отважился сказать что-либо подобное, но, отсутствуя, он становится необычайно болтлив! Глюмма в самом деле нет, — но есть пустота, оставшаяся после него! Его нигде не видно, но и когда он был, то держался скромно и тогда не попадался Господину под руку, на глаза ему не смел показываться. Теперь же от Глюмма деться некуда: его выпученные с патологической услужливостью глаза, его пронзительный голос — все становится заметным; то отдаленные стычки со Сменом слышатся в криках крачек; то Глюмм выпячивает волосатую грудь в спелых кокосах (бесстыдные намеки!) и выгибается корой пальмовых стволов, то рыбьими глазами, как утопленник из-под набегающей волны, высматривает Робинзона. Где? Вон он, на скальном мысу, — у Глюмма было маленькое хобби: он любил сидеть на скале и хриплым голосом ругать старых, а потому совсем ослабевших китов, пускавших фонтаны в кругу семьи.

Если бы со Срединкой можно было найти общий язык, превратить ее в союзницу и таким образом отношения, уже весьма неслужебные, сделать еще более тесными, подправляя их приказаниями, суровой требовательностью и господской, мужской зрелостью! Но это, в сущности, простая девушка, она о Глюмме даже не слыхала, с ней говорить — все равно что с картиной. Если даже она что и думает на свой лад — слова от нее не услышишь. Дело, казалось бы, в простоте, несмелости (это тоже имеет значение!), но на самом деле ее девическая робость — это инстинктивная хитрость. Срединка кожей чувствует, почему Господин деловит, спокоен, выдержан и высокомерен. Ко всему прочему, она часами где-то пропадает: до вечера ее не видно. Может быть, Смена? Но не Глюмм же, это исключено! Да его наверняка нет на острове!

Наивный читатель (а таких, увы, немало) готов решить, что Робинзон страдает галлюцинациями, что он сошел с ума. Ничего подобного! Если он в плену, то только у собственного творения. Ведь он не может признаться себе в том единственном, что подействовало бы на него радикально оздоравливающе. А именно в том, что Глюмма вообще никогда не существовало, так же как и Смена. Во-первых, потому, что Срединка неотвратимо пала бы жертвой уничтожающего воздействия этого прямого отрицания. Кроме того, такое признание навсегда убило бы в Робинзоне Творца. Поэтому, невзирая на последствия, он так же не может признаться самому себе в *несуществовании* создаваемого, как подлинный, истинный Творец никогда не признает в сотворенном *зла*. Ведь в обоих случаях это означало бы полный крах. Бог *зла* не сотворял, по аналогии с этим Робинзон не окружал себя несуществующим. Каждый — узник созданного им Духа.

Таким образом, Робинзон беззащитен перед Глюммом. Глюмм существует, но всегда в отдалении, его нельзя достать ни палкой, ни камнем, делу не помогает даже приманка — оставленная в темноте, привязанная к колышку Срединка (до чего докатился Робинзон!). Изгнанный слуга — нигде, а значит — везде. Бедный Робинзон, который так хотел уйти от посредственности, окружить себя избранниками, осквернил сам себя, заглумив весь остров.

Герой терпит подлинные муки. Особенно хороши описания ночных ссор со Срединкой, диалогов, особый ритм которым придает ее обиженное, манящее молчание самки; Робинзон теряет меру, тормоза, вся его господскость слетает с

него, он сам теперь ее собственность — зависит от ее взгляда, кивка, улыбки. Он различает в темноте эту слабую, легкую девичью улыбку, когда, усталый, в поту, ворочается до утра на твердом ложе и его одолевают развратные, безумные мысли; он начинает мечтать о том, что мог бы сделать со Срединкой... Может, воплотить еще раз райский вариант? И в его размышлениях появляются намеки, от свитого змейкой платка до библейского змия; поэтому он воображает ее королевой, а затем отсекает «короля», чтобы оставалась только «Ева», Адамом которой, разумеется, был бы сам Робинзон. Он вполне осознает, что исчезновение Срединки означало бы катастрофу. Любая форма ее присутствия лучше, чем разлука, это бесспорно.

Итак, начинается история падения. Ежедневная стирка нарядов превращается в настоящую мистерию. Проснувшись среди ночи, он чутко прислушивается к дыханию девушки. В то же время он осознает, что теперь должен по крайней мере бороться с собой, чтобы не двинуться с места, не протянуть руку в том направлении, но если он выгонит свою мучительницу — конец всему! В рассветных лучах ее выстиранное, выбеленное солнцем, проношенное до дыр (о, расположение этих дыр!) белье весело вьется по ветру; Робинзон проходит через все — самые банальные — мучения, составляющие удел безответно влюбленного. А ее треснувшее зеркальце, а ее расческа... Робинзон теперь все время убегает из своего жилища-пещеры, ему уже не противен мыс, откуда Глюмм переругивался со старыми ленивыми китами. Но дальше так продолжаться не может, а значит, пусть не продолжается. И вот Робинзон отправляется на пляж, чтобы дожидаться, когда на тяжелый, обжигающий подошвы песок, подернутый блеском умирающих жемчужниц, шторм (тоже, очевидно, кстати придуманный?) вынесет огромный белый корпус «Ферганика», трансатлантического парохода. Но ведь неспроста некоторые перламутровые раковины таят в себе заколки для волос, а другие, мягко чмокнув слизью, выплевывают к ногам Робинзона мокрые окурки «Кэмела»? Не хочет ли роман показать таким образом, что и песок, и пляж, и переливающаяся вода, ее пена, стекающая назад, в пучину, уже не являются частью материального мира? Но так или иначе, драма, которая начинается на пляже, когда корпус «Ферганика», с чудовищным грохотом напорвшись на рифы, высыпает перед приплясывающим Робинзоном свое невероятное содержимое, — эта драма реальна, как рыдание неразделенной страсти...

С этого момента, следует признать, книга становится все труднее для понимания и требует немалых усилий от читателя. Линия развития, до этого четкая, запутывается и петляет. Неужели автор пытается нарочно, с помощью несуржиц, затуманить смысл романа? К чему эти два высоких табурета для бара, которые родила Срединка, — мы догадываемся, что их трехноготь — наследственная черта, это ясно, но кто отец табуретов? Или речь идет о непорочном зачатии мебели? Почему Глюмм, который раньше только плевал в китов, оказывается их родней (Робинзон говорит о нем Срединке как о «китовом родственнике»)? И дальше: в начале второго тома у Робинзона не то трое, не то пятеро детей. Неопределенность числа еще можно понять: это одна из черт галлюцинаторного мира, в значительной мере уже сложившегося: Творец уже, очевидно, не в силах держать в памяти все подробности сотворенного. Прекрасно. Но от кого у Робинзона эти дети? Порождение ли они его умысла, как прежде Глюмм, Срединка, Смен, или он зачал их посредством воображаемого акта — с женщиной? О третьей ноге Срединки во втором томе нет ни слова. Означает ли это некое антитворительное изъятие? В восьмой главе это, по-видимому, подтверждается абзацем беседы Робинзона и матерого котика с «Ферганика», где тот припечатывает нашего героя: «Ты, ногодер!» Но так как этого кота Робинзон не обнаружил на корабле и не создал каким-либо иным способом, потому что его придумала тетка Глюмма, о которой жена Глюмма рассказывает, будто бы она «производила на свет Гипербореяв», то, к сожалению, остается неизвестным, были ли у Срединки еще дети кроме табуретов. Срединка в этом не признается; во всяком случае, она не отвечает ни на какие вопросы Робинзона во время дикой сцены ревности, когда он в отчаянии пытается свить себе веревку из кокосового волокна. «Неробинзоном» именует себя герой в этой сцене и даже — НИЧЕГО-«НЕРОБИНЗОНОМ». Но поскольку он столько сработал до этого момента, как следует понимать такой пассаж?

Почему Робинзон говорит, что, не будучи таким трехногим, как Срединка, он в этом смысле обладает неким отдаленным сходством с нею, кое-как еще можно понять, но это замечание, завершающее первый том, не находит во втором томе ни анатомического, ни художественного развития. История же тетки с ее Гипербореями выглядит довольно неаппетитно, как и детский хор, сопровождающий ее метаморфозу. («Нас здесь три, четыре с половиной, слушай,

Пятница-старик» — причем Пятница оказывается дядей Срединки по отцовской линии — об этом бормочут рыбы в третьей главе, там же снова содержатся намеки на пятки, но неизвестно на чьи.)

Чем дальше развивается повествование второго тома, тем бессмысленнее оно становится. Робинзон вообще уже не разговаривает со Срединкой во второй части книги: последняя попытка общения — письмо Робинзону, написанное ею ночью, в пещере, на пепле очага, на ощупь; он прочитывает его на рассвете, дрожа заранее, догадавшись о его содержании еще прежде, в темноте, когда водил пальцами по остывшему пеплу... «Чтобы наконец оставил меня в покое!» — написала она, а он, не смея ничего сказать в ответ, побежал прочь — зачем? Чтобы устроить конкурс на титул «Мисс Жемчужницы», чтобы стучать палкой по стволам пальм, нещадно их ругая, или огласить, прохаживаясь по пляжу, свой замысел — запрячь китов, привязав остров к их хвостам! Тогда же, в течение одного утра, появляются прямо-таки толпы, которые Робинзон вызывает к жизни мимоходом, нехотя, записывая где попало имена, фамилии, прозвища, — после чего наступает полнейший хаос: плот сбивают и тут же разбивают, ставят дом для Срединки, а потом валят его, руки толстеют настолько, насколько ноги худеют, а заодно разворачивается немыслимая оргия, во время которой наш герой не в состоянии отличить ухо от ушек из теста и кровь от свекольника!

Все это — почти сто семьдесят страниц, не считая эпилога! — производит впечатление, что либо Робинзон отказался от первоначальных планов, либо сам автор запутался в своем романе. Вот почему Жюль Нефаст объявил в «Фигаро литерер», что эта вещь «просто клиническая». Серж Н. не мог избежать безумия, вопреки его праксеологическому плану Творения. Итогом действительно последовательного солипсистского творения *должна* была стать шизофрения. Книга старается проиллюстрировать эту банальную истину. Поэтому Нефаст находит ее в интеллектуальном отношении бессодержательной, хотя местами забавной благодаря фантазии автора.

Анатоль Фош в «Нувель критик» позволяет себе усомниться в справедливости суждения своего коллеги из «Фигаро литерер», замечая, на наш взгляд, совершенно справедливо, что Нефаст, безотносительно к содержанию «Робинзонад», не компетентен в психиатрии (далее следует пространное рассуждение об отсутствии какой бы то ни бы-

ло связи между солипсизмом и шизофренией, но мы, считая эту проблему несущественной для книги, отсылаем читателя за подробностями к «Нувель критик»). А затем Фош излагает философию романа следующим образом: произведение показывает, что акт творения *асимметричен*, поскольку мысленно можно создать все, но уничтожить потом удастся не все (почти ничего). Этого не позволяет память творящего, неподвластная его воле. В трактовке Фоша роман не имеет ничего общего с историей болезни (некоего безумия в безлюдье), но изображает состояние затерянности в творении: действия Робинзона (во втором томе) настолько бессмысленны, что ему самому они уже ничего не дают, зато с психологической точки зрения они вполне объяснимы. Это метания, характерные для человека, попавшего в ситуацию, которую он принимает лишь частично; ситуация эта, набирая силу по собственным законам, поработает его. Из реальных ситуаций — подчеркивает Фош — можно реально выбраться, а из придуманных — никогда, стало быть, «Робинзонады» свидетельствуют лишь о том, что человеку необходим подлинный мир («подлинный внешний мир — это подлинный внутренний мир»). Робинзон господина Коски вовсе не безумен — просто его план создания синтетического универсума на необитаемом острове был с самого начала обречен на провал.

По этой же логике Фош также отказывает «Робинзонадам» в глубоких ценностях, поскольку — так представленное — произведение действительно выглядит довольно убогим. С точки зрения пишущего данную рецензию, оба упомянутых критика прошли мимо романа, не вникнув в его содержание.

По нашему мнению, автор изложил нечто несравненно менее банальное, чем история безумия на необитаемом острове или полемика с тезисом о созидательном всемогуществе солипсизма. (Полемика подобного рода была бы вообще бессмыслицей, поскольку в системной философии никто никогда не доказывал творческого всемогущества солипсизма; где-где, а в философии битвы с ветряными мельницами не окупаются.)

По нашему убеждению, то, что делает Робинзон, когда «сходит с ума», — и не вариант безумия, и не просто глупость. Изначальное намерение героя романа вполне здоровое. Он знает, что границей каждого человека являются Другие; опрометчиво выводимое из этого заключение, будто уничтожение Других предоставляет субъекту абсолютную

свободу, является ложным в психологическом отношении, подобно тому как ложным в физическом отношении было бы утверждение, что раз вода принимает форму сосудов, в которых ее держат, то, разбив все сосуды, мы можем предоставить воде «абсолютную свободу». На самом же деле, подобно воде, которая, лишившись сосудов, растекается лужей, человек, оставшись в полном одиночестве, взрывается, причем взрыв этот представляет собой форму полнейшего отхода от культуры. Если нет Бога и к тому же нет ни Других, ни надежды на их возвращение, следует спастись созданием какой-либо веры, которая по отношению к создавшему ее *должна* быть внешней. Робинзон господина Коски усвоил эту нехитрую науку.

Далее: для обыкновенного человека наиболее привлекательными, а равно совершенно реальными являются существа недостижимые. Всем известны английская королева, ее сестра-принцесса, жена бывшего президента США, популярные кинозвезды. Это значит, что в действительном их существовании никто, находясь в здравом уме, нисколько не сомневается — хотя убедиться в этом непосредственно не может. В свою очередь, для того, кто может гордиться непосредственным знакомством с подобными лицами, они уже не будут идеалом богатства, женственности, красоты и т.д., поскольку при повседневном общении с ними он соприкасается с их совершенно обычными, нормальными человеческими слабостями. При ближайшем рассмотрении эти люди отнюдь не предстают существами божественными или исключительными. Поэтому поистине обожаемыми, вожденными, желанными могут быть только существа *далекие*, даже абсолютно недоступные. Привлекательность им придает то, что они вознесены над толпой; не свойства плоти или духа, а непреодолимая социальная дистанция создает их мажорный ореол.

Вот эту-то черту реального мира пытается повторить Робинзон на своем острове, в масштабах вымышленного им бытия. Его действия ошибочны изначально, поскольку он просто *физически* отворачивается от созданного — глюммов, сменов и т.п., — однако дистанцию, естественную между господином и слугой, он рад бы преодолеть, когда рядом появляется женщина. Робинзон не мог, да и *не хотел* заключить Глюмма в объятия; теперь же — по отношению к девушке — уже *только не может*. Дело не в том (здесь нет интеллектуальной проблемы!), что он не мог обнять несуществующую девушку. Разумеется, это невозможно! Дело в

том, чтобы *мысленно* создать ситуацию, собственные, естественные законы которой навсегда сделают невозможным эротический контакт — и это должны быть законы, совершенно игнорирующие *несуществование* девушки. Эти законы должны сдерживать Робинзона, а не банальный, вульгарный факт несуществования партнерши! Поскольку просто осознать ее несуществование — значит все разрушить.

Поэтому Робинзон, догадавшись, как следует поступить, принимается за работу — то есть за создание на острове целого вымышленного общества. Именно оно встанет между ним и девушкой; оно возведет систему барьеров, преград, образует непреодолимое расстояние, с которого Робинзон сможет ее любить, сможет ее вечно возделывать — уже не подвергаясь банальным испытаниям вроде желания протянуть руку и коснуться ее тела. Он ведь знает, что если хоть раз уступит в борьбе, которую ведет сам с собою, если попробует коснуться девушки — весь мир, созданный им, в мгновение ока рухнет. И поэтому он начинает «сходить с ума», в иступлении, в дикой спешке создавая своим воображением целые толпы — придумывая и записывая на песке прозвища, фамилии, первые попавшиеся имена, болтая чепуху о женах Глюмма, о тетках, о стариках пятницах и т.д. и т.п. А поскольку эта толпа нужна ему *только* как некое непреодолимое пространство (которое разделяло бы Его и Ее) — он творит кое-как, небрежно, наперекос, беспорядочно; он спешит — и эта спешка дискредитирует сотворенное, выявляя его бредовость и пошлость.

Если бы ему посчастливилось, он стал бы вечным влюбленным, Данте, Дон-Кихотом, Вертером и тем самым настоял бы на своем. Срединка — надо ли объяснять? — сделалась бы тогда не менее реальной, чем Беатриче, Лотта, какая-нибудь королева или принцесса. Став совершенно *реальной*, она была бы в то же время *недостигаемой*. Благодаря этому он мог бы жить и мечтать о ней, поскольку существует глубокое различие между ситуацией, когда кто-то реальный тоскует о своем сне и когда его манит тоже реальное — именно собственной недостижимостью. Ведь только во втором случае можно без конца питать надежду... поскольку только социальные или другие подобные преграды препятствуют осуществлению любви. Отношение Робинзона к Срединке могло нормализоваться, только если бы она стала одновременно *реальной* и *недоступной* — для него.

Классическому мифу о соединении влюбленных, разлученных превратностями судьбы, Марсель Коска противопоставил, таким образом, античный миф о необходимости вечной разлуки как единственной гарантии духовных союзов. Поняв всю тривиальность ошибки с «третьей ногой», Робинзон (а, разумеется, не автор!) потихоньку «забывает» о ней во втором томе. Властительницей своего мира, принцессой ледяной горы, нетронутой возлюбленной — вот кем хотел он сделать Срединку, ту самую, которая начинала у него как юная служанка, сменившая толстого Глюмма... Из этого ничего не вышло. Вы уже знаете или догадываетесь почему? Ответ простой: потому что Срединка, в отличие от какой-нибудь королевы, *знала* о Робинзоне, поскольку она любила его. И потому она не хотела сделаться богиней-весталкой: эта раздвоенность ведет героя к гибели. Если бы любил он один! Но она ответила ему взаимностью... Кому непонятна эта простая истина, кто считает (как учили наших дедов их викторианские гувернантки), что мы умеем любить *других*, а не *себя* в этих других, тому лучше не брать в руки этот грустный роман, который подарил нам Марсель Коска. Его Робинзон выдумал себе девушку, которую не захотел до конца отдать реальности, поскольку от реальности, никогда не оставляющей нас, нет иного, кроме смерти, пробуждения.

Patrick Hannahan
«GIGAMESH»
(Transworld Publishers—London)

«ГИГАМЕШ»

Вот романист, который позавидовал лаврам Джойса. Автор «Улисса» всю «Одиссею» уместил в одном-единственном дублинском дне, фоном *La belle époque** сделал адский дворец Цирцеи, сплел для торгового агента Блума петлю из трусиков Герты Мак-Дауэлл, лавиной в четыреста тысяч слов обрушился на викторианство, изничтожив его всеми стилями, какими только располагало перо, от потока сознания до следственного протокола. Разве не было уже это кульминацией жанра романа, а заодно — пышным его погребением в семейном склепе искусств (в «Улиссе» немало и музыки!)? Как видно, нет; как видно, сам Джойс думал иначе, коль скоро решил идти дальше и написать книгу, которая не только сфокусировала бы всю культуру на одном языке, но стала бы *всеязыковым* фокусом, спустилась до самого фундамента вавилонской башни. Мы не намерены ни подтверждать, ни отрицать великолепия «Улисса» и «Поминок по Финнегану», своею двойною дерзостью аппроксимирующих бесконечность. Одинокая рецензия ничего не прибавит к Гималаям почестей и проклятий, придавившим оба эти романа. Ясно одно: Патрик Ханнахан, соотечественник Джойса, никогда бы не написал своего «Гигамеша», если б не великий пример, воспринятый им как вызов.

Казалось бы, этот замысел заведомо обречен на неудачу. Создавать второго «Улисса» бессмысленно, второго «Финне-

* Прекрасной эпохи (фр.), то есть кануна первой мировой войны.

«Gigamesh», 1971

© Константин Душенко, перевод, 1995

гана» — тоже. На вершинах искусства в зачет идут только свершения первопроходцев, подобно тому как в истории альпинизма — лишь первое восхождение по непокоренной стене.

Ханнахан, весьма снисходительный к «Поминкам по Финнегану», «Улисса» ставит невысоко. «Что за мысль, — говорит он, — запихнуть, под видом Ирландии, европейский девятнадцатый век в замшелый саркофаг «Одиссеи»! Оригинал Гомера — сам сомнительного качества. Это античный комикс, который воспеваает супермена Улисса и имеет свой хеппи-энд. *Ex ungue leonem**: по выбору образца узнается каллибр писателя. Ведь «Одиссея» — плагиат «Гильгамеша», переименованного на потребу греческой публике. То, что в вавилонском эпосе было трагедией борьбы, увенчанной поражением, греки переделали в живописную авантюрную поездку по Средиземному морю. «*Navigare necesse est*», «жизнь — это странствие» — тоже мне, великие житейские мудрости. «Одиссея» — плагиат самого худшего разбора, ибо сводит на нет все величие подвига Гильгамеша».

Надо признать, что в «Гильгамеше», как учит шумерология, и впрямь содержатся мотивы, которыми воспользовался Гомер, например, мотив Одиссея, Цирцеи или Харона, и что это едва ли не самая старая версия трагической онтологии; ее герой, говоря словами Райнера Марии Рильке, сказанными тридцать шесть столетий спустя, «ждет, чтобы высшее начало / Его все чаще побеждало, / Чтобы расти ему в ответ**». Человеческая судьба как борьба, неизбежно ведущая к поражению, — таков конечный смысл «Гильгамеша».

Вот почему Патрик Ханнахан именно на основе вавилонского эпоса развернул свое эпическое полотно, весьма своеобразное, заметим, поскольку действие «Гильгамеша» крайне ограничено во времени и пространстве. Закоренелый гангстер, наемный убийца, американский солдат времен последней мировой войны, G.I.J. Maesh (т.е. «Джи Ай Джо» — Government Issue Joe, или «Джо в государственном издании», как называли рядовых американской армии), изобличенный в своих преступлениях благодаря доносу некоего Н.Кидди, приговорен военным трибуналом к повешению в городишке округа Норфолк, где расположена его часть. Романное время длится 36 минут — именно столько нужно, чтобы доставить

* По когтям (узнают) льва (лат.)

** Перевод Б.Пастернака.

смертника из тюрьмы к месту исполнения приговора. В финале возникает образ петли: чернея на фоне ясного неба, она обвивает шею спокойно стоящего Меша. Он-то и есть Гильгамеш, герой-полубог вавилонского эпоса, а отправивший его на виселицу старый приятель Н.Кидди — не кто иной, как ближайший соратник Гильгамеша, Энкиду, сотворенный богами ему на погибель. При таком изложении бросается в глаза сходство творческих принципов «Улисса» и «Гигамеша». Справедливость требует подчеркнуть различия. Сделать это тем легче, что Ханнахан — в отличие от Джойса! — снабдил свою книгу «Истолкованием», которое вдвое толще самого романа (если быть точным: в «Гигамеше» 395 страниц, в «Истолковании» — 847). О методе Ханнахана мы можем судить уже по первому семидесятистраничному разделу «Истолкования», где объясняется, какое богатство ассоциаций таится в одном-единственном слове, а именно в заголовке. «Гигамеш», во-первых, прямо указывает на «Гильгамеша», то есть на свой мифический прообраз, как и у Джойса — ведь его «Улисс» отсылает к античности прежде, чем мы успеваем прочесть первое слово повествования. Пропуск буквы «Л» в заглавии отнюдь не случаен; «Л» — это Люцифер, Luciferus, Князь Тьмы, присутствующий в романе, однако открыто не появляющийся. А следовательно, буква «Л» так относится к заглавию «Гигамеш», как Люцифер — к романским событиям: присутствует, но незримо. Отсылая нас к Логосу, «Л» указывает на Начало (Божественное Творящее Слово); отсылая к Лаокоону — на Конец (ведь конец Лаокоону пришел из-за змей: он был удушен, как будет удушен — посредством странгуляции — герой «Гигамеша»). «Л» содержит в себе еще 97 отсылок, но мы не можем перечислить их здесь.

Далее: «Гигамеш» — это «A GIGAntic MESS» — сумбур, беда, постигшая героя, — он ведь приговорен к повешению. С именем героя перекликаются также: «gig» — гичка (Меш топил свои жертвы в шлопке, перед тем облив их цементом); «GIGgle» — адский хохот — отсылка (№ 1) к музыкальному лейтмотиву сошествия во ад согласно «Klage Dr. Fausti»^{*}; ниже мы еще скажем об этом. ГИГА — это: а) итальянское giga — скрипка (снова намек на музыкальный подтекст эпоса); б) в слове ГИГАВАТТЫ «ГИГА» означает миллиарды единиц мощности, в нашем случае — мощности Зла, т.е. технической цивилизации. «Geegh» — это древнекельтское

* «Жалоба доктора Фаустуса» (нем.).

«прочь» или «вон». От итальянского «giga» через французское «gigue» приходим к «geigen» (жаргонное обозначение колыбели по-немецки). Дальнейшую этимологическую интерпретацию приходится опустить за недостатком места. Другое членение заголовка: «Gi-GAME-Sh» — подчеркивает иные аспекты произведения: «Game» — игра, но также охота (на человека; здесь — на Меша). Это не все; смолоду Меш выступал в роли жиголо (GIGolo); «Ame» («Amme») на древне-немецком означает «кормилица»; в свою очередь «MESH» — это сеть: например, та, в которую Гефест поймал свою божественную супругу вместе с любовником, то есть силки, верша, КАПКАН (петля); кроме того, система зубчатых колес («synchroMESH» — коробка передач).

Особый раздел посвящен заглавию, прочитанному наоборот, — поскольку по дороге на виселицу Меш мысленно возвращается *назад*, пробуя отыскать в своей памяти такое чудовищное злодеяние, которое *искупило бы* казнь. В его уме, таким образом, идет игра (game!) за самую высшую ставку: если он вспомнит поступок *бесконечно омерзительный*, то уравнивает *бесконечную Жертву* божественного Искупления, т.е. станет Антиискупителем. Это — в метафизическом плане; разумеется, сознанию Меша чужда подобная анти-теология, просто он ищет — в психологическом плане — нечто столь ужасающее, что позволило бы ему остаться невозмутимым при виде петли. Выходит, G.I.J.Maesh — это Гильгамеш, который в момент поражения достигает *отрицательного* совершенства; перед нами абсолютная обратная симметрия по отношению к вавилонскому герою.

«Гигамеш», прочитанный задом наперед, — «Шемагиг». «Шема» — древнееврейское слово, взято из Пятикнижия («Шема Исраэл!» — «Слушай, Израиль, твой Бог есть Бог единый!»). Поскольку это перевертыш, речь идет об Антибоге, т.е. о персонификации Зла. «Гиг» теперь — безусловно, «Гог» (Гог и Магог!). «Шем» — это, собственно, «Сим», первая часть имени Симеона Столпника; петля свисает со столба, а значит, Меш, будучи повешен, станет «столпником наоборот»: он будет не стоять на столбе, но висеть *под* столбом. Таков следующий шаг антисимметрии. Приведя по ходу такого истолкования 2912 выражений — древнешумерских, вавилонских, халдейских, греческих, старославянских, готтентотских, банту, южнокурильских, сефардийских, на диалекте апачей (боевой клич которых — «Иг» или «Гуг») — вместе с их санскритскими соответствиями и отсылками к *сленгу* преступников, Ханнахан подчеркивает,

что это отнюдь не склад случайного хлама, но точная семантическая роза ветров, тысячестрелочный компас и план произведения, его картография, — поскольку уже здесь намечены все без исключения связи, полифонически воплощенные в романе.

Ханнахан решил сделать свою книгу не только всекультурным, всеэтническим и всеязыковым узлом (петля!); чтобы пойти выше и дальше, чем удалось Джойсу, все это было, конечно, необходимо (так, одна-единственная буква «М» в «ГигаМеше» отсылает нас к истории майя, богу Вицли-Пуцли, ко всем ацтекским космогониям и иррумациям), но недостаточно! «Гигамеш» соткан из *всей совокупности* человеческих знаний. И опять-таки, мы имеем в виду не только современное их состояние, но также историю науки, то есть клинописные вавилонские арифметики; испепеленные, потухшие образы мироздания — как халдейские, так и египетские; птолемизм и эйнштейнианство, исчисление матричное и патричное, алгебру тензоров и групп, способы обжига ваз в эпоху династии Минь, машины Лилиенталя, Иеронимуса, Леонардо, гибельный воздушный шар Саломона Андре и дирижабль генерала Нобиле (то, что во время экспедиции Нобиле были случаи каннибализма, имеет особый и глубокий смысл для читателя, ибо роман Ханнахана можно уподобить точке, в которой некий фатальный груз упал в воду и возмутил ее гладь; и кругами волн, концентрически расходящихся все дальше и дальше от «Гигамеша», оказывается «все-все» человеческое существование на Земле, начиная с Номо Javanensis* и палеопитека). Вся эта информация покоится в «Гигамеше» — укрытая, но ее можно извлечь, — как будто в реальном мире.

Так мы доходим до главного творческого принципа Ханнахана: чтобы превзойти своего великого земляка и предшественника, ему было необходимо уместить в беллетристическом произведении не одно лишь культурно-языковое, но вообще все наследие истории — всю сумму познаний и умений (Пангнозис).

Несбыточность этого замысла, казалось бы, очевидна, его легко счесть манией глупца, и в самом деле: как может один роман, история повешения какого-то гангстера, стать экстрактом, матрицей, кодом и сокровищницей всех знаний, распирающих библиотеки планеты! Предвидя заранее этот холодный и даже издевательский скептицизм читателя,

* Человек яванский (лат.)

Ханнахан не ограничивается обещаниями — в «Истолковании» он дает доказательства.

Изложить их все немисливо; творческий метод писателя мы можем показать лишь на мелком, второстепенном примере. Первая глава «Гигамеша» занимает восемь страниц, на протяжении которых смертник оправляется в нужнике военной тюрьмы, читая — над писсуаром — бесчисленные граффити, которыми солдатня успела испещрить стены. Эти надписи остаются где-то на пограничье его сознания, и как раз потому их безудержное похабство оказывается не дном бытия, а люком, ведущим нас прямо в неопрятное, горячее, огромное нутро рода людского, в пекло его копролалической и физиологической символики, восходящей, через «Камасутру» и китайскую «войну цветов», к сумрачным пещерам со стеатопигическими* Венерами пралюдей, ведь именно их обнаженный срам проглядывает сквозь похабные силуэты, коряво нацарапанные на стене; вместе с тем фаллическая откровенность других рисунков ведет нас к Востоку с его ритуальной сакрализацией Фаллоса-Лингама**, причем Восток означает местонахождение первоначального Рая — то есть искусной лжи, неспособной укрыть ту истину, что в Начале была скверная информация. Да, да: ибо Пол и «грех» возникли еще тогда, когда праамебы утратили свою однополюю девственность, поскольку эквиполентность и двуполюсность Пола прямиком вытекают из Теории Информации Шеннона; так вот что означает последняя буква («Ш») в названии эпоса! А стало быть, со стены нужника открывается путь в бездну природной эволюции... которая вместо фигового листка прикрылась муравейником культур. Но и это лишь капля из океана, потому что в первой главе, кроме того, содержится:

а) Пифагорейское число «пи», символизирующее женское начало (3,14159265358979...); именно столько тысяч букв насчитывается в тысяче слов этой главы.

б) Если взять числа, обозначающие даты рождения Вейсмана, Менделя и Дарвина, и приложить их к тексту, как ключ к шифру, то окажется, что мнимый хаос клозетной скатологии*** есть изложение сексуальной механики, в которой сталкивающиеся (коллизирующие) тела заменяются

* Стеатопигия — ожирение ягодиц.

** Лингам — стилизованный фаллический символ в индуизме.

*** Литература (или шулки) на тему нечистот, в более широком смысле — на темы, вызывающие отвращение.

копулирующими. Вся эта цепочка значений входит в сцепление (SYNCHROMESH!) с другими частями романа, а именно: через III главу (Троица!) она соотносится с X главой (беременность длится 10 лунных месяцев!), а эта последняя, прочитанная наоборот, оказывается изложением фрейдизма *по-арамейски*. Мало того: как следует из III главы (если наложить ее на четвертую, перевернув книгу вверх ногами), фрейдизм, то есть учение о психоанализе, есть обмирщенная версия христианства. Состояние до Невроза — Рай; детская душевная травма — это Грехопадение; Невротик — Грешник; Психоаналитик — Спаситель, а фрейдовское лечение — Спасение через благодать.

с) Выходя из нужника, в конце I главы, Дж.Меш насвистывает шестнадцатитактную мелодию (шестнадцать было девушке, которую он обесчестил и удушил в шлюпке); слова же — крайне вульгарные — он произносит лишь про себя. Этот эксцесс психологически обоснован; сверх того, силлабо-тонический анализ песенки даст нам прямоугольную матрицу преобразований для следующей главы (которая получает при этом совершенно другое значение). Глава II — развитие богохульной песенки, которую Меш насвистывает в первой главе; после применения матрицы богохульство оборачивается ангельским пением. Роман в целом имеет три отсылки: 1) к «Фаусту» Марло (действие II, явление VI и след.); 2) к «Фаусту» Гёте («Alles vergängliche ist nur ein Gleichniss»*), а также 3) к «Доктору Фаустусу» Т.Манна, причем отсылка к этому роману — просто чудо искусства! Подобрал по очереди ко всем *буквам* II главы ноты согласно старогрегорианскому нотному ключу, получаем музыкальную композицию — *обратное* переложение (согласно «Фаустусу» Манна) оратории «Apocalypsis cum Figuris»**, которую Манн, как известно, приписал композитору Адриану Леверкюну. Эта адская музыка присутствует и в то же время отсутствует в романе Ханнахана (ведь в явном виде ее там нет) — подобно Люциферу (буква «Л», опущенная в заглавии). IX, X и XI главы (слезание с грузовика, причащение перед смертью, приготовления к казни) также имеют музыкальный подтекст (а именно «Klage Dr. Fausti»), но, так сказать, между прочим. Ибо, если проанализировать их как адиабатическую систему согласно Сади Карно, они оказываются Собором, который покоится на постоянной Боль-

* Все преходящее — только подобье (нем.).

** «Апокалипсис с фигурами» (лат.).

цмана, а в Соборе этом совершается Черная Месса. (Ритуалу говения соответствуют смутные воспоминания Меша в кузове грузовика; завершаются они матерщиной, сочное глоссандо которой венчает VIII главу.) Эти главы — самый настоящий Собор, поскольку межфразовые и межфразеологические пропорции образуют синтаксический скелет, эквивалентный *изображению* на мнимой плоскости — в проекции Монжа — собора Нотр-Дам со всеми его башенками, консолями, контрфорсами, с монументальным порталом, знаменитой готической Розой и т.д. и т.п. Таким образом, в «Гигамеше» заключено и богословие, вдохновленное архитектурой. В «Истолковании» (стр. 397 и след.) читатель найдет подробную проекцию Собора в том виде, в каком он содержится в тексте упомянутых глав, в масштабе 1:1000. Но если вместо стереометрической проекции Монжа применить неравноугольную проекцию с исходной дисторсией согласно матрице из I главы, то получим Дворец Цирцеи, а Черная Месса превратится в карикатуру на изложение августинианской доктрины (опять-таки иконоборчество: августинианство — во Дворце Цирцеи, зато в Соборе — Черная Месса). Итак, Собор или августинианство не просто механически вставлены в роман; они — звенья общего идейного замысла.

Уже этот скромный пример показывает, каким образом автор, благодаря своему ирландскому упорству, вогнал в один роман весь мир человека с его мифами, симфониями, храмами, физическими теориями и анналами всеобщей истории. Пример этот снова отсылает нас к заглавию, ибо (в данном контексте) «Гигамеш» — это «гигантская мешанина», что имеет необычайно глубокий смысл. Ведь Космос, согласно второму закону термодинамики, движется к финальному хаосу. Энтропия *должна* возрастать, и поэтому всякое бытие обречено на поражение. А значит, ГИГАНТская МЕШанина — не только то, что случилось с каким-то эксгангстером; Вселенная в целом — тоже Гигантская Мешанина (в просторечии беспорядок — «бардак», поэтому все бордели, о которых вспоминает Меш по дороге на виселицу, суть подобия Космоса). Одновременно совершается ГИГАНТская МЕССа — пресуществление Порядка в финальный Беспорядок. Отсюда сочетание Сади Карно с Собором, отсюда же — воплощение в Соборе постоянной Больцмана: Ханнахан *должен* был это сделать, поскольку именно хаос будет последним, Страшным судом! Миф о Гильгамеше, само собой, целиком воплощен в романе, но верность Ханна-

хана вавилонскому образцу — сущий пустяк по сравнению с безднами толкований, кишаших в каждом из 241 000 слов книги. Предательство, совершенное Н.Кидди (Энкиду) по отношению к Мешу — Гильгамешу, есть квинтэссенция и сплав всех предательств в истории человечества; Н.Кидди — это *также* Иуда, Дж.А.Дж.Меш — это *также* Спаситель, и т.д., и т.п.

Открыв книгу наудачу, на стр.131, строка 4 сверху, встречаем восклицание «Ба!», которое вырывается у Меша при виде пачки сигарет «Кэмел», предложенной ему шофером. В указателе к «Истолкованию» находим 27 различных «ба!», а нашему «ба» на стр.131 соответствует следующий ряд: Баал, Байя, Баобаб, Бахледа (можно было бы подумать, что Ханнахан *ошибся*, дав неверное написание имени этого польского альпиниста: Bahleда вместо Bachleда; но ничего подобного! Опущенное «с» отсылает, согласно уже известному нам принципу, к символу «с», которым Кантор обозначил трансфинитный континуум!), Бахомет, Бабелски (багдадские обелиски — типичный для автора неологизм), Бабель (Исаак), Авраам, Иаков, лестница, пожарные, мотопомпа, уличные беспорядки, хиппи, бадминтон, ракета, луна, горы, Берхтесгаден (поскольку в Баварии начал свою карьеру Гитлер, этот поклонник Черной Мессы XX века).

Так работает на всех высотах и широтах *одно* лишь словечко, обычное восклицание, казалось бы, совершенно невинное! Нечего и говорить о семантических лабиринтах, что ожидают нас на следующих этажах языковой постройке, какую являет собой «Гигамеш»! Теории преформизма борются там с теориями эпигенеза (гл. III, стр. 240 и след.); движениям рук палача, цепляющего веревку за крюк, синтаксически аккомпанирует теория Хойла — Милна о двух временных шкалах *скручивания в петлю* Спиральных Галактик; а воспоминания Меша о своих злодеяниях суть полный каталог грехопадений человека («Истолкование» показывает, как соотносятся с черными делами героя крестовые походы, империя Карла Мартелла, избиение альбигойцев, резня армян, сожжение Джордано Бруно, охота на ведьм, коллективные помешательства, самоистязания секты бичевников, моровые поветрия, гольбеиновские пляски смерти, ноев ковчег, Арканзас, — *ad calendas graecas, ad pauseam** и т.п.). Гинеколог, которого Меш пнул ногой в Цинциннати, звался Кросс Б.Андроидисс, то есть именем

* До греческих календ, до тошноты (лат.).

ему служил Крест (Cross), фамилией — сингломерат Человекообразности (Андроид, Антропос) и Улисса (Одиссей), а срединная буква — Б (В) означает тональность си бемоль, поскольку в этом фрагменте текста закодированы «Жалобы доктора Фауста».

Да: бездонная бездна этот роман; в любой его точке сойдется несчетное множество путей (не случайно топология запятых в VI главе есть аналог карты Рима!), и притом не каких попало — их разветвления гармонически сплетаются в единое целое (что Ханнахан доказывает методами топологической алгебры — см. «Истолкование», Математическое Приложение, стр. 811 и след.). Итак, все обещанное исполнилось. Остается лишь одно сомнение: сумел ли Патрик Ханнахан своим романом сравняться с великим предшественником или хватил через край, поставив под вопрос свое — но и Джойса! — место в царстве искусств. Ходят слухи, будто Ханнахану помогала группа компьютеров, которыми снабдил его концерн IBM. Если даже и так, не вижу тут ничего зазорного: композиторы сплошь и рядом пользуются компьютерами — почему же это непозволительно романистам? Кое-кто полагает, что созданные по этой методе книги доступны одним лишь цифровым машинам, поскольку человеческий ум не в силах объять такой океан фактов и связей между ними. Тогда попрошу вас ответить: а есть ли на свете человек, способный объять целиком «Поминки по Финнегану» или хотя бы «Улисса»? Подчеркиваю: не в плане буквального прочтения, но со всеми отсылками, ассоциациями, культурно-мифологическими соответствиями, со всеми без исключения системами парадигм и архетипов, на которых держатся эти романы и возрастают в славе. Уж верно, в одиночку всякий бы тут спасовал! Ведь никому не по силам даже прочесть всю грудку толкований и интерпретаций, уже написанных о прозе Джеймса Джойса! Так что спор о правомочности участия компьютеров в сочинении книг попросту беспредметен.

Зоилы утверждают, что Ханнахан изготовил величайший *логогриф* литературы, чудовищный семантический *ребус*, поистине адскую *шараду* или *головоломку*. Что запихивание миллиона или миллиарда всех этих отсылок в беллетристическое произведение, игра в этимологические, фразеологические, герменевтические хороводы, нагромождение все новых слоев значений, нескончаемых и коварных в своей антиномичности, — не литературное творчество, но фабрикация умственных развлечений для узкого круга хоббистов-

параноиков, для маньяков и коллекционеров, распаленных библиографическим собирательством. Что, словом, это крайнее извращение, патология культуры, а не свидетельство ее здорового развития.

Простите — но где проходит граница между многозначностью как признаком гениального синтеза и таким приращением значений и смыслов, которое становится чистой шизофренией культуры? Подозреваю, что антиханнахановская партия литературоведов просто опасается безработицы. Ведь Джойс, сочинив свои изумительные шарады, не снабдил их авторскими толкованиями, и каждый может продемонстрировать духовные бицепсы, редкую проницательность и даже интерпретаторскую гениальность, на свой лад толкуя «Улисса» и «Финнегана». Напротив, Ханнахан все сделал *сам*. Не удовольствовавшись созданием романа, он добавил к нему — вдвое больший — филологический аппарат. Вот в чем коренное различие, а вовсе не в том, что Джойс, дескать, все «выдумал сам», а Ханнахану ассистировали компьютеры, подключенные к Библиотеке Конгресса (23 миллиона томов). Так что я не вижу выхода из западни, в которую загнал нас этот ирландец своей убийственной скрупулезностью: либо «Гигамеш» есть сумма новой и новейшей литературы, либо ни ему, ни повествованию о Финнегане, вместе с джойсовской Одиссеей, нет входа на беллетристический Олимп.

Simon Merril
«SEXPLOSION»
(Walker and Company—New York)

«СЕКСОТРЯСЕНИЕ»

Если верить автору — а нам все чаще велят верить сочинителям научной фантастики! — нынешнее половодье секса в восьмидесятых годах обернется вселенским потопом. Но действие романа «Сексотрясение» начинается еще двадцатью годами позже — суровой зимой в засыпанном снегом Нью-Йорке. Не названный по имени старец, увязая в сугробах и натыкаясь на погребенные под снегом автомобили, добирается до вымершего небоскреба, достает из-за пазухи ключ, согретый крохами старческого тепла, отпирает железные ворота и спускается в подвальные этажи; его блуждания перемежаются картинами воспоминаний, — они-то и составляют роман.

Глухое подземелье, по стенам которого пробегает луч карманного фонаря, оказывается то ли музеем, то ли разделом экспозиции (или, вернее, секспозиции) могущественного концерна, свидетельством тех памятных лет, когда Америка еще раз завоевала Европу. Полуремесленная мануфактура европейцев столкнулась с неумолимой поступью конвейерного производства, и постиндустриальный научно-технический колосс быстро одержал победу. На поля боя остались три консорциума: «General Sexotics», «Cybordelics» и «Love Incorporated». Когда объем продукции этих гигантов достиг пика, секс из частного развлечения и групповой гимнастики, из хобби и кустарного коллекционирования превратился в философию цивилизации. Мак-Лю-

«Sexplosion», 1971

© Константин Душенко, перевод, 1988, 1995

эн, который дожил до тех времен вполне еще бодрым стариком, доказывал в своей «Генитократии», что таково именно и было предназначение человечества, вступившего на путь технического прогресса, что уже античные гребцы, прикованные к галерам, и лесорубы Севера с их пилами, и паровая машина Стефенсона с ее цилиндром и поршнем задали ритм, вид и смысл движений, из которых складывается событие как основное событие экзистенции человека. Безликий американский бизнес, усвоив премудрости любовных поз Запада и Востока, перековал оковы средневековья в пояса недобродетели, искусства и художества засадил за проектирование копуляторов, мегапенисов, вагинеток, сексариев и порноматов, пустил в ход стерилизованные конвейеры, с которых бесперебойно потекли садомобили, любисторы, домашние содомильники и общественные гоморроботы, а заодно основал научно-исследовательские институты, чтобы те начали борьбу за эмансипацию обоих полов от обязанности продолжения рода.

Отныне секс стал уже не модой, но верой, оргазм — неукоснительным долгом, а счетчики его интенсивности с красными стрелками заняли место телефонов на улицах и в конторах. Но кто же он, этот старец, бредущий подземными переходами из зала в зал? Юрисконсульт «General Sexotics»? Недаром вспоминает он о громких процессах, дошедших в свое время и до Верховного суда, о битве за право тиражирования — в виде манекенов — телесного подобия знаменитостей, начиная с Первой Леди США. «General Sexotics» выиграл (что обошлось ему в двадцать миллионов долларов); и вот дрожащий луч фонарика отражается в пластмассовых коробках, где покоятся кинозвезды первой величины и прекраснейшие дамы большого света, принцессы и королевы в великолепных туалетах — выставлять их в другом виде, согласно постановлению суда, запрещалось.

За какой-нибудь десяток лет синтетический секс прошел путь от простейших надувных моделей с ручным заводом до образцов с автоматической терморегуляцией и обратной связью. Их прототипы давно уже умерли или превратились в согбенных старух, но тефлон, нейлон, порнолон и сексонил устояли перед всемогущим временем, и, словно в музее восковых фигур, элегантные дамы, выхваченные фонариком из темноты, дарят обходящего подземелье старца застывшей улыбкой, сжимая в вытянутой руке кассету со своим сиреньим текстом (Верховный суд запретил вкладывать пленку в

манекен, но покупатель мог сделать это у себя дома, частным образом).

Медленные, неуверенные шаги одинокого старца вздымают клубы пыли, сквозь которую там, в глубине, розовеют сцены группового эроса — порой с тридцатью участниками, что-то вроде огромных слоеных пирогов или тесно переплетенных калачей. Уж не сам ли президент «General Sexotics» шествует подземными коридорами среди гомороботов и уютных содомильников? Или главный проектировщик концерна, тот, что генитализировал сперва Америку, а потом и остальной мир? Вот визуарии с их пультами, программами и свинцовой plombой цензуры, той самой, из-за которой стороны ломали копья на шести судебных процессах; вот груды контейнеров, готовых к отправке за море, набитых «японскими шариками», коробочками до- и послеласкательного крема и тому подобным товаром, вместе с инструкциями и техпаспортами.

То была эра демократии, наконец-то осуществленной: все могли всё — со всеми. Следуя советам своих штатных футурологов, консорциумы, вопреки антимонопольным законам, втайне поделили между собой мировой рынок и пошли по пути специализации. «General Sexotics» спешила уравнивать в правах норму и патологию; две другие фирмы сделали ставку на автоматизацию. Образцы мазохистских цепов, биялен и молотильников появились в продаже, дабы убедить публику, что о насыщении рынка не может быть и речи, потому что большой бизнес — по-настоящему большой — не просто удовлетворяет потребности, но создает их! Традиционные орудия домашнего блюда разделили судьбу неандертальских кремней и палок. Ученые коллегии разработали шести- и восьмилетние циклы обучения, затем программы высшей школы обеих эротик, изобрели нейросексатор, а за ним глушилки, давилки, особые изоляционные массы и звукопоглотители, чтобы страстные стоны из-за стены не нарушали покой и наслаждение соседей.

Но нужно было идти дальше, все вперед и вперед, решительно и неустанно, ведь стагнация — смерть производства. Уже разрабатывались модели Олимпа индивидуального пользования, и первые андроиды с обликом античных богов и богинь формировались из пластика в раскаленных добела мастерских «Cybordelics». Поговаривали и об ангелах, и даже выделен был резервный фонд на случай тяжбы с церковью. Оставалось решить кое-какие технические проблемы: из чего должны быть крылья; не будет ли оперение щекотать

в носу; делать ли модель движущейся, не помешает ли это; как быть с нимбом; какой выбрать для него выключатель и где его разместить и т.д. Тут-то и грянул гром.

Химическое соединение, известное под кодовым названием «антисекс», синтезировали давно, чуть ли не в семидесятые годы. Знал о нем лишь узкий круг специалистов. Этот препарат, который сразу же был признан тайным оружием, создали в лабораториях небольшой фирмы, связанной с Пентагоном. Его распыление в виде аэрозоля и в самом деле нанесло бы страшный удар по демографическому потенциалу противника; доли миллиграмма было достаточно, чтобы полностью устранить ощущения, сопутствующие соитию. Оно, правда, оставалось возможным, но лишь как разновидность физического труда — и довольно тяжелого, вроде стирки, выжимания или глажения. Подумывали о применении «антисекса» для приостановки демографического взрыва в «третьем мире», но эту затею сочли рискованной.

Как дошло до мировой катастрофы — неизвестно. В самом ли деле запасы «антисекса» взлетели на воздух из-за короткого замыкания и пожара цистерны с эфиром? Или пожар устроили промышленные конкуренты трех гигантов, поделивших мировой рынок? А может, тут была замешана какая-нибудь подрывная, ультраконсервативная или религиозная организация? Ответа мы уже не получим.

Устав от блужданий по бесконечным подземельям, старец усаживается на гладких коленях пластиковой Клеопатры (предусмотрительно нажав перед тем на ее тормоз) и в своих воспоминаниях приближается, словно к пропасти, к великому краху 1998 года. Потребители, все как один, с содроганием отвергли товары, наводнявшие рынок. То, что манило еще вчера, сегодня было как топор для измученного дровосека, как стиральная доска для прачки. Вечные, казалось бы, чары — биологическое заклятие людского рода — развеялось без следа. Отныне грудь напоминала лишь о том, что люди — существа млекопитающие, ноги — что человек способен к прямохождению, ягоды — что есть на чем сидеть. И все! Как же повезло Мак-Люэну, что он до этой катастрофы не дожил, он, неумоимо толковавший средневековый собор и космическую ракету, реактивный двигатель, турбину, мельницу, солонку, шляпу, теорию относительности, скобки математических уравнений, нули и восклицательные знаки как суррогаты и символы того единственного акта, в котором переживание бытия выступает в чистом виде.

Все переменялось в считанные часы. Человечеству грозило полное вымирание. Началось с экономического краха, рядом с которым кризис 1929 года показался детской забавой. Первой загорелась и погибла в огне редакция «Плейбоя»; оголодавшие сотрудники стриптизных заведений выбрасывались из окон; иллюстрированные журналы, киностудии, рекламные фирмы, институты красоты вылетели в трубу; затрещала по швам парфюмерно-косметическая, а за ней и бельевая промышленность; в 1999 году безработных в Америке насчитывалось 32 миллиона.

Что могло теперь привлечь покупателей? Грыжевой бандаж, синтетический горб, седой парик, трясущиеся фигуры в колясках для паралитиков — ведь только они не напоминали о сексуальном усилии, об этом кошмаре, этой каторге, только они гарантировали эротическую неприкосновенность, а значит, покой и отдохновение. Ибо правительства, осознав надвигающуюся опасность, объявили тотальную мобилизацию во имя спасения рода людского. С газетных страниц раздавались призывы к разуму и чувству долга, с телеэкрана служители всех вероисповеданий убеждали паству одуматься, ссылаясь на высшие, духовные идеалы, но публика равнодушно внимала этому хору авторитетов. Уговоры и проповеди, призывавшие человечество превозмочь себя, не действовали. Проку от них не было никакого; лишь японский народ, известный своей исключительной дисциплинованностью, стиснув зубы, последовал этим призывам. Власти испробовали материальные стимулы, награды и премии, почетные медали и ордена, объявили конкурсы на лучшего детороба, а когда и это не помогло, прибегли к репрессиям. Население целых провинций уклонялось от всеобщей детородной повинности, молодежь разбежалась по окрестным лесам, люди постарше предьявляли поддельные справки о бессилии, общественные контрольно-ревизионные комиссии разьедала язва взяточничества; каждый готов был следить, не пренебрегает ли сосед своими обязанностями, но сам отлынивал, как только мог, от каторжной сексуальной работы.

Теперь катастрофа — всего лишь воспоминание, проходящее перед мысленным взором старца, примостившегося на коленях Клеопатры. Человечество не погибло; оплодотворение совершается санитарно-стерильным и гигиеничным способом, почти как прививка. Эпоха тяжелых испытаний сменилась относительной стабилизацией.

Но культура не терпит пустоты, и зияющую пустоту,

возникшую в результате сексотрясения, заполнила гастрономия. Гастрономия делится на обычную и неприличную; существуют обжорные извращения и альбомы ресторанной порнографии, а принимать пищу в некоторых позах считается до крайности непристойным. Нельзя, например, вкушать фрукты, стоя на коленях (но именно за это борется секта извращенцев-коленипоклоненцев); шпинат и яичницу запрещается есть с задранными кверху ногами. Но процветают — а как же иначе! — подпольные ресторанички, в которых ценители и гурманы наслаждаются пикантными зрелищами; среди бела дня специально нанятые рекордсмены объедаются так, что у зрителей слюнки текут. Из Дании контрабандой привозят порнокулинарные книги, а в них живописуются такие поистине чудовищные вещи, как поедание яичницы через трубку, между тем как едок, вонзив пальцы в приправленный чесноком шпинат и одновременно обоня гуляш с красным перцем, лежит на столе, завернувшись в скатерть, а ноги его подвешены к кофеварке, заменяющей в этой оргии люстру. Премию «Фемини» получил в этом году роман о бесстыднике, который сперва натирал пол трюфельной пастой, а потом ее слизывал, предварительно вывалявшись досыта в спагетти. Идеал красоты изменился: всех красивее туша в десять пудов — признак завидной потенции едока. Изменилась и мода: по одежде женщину не отличишь от мужчины. А в парламентах наиболее передовых государств дебатировался вопрос о посвящении школьников в тайны акта пищеварения. Пока что эта зазорная тема находится под строжайшим запретом.

И наконец, биологи вплотную подошли к ликвидации пола — пережитка допотопной эпохи. Плод будут зачинать синтетически и выращивать методами генной инженерии. Из него разовьется бесполой индивид, и лишь тогда придет конец ужасным воспоминаниям, которые еще живы в памяти всех переживших сексотрясение. В ярко освещенных лабораториях, этих храмах прогресса, родится великолепный гермафродит, вернее, беспольник, и человечество, покончив с позорным прошлым, будет без всяких помех объедаться разнообразнейшими плодами — гастрономически запретными, разумеется.

Alfred Zeller mann
«GRUPPENFÜHRER LOUIS XVI»
(Suhrkamp Verlag)

«ГРУППЕНФЮРЕР ЛУИ XVI»

«Группенфюрер Луи XVI» — литературный дебют Альфреда Целлермана, известного историка литературы. Ему почти шестьдесят, он доктор антропологии, гитлеризм пережил в Германии, поселившись в деревне у родителей жены; будучи отстранен в то время от работы в университете, был пассивным наблюдателем жизни третьего рейха. Мы берем на себя смелость назвать рецензируемый роман произведением выдающимся, добавив при этом, что, пожалуй, только такой немец, с таким капиталом жизненного опыта — и такими теоретическими познаниями в области литературы! — мог его написать.

Несмотря на название, перед нами отнюдь не фантастическое произведение. Место действия романа — Аргентина первого десятилетия по окончании мировой войны. Пятидесятилетний группенфюрер Зигфрид Таудлиц бежит из разгромленного и оккупированного рейха, добирается до Южной Америки, прихватив с собой обитый стальными полосами сундук, заполненный стодолларовыми банкнотами, — малую толику сокровищ, накопленных печальной памяти академией СС («Ahnenerbe»). Сколотив вокруг себя группу других беглецов из Германии, а также разного рода бродяг и авантюристов, ангажировав для неизвестных пока целей нескольких девиц сомнительного поведения (некоторых Таудлиц лично выкупает из публичных домов Рио-де-Жанейро), бывший генерал СС организует экспедицию в

глубь аргентинской территории, блестяще подтвердив тем самым свои способности штабного офицера.

В районе, удаленном на сотни миль от ближайших цивилизованных мест, экспедиция находит руины, которым по меньшей мере двенадцать веков, — руины строений, возведенных, вероятно, ацтекскими племенами, и поселяется там. Прельщенные заработками, в это место, нареченное Таудлицем (по неизвестным пока причинам) Паризиией, собираются индейцы и метисы со всей округи. Бывший группенфюрер разбивает их на хорошо организованные рабочие команды, за которыми присматривают его вооруженные люди. Проходит несколько лет, и понемногу начинают вырисовываться контуры режима, о котором возмечтал Таудлиц. Он объединяет в своей особе стремление к крайнему абсолютизму с полусумасшедшей идеей воспроизведения — в сердце аргентинских джунглей! — французского государства времен блистательной монархии; себе же он отводит роль новоявленного Людовика XVI.

Хотелось бы сразу отметить, что мы не просто пересказываем содержание романа. Мы сознательно стараемся воссоздать некую хронологию событий, ибо так идея произведения и весь исходный замысел проявляются особенно ярко. Впрочем, мы постараемся в данной работе изложить также главные эпизоды действия, изображенного Альфредом Целлерманом в его эпосе.

Итак, возвращаемся к сюжету: возникает королевский двор с придворными, рыцарями, духовенством, челядью; дворец с часовней и бальными залами, окруженный зубчатыми крепостными стенами, в которые люди Таудлица преобразили почтенные ацтекские руины, перестроив их бессмысленным с точки зрения архитектуры образом. Опираясь на трех беззаветно преданных людей: Ганса Мерера, Йоганна Виланда и Эриха Палацки (они вскоре превращаются соответственно в кардинала Ришелье, герцога де Рогана и графа де Монбарона), новый Людовик ухитряется не только удерживаться на своем поддельном троне, но и формировать жизнь вокруг себя в соответствии с собственными замыслами. При этом — что весьма существенно — исторические познания экс-группенфюрера не просто фрагментарны и полны пробелов; он, собственно, вообще не обладает такими познаниями; его голова забита не столько обрывками истории Франции семнадцатого века, сколько хламом, оставшимся со времен детства, когда он зачитывался романами Дюма, начиная с «Трех мушкетеров». Позже, будучи юно-

шей с «монархическими» (по его собственному разумению, а в действительности лишь садистскими) наклонностями, он поглощал книги Карла Мая. А так как впоследствии на воспоминания о прочитанном наложилась куча низкопробных бульварных романов, он воплощает в жизнь не историю Франции, а лишь грубо примитивизированную, откровенно кретинскую галиматью, которая заменила ему эту историю и стала его символом веры.

Собственно, насколько можно судить по многочисленным деталям и упоминаниям, разбросанным по всему произведению, Таудлиц выбрал гитлеризм только по необходимости: в тогдашней ситуации он максимально ему подходил, наиболее соответствовал его «монархическим» мечтам. Гитлеризм в его глазах приближался к средневековью, правда, не совсем так, как ему хотелось бы. Во всяком случае, нацизм был ему милее любой формы демократического строя. Однако, тайно лелея и пестуя в третьем рейхе свой собственный «сон о короне», Таудлиц никогда магнетизму Гитлера не поддавался, в его доктрину так и не уверовал, а посему и не собирался оплакивать падение «Великой Германии». Просто, будучи достаточно прозорливым, чтобы вовремя предвидеть поражение «тысячелетней империи», Таудлиц, никогда не отождествлявший себя с элитой третьего рейха (хотя и принадлежавший к ней), подготовился к разгрому как полагается. Приверженность культу Гитлера не была самообманом; Таудлиц десять лет разыгрывал циничную комедию, потому что имел свой собственный «миф», который придавал ему иммунитет против мифа гитлеровского. Не секрет, что некоторые приверженцы «Майн кампф», принимавшие доктрину всерьез, позже отшатнулись от Гитлера, как это, например, случилось с Альбертом Шпеером. Таудлиц же, будучи человеком, который каждый день исповедовал предписанные на этот именно день взгляды, никакой ересью заразиться не мог.

Таудлиц до конца и без оговорок верит только в силу денег и насилия; знает, что с помощью материальных благ людей можно склонить к тому, что запланирует щедрый хозяин, лишь бы он сам был достаточно твердым и последовательным в соблюдении единожды установленных порядков. Таудлиц поставил свой фарс так, что любому непредубежденному зрителю с первого взгляда видна вся тупость, пошлость и безвкусица разыгрываемых сцен, но его абсолютно не интересует, принимают ли всерьез это представление его «придворные», эта пестрая толпа, состоящая из немцев, ин-

дейцев, метисов, португальцев. Ему безразлично, верят ли эти актеры в разумность двора Людовиков и в какой степени верят или только играют свои роли в комедии, рассчитывая на мзду, а может быть, и на то, что после смерти владыки удастся растащить «королевскую казну». Такого рода проблемы для Таудлица, по-видимому, не существуют.

Жизнь придворного сообщества отдает такой откровенной фальшью, что у наиболее прозорливых людей из прибывших в Паризию позже, а также у тех, кто собственными глазами видел становление псевдомонарха и псевдознати, не остается никаких иллюзий. Поэтому, особенно в первое время, королевство напоминает существо, шизофренически раздранное надвое: то, что болтают на дворцовых аудиенциях и балах, особенно вблизи Таудлица, никак не совпадает с тем, что говорят в отсутствие монарха и трех его наушников, сурово (даже пытками) проводящих в жизнь навязанную игру. А игра эта блистает великолепием отнюдь не фальшивым, потому что потоки караванов, оплачиваемых твердой валютой, позволяют за двадцать месяцев возвести дворцовые стены, украсить их фресками и гобеленами, покрыть паркет изумительными коврами, уставить покои зеркалами, золочеными часами, комодами, проделать тайные ходы и заложить тайники в стенах, оборудовать альковы, галереи, террасы, окружить замок огромным, великолепным парком, а затем — частоколом и рвом. Каждый немец здесь — надзиратель над индейцами-рабами (это их трудом и потом создано искусственное королевство), он одет, как рыцарь семнадцатого века, однако при этом носит за золоченым поясом армейский пистолет системы «парабеллум» — окончательный аргумент в спорах между феодализирующимся долларовым капиталом и трудом.

Монарх и его приближенные медленно, но систематически ликвидируют все, что может разоблачить фиктивность двора и королевства: прежде всего возникает специальный язык, на котором разрешено формулировать сведения, поступающие извне. Причем эти формулировки должны скрывать — иначе говоря, не называть — несuverенность монарха и трона. Например, Аргентину именуют не иначе как Испанией и рассматривают как соседнее государство. Понемногу все настолько вживаются в свои роли, привыкают так свободно чувствовать себя в роскошных одеяниях, так ловко пользоваться мечом и языком, что фальшь как бы уходит вглубь, в основы и корни этого здания, этой живой картины. Она по-прежнему остается бредом, но теперь уже

бредом, в котором пульсирует кровь подлинных желаний, ненависти, споров, соперничества, ибо на фальшивом дворе разворачиваются подлинные интриги — одни придворные пытаются одолеть других, чтобы занять их места подле короля; то есть сплетня, яд, донос, кинжал начинают свою скрытую, совершенно реальную деятельность. Однако монархического и феодального элемента во всем этом по-прежнему содержится ровно столько, сколько Таудлиц, этот новоявленный Людовик XVI, сумел втиснуть в свой сон об абсолютной власти, реализуемый ордой бывших эсэсовцев.

Таудлиц предполагает, что где-то в Германии живет его племянник, последний отпрыск рода — Бертран Гюльзенхирн, которому в момент поражения Германии было тринадцать лет. На поиски юноши (теперь ему двадцать один) Людовик XVI отправляет герцога де Рогана, то бишь Иоганна Виланда, единственного «интеллектуала» в свите: Виланд в свое время был эсэсовским врачом и в концлагере Маутхаузен проводил «научные работы». Сцена, в которой король дает врачу секретное поручение отыскать юношу и доставить его ко двору в качестве инфанта, одна из лучших в романе. Почти сумасшедший привкус ее состоит в том, что король сам себе не признается в обмане: он как будто озабочен своей бездетностью. Ему удастся удержать взятый тон. Правда, он не знает французского, но, пользуясь немецким, утверждает в нужных случаях (как и все следом за ним), что говорит именно по-французски, на языке Франции семнадцатого века.

Это не сумасшествие: теперь сумасшествием было бы признаться, что ты немец, пусть даже только по языку; Германии вообще не существует; единственным соседом Франции является Испания (то есть Аргентина)! Тот, кто отважится произнести что-либо по-немецки, дав при этом понять, что говорит именно на этом языке, рискует жизнью: из беседы архиепископа Паризи и дюка де Салиньяка можно понять (т.1, стр.311), что герцог Шартрез, обезглавленный по обвинению в государственной измене, всего-навсего по пьянке назвал дворец не просто борделем, но борделем немецким. Кстати, обилие в романе французских фамилий, живо напоминающих названия коньяков и вин — взять, к примеру, маркиза Шатонэф дю Папа, церемониймейстера! — несомненно, следствие того, что (хотя автор нигде об этом не говорит) в памяти Таудлица по вполне понятным причинам засело больше названий ликеров и водок, нежели фамилий французских дворян.

Обращаясь к своему посланцу, Таудлиц разговаривает с ним так, как, по его представлениям, обращался бы к доверенному лицу Людовик, отправляя его с подобной миссией. Он не приказывает скинуть фиктивные одежды герцога, но «рекомендует» переодеться англичанином либо голландцем, что попросту означает — принять нормальный современный вид. Слово «современный», однако, не может быть произнесено — оно принадлежит к разряду тех, что могут раскрыть фиктивность королевства. Даже доллары здесь всегда называют талерами.

Прихватив солидное количество наличных, Виланд едет в Рио, где действует торговый агент «двора»; достав добротные фальшивые документы, посланец Таудлица плывет в Европу. О перипетиях поисков племянника роман умалчивает. Мы узнаем только, что одиннадцатимесячные труды увенчиваются успехом, и роман, в сущности, начинается со второй уже беседы между Виландом и молодым Гюльзенхирном, который работает кельнером в ресторане крупного гамбургского отеля. Бертран (это имя ему будет разрешено сохранить: по мнению Таудлица, оно звучит хорошо) вначале слышит только о дяде-крезе, который готов усыновить его, и этого достаточно, чтобы он бросил работу и поехал с Виландом. Путешествие этой оригинальной пары, как интродукция романа, отлично выполняет свою задачу, поскольку речь идет о таком перемещении в пространстве, которое одновременно является как бы отступлением во времени: путешественники пересаживаются с трансконтинентального реактивного самолета в поезд, потом в автомобиль, из автомобиля в конный экипаж и, наконец, последние 230 километров преодолевают верхом.

По мере того как ветшает гардероб Бертрана, «исчезают» его запасные рубашки, и он облачается в архаичные одежды, предусмотрительно припасенные и при случае подсовываемые ему Виландом, причем сам Виланд постепенно преобразуется в герцога де Рогана. По мере того как Виланд, явившийся в Европу под именем Ганса Карла Мюллера, трансформируется в вооруженного псевдорыцаря герцога де Рогана, аналогичное превращение, по крайней мере внешнее, происходит и с Бертраном.

Бертран ошеломлен и ошарашен. Он ехал к дяде, о котором знал, что это хозяин огромных владений; он бросил профессию кельнера, чтобы унаследовать миллионы, а взамен ему приходится разыгрывать не то комедию, не то фарс, суть и цель которых он не в состоянии уразуметь. От поучений

Виланда — Мюллера — де Рогана сумбур в его голове только возрастает. Иногда ему кажется, что спутник просто смеется, приоткрывая перед ним фрагмент за фрагментом непонятной аферы, полный объем которой Бертран пока ни охватить, ни понять не может; придет час, когда юноша будет близок к сумасшествию. При этом поучения ни о чем не говорят «в лоб», не называют вещи своими именами; эта инстинктивная мудрость является общим свойством двора.

«Надо, — заявляет Мюллер, преображаясь в герцога, — придерживаться формы, соблюдения которой требует дядя («ваш дядюшка», потом «Его Светлость», наконец, «Его Величество!»), имя его Людовик, а не Зигфрид — последнее запрещено произносить. Он отверг его — и быть по сему». «Имение» превращается в «латифундию», а «латифундия» в «государство» — и так шаг за шагом в долгие дни верховой езды сквозь джунгли, а в последние часы в золоченом паланкине, который несут восемь нагих мускулистых метисов, Бертран видит из-за занавески колонну конных рыцарей в шишаках и убеждается в правильности слов загадочного спутника. Потом Бертран начинает подозревать в сумасшествии самого Мюллера и уповает уже только на встречу с дядей, которого, кстати, почти не помнит — последний раз он видел его, будучи девятилетним мальчонкой. Но встреча оборачивается изумительным, эффектным торжеством, неким конгломератом церемоний, обрядов и ритуалов, о которых Таудлиц начитался в детстве. Поет хор, играют серебряные фанфары, появляется король в короне, предваряемый лакеями, которые протяжно возглашают: «Король! Король!» — и распахивают перед ним резные двустворчатые двери. Таудлица окружают двенадцать «пэров королевства» (которых он по ошибке позаимствовал не там, где следовало), и, наконец, наступает возвышенная минута — Луи XVI осеняет племянника крестом, нарекает инфантом и дает облобызать перстень, руку и скипетр. Когда же они вдвоем усаживаются завтракать и их обслуживают выраженные в ливреи индейцы, Бертран, изумленно глядя на эту роскошь, на далекую полосу дивно зеленых джунглей, окружающих владения «короля», просто не решается спросить дядю о чем-либо и, выслушивая его мягкие поучения, начинает именовать дядю «Ваше Величество». «Так надо... того требуют высшие соображения... в этом заинтересованы и я и ты...» — милостиво объясняет ему группенфюрер СС в короне.

Разумеется, бывшие жандармы, лагерные надзиратели и врачи, водители и башенные стрелки бронетанковой дивизи-

зии СС «Великая Германия», изображающие придворных, герцогов и духовенство двора Людовика XVI, — это такая кошмарная, такая сумасшедшая смесь, в такой степени не соответствующая неписанным ролям, в какой это вообще возможно.

Необычность этой книги проистекает из того, что в ней сочетаются элементы, кажущиеся совершенно несоединимыми. Перед нами лживая истина и правдивая ложь — то есть нечто такое, что одновременно является и правдой и ложью. Если бы придворные Таудлица только разыгрывали бы свои роли, бубня наизусть тексты, — это был бы всего лишь мертвый кукольный спектакль; однако каждый из них настолько сжился с этим спектаклем, что даже когда после приезда Бертрана они начинают плести против Таудлица заговор, то все равно оказываются не в состоянии отойти от навязанной схемы. Их заговор выглядит психопатической мешаниной и напоминает торт с вареньем, макаронами и мышинными трупиками, фаршированными орешками.

Впрочем, если гитлеровским живодерам и тошно было натягивать на себя кардинальский пурпур, епископские одеяния и золоченые доспехи, то уж наверняка с меньшим удовольствием — ибо это было забавно — они переименовывали проституток, взятых из матросских борделей, в своих супруг — герцогинь, виконтесс и графинь-наложниц, если дело касалось духовенства короля Людовика. Купаясь в фальшивом величии, эти твари любовались и кичились собой, стремясь приблизиться к собственному идеалу блистательной персоны.

Страницы романа, где говорится о бывших палачах в кардинальских митрах и кружевных жабо, представляют собою изумительную по силе демонстрацию психологического мастерства автора. Эта голь ухитряется выжать из своего положения утехи, чуждые истинному аристократизму, и наслаждения, вдвойне усиленные оттенком облагороженного или даже узаконенного преступления. Известно, что преступник пожинает плоды зла с наивысшим удовольствием только тогда, когда творит зло с сознанием своей правоты; этих штатных спецов концлагерного садизма восхищает возможность повторить былые дела в ореоле и славе изысканного великолепия, как бы усиливающего гнусное действие; именно поэтому, творя мерзости, они уже по собственной воле стараются хотя бы на словах не выйти из епископской или герцогской роли. Самые тупые из них, например Мерер, завидуют герцогу де Рогану, который ухитряется объявить

измывательства над индейскими детьми «действом» со всех точек зрения «придворным», в высшей степени приличествующим дворянину (кстати, в полном соответствии с основной идеей они именуют индейцев неграми, потому что раб-негр «лучше соответствует стилю»).

Нам понятно, почему Виланд (герцог де Роган) домогается кардинальской митры; только кардинальского сана ему и недостает, чтобы иметь возможность заниматься своими вырожденческими «шалостями» — в качестве одного из наместников самого Господа Бога на земле. Правда, Таудлиц отказывает ему в посвящении, словно понимает, какая бездна мерзости стоит за мечтой Виланда. Таудлица в этой игре привлекает другое: он хочет забыть о своем эсэсовском прошлом — ведь у него был «иной сон, иной миф», он жаждет истинного королевского пурпура. Таудлиц ничуть не лучше Виланда, просто его занимает другое, ибо он стремится к трансфигурации пусть невозможной, но абсолютной. Отсюда «пуританство короля», которое так не нравится его ближайшему окружению.

Что до придворных, то мы видим, как вначале они по разным причинам стараются играть свою роль, а позже вдесятером принимаются плести сети заговора против монарха-группенфюрера, стремясь лишить его сундука, набитого долларами, а может, и убить — им так не хотелось расставаться с сенаторскими креслами, титулами, орденами, званиями. Безвыходный лабиринт. Ловушка. Порой они уже и сами верят в реальность своего немыслимого положения, поскольку немыслимость эта в высшей степени пришлась им по душе. Мешала же им лишь беспощадная жестокость Таудлица как монарха: не лезь из него ежеминутно группенфюрер СС, не давай он им — молча! — чувствовать, что все они зависят от него, от акта его воли и минутной милости, то, вероятно, дольше продержалась бы Франция Анжу на территории Аргентины. Актеры теперь ставили в вину режиссеру недостаточную достоверность спектакля; эта банда хотела быть более монархичной, чем допускал сам монарх...

Естественно, все ошибались, потому что не могли сравнить себя в этих ролях с истинной пышностью подлинного блистательного двора. Разумеется, этих тварей немного утомляют спектакли, которые они вынуждены разыгрывать, а уж труднее всех достается тем, кто призван изображать высшее духовенство римско-католической церкви.

Католиков в колонии нет, о какой-либо религиозности бывших эсэсовцев нечего и говорить; поэтому повелось, что

так называемые молебны в дворцовой часовне чрезвычайно коротки и сводятся к чтению нараспев библейских псалмов; кое-кто предлагал монарху вообще ликвидировать богослужение, но Таудлиц оказался неумолим; впрочем, оба кардинала, архиепископ Паризии и остальные епископы именно тем и «оправдывают» свои высокие титулы, что несколько минут в неделю посвящают богослужению — чудовищной пародии на мессу. Это дает им основание, прежде всего в собственных глазах, занимать высокие духовные посты; они проводят у алтарей считанные минуты, чтобы потом часами компенсировать их в попойках и под пышными балдахинами чужих супружеских кроватей. Сюда же относится и затея с кинопроекторным аппаратом, привезенным (без ведома короля!) из Монтевидео: в дворцовом подземелье показывают порнографические фильмы, причем функции киномеханика выполняет архиепископ Паризии (он же бывший шофер гестапо Ганс Шефферт), а помогает ему кардинал де Сотерне (экс-интендант); эпизод этот одновременно дьявольски комичен и достоверен, как все остальные элементы трагифарса, который и существовать-то может только потому, что ничто не в состоянии разрушить его изнутри.

У этих людей все со всем согласуется, все ко всему подходит, да это и неудивительно: достаточно показательны, например, воспоминания некоторых из них — разве комендант третьего блока Маутхаузена не владел «самой большой коллекцией канареек во всей Баварии», о которой он теперь с тоской вспоминает, и разве не пробовал он кормить своих пташек так, как советовал один капо, утверждавший, что канарейки лучше всего поют, если их кормят человеческим мясом? Итак, перед нами преступление, творимое на таком уровне неосознанности, что, по сути, следовало бы говорить о *невинных* бывших убийцах — если бы только критерий преступности человека основывался исключительно на самодиагнозе, на самостоятельном распознавании вины. Быть может, кардинал де Сотерне в некотором смысле знает, что настоящий кардинал ведет себя не так, как он; настоящий, конечно же, верит в Бога и, скорее всего, не насилует индейских детей, прислуживающих в стихарях во время мессы, но, поскольку в радиусе четырехсот миль наверняка нет ни одного другого кардинала, такого рода мысли отнюдь не досаждают де Сотерне.

Ложь, питаемая ложью, рождает поразительное многообразие форм. Гениальность Таудлица — если так можно ска-

зять — и состоит в том, что ему достало смелости и настойчивости захлопнуть созданную им систему.

Эта система, поразительно ушербная, функционирует исключительно благодаря своей замкнутости, поскольку любое проникновение реального мира было бы для нее смертельной угрозой. Именно такую угрозу представляет собою юный Бертран, который, однако, не находит в себе сил назвать вещи своими именами. Бертран боится принять то — самое простое — объяснение, которое все ставит с головы на ноги. Ординарная, тянущаяся годами, систематическая, насмехающаяся над здравым смыслом ложь? Нет, не может быть; уж скорее. — всеобщая паранойя либо какая-то непонятная таинственная игра на рациональной основе, имеющая реальные мотивы; все что угодно, только бы не чистая ложь, самоувлеченная, самолюбующаяся, самораздувшаяся.

И тогда Бертран капитулирует; позволяет вырядить себя в одежды наследника трона, выучить дворцовому этикету, то бишь тому рудиментарному набору поклонов, жестов, слов, который кажется ему поразительно знакомым, что неудивительно: ведь и он читал бульварные романы и псевдо-исторические повести, которые были источником вдохновения короля и его церемониймейстера. Но все же Бертран сопротивляется, хотя и не отдает себе отчета, насколько его инертность, безразличие, раздражающие не только придворных, но и короля, вскрывают его сопротивление такой ситуации — толкающей к тихому помешательству. Бертран не хочет захлебнуться во лжи, хотя сам не понимает, откуда исходит его сопротивление, и на его долю достаются насмешки, иронические замечания, величественно-кретинские выпады — особенно во время второго большого пиршества, когда король, разъяренный подтекстом внешне вялых речей Бертрана, речей, смысл которых поначалу скрыт и от самого юноши, начинает в припадке истинного гнева кидать в него кусками жаркого, причем часть пирующих одобряет разъяренного монарха — с поощрительным гоготом они бросают в бедолагу Бертрана жирными костями, хватая их с серебряных подносов; другие настороженно молчат, они думают, не пытается ли Таудлиц на свой излюбленный манер устроить присутствующим ловушку и не действует ли он в сговоре с инфантом?

Труднее всего здесь отобразить суть — то, что при всей тупости игры, при всей пошлости представления, которое, некогда начавшись «лишь бы как», обрело такую силу, что никак не желает кончаться, а не желает, потому что не мо-

жет, а не может, потому что иначе невольных актеров ожидает уже только абсолютное *ничто* (они уже не могут не быть епископами, герцогами, маркизами, поскольку для них нет возврата на роли шоферов гестапо, стражников крематория, комендантов концлагерей, — да и король, даже пожелай он того, не смог бы вновь превратиться в группенфюрера СС Таудлица), при всей, повторяем, банальности и чудовищной пошлости этого государства и двора в нем, однако, вибрирует единым чутким нервом та беспрестанная хитрость, та взаимная подозрительность, которая только и позволяет разыгрывать в фальшивых декорациях истинные битвы, устраивать подвохи, подкапываться под фаворитов трона, строчить доносы и молчком отхватывать для себя хозяйские милости; однако на деле не сами кардинальские митры, орденские ленты, кружева, жабо, латы есть цель этой кротовьей возни, интриг — в конце концов какой прок участникам сотен битв и вершителям тысяч убийств от внешних знаков фиктивной славы? Нет, именно сами эти подкопы, мошенничества, капканы, само *стремление* ошельмовать противников в глазах короля, заставить их сбросить фальшивые одежды становится величайшей всеобщей страстью...

Лавирование, поиск нужных ходов на дворцовом паркете, эта непрекращающаяся бескровная (исключение — подземелья дворца) битва и есть суть их бытия; для них полно смысла действо, достойное разве что безусых сопляков, — но не мужчин, знающих цвет крови... Меж тем несчастный Бертран уже не может оставаться один на один со своей невысказанной дилеммой; как тонущий хватается за соломинку, так и он ищет родственную душу, которой мог бы поверить сомнения, нарастающие в нем.

Бертран — еще одна заслуга автора! — понемногу превращается в Гамлета этого спятившего двора. Он инстинктивно чувствует себя здесь последним праведником («Гамлета» он не читал никогда), поэтому считает, что должен сойти с ума. Он не обвиняет всех в цинизме — для этого в нем слишком мало интеллектуальной отваги; Бертран, сам того не ведая, хочет лишь одного: говорить то, что постоянно жжет ему язык и просится на уста. Он уже понимает, что нормальному человеку это не пройдет безнаказанно. А вот если он спятит — о, тогда другое дело. И Бертран начинает симулировать сумасшествие, с холодным расчетом, словно шекспировский Гамлет; не как простак, наивный, немного истеричный, — нет, он пытается сойти с ума, искренне веря

в необходимость собственного помешательства! Только тогда он сможет произносить слова правды, которые его душат... Но герцогиня де Клико, старая проститутка из Рио, у которой слюнки текут при виде молодого человека, затаскивает его в постель и, обучая тонкостям любовной игры, которые она во времена негерцогского прошлого переняла у некой бордель-маман, сурово предостерегает его, чтобы он не говорил того, что может стоить ему жизни. Она-то отлично знает, что снисхождения к безответственности душевнобольного здесь не найдешь; по сути дела, как мы видим, старуха желает добра Бертрану. Однако беседа под одеялом, естественно, не может разрушить планов уже дошедшего до предела Бертрана. Либо он сойдет с ума, либо сбежит; если вскрыть подсознание бывших эсэсовцев, вероятно, оказалось бы, что память о реальном мире с его заочными приговорами, тюрьмами и трибуналами является той невидимой силой, которая заставляет их продолжать игру; но Бертран, у которого такого прошлого нет, продолжения не желает.

Меж тем упоминавшийся нами заговор переходит в фазу действия; уже не десять, а четырнадцать придворных, готовых на все, нашедших сообщника в начальнике дворцовой стражи, после полуночи врываются в королевскую опочивальню. И здесь в кульминационный момент — мина замедленного действия! — оказывается, что настоящие доллары давным-давно истрачены, под пресловутым «вторым дном сундука» остались одни фальшивые. Король отлично знал об этом. Выходит, не из-за чего копыа ломать, но мосты сожжены: заговорщики вынуждены убить короля, связанного и бессильно глядящего, как убийцы перетряхивают извлеченную из-под ложа «сокровищницу». Вначале они собирались его убить, чтобы избежать погони, не допустить расплаты, теперь же убивают из ненависти, за то, что он соблазнил их фальшивыми сокровищами.

Если б это не звучало так мерзко, я сказал бы, что сцена убийства написана изумительно; по совершенству рисунка виден мастер. Чтобы отыграть на старике, добить его помучительней, они, прежде чем удавить его шнурком, рычат и лают на языке гестаповских поваров и шоферов, — на том самом языке, что был проклят, обречен на вечное изгнание из королевства. И пока тело удушаемого еще бьется в конвульсиях на полу, убийцы, поостыв, *возвращаются* к придворному языку — помимо собственной воли — лишь потому, что у них уже нет иного выхода: доллары фальшивые, не с чем и незачем убежать. Таудлиц опутал их по рукам и

ногам и, хоть и мертвый, не выпустит никого из своего королевства. Им не остается ничего иного, как продолжать игру в соответствии с изречением: «Король умер — да здравствует король!» — и тут же над трупом они выбирают нового короля.

Следующая глава (Бертран, укрытый у своей «герцогини») значительно слабее. Но последняя глава, описывающая, как разезд конной аргентинской полиции добирается до дворцовых стен — это гигантская немая сцена, заключительная в романе, — представляет собою отличное его завершение. Разводной мост, полицейские в измятых мундирах с кольцами на ремнях, в широкополых шляпах, загнутых с одной стороны, а напротив них — стражи в полупанцирях и кольчугах, с алебардами, в изумлении глядящие одни на других, словно два времени, два мира, противоположно сошедшиеся вместе... по двум сторонам решетки, которая начинает медленно, тяжело, с адским скрежетом подниматься... Финал, достойный всего романа! Но своего Гамлета — Бертрана — автор, увы, потерял, не использовав больших возможностей, заложенных в этой фигуре. Я не говорю, что его следовало умертвить — в этом Шекспир не может быть непререкаемым образцом, — но жаль утерянной возможности показать не осознающее себя величие, которое спит в каждом нормальном, доброжелательном к миру человеческом сердце. Очень жаль.

«RIEN DU TOUT, OU LA CONSÉQUENCE»
par Solange Marriot
(Ed. du Midi)

«НИЧТО, ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ»

«Ничто, или Последовательность» — не только первая книга мадам Соланж Маррио, но и первый роман, достигший пределов писательских возможностей. Его не назовешь шедевром искусства; если уж это необходимо, я бы сказал, что он — воплощение честности. А именно потребность в честности — червь, разъедающий всю современную литературу. Поскольку больше всего мучений причиняет ей стыд от невозможности быть одновременно писателем и подлинным человеком, то есть серьезным и честным. Ведь проникновение в сущность литературы доставляет страдания, схожие с теми, что испытывает впечатлительный ребенок, которого просветили в вопросах пола. Шок ребенка — это внутренний протест против генитальной биологии наших тел, которая кажется предосудительной с точки зрения хорошего тона, а стыд и шок писателя — осознание того, что он неизбежно лжет, когда пишет. Есть ложь необходимая, например, нравственно оправданная (так доктор лжет смертельно больному), но писательская ложь сюда не относится. Кто-то должен быть доктором, стало быть, должен как доктор лгать; но ничто не заставляет водить пером по бумаге. В прежние времена такого противоречия не существовало, потому что не существовало свободы; литература в эпоху веры не лжет, она только служит. Ее освобождение от такого, то есть обязательного, служения положило начало кризису, который сегодня принимает формы жалкие, если не исходно непристойные.

«Rien du tout, ou la conséquence», 1971
© В.Кулагина-Ярцева, перевод, 1995

Жалкие — поскольку роман, описывающий собственное возникновение, есть полуисповедь, полубахвальство. Немного — и даже немало! — лжи в нем остается: чувствуя это, писатели, чем дальше, тем больше, в ущерб фабуле, писали о том, как пишется, и, пользуясь этим методом, докатились до произведений, провозглашающих невозможность повествования. Таким образом, роман сразу приглашает нас в свою гардеробную. Подобные приглашения всегда двузначны — если это предложение пристойно, тогда оно просто кокетливо; но строить глазки или лгать — это что в лоб, что по лбу.

Антироман пытался стать более радикальным; он решил подчеркнуть, что не является иллюзией чего бы то ни было: «автороман» напоминал фокусника, демонстрирующего публичке изнанку своих трюков; антироман же должен был ничего не изображать — даже саморазоблачения волшебства. Он обещал ничего не сообщать, ни о чем не уведомлять, ничего не означать, только быть, как облако, табурет, дерево. В теории это превосходно. Но теория не оправдала надежд, ведь не каждый может вдруг стать Господом Богом, создателем независимых миров, и уж наверняка им не может стать литератор. Поражение предопределено проблемой контекстов: от них, то есть от того, что вообще *не сказано*, зависит смысл того, что мы говорим. В мире Господа Бога никаких контекстов нет, стало быть, его мог бы с успехом заменить лишь мир в равной мере самодостаточный. Хоть на уши встань — в языке этого никогда не получится.

Что же оставалось литературе после того, как она неотвратимо осознала собственную неблагопристойность? «Автороман» — это немного стриптиз; антироман *de facto* является, увы, формой самокастрации. Как скопцы, чья нравственность оскорблена их принадлежностью к полу, проделывают над собой кошмарные операции, так антироман кромсал бедное тело традиционной литературы. Что оставалось еще? Ничего, кроме шашней с небытием. Ведь тот, кто лжет (а, как мы знаем, писатель должен лгать) *о ничём*, вряд ли может считаться лжецом.

В таком случае нужно было — и именно в этом прелесть последовательности — написать *ничто*. Но имеет ли смысл подобная задача? Написать *ничто* — отнюдь не то же самое, что *ничего* не написать. Следовательно?..

Ролан Барт, автор эссе «Le degré zéro de l'écriture»*, да-

* «Нулевая степень письма» (фр.)

же не подозревал об этом (но он мыслитель скорее блестящий, чем глубокий). Он не понял, стало быть, что литература всегда паразитирует на разуме читателя. Любовь, дерево, парк, вздохи, боль в ухе — читатель понимает это, потому что испытывал сам. С помощью книги можно в голове читателя попереставлять всю мебель, при условии, что хоть какая-то мебель до начала чтения в ней находилась.

Ни на чем не паразитирует тот, кто производит реальные действия: техник, доктор, строитель, портной, судомойка. Что по сравнению с ними производит писатель? Видимость. Разве это серьезное занятие? Антироману хотелось взять за образец математику: она ведь тоже не создает ничего реального! Верно, но математика не лжет, поскольку делает только то, что должна. Она действует под давлением необходимости, не выдуманной от нечего делать: метод ей задан; поэтому открытия математиков истинны, и поэтому столь же истинно их потрясение, когда метод приводит их к противоречиям. Писатель, поскольку его не понуждает такая необходимость — поскольку он так свободен, — всего лишь заключает с читателем свои тайные соглашения; он уговаривает читателя предположить... поверить... принять за чистую монету... но все это игра, а не та чудесная несвобода, в которой произрастает математика. Полная свобода оборачивается полным параличом литературы.

О чем у нас шла речь? Разумеется, о романе мадам Соланж. Начнем с того, что это прекрасное имя можно понимать по-разному, в зависимости от того, в какой контекст оно вводится. Во французском — это может быть Солнце и Ангел (Sol, Ange). В немецком это будет всего лишь определение временного промежутка (so lange — так долго). Полная автономность языка — вздор, которому гуманитарии поверили по наивности, на какую уже не имели права неразумные кибернетики. Машины для адекватного перевода — как бы не так! Ни слова, ни целые фразы не обладают значением сами по себе, в собственных окопах и границах; Борхес подошел к пониманию этого положения вещей, когда в рассказе «Пьер Менар, автор «Дон-Кихота» описал фанатика литературы, безумного Менара, который после духовной подготовки сумел *еще раз* написать «Дон-Кихота», слово в слово, не списывая у Сервантеса, а неким образом идеально вращая в его творческую ситуацию. Новелла прикасается к тайне вот в этом фрагменте: «Сравнивать «Дон-Кихота» Менара и «Дон-Кихота» Сервантеса — это подлин-

ное откровение! Сервантес, к примеру, писал («Дон-Кихот», часть первая, глава девятая):

«...Истина — мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

Сформулированный в семнадцатом веке, написанный талантом-самоучкой Сервантесом, этот перечень — чисто риторическое восхваление истории. Менар же пишет:

«...Истина, мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему».

История — «мать» истины; поразительная мысль! Менар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая правда для него не то, что произошло, а то, что, как мы полагаем, произошло.

Заключительные слова — «пример и поучение настоящему, предостережение будущему» — откровенно прагматичны.

Это нечто большее, чем литературная шутка и насмешка; это чистая правда, которую нисколько не подрывает абсурдность самой идеи («написать «Дон-Кихота» *еще раз!*»). Поскольку на самом деле каждую фразу наполняет смыслом контекст эпохи, и то, что было «невинной риторикой» в семнадцатом веке, действительно приобретает *циничный* смысл в нашем столетии. Фразы не имеют значения *сами по себе*, это не Борхес пошутил подобным образом; языковые значения формирует исторический момент, такова неотвратимая реальность.

Теперь литература. О чем бы она нам ни поведала, все окажется ложью, а отнюдь не правдой в буквальном смысле; фаустовского дьявола не существует точно так же, как и бальзаковского Вотрена; говоря чистую правду, литература перестает быть собой, она становится дневником, репортажем, доносом, записной книжкой, письмом, только не художественной литературой.

И вот в такой момент появляется мадам Соланж со своим «Rien du tout, ou la conséquence». Что за название? Ничто или последовательность? Чья? Разумеется, литературы; для нее быть честной, то есть не лгать, означает то же, что не существовать. Только об этом еще можно сегодня написать честную книгу. Стыдиться бесчестности, чего хватало вчера, недостаточно; сейчас мы понимаем: это обычное притворство, уловка опытной стриптизерки, которая хорошо знает,

что напускная скромность, фальшивый румянец, смущение гимназистки, стягивающей с себя трусики, сильнее возбуждают зрителей!

Итак, тема определена. Но как теперь писать о ничём? Нужно, да невозможно. Сказать «ничто»? Повторить это слово тысячу раз? Или, может быть, начать со слов: «Он не родился, значит, и не получил имени; поэтому он и на уроках не подсказывал, а позднее не вмешивался в политику»? Такое творение могло бы появиться. Но это — искусственность, а не произведение искусства, оно оказалось бы сродни многочисленным книгам, написанным во втором лице единственного числа; каждую из них можно было бы без труда лишить ее «оригинальности» и заставить вернуться на надлежащее место. Стоит лишь снова поменять второе лицо на первое: это и не повредит книге, и ни в чем ее не изменит. Так же и в нашем воображаемом примере: уберите все отрицания, все надоедливые «не», псевдонигилистической сыпью испестрившие текст, тот текст, который мы тут придумали от нечего делать, и станет ясно, что это еще одна история о маркизе, которая вышла из дома ровно в пять. Сказать, что она не вышла, — вот так откровение!

Мадам Соланж на эту удочку не попалась. Она поняла (и должна была понять!), что хотя с помощью событий случившихся можно описать некую историю (скажем, любовный роман) не хуже, чем с помощью случившихся, но прием с «не» — всего-навсего уловка. Вместо позитивов получим негативы — и только. Природа нововведения должна быть онтологической, а не только грамматической.

Говоря «не получил имени, потому что не родился», мы движемся уже за пределами бытия, но в той тоненькой пленке несуществования, которая тесно прилегает к реальности. Не родился, хотя мог родиться, не подсказывал, хотя мог подсказывать. Все мог бы, если бы существовал. Все произведение будет построено на «если бы». Из этого каши не сварить. Негоже так маневрировать между бытием и небытием. Поэтому следовало, оставив этот пласт примитивных отрицаний, или негативов действия, погрузиться в ничто — очень глубоко, но, разумеется, не ринуться вслепую; *уразать* небытие все сильнее — это большой труд, огромные усилия; и вот оно, спасение для искусства, ведь речь идет о целой экспедиции в бездну все более абсолютного, все более огромного Ничто, стало быть, о *процессе*, драматические перипетии которого можно описать — если получится!

Первая фраза «Rien du tout, ou la conséquence» звучит

так: «Поезд не пришел», в следующем абзаце мы находим: «Он не приехал». Итак, мы сталкиваемся с отрицанием, но чего именно? С точки зрения логики это полное отрицание, поскольку в тексте не утверждается ничего бытийного, речь идет только о том, что *не* случилось.

Однако читатель — существо менее совершенное, чем идеальный логик. Хотя в тексте нет об этом ни слова, в воображении читателя невольно возникает сцена на каком-то вокзале, сцена ожидания кого-то, кто не приехал, а поскольку известен пол писателя (писательницы), ожидание неприехавшего сразу наполняется слабым предчувствием любовной истории. Что из этого следует? Все! Поскольку вся ответственность за эти догадки падает, с самых первых слов, на читателя: роман ни единым словом не подтверждает этих ожиданий; роман честен в методе и таковым останется; я уже сталкивался с мнением, что местами он просто порнографичен. Так вот, в нем нет ни слова в пользу секса в каком бы то ни было виде; кроме того, ясно говорится, что в доме нет ни Камасутры, ни чьих-либо детородных органов (которые как раз отрицаются очень обстоятельно!).

Несуществование уже известно нам по литературе, но лишь как некое Отсутствие-Чего-то-Для-Кого-то. Например — воды для жаждущего. Это же относится к голоду (включая эротический), одиночеству (как отсутствию других) etc. Удивительно прекрасное небытие Поля Валери — это завораживающее отсутствие бытия для поэта; из подобного небытия возникло не одно поэтическое произведение. Но во всех случаях речь идет только о Небытии-Для-Кого-то, то есть о частном небытии, ощущаемом индивидуально, следовательно, партикулярном, воображаемом, а не онтологическом (когда я, мучимый жаждой, не могу выпить воды, это ведь не означает, что воды вовсе не существует!). Такое небытие, необъективное, не может быть темой произведения радикального характера; мадам Соланж поняла и это.

В первой главе, после неприбытия поезда и непоявления Кого-то, повествование продолжается в безличной форме, причем выясняется, что нет ни весны, ни лета, ни зимы. Читатель решает, что стоит осень, но опять же только потому, что этот последний вариант не подвергся отрицанию (еще подвергнется, но позже!). Итак, читатель по-прежнему предоставлен исключительно самому себе, все это вопрос его собственных построений, догадок, гипотез *ad hoc*. В романе нет их и следа. Размышления о нелюбимой в безгравитационном пространстве (т.е. таком, где нет тяготения), заклю-

чающие первую главу, действительно могут показаться непристойными, — но снова лишь тому, кто сам, на свой страх и риск *подумает о каких-то вещах*. В произведении же говорится только о том, каких поз не могла бы принять такая нелюбимая, а не о том, какие могла. Эта вторая часть, предполагаемая, вновь представляет собой личную собственность читателя, его частное приобретение (или потерю, как кому хочется). В романе даже подчеркнуто, что рядом с нелюбимой *нет* ни одной особи мужского пола. В первых абзацах следующей главы сразу же выясняется, что эта нелюбимая нелюбима просто потому, что *не существует*, — вполне логично, не правда ли?

Потом начинается драма сокращения пространства, включая и пространство фаллически-вагинальное, что так не понравилось некоему критику, члену Академии. Академик счел эту драму «анатомической тягомотиной, если не вульгарностью». Счел, заметим, на свой страх и риск, поскольку в тексте мы видим лишь дальнейшие постепенные отрицания все более обобщенного характера. Если *отсутствие* вагины может оскорбить чью-то нравственность, то мы и вправду слишком далеко зашли. Как может показаться безвкусным и пошлым то, *чего нет*?!

Потом пропасть небытия начинает опасно разрастаться. Середина книги — с четвертой по шестую главы — это сознание. Да, его поток, но, как мы начинаем понимать, это не поток сознания ничего: это старо, уже было. Это поток *несознания*. Синтаксис еще остается нетронутым, непреодоленным и дает нам путь над пропастью, подобно опасно прогибающемуся мосту. Что за бездна! Но — полагаем мы — даже сознание без мысли все же сознание, ведь верно? Поскольку безмысленность имеет границы... но это иллюзия: ограничения создает сам читатель! Текст не мыслит, не дает нам ничего, напротив, раз за разом отнимает то, что было еще нашей собственностью, и эмоции при чтении являются результатом беспощадности этого отбирания: *horror vacui** поражает нас и в то же время искушает; чтение оказывается не только и не столько ликвидацией изолгавшегося романного бытия, сколько формой уничтожения самого читателя как психического существа! И такую книгу написала женщина? Трудно поверить, если принять во внимание неумолимую логику повествования.

Читая последнюю часть романа, испытываешь сомнения:

* Ужас пустоты (лат.).

сможет ли он продолжаться далее: ведь так давно он повествует о ни-о-чем! Дальнейшее продвижение к центру несуществования кажется невозможным. Но нет! Опять западня, опять взрыв, а скорее, прорыв очередного небытия. Рассказчика, как мы знаем, нет; его заменяет язык, то, что само говорит как вымышленное «оно» (то самое «оно», которое «гремит» либо «светает»). В предпоследней главе, чувствуя головокружение, мы понимаем, что достигнут абсолют отрицательного. Вопрос неприезда какого-то мужчины на каком-то поезде, несуществование времен года, погоды, стен дома, квартиры, лиц, глаз, воздуха, тел — все это осталось далеко позади, на поверхности, которая, поглощенная своим последующим развитием, этой раковой опухолью алчущего Ничто, перестала существовать даже как отрицание. Мы видим, как глупо, наивно, просто смешно было рассчитывать на то, что нам здесь что-либо расскажут о событиях, что здесь что-нибудь случится!

Следовательно, это редукция до нуля только вначале; затем, полосами отрицательной трансценденции, опускающаяся в глубины, это редукция различных форм бытия — также трансцендентных, поскольку никакая метафизика уже невозможна, а неантичное* ядро еще перед нами. Итак, пустота окружает повествование со всех сторон; и вот ее первые вкрапления, вторжения в сам язык. Повествующий голос начинает сомневаться в себе — нет, не так, — «то, что само себя рассказывало», проваливается и пропадает куда-то; становится понятно, что его уже нет. Если оно где еще и существует, то как тень, являющаяся чистым отсутствием света, а фразы романа представляют собой отсутствие существования. Это не отсутствие воды в пустыне, возлюбленного для девушки, это *отсутствие себя*. Если бы это был классический, традиционный роман, нам было бы легко рассказать, что происходит: герой романа начал бы подозревать, что сам по себе не существует ни наяву, ни во сне, а *является и снится* кому-то путем скрытых интенциональных действий (как будто он был тем, кто кому-то снится и только благодаря спящему может временно существовать. Отсюда испытываемый им ужас, что эти действия прекратятся, — а они могут прекратиться в любую минуту, — после чего он тут же исчезнет!).

Так бы все и происходило в обычном романе, но не у мадам Соланж: рассказчик ничего не может испугаться, по-

* От le néant — ничто, небытие (фр.)

тому что его не существует. Что же в таком случае происходит? Язык сам начинает подозревать, а затем понимать, что никого, кроме него, нет, что, имея значение (если он имеет) для любого, для всех, он поэтому не является, никогда не был и не мог быть выражением личности; отрезанный сразу от всех уст, как исторгнутый всеми солитер, как прелюбодейный паразит, пожравший своих хозяев, убивший их так давно, что всякое воспоминание об этом преступлении, совершенном бессознательно, угасло и стерлось, язык, как оболочка воздушного шара, упругая и крепкая, из которой незаметно все быстрее выходит воздух, начинает съеживаться. Это затмение речи не является, однако, бредом, это и не страх (снова пугается *только* читатель, он, как бы рег рогсига, переживает эти совершенно деперсонализированные мучения); еще на несколько страниц, еще на несколько минут хватает механизмов грамматики, жерновов существительных, шестерней синтаксиса, мелющих все медленнее, но до конца точно... небытие, которое разъедает их насквозь... — и так все заканчивается, вполфразы, вполслова... Этот роман не кончается, он прекращается. Язык, вначале, на первых страницах, простодушно верящий в свою независимость, теперь подточенный тайной изменой, нет, скорее — познающий правду о своем внешнем, незаконном происхождении, о своих позорных злоупотреблениях (ибо это Судный день литературы), язык, сознающий, что являет собой вид инцеста, кровосмесительной связи небытия с бытием, — сам от себя самоубийственно отрекается.

И такую книгу написала женщина? Невероятно. Ее должен был написать какой-нибудь математик, и то лишь такой, который своею математикой проверил — и проклял — литературу.

Joachim Fersengeld
«PERYCALYPSIS»
(Editions de minuit—Paris)

«ПЕРИКАЛИПСИС»

Иоахим Ферзенгельд — немец; «Перикалипсис» он написал по-голландски (почти не зная этого языка, как сам признает в предисловии), а издал во Франции, известной своими скверными корректурами. Пишущий эти строки тоже вообще-то не знает голландского, но, ознакомившись с названием книги, английским предисловием и немногими понятными выражениями в тексте, решил, что в рецензенты все же годится.

Иоахим Ферзенгельд не желает быть интеллектуалом в эпоху, когда им может быть каждый. Он также не стремится прослыть литератором; настоящее творчество возможно лишь там, где имеется сопротивление материала или людей, которым оно адресовано. Но так как по смерти религиозных и цензурных запретов говорить можно все, то бишь всякую всячину, а по исчезновении внимательных, чутких к слову читателей можно верещать что попало кому попало, литература вместе со всею своей гуманитарной родней есть труп, прогрессирующее разложение которого упорно скрывается близкими. Значит, нужно искать новые области творчества, в которых отыщется сопротивление, гарантирующее угрозу и риск — а тем самым серьезность и ответственность.

Такой областью и такой деятельностью может быть ныне только пророчество. Но так как оно заведомо невозможно, пророк, то есть тот, кто знает заранее, что не будет ни выслушан, ни узнан, ни признан, априори должен примирить-

«Percalypsis», 1971

© Константин Душенко, перевод, 1995

ся со своей немотой. А нем не только тот, кто молчит, но и тот, кто, будучи немцем, обращается по-голландски к французам после английских предисловий. Поэтому Ферзенгельд поступает согласно собственным принципам. Наша могущественная цивилизация, говорит он, стремится производить возможно менее долговечные продукты в возможно более долговечной упаковке. Недолговечный продукт приходится заменять новым, что облегчает сбыт; а долговечность упаковки затрудняет ее устранение, что способствует развитию техники и организации. Поэтому с потребительской серийной халтурой покупателя кое-как управляются поодиночке, а для устранения упаковки необходимы особые антизагрязнительные программы, ассенизационная и очистная индустрия, координация и планирование. Раньше можно было рассчитывать, что напластование мусора удержится на приемлемом уровне благодаря природным стихиям, как-то: ливням, бурям, половодьям и землетрясениям. Теперь же то, что некогда смывало и размывало мусор, само стало экскрементом цивилизации: реки нас травят, воздух выжигает легкие и глаза, ветер сыплет нам голову промышленным пеплом, а с пластиковой упаковкой, по причине ее эластичности, даже землетрясения сладить не в силах. Так что обычный наш пейзаж — хламогорье, а природные заповедники — лишь редкое исключение из него. На фоне пейзажа из упаковки, которую слущили с себя продукты, снуют оживленные толпы, занятые потреблением всего распакованного, а также последнего натурального продукта, каким еще остается секс. Но и он снабжен уймой оберток и фантиков, ведь что такое платья, зрелища, розы, помада, как не рекламная упаковка? Цивилизация достойна восхищения лишь в отдельных своих фрагментах, подобно тому, как достойна восхищения безукоризненность сердца, печени, почек, легких: бесперебойная работа этих органов вполне осмысленна, пусть даже деятельность тела, состоящего из столь совершенных частей, начисто лишена смысла — если это тело безумца.

То же самое, вещает пророк, наблюдается в сфере духовных благ: чудовищная машина цивилизации, разогнавшись, стала автодояркой муз — и теперь распирает библиотеки, затапливает книжные магазины и газетные киоски, переполняет телеэкраны, громоздясь избытком, одна лишь нумерическая мощь которого означает немалый убыток. Если по Сахаре разбросаны сорок песчинок, от отыскания которых зависит спасение мира, то мы не

найдем их точно так же, как четыре десятка спасительных книг, давно написанных, но потонувших в гряде макулатуры. А они ведь наверняка написаны — порукой тому статистика работы духа, изложенная по-голландски — на математический лад — Иоахимом Ферзенгельдом (что рецензент принимает на веру, не зная ни голландского, ни математического языка). Итак, прежде чем наши души питаются этими откровениями, они подавятся хламом, которого в четыре миллиарда раз больше, — а впрочем, уже подавились. Предреченное пророчеством уже сбылось, только осталось незамеченным во всеобщей спешке. Выходит, это не пророчество, а ретророчество, потому-то и зовется оно Перикалипсис, а не Апокалипсис. Его пришествие возвещают Знамения: утомление, опошление и отупение духа, а также акселерация, инфляция и мастурбация. Духовная мастурбация — это удовлетворение *обещаниями* вместо их исполнения: сперва нас до истощения онанизировала реклама (выродившаяся форма Откровения, которая только и по плечу Товарной Мысли — в отличие от Персональной), а потом рукоблудие — как творческий метод — охватило все остальные искусства. И все потому, что во всеспасающую силу Товара нельзя уверовать так же истово, как в силу Господа Бога.

Умеренный рост числа дарований; их неспешное, в согласии с природой, созревание; тщательный уход за ними; естественный отбор в кругу благосклонных и тонких ценителей — вот приметы былого, которого уже не вернуть. Силу воздействия сохраняет лишь один раздражитель — мощный рев; но так как все больше народу ревет, используя все более мощные усилители, то раньше полопаются перепонки, чем что-то постигнет дух. Имена гениев прошлого, все чаще призываемые всуе, обратились в пустой звук; итак: «Мене, Текел, Упарсин», — если только мы не послушаемся Иоахи-ма Ферзенгельда и не учредим Humanity Salvation Foundation, Фонд Спасения человечества, с капиталом в шестнадцать миллиардов золотом и доходом в четыре процента годовых. Из этих средств следует оплачивать всех творцов: изобретателей, ученых, инженеров, художников, прозаиков, поэтов, драматургов, философов и проектировщиков — по следующей системе. Тот, кто *ничего* не пишет, не проектирует, не рисует, не патентует, не предлагает, получает пожизненную стипендию в размере 36 000 долларов в год. Тот же, кто *делает* что-либо из вышеизложенного, получает соответственно *меньше*.

В «Перикалипсисе» дана полная таблица вычетов за любые формы творчества. Сотворивший одно изобретение или две книги в год не получает ни гроша; за третью книгу он уже должен приплачивать. В таких условиях лишь истинный альтруист, аскет духа, любящий ближних, а себя ни на столечко, решится творить что бы то ни было. Наконец-то прекратится изготовление продажного мусора, о чем Иоахим Ферзенгельд знает не понаслышке: ведь «Перикалипсис» издан им за собственный счет (и в убыток!). Так что абсолютная нерентабельность не означает ликвидации всякого творчества.

Эгоизм, однако, выражается не только в почитании маммоны, но и в жажде славы; дабы наглухо закупорить ее, Программа Спасения предусматривает полную анонимность творцов. Чтобы воспрепятствовать наплыву бесталанных кандидатов в стипендиаты, Фонд при помощи надлежащих органов будет аттестовывать их. При этом научная или художественная ценность предлагаемых ими идей ни малейшего значения не имеет. Важно лишь, обладает ли данный проект товарной ценностью, то есть годится ли он на продажу. Если да — стипендия предоставляется незамедлительно. За подпольные искусства предусмотрены наказания и взыскания, налагаемые судебным порядком, под контролем Спасательного Надзора; вводится также новая форма полиции — Слепансы (Следственные Патрули Антитворительной Службы). По новому уголовному кодексу нелегальное сочинение, распространение, хранение и даже изъяснение жестами какого-либо продукта творчества с целью извлечения барыша или славы карается изоляцией от общества, принудительными работами, а в случае рецидива — темницей со строгим режимом, твердым ложем и поркой в каждую годовщину правонарушения. За контрабандное распространение в обществе идей, пагубное влияние которых сравнимо с автомобильной, кинематографической, телевизионной и прочей заразой, грозят суровые наказания вплоть до исключительной меры, с выставлением к позорному столбу и пожизненным принудительным употреблением собственного изобретения. Наказуемы также покушения на подобные деяния, а в случае заранее обдуманного намерения предусмотрена постыдная маркировка в виде несмываемого штампа на лбу «Враг Человека». Графомания, не преследующая целей наживы (или, иначе, Творческая Нимфомания), не наказуема, но лица, страдающие этим недугом, изолируются от общества как социально опасные; их помещают в особые за-

крытые заведения, снабжая, из человеколюбия, изрядным количеством чернил и бумаги.

Разумсется, мировая культура ничего не потеряет от такой регламентации, напротив, начнет расцветать. Человечество вновь обратится к сокровищам прошлого; ведь имеющихся изваяний, картин, драм, романов, машин, аппаратов хватит на многие столетия. Вдобавок всякому будет дозволено совершать так называемые эпохальные открытия — только бы сидел себе тихо.

Устроив всё наилучшим образом, то есть спася человечество, Иоахим Ферзенгельд переходит к последнему вопросу: как поступить с уже существующим кошмарным избытком? Человек редкого гражданского мужества, Ферзенгельд заявляет: все созданное в XX веке — даже если там и укрыты бриллианты мысли — ничего не стоит, взятое в совокупности, ведь никто не отыщет этих бриллиантов в океане мусора. Поэтому он предлагает уничтожить буквально все, что создано в нашем столетии, — фильмы, иллюстрированные журналы, открытки, партитуры, книги, научные труды, газеты; такое деяние стало бы истинной чистой авгиевых конюшен — при полном сведении прихода с расходом в конторских книгах истории. (Между прочим, будут уничтожены и данные об атомной энергии, что устранил опасность ядерного апокалипсиса.) Иоахим Ферзенгельд отмечает, что омерзительность сожжения книг и тем более — целых библиотек ему хорошо известна. Но аутодафе, известные из истории — например, в третьем рейхе, — омерзительны потому, что реакционны. Все дело в том, с каких позиций жечь. Он выступает за прогрессивные, благодетельные, спасительные аутодафе, а так как Иоахим Ферзенгельд — пророк до конца последовательный, то в заключение он предлагает разодрать на куски и поджечь его собственное пророчество!

Gian Carlo Spallanzani
«IDIOTA»
(Mondadori Editore)

«ИДИОТ»

Итак, в Италии есть молодой писатель, какого нам не хватало, — заговоривший полным голосом. А я опасался, что молодых заразит пессимизм знатоков, утверждающих, будто вся литература давно написана и нам остается подбирать со стола былых мастеров объедки, именуемые мифами или же архетипами. Эти апостолы литературного оскудения (мол, ничего нет нового под солнцем) свою веру проповедуют не с отчаянием, но так, словно картина пустых до скончания века столетий, тщетно взыскующих Искусства, доставляет им непонятное удовольствие. Они вменяют в вину современному миру его технический взлет и предрекают самое худшее с тем же злорадством, с каким старые тетушки ожидают крушения брака, легкомысленно заключенного по любви. Вот почему у нас есть шлифовщики и ювелиры (ибо родословная Итало Кальвино восходит не к Микеланджело, но к Бенвенуто Челлини), а также натуралисты, которые, устыдившись собственного натурализма, дают понять, что пишут совсем не так, как могли бы (Альберто Моравиа), — и ни одного настоящего смельчака. Да и откуда им взяться там, где каждый может прикинуться лихим удальцом, обзаведясь разбойничьей бородищей.

Джан Карло Спалланцани дерзок до наглости. Прорицания знатоков он как будто принимает всерьез, чтобы затем показать им кукиш. Ибо его «Идиот» не одним лишь названием напоминает роман Достоевского: сходство разаздо

«Idiota», 1971

© Константин Душенко, перевод, 1980, 1987

глубже. Не знаю кому как, но мне легче писать о книге, если я вижу лицо автора. Спалланцани на снимке несимпатичен: молокосос с низким лбом, опухшими веками, маленькими, черными, злыми глазками, а точеный подбородок вызывает чувство тревоги. *Enfant terrible*? Хитрющий негодяй и садист? Правдолюб в обличье невиннейшего младенца? Не могу подобрать подходящего определения, но остаюсь под впечатлением первого чтения «Идиота»: такое коварство само по себе есть дело искусства. Неужели он писал под псевдонимом? Ведь великий, исторический Спалланцани был вивисектором, а наш тридцатилетний прозаик идет по его следам. Трудно поверить, что совпадение имен совершенно случайно. Молодой писатель — нахал; своего «Идиота» он снабдил предисловием, где с показной искренностью объясняет причины отказа от первоначального намерения — написать еще раз «Преступление и наказание» в виде истории («Соня»), рассказанной дочерью Мармеладова.

И с апломбом, не лишенным известной грации, он сообщает, что не сделал этого лишь потому, что опасался развенчать оригинал! Иначе (говорит он) ему пришлось бы, пусть помимо воли, пошатнуть монумент, который воздвиг Достоевский своей непорочной проститутке. Будучи «третьим лицом», Соня в «Преступлении и наказании» появляется от случая к случаю; в качестве «первого лица», от имени которого ведется повествование, мы видели бы ее постоянно, в том числе во время профессиональных занятий, которые разъедают душу, как никакие другие. Аксиома об ее духовной девственности, незапятнанной опытом падшего тела, понесла бы немалый ущерб. Оправдавшись столь хитроумным способом, автор, однако, совершенно умалчивает о главном — то есть об «Идиоте». И это уже коварство; он добился, чего хотел, направил наше внимание в нужную ему сторону, но ни словом не упомянул о настоятельной необходимости, заставившей его обратиться к этой теме — после Достоевского!

История — вполне реалистическая, жизненная — поначалу, казалось бы, разворачивается в сферах далеко не возвышенных. В самой обычной, среднего достатка семье, у заурядных, благополучных супругов — достопочтенных, но не хватающих звезд с неба, растет умственно отсталый ребенок. Как и любой ребенок, он общался очень много; первые его слова, первые фразы, удивительно свежие в своей непосредственности (побочный результат освоения речи), свято

хранятся в сокровищнице родительских воспоминаний. Милые младенческие наивности и нынешний ужас — таков контраст между тем, что могло быть, и тем, что стало.

Ребенок растет идиотом. Жизнь рядом с ним, уход за ним — сплошное мучение, особенно жестокое как раз потому, что развилось оно из любви. Отец старше матери почти двадцатью годами; иные семьи в подобных случаях пробуют еще раз, здесь что-то мешает, физиология или психология, неизвестно. Но все же, скорее всего, любовь. В нормальных условиях она никогда бы не выросла до таких размеров. Как раз благодаря своему кретинизму ребенок одаряет родителей гениальностью. Он совершенствует их в степени, соответствующей его духовной ущербности. Это могло бы стать идеей романа, его ведущим мотивом, но оказывается лишь предпосылкой.

В контактах с окружающими (родственниками, врачами, юристами) отец и мать — обыкновенные люди, глубоко озабоченные, конечно, но без аффектации, ведь все это началось не вчера; чтобы взять себя в руки, времени было достаточно! Эра отчаяния, надежды, поездок по разным столицам к светилам медицинской науки давно миновала. Им уже ясно: надежды нет никакой. Они не питают ни малейших иллюзий. Визиты к врачу, адвокату должны обеспечить идиоту в меру достойный, в меру терпимый модус вивенди, когда некому будет о нем позаботиться. Нужно найти душеприказчика, уберечь состояние; все это делается не спеша, зато серьезно, толково и осмотрительно. Скучно и обстоятельно — что может быть естественнее? Но когда они приходят домой, когда они остаются втроем, все меняется, словно по волшебству. Я бы сказал: словно актеры выходят на сцену. Хорошо, но где она, эта сцена? Об этом речь впереди. Никогда не сговариваясь, не обменявшись ни словом (что было бы психологически невозможно), родители постепенно создали систему таких толкований поступков идиота, которая позволяет считать их разумными — во всякое время и в каждой детали.

Зародыш подобного поведения Спалланцани отыскал в нормальной жизни. Умиляясь выходящему из грудного возраста младенцу, взрослые, как известно, толкуют его слова и реакции на вырост: в случайном повторении звуков находят смысл, в неотчетливом лепете — сообразительность и даже юмор; непроницаемость младенческой психики предоставляет огромную свободу наблюдателям, в особенности ослепленным любовью. Именно так, наверное, и началось ког-

да-то истолкование поведения идиота. Должно быть, родители соревновались между собой, отыскивая примеры того, что ребенок говорит все лучше, все отчетливее, что и сам он становится все лучше, добрее и ласковее. Я говорю «ребенок»; но когда начинается действие, это уже четырнадцатилетний подросток. Насколько же искусную систему интерпретации нужно создать, к каким приемам и способам перетолкования — прямо-таки до смешного безумным — нужно прибегнуть для спасения фикции, которую действительность так безжалостно отрицает! И что же? Все это возможно — как раз из таких усилий и состоит жертва, возлагаемая родителями на алтарь идиота.

Изоляция должна быть полной: мир ему ничего не даст, ничем не поможет, а следовательно, не нужен ему; да, да, мир — ему, а не он — миру. Истолкование его поведения должно быть уделом одних посвященных, то есть отца с матерью; тем самым все можно переиначить. Мы не узнаем, убил идиот или только добил больную бабуку; улик, однако, накапливается немало: бабука в него не верила (то есть в ту версию, которую предложили родители, — впрочем, остается неясным, в какой степени мог идиот осознавать это «неверие»); она страдала от астмы; ее придыхания и стоны проникали даже через обитую войлоком дверь; когда приступы обострялись, он не мог спать; они доводили его до бешенства; его нашли безмятежно спящим в спальне покойницы, под кроватью, на которой остывал ее труп.

Прежде чем заняться собственной матерью, отец перенес его в детскую; подозревал ли он что-нибудь? Этого мы не узнаем. Родители ни разу не коснутся запретной темы: есть вещи, которые они делают, не называя их, словно поняв, что любая импровизация имеет свои границы; когда уж нельзя избежать «этих дел», они начинают петь. Они выполняют все, что должно быть выполнено, но при этом ведут себя как папенька с маменькой, напевающие колыбельную (если дело происходит вечером) или старые песни своего детства (если вмешательство необходимо днем). Пение оказалось лучшим выключателем разума, чем молчание. Мы слышим его в самом начале романа, точнее, слышит прислуга, садовник; «грустная песенка», замечает он, и только гораздо позже мы начинаем догадываться, каким кошмарным поступком, должно быть, служила она аккомпанементом: это было в то самое утро, когда нашли труп. Что за адская утонченность чувств!

Идиот ведет себя ужасающе — с изобретательностью,

свойственной нередко крайнему отупению, которое как-то сочетается с хитростью; но родителей это только подстегивает: ведь они должны оказаться на высоте любого задания. Иногда их слова точно соответствуют поступкам, но это редкость; самые поразительные эффекты возникают, когда делают они одно, а говорят — другое. Выпады кретиноидной изобретательности неумоимо парирует другая — самоотверженная, любовная, преданная, и только лежащая между ними пропасть обращает жертвенность опекунов в кошмар. Но родители этого, наверно, уже не видят: ведь так продолжалось годы! Перед лицом очередной неожиданности (эвфемизм: идиот заставит их все испытать) сначала нас вместе с ними словно поражает ударом молнии; какую-то долю секунды мы ощущаем парализующий страх, что *это* вдребезги сокрушит не только сиюминутное равновесие, но опрокинет все здание, заботливо возводимое месяц за месяцем, год за годом.

Ничуть не бывало: после первого — часто непровольного — обмена взглядами, после двух-трех лаконических рсплик в тоне самого обычного разговора родители взваливают на себя и этот крест, прилаживают его к своей системе интерпретаций; мрачный комизм и неожиданная высота духа проявляются в этих сценах — разумеется, благодаря их психологической достоверности. Слова, которые подбирают родители, когда уже нельзя наконец не надеть «рубашечку»! Когда неизвестно, что делать с бритвой; или когда мать, выскочив из-под душа, баррикадируется в ванной комнате, а потом, устроив в доме короткос замыкание, на ощупь, в кромешной тьме разбирает баррикаду из мебели, которая противоречит канонической версии ребенка и потому опаснее, чем авария электросети. В залитой водой прихожей, завернувшись в толстый ковер — из-за бритвы, конечно, — она ожидает прихода отца; до чего же грубо, коряво и того хуже — неправдоподобно все это выглядит вне контекста, в беглом моем пересказе! Родители в глубине души осознают, что подобные происшествия, как бы ни истолковывать их, нельзя привести к норме, и потому шаг за шагом, сами не ведая, как и когда, переступают границу нормы и забредают в область, недоступную обыкновенным служащим и домашним хозяйкам. Не в область безумия, вовсе нет: неправда, будто каждый может свихнуться. Но каждый может уверовать. Чтобы не стать обесславленной семьей, им пришлось превратиться в святое семейство.

Слово это в книге не произносится; идиот, по вере своих родителей (ибо так это надо назвать), не является ни богом, ни божеством; он только иной, чем все остальные; он сам по себе, он не похож на любого другого ребенка, любого другого подростка, и в этой своей непохожести он — их любимый и их единственный, бесповоротно. Не может быть? Тогда прочтите «Идиота» сами, и вы увидите, что вера не сводится к метафизической устремленности разума. Ситуация всеми своими корнями настолько выросла в кошмар, что только нелепица веры может спасти ее от проклятия, то есть от психопатологических этикеток. Если святых психиатры принимали за параноиков, то, собственно, почему невозможно обратное? Идиот? Это слово встречается в книге, но лишь тогда, когда родители имеют дело с другими. Они говорят о ребенке языком этих других — врачей, адвокатов, родственников, но про себя они знают лучше; другим они лгут, потому что их вере чуждо миссионерство, а значит, и агрессивность, которая домогалась бы обращения неверных. Впрочем, родители слишком трезвы, чтобы хоть на минуту поверить в возможность подобного обращения, и они о нем не заботятся: ведь спасти надлежит не весь мир, а только три существа. Пока они живы — живет их общая церковь. Не о стыде, не о престиже, не о безумии стареющей пары (*folie en deux*) идет речь; нет, это всего лишь земной, минутный, совершающийся в доме с центральным отоплением триумф любви, девиз которой: «*Credo, quia absurdum est*»*. Если это безумие, то не больше, чем любая иная вера.

Спалланцани все время ступает по натянутой проволоке, ведь опасней всего для романа было бы превратиться в карикатуру на Святое семейство. Отец немолод? Значит, Иосиф. Мать на столько-то лет моложе? Мария. А тогда ребенок... Так вот, если бы Достоевский не написал «Идиота», я думаю, эта ассоциация не появилась бы вообще, во всяком случае, была бы почти незаметна. Если можно так выразиться, Спалланцани ничего абсолютно не имеет против Евангелия, он вовсе не хочет затрагивать Святое семейство; если же, несмотря ни на что, возникает (чего нельзя избежать совершенно) именно такой смысловой рикошет, «вину» за это несет исключительно Достоевский со своим «Идиотом». Ну да, конечно: вот куда целит взрывчатый заряд романа — в гениального романиста! Князь Мышкин, святой

* Верую, ибо это абсурдно (*лат.*).

эпилептик, молодой подвижник, непонятый окружением, Иисус с симптомами *grand mal** — вот где точка соприкосновения, связующее звено. Идиот Спалланцани порой напоминает его — только с перестановкой знаков! Один оказывается бешеным двойником другого, и именно так можно представить себе взросление Мышкина, этого болезненного, бледного мальчика, когда припадки падучей, с их мистическим ореолом и скотскими судорогами, впервые разбивают ангелоподобный образ подростка. Малыш оказывается кретином? Да, и на каждом шагу; но тупость его порою граничит со взлетами духа — например, когда, ошалеv от музыки Баха, он разбивает пластинку (при этом поранившись) и пробует ее проглотить вместе с собственной кровью. Ведь это же форма — пусть несовершенная — пресуществления! Как видно, что-то баховское дошло до его помраченного разума, коль скоро он попытался сделать Баха частью себя самого — поедая его.

Если б родители предоставили все официальному Господу Богу или попросту создали эрзац-религию для трех человек, что-нибудь наподобие секты с дефективным существом, занявшим место Бога, их поражение стало бы очевидным. Но они ни на миг не перестают быть обычными, земными, измученными родителями; они даже не помышляют о чем-либо сакральном, вообще — о чем-либо таком, что не было бы необходимо сейчас, вот в эту минуту. Они, собственно, никакой системы не создавали: та сама, силой вещей, сложилась у них и возвестила о себе — помимо их ведома и намерений. Они же никакого благовещения не имели; как были одни, так и остались одни до конца. И так, земная и только земная любовь. Мы отвыкли от такого ее могущества в литературе, усвоившей уроки цинизма; после того как психоаналитические доктрины перебили романтический позвоночник литературы, она ослепла к той части человеческого предназначения, которая питала ее и которая создала классику прошлого.

Жестокий роман. Сначала — о безграничной способности к самокомпенсации, а значит, и к творчеству, которым наделен каждый, каков бы и кто бы он ни был, если судьба подвергла его попытке подобным заданием. Потом — о формах, в которых существует любовь, лишенная всякой надежды, но не отрекшаяся от своего предмета. В этом контексте слова «*credo, quia absurdum...*» звучат как земной эквива-

* Судорожный припадок при эпилепсии (фр.).

лент слов «*finis vitae, sed non amoris*»*. Наконец (и это уже философско-антропологический эксперимент, а не трагедия несчастных родителей) — о том, как возникает, на микроэкономическом уровне, чистая интенциональность *называющего* сотворения мира. А значит, не просто уход в потустороннее, нет: речь о том, что мир, не изменившийся ни на йоту в своем сколь угодно разительном безобразии и бесславии, можно переиначить, то есть о том, что выражается словом «преображение». Мы не могли бы существовать, если бы не умели преобразовать кошмары в подобие райских видений; об этом-то и написан роман. Оказывается, вера в потустороннее вовсе не обязательна — и без нее можно сподобиться благодати (или муки) теодицеи, ибо не в детальном познании обстоятельств, но в их истолковании человек обретает свободу. Если это не истинная свобода (ничто ведь не порабощает сильнее любви!), то никакой иной быть не может. «Идиот» Спалланцани — не бесполоая аллегория христианского мифа, но атеистическая ересь.

Подобно психологу, экспериментирующему на крысах, Спалланцани подверг своих героев испытанию, которое должно было стать проверкой его представлений о человеке. Вместе с тем эта книга — еще и выпад против Достоевского, как если бы тот жил и творил сегодня. Спалланцани написал своего «Идиота», желая доказать Достоевскому, что тот *никудашный* еретик. Не могу утверждать, что покушение оказалось удачным, но цель его мне понятна: речь шла о том, чтобы выйти из заколдованного круга проблем, в который заключил свою и нашу эпоху великий русский. О том, что искусство не может смотреть лишь назад, не может ограничиваться эквилибристикой; необходимо новое зрение, новый взгляд и прежде всего — новая мысль. Не будем к тому же забывать, что перед нами первая книга писателя. Следующего романа Спалланцани я буду ждать, как давно уже ничего не ждал.

* Жизнь проходит, но не любовь (лат.)

«DO YOURSELF A BOOK»

«СДЕЛАЙ КНИГУ САМ»

Поучительная история расцвета и упадка «Do Yourself a Book» достойна того, чтобы ее сохранить для потомства. Эта новинка издательского рынка породила споры столь жесткие, что они заслонили само явление. Поэтому и по сей день неясно, что привело ее к краху. Мысль опросить общественное мнение никому не пришла в голову, и, скорее всего, к лучшему — ведь читатели, приговорившие ее к забвению, пожалуй, и сами не ведали, что творили.

Идея изобретения носилась в воздухе добрых двадцать лет, и остается только гадать, почему никто не взялся за это раньше. Я отлично помню первую партию сего литературного «конструктора». То были коробки величиной с увесистую книгу, и в каждой лежали инструкция, инвентарная опись и набор «стройматериалов». Детальями конструктора служили нарезанные на полоски отрывки из классических романов. На полях каждой полоски были прорезаны дырочки — с их помощью цитаты легко «переплетались» в книгу — и стояло несколько разноцветных цифр. Разложив бумажную лапшу по порядку черных («главных») номеров, вы получали «исходный текст», то есть литературный монтаж не менее чем из двух сокращенных классических романов. Конечно, если бы конструктор допускал только такую компоновку, он был бы лишен всякого, в том числе и коммерческого, смысла. Но полоски можно было менять местами, и в инструкции приводились обычно другие варианты, отли-

«Do Yourself a Book», 1971

© Т.Казавчинская, перевод, 1995

чавшиеся цветом номерков на полях. Изобретение запатентовало издательство «Universal», запустившее для этого руку в классическое наследие, на которое давно истек срок авторских прав. То были сокращенные штатом анонимных редакторов произведения Бальзака, Толстого, Достоевского. Дальновидные издатели делали ставку на тех читателей, которым лестно было перевирать и переиначивать шедевры мировой литературы (вернее, их упрощенные версии). Берешь в руки «Войну и мир» или «Преступление и наказание» — и делай с ними, что в голову взбредет: Наташа может пуститься во все тяжкие и до и после замужества, Анна Каренина — увлечься лакеем, а не Бронским, Свидригайлов — беспрепятственно жениться на сестре Раскольникова, а этот последний, обманув правосудие, — укрыться с Соней в Швейцарии, и т.д. Критики дружно обрушились на этот вандализм; издатель защищался, и даже довольно ловко.

Инструкция рекламировала «Do Yourself a Book» как учебник литературной композиции («Незаменимое пособие для начинающих авторов!») и сборник тестов («Скажи мне, что ты сделал с Анной из Грин Гэйблз, и я скажу, кто ты»); словом, то был якобы и тренажер для будущих писателей, и развлечение для любителей словесности.

На деле издателей вели не столь возвышенные помыслы. Издательство «World Books» в своей инструкции предостерегало покупателя против «неподобающих» комбинаций текста, при которых невиннейшие сцены получали скандальный смысл. Стоило переставить одну фразу (благо своя рука владыка), и обычный диалог превращался в любовную игру двух лесбиянок, а почтенное диккенсовское семейство — в вертеп кровосмесительных страстей. Конечно, то было поощрение к действию, но закамуфлированное, чтобы издателей нельзя было привлечь к суду за оскорбление нравственности — ведь они сами предупреждали, чего *не следует* делать!

Задыхаясь от бессилия (юридически все было безупречно, уж об этом-то издатели позаботились!), известный критик Ральф Саммерс писал: «Итак, современной порнографии уже мало, пришла пора втоптать в грязь великое наследие, которое всегда не только чуралось пошлости, но и открыто ей противостояло. Отныне жалкое подобие черной мессы тишком, в укрытии собственного дома, может отслужить за четыре доллара каждый желающий — такова цена подлинного падения!»

Однако вскоре стало ясно, что в своих мрачных пророче-

ствах Саммерс хватил через край: фирма развивалась куда медленнее, чем ожидали ее создатели. Надеясь изменить ситуацию, они выпустили улучшенный вариант конструктора: сброшюрованный том чистых листов, покрытых особой мономолекулярной магнитной пленкой; стоило наложить на такую страницу цитату, как она приклеивалась сама собой. Тем самым переплетные работы предельно упростились, но и это ничего не дало. Неужто публика, как полагали некоторые идеалисты (ныне уже почти вымершие), отказывалась «глумиться над классикой»? К великому своему сожалению, не могу согласиться с этой версией.

Издатели надеялись привлечь широкую аудиторию; тому свидетельство такие, к примеру, фрагменты инструкции: «Тебе дается божественная власть над людскими судьбами — недавняя привилегия одних лишь гениев человечества!» В ответ Ральф Саммерс разразился следующей филиппикой: «Одним взмахом руки ты оскверняешь недостижимый образец душевного величия, бросаешь в грязь идеал невинности, и все это с удовольствием, сознавая, что Толстой с Бальзаком тебе больше не указ — теперь они всецело в твоей власти!»

Но странное дело, кандидатов в «осквернители» оказалось на удивление мало. Саммерс предсказывал расцвет нового садизма — «всплеска агрессии против вечных ценностей культуры», а между тем «Do Yourself a Book» почти не имели спроса. Многим хотелось бы отнести это на счет «природного голоса чести и разума, который столь успешно заглушается судорогами антикультуры», как писал Л.Эванс в «Christian Science Monitor». Автор этих строк, увы, не разделяет такого мнения.

Что же случилось на самом деле? Позволю себе сделать очень простое предположение. Для Эванса, Саммерса, для меня, и для нескольких сот критиков, окопавшихся в университетских ежеквартальниках, и, скажем, для трех-четырёх тысяч высоколобых на всю страну, и Свидригайлов, и Вронский, и Соня Мармеладова, и Вотрен, и Анна из Грин Гэйблз, и Растиньяк — личности прекрасно известные, близкие и, правду сказать, подчас более реальные, чем многие наши добрые знакомые. А для широких масс их имена — просто случайный набор звуков. Свести Наташу и Свидригайлова было бы кощунством для высоколобых, а для всех остальных — не более чем связь какого-то X с какой-то Y. Массовый читатель не видел в них вечные символы душевной чистоты или разнузданного порока и потому не стал в них играть ни в скандальном, ни в каком-либо другом ва-

рианте. Ему попросту дела не было ни до кого из них! И подумать только, что, несмотря на весь свой цинизм, издатели этого не предвидели! А все потому, что они плохо знают истинное положение дел на литературном рынке. Если человек считает книгу огромной духовной ценностью, а ее на его глазах кладут вместо половика у порога, он, конечно, начинает кричать в голос о вандализме и даже о черной мессе, что и случилось с Саммерсом.

Но безразличие к ценностям культуры зашло в нашем мире гораздо дальше, чем кажется авторам конструктора. Верно, в него никто не стал играть, но не потому, что публика отказалась осквернять идеалы, а просто потому, что большинство читателей не видит разницы между Толстым и убогим графоманом. Тот и другой оставляют его одинаково равнодушным. Даже если толпе и присуща страсть топтать высокое, тут, по ее мнению, и топтать-то нечего!

Поняли ли издатели преподанный им урок? Полагаю, что так. Хотя вряд ли сказали это себе теми же словами, что и я, однако, ведомые нюхом, чутьем, инстинктом, они стали поставлять на рынок более ходкий товар — откровенно порнографические «конструкторы». Горстка прекрасодушных снобов вздохнула с облегчением: великие останки отныне почивут в мире. Проблема потеряла для высоколобых всякий интерес, и со страниц элитарных журналов тотчас исчезли статьи, в которых они раздирали на себе одежды и посыпали пеплом свои яйцеобразные головы: обитателей Олимпа и их громовержцев обыденная жизнь рядовых читателей ничуть не интересуется.

Потом, правда, Олимп еще раз встрепенулся. Это когда Бернар де ля Тай, состряпав роман из деталей «The Big Party», переведенного на французский язык, удостоился «Prix Femina». Дело не обошлось без скандала, так как оборотистый француз скрыл от жюри, что его детище — продукт компиляции, а не оригинальное сочинение. Правда, роман де ля Тая («Война в потемках») не лишен некоторых достоинств, и, чтобы его скомпоновать, потребовались определенная культура и литературное дарование, которыми обычные покупатели не могут похвастать. Но этот случай ничего не изменил в судьбе конструктора — с самого начала было ясно, что эта затея колеблется между дурацким фарсом и коммерческой порнографией. На «Do Yourself a Book» капитала никто не нажил! А идеалисты, привыкшие довольствоваться малым, утешаются сегодня тем, что бульварные персонажи не вламываются больше на паркет толстовских

гостиных и благородные девицы вроде Дуни Раскольниковой не путаются с маньяками и головорезами.

Фарсовая разновидность «Do Yourself a Book» еще влачит существование в Англии, где можно купить литературные наборы для крошечных рассказиков «*prime nonsense*», — там на потеху доморощенным писателям в бутылку льют не сок, а сквайров, сэр Галахад пылает страстью к своей лошади, а незадачливый пастырь во время мессы гоняет в алтаре игрушечные паровозики. Похоже, что англичан смешит эта абракадабра, коль скоро некоторые газеты даже завели для нее специальные рубрики. На континенте же «Do Yourself a Book» практически вывелись.

Один швейцарский критик иначе, чем мы, объясняет крах этого предприятия: «Современный читатель слишком обленился, чтобы собственноручно раздевать, мучить и насиловать себе подобных. Теперь для этого есть профессионалы. Появись эта игра шестьдесят лет назад, она, возможно, имела бы спрос, но, опоздав родиться, скончалась во младенчестве». Что к этому прибавишь, кроме тяжелого вздоха?

Kuno Mlatje
«ODYS·Z ITAKI»

«ОДИССЕЙ ИЗ ИТАКИ»

Автор — американец; полное имя героя романа — Гомер Мария Одиссей; Итака, где он появился на свет, — городишко с четырьмя тысячами жителей в штате Массачусетс. Тем не менее речь идет об экспедиции Одиссея из Итаки, исполненной глубокого смысла и восходящей тем самым к почтенному первообразу. Гомер М. Одиссей предстает перед судом по обвинению в поджоге машины, принадлежащей профессору И.Г.Хатчинсону из Рокфеллеровского фонда. Причины, по которым он *должен* был поджечь машину, он откроет лишь при условии, что профессор лично явится в суд. Когда же это требование удовлетворяется, Одиссей, заявив, что хочет сообщить профессору шепотом нечто крайне важное, кусает его за ухо. Скандал обеспечен; назначенный судом адвокат требует психиатрической экспертизы, судья колеблется, а ответчик произносит речь со скамьи подсудимых, объясняя, что метил в Геростраты, поскольку автомобили — святыни нашей эпохи, а профессора укусил за ухо по примеру Ставрогина, который прославился именно этим. Ему тоже необходима известность — ради денег, которые можно на ней заработать; так он сможет финансировать план, имеющий целью благо человечества.

Эту пламенную речь прерывает судья. Одиссей получает два месяца за уничтожение автомобиля и еще два — за неуважение к суду. Вдобавок его ожидает иск, возбужденный Хатчинсоном, которому он повредил ушную раковину.

«Odys z Itaki», 1971

© Константин Душенко, перевод, 1995

Одиссей, однако, успевает вручить судебным репортерам свою брошюру. Тем самым он добивается своего: пресса будет о нем писать.

Идеи, изложенные в брошюре Гомера М.Одиссея «Поход за золотым руном духа», весьма просты. Прогресс человечества — заслуга гениев, особенно — прогресс мысли; ведь сообщать можно набрести на способ обтесывания кремня, но нельзя коллективно выдумать ноль. Изобретатель ноля был первым гением в истории человечества. «Возможно ли, чтобы ноль изобрели четыре человека сразу, каждый по четвертушке?» — вопрошает со своим обычным сарказмом Гомер Одиссей. Не в привычках человечества чуткое отношение к гениям. «To be a genius is a very bad business indeed!»* — замечает Одиссей на своем кошмарном английском. Гениям приходится туго, но не всем одинаково — ибо гений гению рознь. Одиссей предлагает следующую классификацию. Сперва идут гении обыкновенные, дюжинные, то есть третьего класса, неспособные шагнуть особенно далеко за умственный горизонт эпохи. Им приходится легче других, нередко они бывают оценены по заслугам и даже добиваются денег и славы. Гений второго класса — гораздо более твердый орешек для современников. Потому и живется таким гениям хуже. В древности их обычно побивали камнями, в средневековье жгли на кострах, позже, в связи с временным смягчением нравов, им позволялось умирать естественной смертью от голода, а порой их даже кормили за общественный счет в приютах для полоумных. Кое-кому из них местные власти подносили яд; многих отправили в ссылку, причем духовные и светские власти рьяно сражались за пальму первенства в «гениоциде», как Одиссей называет разнообразнейшие формы истребления гениев. И все же в конечном счете гениев II класса ожидает признание, то есть загробный триумф. В качестве компенсации их именами называют библиотеки и городские площади, сооружают в их честь фонтаны и монументы, а историки роняют скупые слезы над промашками прошлого. Но сверх того, утверждает Одиссей, существуют — ибо не могут не существовать — гении высшей категории. Второклассных гениев открывает либо следующее поколение, либо одно из позднейших; гениев первого класса не знает никто и никогда, ни при жизни, ни после смерти. Это — открыватели истин настолько невероятных, глашатаи новшеств настолько революционных, что

* Быть гением — никудышный бизнес, право! (англ.)

их абсолютно никто оценить не в силах. Поэтому прочное забвение — обычный удел Гениев Экстракласса. Впрочем, и их менее мощных духом коллег обычно открывают лишь по чистой случайности. В исписанных каракулями бумагах, в которые рыночные торговки заворачивают селедку, обнаруживают какие-то теоремы, поэмы, но стоит их напечатать — и после минутного энтузиазма все идет прежним порядком. Такой порядок долее нетерпим. Ведь утраты, которые несет при этом цивилизация, невосполнимы. Надо учредить Общество охраны гениев первого класса и в его рамках — Исследовательскую группу, которая займется планомерными поисками. Гомер М.Одиссей уже разработал устав Общества, а также проект «Похода за золотым руном духа». Оба документа он разослал многочисленным научным обществам и благотворительным фондам, домогаясь кредитов.

Эти усилия оказались напрасны, и тогда он издал своим иждивением брошюру, первый экземпляр которой с дарственной надписью послал профессору Ивлину Г.Хатчинсону из Научного совета Рокфеллеровского фонда. Не ответив ему, проф. Хатчинсон оказался виновен перед человечеством. Проявленная профессором тупость и некомпетентность свидетельствуют о его несоответствии занимаемому посту; за это надлежало его наказать, что Одиссей и сделал.

Еще во время отсидки Одиссей получает первые пожертвования. Он открывает счет «Похода за золотым руном духа», и, когда выходит на волю, кругленькая сумма в размере 26 528 долларов позволяет ему приступить к организации экспедиции. Одиссей вербует добровольцев через объявления в прессе; на первом же собрании энтузиастов-любителей он произносит речь и вручает им новую брошюру с инструкциями для аргонавтов. Ведь они должны знать, где, как и что, собственно, надо искать. Экспедиция будет носить идейный характер, поскольку — Одиссей не скрывает этого — денег мало, а работы по горло.

*Spiritus flat, ubi vult**, поэтому даже гении экстракласса могут рождаться среди малых народов, населяющих экзотическую периферию мира. Но гений не открывает себя человечеству лично и непосредственно, выходя на улицу и хватая прохожих за тогу или за пуговицу. Гений действует через компетентных специалистов. Они должны его оценить, окружить почетом и развить его мысли, другими сло-

* Дух веет, где хочет (лат.).

вами, раскачать своего земляка так, чтобы он стал языком колокола, возвещающего начало новой эпохи. Но как обычно, то, что должно быть, как раз и не происходит. Специалисты склонны считать себя кладезем всякой премудрости и готовы учить других, но сами ни у кого не желают учиться. Только если их невообразимо много, в толкучке могут попасться два, а то и три толковых субъекта. Поэтому в небольшой стране гений встретит такой же отклик, что и горох, швыряемый об стену. В странах побольше вероятность распознавания гения выше. Поэтому экспедиции отправятся к малым народам и в города, затерянные в глухих провинциях нашей планеты. Может, там — как знать? — удастся найти не узанных ранее второклассников гениальности. Пример Босковича (Югославия) знаменателен: его открыли задним числом; то, что он писал и мыслил столетия назад, было замечено лишь тогда, когда о чем-то подобном стали мыслить и писать ныне. Такие псевдооткрытия Одиссея не интересуют.

В первую голову надо обшарить все на свете библиотеки, включая отделы инкунабул и рукописей, а особенно — их подвалы и подземелья, где оседает всякий бумажный балласт. Однако ж и там не стоит особенно рассчитывать на успех. На карте, которую Одиссей повесил у себя в кабинете, красными кружками обозначено первоочередное — психиатрические лечебницы. Немалые надежды Одиссей возлагает на раскопки в канализации и выгребных ямах сумасшедших домов прошлого века. Следует также перелопатить свалки возле старых тюрем, перетрясти вместилища отбросов и прочих нечистот, перерыть склады макулатуры; а еще неплохо бы тщательно изучить мусорные кучи, особенно — содержащиеся в них окаменелости, поскольку именно туда попадает все то, что человечество пренебрежительно вымело за скобки своего бытия. Так что доблестные аргонавты должны отправиться за Золотым Руном Духа, преисполненные самоотречения, с киркой, кайлом, ломом, фонариком и веревочной лесенкой, имея, кроме того, под рукой геологические молотки, кислородные маски, сита и лупы. Поиски сокровищ, гораздо более ценных, нежели золото и бриллианты, развернутся в обвалившихся колодцах, в окаменевших экскрементах, в подземельях былых инквизиций, в покинутых городах, а координировать эту всепланетную деятельность будет Гомер М.Одиссей из своей штаб-квартиры. Указателем пути, дрожащей стрелкой компаса следует считать любые отголоски слухов и толков о совер-

шенно исключительных крестинах и безумцах, о маниакальных, назойливых чудаках, упрямых олухах и идиотах, поскольку, награждая подобными эпитетами гениальность, человечество реагирует на нее в меру своих природных способностей.

Устроив еще несколько скандалов, принесших пять новых приговоров и 16 741 доллар, и отсидев еще два года, Одиссей перебирается ближе к югу. Он плывет на Мальорку, где будет отныне его штаб-квартира: климат там приятный, а его здоровье серьезно подорвано пребыванием в камере. Он отнюдь не скрывает, что не прочь сочетать общественное благо с личным. Впрочем, коль скоро, согласно его теории, появление гениев I класса возможно повсюду, то почему бы им не быть на Мальорке?

Жизнь аргонавтов изобилует необычайными приключениями, которые заполняют немалую часть романа. Одиссей не однажды переживает горькие разочарования, например, когда узнает, что три его любимых соратника, работавших в средиземноморском районе, — агенты ЦРУ, которое использовало поход за Золотым Руном Духа в собственных целях. Другой участник похода, который привозит на Мальорку необычайно ценный документ XVII столетия — труд мамелюка Кардиоха о парагеометрической структуре Бытия, — оказывается фальсификатором. Автор труда — он сам, а так как опубликовать его он нигде не мог, то пробрался в ряды аргонавтов, чтобы при помощи Одиссеева фонда привлечь внимание к своим идеям. Взбешенный Одиссей швыряет манускрипт в огонь, выгоняет жулика в шею и лишь потом, поостыв, начинает задумываться, не уничтожил ли он собственноручно творение гения экстра-класса?! Допекаемый угрызениями совести, он вызывает автора через газеты — увы, тщетно. Другой исследователь, некий Ганс Цоккер, без ведома Одиссея продает на аукционах необычайно ценные документы, которые он отыскал в старинных книгохранилищах Черногории, и, сбежав с выручкой в Чили, бросается в омут азартных игр. Однако и в руки Одиссея попадает немало необычайных трудов, раритетов, рукописей, числившихся погибшими или вообще неизвестными мировой науке. Так, из Архива древних актов в Мадриде прибывают восемнадцать начальных страниц пергаментного манускрипта середины XVI века, в котором предсказаны, методом «троеполой арифметики», даты рождения восемнадцати знаменитых мужей науки — совпадающие с датами рождения таких ученых, как Исаак Ньютон,

Гарвей, Дарвин, Уоллес, с точностью до *одного месяца!* Химические исследования и экспертизы подтверждают подлинность манускрипта, но что с того, если весь математический аппарат, которым пользовался анонимный автор, погиб? Известно лишь, что в его основу был положен принцип — начисто противоречащий здравому смыслу — о «трех полах» рода людского. Скромным утешением Одиссею служит то обстоятельство, что продажа манускрипта на аукционе в Нью-Йорке серьезно пополнила бюджет экспедиции.

После семи лет поисков архивы штаб-квартиры на Мальорке полны самых удивительных рукописей. Есть среди них увесистый том некоего Миралья Эссоса из Беотии, который изобретательностью превзошел Леонардо да Винчи; после него остались проекты логической машины из спинного мозга лягушек; задолго до Лейбница он додумался до идеи монад и предустановленной гармонии; он применил трехценностную логику к некоторым физическим феноменам; он утверждал, что живые существа рожают подобных себе потому, что в их семенной жидкости содержатся письма, написанные микроскопическими буквами, и комбинации таких «писем» определяют строение взрослой особи; все это — в XV веке. Есть в этих архивах формально-логическое доказательство невозможности Теодицеи, основанной на доводах разума, поскольку в основе любой Теодицеи лежит логическое противоречие; автор упомянутого труда, Баубер по прозвищу Каталонец, был сожжен живьем после отсечения конечностей, вырывания языка и вливания в желудок, через воронку, расплавленного свинца. «Контраргументация сильная, хотя и внелогическая, а следовательно, иноплоскостная», — замечает молодой доктор философии, обнаруживший рукопись. Работа Софуса Бриссенгаде, который, исходя из аксиом «двунулевой арифметики», доказал возможность построения непротиворечивой теории чисто трансфинитных множеств, получила признание научного мира, но и у нее в конце концов нашлись точки соприкосновения с работами современных математиков.

Итак, Одиссей видит, что пока он обнаруживает лишь предвосхитителей, идеи которых позже были переоткрыты, — другими словами, лишь гениев II класса. Но где же следы усилий первоклассников? Сомнения чужды душе Одиссея — его тревожит лишь опасение, что внезапная смерть (а он уже на пороге старости) не позволит продолжить поиски. Наконец возникает загадка флорентийского манускрипта. Этот найденный в филиале крупной флорен-

тийской библиотеки пергаментный свиток середины XVIII столетия, исписанный загадочными закорючками, поначалу кажется мало кому интересным трудом алхимика-копииста. Но некоторые места напоминают нашедшему рукопись — а это молодой студент-математик — функциональные ряды, в то время, безусловно, никому не известные. Будучи предложен экспертам, трактат оценивается по-разному. Целиком его не понимает никто; одни видят в нем какие-то бредни с редкими проблесками логической ясности, другие — плод болезни; два знаменитейших математика, которым Одиссей посылает фотокопию рукописи, тоже расходятся во мнениях. Один из них, потратив немало труда, расшифровывает эти каракули примерно на треть, заделывая пробелы собственными догадками; он пишет Одиссею, что речь, правда, идет о концепции — как можно предположить — потрясающей, но лишенной какой-либо ценности. «Существующую математику пришлось бы аннулировать на три четверти и снова поставить с головы на ноги, чтобы всерьез принять этот замысел. Ведь это ни больше ни меньше как проект *другой* математики, нежели та, что создана нами. *Лучше* она или *хуже* — сказать не берусь. Возможно, и лучше; но на то, чтобы это узнать, ушла бы целая жизнь сотни лучших ученых, которые стали бы для флорентийского Анонима тем, чем для Евклида были Больяй, Риман и Лобачевский».

Тут письмо выпадает из рук Гомера Одиссея, и с криком «эврика!» он начинает бегать по комнате, глядящей стеклами окон на лазурный залив. В эту минуту Одиссей понимает, что не человечество навсегда потеряло гениев первого класса — это они потеряли человечество, потому что ушли от него. Сказать, что эти гении просто не существуют, было бы мало: с каждым следующим шагом истории они не существуют *все больше и больше*. Творения забытых мыслителей второй категории никогда не поздно спасти. Стоит лишь отряхнуть их от пыли и отдать в типографии или университеты. Но творений первого класса ничто уже не спасет, ибо они стоят в стороне — вне течения истории.

Общими усилиями человечество прокладывает русло в историческом времени. Гений действует на самом краю русла, у самой кромки, предлагает своему или следующему поколению несколько изменить направление движения, изгиб русла, крутизну склона, глубину дна. Совсем по-иному участвует в работе духа гений первого класса. Он не трудится в первых рядах и не выходит ни на шаг вперед. Он где-то там, вдалеке, — во всяком случае, мысленно. Если он пред-

лагает иной тип математики, философской или естественно-научной систематики, то речь идет об идеях, никак не соприкасающихся с существующими — ни в единой точке! Если он не будет замечен и выслушан первым или вторым поколением, то потом это окажется совершенно невозможно. Тем временем поток человеческого труда и мысли уже успеет проложить себе русло, пойдет в ином направлении, и разрыв между ним и одинокой изобретательностью гения будет возрастать с каждым столетием. Его никем не замеченные и не выслушанные предложения могли, правда, направить иначе развитие искусства, науки, всей мировой истории, но, раз уж этого не случилось, человечество проглядело не только еще одну необычную личность с ее духовным багажом — вместе с нею оно проглядело *иную собственную историю*, и тут ничего не поделаешь. Гении I класса — это пути, оставшиеся в стороне, ныне совершенно мертвые и заросшие, не востребуемые выигрыши в лотерею редчайших удач, неистраченные сокровища, в конце концов обратившиеся в прах, в ничто, в пустоту упущенных шансов. Гении поменьше калибром остаются в стремнине истории и видоизменяют ее ход, не отрываясь от общего потока. Оттого-то они и в почете. Другие же, именно потому, что *чересчур велики*, — остаются навеки невидимыми.

Одиссей, потрясенный своим открытием, спешно принимается за новую брошюру, суть которой, изложенная выше, столь же ясна, как и цель Похода. По прошествии тринадцати лет и восьми дней Поход близится к завершению. Труды аргонатов не прошли впустую: скромный житель Итаки (Массачусетс) опустил в глубины прошлого с горсткой энтузиастов, дабы установить, что единственный ныне живущий гений I класса — Гомер М.Одиссей, ибо величайшего человека в истории лишь столь же великий способен узнать.

Рекомендую книгу Куно Млатье всем тем, кто не думает, что, будь человек лишен пола, не было бы и художественной литературы. На вопрос же, издевается автор над нами или спрашивает дорогу, пусть каждый читатель ответит сам.

Raymond Seurat
«ТОI»
(Ed Denoel)

«ТЫ»

Роман отступает назад, к автору, то есть описание вымышленной действительности заменяет описанием возникновения вымысла. Это, во всяком случае, происходит в авангардной европейской прозе. Вымысел приелся писателям, они перестали считать его обязательным, он надоел им, они не верят в свое всемогущество; они уже не верят, что после их слов «да будет свет» читателя ослепит сияние. Однако то, что они именно так говорят, что они могут так говорить, не вымысел. Роман, описывающий собственное появление, оказался лишь первым шагом в этой ретиреде; ныне уже не пишут произведений, показывающих свое возникновение, — регламент конкретного созидания уже весьма тесноват! Пишут о том, что могло бы быть написано... из возникающих в голове замыслов выхватываются отдельные наброски, и странствование среди этих фрагментов, которые никогда не станут текстами в обычном понимании, выглядит сегодня как самозащита. Надо полагать, здесь не последний рубеж, хотя у писателей возникает впечатление, будто эти отступления имеют предел, будто поэтапно они ведут туда, где бодрствует сокровенный, таинственный «абсолютный эмбрион» любого творчества — тот зародыш, из которого могли бы появиться на свет мириады произведений. Но представление о таком эмбрионе — иллюзия. «Первоисточники» настолько недоступны, что на деле их не существует: возвращаться к ним — значит

«ТоI», 1971

© В.Кулагина-Ярцева, перевод, 1995

впасть в грех *regressus ad infinitum**; можно еще написать книгу о том, как пытались писать книгу о том, что хотелось написать, и т.д.

«Ты» Раймона Сера — это попытка выйти из тупика иным образом, не прибегая к очередному отходному маневру, — броском вперед; прежде авторы всегда обращались к читателю, однако не затем, чтобы говорить о нем, Сера же поставил перед собой именно такую задачу. Роман о читателе? Да, о читателе, но уже не роман, поскольку обращение к читателю означает какой-то рассказ, разговор о чем-то — и если не о чем-то (антироман!), то, во всяком случае, непременно для него. Значит, тем самым, услужение. Сера счел, что хватит этих извечных служений: он решил взбунтоваться.

Честолюбивая идея, ничего не скажешь. Произведение — бунт против отношений «певец — слушатель», «рассказчик — читатель»? Восстание? Вызов? Но во имя чего? На первый взгляд это кажется бессмыслицей: не хочешь, писатель, служить, рассказывая, — значит, замолчи и тогда перестанешь быть писателем; выхода из дилеммы нет — в таком случае, что за квадратуру круга создал Раймон Сера?

Мне кажется, оформление своего замысла Сера усмотрел у де Сада. Де Сад сначала создавал замкнутый мир — замков, дворцов, монастырей, — чтобы заключенную в нем толпу поделить на палачей и жертв; мучители, получая наслаждение от мук истязуемых, уничтожали их, в скором времени оставались среди своих и, чтобы не останавливаться, должны были начинать самоистребление, которое в эпилоге приводило к герметичному одиночеству самого жизнеспособного из палачей — пожравшего, поглотившего всех и обнаруживающего в этот момент, что он не только *porte parole*** автора, но и сам автор, заключенный в Бастилию маркиз Альфонс Донат де Сад. Остается лишь он, поскольку лишь он не является плодом вымысла. Сера несколько по-иному увидел эту связь: кроме автора навсерьняка есть, всегда должен быть некто не выдуманный по отношению к произведению: читатель. И он сделал именно этого читателя своим героем. Но говорит все же не сам читатель: такое повествование было бы мистификацией, о читателе говорит писатель — отказываясь от служения.

* Здесь — дурной бесконечности (*лат.*)

** Выразитель мыслей (*фр.*).

Здесь речь идет о литературе как о духовной проституции — потому именно, что, создавая ее, надо услужать. Нужно добиваться расположения, заискивать, показывать, на что ты способен, демонстрировать мускулатуру стиля, исповедоваться, предполагая в читателе наперсника, отдавать ему самое лучшее, пытаться заинтересовать его, удержать его внимание — одним словом, заигрывать, добиваться подачек, обивать пороги, продаваться — какая мерзость! Когда издатель играет роль сутенера, литератор — проститутки, а читатель — клиента публичного дома, вы, осознав это положение вещей, чувствуете нравственную дурноту. Не решаясь, однако, прямо отказаться от услужения, писатели начинают уклоняться от него: они услужают, но претенциозно; вместо того, чтобы кривляться на потеху публики, — наводят тоску; вместо того, чтобы показывать прекрасные вещи, — назло читателю начинают подсовывать ему мерзости, как если бы взбунтовавшийся повар нарочно портил еду, приготовленную для хозяйского стола, — не нравится, так не ешьте! Как если бы уличная женщина, устав от своего ремесла, но не в силах порвать с ним, перестала бы заговаривать с клиентами, краситься, наряжаться, заискивающе улыбаться, — однако что с того, если она и дальше торчит на углу, готовая пойти с клиентом, хотя бы и надутая, мрачная, злая; это не настоящий бунт, а поддельный, половинчатый, это ложь и самообман — кто знает, не хуже ли он нормальной, солидной проституции, поскольку она, во всяком случае, не заботится о своем облике, не изображает благородства, неприступности, безупречной добродетели!

И что же? Отказаться от службы возможному клиенту, открывающему книгу, как двери борделя, и нахально лезущему внутрь в полной уверенности, что его тут безропотно обслужат, этому верзиле, мерзавцу набить морду, осыпать его бранью и спустить с лестницы? Ну нет, это было бы для него слишком незатейливо, слишком легко, слишком приятно, он поднялся бы, отер лицо, отряхнул пыль со шляпы и отправился бы в соседнее заведение. Наоборот, его нужно затащить внутрь, а уж там задать выволочку. Тогда только он как следует попомнит свой прежний романчик с литературой, эти бесконечные Seitensprung'i* от книжки к книжке. Ну и «сreve, canaille!», как восклицает Раймон Сера на одной из первых страниц романа «Ты», — издыхай, мерза-

* Похождения (нем.)

вещ, но смотри — не подохни слишком рано, соберись с силами, тебе еще многое придется выдержать, тут ты и заплатишь за свой высокомерно-снобистский промискуитет.

Это любопытно как идея и, быть может, даже как возможность создания своеобразной книги — которой Раймон Сера все же не написал. Он не преодолел дистанции между бунтарским замыслом и художественно достоверным произведением; книга его не имеет композиции и отличается, прежде всего, увы, феноменальной даже для теперешних времен нецензурностью языка. Да, в словотворческой изобретательности автору не откажешь; его барочные обороты иногда затейливы. («Ну, трухлявая башка, кляча гнилозубая, без пяти минут покойник! Сейчас ты получишь все, что причитается, а если думаешь, это похвальба, подойди-ка поближе, увидишь, как я тебя прикончу. Тебе не нравится? Ну, что ж, ничего не попишешь».) Таким образом, нам обещают пытки — изображенные; это не внушает доверия.

В своей «Литературе как тавромахии» Мишель Лери справедливо отметил, что литературное произведение, чтобы быть действенным, должно переступить через многое. Поэтому Лери рискнул скомпрометировать себя в автобиографии, — однако обругать читателя последними словами можно без малейшего реального риска, поскольку условность оскорблений остается непреодоленной; ведь, заявляя, что он не станет больше услужать, что уже не служит, Сера не перестает развлекать нас — следовательно, самим отказом от службы продолжает служить... Он сделал первый шаг, но не двинулся дальше. Может быть, задача, которую он поставил перед собой, неразрешима? Как еще можно было поступить? Обвести читателя вокруг пальца, увлечь его повествованием по ложному пути? Так уже делалось сотни и тысячи раз. При этом проще всего считать, что этот вывихнутый, безумный текст не есть результат обдуманного маневра; он порожден беспомощностью, а не коварством. Можно написать действенную книгу-оскорбление, пойти на присущий такому поступку риск, только имея конкретного, единственного адресата; но тогда это будет письмо. Стремясь оскорбить всех нас, читателей, принизить роль реципиента литературы, Сера никого не задел, он всего-навсего проделал ряд головоломных языковых трюков, которые довольно скоро приедаются. Если пишешь обо всех либо обо всем сразу — пишешь ни о ком и ни для кого. Сера проиграл, поскольку есть одна действительно логичная форма писатель-

ского бунта против литературного служения — молчание; все остальные виды мятежа — просто обезьяньи ужимки. Господин Раймон Сера, наверное, напишет другую книгу и тем самым совершенно уничтожит первую, этого не избежать — разве что он станет раздавать пощечины своим читателям у входа в книжные лавки. В таком случае ему не откажешь в последовательности поведения — человека, но не писателя, поскольку от провала, каким оказался роман «Ты», спастись нельзя ничем.

Alistar Waynewright
«BEING INC.»
(*American Library*)

«КОРПОРАЦИЯ «БЫТИЕ»

Нанимая слугу, в его жалованье включают — кроме платы за труд — плату за почтение, положенное хозяину. Нанимая адвоката, кроме юридической помощи приобретают ощущение безопасности. Тот, кто покупает любовь — а не только лишь ее добивается, — ожидает в придачу нежности и привязанности. В цену авиабилета давно уже включены улыбки и почти что приятельская вежливость хороших стюардесс. Люди готовы платить за *private touch*, то есть за видимость заботливого участия и человеческого тепла, ставших обязательной частью упаковки услуг в любой области жизни.

Однако сама эта жизнь не сводится к общению с домашней прислугой, адвокатами, служащими гостиниц, контор, авиалиний и магазинов. Напротив, человеческие связи и отношения, которые нам дороже всего, остаются вне сферы платных услуг. Через компьютер можно выбрать супруга — но не его поведение после свадьбы. Можно, если денег хватает, купить яхту, дворец, остров — но не события, лелеемые в мечтах: нельзя за деньги блеснуть героизмом или умом, спасти от смертельной опасности прелестное существо, выиграть гонки или получить высокий орден. Доброжелательность, искреннюю симпатию, преданность тоже не купишь; о том, что тоска как раз по таким бескорыстным чувствам преследует всемогущих владык и богачей, свидетельствуют бесчисленные рассказы; те, кто может всё ку-

«Being Inc.», 1971

© Константин Душенко, перевод, 1995

пить или взять силой, в этих сказках отказываются от своего исключительного положения и переодетыми — как Гарун аль-Рашид в облике нищего — отправляются на поиски подлинных человеческих чувств, от которых их ограждали, словно высокой стеной, богатство и знатность.

Итак, если что и не подверглось еще переработке в товар, так это субстанция повседневной жизни — официальной и интимной, публичной и частной, и поэтому всем нам неустанно грозят неудачи, конфузы, разочарования, обиды, знаки пренебрежения, за которые уже нельзя отыгаться, словом, случайности личной судьбы; такое положение дел нетерпимо и требует коренных изменений, а возьмется за это судьбостроительная индустрия. Общество, в котором можно купить пост президента (благодаря рекламной кампании), стадо белых слонов в цветочных узорах, стайку девиц, гормональную молодость, может позволить себе упорядочить наконец материю человеческого бытия. Напрашивающиеся возражения (дескать, формы жизни, приобретенные за наличные, будут неподлинными, явно поддельными на фоне неподдельных событий) подсказывает наивность, начисто лишенная воображения. Там, где все дети без исключения зачинаются в колбе и половой акт не имеет естественных в прошлом последствий в виде зачатия, — исчезает граница между сексуальной нормой и отклонением, ведь телесная близость не служит уже ничему, кроме наслаждения. Там же, где жизнь каждого находится под опекой мощных судьбостроительных компаний, исчезает различие между подлинными и втайне подстроеными событиями. Различие между естественными и искусственными приключениями, успехами, неудачами перестает существовать, если нельзя дознаться, что происходит по чистой, а что — по заранее оплаченной случайности.

Такова вкратце идея романа А.Уэйнрайта «Being Inc.» («Корпорация «Бытие»). Принцип деятельности корпорации — управление на расстоянии; ее местопребывание никому не известно; клиенты связываются с «Бытием» по почте или по телефону; заказы принимает гигантский компьютер, а их выполнение зависит лишь от банковского счета клиента, от его платежеспособности. Измену, дружбу, любовь, месть, собственное счастье и несчастье других можно приобрести и в рассрочку, в кредит, на льготных условиях. Судьбу детей заказывают родители; но в день наступления совершеннолетия каждый получает по почте ценник, каталог услуг, а также инструкцию фирмы. Инструкция

представляет собой написанный популярно, но со знанием дела мировоззренческий и социотехнический трактат, а не обычное рекламное чтение. Прозрачным, высоким стилем там излагается то, что невозвышенно можно изложить следующим образом.

Все люди стремятся к счастью, но стремятся по-разному. Для одних счастье — это превосходство над окружающими, самостоятельность, непрерывное самоутверждение, атмосфера риска и крупной игры. Для других же — подчинение, вера в авторитет, безопасная, мирная и даже ленивая жизнь. Первые склонны к агрессии; вторые — к тому, чтобы подчиняться агрессии. Ибо многим по сердцу состояние тревоги и озабоченности, коль скоро за отсутствием реальных забот они выдумывают себе мнимые. Исследования показали, что активных и пассивных натур примерно поровну. Однако несчастьем старого общества, утверждает инструкция, было то, что оно не умело обеспечить гармонию между врожденными склонностями и жизненной стезей граждан. Сколь часто слепой случай решал, кто победит, а кто проиграет, кому быть Петронием, а кому — Прометеем! Очень сомнительно, что Прометей так уж вовсе не ожидал коршуна у своей печени. В свете новейшей психологии более вероятно, что для того он и похитил с небес огонь, чтобы после его клевали в печень. Он был мазохист; мазохизм, как и цвет глаз, — наследственный признак; стыдиться его не приходится, надо лишь с толком использовать его на благо общества. Раньше, поучает инструкция, слепой жребий решал, кому суждены удовольствия, а кому — лишения; людям жилось прескверно, ведь если ты, желая бить, получаешь побои, а кто-то другой, желая быть излупцованным, вынужденно лупцует тебя — оба вы одинаково несчастны.

Принципы деятельности «Бытия» появились не на пустом месте: матримонимальные компьютеры издавна следуют тем же правилам при подборе брачных партнеров. «Бытие» гарантирует клиенту тщательную режиссуру всей жизни с момента совершеннолетия, согласно сценарию, изложенному на бланке заказа. Фирма работает на основе новейших кибернетических, социотехнических и информатических методов. Пожелания клиентов она выполняет не сразу, ведь люди нередко держатся совершенно превратного мнения о себе и сами не знают, что для них хорошо, а что плохо. Каждый новый клиент подвергается дистанционному психотехническому обследованию; комплекс сверхбыстрых компьютеров

диагностирует его личностный профиль и природные склонности. Лишь после этого заказ принимается к исполнению.

Содержания заказа стесняться не следует: оно навсегда остается служебной тайной. Не следует также бояться, что при выполнении заказа пострадают посторонние лица. Как раз для того, чтобы этого не случилось, у фирмы есть электронная голова на плечах. Мистеру Смигу угодно быть суrowым судьей, выносящим смертные приговоры? Пожалуйста — его подсудимыми будут лишь негодяи, по которым плачет веревка. Мистер Джонс хотел бы сечь своих деток, постоянно отказывать им в удовольствиях и при этом искренне считать себя справедливым отцом? Что ж, у него будут жестокие и зловредные дети, на муштровку которых уйдет полжизни. Фирма выполняет любые заказы; лишь изредка приходится ждать своей очереди, например, если хочется собственноручно убить — потому что таких любителей на удивление много. В разных штатах приговоренных к смерти убивают по-разному: где вешают, где отравляют синильной кислотой, а где используют электричество. Желаящий вешать попадает в штат, где виселица — законное орудие казни, и не успеет он глазом моргнуть, как временно назначается палачом. Законопроект, который позволит клиентам безнаказанно убивать посторонних в чистом поле, на лужайке или в домашней тиши, еще не обрел силу закона, но фирма настойчиво трудится над реализацией этого новшества. Опытность фирмы в режиссуре событий, подтвержденная миллионами искусственных судебных, преодолест все трудности, стоящие на пути убийств по заказу. Скажем, смертник, заметив, что дверь его камеры приоткрыта, бежит, а сотрудники фирмы, которые только того и ждали, так срежиссируют путь беглеца, что он наткнется на клиента в наиболее подходящих для них обоих условиях: к примеру, попробует скрыться в доме клиента, который как раз заряжает винчестер. Впрочем, каталог возможностей, предлагаемых фирмой, неисчерпаем.

«Бытие» — организация, которой не знала история. Оно и понятно. Брачный компьютер сводил всего только двух человек, не заботясь о том, что с ними станет после заключения брака. А «Бытие» должно срежиссировать целые цепи событий, вовлекая в них тысячи людей. Фирма специально оговаривает, что ее настоящие методы в инструкции *не раскрываются!* Все примеры — чистая фикция! Стратегия режиссуры абсолютно секретна, чтобы клиент никогда не узнал, что с ним случается естественным образом, а что —

благодаря операциям компьютеров «Бытия», незримо пекущихся о его судьбе.

«Бытие» содержит целую армию служащих под видом обычных граждан: шоферов, мясников, врачей, инженеров, домохозяек, грудных младенцев, собак, канареек. Служащие обязаны сохранять анонимность. Тот, кто хоть раз нарушил свое инкогнито, то есть открыл, что он — штатный сотрудник корпорации «Бытие», не только теряет работу, но и преследуется до самой могилы: зная его пристрастия, фирма устроит ему такую жизнь, чтобы он проклял час, когда совершил предательство. На приговор, вынесенный за нарушение служебной тайны, некуда вносить апелляцию, ибо фирма вовсе не утверждает, что сказанное выше — угроза. Реальные методы увещевания недобросовестных работников отнесены к числу производственных секретов.

Действительность, изображаемая в романе, отлична от той, что нарисована в рекламной брошюре «Бытия». О самом главном реклама умалчивает. В США действует антимонопольное законодательство, поэтому «Бытие» — не единственный судьбостроитель. У него есть мощные конкуренты, а именно «Hedonistics» («Гедонист») и «Truelife Corporation» (корпорация «Подлинная жизнь»). Это порождает явления, каких не знала история. Если клиенты различных фирм сталкиваются между собой, возникают серьезные трудности при выполнении заказов. Одна из них — тайный паразитизм, ведущий к закамouflированной эскалации судьботворительных действий.

Допустим, мистер Смит желает блеснуть перед миссис Браун, женой знакомого, которая ему приглянулась, и выбирает по каталогу номер «3966», то есть спасение жизни при крушении поезда. И он, и она не должны потерпеть никакого ущерба, но миссис Браун — только благодаря мужеству Смита. Для этого фирма должна тщательно подготовить крушение и срежиссировать всю ситуацию, чтобы названные лица после серии мнимых случайностей оказались в одном купе; датчики, размещенные в стенах, в полу и подлокотниках кресел, снабдят исходными данными скрытый в туалете компьютер, программирующий операцию, а тот позаботится, чтобы катастрофа разыгралась строго по плану, то есть чтобы Смит *не мог не спасти* миссис Браун. Что бы он ни делал, стенка перевернувшегося вагона будет распорота точно в том месте, где сидит миссис Браун, купе наполнится едким дымом, и Смицу, чтобы выбраться наружу, придется сначала выпихнуть через образовавшееся отвер-

стие женщину. Тем самым он предотвратит ее гибель от удушья. Операция эта не слишком трудна. Несколько десятков лет назад понадобились целых две армии — компьютеров и специалистов, — чтобы посадить лунный челнок в нескольких метрах от заданной точки, а сегодня эту задачу прекрасно решает один компьютер, располагающий множеством датчиков.

Но если «Гедонист» или «Подлинная жизнь» примут заказ от мужа миссис Браун, который потребует, чтобы Смит оказался трусом и негодяем, возникнут непредвиденные осложнения. Благодаря промышленному шпионажу «Жизнь» узнает о планируемой «Бытием» железнодорожной операции; дешевле всего для нее — подключиться к чужому сценарию; именно в этом и состоит «тайный паразитизм». В момент катастрофы «Жизнь» пустит в ход слабый отклоняющий фактор, и этого хватит, чтобы Смит, выталкивая в дыру миссис Браун, наставил ей синяков, порвал платье, а в довершение сломал ей обе ноги.

Через свою контрразведку «Бытие» может проведать о паразитическом плане и предпринять контрмеры: так начнется эскалация действий. В переворачивающемся вагоне состоится дуэль двух компьютеров — «Бытия» и «Жизни», одного — скрытого в туалете, другого — допустим, под полом вагона. За потенциальным спасителем женщины и за нею самой как потенциальной жертвой стоят два гиганта электроники и организации. За доли секунды разыграется чудовищная битва компьютеров; трудно даже представить себе, какие огромные силы будут брошены в бой, — с одной стороны, для того, чтобы Смит толкал героически и избавительски, а с другой — чтобы трусливо и членовредительски. Благодаря подключению все новых резервов то, что задумывалось как скромная демонстрация мужества и рыцарских качеств, может стать катаклизмом. В хрониках фирм на протяжении девяти лет отмечены две катастрофы подобного рода — так называемые эскарсы (Эскалации Режиссуры). После второй, которая обошлась вовлеченным в нее сторонам в двенадцать миллионов долларов, израсходованных в виде электрической, паровой и водной энергии за каких-нибудь 37 секунд, было заключено соглашение о верхней границе энергозатрат. Они не должны превышать 10^{12} джоулей на клиснотминуту; кроме того, при оказании услуг исключаются любые виды атомной энергии.

На этом фоне разворачивается фабула романа. Новый президент «Бытия», молодой Эд Хаммер III, должен лично

рассмотреть вопрос о заказе миссис Джессамин Чест, эксцентричной миллионерши: ее требования, необычайные и каталогом не предусмотренные, выходят за рамки компетенции всех уровней администрации фирмы. Джессамин Чест желает абсолютно подлинной жизни, свободной от каких бы то ни было судьбостроительных вставок; за исполнение своего желания она заплатит любую цену. Эд Хаммер, вопреки советам своих экспертов, принимает вызов; задание, поставленное им перед штабом фирм — срежиссировать полное отсутствие режиссуры, — оказывается самым трудным из всех, какие только приходилось решать. Исследования обнаруживают, что ничего похожего на стихийность и подлинность жизни давно уже нет. Устранение приготовлений режиссуры любого эпизода лишь открывает более глубокий слой — следы другой режиссуры, еще более ранней; несрежиссированных событий нет даже в самом «Бытии». Оказывается, что три конкурирующие фирмы полностью друг друга зарежиссировали, внедрив своих людей в администрацию и наблюдательные советы соперников. Обеспокоенный угрозой, таящейся в этом открытии, Хаммер обращается к президентам двух компаний-соперников; на тайном совещании в качестве экспертов выступают специалисты, имеющие доступ к главным компьютерам. Эта встреча позволяет наконец установить истинное положение дел.

Мало того, что в 2041 году на всей территории США никто уже не может съесть цыпленка, влюбиться, вздохнуть, выпить виски, не выпить пива, кивнуть, моргнуть, плюнуть без верховного электронного планирования, устроившего предустановленную гармонию на годы вперед, но вдобавок корпорации с доходом в три миллиарда каждая в ходе конкурентной борьбы создали, сами того не зная, Единого в Трех Лицах Всемогущего Судьбостроителя. Программы компьютеров отныне — Скрижали Судьбы; делу судьбостроения служит все — от политических партий до метеорологии; и даже появление на свет Эда Хаммера III было следствием определенных заказов, а те, в свою очередь, — еще более ранних заказов. Никто не может ни родиться, ни умереть спонтанно, и никто уже ничего не переживает просто так, сам по себе: любая мысль, любые тяготы, страхи, страдания суть звенья алгебраической компьютерной калькуляции. Понятия вины и кары, моральной ответственности, добра и зла отныне пусты; полная режиссура жизни исключает любые внебиржевые ценности. В компьютерном раю, созданном благодаря стопроцентному использованию человеческих

качеств и свойств, включенных в безотказную систему, не хватало лишь одного — осознания его обитателями истинного положения дел. Так что и встреча трех президентов была запланирована главным компьютером, который, сообщив им все это, рекомендует себя самого как электрифицированное Древо Познания. Что же дальше? Отказаться от безусловно срежиссированного бытия? И снова бежать из рая, дабы «начать все сначала»? Или примириться с ним, раз навсегда сложив с себя бремя ответственности?

Книга не отвечает на этот вопрос. Перед нами метафизический гротеск, фантастичность которого, однако, имеет корни в реальном мире. Если отбросить комические перефразы и крайности авторской фантазии, останется проблема манипулирования умами — такого, при котором сохраняется субъективное ощущение полной естественности и свободы. Все это, конечно, не сбудется так, как в романе, но неизвестно, уберегутся ли наши потомки от иных обликов того же феномена — быть может, не столь увлекательных в описании, но не уверен, что менее удручающих.

Wilhelm Klopfer
«DIE KULTUR ALS FEHLER»
(Universitas Verlag)

«КУЛЬТУРА КАК ОШИБКА»

Сочинение приват-доцента В.Клоппера «Культура как ошибка», несомненно, заслуживает внимания как оригинальная антропологическая гипотеза. Но прежде чем перейти к сути дела, не могу удержаться от замечания о форме изложения. Эту книгу мог написать только немец! Склонность к классификации, к тому безупречному порядку, который породил бесчисленные справочники, превратила немецкую душу в конторскую ведомость. Дивясь бесподобной композиции, которой блистает эта книжка, нельзя не задуматься о том, что если бы Господь Бог был немцем, то наш мир, возможно, не стал бы лучше, но зато олицетворял бы собой муштру и порядок. Безукоризненность формы изложения просто подавляет — хотя нет никаких замечаний и по существу. Здесь не место вдаваться в пространные рассуждения о том, не оказало ли пристрастие к армейскому уставному строю, симметрии, равенствию направо воздействия на выбор некоторых тем, типичных для немецкой философии и особенно — для ее онтологии. Гегель любил космос как Пруссию, ибо в Пруссии был порядок! Даже такой одержимый эстетикой мыслитель, как Шопенгауэр, в своем сочинении «Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichendem Grunde»* продемонстрировал, как муштра влияет на стиль. А Фихте? Однако я

* «О четверяком корне закона достаточного основания» (нем.)

вынужден лишить себя удовольствия — отклонений от темы, — что для меня особенно нелегко, ибо я не немец. Ну что же, к делу!

Клоппер снабдил свой двухтомный труд предисловием, введением и вступлением. (Идеал формы — триада!) Приступая к существу вопроса, он сначала обсуждает то представление о культуре как ошибке, которое считает неверным. Согласно этой, неверной, как утверждает автор, теории, характерной для британской школы, представленной главным образом Уистли и Сэдботтхэмом, любая форма поведения любого организма, которая не помогает и не мешает ему выжить, есть ошибка. Ведь для эволюции единственный критерий разумности поведения — это способность выжить. Животные, которые ведут себя так, что выживают успешнее других, поступают, согласно этому критерию, более разумно, чем те, которые вымирают. Беззубые травоядные с эволюционной точки зрения бессмысленны, ибо, едва родившись, должны погибнуть от голода. По аналогии с этим травоядные, которые хоть и имеют зубы, но жуют ими не траву, а камни, тоже эволюционно бессмысленны, поскольку и им суждено исчезнуть. Далее Клоппер цитирует известный пример Уистли: допустим, говорит английский автор, что в каком-то стаде павианов некий старый павиан, вожак стада, по чистой случайности начинает поедать птиц, как правило, с левой стороны.

Допустим, у него был искалечен палец правой руки, и, поднося птичку к зубам, он старался держать добычу левым боком кверху. Молодые павианы, перенимая повадки вожака, чье поведение является для них образцом, начинают ему подражать, и вот вскоре, то есть через одно поколение, все павианы этого стада начинают поедать пойманных птиц с левой стороны. С точки зрения адаптации это поведение бессмысленно, ибо павианы с одинаковой для себя пользой могут приниматься за добычу с любой стороны, тем не менее в этой группе зафиксирован именно такой стереотип поведения. Что же он собой представляет? Он представляет собой зародыш культуры (протокультуру) как поведения, бессмысленного для адаптации. Как известно, эту концепцию Уистли развил уже не антрополог, а философ английской школы логического анализа Дж.Сэдботтхэм, чьи взгляды, перед тем как опорить их, автор излагает в следующем разделе («Das Fehlerhafte der Kulturfehlertheorie von Joshua Sadbottham*»).

* «Ошибочность теории Джошуа Сэдботтхэма «культура как ошибка» (нем.).

В своем программном сочинении Сэдботтхэм заявил, что человеческие сообщества создают культуру в результате ошибок, неудачных попыток, промахов, заблуждений и недоразумений. Люди, намереваясь сделать одно, в действительности делают совсем другое; стремясь досконально разобраться в механизме явлений, они толкуют их неверно; в поисках истины скатываются ко лжи — и так возникают обычаи, нравы, святыни, вера, тайна, маны*; так возникают заветы и запреты, тотемы и табу. Придумают люди неверную классификацию окружающего мира — и появится тотемизм, создадутся неверные обобщения — и возникнет сначала понятие маны, а потом — абсолюта. Проникнутся люди ложными представлениями о строении собственного тела — и возникнет понятие греха и добродетели; будь гениталии подобны бабочкам, а оплодотворение — пению (при этом передатчиками наследственной информации были бы определенные колебания воздуха), эти понятия оказались бы совсем иными! Люди вдыхают жизнь в абстракцию — и возникает представление о божестве, занимаются плагиатом — и возникает эклектическое смешение мифов, чем, по существу, являются все основные религии. Словом, поступая Бог весть как, неправильно, *несовершенно* с точки зрения приспособляемости, ложно оценивая поведение других людей, собственного тела, сил природы, считая предопределенным то, что произошло ненароком, а то, что предопределено, — чистой случайностью, то есть выдумывая все больше несуществующих явлений, люди обстраивают культуру, по ее понятиям переиначивают картину мира, а потом, по прошествии тысячелетий, еще и удивляются, что им в этой тюрьме недостаточно удобно. Начинается это всегда невинно и на первый взгляд даже несерьезно, как у тех павианов, что съедают птичек, надкусывая их всегда с левой стороны. Но когда из этих пустяков возникнет система понятий и ценностей, когда ошибок, несуразностей и недоразумений наберется достаточно, чтобы, говоря языком математики, они смогли создать *замкнутую* систему, человек уже сам станет пленником того, что, являясь, по сути, совершенно случайным собранием всякой всячины, представляется ему высшей необходимостью.

Будучи эрудитом, Сэдботтхэм подкрепляет свои утверждения множеством примеров, заимствованных из этноло-

* Обожествленные души умерших у древних римлян (*лат.*)

гии; помнится, его сопоставления также в свое время наде-
дали много шума, особенно таблицы «случайность и необ-
ходимость», где он сопоставил все ошибочные толкования,
которые культура дает ряду явлений. В самом деле, многие
культуры гласят, что человек смертен в силу некой случай-
ности; человек, как утверждается, сначала был бессмертен,
но затем лишился бессмертия либо за грехи, либо из-за
вмешательства чьей-то злой воли; и, наоборот, случай-
ное — сформированный в ходе эволюции физический облик
человека — все культуры возвели в ранг обусловленной не-
обходимости, вследствие чего основные религии и по сей
день утверждают, что человек по строению тела не случаен,
ибо создан по образу и подобию Божьему.

Критика, которой доцент Клоппер подвергает гипотезу
своего английского коллеги, не является ни новой, ни ори-
гинальной. Будучи немцем, Клоппер разделил эту критику
на две части: имманентную и позитивную. В имманентной
он только отрицает положения Сэдботтхэма, эту часть мы
опустим как малосущественную, поскольку в ней повторя-
ются критические замечания, уже известные из специаль-
ной литературы. Во второй, позитивной части критики
Вильгельм Клоппер переходит наконец к изложению собст-
венной контргипотезы «культуры как ошибки».

Свое изложение он начинает, на наш взгляд, весьма
удачно и эффектно — с наглядного примера. Различные
птицы выют гнезда из разных материалов. Более того, одна
и та же порода птиц в разных местностях не сооружает гнезд
из одинакового материала, поскольку полностью зависит от
того, что найдет поблизости. Какой именно строительный
материал — травинки, кусочки коры, листья, ракушки, ка-
мешки — птице легче отыскать, зависит от случая. Поэтому
в одних гнездах будет больше ракушек, а в других — ка-
мешков, одни будут построены в основном из полосок коры,
тогда как другие — из перышек и мха. Но хотя строитель-
ный материал, несомненно, сказывается на форме гнезда,
все же нельзя утверждать, что гнезда являются результатом
чистой случайности. Как гнезда есть орудие адаптации, хотя
они строятся из случайно найденных кусочков чего попало,
так и культура — это также орудие адаптации. Однако —
в чем и заключается новая мысль автора — эта адаптация
принципиально отличается от той, что присуща раститель-
ному и животному миру.

«Was ist der Fall?» («Каково же истинное положение
дел?») — спрашивает Клоппер. Положение таково: в чело-

веке, как в существе телесном, нет ничего обязательного. Согласно современной биологической науке, человек *мог бы* оказаться не таким, как в действительности, он мог бы жить в среднем не шестьдесят, а шестьсот лет, иметь иначе сформированное туловище, конечности, иметь другой аппарат продления рода, другой тип системы пищеварения: к примеру, мог быть строгим вегетарианцем, откладывать яйца, мог быть двоякодышащим, мог бы проявлять способность к размножению только раз в году, во время гона, и так далее. Правда, у человека есть одно свойство, которое настолько обязательно, что без него он не был бы человеком. А именно: человек обладает мозгом, способным к созданию речи и мышления, и, рассматривая свое тело и судьбу, которая этим телом определяется, человек покидает сферу таких размышлений крайне неудовлетворенным. Живет он недолго, к тому же много времени отнимает неосознательное детство; годы самой плодотворной зрелости составляют лишь малую долю всей жизни; едва достигнув расцвета, человек начинает стареть, а в отличие от всех прочих созданий он знает, к чему приводит старость. В условиях естественной эволюции жизнь находится под постоянной угрозой и, чтобы выжить, нужно всегда быть настороже; поэтому эволюция очень сильно развила во всем живом болевые ощущения; *страдания* служат сигнализацией, побуждающей прибегнуть к мерам самосохранения. Зато в эволюции не было никаких причин, никаких влияющих на организмы сил, которые могли бы компенсировать это положение «по справедливости», снабдив организм в соответствующем количестве органами удовольствий и наслаждений.

Никто не станет возражать, продолжает Клоппер, что муки, вызванные голодом, жаждой или пыткой удушьем, несравненно более остры, чем удовлетворение от нормального акта дыхания, еды или питья. Исключением из этого всеобщего правила асимметрии мук и наслаждений является секс. Но это и понятно. Если бы мы не разделялись на два пола или если бы наш генитальный аппарат был организован, как, скажем, у цветов, то он функционировал бы вне всяких позитивных чувственных ощущений, ибо тогда поощрение к активности было бы совершенно излишне. То, что существует сексуальное наслаждение и что над ним воздвигнуты невидимые дворцы царства любви (Клоппер, как только перестает придерживаться сугубо делового стиля, сразу же становится сентиментально вос-

торженным!), проистекает единственно из факта существования двух полов. Представление о том, что homo hermafroditicus, существуй он взаправду, любил бы себя эротически, ошибочно. Ничего подобного, он бы заботился о себе исключительно в рамках инстинкта самосохранения. То, что мы называем комплексом Нарцисса и представляем себе как влечение, которое гермафродит ощущает к самому себе, в действительности является вторичной проекцией, последствием рикошета; такой индивид мысленно помещает в собственном теле образ внешнего идеального партнера (далее следует семьдесят страниц глубокомысленных рассуждений о возможных вариантах формирования сексуальной природы человека при наличии одного, двух и даже более полов, однако мы опустим и это обширное отступление).

Какое отношение ко всему этому имеет культура? — спрашивает Клоппер. Культура — это орудие адаптации нового типа, ибо она не столько *сама* возникает из случайностей, сколько служит тому, чтобы все, что в наших условиях является *случайным*, засияло в ореоле высшей и совершенной необходимости. А это означает, что культура — посредством созданных ею же религий, законов, заветов и запретов — действует так, чтобы *недовольство* превратить в *идеал*, минусы в плюсы, недостатки в достоинства, убогость в совершенство. Страдания нестерпимы? Да, но они облагораживают и даже спасают. Жизнь коротка? Да, но загробная жизнь длится вечно. Детство убого и бессмысленно? Да, но зато невинно, ангелоподобно и почти свято. Старость отвратительна? Да, но это приготовление к вечности, а кроме того, стариков надо почитать за то, что они старые. Человек — это чудовище? Да, но он в том не виноват, тому виною грехи предков или же дьявол, который вмешался в деяния Божьи. Человек не знает, к чему стремиться, ищет смысл жизни, несчастлив? Да, но это обратная сторона свободы, ведь свобода является наивысшей ценностью, и не беда, если за обладание ею приходится дорого платить, ибо человек, лишенный свободы, был бы еще более несчастным! Животные, замечает Клоппер, не отличают падали от экскрементов; и то и другое для них лишь отходы жизненных процессов. Для последовательного материалиста сопоставление трупов с экскрементами должно быть столь же естественным. Однако от последних мы избавляемся незаметно, а от первых — с помпой, торжественно, обряжая во множество до-

рогих и сложных упаковок. Этого требует от нас культура как система условностей, которые помогают нам примириться с неприемлемыми для нас явлениями. Торжественные похоронные ритуалы — это лишь способ заглушить наш естественный протест против того позорного факта, что человек смертен. Ибо *действительно* постыдно, что разум, который целую жизнь наполняется все более обширными познаниями, в конце концов исчезает в луже гнили.

Стало быть, культура — это оправдательница всех возражений, возмущений, претензий, какие человек мог бы предъявить естественной эволюции, всем этим свойствам плоти, случайно возникшим и по случайности роковым, которые без спросу и согласия ему передали как наследие длившегося миллиарды лет процесса приспособления к сиюминутным нуждам. И вот с этим дрянным наследством, с этим балаганным сбродом недугов и наследственных хворей, растыканных по клеткам, скрепленных костями, перевязанных сухожилиями и мышцами, культура, рядясь в живописную тогу профессионального казенного адвоката, пытается нас примирить с помощью бесчисленных уловок, прибегая к аргументам, внутренне противоречивым, взывая то к чувствам, то к разуму, ибо для нее все способы убеждения хороши, лишь бы достичь своей цели: переделать плюсы в минусы, нашу нищету, наши увечья, наше убожество — в добродетель, совершенство и явную необходимость.

Монументальными аккордами стиля, в меру возвышенного и в меру строгого, завершается первая часть трактата доцента Клоппера, вкратце изложенная нами здесь. Вторая часть объясняет, сколь важно понимание истинного назначения культуры для того, чтобы человек мог надлежащим образом принять провозвестников будущего, которое он сам себе предуготовил, создав научно-техническую цивилизацию.

Культура — это ошибка! — возглашает Клоппер, и лаконичность этого утверждения вызывает в памяти шопенгауэровское «Die Welt ist Wille!»*. Культура — это ошибка, но не в том смысле, что она якобы возникла случайно, нет, ее возникновение было неизбежно, ибо, как следует из первой части, она способствует адаптации. Однако воздействие культуры *умозрительно*: ведь она не переделывает человека

* Мир — это воля! (нем.)

силой религиозных догм и заветов в существо *действительно* бессмертное, она не создает для человека случайного, *homini accidentali*, *реального* Бога-Творца, она, по существу, не отменяет ни малейшей частицы индивидуальных страданий, горестей и мук (Клоппер и здесь верен Шопенгауэру!) — все это она совершает лишь в сфере духа, толкований, интерпретаций; она наполняет смыслом то, что во внутренней своей сущности не имеет ни малейшего смысла, она отделяет грех от добродетели, благодетельное от подлости, позор от величия.

Но вот техническая цивилизация, поначалу мелкими шажками, мало-помалу продвигаясь вперед на примитивных тарактелках, подползла под культуру — и задрожало здание, треснули стены хрустального ректификактора, ибо техническая цивилизация обещает *подправить* человека, *оптимизировать* его тело, его мозг, его душу; эта внезапно нахлынувшая исполинская сила (информация, что копилась веками и извергнулась в двадцатом веке) провозглашает возможность долгой жизни, граничащей с бессмертием, возможность быстро созревать и совсем не стареть, возможность бесчисленных физических наслаждений и сведения к нулю мук и страданий, как «естественных» (старческих), так и «случайных» (связанных с болезнями), она провозглашает возможность *свободы* повсюду, где ранее слепой случай был обвенчан с неизбежностью (например, свободы подбирать черты характера человека, усиливать таланты, способности, ум, придавать телу человека, его лицу, мышлению произвольные формы, функции, при желании даже вечные, и так далее).

Что же надлежало бы сделать перед лицом этих обещаний, подкрепленных тем, что уже осуществлено? Пуститься в победный пляс, а культуру, эту клюку для увечных, костыль для хромых, кресло для паралитика, этот груз лет, отягчающий позор нашего тела, убожество нашего изнурительного существования, эту отработавшую свой век служанку, должно признать всего лишь анахронизмом. Ибо нуждаются ли в протезах те, у кого могут вырасти новые конечности? Надо ли слепцу судорожно прижимать к груди свою белую палочку, если мы вернем ему зрение? Должен ли желать возвращения слепоты тот, кому сняли с глаз бельмо? Не лучше ли поскорее снести весь этот ненужный хлам в музей прошлого, чтобы упругим шагом направиться к ожидающим впереди трудным, но прекрасным задачам и целям? Пока природа наших тел — их медленный рост, их

быстрый износ — была непробиваемой стеной, неприступной крепостью, границей существования, до тех пор культура помогала бесчисленным поколениям приспособляться к этому неотвратимому положению. Она примиряла с ним, более того, это она, как доказывает автор, превращала изъяны в преимущества, недостатки в достоинства подобно тому, как некто, обреченный ездить на разваливающейся на ходу, скверной и жалкой машине, постепенно полюбил бы ее убогость, стал искать в ее неуклюжести воплощения высшего идеала, в ее непрестанных поломках — законы природы и мироздания, в ее чихающем моторе и скрежещающих шестернях — деяния самого Господа Бога. Пока на примете нет никакой другой машины, это вполне правильная, вполне подходящая, единственно верная и даже разумная политика. Несомненно! Но теперь, когда на горизонте появился новый сверкающий лимузин? Теперь цепляться за поломанные спицы, приходиться в отчаяние от одной только мысли, что придется расстаться с этим уродством, взывать о помощи перед лицом безупречной красоты новой модели? Конечно, психологически это понятно. Ибо слишком долго — тысячелетиями! — длился процесс подчинения человека собственному эволюционно сложившемуся естеству, это гигантское многовековое усилие, направленное на то, чтобы полюбить данную форму существования во всей ее нищете и безобразии, в ее убожестве и физиологических бессмыслицах.

В продолжение всех сменяющих друг друга культурных формаций человек столько всего нагородил вокруг этого, так сам себя загипнотизировал, так убедил себя в окончательности, единственности, исключительности, а главное, безальтернативности своей участи, что теперь при виде избавления от нее пятится, дрожит, закрывает глаза, испускает тревожные крики, отворачивается от своего технического спасителя, хочет сбежать все равно куда, хоть на четвереньках в лес, хочет этот благоуханный цветок науки, это чудо познания сломать собственными руками, растоптать и стереть в порошок, только бы не сдать в утиль давно устаревшие ценности, которые он вскормил собственной кровью, взлелеял во сне и наяву, пока сам себя не заставил полюбить их! Но эти бессмысленные поступки, этот шок, этот ужас с любой разумной точки зрения просто-напросто глупость.

Да, культура — это ошибка! Но лишь в том смысле, в каком было бы ошибкой закрывать глаза при виде света,

отвергать лекарства при недуге, требовать ладана и магических заклинаний, когда у постели больного стоит ученый лекарь. Этой ошибки не существовало, ее просто не было до тех пор, пока не появилось и не поднялось на надлежащую высоту познание; эта ошибка — всего лишь заплата, ослиное упрямство, отвращение, судороги ужаса, которые современные «мыслители» называют интеллектуальным анализом всемирных перемен. Культуру, эту систему протезов, надлежит отвергнуть, чтобы отдать себя под опеку знаний, которые переделают нас, доведя до совершенства, причем эта безупречность будет не выдуманной, не внушенной, не выведенной из хитросплетения внутренне противоречивых понятий и догм, а сугубо деловой, материальной, совершенно объективной, ибо само существование станет совершенным, а не только его истолкование, его интерпретация! Культуре, этой оправдательнице творческой бездарности эволюции, этому адвокатишке, ведущему заведомо проигранное дело, этому защитнику примитивности и соматической небрежности, надлежит удалиться прочь, когда дело переходит в иные, более высокие инстанции, когда разваливается крепостная стена дотолерантерности. Технический прогресс уничтожает культуру? Дает свободу там, где ранее царил деспотизм биологии? Именно так! И вместо того, чтобы омыться слезами свою темницу, нужно ускорить шаг, чтобы выйти из сей мрачной обители. И тогда (это размеренными заключительными аккордами начинается финал) все, что говорится об угрозе, которую несет традиционной культуре новая технология, — правда. Но не нужно этого бояться, не нужно штопать рвущуюся по швам культуру, скреплять ее догмы булавками, противиться вторжению нового знания в нашу плоть и жизнь. Культура останется ценностью, но ценностью иного рода, а именно исторической. Ведь это она была той огромной теплицей, тем материнским лоном, тем инкубатором, в котором расплодились изобретения, в муках породившие науку. И это естественно: как развивающийся зародыш поглощает безжизненное и бездеятельное вещество яичного белка, так развивающаяся техника поглощает, переваривает и претворяет в собственную плоть культуру, ибо именно такова судьба яйца и его зародыша.

Мы живем в переходную эпоху, говорит Клоппер, и никогда не бывает так невыразимо трудно оценить и пройденный путь, и то, что еще предстоит, как в переходные мо-

менты, потому что это — времена полной неразберихи в понятиях. Но процесс начался, он неотвратим. Во всяком случае, не следует полагать, что переход от биологического рабства к свободе самосозидания свершится мгновенно. Усовершенствовать себя раз и навсегда человеку не удастся, и процесс самопеределки будет длиться веками.

«Смею заверить читателя, — продолжает Клоппер, — что проблема, над которой бьется гуманист, придерживающийся традиционных взглядов, испуганный научной революцией, — это всего лишь тоска собаки по отобранному ошейнику. Вся проблема сводится к вере в то, что человек представляет собой клубок противоречий, от которых он не может избавиться даже тогда, когда это технически доступно, — иными словами, что нам нельзя перекраивать тело, ослаблять агрессивность, усиливать интеллект, уравнивать эмоции, переиначивать секс, избавлять человека от старости, от родовых мук, а нельзя потому, что ранее этого никогда не делали, а то, чего никогда не делали, уже именно поэтому плохо. Гуманиста приводит в ужас необходимость излагать причины современного состояния человеческого духа и тела в соответствии с данными науки — как произвольную длинную цепь лотерейных выигрышей и проигрышей, многовековых конвульсий эволюционного процесса, которым вертели во все стороны различные землетрясения, великие оледенения, взрывы звезд, смена магнитных полюсов и прочие бесчисленные происшествия. Все, что эволюция по воле жребия нагромодила сначала у животных, а затем у антропоидов, что свалили в одну кучу отбор и селекция, что изо дня в день закреплялось в генах подобно случайной комбинации костей, брошенных на игорный стол, нас понуждают признать неприкосновенной святыней, нерушимой во веки веков, даже толком не объясняя почему. Можно подумать, что для культуры оскорбителен наш вывод о ее работе, заведомо почтенной, об этом самом большом, самом трудном, самом невероятном и самом лживом из всех обманов, которыми обзавелся homo sapiens, за которые он ухватился, вытолкнутый на простор разумного существования из сомнительного притона, где продолжается мошенничество генов, где эволюционный процесс закрепляет в хромосомах свою шулерскую манеру передергивать карты; и впрямь, эта игра — всего лишь гнусное жульничество, которое никогда не стремилось к какому-либо высшему благу или цели, ведь в этом логове главное — выжить *сегодня*, и никому нет дела до того, что станет *завтра* с существом, которому удалось

выжить лишь в силу компромисса, беспринципности — иными словами, позорно и унижительно. И поскольку все происходит совсем не так, как воображает себе трясущийся от страха гуманист, этот тупица, этот неуч, который без всяких на то оснований называет себя рационалистом, культура будет размыта, раздроблена, разобрана и исправлена согласно тем переменам, которым подвергнется человек. Там, где жизнь зависит от жульничества генов, от компромиссов адаптации, там нет никакой тайны, а есть лишь тяжкое похмелье одураченных, изжога, доставшаяся еще от предка — обезьяны; это — восхождение на небо по воображаемой лестнице, с которой в конце концов всегда падаешь вниз, схваченный за пятки биологией, и не важно, будешь ты приделывать себе птичьи перья или божественный нимб, придумывать непорочное зачатие или опираться на честно проявленный героизм. Итак, все необходимое останется нетронутым, исчезнет лишь, постепенно отмирая, строительный мусор предрассудков, толкований, уверток, втирания очков — словом, всей той казуистики, за которую испокон веков цеплялось несчастное человечество, чтобы приукрасить свое опостылевшее состояние. Из облаков информационного взрыва в грядущем веке явится Homo Optimisans Se Ipse, Autocreator, Самосозидатель, который посмеется над нашими кассандрами (если только ему будет чем смеяться). Мы должны приветствовать эту возможность, мы безусловно должны признать ее счастливым стечением космическо-планетных обстоятельств, а не биться в истерике от ужаса перед силой, которая сведет нас с эшафота, чтобы разбить оковы, которые носит каждый из нас, ожидая, когда иссякнет наконец источник наших физических сил, когда нас настигнет агония самоудушения. И даже если весь мир по-прежнему будет ратовать за то положение, которым эволюция заклеила нас — страшнее, чем мы клеймим последнего преступника, — я никогда с этим не соглашусь и даже со смертного ложа буду хрипеть: «Долой эволюцию, да здравствует самосозидание!»

Пространное изложение, цитатой из которого мы завершаем наш разбор, крайне поучительно. А поучительно оно прежде всего тем, что лишний раз доказывает: в мире нет явного для одних людей воплощения зол и несчастий, которого другие в то же время не могли бы считать олицетворенной благодатью и превозносить до небес. Как полагает рецензент, техноэволюцию нельзя считать панацеей от всех бед хотя бы потому, что критерии оптимизации слишком

сложно связаны между собой, чтобы считать их универсальным средством (то есть завсдомо безупречным практическим кодексом благих деяний). Во всяком случае, мы рекомендуем вниманию читателей книгу «Культура как ошибка», ибо она является еще одной типичной для нашего времени попыткой распознать будущее — все еще туманное, несмотря на совместные усилия футурологов и подобных Клопперу мыслителей.

Cesar Kouska
«DE IMPOSSIBILITATE VITAE»
«DE IMPOSSIBILITATE PROGNOSENDI»
(т. 1—2)
(*Praha, Statni Nakladatelstvi N. Lit.*)

«О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЖИЗНИ»
«О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»

Автор, поименованный на обложке Цезарем Коуской, подписывает предисловие уже как Бенедикт Коуска. Ошибка набора, недосмотр корректуры или же намеренное — хотя и непонятное — коварство? Лично мне симпатичнее имя Бенедикт, его-то я и буду придерживаться. Итак — профессору Б.Коуске я обязан несколькими приятнейшими часами своей жизни, проведенными за чтением его труда. Здесь излагаются взгляды, безусловно противоречащие научной ортодоксии; в то же время и речи нет о чистом безумии; книга находится на полпути между тем и другим, в той промежуточной зоне, где нет ни дня, ни ночи, а разум дает поблажку фантазии, однако же не настолько, чтобы впасть в бессмыслицу.

Профессор Коуска написал книгу, в которой доказывает неизбежность такой постановки вопроса: либо теория вероятностей, на которой покоится естествознание, в корне неверна, либо никакого животного мира во главе с человеком не существует. Во втором томе профессор доказывает: чтобы прогностика, или футурология, перестала быть чистой иллюзией, намеренным или ненамеренным очковтирательством и стала реальностью, эта научная дисциплина должна отказаться от теории вероятностей в пользу совершенно но-

вой теории, основанной, как пишет Коуска, «на антиподиальных аксиомах базовой теории распределения фактуально небыточных ансамблей в пространственно-временном континууме высшего порядка» (эта цитата, кстати, показывает, что чтение книги — в ее теоретической части — связано с известными трудностями).

Бенедикт Коуска начинает с того, что теория эмпирической вероятности изначально дефектна. К понятию вероятности мы прибегаем, когда не знаем чего-либо с полной уверенностью. Но неуверенность эта носит либо чисто субъективный характер (я не знаю, что произойдет, но кто-то другой, возможно, и знает), либо объективный (никто не знает и знать не может). Субъективная вероятность — это протез при информационном увечье; не зная, какая лошадь возьмет приз, и угадывая лишь по числу лошадей (если их четыре, то у каждой один шанс из четырех на победу), мы поступаем, как слепой в комнате, заставленной мебелью. Вероятность подобна трости слепца, которой он нащупывает дорогу. Если бы он видел, то не нуждался бы в палке, а если бы я знал, какая лошадь резвее всех, то не нуждался бы в теории вероятностей. Как известно, спор о том, объективно или субъективно понятие вероятности, делит научный мир на два лагеря. Одни признают существование обоих родов вероятности, о которых сказано выше, другие — лишь субъективную вероятность, поскольку, чему бы ни предстояло случиться, *мы* не можем с достоверностью об этом узнать. Итак, одни полагают, что непредсказуемость будущих событий характеризует лишь наши знания о них, другие — что сами эти события.

То, что случается, если на самом деле случается, — то и случается; таков главный тезис профессора Коуски. Вероятность появляется лишь там, где нечто еще не успело случиться. Так утверждает наука. Но любому понятно, что если пули двух дуэлянтов расплещиваются друг о друга в полете, или вы ломаете зуб о перстень, уроненный вами в море шесть лет назад и проглоченный как раз той рыбой, что подана к столу, или во время осады города на складе кухонной утвари звучит, в темпе три четверти, сонатина си-бемоль мажор Чайковского, исполняемая шрапнелью, которая тюкает по большим и малым кастрюлям в точном согласии с партитурой, — что все это, если бы и случилось, крайне маловероятно. Наука по этому поводу говорит, что подобные факты содержатся — хотя и с мизерной частотой — в математическом множестве событий данного рода, то есть во множестве всех дуэлей, во множестве поедания рыб и на-

хождения в них потерянных когда-то вещей, а также во множестве обстрелов посудных лавок шрапнелью.

Но наука, продолжает профессор Коуска, просто морочит нам голову, поскольку рассуждения о таких множествах — чистая фикция. Теория вероятностей только и может, что вычислить, как долго придется ждать некоего события с определенной, крайне малой вероятностью, или сколько раз пришлось бы стреляться на дуэли, терять перстни и палить по кастрюлям, чтобы сбылись упомянутые выше невероятности. Но все это вздор — чтобы произошло нечто крайне маловероятное, вовсе не нужно, чтобы множество событий, к которому оно принадлежит, представляло собой непрерывную серию. Если я бросаю десять монет разом, зная, что вероятность выпадения одновременно десяти орлов или десяти решек составляет лишь 1:1024, мне вовсе не обязательно бросать по меньшей мере 1024 раза, чтобы вероятность выпадения десяти орлов или решек стала равна единице. Ведь я всегда могу сказать, что мои бросания — продолжение эксперимента, в который входят все прошлые бросания десяти монет сразу. За последние пять тысяч лет их было, конечно, без счету, и я, собственно, вправе ожидать, что с первого же раза выпадут сплошные орлы или решки. Между тем, говорит профессор Коуска, попробуйте-ка построить свои ожидания на этом выводе! С научной точки зрения он совершенно логичен, ведь, как ни бросай — безостановочно или делая минутные перерывы, чтобы съесть кнедлик или опрокинуть рюмку в трактире, и даже если бросать будет не один человек, а всякий раз новый, и не в один день, а раз в неделю или в год, — все это никак не влияет на распределение вероятностей; поэтому то обстоятельство, что десять монет бросали уже финикийцы, сидя на бараньих шкурах, и греки, спалив Троию, и римские сутенеры эпохи Империи, и галлы, и германцы, и остготы, и турки, перегоняя пленников в Стамбул, и торговцы коврами в Галате, и те, что торговали детишками после крестового похода детей, и Ричард Львиное Сердце, и Робеспьер, и десятки тысяч прочих заядлых бросателей — все это тоже совершенно не важно, а значит, бросая монеты, мы можем считать, что множество необычайно велико и наши шансы на выпадение десяти орлов или решек разом просто огромны! Но, говорит профессор Коуска, попробуйте кинуть сами, придерживая какого-нибудь ученого-физика или иного вероятностника за локоть, чтоб не сбежал, ведь эта публика страх как не любит видеть посрамление своего метода. Попробуйте, и сами увидите, что ничего не получится.

Затем профессор Коуска переходит к масштабному мысленному эксперименту, в качестве объекта выбрав уже не какие-то гипотетические явления, но часть своей собственной биографии. Мы вкратце повторим за ним наиболее любопытные моменты этого анализа.

Некий военный врач во время первой мировой войны вышвырнул за дверь сестру милосердия, по ошибке вошедшую в палату, где он как раз оперировал. Будь сестра лучше знакома с госпиталем, она бы не перепутала операционную и перевязочную палаты, а не войди она в операционную, хирург бы ее не вышвырнул; не вышвырни он ее, его начальник, полковой врач, не сделал бы ему замечание за неподобающее обращение с дамой (ибо это была сестра-волонтерка, барышня из лучшего общества), а не сделай начальник ему замечание, молодой хирург не счел бы нужным извиниться перед сестрой милосердия, не пригласил бы ее в кондитерскую, не влюбился, не женился, так что не было бы на свете и профессора Бенедикта Коуски — ребенка именно этой супружеской пары.

Из вышеизложенного, казалось бы, следует, что вероятность появления на свет профессора Бенедикта Коуски (как новорожденного, а не как заведующего кафедрой аналитической философии) определялась вероятностью того, что сестра милосердия в такой-то месяц, день и час ошибется дверью. Но это отнюдь не так. В тот день молодой хирург Коуска вовсе не должен был оперировать; но его коллега, доктор Попихал, относил тетке белье из прачечной, света на лестнице не было, так как пробка перегорела, в результате чего он свалился с третьей ступеньки и вывихнул ногу в лодыжке; Коуске пришлось его заменить. Если бы пробка не перегорела, Попихал не вывихнул бы ногу, и тогда оперировал бы он, а не Коуска; Попихал, известный своей галантностью, не употребил бы соленых словечек для выдворения из операционной сестры, вошедшей туда по ошибке, а не обидев ее, не счел бы нужным уславливаться о свидании; впрочем, независимо от всяких свиданий совершенно ясно, что из гипотетической связи Попихала с сестрой милосердия получился бы не Бенедикт Коуска, но, самое большее, некто совершенно другой, чьи шансы появиться на свет в работе не рассматриваются.

Профессиональные статистики, сознающие, насколько сложно положение дел в мироздании, обычно увивают от рассмотрения вероятности таких событий, как чье-то появление на свет. Чтобы отвязаться, они говорят, что дело здесь

в скрещении необозримого числа причинно-следственных связей, и хотя в принципе, *in abstracto*, точка пространственно-временного континуума, в которой данный сперматозоид сливается с данной яйцеклеткой, детерминирована, однако же *in concreto* никогда не удастся накопить достаточно полной, а в сущности, всеохватывающей информации, чтобы дать реальный прогноз (какова вероятность рождения индивида X с характеристиками Y, то есть *как долго* пришлось бы людям размножаться, чтобы индивид с характеристиками Y наверняка появился бы на свет). Но это, дескать, невозможность всего лишь *техническая*, а не принципиальная; связанная с трудностью собирания информации, а не с тем, что такой информации вообще нет на свете. Эту лживость статистической науки профессор Бенедикт Коуска намерен заклеить и изобличить.

Как мы уже знаем, вероятность рождения профессора Коуски не сводится к альтернативе «та дверь — не та дверь». Тут надо принять в расчет не одно, но множество случайных совпадений: и то, что сестру милосердия направили в этот, а не другой госпиталь; и то, что ее улыбка в тени, отбрасываемой чепцом, издаലെка напоминала улыбку Джоконды; а также то, что в Сараеве застрелили эрцгерцога Фердинанда: ведь не будь он застрелен, война бы не вспыхнула, а не вспыхни война, наша барышня не стала бы сестрой милосердия; поскольку же родом она была из Оломоуца, а хирург — из Остравы, они, вернее всего, никогда бы не встретились ни в госпитале, ни где-либо еще. Поэтому нельзя пренебречь и общей теорией баллистики и стрельбы по эрцгерцогам, а так как попадание в эрцгерцога было обусловлено, в частности, движением его автомобиля, то и теорию кинематики автомобилей выпуска 1914 года следовало бы принять в расчет, и еще — психологию террористов: не каждый на месте этого серба стал бы стрелять в эрцгерцога, а если б и стал, не попал бы, дрогнул у него рука от волнения, а значит, то обстоятельство, что у этого серба была твердая рука, меткий глаз и никакой дрожи, тоже внесло свой вклад в распределение вероятностей рождения профессора Коуски. Не следует забывать и об общем политическом положении Европы летом 1914 года.

Впрочем, до женитьбы не дошло ни в этом году, ни в 1915-м, когда молодая пара познакомилась ближе, — потому что хирурга перевели в крепость Перемышль. Оттуда он должен был ехать во Львов, где жила девица Марика, которую родители прочили ему в жены на почве общих деловых

интересов. Но из-за наступления Брусилова и маневров южного крыла русской армии Перемышль был окружен, и вскоре хирург отправился не во Львов к невесте, а в русский плен, ибо крепость пала. Так вот: сестра милосердия запомнилась ему лучше невесты потому, что была не только хороша собой, но и пела романс «Усни, мой друг, на ложе из цветов» гораздо лучше Марики, у которой был полип головных связок и по этой причине — хроническая хрипота. Правда, полип ей собирались удалить в 1914 году, но отоларинголог, который должен был его удалить, проигрался в пух в львовском казино и, не будучи в состоянии уплатить долг чести (он был офицер), вместо того чтобы пустить себе пулю в лоб, украл полковую кассу и сбежал в Италию; это происшествие возбудило в Марике глубокую неприязнь к отоларингологам; так и не решившись на операцию, она стала невестой, в качестве невесты должна была петь «Усни, мой друг, на ложе из цветов», и ее пение, вернее, воспоминание о ее хриплом и сиплом голосе, столь не похожем на чистый тембр пражской сестры милосердия, стало причиной того, что эта последняя взяла верх над образом Марики в памяти военнопленного доктора Коуски. Так что, вернувшись в 1919 году в Прагу, он и не думал искать невесту, но сразу поехал в тот дом, где барышней на выданье жила сестра милосердия.

Впрочем, у той было целых четыре кавалера, и все они добивались ее руки, тогда как с Коуской ее не связывало ничего, кроме открыток, которые он посылал ей из плена, и сами по себе эти открытки, изуродованные штемпелями военной цензуры, не возбудили бы в ней особенно прочных чувств. Но ее первым серьезным поклонником был нский Гамурас, летчик, который не летал, поскольку у него выпала грыжа, стоило ему нажать на педаль управления, а все потому, что в тогдашних самолетах эта педаль перемещалась с трудом, ведь дело было на самой заре авиации; так вот, Гамураса однажды уже опсрировали, но неудачно, и грыжа выпала снова, потому что врач-оператор что-то напутал, накладывая швы; а сестра милосердия стыдилась выйти за летчика, который, вместо того чтобы летать, торчит в больничной приемной либо по газетным объявлениям пытается раздобыть настоящий, довоенный грыжевой бандаж в надежде снова вернуться в строй; но из-за войны о приличном бандаже нечего было и думать.

Заметим, что в этой точке нашего анализа проблема «быть или не быть» профессора Коуски переплетается с ис-

торией авиации вообще и с моделями аэропланов, принятых на вооружение в австро-венгерской армии, в частности. Или, конкретнее: на рождение профессора Коуски благотворно повлияло то обстоятельство, что в 1911 году Австро-Венгрия приобрела лицензию на строительство бипланов, у которых педали управления шли очень туго, а строить их должна была небольшая фирма в Винер-Нейштадте, что и случилось в действительности. Но с этой фирмой и ее лицензией (купленной в Америке, у Фармана) конкурировала на торгах французская фирма «Антуанет», имевшая хорошие виды на успех, потому что генерал-майор Прхл из императорско-королевского интендантства непременно склонил бы чашу весов в ее сторону, так как имел любовницу-франуженку, служившую у него гувернанткой, и потому втайне любил все французское, а это изменило бы распределение вероятностей, поскольку французская машина была бипланом с выдвижным элероном, рулевым оперением и очень легким ходом педали; такая педаль не причинила бы Гамурасу упомянутых выше забот, и сестра милосердия, возможно, все-таки вышла бы за него. Правда, в этом биплане туговато ходил *ручной* рычаг управления, а руки у Гамураса были не слишком крепкие, он даже страдал «писчим спазмом» и подписывался не без труда, особенно если учесть, что его полное имя было Адольф Альфред фон Мессен-Вейденек цу Ориола унд Мюннесакс, барон Гамурас. Так что даже без грыжи Гамурас, по причине слабости рук, мог потерять привлекательность в глазах сестры милосердия.

Но гувернантке попался третьеразрядный тенор из оперетки, необычайно быстро сделал ей ребенка, генерал-полковник Прхл указал ей на дверь, утратил симпатию ко всему французскому, и армия осталась с лицензией Фармана, перекупленной фирмой из Винер-Нейштадта. С опереточным тенором гувернантка свела знакомство на Ринге*, куда выводила гулять старших дочерей генерала Прхла, поскольку у младшей был коклюш и здоровых детей старались изолировать от больного ребенка, так что если б не коклюш, занесенный одним знакомым кухарки Прхлов, который возил кофе на обжарку и до обеда непременно заглядывал к Прхлам, то есть к кухарке, — не было бы ни болезни младшенькой, ни прогуливания детей по Рингу, ни знакомства с тенором, ни измены, а значит, «Антуанет» все-таки победи-

* Площадь в старой части Вены

ла бы на торгах. Вышло, однако, что Гамурас получил отказ, женился на дочери поставщика императорского двора и завел с нею троих детей, в том числе одного без грехи.

Второй кавалер сестры милосердия, капитан Мисня, не имел никаких изъянов, был направлен на итальянский фронт и схватил ревматизм (дело было зимой, в Альпах). О причинах его смерти мнения расходятся: капитан парился в бане, граната 22-го калибра угодила в парилку, капитан вылетел прямо на снег, ревматизм, говорят, как рукой сняло, зато началось воспаление легких. Если бы профессор Флеминг открыл пенициллин не в 1940, а, скажем, в 1910 году, то Мисню наверняка вылечили бы, он вернулся бы в Прагу на правах выздоравливающего, и шансы появления на свет профессора Коуски снова крайне уменьшились бы. А значит, хронология открытий антибактериальных препаратов сыграла видную роль в возникновении профессора Б.Коуски.

Третий претендент был солидный купец-оптовик, однако он не нравился барышне; четвертый уже точно должен был жениться на ней, но дело расстроилось из-за кружки пива. У этого последнего кавалера были огромные долги, страстное желание расплатиться с ними из приданого и необычайно богатое прошлое. Барышня вместе с семьей и женихом отправилась на лотерею-аллсгри Красного Креста, а так как на обед были зразы по-венгерски, ее отец почувствовал сильную жажду, вышел из палатки, где вместе со всеми слушал военный оркестр, чтобы выпить бочкового пива; тут он заметил своего однокашника, который как раз собирался домой и, если бы не пиво, ни за что бы не встретился с родителем барышни; этот однокашник, через свояченицу, знал всю подноготную жениха и не замедлил подробнейшим образом поведать об этом отцу невесты. Похоже, кое-что он добавил от себя, во всяком случае, отец вернулся крайне рассерженным, и помолвка, уже было решенная, расстроилась бесповоротно. Но если бы отец не сл зраз по-венгерски, не почувствовал жажду, не вышел напиться пива, не встретил однокашника, не узнал о долгах жениха, обручение состоялось бы, а по военному времени и свадьбу сыграли бы вмиг. Таким образом, избыток красного перца в зразях 19 мая 1916 года спас жизнь профессора Коуски.

Что же касается хирурга Коуски, то он, вернувшись из плена в звании батальонного врача, посватался к барышне. Злые языки известили его о соперниках, а особенно о покойном капитане Мисне, у которого-де был нешуточный роман с барышней в то самое время, когда она отвечала на

открытки военнопленного. Хирург Коуска, по натуре довольно вспыльчивый, чуть не расторгнул уже состоявшуюся помолвку, тем более что он получил несколько писем, отправленных барышней капитану Мисне (Бог знает как они попали в руки некой зловредной особы в Праге), вместе с анонимной запиской, где объяснялось, что барышне он нужен был как пятое колесо или, если угодно, как железный резерв. Окончательного разрыва удалось избежать благодаря разговору, произошедшему между хирургом и его дедом, который сызмальства был ему за отца, поскольку родной отец, мот и гуляка, вовсе не занимался его воспитанием. Дед же был старцем необычайно передовых убеждений и считал, что молоденькой девушке нетрудно вскружить голову, особенно если вскруживающий носит мундир и твердит о грозящей ему гибели на поле брани.

Так что Коуска женился на барышне. Но, будь у него дед иных убеждений или умри сей либерал, не дожив до восьмидесяти, брак наверняка бы расстроился. Дед, однако, вел на редкость здоровый образ жизни и регулярно принимал водные процедуры по методу патера Кнейпа; но в какой степени ежеутренний холодный душ, продлевая ему жизнь, увеличил вероятность рождения профессора Б.Коуски, рассчитать невозможно. Отец хирурга Коуски, апостол женоненавистничества, ни за что не вступился бы за ославленную девушку; но он не имел на сына никакого влияния с тех пор, как, познакомившись с господином Сержем Мдивани, поступил к нему в секретари, уехал вместе с ним в Монте-Карло и вернулся, твердо веря в систему выигрыша в рулетку, сообщенную ему некой вдовой-графиней; по этой системе он спустил все свое состояние, был взят под опеку и поневоле отдал сына на воспитание Коуске-деду. Но если б отец хирурга не ушел с головою в игру, то Коуска-дед от него не отрекся бы, и профессор Коуска опять-таки не появился бы на свет.

Фактором, склонившим чашу весов в пользу рождения профессора, был как раз господин Серж, он же Сергей Мдивани из Боснии. Когда ему осточертело его состояние, жена и теща, он взял Коуску (отца хирурга) в секретари и уехал на воды, ибо Коуска-отец знал языки и был человек светский, а Мдивани, вопреки своему имени, не владел ни одним языком кроме хорватского. Но если бы смолоду за господином Мдивани лучше приглядывал *его* отец, то вместо того, чтобы заводить шашни с горничными, он учился бы языкам, не нуждался бы в переводчиках, не повез бы отца Коуски

на воды, тот не вернулся бы из Монте-Карло шулером, а следовательно, не был бы проклят и выброшен из дому своим отцом, который поэтому не взял бы хирурга к себе еще ребенком, не внушил бы ему свои принципы, хирург порвал бы с барышней, и профессор Бенедикт Коуска опять-таки не появился бы на свет. Так вот, отцу господина Мдивани было не до школьных успехов сына в то время, когда тому полагалось учить языки, поскольку наружностью сын напоминал ему некое духовное лицо, относительно которого господин Мдивани-старший питал подозрения, не он ли — настоящий отец маленького Сергея. И вот, ощущая к Сергунчику подсознательную неприязнь, он не слишком за ним приглядывал, из-за чего Сергунчик и не выучился, как следовало бы, языкам.

Вопрос об отце ребенка был и вправду непрост, поскольку даже мать имела сомнения насчет того, чей он сын — ее мужа или попа, а сомневалась она потому, что верила в зачатие от загляду. В загляд же она верила оттого, что житейским авторитетом была для нее бабка-цыганка; стоит отметить, что мы говорим о взаимосвязи между бабкой матери Сергея Мдивани и вероятностью рождения профессора Бенедикта Коуски. Мдивани родился в 1861 году, его мать — в 1832, а бабка-цыганка — в 1798. Следовательно, то, что происходило в Боснии и Герцеговине на исходе восемнадцатого столетия, то есть за сто тридцать лет до рождения профессора Коуски, существенно повлияло на распределение вероятностей его рождения. Но ведь и бабка-цыганка появилась не на пустом месте. Она не хотела идти замуж за православного хорвата, тем более что вся Югославия была еще под турецким игом и замужество с гяуром не сулило ей ничего хорошего. Но у цыганки был дядя, много старше ее, который воевал у Наполеона и будто бы даже участвовал в отступлении Великой армии из-под Москвы. Во всяком случае, с наполеоновских войн он вернулся, убежденный в маловажности вероисповедных различий, ибо чего только не посмотрелся на службе, и потому склонял племянницу выйти за хорвата: мол, хоть и гяур, но парень хороший и видный. Выйдя за хорвата, бабка со стороны матери господина Мдивани увеличила шансы рождения профессора Коуски. Что же до дяди, то он не сражался бы у Наполеона, не окажись он во время итальянской кампании в районе Аппенин, куда послал его хозяин, овцевод, с партией полушубков. Дядя был захвачен французским конным разъездом; будучи поставлен перед выбором: идти в рекруты или в обозники,

он предпочел носить оружие. Так вот, если б хозяин дядицыгана не разводил овец или даже разводил, но не выделывал бараньих полушубков, которые хорошо раскупались в Италии, то конный разъезд не схватил бы цыганского дядю, и тот бы не навоевался в Европе, сохранил консервативные взгляды и не уговорил бы племянницу выйти за хорвата. А тогда и мать Сергунчика, не имея бабки-цыганки и не веря в загляд, не считала бы, что от одного лишь глядения на батюшку, разводящего руками и распевающего басом у алтаря, можно зачать сына — вылитого попа; имея совершенно чистую совесть, она не боялась бы мужа, защитилась бы от обвинений в неверности, а муж, не видя уже ничего дурного в наружности сына, следил бы за его учением, Сергей выучился бы языкам, не нуждался бы ни в каких переводчиках, так что отец хирурга Коуски не поехал бы с ним на воды, не стал бы мотом и игроком и, будучи женоненавистником, уговорил бы сына-хирурга бросить барышню за амуры с покойным капитаном Мисней, вследствие чего профессора Б.Коуски опять-таки не было бы на свете.

А теперь попрошу вас учесть: до сих пор мы рассматривали распределение вероятностей рождения профессора Коуски, исходя из того, что оба его потенциальных родителя существуют, и последовательно уменьшали вероятность его рождения путем введения крайне малых, вполне вероятных изменений в поведении отца или матери профессора Коуски, изменений, обусловленных поступками третьих лиц (генерала Брусилова, бабки-цыганки, матери господина Мдивани, барона Гамураса, гувернантки-француженки генерал-майора Прхла, императора Франца-Иосифа, эрцгерцога Фердинанда, братьев Райт, хирурга, оперировавшего грыжу барона, отоларинголога Марики и т.д.). Но ведь точно так же можно рассмотреть вероятность появления на свет барышни, которая, будучи сестрой милосердия, вышла за хирурга Коуску или вероятность рождения самого хирурга. Миллиарды, триллионы событий должны были произойти так, как они действительно произошли, чтобы появилась на свет эта барышня и чтобы на свет появился хирург Коуска. И столь же бесчисленное множество событий обусловило рождение их отцов, дедов, прадедов и т.д. Вряд ли стоит доказывать, что если б, к примеру, в 1673 году не появился на свет портной Властимил Коуска, то не было бы ни его сына, ни внука, ни правнука, а значит, и прадеда хирурга Коуски, а значит, и его самого, а значит, и профессора Бендикта

Но все это справедливо также по отношению к тем предкам рода Коуски и рода сестры милосердия, которые, еще не ставши людьми, вели четверорукий древесный образ жизни в раннем палеолите — когда первый палеопитек, догнав одного из этих четвероруких и обнаружив, что имеет дело с четверорукой, овладел ею под эвкалиптовым деревом, росшим там, где ныне раскинулся пражский район Мала Страна. В результате смещения хромосом нашего темпераментного палеопитека и четверорукой прачеловекини возник тот тип мейоза и такое сочетание генов, которое, передаваясь через 30 000 поколений, создало на лице сестры милосердия ту самую улыбку, смутно напоминающую улыбку Джоконды на полотне Леонардо, что покорила молодого хирурга Коуску. А ведь эвкалипт мог расти четырьмя метрами далее; в таком случае четверорукая, убегая от палеопитека, не упала бы, споткнувшись о толстый корень, успела взобраться на дерсво и не зачала, а раз так, то переход Ганнибала через Альпы, крестовые походы, Столетняя война, захват турками Боснии и Герцеговины, московский поход Наполеона и десятки триллионов прочих событий пошли бы чуть-чуть по-другому, с еле заметными изменениями. И в результате мы бы имели такое положение вещей, при котором профессор Бенедикт Коуска никоим образом не смог бы родиться; отсюда видно, что распределение вероятностей его существования содержит в себе подкласс вероятностей, в котором содержится распределение всех эвкалиптовых деревьев, росших на месте нынешней Праги около 349 000 лет назад. А эвкалипты выросли там потому, что убежавшие от саблезубых тигров большие стада слабеющих мамонтов, объевшись цветами эвкалипта и страдая изжогой (этот цветок сильно жжет небо), пили много воды из Влтавы; поскольку же влтавская вода в ту эпоху обладала слабительными свойствами, воспоследовало массовое испражнение мамонтов, благодаря которому семена эвкалипта принялись там, где их отродясь не бывало; но если бы притоки верхнего течения тогдашней Влтавы не насытили воду сульфатами, то мамонты, не схвативши поноса, не засеяли бы эвкалиптовую рощу на землях нынешней Праги, четверорукая не упала бы, убегая от палеопитека, и не возникло бы то сочетание генов, что одарило барышню улыбкой Джоконды, прельстившей молодого хирурга; а значит, если бы не понос мамонтов, профессор Бенедикт Коуска тоже не появился бы на свет. Но надо еще учесть, что воды Влтавы обогатились сульфатами примерно в двух- и полумиллионном году до нашей

эры — вследствие перемещения главной геосинклинали горных пород, из которых сложились центральные Татры; в процессе горообразования сульфатные газы вытеснялись из нижнеюрских мергелевых пластов, потому что в районе Динарского нагорья случилось землетрясение, вызванное падением метеорита с массой порядка миллиона тонн; этот метеорит входил в поток Леонид, и, если бы он упал не на Динарское нагорье, а чуть дальше, геосинклиналь не прогнулась бы, сульфатные отложения не проникли бы на поверхность и не попали во Влтаву, ее вода не стала бы причиной поноса у мамонтов, из чего следует, что, не упав метеорит на Динарское нагорье два с половиной миллиона лет назад, профессор Коуска тоже не смог бы родиться.

Профессор Коуска замечает, что из его умозаключений иные склонны делать ложный вывод, а именно: будто весь Космос есть нечто вроде машины, устроенной именно так, а не иначе для того лишь, чтобы профессор Коуска мог родиться. Но это очевидная чушь. Представим себе, что кто-то решил рассчитать вероятность возникновения Земли за миллиард лет до ее образования. Он не сможет точно предвидеть, какого рода планетогенный вихрь образует ядро будущей Земли; он не рассчитает сколько-нибудь точно ни ее будущую массу, ни химический состав. Тем не менее, основываясь на астрофизических данных, на теории гравитации и теории строения звезд, он предскажет, что у Солнца появится планетная семья и среди прочих планет окажется планета номер три (считая от центра системы); и именно эту Планету можно признать Землей, даже если она окажется не совсем такой, как предсказано, ведь планета тяжелее Земли на десять миллиардов тонн, или имеющая две небольшие Луны вместо одной большой, или планета, в большей степени покрытая океанами, — по-прежнему была бы Землей.

Но если бы профессор Коуска, предсказанный кем-нибудь за полмиллиона лет до нашей эры, родился бы в виде двуногого сумчатого, или желтокожей женщины, или буддийского монаха, он, безусловно, не был бы профессором Коуской, хотя, возможно, и был бы все-таки человеком. Такие объекты, как солнца, планеты, облака, камни, вовсе не уникальны, а всякий живой организм уникален. Любой человек — нечто вроде главного выигрыша в лотерее, и притом в лотерее, в которой выигрывает только один билет из терагигамегамультисантимиллионов. Почему же мы не ощущаем всечасно эту невообразимую, чудовищную ничтож-

ность шансов своего — и чужого — появления на свет? Потому, отвечает профессор Коуска, что сколь бы невероятным образом что-либо ни произошло — раз уж оно произошло, то произошло! А также потому, что в обычной лотерее мы видим массу пустых билетов и один выигравший; между тем в экзистенциальной лотерее проигравших билетов не видно. «Пустые билеты в лотерее бытия невидимы!» — объясняет профессор Коуска. Проиграть в этой лотерее значит не родиться, а не родившегося нет ни на столечко. Теперь процитируем автора, который на стр. 619 1-го тома «De Impossibilitate Vitae» говорит (строка 23 сверху):

«Одни люди появляются на свет потому, что брак их родителей заранее был предрешен, то есть будущий отец ребенка и его будущая мать были просватаны друг за друга еще в детстве. Человеку, узревшему дневной свет в качестве ребенка такой супружеской пары, может показаться, что вероятность его рождения была значительна, в отличие от того, кто знает, что его отец с матерью познакомились в ходе крупных миграций восного времени, или, допустим, он был зачат потому лишь, что некий наполеоновский гусар, бежав с поля сражения при Березине, кроме кувшина с водой похитил у встреченной им поселянки еще и девичью честь. Такой человек, пожалуй, решит, что если б гусар сильнее спешил, чувствуя за своей спиной казацкие сотни, или если его (этого человека) мамаша не искала неведомо чего на краю деревни, а в страхе Божьем сидела бы себе дома за печкой, то и его самого бы на свете не было, то есть что его будущее бытие висело на волоске, в отличие от бытия того, чьи родители заранее были просватаны.

Впечатление это ошибочно: ведь при оценке вероятности появления на свет кого бы то ни было нет никаких оснований считать нулевой точкой шкалы рождение будущего отца и будущей матери данного человека. Если имеется лабиринт, состоящий из тысячи комнат, соединенных тысячью дверей, то вероятность пройти его до конца определяется суммой всех выборов во всех комнатах, через которые надо пройти, а не просто вероятностью выбора нужной двери в одной из комнат. Тот, кто ошибется дверью в комнате номер сто, заблудится так же, как тот, кто ошибется в первой или тысячной комнате. Точно так же нет оснований считать, будто только мое рождение подлежит закону распределения вероятностей, но не рождение моих родителей, дедов, прадедов, бабок, прабабок и т.д., вплоть до возникновения жизни на Земле. Нет смысла утверждать, что факт существова-

ния каждого конкретного индивида в высшей степени маловероятен. В высшей степени — по отношению к чему? Что принять за точку отсчета? Если у нас ее нет, если нет начала шкалы отсчета, измерения, а следовательно, и оценка вероятности становится пустым звуком.

Из моих рассуждений вовсе не следует, будто мое появление на свет было предустановлено еще до того как сформировалась Земля; напротив, из них вытекает, что меня могло вовсе не быть и никто бы этого не заметил. Все, что может сказать статистика о прогнозе рождения индивида, будет нонсенсом. Ибо она полагает, что любой человек, как бы мало ни был он вероятен сам по себе, все же возможен как реализация неких вероятностей; между тем я доказал, что по отношению к любому лицу, хотя бы к пекарю Муку, справедливо следующее: отступая все дальше и дальше во времени от момента его рождения, мы можем найти временную точку, в которой предсказание о появлении на свет пекаря Мука характеризуется вероятностью, *сколь угодно мало* отличающейся от нуля. Когда мои родители очутились в брачной постели, вероятность моего появления на свет составляла, скажем, один к ста тысячам (учтем к тому же довольно высокую после войны смертность новорожденных). Во время осады Перемышля эта вероятность составляла всего лишь один к миллиарду; в 1900 году — один к триллиону; в 1800 году — один к квадриллиону, и так далее. Наблюдатель, который вычислял бы вероятность моего рождения, сидя под эвкалиптом на Малой Стране, в межледниковую эпоху, после миграции мамонтов и их желудочного расстройства, определил бы вероятность того, что я узрю свет Божий, как один к центиллиону. Величины порядка гига появляются, если отнести точку оценки на миллиард лет назад, порядка тера — на три миллиарда, и т.д.

Иначе говоря, всегда можно найти такую точку на временной оси, в которой оценка вероятности чьего-либо рождения сколь угодно мала, то есть просто отсутствует: ведь сколь угодно мало отличающаяся от нуля вероятность равнозначна сколь угодно большой невероятности.

Говоря это, мы вовсе не утверждаем, будто ни нас, ни кого-либо другого на свете нет. Напротив: мы не сомневаемся ни в чужом существовании, ни в своем собственном. Мы лишь повторяем утверждения физики, ибо именно с точки зрения физики, а не здравого смысла на свете нет и никогда не было ни одного человека. А вот и доказательство: с точки зрения физики событие, вероятность которого со-

ставляет один к центиллиону, невозможно. Такое событие — при допущении, что оно принадлежит множеству событий, происходящих ежесекундно, — просто не успеет случиться в Космосе.

От сегодняшнего дня до конца Вселенной пройдет меньше центиллиона секунд. Звезды излучают свою энергию гораздо раньше. А значит, время существования Космоса в его нынешнем виде меньше времени, необходимого, чтобы дождаться события, происходящего раз в центиллион секунд. С точки зрения физики ожидать события столь маловероятного — все равно что ожидать события, которое наверняка не наступит. Такие явления в физике именуются термодинамическими чудесами. К ним относится, например, замерзание воды в стоящем на огне котелке, самопроизвольный подъем с пола осколков разбившегося стакана и их соединение в целый стакан, и т.п. Расчеты показывают, что такие «чудеса» все же более вероятны, чем событие, вероятность которого — один к центиллиону. Добавим еще, что до сих пор мы учитывали лишь половину факторов, влияющих на оценку вероятности, то есть только макроскопические события. А ведь рождение конкретного индивида зависит и от микроскопических факторов, например, от того, какой сперматозоид с какой яйцеклеткой соединится у данной родительской пары. Если бы мать зачала меня в другой день и час, чем это случилось в действительности, родился бы не я, а кто-то другой; это следует уже из того, что моя мать действительно зачала в другой день и час, а именно за год до моего рождения, и родила девочку, мою сестру; вряд ли стоит доказывать, что она — не я. Эту микростатистику тоже следовало бы учесть при оценке вероятности моего появления на свет; тем самым центиллионы невероятности доходят до мираллионов.

Итак, с точки зрения термодинамики существование любого человека — явление космически невозможное, коль скоро оно до такой степени мало вероятно, что просто непредсказуемо. Физика — предположив, что какие-то люди существуют, — может предсказывать, что они будут рождать других людей; но о том, какие конкретно индивиды будут рождаться, она должна молчать, чтобы не впасть в полный абсурд. А значит, либо физика ошибается, провозглашая универсальную значимость теории вероятностей, либо люди просто не существуют, а вместе с ними — собаки, акулы, мхи, лишайники, ленточные черви, летучие мыши и плауны, ибо сказанное справедливо для всего живого. «Ех

physical positione vita impossibilis est, quod erat demonstrandum»*.

Этими словами заканчивается книга «De Impossibilitate Vitae», которая служит, собственно, лишь огромным вступлением ко второму тому дилогии. Здесь автор провозглашает тщетность предвидений будущего, основанных на вероятностных оценках. Он хочет показать, что история сплошь состоит из фактов, совершенно немыслимых с точки зрения теории вероятностей. Профессор Коуска переносит воображаемого футуролога в начало XX века, наделив его всеми знаниями той эпохи, чтобы задать ему ряд вопросов. Например: «Считаешь ли ты вероятным, что вскоре откроют серебристый, похожий на свинец металл, который способен уничтожить жизнь на Земле, если два полушария из этого металла придвинуть друг к другу, чтобы получился шар величиной с большой апельсин? Считаешь ли ты возможным, что вон та старая бричка, в которую господин Бенц зачихнул стрекочущий двигатель мощностью в полторы лошади, вскоре так расплодится, что от удушливых испарений и выхлопных газов в больших городах день обратится в ночь, а приткнуть эту повозку куда-нибудь станет настолько трудно, что в громаднейших мегаполисах не будет проблемы труднее этой? Считаешь ли ты вероятным, что благодаря принципу шутих и пинков люди вскоре смогут разгуливать по Луне, а их прогулки в ту же самую минуту увидят в сотнях миллионов домов на Земле? Считаешь ли ты возможным, что вскоре появятся искусственные небесные тела, снабженные устройствами, которые позволят из космоса следить за любым человеком в поле или на улице? Возможно ли, по-твоему, построить машину, которая будет лучше тебя играть в шахматы, сочинять музыку, переводить с одного языка на другой и выполнять за какие-то минуты вычисления, которых за всю свою жизнь не выполнили бы все на свете бухгалтеры и счетоводы? Считаешь ли ты возможным, что вскоре в центре Европы возникнут огромные фабрики, в которых станут топить печи живыми людьми, причем число этих несчастных превысит миллионы?»

Понятно, говорит профессор Коуска, что в 1900 году только умалишенный признал бы все эти события хоть чуточку вероятными. А ведь все они совершились. Но если случились сплошные невероятности, с какой это стати вдруг на-

* С точки зрения физики жизнь невозможна, что и требовалось доказать (лат.).

ступит кардинальное улучшение и отныне начнет сбываться лишь то, что кажется нам вероятным, мыслимым и возможным? Предсказывайте себе будущее, как хотите, обращается он к футурологам, только не стройте свои предсказания на наибольших вероятностях...

Впечатляющий труд профессора Коуски, безусловно, заслуживает признания. Однако, увлекшись своими изысканиями, этот ученый не избежал ошибки, на которую указал ему профессор Бедржих Врхличка в обширной критической статье, помещенной в «Земедельске новины». Профессор Врхличка утверждает, что все аргументы профессора Коуски против теории вероятностей исходят из неявной — и неверной — посылки. Ибо за ними кроется «метафизическое изумление собственным существованием», которое можно выразить словами: «Почему я существую именно теперь; именно в этом теле, именно в таком, а не ином облике? Почему я не был ни одним из миллионов людей, существовавших доселе, и не буду ни одним из тех, что еще родятся?» Если такие вопросы и имеют какой-либо смысл, замечает профессор Врхличка, то, во всяком случае, отнюдь не физический, хотя может показаться, что это не так и что вопрос можно переформулировать следующим образом: «Каждый человек, когда-либо существовавший, был телесной реализацией некой формулы, состоящей из генов, или кирпичиков наследственности. В принципе можно представить графически все формулы, реализованные до настоящего дня; мы получили бы огромную таблицу, исписанную рядами генотипических формул, причем каждая в точности соответствовала бы определенному человеку, образовавшемуся по ней путем эмбрионального развития. Но тогда возникает вопрос, в чем же различие между формулой, соответствующей *мне, моему телу*, и всеми остальными формулами в таблице, — различие, благодаря которому именно я являюсь ее живым воплощением? То есть: какие *физические* условия, какие *материальные* обстоятельства надо учесть, чтобы выявить это различие и понять, почему о любой формуле в таблице я могу сказать: «Тут речь идет о Других» — и лишь об одной: «Тут речь обо мне, ЭТО Я»?

Не приходится ожидать, поясняет профессор Врхличка, что физика сегодня, или через столетие, или через тысячу лет сможет ответить на поставленный таким образом вопрос. Для физики он вообще ничего не значит, ведь она, не будучи личностью, при изучении чего бы то ни было, скажем, небесных или человеческих тел, не проводит различий меж-

ду мной и тобой, этим и тем; то, что я говорю о себе «я», а о другом «он», физика способна объяснить по-своему (на базе общей теории логических автоматов, теории самоорганизующихся систем и т.д.), но она не замечает именно экзистенциального различия между «я» и «он». Хотя, конечно, физика способна заметить *уникальность* отдельных людей, ибо любой человек (если не говорить о близнецах!) есть воплощение особой формулы генов.

Но профессор Коуска имеет в виду вовсе не то, что каждый из нас устроен немного иначе, обладает физической и духовной индивидуальностью. Метафизическое изумление, кроющееся за рассуждениями Коуски, не уменьшилось бы ни на йоту, окажись все люди воплощением одной и той же генной формулы, так сказать, идеально похожими близнецами. Ведь и тогда можно было бы спрашивать, почему «я» — не «кто-то другой», почему я родился не в эпоху фараонов и не в Арктике, но здесь и теперь; а на такой вопрос физика по-прежнему не могла бы ответить. Для меня различия между мной и другими начинаются с того, что я являюсь собою, не могу вылезти из собственной шкуры или поменяться существованиями с кем бы то ни было, и лишь во вторую очередь я замечаю, что моя наружность, мой характер иные, чем у всех остальных живущих (и умерших). Но как раз это первое, важнейшее для меня различие для физики не существует вообще, и больше тут ничего не скажешь. Итак, не теория вероятностей повинна в том, что физика и физики не замечают этой проблемы.

Ставя вопрос об оценке вероятности своего рождения, профессор Коуска ввел в заблуждение себя самого и читателей. Профессор Коуска полагает, что на вопрос: «Какие условия должны были быть соблюдены, чтобы родился Коуска?» физика отвечает: «Условия, физически крайне мало вероятные!» Но это не так. Вопрос следует поставить иначе: «Как вижу, я — живой человек, один из миллионов людей. Я хотел бы узнать: в чем состоит мое физическое отличие от всех остальных людей, тех, что были, есть или будут, отличие, из-за которого я не был и не являюсь ни одним из них, но только самим собой и могу сказать «Я» только о себе?» Так вот, физика отвечает на этот вопрос, не ссылаясь на распределение вероятностей; она заявляет, что с ее точки зрения между спрашивающим и всеми остальными людьми никаких физических различий нет. Следовательно, рассуждения Коуски не затрагивают и не опровергают теорию вероятностей, а просто не имеют с ней ничего общего!

Знакомство со столь отличными друг от друга взглядами двух видных мыслителей повергло рецензента в полное замешательство. Он не в силах решить их спор, и единственное, в чем он уверен, так это в том, что из труда профессора Коуски он вынес обширные познания о всех обстоятельствах, приведших к появлению на свет ученого со столь любопытной фамильной историей. Что же до сути проблемы, то ею пусть займутся специалисты более компетентные.

Arthur Dobb
NON SERVIAM
(Pergamon Press)

«НЕ БУДУ ПРИСЛУЖИВАТЬ»

Книга профессора Добба посвящена персонетике, которую финский философ Эйно Каикки назвал немилосерднейшей из наук, созданных человеком. Добб, один из наиболее выдающихся персонетиков современности, думает так же. Нельзя, заявляет он, не прийти к заключению об аморальности персонетических экспериментов; речь, однако, идет об исследованиях, которые, хотя и вступают в противоречие с этикой, жизненно необходимы для нас. Исследователю подчас приходится быть беспощадным, подавляя естественные побуждения, и миф — если он еще уцелел — о младенческой невинности ученого-регистратора терпит крушение именно здесь. Мы поведем разговор о дисциплине, которую несколько высокопарно называют экспериментальной теогонией. И вот что заставляет рецензента задуматься: когда пресса впервые подняла шумиху вокруг персонетики (это случилось девять лет назад), читатели пережили настоящее потрясение; а ведь нас, казалось бы, ничем уже нельзя удивить. Столетия гремело эхо деяний Колумба, но покорение Луны общественное сознание переварило чуть ли не за неделю, как нечто почти банальное. И все-таки рождение персонетики оказалось для публики шоком. В названии дисциплины слиты два заимствованных из латыни слова: «персона» (личность) и «генетика» (создание, сотворение). Персонетика представляет собой позднее ответвление кибернетики и психоники восьмидесятых годов на базе интеллектуальной

«Non serviam», 1974

© Константин Душенко, перевод, 1995

техники. О персонетикс слышал сегодня каждый; случайный прохожий ответит, что это — искусственное разведение разумных существ. Ответ не то чтобы неверный, но не затрагивающий существа дела. В настоящее время мы располагаем почти сотней персонетических программ. Девять лет назад в компьютерах уже возникали личности-схемы — примитивные зародыши «линейного» типа; впрочем, тогдашнее поколение цифровых машин, ныне имеющее лишь музейную ценность, еще не позволяло по-настоящему начать сотворение персоноидов.

Персонетику как теоретическую возможность предчувствовал уже Норберт Винер, о чем свидетельствуют некоторые места его последней работы «Творец и робот». Правда, об этой возможности Винер упоминал в своем обычном полушутливом тоне, за которым, однако, угадывались перспективы довольно мрачные. Но даже Винер не мог предвидеть, как обернется дело лет двадцать спустя. «Самое худшее случилось, — сказал сэр Дональд Акер, — когда в Массачусетском технологическом институте соединили входы с выходами».

Сейчас персоноидный «мир» для будущих его «обитателей» можно создать за два часа. Именно столько времени требуется, чтобы внести в машину одну из полных программ типа ВААЛ-66, КРЕАН-IV или ЯХВЕ-09. Добб излагает раннюю историю персонетики довольно бегло, отсылая читателя к источникам, и в качестве убежденного практика-экспериментатора рассказывает прежде всего о том, как работает он сам, — обстоятельство довольно существенное, поскольку между английской школой (именно ее и представляет Добб) и американской группой из МТИ существуют довольно значительные различия по части методики и целей экспериментальных исследований. Добб рисует процедуру «шестидневки творения, ужатой до 120 минут» следующим образом. Сначала в машинную память вводят минимальный набор данных, то есть — если прибегнуть к языку, понятному непосвященным, — заряжают ее «математическим материалом», который становится зародышем жизненного универсума будущих персоноидов. Существа, которые явятся в этот машинный и цифровой мир, которые будут существовать в нем и только в нем, мы уже умеем помещать в окружение с бесконечностными характеристиками. Они не ощутят себя узниками в физическом смысле: у этого окружения не будет с их точки зрения никаких границ. Из всех его измерений лишь одно весьма близко к то-

му, что знакомо и нам; это — ход (протекание) времени. Но персоноидное время не тождественно нашему: скорость сго протекания свободно регулируется экспериментатором. Обычно она максимальна на вступительной стадии (стадия «пуска миротворения»); наши минуты здесь соответствуют целым зонам, во время которых сменяют друг друга фазы преобразования и кристаллизации искусственного космоса. Персоноидный Космос — совершенно беспространственный; различные его измерения носят чисто математический, то есть с объективной точки зрения как бы «вымышленный» характер. Измерения эти суть следствие аксиоматических решений программиста, и от него зависит, сколько их будет. Если, например, он выберет десятимерность, то получится мир с совершенно иной структурой, чем мир всего лишь с шестью измерениями; следует, пожалуй, подчеркнуть еще раз, что они не имеют ничего общего с измерениями физического пространства, а представляют собой абстрактные, логически правомерные конструкты, которыми пользуется математическая системная демиургия.

Этот недоступный для нематематика пункт Добб старается объяснить при помощи элементарных фактов, известных из школьных учебников. Как известно, можно сконструировать геометрически правильную фигуру с тремя измерениями — хотя бы куб, имеющий соответствие в реальной действительности в виде игральной кости; и точно так же можно построить геометрические фигуры с четырьмя, пятью и любым иным количеством измерений (четырёхмерная фигура называется тессерактом). Они уже не имеют реальных соответствий, в чем легко убедиться: из-за отсутствия физического измерения номер четыре нельзя построить реальную костяшку с четырьмя измерениями. Так вот, *это различие* (между физически реализуемым и возможным только математически) для персоноидов не существует вообще, поскольку их мир имеет чисто математическую «фактуру». Он сконструирован из математических элементов (воплощенных, разумеется, в обычных, чисто физических объектах: реле, транзисторах, контурах — короче, во всей огромной сети цифровой машины).

Как известно, согласно современной физике пространство не есть нечто самостоятельное по отношению к объектам и массам, находящимся в нем. Существование пространства обусловлено этими телами; там, где их нет, где «ничего нет» (в материальном смысле), исчезает и пространство, съезжаясь до нуля. А в персоноидном мире роль

материальных тел, которые как бы «раздуваются», создавая тем самым пространство, играют математические системы, специально для этого созданные. Из всех математик, которые можно было бы создать — аксиоматическим методом, — программист, задумав определенный эксперимент, выбирает определенную группу, которая станет «бытийной опорой», «онтологическим фундаментом» творимого Универсума. Тут, по мнению Добба, налицо поразительное сходство с человеческим миром. Наш мир «выбрал» определенные формы и определенные типы геометрии, которые соответствуют ему наилучшим, то есть наиболее простым, образом (трехмерность, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали). Тем не менее мы можем представить себе «иные миры», с иными свойствами — геометрическими, и не только. Точно так же и персоноиды: разновидность математики, которую персонетик предназначил им для «жилья», для них то же самое, что для нас «реальный базовый мир», в котором мы живем и не можем не жить. И, подобно нам, они в состоянии «вообразить» себе миры с иными фундаментальными свойствами.

Добб ведет изложение методом последовательных приближений и возвращения к сказанному; то, что мы набросали выше и что примерно соответствует двум первым главам его книги, в дальнейшем усложняется и тем самым частично отменяется. Неверно было бы думать, объясняет автор, что персоноиды будто бы сразу попадают в какой-то готовый, неподвижный, намертво замороженный мир в его окончательном, завершенном виде. То, каким окажется этот мир в ходе своей «конкретизации», зависит от них самих, и притом во все возрастающей степени, по мере того как возрастает их собственная активность, «исследовательское любопытство». Но сравнение универсума персоноидов с миром, который лишь постольку существует в своих проявлениях, поскольку воспринимается населяющими его существами, тоже не дает верного представления о существе дела. Это сравнение, которое можно встретить в работах Сейнтера и Хьюза, Добб считает «идеалистической аберрацией», данью, которую персонетика заплатила столь неожиданно воскресшему учению епископа Беркли. Сейнтер утверждал, что персоноиды познают свой мир как то берклиевское существо, которое не в состоянии отличить «esse» от «percipi»*, то есть никогда не обнаружит различия между наблюдаемым и

* «Быть» (от) «ощущать» (лат.)

тем, чем оно вызывается — объективно и независимо от наблюдающего.

Добб критикует такую интерпретацию тем более страстно, что мы, будучи творцами их мира, прекрасно знаем, что наблюдаемое ими действительно существует (внутри компьютера) независимо от персоноидов — хотя, конечно, лишь так, как могут существовать математические объекты. Но и это еще не конечная стадия объяснений. Зародыши персоноидов возникают благодаря программе, растут со скоростью, заданной экспериментатором, то есть так быстро, как только допускает современная техника переработки информации, оперирующая световыми скоростями. Математика, которой предназначено стать «жизненным обиталищем» персоноидов, ожидает их не совершенно готовой, но словно бы «свернутой», «недосказанной», «приостановленной», «латентной», как совокупность неких возможностей, неких путей, содержащихся в запрограммированных определенным образом блоках цифровой машины. Но эти блоки, или генераторы, «сами из себя» ничего не создают; конкретный тип активности персоноида служит для них пусковым механизмом, высвобождающим творческую активность, которая постепенно возрастает и конкретизируется; другими словами, мир, в котором эти существа обитают, будет «доопределяться» в соответствии с их поведением. Добб пытается пояснить сказанное при помощи следующей аналогии: человек может по-разному интерпретировать реальный мир. Если он особенно интенсивно исследует определенные свойства этого мира, то добытые им знания по-особому осветят и другие области бытия, не учтенные в приоритетном исследовании; например, если сначала он будет усердно заниматься *механикой*, то у него сформируется *механицистская* картина мира, он увидит Вселенную как гигантские идеальные часы, безостановочный ход которых ведет от прошлого к жестко детерминированному будущему. Эта картина не есть точное соответствие реальности, тем не менее ею можно пользоваться исторически долгое время и даже добиваться немалых практических достижений — в строительстве машин, орудий и т.д. Подобным же образом персоноиды — если «настроятся», по собственному выбору и желанию, на определенный *тип* отношений, если отдадут ему предпочтение и лишь в нем будут усматривать «сущность» своей вселенной — вступят на путь таких действий и открытий, которые не будут ни фиктивными, ни бесплодными. Благодаря такой «самонастройке» они извлекут из своего окружения как раз

то, что наилучшим образом ей соответствует. Именно это они заметят раньше всего, именно этим раньше всего овладеют. Ибо мир, который их окружает, лишь частично детерминирован, предзадан исследователем-творцом; у персоноидов остается определенная — вовсе немалая — степень свободы поведения, как чисто мысленного (в сфере того, что они думают о своем мире и как его понимают), так и «реального» (в сфере «действий», которые, правда, реальны не буквально, не в нашем смысле, однако существуют не только в мышлении). Впрочем, это едва ли не самое трудное место книги, и Доббу, пожалуй, не удалось полностью объяснить то особое качество экзистенции персоноидов, которое можно выразить лишь на математическом языке программ и демиургических поправок. Так что мы должны — отчасти на веру — принять, что активность персоноидов ни абсолютно свободна (как и пространство наших поступков, которое ограничивают физические законы природы), ни абсолютно детерминирована (как и мы не являемся вагонами, которые движутся по жестко закрепленным путям). Персоноид подобен человеку в том, что «вторичные качества» — цвета, мелодичные звуки, красота вещей — появляются лишь тогда, когда уже есть слышащие уши и видящие глаза; но ведь те свойства, которые делают возможным зрение и слушание, существовали и раньше. Персоноиды, наблюдая свое окружение, «от себя» привносят в него субъективно переживаемые свойства, которые применительно к нам соответствуют красотам созерцаемого пейзажа, с той только разницей, что персоноидам даны чисто математические пейзажи. О том, «как они их видят», мы никоим образом не можем судить, во всяком случае, если речь идет о «субъективном качестве их восприятия»: чтобы понять, как они ощущают, пришлось бы сбросить человеческую кожу и самому стать персоноидом. Тем более что персоноиды не имеют ни глаз, ни ушей, а значит, ничего не видят и не слышат в нашем понимании, и в их вселенной нет ни света, ни темноты, ни пространственной близости, ни дали, ни верха, ни низа. Зато там есть измерения, для нас совершенно непредставимые, а для них первичные, элементарные; они наблюдают, к примеру — в качестве аналогов чувственного человеческого восприятия, — определенные изменения электрических потенциалов. Но воспринимают не так, как, скажем, удары тока, а скорее так, как человек воспринимает простейшее оптическое, акустическое или какое-нибудь иное явление — красное пятно, звук, прикосновение чего-

нибудь твердого или мягкого. Здесь, подчеркивает Добб, можно изъясняться одними лишь аналогиями, уподоблениями; утверждать, будто персоноиды «увечны» по сравнению с нами, раз они не видят и не слышат, как мы, было бы полным абсурдом: с тем же правом можно было бы заявить, что это мы обделены по сравнению с ними, поскольку лишены непосредственного восприятия мира математических феноменов — ведь мы познаем его лишь интеллектуальным, умственным, дедуктивным путем, соприкасаемся с ним только посредством умозаключений, «переживаем» математику только благодаря абстрактному мышлению. А они в ней живут, это их воздух, земля, облака, вода и даже хлеб, даже пища, поскольку в определенном смысле они ею «кормятся». Итак, персоноиды являются узниками, герметически замкнутыми в машине, только с нашей точки зрения; они не способны пробиться к нам, в человеческий мир, а мы, как бы в силу зеркальной симметрии, не способны проникнуть внутрь их мира, существовать в нем и переживать его непосредственно. Итак, математика в некоторых своих воплощениях стала жизненным пространством разума, одухотворившегося до полной бесплотности, стала нишей и колыбелью его бытия.

Персоноиды во многих отношениях походят на человека. Помыслить определенное противоречие («а» и одновременно «не а») они могут, но осуществить его не в состоянии — как и мы. Этого не допускает физика нашего и логика их мира. Ибо в их мире логика служит такой же рамкой, организующей действительность, как физика — в нашем мире! Во всяком случае, подчеркивает Добб, не может быть речи о том, чтобы мы могли до конца, интроспективно понять, что «чувствуют» и «переживают» персоноиды, активно действующие в своем бесконечном Универсуме. Его абсолютная беспространственность не имеет ничего общего с заточением — это чушь, выдуманная журналистами; напротив, беспространственность служит гарантией их свободы, поскольку математика, которую по-паучьи ткуют из своего нутра побужденные к активности компьютерные генераторы, представляет собой как бы становящееся пространство для любой деятельности — для строительства, исследований, героических экспедиций, вылазок в неизвестное, смелых догадок. Словом, мы не обделили персоноидов, дав им во владение именно такую, а не иную вселенную. Не в этом следует усматривать жестокость и аморальность персонетики.

В седьмой главе «Non serviam» Добб знакомит нас с оби-

тателями цифрового универсума. Персоноиды располагают как артикулированным языком, так и артикулированной мыслью, а кроме того, наделены эмоциями. Все они обладают индивидуальностью, причем индивидуальные особенности персоноидов не запрограммированы заранее их творцом-человеком, а обусловлены необычайной сложностью их внутреннего строения. Персоноиды могут быть чрезвычайно похожими друг на друга, но одинаковыми — никогда. При своем появлении на свет они получают так называемое «ядро» («персональный нуклеус»). Уже тогда они обладают даром речи и мышления, но в зачаточном состоянии. Они располагают словарем, хотя и крайне бедным, и способны строить фразы по правилам заранее заданной грамматики. По-видимому, в будущем можно будет не задавать заранее даже этих детерминант и просто ждать, пока они сами, как первобытная человеческая группа в процессе социализации, создадут язык. Но это направление развития персонетики наталкивается на два кардинальных препятствия. Во-первых, время ожидания оказалось бы крайне велико. Сейчас оно оценивается в 12 лет, и это при максимальном темпе внутрикompьютерных преобразований (говоря образно и очень грубо, году человеческой жизни соответствовала бы при этом секунда машинного времени). Во-вторых, и это решающее соображение, язык, созданный стихийно в ходе групповой эволюции персоноидов, был бы непонятен для нас; его изучение напоминало бы разгадывание таинственного шифра, осложненное вдобавок тем, что шифры, которые мы обычно разгадываем, создали все же люди для других людей, в мире, общем для шифровальщиков и дешифровальщиков. А мир персоноидов качественно отличен от нашего, и потому язык, наиболее подходящий для него, должен резко отличаться от любого этнического языка. Так что творение «ex nihilo»* остается проектом и мечтой персонетиков. По мере «взросления» персоноиды сталкиваются с древнейшей и самой важной для них загадкой — загадкой собственного происхождения. Перед ними встают вопросы, известные нам из истории человека, его верований, его философских исканий и мифотворчества. Откуда мы взялись? Почему мы такие, какие есть? Почему наблюдаемый нами мир обладает такими, а не иными свойствами? Что сами мы значим для мира? Что мир значит для нас? И цепочка этих вопросов неизбежно ведет к коренным вопросам онто-

* Из ничего (*лат.*).

логии, из которых центральный — вопрос о том, возникло бытие «само из себя» или в результате какого-то акта творения; другими словами, не стоит ли за ним обладающий волей и разумом, сознательно действующий Творец. Вот где ярче всего обнаруживается жестокость и аморальность персонетики.

Но прежде чем рассказать нам — во второй части книги — об усилиях (или, если угодно, муках) разума, терзаемого такими вопросами, Добб посвящает несколько глав характеристике типичного персоноида, его «анатомии, физиологии и психологии».

Одинокий персоноид не способен выйти из стадии зачаточного мышления: он просто не сможет упражняться в речи, а без этого и дискурсивное мышление не развивается и угасает. Оптимальными, как показали сотни опытов, являются группы от четырех до семи персоноидов — во всяком случае, для развития речи и типичных поисковых действий, а также для «культурализации». Явления же, соответствующие крупномасштабным процессам социализации, требуют гораздо более многочисленных групп. В достаточно емком компьютере уже теперь можно «уместить» до тысячи персоноидов; но такого рода исследования из области социодинамики, которая выделилась уже в самостоятельную дисциплину, не входят в круг основных интересов Добба, поэтому и в его книге о них лишь бегло упоминается. Как было сказано выше, персоноиды не имеют тела, но имеют «душу». С точки зрения внешнего наблюдателя (наблюдение ведется при помощи особого устройства типа зонда, встроенного в компьютер), такая душа выглядит как «упорядоченное облако процессов», как функциональный агрегат с чем-то вроде «сердцевины», которую можно выделить, то есть достаточно точно локализовать ее в машинной сети (кстати, это нелегко и во многих отношениях напоминает попытки нейрофизиологов локализовать центры некоторых функций головного мозга). Главный для понимания самой возможности сотворения персоноидов является 11-я глава «Non serviam», в которой довольно доступно излагаются основы теории сознания. Сознание (любое, не только персоноида, но и человека) в физическом смысле — своего рода «стоячая информационная волна», некая динамическая постоянная в потоке неустанных преобразований; странность этого явления в том, что оно представляет собой компромисс и в то же время равнодействующую, по-видимому вовсе не «запланированную» эволюцией. Совсем напротив: эволюция поначалу чинила

всяческие препятствия и помехи согласованной работе мозга, превосходящего определенный объем, то есть определенный уровень сложности; разумеется, в область этих коллизий она забрела несознательно, поскольку не является личностным творцом. Просто некие древние эволюционные решения задач по управлению и регулированию, с которыми приходится иметь дело нервной системе, эволюция наконец «затащила» на уровень, с которого начался антропогенез. С чисто рациональной, инженерной точки зрения, с точки зрения экономии средств эти старые решения следовало попросту перечеркнуть, отбросить и спроектировать мозг разумного существа совершенно по-новому. Но эволюция, конечно, так поступить не могла: не в ее власти освободиться от груза старых решений, насчитывающих нередко сотни миллионов лет; она продвигается вперед малюсенькими шажками приспособительных изменений; она ползет, а не скачет. Эволюция — это волокуша, которая тащит за собой бесчисленные «архаизмы» и даже всяческий «мусор», по образному выражению Таммера и Бовина (осуществленное при их участии компьютерное моделирование человеческой психики во многом способствовало появлению персонетики). Сознание человека — результат своего рода «компромисса», «латания дыр»; это, как заметил однажды Геххардт, превосходная иллюстрация немецкой поговорки «Aus einer Not eine Tugend machen» («Делать из нужды добродетель»). Цифровая машина никогда не сможет добыть сознания «из себя самой» — по той простой причине, что в ней не случаются иерархические поведенческие конфликты. Такая машина, самое большее, может впасть в «логическую конвульсию» или «логический ступор», если антиномии в ней расплодятся, и это все. Однако противоречия, которыми просто кишит мозг человека, на протяжении сотен тысяч лет преодолевались при помощи «процедур арбитража». Возникли высшие и низшие уровни: рефлексов и рефлексии, непроизвольных влечений и контроля над ними, элементарного моделирования среды («зоологическим способом») и понятийного моделирования (языковым способом), причем все они, вместе взятые, не могут, «не желают» полностью совпадать, сходиться, сливаться в единое целое. Что же такое сознание? Уловка, высвобождение из западни, мнимая последняя инстанция, трибунал, решение которого по видимости (но только по видимости) обжалованию не подлежит, а на языке физики и информатики — процесс, который, однажды начавшись, уже не может быть замкнут, то есть

окончательно завершен. Сознание — всего лишь *проект* такого завершения, полного «примирения» жестоких противоречий мозга. Это как бы зеркало, задача которого — отражать другие зеркала, а те, в свою очередь, отражают другие, и так до бесконечности. Но это просто физически невозможно, и потому феномен человеческого сознания парит и реет над западной «*regressus ad infinitum*»*. «Под сознанием», по-видимому, идет непрерывный бой за полное представительство «наверху» того, что не может пробиться туда целиком, хотя бы из-за нехватки места: чтобы уравнять в правах все тенденции, рвущиеся в центры сознательного внимания, понадобилась бы неограниченная вместимость и пропускная способность. Потому-то вокруг сознания царит постоянная «давка», «толчея», а само оно — отнюдь не верховный, бесстрастный, суверенный кормчий всех умственных явлений; нередко оно оказывается пробкой на бурных волнах, «господствующая позиция» которой не имеет ничего общего с господством над этими волнами... К сожалению, современную теорию сознания, интерпретируемую информатически и динамически, нельзя изложить языком простым и ясным, и здесь, в этом популярном изложении, мы по-прежнему вынуждены прибегать к наглядным сравнениям и метафорам. Во всяком случае, нам известно, что сознание есть некая «уловка», некий «фортель» эволюции, который действует, как всегда, «оппортунистически» — то есть так, чтобы поскорее, не задумываясь о последствиях, справиться с возникающими трудностями. Если бы разумное существо создавалось согласно канонам абсолютно рационального конструирования и логики, в соответствии с критериями технической эффективности, оно вообще не было бы одарено сознанием... Его поведение было бы абсолютно логичным, непротиворечивым, ясным, замечательно упорядоченным и — с точки зрения наблюдателя-человека, — быть может, даже до гениальности эффективным во всем, что касается творчества и принятия решений; но такое существо ни в коей мере не было бы человеком — лишенное его «таинственной глубины», его внутренней «извилистости», его лабиринтной природы...

Мы — как и профессор Добб — не собираемся здесь излагать современную теорию сознательной психической жизни; мы лишь хотели помочь читателю понять, чем обусловлена личностная структура персонидов. Персонетика

* Сползание к бесконечности (лат.).

наконец-то осуществила один из древнейших мифов — миф о гомункулусе. Чтобы создать подобие человека, то есть человеческой психики, нужно намеренно ввести в информационный субстрат определенные *противоречия*, наделить его некими асимметриями, центробежными тенденциями, словом, нужно одновременно *интегрировать* его — и *разобщить*. Рационально ли это? Конечно, и даже неизбежно, если мы хотим не просто сконструировать искусственный разум, но имитировать человеческое мышление, а вместе с ним — личность человека.

Следовательно, эмоции персоноидов должны до известной степени расходиться с доводами их разума; в них должны действовать саморазрушительные — хотя бы отчасти — тенденции, ощущаться некие внутренние «напряжения», некие центробежные силы, которые проявляются либо в изумительной неисчерпаемости духовных состояний, либо в невыносимо болезненной раздвоенности. При этом рецептура творения вовсе не так безнадежно сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто *логика* сотворения персоноида должна быть нарушена, должна содержать в себе какие-то антиномии. Сознание, как сказал Хильбрандт, это не только выход из эволюционной ловушки, но и бегство из ловушки гёделизации: при помощи паралогических противоречий оно сумело ускользнуть от противоречий иного рода, присущих всякой системе, совершенной в логическом отношении. И хотя Универсум персоноидов всецело рационален, сами они не являются вполне рациональными его обитателями. Ограничимся этим — коль скоро и профессор Добб не углубляется дальше в эту безмерно сложную область. Как мы уже знаем, персоноиды лишены плоти и ощущений, связанных с ней, но имеют «душу». «Совершенно невообразимые ощущения», — приходится слышать от людей, переживших особые состояния сознания (например, при полной темноте и полном отсутствии внешних раздражителей); но Добб считает это иллюзией. При сенсорном голоде человеческому сознанию угрожает распад: без притока импульсов из внешнего мира психика проявляет тенденцию к диссоциации. А персоноиды, лишённые наших ощущений, не «распадаются»; их целостность обеспечивается математической средой, которую они воспринимают — но как? Скажем, по изменениям собственного состояния, которые навязывает им, индуцирует в них «внешний мир». Они способны отличать изменения, происходящие вовне, от изменений, вызревающих

в глубинах их собственной психики. Каким образом? Точный ответ дает лишь теория динамической структуры персоноидов.

И все же они похожи на нас, несмотря на все ужасающие различия. Мы уже знаем, что в цифровой машине никогда не вспыхнул бы свет разума; какое задание мы бы ей ни поручили, какие физические процессы ни моделировали в ней, она навсегда останется лишенной психики. Чтобы смоделировать человека, нужно воспроизвести некоторые его фундаментальные противоречия, поэтому персоноид представляет собой систему тяготеющих друг к другу антагонизмов; согласно Каньону, которого цитирует Добб, персоноид подобен звезде, сжимаемой силами гравитации и одновременно раздуваемой изнутри давлением излучения. В роли гравитационного центра выступает индивидуальное «я», — но само оно отнюдь не составляет целого ни в логическом, ни в физическом смысле. Это лишь наше субъективное представление. В этой своей части книга готовит нам множество поразительных неожиданностей. Цифровую машину можно запрограммировать так, чтобы беседовать с ней, словно с разумным партнером. В необходимых случаях она будет употреблять местоимение «я» и все его грамматические аналоги, но это своего рода жульничество! Машина по-прежнему будет ближе к миллиарду говорящих попугаев — хотя и гениально выдрессированных, — чем к самому примитивному, самому глупому человеку. Она имитирует поведение человека в чисто языковой области, и только. Ничто эту машину не позабавит, не удивит, не потрясет, не ужаснет, не опечалит, потому что в психологическом и личностном смысле она Никто. Это Голос, излагающий проблемы, отвечающий на вопросы, это Логика, способная побить сильнейшего шахматиста, это — в потенции — безупречный имитатор всего на свете, дошедший до пределов совершенства актер, играющий любую запрограммированную роль, — но актер и имитатор, внутренне абсолютно пустой. Нельзя рассчитывать на симпатию или антипатию этой машины. На ее доброжелательность или враждебность. Она не стремится к какой-либо установленной ею самой цели; ей «все равно» до такой степени, которая абсолютно непонятна для всякого человека, — ведь как личности ее просто-напросто нет... Это поразительно эффективный комбинаторный механизм, и ничего больше. Мы наблюдаем удивительное явление: из такого безусловно пустого, абсолютно безличностного материала как цифровая машина, удалось, благодаря специальным

программам, сконструировать настоящие личности, к тому же великое множество их одновременно! Последние модели ИБМ достигают емкости 1000 персоноидов (термин математически точный, поскольку число элементов и соединений, необходимых в качестве носителя одного персоноида, можно выразить в единицах сантиметр-грамм-секунда). Внутри машины персоноиды отграничены друг от друга еще и физически. Обычно они не «накладываются» друг на друга, хотя возможно и это. Но при контакте персоноидов возникает аналог «отталкивания», препятствующий взаимному «осмосу». И все же они могут проникать друг в друга — если сами того захотят. Процессы, составляющие их духовный субстрат, накладываются один на другой, и тогда появляются шумы и помехи. Если зона взаимопроникновения невелика, определенное количество информации становится общей собственностью двух частично «перекрывающихся» персоноидов. Это явление представляется им странным — как для человека странно и даже тревожно было бы услышать «чужие голоса» и «чужие мысли» в собственной голове (что случается при некоторых психических отклонениях — либо в случае душевной болезни, либо под влиянием галлюциногенных средств). Это все равно, как если бы два человека имели не одинаковые, но одно и то же воспоминание. Слово происходит нечто большее, чем телепатическое общение, — «слияние двух сознаний в одном контуре». Это, однако, опасный симптом, которого следует избегать. После переходной стадии «пограничного осмоса» «напирающий» персоноид может «уничтожить» и «поглотить» другого. «Поглощенный» подвергается аннигиляции и перестает существовать (это уже называли убийством). «Жертва» становится усвоенной, неразличимой частью «агрессора». Нам удалось, говорит Добб, смоделировать не только психическую жизнь, но также угрозу этой жизни и ее уничтожение, то есть смоделировать смерть. В нормальных условиях эксперимента персоноиды избегают подобной агрессии. «Душеедов» (термин Каслера) среди них в общем-то нет. Почувствовав начало осмоса (что иногда происходит из-за чисто случайных сближений и флюктуаций) — разумеется, не органами чувств, а так, как мы ощущаем «чужое присутствие» или даже слышим «чужие голоса» в собственном мозгу, — персоноиды активно уклоняются от соприкосновения, отступают и расходятся. Это явление, однако, помогло уяснить им смысл понятий «добра» и «зла». Для них очевидно, что зло состоит в уничтожении другого, добро же — в его спасении.

И одновременно то, что является злом для одного, может быть добром (то есть пользой, уже в неэтическом смысле) для другого — для «душееда». Проникновение на чужую «духовную территорию» расширяет пределы первоначального «ментального ареала». Это — своего рода аналог нашего поведения, ведь будущи хищниками, мы должны убивать и питаться убитыми. Персоноиды не вынуждены, но могут так поступать. Они не знают ни голода, ни жажды: их питает энергия, поступающая постоянно, об источниках которой им заботиться не приходится, так же, как мы не заботимся о том, чтобы солнце светило. В мире персоноидов не могли бы появиться ни термины, ни сами принципы термодинамики, понимаемой энергетически, поскольку их мир подчиняется математическим, а не термодинамическим законам.

Вскоре исследователи убедились, что контакты людей с персоноидами (через входы и выходы компьютера) достаточно бесплодны с познавательной точки зрения и связаны к тому же с нравственными коллизиями, которым персонетика как раз и обязана своей репутацией немилосерднейшей из наук. Сообщать персоноидам, что мы их создали и заточили в машинах, имитирующих бесконечность, и что они всего лишь бесплотные, микроскопические «психоцисты», крошечные «капсулы» в нашем мире, — в этом есть что-то недостойное. Правда, они живут в своей собственной бесконечности, и поэтому Шаркер, да и другие персонетики (Фалькенштейн, Вигеланд), утверждали, что ситуация полностью симметрична: наш мир, наше «жизненное пространство» не нужны им точно так же, как нам — их «математическая земля». Добб считает эти аргументы софистикой. В демиургическом смысле не может быть спора о том, кто кого создал и кто кого заточил. Добб, во всяком случае, принадлежит к числу персонетиков, провозглашающих безусловное «невмешательство» и отказ от всяких контактов с персоноидами. Это бихевиористы от персонетики. Они наблюдают искусственные разумные существа, прислушиваются к их беседам и мыслям, фиксируют их действия, но ни при каких обстоятельствах не вторгаются в их мир. Этот метод довольно хорошо разработан и располагает техническим оснащением, изготовление которого еще несколько лет назад натолкнулось бы на непреодолимые трудности. Проблема в том, чтобы слышать и понимать, словом, быть неотлучным свидетелем, но чтобы это «подслушивание» ничего не меняло в мире персоноидов. В настоящее время в МТИ разрабатываются программы (АФРОН-II и ЭРОТ), которые «обога-

тили бы» персоноидов (пока что бесполох) подобием «эротических контактов», «оплодотворения» и «полового» размножения. Добб не скрывает своего скептического отношения к этим американским проектам. Его собственные исследования, результаты которых излагаются в «Non serviam», идут в совершенно ином направлении. Не без основания именно английскую персонетическую школу окрестили «философским полигоном», «лабораторной теологией». Эти понятия вводят нас в проблематику, пожалуй, наиболее важную и, уж во всяком случае, сильнее всего захватывающую каждого человека; она обсуждается в последней части рецензируемого труда — той самой, что оправдывает и объясняет его название, лишь поначалу звучащее странно.

Добб представляет отчет о собственных опытах, ведущихся уже восемь лет. О самом сотворении сообщается очень кратко; в конце концов это было лишь повторение, с незначительными модификациями, процедуры, типичной для программы ЯХВЕ-VI. Добб излагает результаты подслушивания мира, который он сам же и создал, и за развитием которого продолжает следить. Такое подслушивание он считает занятием неэтичным, а временами, как он сам признается, даже постыдным. Тем не менее он продолжает исследования, признавая необходимость в науке и таких экспериментов, которым нет оправдания с чисто этической, внепознавательной точки зрения. Мы, говорит он, зашли уже так далеко, что прежние отговорки ученых не достигают цели. Мы не можем делать вид, будто каким-то чудесным образом сохраняем нейтральность, и отделяться от голоса совести уловками, на которые идут вивисекторы: дескать, страдания или, скажем, беспокойство причиняются не полноправным сознаниям, не суверенным существам. Мы несем двойную ответственность, поскольку сами творим и сами же заточаем сотворенное нами в схему наших исследовательских процедур. Как бы мы ни поступали и как бы ни толковали свои поступки — от полной ответственности нам уже не уйти.

Многолетние опыты Добба и его сотрудников из Олдпорта сводятся к созданию универсума о восьми измерениях, который стал обиталищем персоноидов по имени АДАН, АДНА, АНАД, ДАНА, ДААН и НААД. Первые персоноиды развили заложенные в них зачатки языка, а затем создали «потомство» путем «деления». Как пишет Добб, явно парфразируя библейский стих, «и породил АДАН АДНУ, и АД-

НА родила ДАНА, и зачал ДААН ЭДАНА, который произвел на свет ЭДНУ...» — и так продолжалось, пока число поколений не достигло трехсот; а поскольку емкость компьютера, которым располагали исследователи, не превышала 100 персоноидных единиц, время от времени приходилось ликвидировать «демографические излишки». В трехсотом поколении опять появляются АДАН, АДНА, АНАД, ДАНА, ДААН и НААД, правда, на этот раз с цифрами — порядковыми номерами поколения; мы для простоты изложения номера опускаем. Согласно Доббу, время, прошедшее в компьютерном универсуме от «сотворения мира», составляет, в приблизительном пересчете на земные единицы, от 2 до 2,5 тысяч лет. За этот период популяция персоноидов выработала множество различных толкований своей судьбы, всевозможные, нередко друг другу противоречащие представления о «всем существующем», иначе говоря, множество философских (онтологических и эпистемологических) систем, а также «метафизических свершений». Потому ли, что «культура» персоноидов слишком отличается от земной, или потому, что эксперимент продолжался недостаточно долго, но в исследуемой популяции не сложилась вера, основанная на строгих догматах, нечто наподобие христианства или буддизма, хотя уже в седьмом поколении появляется понятие Творца как личного и единого Бога. Эксперимент заключался в том, что скорость компьютерных преобразований то доводилась до максимума, то (примерно раз в год) замедлялась, чтобы позволить наблюдателям «непосредственное подслушивание». Эти изменения скорости, поясняет Добб, совершенно незаметны для обитателей компьютерного универсума, как и для нас было бы незаметно преобразование сразу всего бытия во временном измерении; пребывающие в бытии не осознают этого, если не располагают такой константой или системой соотнесения, которая позволила бы обнаружить свершившуюся перемену.

Благодаря включению двух «временных скоростей» стало возможным то, что было важнее всего для Добба, а именно: возникновение и наблюдение извне собственной истории персоноидов с ее временной перспективой и традициями, уходящими в прошлое. Невозможно пересказать здесь воссозданную Доббом «историю» персоноидов (нередко захватывающе интересную) в полном объеме. Мы ограничимся теми ее эпизодами, которые, несомненно, и отразились в названии книги. Язык персоноидов представляет собой одну из поздних трансформаций упрощенного английского язы-

ка, лексика и синтаксис которого были запрограммированы в их первом поколении. Добб переводит его на обычный английский, сохраняя, однако, некоторые выражения, возникшие в персоноидной популяции. К ним относятся понятия «божист» и «небожист» (в значении «верующий в Бога» и «атеист»).

АДАН, ДААН и АДНА (персоноиды не имеют пола и не пользуются именами — имена им дают наблюдатели, чтобы удобнее было протоколировать высказывания) обсуждают проблему, которая в нашей истории восходит к Паскалю, а в истории персоноидов составляет изобретение ЭДАНА-197. Мыслитель этот, как и Паскаль, утверждал, что вера в Бога при любых обстоятельствах выгоднее неверия: если правы небожисты и Бога нет, верующий со смертью ничего не теряет, зато он выигрывает целую вечность (вечное блаженство), если Бог существует. Поэтому в Бога следует верить; это попросту тактика экзистенции, обеспечивающая максимальный выигрыш в этой и будущей жизни.

АДАН-300 по этому поводу замечает: ЭДАН-197 предполагает существование Бога, который требует почитания, любви и безусловной преданности, а не одной лишь веры в то, что он существует и что мир сотворен им. Итак, принять гипотезу Бога-творца недостаточно для спасения: нужно вдобавок быть ему благодарным за акт творения, угадывать и исполнять его волю, — короче, Богу нужно служить. Так вот: если Бог существует, он мог бы это удостоверить по меньшей мере с такой очевидностью, с какой удостоверяет свое бытие то, что нами наблюдается непосредственно. Ведь мы не сомневаемся, что определенные объекты существуют и что из них-то и состоит наш мир. Сомневаться возможно лишь в том, *как, каким образом они существуют*, но самому факту их бытия не противоречит ничто. Столь же наглядно Господь мог бы убедить нас в своем бытии, однако не сделал этого и обрек нас на поиски указаний косвенных, опосредованных, принимающих форму догадок (так называемых откровений). Тем самым он уравнивал позиции божистов и небожистов; он не заставил сотворенных безусловно поверить в свое бытие, а лишь оставил им такую возможность. Конечно, мотивы, которыми руководился Творец, сотворенным могут быть неизвестны. Однако возникает дилемма: либо Бог существует, либо не существует; какой-либо промежуточный вариант (существовал лишь когда-то в прошлом, существует временами, периодически; существует то «в меньшей степени», то в «большей») представляется крайне

маловероятным. Исключить его совершенно нельзя, но введение многоценностной логики в богословие лишь затемняет дело.

Итак, Бог либо есть, либо его нет. Предположим, что он по собственной воле допускает такое положение вещей, при котором обе стороны уверены в своей правоте: и те, кто доказывает существование Творца (божисты), и те, кто бытие Творца отрицает (небожисты). С точки зрения логики это игра, в которой на одной стороне участвует совокупность божистов и небожистов, на другой же — только Бог. Ее логическая характеристика такова, что за неверие Бог никого не вправе наказывать. И в самом деле: если неизвестно наверное, существует ли нечто, причем одни говорят «да», а другие «нет», и если к тому же имеются доводы в пользу последней гипотезы, ни один добросовестный суд не признает виновным того, кто оспаривает существование этого «нечто». Для всех возможных миров справедливо следующее суждение: без полной уверенности нет и полной ответственности. Суждение это логически неоспоримо; в терминах теории игр оно представляет собой симметричную функцию выплаты: тот, кто при *неполной уверенности* настаивает на *полной ответственности*, нарушает математическую симметрию игры (в этом случае возникает так называемая игра с ненулевой суммой).

Значит, либо Бог справедлив абсолютно, и тогда он не вправе наказывать небожистов за неверие; либо он все-таки будет карать неверующих, а следовательно, абсолютная справедливость ему не присуща. Что же тогда? Тогда он может делать вообще все, что ему заблагорассудится, ведь если в логической системе допустить одно-единственное противоречие, то, согласно принципу «*ex falso quod libet*»*, из нее можно вывести все что угодно. Другими словами: Бог справедливый не может и волоса тронуть на голове у небожистов; если же он поступит иначе, его уже нельзя считать тем совершенным и всеблагим существом, каким его изображают теологи.

АДНА спрашивает, как выглядит на этом свете проблема причинения ближнему зла.

АДАН-300 отвечает: все происходящее *здесь* полностью достоверно; все происходящее *там* — в запредельном мире, в вечности и т.д., — недостоверно, как любые заключения, основывающиеся на гипотезах. *Здесь* не следует причинять

* Из ложного (допущения) — все что угодно (лат.)

зла, хотя этот принцип нельзя вывести чисто логически. Но чисто логически нельзя доказать и существование мира. Мир существует, хотя мог бы не существовать; зло причинять возможно, однако не следует. Я полагаю, говорит АДАН-300, что принцип непричинения зла вытекает из неявно принимаемого нами принципа взаимности: относись ко мне так, как я отношусь к тебе. Это не имеет ничего общего с существованием или несуществованием Бога. Не делать зла, дабы избежать наказания *там*, или делать добро, рассчитывая *там* на награду, — значит основываться на недостоверных данных. *Здесь*, однако, не может быть более надежного основания, чем наше соглашение в этом вопросе. Основания, которые, быть может, имеются *там*, неизвестны мне с той же достоверностью, с какой *здесь* мне известны наши. В игре, которая продолжается, пока продолжается жизнь, мы союзники все до единого. Тем самым игра между нами полностью симметрична. Существование Бога предполагает продолжение игры вне этого мира. Я допускаю эту посылку лишь при условии, что она никак не повлияет на ход игры *здесь*. В противном случае ради кого-то, кого, возможно, вовсе и нет, мы готовы пожертвовать тем, что *здесь* существует наверное.

ДААН замечает, что ему неясно отношение АДАНА-300 к Богу АДАН допускает возможность существования Творца; что же отсюда следует?

АДАН: ничего абсолютно. То есть ничего в сфере должностования. Я полагаю, что — опять-таки для всех возможных миров — справедливо суждение: посюсторонняя этика абсолютно независима от потусторонней. Она не нуждается в том, чтобы ее санкционировали извне. Совершающий зло будет всегда негодяем, а делающий добро — праведником. И тот, кто готов служить Богу, считая доказательства его бытия достаточными, не имеет *здесь* никакой особой заслуги. Это его личное дело. Ведь если Бога нет, то его нет совсем, а если он есть, то он всемогущ. А всемогущий мог бы сотворить не только иной мир, но и иную логику — не ту, которая лежит в основе моих рассуждений. Возможно, в рамках этой иной логики посюсторонняя этика необходимо вытекала бы из этики потустороннего. И если не непосредственный опыт, то хотя бы логическая необходимость вынудила бы нас принять гипотезу Бога, чтобы не погрешить против разума.

ДААН говорит, что Бог, возможно, не желает принуждать кого-либо к вере в себя при помощи иной логики, о которой упоминает АДАН-300. Тот отвечает на это так

Бог всемогущий должен быть и всеведущим; всеведение не есть нечто независимое от всемогущества, ибо тот, кто все может, но не знает, к чему приведет осуществление его всемогущества, фактически не всемогущ. Если бы время от времени он творил чудеса (как нас иногда уверяют), это выставляло бы его совершенство в весьма двусмысленном свете, поскольку чудо, будучи внезапным вмешательством, нарушает автономию сотворенного. Тому, кто идеально отрегулировал творение и заранее знает, как оно будет вести себя до самого конца, нет нужды нарушать его автономию; если же он все-таки ее нарушает, то тем самым вовсе не исправляет свое творение (ведь такая поправка предполагает изначальное неведение), а извещает чудесами о собственном бытии. Но здесь имеется логический изъян: извещающая о себе чудесами, она создает впечатление, что все-таки исправляет локальные изъяны творения. А если сотворенное подвергается исправлениям, которые исходят не из него самого, но появляются извне (из трансценденции, то есть из Бога), то, рассуждая логически, следовало бы сделать чудо нормой — усовершенствовать творение так, чтобы никакие чудеса не понадобились. Ибо чудеса — единичные вмешательства свыше — не могут быть *только* знаками существования Господа: они не только извещают об их Творце, но и воздействуют на сотворенных (дабы помочь им на этом свете). Итак, повторяю: с точки зрения логики либо творение совершенно, и тогда чудеса не нужны, либо чудеса необходимы, но тогда творение безусловно несовершенно, ведь исправить — чудесами или без них — можно лишь нечто ущербное. Чудо, вторгающееся в совершенство, может только нарушить, то есть испортить его. Возвещать о своем существовании чудесами — значит пользоваться способом, логически наихудшим.

ДААН спрашивает: быть может, Бог желает именно выбора между верой и логикой; быть может, акт веры как раз и должен быть отречением от логики в знак абсолютного доверия к Богу?

АДАН: если допустить, что логическая реконструкция чего-либо (бытия, теодицеи, теогонии и т.д.) *может* быть внутренне противоречивой хотя бы в одном пункте, то тогда можно доказать буквально все, что захочется. Вдумайтесь: ведь это значит наделить творение логикой, и логикой вполне определенной, а после потребовать принести ее в жертву как доказательство веры в Творца. Чтобы оставаться непротиворечивым, это допущение требует какой-то ме-

талогии, какого-то совершенно иного типа умозаключений, нежели те, что свойственны логике сотворенного. В этом проявляется если не прямая ущербность Творца, то во всяком случае, черта, которую я бы назвал математической незелегантностью, неупорядоченностью (некогерентностью) акта творения.

ДААН настаивает на своем: возможно, Творец поступает так именно потому, что желает остаться непостижимым для сотворенных, невыводимым по правилам логики, которую он для них создал. Иначе говоря, он требует логику подчинить вере.

АДАН отвечает ему: понимаю. Разумеется, это возможно, но если даже и так, несогласность веры и логики порождает крайне неприятную дилемму морального свойства. На каком-то этапе рассуждений нам приходится отказываться от логики в пользу неясной догадки, то есть догадку предпочесть *логической достоверности*, — и все это во имя безграничного доверия. Мы попадаем в *circulus vitiosus**, ибо существование того, кому мы так слепо должны доверять, есть следствие умозаключений, в исходном пункте *логически правильных*. Возникает логическое противоречие; подчас его берут с положительным знаком и нарекают «тайной бытия Бога». Такое решение с конструктивной точки зрения никуда не годится, а с точки зрения этики — сомнительно. Понятие Тайны может быть в достаточной мере оправдано неисчерпаемостью мироздания (ведь бытие бесконечно). Оправдывать же его при помощи внутреннего противоречия — дело весьма сомнительное с точки зрения любого конструктора. Ревнителю веры не отдают себе в этом отчета и к некоторым частям богословия применяют обычную логику, а к другим — нет. По-моему, если верить в противоречие¹, то уже *только* в противоречие, а не в логику и противоречие попеременно. Приняв этот несуразный дуализм (посюстороннее всегда подчиняется логике, потустороннее — лишь иногда), мы получим картину творения, сметанного из логических лоскутов, то есть заведомо несовершенного. Либо придется признать, что совершенство есть нечто латаное-перелатаное в логическом отношении.

АДНА спрашивает: не может ли связующим звеном подобных несоответствий служить любовь?

* Порочный круг (*lat.*)

¹ Credo quia absurdum est. Верую, ибо (это) абсурдно *лат.*
(Примечание профессора Добба в тексте.)

АДАН: Если и так, то не всякая, а только слепая. Бог, если он существует и если он сотворил мир, позволил миру устраиваться, как тот сумеет и пожелает. Бог не может рассчитывать на благодарность за то лишь, что он существует: такая постановка вопроса предполагает, что он мог бы и не существовать и что это было бы плохо, а подобное допущение ведет к дальнейшим противоречиям. Или, может быть, речь идет о благодарности за творение? И на нее он не может рассчитывать, иначе нам пришлось бы уверовать, что быть в любом случае лучше, чем не быть; не вижу, как это можно было бы доказать. Несуществующего нельзя ни осчастливить, ни опечалить; если же Бог, благодаря всеведению, знает заранее, что сотворенный будет ему благодарен и возлюбит Творца, или, напротив, проявит неблагодарность и отвергнет его, то он действует принуждением, пусть даже сотворенный никакого принуждения не замечает. И потому-то Богу не полагается от нас ничего — ни любви, ни ненависти, ни благодарности, ни сетований, ни надежды на воздаяние, ни страха перед возмездием. Ему не полагается ничего. Тот, кто желает каких-либо чувств по отношению к себе, должен сначала убедить нас в собственном несомненном существовании. Любовь допускает сомнение в том, взаимна она или нет; это понятно. Но любовь, которая сомневается в существовании предмета любви, — нелепость. Обладающий всемогуществом мог бы рассеять любые сомнения. Если он их не рассеял, значит, счел это излишним. Почему? Напрашивается предположение, что он вовсе не всемогущ. Невсемогущий создатель, пожалуй, мог бы рассчитывать на чувство, близкое к жалости и даже любви; но этого ни один из наших теологов не допускает. Итак, я повторяю: будем служить себе и никому больше.

Мы опускаем дальнейшую дискуссию о том, является ли Бог, каким его изображает теология, либералом или скорее самодержцем; трудно вкратце изложить умозаключения, занимающие большую часть книги. Размышления и дискуссии, которые протоколировал Добб в ходе групповых коллоквиумов АДАН-300, ДААНА и других персоноидов, а также в ходе соликоллоквиумов* (даже чисто мысленный ход умозаключений экспериментатор может фиксировать при помощи специальных устройств, подключенных к компьютеру), занимают чуть ли не треть книги. В самом тексте

* В беседах с самим собою.

не дается никакого комментария к ним. Таким комментарием, однако, служит послесловие Добба. Он пишет:

«По-моему, доводы АДАНА неоспоримы — во всяком случае, постольку, поскольку они адресованы мне; ведь это я его создал. В его теологии я являюсь Творцом. Я действительно сконструировал этот мир (с порядковым номером 47), применив программу АДОНАЙ-IX, а при помощи модифицированной программы ЯХВЕ-VI создал зародыши персоноидов. Первое их поколение положило начало тремстам следующим. Я действительно не сообщил им ничего достоверного ни о возникновении мира, ни о моем собственном существовании. К мысли о моем бытии они действительно могут прийти лишь путем гипотез, догадок и домыслов. Создавая разумные существа, я действительно счел себя вправе требовать от них благодарности или любви, тем более — какого-либо служения. Я могу увеличить или уменьшить их мир, ускорить или замедлить течение времени в нем, изменить способ и тип их восприятия, могу уничтожить их, могу дробить их и множить, могу перестроить онтологический фундамент их бытия. Иначе говоря, по отношению к ним я всемогущ, но, честное слово, из этого вовсе не следует, будто они мне что-то должны. Напротив, я убежден, что они мне ничем не обязаны. Это правда: я их не люблю; о любви здесь говорить не приходится; но в конце концов какой-нибудь другой персонетик мог бы питать любовь к своим подопечным. По-моему, это никак не изменило бы сути дела — ни на волос. Представьте себе, что я подключил к моему VIX-310/092 огромных размеров приставку — «загробный мир», — через которую пропускаю одну за другой «души» моих персоноидов; тех, кто верил в меня, кто меня почитал, кто питал ко мне доверие и благодарность, я награждаю, а всех остальных (небожистов, говоря языком персоноидов) наказываю уничтожением или страданиями (о вечных муках не смею даже помыслить — я все же не такое чудовище!). Мой поступок, вне всяких сомнений, сочли бы выходкой крайнего и бессовестного эгоцентризма, мстью подлой и к тому же иррациональной, короче, гнуснейшим злоупотреблением своей абсолютной властью над невинными существами, причем на их стороне была бы неоспоримая правота логики, определяющей их поведение. Разумеется, из истории персонетики каждый волен делать выводы, какие считает нужными. Д-р Комбей сказал мне в частной беседе, что я мог бы убедить персоноидов в своем бытии. Вот этого я не сделаю наверняка. Это значило бы напрашиваться на

что-то, ожидать какой-то реакции с их стороны. Но что они, собственно, могли бы сказать или сделать такого, чтобы я, их несчастный Творец, не почувствовал себя глубоко пристыженным и больно задетым? Счета за электроэнергию приходят ежеквартально, и наступит минута, когда университетские власти потребуют окончания эксперимента — выключения машины, то есть конца света. Я буду оттягивать эту минуту так долго, как только смогу. Это единственное, что я в состоянии сделать, однако гордиться тут нечем. Они мне ничего не должны, а я отдаю им последний долг. Надеюсь, эти слова не покажутся вам двусмысленными. Но если все же покажутся — пусть».

Alfred Testa
«NOWA KOSMOGONIA»

«НОВАЯ КОСМОГОНИЯ»

Речь профессора Альфреда Тесты на торжествах по случаю вручения ему Нобелевской премии, перепечатанная из юбилейного сборника «From Einsteinian to the Testan Universe»* с согласия издательства «J. Willey and Son».

Ваше Величество, дамы и господа! Мне хотелось бы воспользоваться необычностью места моего выступления, чтобы рассказать вам об обстоятельствах, которые привели к возникновению новой картины Вселенной и тем самым определили положение человека в Космосе способом, принципиально отличающимся от исторически сложившихся представлений. Торжественность этих слов относится не к моей работе, а к памяти человека, которого уже нет среди живых и которому мы обязаны многим. Вот о нем я и буду говорить, ибо произошло то, чего мне меньше всего хотелось бы: в сознании современников моя работа заслонила созданное Аристидисом Ахеропулосом, причем настолько, что историк науки профессор Бернард Вейденталь, то есть специалист, казалось бы, вполне компетентный, написал недавно в своей книге «Die Welt als Spiel und Verschönerung»**, что основная публикация Ахеропулоса «The New Cosmogony»*** вовсе не научное исследование, а всего лишь

* «От вселенной Эйнштейна до вселенной Тесты» (англ.)

** «Мир как игра и сговор» (нем.)

*** «Новая Космогония» (англ.)

полулитературная фантазия, в реальность которой не верил и сам автор. А профессор Арлен Стайнмингтон в «The New Universe of the Game Theory»^{*} высказал мнение, что, не будь работ Альфреда Тесты, идея Ахеропулоса так и осталась бы всего лишь парением философской мысли, чем-то вроде мира предустановленной гармонии Лейбница, к которому точные науки никогда не относились серьезно.

Итак, одни считают, что я принял всерьез то, чему не придавал значения и сам автор идеи, другие же считают, что я вывел на чистую воду естествознания мысль, опутанную спекулятивностью околонучного философствования. Столь разноречивые суждения вынуждают меня внести в этот вопрос ясность, что я и постараюсь сделать по мере сил. Да, Ахеропулос занимался философией естествознания, а не физикой или космогонией и свои идеи он изложил, не прибегая к математическому аппарату. Правда и то, что между интуитивными представлениями его космогонии и моей формализованной теорией существует немало расхождений. Но правда заключастся прежде всего в том, что Ахеропулос смог прекрасно обойтись без Тесты, тогда как Теста всем обязан Ахеропулосу. Эта разница не так уж мала. Чтобы изложить ее суть, я должен просить вас запастись терпением.

В середине двадцатого века, когда небольшая группа астрономов занялась изучением проблемы так называемых космических цивилизаций, это предприятие казалось чем-то совершенно неактуальным. Ученые в массе своей смотрели на это как на хобби нескольких десятков оригиналов, которых достаточно повсюду, а стало быть, и в науке. Они не чинили серьезных препятствий поискам сигналов, исходящих от иных цивилизаций, но вместе с тем не допускали и мысли, что существование этих цивилизаций может оказать влияние на наблюдаемый нами Космос. Если же тот или иной астрофизик осмеливался заявить, что спектр излучения пульсаров, либо загадка квазаров, или же определенные явления в ядрах галактик связаны с разумной деятельностью обитателей Мироздания, то ни один солидный авторитет не считал такое заявление научной гипотезой, достойной внимательного изучения. Астрофизика и космология оставались глухи к данной проблеме; в еще большей степени это относилось к теоретической физике. В науке тогда рассуждали примерно так: если мы хотим изучить механизм часов, то

^{*} «Новая вселенная теории игр» (англ.).

вопрос о том, есть ли на его гирях и шестернях какие-либо микроорганизмы или нет, не имеет ни малейшего значения ни для конструкции, ни для кинематики часового механизма. Наличие микроорганизмов заведомо не скажется на ходе часов! Именно так в те времена и считали: поскольку мыслящие существа не могут вмешаться в ход космического механизма, значит, при изучении этого механизма следует полностью пренебречь вероятностью их существования.

Даже если кто-нибудь из светил тогдашней физики и допустил бы возможность решительного переворота в космологии и физике, переворота, вызванного наличием в Космосе разумных существ, то лишь на таких условиях: если будут обнаружены космические цивилизации, если от них будут приняты сигналы и при этом будет получена принципиально новая информация о законах Природы, то тогда (и только тогда!) могут и впрямь произойти существенные преобразования в земной науке. Но чтобы революция в астрофизике могла совершиться без таких контактов, более того — чтобы именно *отсутствие* таких контактов, а также полное отсутствие сигналов и признаков так называемой «астроинженерии» могло бы вызвать величайшую революцию в физике и в корне изменить наши представления о Космосе — такое наверняка не могло прийти в голову ни одному из тогдашних авторитетов.

А ведь Аристидис Ахеропулос опубликовал свою «Новую Космогонию» при жизни многих выдающихся ученых. Его книга попала мне на глаза, когда я был докторантом математического факультета швейцарского университета в том самом городке, где некогда Альберт Эйнштейн работал служащим патентного бюро, в свободное время занимаясь созданием основ теории относительности. Мне удалось прочесть эту книжку потому, что она была издана в английском переводе, кстати сказать, прескверном. Более того, она была опубликована в серии «Science Fiction» в издательстве, которое специализировалось на литературе исключительно такого рода. Как я узнал много позже, первоначальный текст был сокращен при этом почти наполовину. Вероятно, обстоятельства ее издания (которые от Ахеропулоса не зависели) и породили мнение, что, создавая «Новую Космогонию», автор якобы и сам не принимал всерьез содержащихся в ней положений.

Боюсь, что сейчас, в век спешки и быстро меняющейся моды, никто, кроме историков науки и библиографов, и в руках не держал «Новую Космогонию». Образованные люди

знают название книги, слышали об ее авторе — и все. Тем самым эти люди многого себя лишают. Не только содержание «Новой Космогонии» живо запечатлелось в моей памяти, хотя я читал ее двадцать один год тому назад, но и все ощущения, вызванные чтением. А они были необычны: С той самой минуты, когда вы впервые осознаете грандиозность авторского замысла, когда в вашем воображении во всей полноте возникает идея палимпсестового Космоса — Игры с его невидимыми и невсedomыми друг другу Игроками, вас уже не покидает ощущение, что вы столкнулись с чем-то необычайно, потрясающе новым и одновременно — что это плагиат, перевод на язык естественных наук древнейших мифов, в которых отразился непроницаемый донный слой человеческой истории. Это досадное и даже удручающее впечатление возникает, как мне кажется, оттого, что всякий синтез физики и воли мы считаем для рационального мышления недопустимым, я даже сказал бы, неприличным. Ибо проекцией воли являются все древние космогонические мифы, повествующие с торжественной серьезностью и с той простодушной наивностью, которая и есть утраченный рай человечества, как возникала жизнь из схватки демиургических первоэлементов, воплощенных в различные тела и формы, как рождался мир яростных объятий любви и ненависти бого-зверей, бого-духов или титанов; и подозрение, что именно эта схватка, являющаяся чистейшей проекцией антропоморфизма в пространство космической загадки, что именно это сведение Физики к Желанию и было тем образцом, которым воспользовался автор, — это подозрение уже невозможно преодолеть.

Рассмотренная в таком ракурсе Новая Космогония оказывается в действительности Старой Космогонией, и всякая попытка изложить ее на языке человеческого опыта представляется чуть ли не кровосмесительством, следствием элементарного неумения разделять понятия и категории, которые *не могут* употребляться рядом. В свое время эта книжка попала на глаза лишь немногим выдающимся мыслителям, и теперь я знаю — поскольку сам слышал это не раз, — что именно так ее и читали: с раздражением, с досадой, презрительно пожимая плечами, из-за чего, пожалуй, никто не дочитал ее до конца. Не следует излишне возмущаться такой предвзятостью, такой инертностью предубеждений, ибо временами книга и впрямь выглядит вдвойне нелепо: замаскированных богов, переряженных в материальные существа, она воссоздает сухим языком научных утверждений и одно-

временно называет законы Природы следствием их конфликта. В результате читателя лишают сразу всего: и веры, понимаемой как парящая в своем совершенстве Трансценденция, и Науки с ее добросовестной, трезвой и объективной серьезностью. В конечном счете не остается ничего — все исходные понятия оказываются совершенно непригодными и здесь, и там; возникает ощущение, что с вами обошлись по-варварски, что вас обобрали под видом посвящения в нечто, не являющееся ни религией, ни наукой.

Я не в состоянии передать, какое опустошение произвела эта книга в моем сознании. Конечно, ученый обязан быть в науке Фомой неверующим, можно оспаривать любое ее утверждение, но ведь нельзя подвергать сомнению сразу все! Ахеропулос уклонялся от признания своей гениальности, наверное, неумышленно, но весьма успешно. Это был никому не известный сын малого народа, у него не было специального образования ни в области физики, ни в области космогонии, и, наконец (а это уже переполняло чашу), у него не было никаких предшественников — вещь в истории небывалая, ибо каждый мыслитель, каждый революционер духа имеет своих учителей, которых перерастает, но на которых все-таки ссылается. Этот же грек пришел один. Одиночество должно было стать уделом такого новатора: вся его жизнь свидетельствует об этом.

Я никогда не встречался с ним и знаю о нем не слишком много. Как зарабатывать на жизнь, ему всегда было безразлично. Первую редакцию «Новой Космогонии» он написал тридцати трех лет, уже имея степень доктора философии, но нигде не мог опубликовать книгу. Непризнание своей идеи, прижизненное непризнание, он переносил стоически; попытки опубликовать «Новую Космогонию» он вскоре оставил, поняв их бесполезность. Сначала он был привратником в том самом университете, где получил степень доктора философии за блестящую работу по сравнительной космогонии древних народов, затем заочно изучал математику и одновременно работал помощником пекаря, а позже — водовозом; никто из тех, с кем он сталкивался, не слышал от него ни единого слова о «Новой Космогонии». Он был скрытен и, как говорят, беспощаден к своим ближним и к самому себе. Именно эта его беспощадность в высказывании мыслей, в равной степени неприемлемых и для науки, и для религии, его безграничный еретизм, эта его универсальная кощунственность, проистекающая из интеллектуальной отваги, должно быть, и оттолкнули от него всех читателей. Я

думаю, что, принимая предложение английского издателя, он поступал подобно потерпевшему кораблекрушение, который, оказавшись на безлюдном острове, бросает в морские волны бутылку с запечатанной в ней запиской: он хотел оставить след своей мысли, ибо был уверен в ее правильности.

Даже чудовищно искалеченная убогим переводом и бессмысленными сокращениями, «Новая Космогония» все же является произведением незаурядным. Ахеропулос сокрушил в ней все, абсолютно все, что создавали веками наука и религия; эта пустыня, усыпанная обломками уничтоженных им понятий, понадобилась ему для того, чтобы приняться за работу с самого начала, то есть чтобы построить Космос заново. Это ужасное зрелище вызывает защитную реакцию, которая заставляет признать, что автор либо явный безумец, либо явный неуч, а его ученые звания просто не заслуживают доверия. Те, кто отвергал его подобным образом, восстанавливали свое душевное равновесие. Между мною и всеми прочими читателями «Новой Космогонии» оказалась лишь та разница, что я не смог этого сделать. Кто не отвергнет этой книжки целиком, от первой и до последней буквы, тот пропал: он уже никогда от нее не освободится. Спасительная золотая середина здесь исключена полностью: если не сумасшедший и не невежда, значит, гений.

С этим диагнозом согласиться нелегко! От текста непрестанно рябит в глазах: нетрудно заметить, что матрица конфликтного столкновения, то есть Игры, является каркасом любой религии, не изжившей, скажем, до конца манихейских элементов, а найдется ли такая религия, в которой не осталось хотя бы этих следов? По призванию и по образованию я математик, физиком я стал благодаря Ахеропулосу. Я твердо уверен, что все мои взаимоотношения с физикой всегда были бы эпизодическими и случайными, если бы не этот человек. Он обратил меня, я могу даже указать место в «Новой Космогонии», которое к этому привело. Речь идет о семнадцатом параграфе шестой главы книги, том самом, где говорится об изумлении Ньютонов, Эйнштейнов, Джинсов, Эддингтонов, обнаруживших, что законы природы можно описать математически, что математика, этот плод чисто логической работы духа, может управиться с Космосом. Некоторые из этих великих, как Эддингтон или Джинс, считали, что сам Создатель был математиком и что следы этой его склонности проявляются в деле творения. Ахеропулос утверждает, что время этих восторгов в теоретической физике уже прошло, поскольку замечено, что математический

формализм говорит о мире или слишком мало, или слишком много: оказывается, математика дает такое описание структуры Вселенной, которое никогда не попадает в самую суть, в самую цель, а всегда лежит где-то рядом. Мы считали такое положение дел переходным, он же отвечает: да, физикам не удалось создать общую теорию поля, они не смогли связать явления макро- и микромира, но это еще в будущем. Совмещение картины мира и его математического описания будет достигнуто, но это произойдет не потому, что математический аппарат подвергнется дальнейшим реконструкциям, — ничего подобного. Совпадение наступит тогда, когда созидательная работа во Вселенной дойдет до конца; сейчас же она еще в разгаре. Законы Природы *еще* не таковы, какими «должны» быть; и станут они такими не из-за усовершенствования методов математики, а благодаря соответствующим преобразованиям Вселенной!

Дамы и господа, эта величайшая из всех ересей, с которыми я сталкивался в жизни, околдовала меня. Ибо что, собственно, говорит Ахеропулос в той же главе дальше? Не болес и не менее как то, что физика мироздания является следствием его, то есть Космоса, социологии... Но чтобы правильно понять такое из ряда вон выходящее утверждение, мы должны обратиться к некоторым фундаментальным положениям.

Обособленность идей Ахеропулоса, увы, не имеет себе равных в истории разума. Вопреки видимости плагиата, о котором я упоминал, идея Новой Космогонии выходит за рамки как любых метафизических систем, так и всевозможных методов естествознания. Впечатление, что мы имеем дело с плагиатом — это вина читателя, плод инертности его мышления. Чисто машинально мы полагаем, что весь материальный мир строго подчиняется такой логической дихотомии: либо он был Кем-то создан (и тогда, стоя на позициях религии, мы зовем этого «Кого-то» Абсолютом, Богом, Животворящим Духом), либо он не был создан никем, и тогда это означает, если рассматривать мир с научной точки зрения, что его никто не создавал. А Ахеропулос сказал: «*Tertium datur*»*. Мир не был создан Никем, но он, однако, был устроен; Космос имеет Творцов!

Почему у Ахеропулоса не было ни одного предшественника? Его главная мысль весьма проста, и неправда, что ее

* «Третье дано» — от латинского выражения «*Tertium non datur*» — «Третьего не дано».

нельзя было сформулировать до возникновения таких дисциплин, как теория игр или алгебра конфликтных структур. Его основную мысль можно было бы высказать еще в первой половине XIX века, а возможно, и раньше. Почему же никто этого не сделал? Мне кажется, это произошло потому, что наука, обретая самостоятельность в процессе освобождения от гнета религиозных догм, приобрела своеобразную аллергию к некоторым понятиям. Вначале Наука вступала в конфликт с Верой, что приводило к известным, часто весьма печальным результатам, которых церковь и по сей день несколько стыдится, и это притом, что Наука молчаливо простила ей былые преследования. В конце концов это привело к состоянию настороженного нейтралитета между Наукой и Верой: каждая старается не ставить палки в колеса другой. Результатом такого сосуществования, весьма рискованного и напряженного, явилось ослепление Науки, сказавшееся в том, что она избегала мест, где покоилась идея Новой Космогонии. Идея эта тесно связана с понятием Интенции, или замысла, то есть с тем, что неотделимо от веры в персонафицированного Бога, поскольку является ее оплотом. Ибо, согласно религии, Бог создал мир актом воли и замысла, то есть актом интенциональным. Поэтому Наука сочла данное понятие весьма подозрительным и даже более того — запрещенным. Оно превратилось в табу. В мире науки о нем нельзя было и заикнуться из опасения впасть в смертный грех иррационалистического уклона. Страх сковал не только уста, но и умы ученых.

Теперь рассмотрим все еще раз с самого начала. В конце семидесятых годов двадцатого века загадка *Silentium Universi** получила некоторую известность. Ею интересовались самые широкие круги. После первых предварительных попыток принять сигналы из космоса (это были работы Дрейка в Грин Бэнк) появились дальнейшие проекты, реализованные как в СССР, так и в США. Однако Космос, прослушиваемый самой чуткой электромагнитной аппаратурой, хранил упорное молчание, наполненное лишь шумом и треском, сопровождавшими стихийное высвобождение звездной энергии. Вселенная оставалась безжизненной во всех своих глубинах. Отсутствие сигналов «иных миров» и вдобавок отсутствие следов их «астроинженерной» деятельности превращалось для науки в трагедию. Биология открыла естественные условия, способствующие зарождению жизни из

* Молчание Вселенной (лат.).

мертвой материи. Удалось даже осуществить биогенез в лабораторных условиях. Астрономия определила частоту планетогенеза, причем было неопровержимо установлено, что множество звезд имеют планетные системы. И так, все науки единогласно утверждали, что жизнь может возникнуть в ходе естественных космических процессов, что ее эволюция должна быть обычным явлением во Вселенной, а увенчание эволюционного древа разумом органических существ было признано естественной закономерностью.

Таким образом, науки создали картину обитаемого Космоса, а при всем при том наблюдаемые факты упорно противоречили этим утверждениям. Согласно теории, Землю окружала целая толпа цивилизаций, правда, в звездном удалении. Согласно практике наблюдений, нас окружала мертвая глушь. Первые исследователи проблемы исходили из того, что среднее расстояние между двумя космическими цивилизациями составляет от пятидесяти до ста световых лет. Затем это расстояние было увеличено до тысячи. В семидесятые годы радиоастрономия так усовершенствовалась, что можно было обнаружить сигналы, идущие с расстояний до десяти тысяч световых лет, однако и оттуда слышался лишь шум солнечных пожаров. За семнадцать лет непрерывного прослушивания Космоса не было выловлено ни единого сигнала, ни единого знака, дающего основания предполагать, что за ним стоит разумное намерение.

Тогда Ахеропулос сказал себе: факты наверняка истинны, поскольку именно они являются основой познания. Возможно ли, что все теории всех наук ложны, что и органическая химия, и биохимический синтез, теоретическая и эволюционная биология, планетология, астрофизика — все до единой неверны? Нет, столь явно и столь единодушно они не могли заблуждаться. А это значит, что факты, которые мы наблюдаем (вернее, которых *не* наблюдаем), вовсе не противоречат теориям. Необходимо заново проинтерпретировать совокупность данных и совокупность обобщений. Именно такую попытку и предпринял Ахеропулос.

На протяжении двадцатого столетия возраст Космоса и его размеры зсмная наука вынуждена была многократно пересматривать. Направление этих изменений было всегда одним и тем же: и древность, и размеры Вселенной, как правило, недооценивались. Когда Ахеропулос приступил к созданию «Новой Космогонии», возраст и величину Вселенной подвергли очередному пересмотру: существование Космоса оценивалось по крайней мере в двенадцать миллиар-

дов лет, а его размеры — величиной от десяти до двенадцати миллиардов световых лет. Так вот, возраст Солнечной системы составляет около пяти миллиардов лет. Отсюда следует, что эта система не принадлежит к первому поколению звезд, порожденному Вселенной. Первое поколение возникло много раньше, а именно около двенадцати миллиардов лет назад. Вот в этом промежутке времени, отделяющем возникновение самого первого поколения солнц от возникновения их последующих поколений, спрятан ключ к загадке.

Поэтому сложилась ситуация, в равной мере и удивительная, и забавная. Как может выглядеть, чем может заниматься, какие цели может преследовать цивилизация, развивающаяся в течение миллиардов лет (а именно на миллиарды лет цивилизации «первого поколения» должны быть старше земной!), — этого никто не мог себе представить даже при самом смелом полете фантазии. А то, чего нельзя даже представить, было, как вещь весьма неудобная, попросту проигнорировано. В самом деле, ни один из исследователей проблемы внеземного разума даже не упоминал о столь долговечных цивилизациях. Правда, кое-кто осмеливался заявить, что квазары и пульсары, возможно, представляют собой результат деятельности мощнейших космических цивилизаций. Однако простые расчеты показали, что Земля, развиваясь нынешними темпами, смогла бы достигнуть столь высокого уровня астроинженерной деятельности всего за *несколько тысяч* ближайших лет. А что потом? На что способна цивилизация, существующая в *миллионы* раз дольше? Астрофизики, занимающиеся этими вопросами, пришли к выводу, что такие цивилизации ничего не делают, ибо они не существуют.

Что же с ними случилось? Немецкий астроном Себастьян фон Хорнер утверждал, что все они кончили жизнь самоубийством. Пожалуй, так оно и есть, коль скоро их нигде не видно! Да нет же, отвечал Ахеропулос. Их нигде не видно? Это мы их просто не замечаем, поскольку они *уже везде*. Точнее, не они сами, а лишь результаты их деятельности. Двенадцать миллиардов лет назад — а в те времена пространство и впрямь было мертвым — возникли первые зародыши жизни на планетах первого звездного поколения. Однако прошли эпохи, и от той космической первоосновы ничего не осталось. Если считать «искусственным» все то, что преобразовано активным Разумом, то весь окружающий нас Космос уже *искусственный*. Столь дерзкая ересь вызы-

вает мгновенное противодействие: ведь нам известно, как выглядят «искусственные» объекты, созданные разумом, занимающимся технической деятельностью! Где же космические корабли, где титаническая техника звездных существ, которая должна нас окружать, воплощая в себе их могущество? Но это — ошибка, вызванная инерцией мышления, поскольку в машинной технике, говорит Ахеропулос, нуждаются только цивилизации, находящиеся в эмбриональном состоянии, как, например, земная. Миллиардолетней цивилизации не нужна никакая техника. Ее орудием является то, что мы называем Законами Природы. Сама Физика представляет собой «машину» для такой цивилизации! Причем это не «готовая машина», ничего подобного; «машина» эта (конечно, с механическими машинами она не имеет ничего общего) создается на протяжении миллиардов лет, и ее строительство хоть и весьма далеко продвинулось, но еще не завершено!

Дерзость этого святотатства, его невыразимо бунтарский дух прямо-таки вышибают книжку Ахеропулоса из рук читателя, — несомненно, так случилось со многими. А ведь это лишь первый шаг на пути дальнейшего отступничества автора, величайшего еретика в истории науки.

Ахеропулос уничтожает разницу между «естественным» (созданным Природой) и «искусственным» (созданным машиной), заходя в этом так далеко, что сметает разницу между учрежденным (то есть юридическим) Законом и Законом Природы... Он отвергает мнение, что якобы разделение произвольно взятых объектов по происхождению на искусственные и естественные является объективным свойством мира. Ахеропулос считает это мнение изначальным заблуждением, вызванным эффектом, который он называет «сужением горизонта понятий».

Человек наблюдает природу, говорит Ахеропулос, и учится у нее; он наблюдает падение тел, молнии, процессы горения; Природа всегда является учителем, а человек — учеником; проходит время, и он сам начинает имитировать процессы, происходящие в собственном теле, как бы беря у него уроки биологии. Но и тогда, подобно пещерному человеку, он продолжает считать Природу пределом мыслимого совершенства решений: он надеется, что, может быть, когда-нибудь потом, в далеком будущем, ему удастся сравняться с Природой в безупречности действий, но это уже будет конец пути. Дальше идти некуда, ибо то, что существует в виде атомов, солнц, тел животных, его собственного моз-

га, — по строению своему является непревзойденным вовеки. И естественно, Природа является пределом потока работ, которые се «искусственно» повторяют и модифицируют.

Вот это и есть, говорит Ахеропулос, ошибка перспективы или «сужение горизонта понятий». Сама концепция «совершенства Природы» является такой же иллюзией, как сходящиеся на горизонте рельсы. Природу можно изменять во всем, если, конечно, располагать соответствующими знаниями; можно управлять атомами, а потом можно изменять и свойства атомов; при этом лучше и вовсе не раздумывать, окажется ли «искусственный» результат такой деятельности «более совершенным», чем то, что было ранее, то есть «естественное». Это будет попросту другое, возникшее по плану и замыслу действующих сторон, оно будет «лучше», то есть «совершеннее», потому что создано по решению Разума. Но какое «абсолютное превосходство» сможет проявить космическая материя после ее всеобщего преобразования? Возможны «различные природы», «разные космосы», но реализованным оказался всего лишь один конкретный вариант, тот самый, который породил нас и в котором мы существуем, вот и все. Так называемые Законы Природы являются «неизменными» лишь для такой «эмбриональной» цивилизации, как земная. Согласно Ахеропулосу, путь развития ведет от ступени, на которой законы природы открывают, к ступени, на которой эти законы создают.

Вот что произошло — и происходит — в течение миллиардов лет. Нынешний Космос уже не является полем действия девственных стихийных сил, слепо созидających и уничтожающих солнца и солнечные системы; ничего подобного нет и в помине. В Космосе уже невозможно отличить естественное (первичное) от искусственного (преобразованного). Кто выполнил этот космогонический труд? Цивилизации первых поколений. Как? Этого мы не знаем: наши знания слишком ничтожны, чтобы судить об этом. Тогда на каком основании можно считать, что все обстоит именно так?

Если бы первые цивилизации, отвечает Ахеропулос, были с самого начала свободны в своих поступках, подобно тому как был свободен — в религиозном понимании — сам Творец Мироздания, то нам, конечно, никогда не удалось бы заметить следов происшедших перемен. Все религии изображают сотворение мира Богом как абсолютно свободный преднамеренный акт, но положение Разума было иным, цивилизации были ограничены свойствами первичной материи, их породившей; эти свойства обусловили их последу-

ющие поступки, и по поведению цивилизаций можно опосредованно составить картину исходных условий сознательной Космогонии. Это не так-то просто, ведь в процессе преобразования Вселенной сами цивилизации тоже не стояли на месте: являясь ее частью, они не могли ее изменять, не изменяя при этом самих себя.

Ахеропулос приводит такой наглядный пример: если на питательную среду поселить колонии бактерий, то исходную («естественную») среду и эти колонии вначале легко различить. Однако в процессе своей жизнедеятельности бактерии поглощают одни вещества и выделяют другие, преобразуя среду так, что ее состав, кислотность, консистенция подвергаются изменениям. Когда же в результате этих перемен обогащенная новыми химическими компонентами среда порождает новые разновидности бактерий, до неузнаваемости непохожие на родительские поколения, эти новые разновидности есть не что иное, как следствие «биохимической игры», которая велась одновременно всеми колониями и средой. Новые формы бактерий не могли бы возникнуть, если бы предыдущие поколения не изменили среды; следовательно, эти новые формы являются результатом самой игры. А между тем отдельным колониям вовсе нет нужды общаться между собой: они влияют друг на друга посредством диффузии, осмоса, сдвига кислотно-щелочного равновесия среды. Как видим, возникающая игра постепенно исчезает — на смену ей приходят качественно новые, ранее не существовавшие формы игры. Подставьте вместо среды Пракосмос, вместо бактерий — Працивилизации, и вы получите упрощенную картину Новой Космогонии.

С точки зрения исторически накопленных знаний все, о чем я говорил до сих пор, — полнейшее безумие. Тем не менее ничто не мешает нам проводить мысленные эксперименты с самыми произвольными исходными допущениями, лишь бы они были логически непротиворечивы. Что же касается гипотезы Космоса-Игры, то здесь возникает ряд вопросов, на которые необходимо дать не противоречащие друг другу ответы. В первую очередь эти вопросы касаются начальных условий: можем ли мы что-нибудь предположить о них, можем ли из этих предположений получить исходную ситуацию Игры? Ахеропулос считал, что это возможно. Для того чтобы в Пракосмосе возникла Игра, он должен был обладать определенными свойствами, например такими, чтобы в нем могли возникнуть первые цивилизации. Это значит,

что он не был физическим хаосом, а подчинялся определенным закономерностям.

Эти закономерности, однако, не обязательно были универсальными, то есть повсюду одинаковыми. Пракосмос мог быть физически неоднородным, мог представлять собой нечто вроде набора различных разновидностей физики, не во всем тождественных и не везде одинаково определившихся (процессы, протекающие в условиях недоопределившейся физики, не всегда протекают одинаково, хотя их начальные условия могут быть аналогичными). Ахеропулос принял за основу, что Пракосмос был именно таким, физически «кусочным», и что цивилизации могли возникнуть лишь в немногих очагах, значительно удаленных друг от друга. В представлении Ахеропулоса физическая картина Пракосмоса напоминала пчелиные соты; подобно ячейкам в сотах, в Пракосмосе должны были существовать области с временно стабилизированной физикой, которая отличалась от физики соседних областей. Каждая цивилизация, развиваясь обособленно, в изоляции от прочих, могла считать себя единственной во Вселенной и по мере накопления знаний и энергии старалась придавать окружению черты стабильности, последовательно раздвигая при этом границы своего влияния. Если ей это удавалось, то по истечении довольно длительного времени такая цивилизация начинала сталкиваться — в удаленных сферах своей деятельности — с явлениями, которые уже не были только естественным проявлением стихийности окружающего нас пространственно-временного континуума, но были продуктом деятельности другой цивилизации. Согласно Ахеропулосу, именно так и закончилась первая фаза Игры — вступительная. Цивилизации не устанавливали друг с другом непосредственных контактов, все происходило так: разновидность физики, установленная одной из цивилизаций, в процессе экспансии наталкивалась на соседние разновидности физики.

Эти разновидности физики не могли плавно переходить одна в другую, поскольку они были нетождественны — потому, что нетождественными были и начальные условия существования каждой цивилизации в отдельности. Как полагал Ахеропулос, каждая из цивилизаций довольно долго не отдавала себе отчета в том, что в течение какого-то времени она уже не продвигается в глубь, казалось бы, совершенно нейтральной материальной среды, а сталкивается со сферами сознательной деятельности иных цивилизаций. Понимание сложившейся ситуации пришло не сразу. Осознание это-

го факта, наверняка не одновременное, открыло следующую, вторую фазу Игры. Стараясь сделать эту гипотезу более правдоподобной, Ахеропулос приводит в «Новой Космогонии» ряд воображаемых сцен, иллюстрирующих космическую эпоху, когда различные по исходным законам разновидности физики наталкивались друг на друга, а фронт столкновений представлял собой гигантские взрывы и пожары, в которых высвобождались колоссальные энергии различного рода аннигиляций и трансформаций. Это были столь мощные катастрофы, что отзвук их еще по сей день слышен во Вселенной в виде так называемого реликтового (остаточного) излучения, обнаруженного астрофизиками в шестидесятые годы и принятого ими за эхо ударных волн, порожденных взрывным характером возникновения Космоса из сего почти точечного зародыша (ибо в те годы многие считали весьма правдоподобной именно такую модель сотворения мира). Но проходили века, и цивилизации независимо друг от друга пришли к пониманию того, что они ведут антагонистическую Игру не со стихийными силами Природы, а, сами того не ведая, с иными цивилизациями. И вот тем, что определило всю их последующую стратегию, был факт заведомой некоммуникабельности, отсутствия связи друг с другом, поскольку из пределов действия одной разновидности физики нельзя переслать никакой информации в пределы действия другой.

Итак, каждая из них вынуждена была действовать в одиночку, продолжение прежней тактики было бесцельным, а то и просто губительным; вместо того чтобы понапрасну тратить силы в лобовых столкновениях, надлежало объединиться, однако без всякой предварительной договоренности. Эти решения, принятые тоже неодновременно, в конце концов привели к переходу Игры в ее третью фазу, которая продолжается и теперь. Значит, Игра, в которой участвуют практически все высшие цивилизации Вселенной, является одновременно и единой, и естественной. Члены этой совокупности ведут себя подобно экипажам кораблей, которые во время бури льют масло на разбушевавшиеся волны; хоть они и не согласовали своих действий, тем не менее эти действия принесут пользу всем. Стало быть, каждый игрок действует согласно минимаксовой стратегии: он изменяет существующие условия так, чтобы добиться максимальной всеобщей выгоды при минимальном ущербе. Поэтому нынешний Космос является однородным и изотропным (в нем действуют одни и те же законы и отсутствуют выделенные

направления). Свойства, которые Эйнштейн обнаружил в Мироздании, являются результатами решений, принятых порознь, но тем не менее тождественных ввиду тождественности ситуаций, в которых находились игроки. Однако тождественной в начале была *стратегическая* ситуация и не обязательно — *физическая*. Ведь не однородная физика породила стратегию Игры. Совсем наоборот: однородная минимаксовая стратегия породила единую физику. *Id fecit Universum, cui prodest**.

Дамы и господа, в свете наших теперешних знаний взгляды Ахеропулоса в общем соответствуют действительности, хотя и содержат ряд упрощений и ошибок. Ахеропулос исходил из того, что в границах различных разновидностей физики может возникнуть один и тот же тип логики. Ибо, если б цивилизация A_1 , возникшая в «космической ячейке» А, имела иную логику, чем цивилизация B_1 , возникшая в «ячейке» В, то они не смогли бы пользоваться одной и той же стратегией и, следовательно, сделать свои разновидности физики однородными. Поэтому он исходил из того, что нетождественные разновидности физики тем не менее могут породить единую Логикку — иначе он не мог объяснить то, что произошло в масштабах Космоса. В этой догадке есть доля истины, однако все обстоит сложнее, чем он думал. Мы унаследовали от него программу, направленную на восстановление стратегии Игры путем решения «обратной задачи», иными словами, исходя из нынешней физики, мы пытаемся определить, что заставило Игроков создать именно такую физику. Эта задача осложняется тем, что развитие событий нельзя считать линейным процессом, то есть полагать, что Пракосмос породил Игру, которая в свою очередь породила нынешнюю Физику. Тот, кто изменяет Физику, тем самым видоизменяет и самого себя, то есть создает обратную связь между преобразованием окружающей среды и самопреобразованием.

Эта основная опасность Игры, которую Игроки не могли не заметить, привела к ряду *тактических* маневров. Они стремились к таким преобразованиям, которые не вели бы к всеобщим коренным переменам; другими словами, чтобы избежать всеобщего релятивизма, то есть связи всего со всем, они создали *иерархическую* Физику. Иерархическая Физика не является «тотальной»: например, не подлежит сомнению, что *механика* осталась бы неизменной даже в том случае,

* Вселенную создал тот, кому это выгодно (*лат.*)

если бы материя не имела на атомном уровне квантовых свойств. Это значит, что отдельные «уровни» реальности обладают определенной самостоятельностью, — иначе говоря, не все законы на данном уровне обязательно должны быть сохранены, чтобы над ним мог возникнуть следующий уровень. А это значит, что Физику можно менять «понемножку» и что не всякое изменение законов обозначает изменение всей Физики в целом на всех уровнях явлений. Такого рода проблемы, стоящие перед Игроками, искажают простую и ясную картину Игры, созданную Ахеропулосом, — как процесса, состоящего из трех этапов. Ахеропулос допускал, что происходившая в ходе Игры «стыковка» различных разновидностей Физики должна была уничтожить часть Игроков, потому что не из всех исходных ситуаций можно было перейти в однородное состояние. Уничтожение Партнеров, находящихся в неблагоприятных начальных условиях, отнюдь не входило в намерения других Игроков. Кому суждено выжить, а кому исчезнуть, решал слепой случай, по воле жребия наделяя разные цивилизации различными исходными условиями.

Ахеропулос полагал, что последние пожары этих ужасающих «битв», в которых сталкивались друг с другом различные Физики, дошли до нас в виде квазаров, выделяющих энергию порядка 10^{63} эрг, — энергию, которую не может высвободить ни один из известных нам физических процессов в том сравнительно малом пространстве, которое занимает квазар. Он думал, что, глядя на квазары, мы видим то, что происходило от пяти до десяти миллиардов лет назад, во второй фазе Игры, ибо именно столько времени занимает движение светового луча, идущего от квазаров к нам. Гипотеза эта ошибочна. Мы причисляем квазары к явлениям иного рода. Необходимо учитывать, что у Ахеропулоса не было данных, которые позволили бы ему взглянуть на этот вопрос по-иному. Нам недоступна полная реконструкция начальной стратегии Игроков, ретроспектива возможна лишь до того места, в котором они еще действовали, грубо говоря, более или менее так, как и сейчас. Если в Игре были критические моменты, связанные с резкими поворотами стратегии, ретроспекция не в состоянии преодолеть первый же такой поворот. А это значит, что мы не можем узнать ничего определенного о том Пракосмосе, который породил Игру.

Когда же мы вглядываемся в современный Космос, мы обнаруживаем зафиксированные в его структуре основные

принципы той стратегии, которой придерживаются Игроки. Космос постоянно расширяется, он имеет предельную скорость, или световой барьер, законы его Физики симметричны, но симметрия эта не полная, он построен «коагуляционно и иерархично», поскольку состоит из звезд, которые собираются в скопления, те в свою очередь сгруппированы в местные сгущения и, наконец, все эти сгущения образуют Метагалактику. Кроме того, время в Космосе полностью асимметрично. Вот таковы основные черты строения Мироздания, и для каждой из них мы находим исчерпывающее объяснение в структуре Космогонической Игры, Игры, позволяющей нам сразу понять, почему одним из ее основных принципов должно быть соблюдение *Silentium Universi*. Почему же Космос устроен именно так? Игроки знают, что в процессе эволюции звезд возникают новые планеты и новые цивилизации, а это вынуждает их позаботиться о том, чтобы молодые цивилизации, эти кандидаты на роль будущих Игроков, не могли нарушить равновесия Игры. Поэтому Космос расширяется, ибо только в таком Космосе, несмотря на возникновение в нем все новых цивилизаций, расстояние между ними остается величиной постоянной.

Взаимопонимание, которое может привести к «сговору», к возникновению местной коалиции новых Игроков, могло бы, однако, возникнуть и в таком, расширяющемся Космосе, если бы в него не был встроен барьер скорости взаимодействия на расстоянии. Представим себе Космос с Физикой, позволяющей увеличивать скорость распространения взаимодействия пропорционально вложенной энергии. В таком Космосе становится возможной монополизация власти над его Физикой и над всеми остальными участниками Игры. Такой Космос как бы поощряет соревнование, энергетическое соперничество, гонку энерговооружения. Поэтому в реальном Космосе для превышения скорости света требуется бесконечно большая энергия, — иначе говоря, этот барьер вообще нельзя преодолеть.

Таким образом, возрастание энергетического могущества не окупается. Причина асимметрии хода времени аналогична. Если бы время было обратимо и если бы, затрачивая необходимые средства и мощности, можно было бы изменять направление хода времени, то и в этом случае удалось бы подчинить себе партнеров, на сей раз благодаря возможности аннулировать любое их начинание. Следовательно, расширяющийся Космос, как и Космос без барьера скорости, и, наконец, Космос с обратимым временем — все это в оди-

наковой мере не позволяет полностью стабилизировать Игру. А ведь задача, собственно, в том и заключалась, чтобы стабилизировать Игру *нормативно*, именно к этому направлены все усилия Игроков, воплощенные в структуре материи. Ведь совершенно очевидно, что исключение всякой возможности любого осложнения и любой агрессии с помощью специально *вводимых законов Физики* является куда более надежным и радикальным, чем все другие средства безопасности (например, с помощью уже *установившихся* законов, угроз, контроля, принуждения, ограничений, штрафов).

Вследствие этого Космос представляет собой *поглощающий экран* для всех, кто достигает такого уровня, что может принимать полноправное участие в Игре. Ибо они получают правила, которым *вынуждены* подчиняться. Игроки сделали *ненужной* семантическую связь, поскольку они общаются методами, делающими невозможным нарушения правил Игры: об их согласии свидетельствует само установленное единство Физики. Игроки сделали *ненужной* действительную семантическую связь, поскольку они создали и поддерживают такие расстояния между собой, что *время* получения стратегически важной информации о состоянии других Игроков всегда больше, чем время действия избранной в данный момент тактики Игры. Если бы кто-нибудь из них даже и «разговаривал» с соседними Партнерами, то полученные сведения к моменту их получения всегда теряли бы актуальность. И именно поэтому в Космосе совершенно невозможно образование враждебных группировок, тайных союзов, создание центров местной власти, коалиций, заговоров и тому подобного. Поэтому Игроки и не общаются между собой: *они сами сделали бесполезным всякое общение*. Это был один из принципов стабилизации Игры, а следовательно, и Космогонии. Вот вам и частичное объяснение загадки *Silentium Universi*. Мы не можем подслушать разговоры Игроков, поскольку они молчат по стратегическим соображениям.

Именно это и удалось разгадать Ахеропулосу. О его добросовестности свидетельствует приведенный в «Новой Космогонии» перечень возражений, которые может вызвать такая картина Игры. Они сводятся к подчеркиванию чудовищного несоответствия между миллиардолетним трудом, якобы вложенным в перестройку Вселенной, и результатами этой перестройки, целью которой является *установление мира* во Вселенной с помощью встроенной в нее Физики. Как это так, говорит воображаемый критик, выхо-

дит, что миллиардов лет культурного развития еще недостаточно для того, чтобы эти загадочно долговечные цивилизации добровольно отказались от всяких форм агрессии, и поэтому гарантией Космического Мирного Договора должны были стать специально для этого переделанные Законы Природы? И стало быть, усилия, энергия которых превосходит совокупную мощь миллионов галактик, не имеют никакой другой цели, кроме установления *барьеров* и *преград* для военных действий? Ахеропулос отвечал на это так: тот тип Физики, который установил в Космосе мир, во время возникновения Игры был необходимостью, поскольку только одна стратегия могла сделать Вселенную физически однородной. В противном случае ее огромные пространства охватил бы хаос слепых катаклизмов. Условия существования в Пракосмосе были куда более суровы, чем сейчас, жизнь могла возникнуть в нем только как «исключение из правил» и, случайно возникнув, случайно в нем погибала. Расширяющаяся Метагалактика, асимметричное течение времени, структурная иерархия — все это необходимо было ввести в самом начале, это был минимальный порядок, необходимый для создания поля последующей деятельности.

Ахеропулос понимал, что коль скоро эта фаза преобразований относится уже к истории, то перед Игроками должны стоять какие-то новые далеко идущие цели, и хотел их предугадать. К сожалению, это ему не удалось. Здесь мы обнаруживаем изъян, скрытый в его системе. Дело в том, что Ахеропулос пытался восстановить Игру не реконструкцией ее формальной структуры, то есть чисто логически, а старался поставить себя на место Игроков, то есть подходил к решению с точки зрения психологии. Но человек не может постигнуть ни их психологию, ни их моральный кодекс, для этого у него нет никаких данных; мы не можем представить себе, что думают, чувствуют, к чему стремятся Игроки, как нельзя построить Физику, пытаясь представить себе, что значит «быть электроном».

Внутренняя жизнь Игрока для нас так же непостижима, как внутренняя жизнь электрона. То, что электрон представляет собой мертвую частицу материального мира, а Игрок является мыслящим существом, стало быть, кем-то вроде нас, не имеет никакого значения. Я упомянул об изъяне системы Ахеропулоса, поскольку и сам Ахеропулос в другом месте «Новый Космогонии» четко сформулировал, что из наблюдений над собственной психикой нельзя делать выводы о намерениях Игроков. Он знал об этом и все же поддался

тому стилю мышления, на котором был воспитан, ибо философ старается сначала понять, а потом обобщить; мне же с самого начала было ясно, что этим путем нельзя воспроизвести картину Игры. Для ее полного понимания необходимо взглянуть на всю Игру в целом со стороны, то есть с такого наблюдательного пункта, которого у нас никогда не было и не будет. Вообще не следует связывать намеренные действия с психологическими мотивами. Исследователь Игры не должен учитывать этику Игроков, подобно тому как военный историк, изучающий логику стратегии боевых действий во время войны, не должен принимать во внимание моральный облик полководцев. Картина Игры является структурой вполне определенной, обусловленной состоянием Игры и состоянием окружающей среды, а не случайной комбинацией индивидуальных кодексов ценностей, капризов, желаний или моральных норм каждого из Игроков в отдельности. То, что они принимают участие в одной и той же Игре, еще не означает, что они должны быть подобны друг другу в любом другом отношении! Они могут быть похожи друг на друга не более, чем человек похож на машину, с которой играет в шахматы. Так что вовсе не исключено, что существуют Игроки в биологическом смысле мертвые, возникшие в ходе небиологического развития, а также Игроки, которые являются синтетическими продуктами искусственно вызванной эволюции, — однако рассуждениям такого рода воспрещен доступ в область теории Игры.

Самой сложной проблемой для Ахеропулоса была загадка *Silentium Universi*. Общеизвестны два его закона. Первый закон говорит, что ни одна цивилизация, находящаяся на низшем, чем у других, уровне развития, не может обнаружить Игроков не только потому, что Игроки молчат, но еще и потому, что их действия не выделяются на космическом фоне по той простой причине, что *именно эти действия и есть космический фон*.

Второй закон Ахеропулоса говорит, что Игроки не шлют болсе молодым цивилизациям посланий с поучениями либо советами, поскольку не знают, куда высылать такие сообщения, а слать их невсedomо кому не хотят. Чтобы передать информацию в определенный адрес, необходимо сначала выяснить, в каком состоянии находится адресат, но именно это запрещает первый закон Игры, который устанавливает барьер взаимодействия в пространстве и времени. Как мы уже знаем, любая информация о состоянии другой цивилизации в момент ее получения окажется полностью устаревшей. Уе-

тановив свои барьеры, Игроки тем самым исключили всякую возможность узнать что-либо о состоянии других цивилизаций. А от передачи безадресных сообщений всегда больше вреда, чем пользы. Ахеропулос показывает это на примере проведенного им эксперимента. Он брал две серии карточек, на карточках одной серии записывал последние научные открытия шестидесятых годов, а на карточках другой серии — даты исторического календаря на протяжении столетия (1860—1960). Далее он вынимал по карточке из каждой серии. Открытие связывалось с датой по воле слепого случая, и это должно было соответствовать безадресной передаче информации. В самом деле, такие послания редко когда имели бы для получателя позитивную ценность. В большинстве случаев принятое сообщение оказалось бы непонятным (теория относительности в 1860 году), либо бесполезным (теория лазера в 1878 году), либо попросту опасным (теория атомной энергии в 1939 году). Поэтому Игроки и молчат, ибо — согласно Ахеропулосу — желают добра более молодым цивилизациям.

Стало быть, эта аргументация опирается на этику. Уже поэтому она не является безупречной. Утверждение, якобы цивилизация должна становиться тем более совершенной в этическом отношении, чем более она преуспела в развитии науки и техники, вводится в теорию Игры извне. Так строить теорию Космогонической Игры нельзя: либо принцип *Silentium Universi* неизбежно следует из структуры Игры, либо само существование Игры необходимо подвергнуть сомнению. Гипотезы *ad hoc* не могут спасти достоверности Игры.

Ахеропулос всегда отдавал себе в этом отчет — данная проблема тревожила его больше, чем полное непонимание и непризнание, выпавшее на его долю. Он дополняет «моральную гипотезу» другими, однако известно, что из множества слабых гипотез нельзя составить одну сильную. Здесь я вынужден упомянуть о себе. Что сделал я как последователь Ахеропулоса? Моя теория исходит из Физики и к Физике же возвращается, но сама не принадлежит к области Физики. Конечно, если бы из нее следовала лишь та Физика, из которой я ее вывел, это было бы пустячной игрой в тавтологию.

До сих пор физик поступал как человек, наблюдающий передвижение фигур на шахматной доске; он уже знает, как ходит каждая фигура, но не считает при этом, что передвижение фигур ведет к какой-то цели. Космогоническая Игра

ведется не так, как шахматная, ибо в ней изменяются законы, то есть правила передвижения, фигуры и сама шахматная доска. По этой причине моя теория — реконструкция не всей Игры с момента ее возникновения, а только ее последней части. Моя теория — лишь фрагмент целого, то есть нечто вроде создания теории гамбита на основе наблюдения за шахматной игрой. Тот, кто знаком с теорией гамбита, знает, что ценной фигурой жертвуют для того, чтобы позднее получить взамен нечто еще более ценное, однако при этом ему не обязательно знать, что конечная цель игры — мат королю. Из той Физики, которой мы располагаем, невозможно извлечь ни всю структуру Игры целиком, ни даже ее часть. Лишь когда я последовал за гениальной интуицией Ахеропулоса и предположил, что современную Физику необходимо «дополнить», мне удалось воссоздать контуры разыгрываемой партии. Это допущение было в высшей степени ерстическим, поскольку первой предпосылкой науки является тезис: мир и его законы — это нечто «готовое» и «законченное». Я же предположил, что современная Физика представляет собою переходный этап на пути вполне определенных преобразований.

Так называемые «универсальные постоянные» вовсе не постоянны. В частности, не является неизменной константа Больцмана. Это значит, что хотя конечным состоянием любого исходного порядка в Космосе должен быть беспорядок, скорость возрастания хаоса может по воле Игроков меняться. Очевидно (и это единственное допущение, а не следствие теории!), что Игроки ввели асимметрию времени «на скорую руку», как если бы они торопились (в космическом масштабе; конечно). Эта спешка проявилась в том, что они сделали градиент роста энтропии слишком крутым. Они использовали тенденцию к быстрому возрастанию беспорядка для того, чтобы ввести в Космосе *единый порядок*. Поскольку с тех пор все стремится от порядка к беспорядку, общая картина оказывается *однородной*, подчиненной *единым* законам и поэтому в целом упорядоченной.

То, что процессы микромира в принципе обратимы, известно уже давно. Из теории следует удивительный вывод: если бы энергию, которую земная наука вкладывает в изучение элементарных частиц, увеличить в 10^{19} раз, то *изучение* это — выяснение существующего порядка вещей — превратилось бы в изменение этого порядка! Вместо того чтобы познавать законы Природы, мы бы их слегка изменяли.

Это и есть слабое место, ахиллесова пята Физики современного мироздания. В настоящее время микромир представляет собой главный плацдарм созидательной деятельности Игроков. Они сделали его нестабильным и определенным образом управляют им. Мне кажется, что некоторую часть Физики, уже стабилизированную, Игроки как бы вновь сдвинули с места. Они пересматривают и приводят в движение уже установленные законы. Поэтому они и хранят молчание, это своего рода «стратегическое затишье». Игроки не сообщают никому из «соседей» о том, чем они занимаются, и даже о том, что Игра ведется. Ведь если Игра существует, то Физика представляется в совершенно ином свете. Игроки молчат, чтобы избежать ненужных помех, и, очевидно, будут молчать вплоть до завершения этой работы. Как долго будет длиться состояние *Silentium Universi*? Этому мы не знаем, но можно допустить, что по крайней мере сто миллионов лет.

Итак, Физика Космоса находится на перепутье. Чего добиваются Игроки столь монументальной перестройкой? Этому мы тоже не знаем. Из теории следует лишь, что постоянная Больцмана вместе с другими постоянными будет уменьшаться, пока не достигнет некоторой величины, которая необходима Игрокам, хотя нам и неизвестно зачем. Так тому, кто уже разобрался в теории гамбита, не обязательно понимать, к чему ведет гамбит в масштабе всей шахматной партии. То, что я еще хочу сказать, уже выходит за границы наших знаний. Мы располагаем поистине *embarras de richesses** самых разнообразных гипотез, выдвинутых в течение последних нескольких лет. Бруклинская группа профессора Баумана считает, что Игроки хотят ликвидировать «щель обратимости явлений», которая еще «осталась» в глубине материи — в сфере элементарных частиц. Некоторые утверждают, что ослабление градиента энтропии призвано лучше приспособить Космос к феномену жизни и даже что Игроки намерены сделать всю Вселенную разумной. На мой взгляд, это слишком смелые гипотезы, особенно ввиду их сходства с вполне определенными антропоцентрическими представлениями.

Мысль о том, что весь Космос развивается так, чтобы стать «единым огромным мозгом», чтобы «обзавестись психикой», является лейтмотивом многих философских систем, а также многих религий прошлого. Профессор Бен Нур в «*Intentional Cosmogony*»** высказал предположение, что не-

* Здесь: богатый выбор (фр.).

** «Умышленная космогония» (англ.).

сколько ближайших к земле Игроков (один из них может находиться в Туманности Андромеды) не скоординировали свои действия оптимальным образом, так что Земля находится в области «осциллирования» физики: это значило бы, что теория Игры отражает вовсе не тактику Игроков на нынешнем этапе, а лишь ее локальное и весьма случайное отклонение. Некий популяризатор даже заявил, что Земля оказалась в области «конфликта» — два соседних игрока начали друг против друга «партизанскую войну», обманно изменяя Законы Физики, и этим объясняется уменьшение постоянной Больцмана.

Допущение, что Игроки «ослабляют» второй закон термодинамики, в настоящее время весьма популярно. В связи с этим мне кажется интересным высказывание академика А.Слыша, который в работе «Логика и Новая Космогония» обратил внимание на неоднозначность связи между Физикой и Логикой. Весьма возможно, говорит Слыш, что Космос с ослабленной скоростью изменения энтропии мог бы создавать очень большие информационные системы, которые оказались бы очень глупыми. В свете работ ряда молодых математиков это выглядит вполне правдоподобно; они допускают, что изменения в Физике, уже осуществленные Игроками, привели к изменениям в математике, или, точнее говоря, к изменениям в методике конструирования непротиворечивых систем в формальных дисциплинах. От такого положения уже недалеко до утверждения, что знаменитая теорема Гёделя, содержащаяся в его работе «Über die unentscheidbaren Sätze der formalen Systeme» и определяющая границы совершенства, достижимого в системной математике, не является универсально справедливой, то есть пригодной «для всех возможных Космосов», а справедлива лишь для Космоса в его теперешнем состоянии. (И более того — что когда-то, скажем, полмиллиарда лет назад, теорема Гёделя была бы неверна, ибо тогда законы конструирования математических систем были *не такими*, как сейчас.)

Должен признаться, что, вполне понимая побуждения всех, кто сейчас выдвигает самые разнообразные предположения относительно целей Игры, намерений Игроков, основных принципов, которых они якобы придерживаются, и тому подобного, я вместе с тем весьма обеспокоен неточностью, а то и попросту сумбурным характером большинства таких, часто легкомысленных, идей. Теперь некоторые представляют себе Космос чем-то вроде квартиры, где в течение пары минут можно переставить мебель так, как жиль-

цам заблагорассудится. О таком отношении к законам Физики, к законам Природы не может быть и речи. В действительности скорость преобразований по сравнению с продолжительностью нашей жизни чрезвычайно мала. Спешу добавить, что из этого нельзя сделать никаких выводов о природе Игроков, например об их возможном долголетии или даже бессмертии. Об этом нам также ничего не известно. Может быть, как я уже упоминал, Игроки вовсе не живые существа, то есть они возникли не биологическим путем; может быть, представители Первых Цивилизаций и вовсе с незапамятных времен не занимаются Игрой сами, а передали ее каким-нибудь гигантским автоматам — рулевым Космогонии. Может быть, большинства пращивилизаций, которые основали Игру, уже нет, а их место заняли автоматические системы, и именно они составляют часть Партнеров в Игре. Все это возможно, и на эти вопросы мы не получим ответов не только через год, но, как мне кажется, и через сто лет.

Но тем не менее наши знания обогатились еще и новыми сведениями. Как обычно случается в науке, эти новые сведения не столько расширяют наши возможности, сколько ограничивают их. Ряд теоретиков сегодня придерживаются мнения, что Игроки при желании могли бы отменить ограничение точности измерений, которое накладывает принцип неопределенности Гейзенберга. (Доктор Джон Комманд высказал мысль, что принцип неопределенности является тактическим маневром Игроков, направленным на то же, что и правило *Silentium Universi*, а именно чтобы «никто не мог менять физику нежелательным образом, если он сам не является Игроком».) Но если даже это было так, Игроки не могут отменить связь, существующую между изменением законов материи и деятельностью разума, ибо разум создан из той же материи. Представление о том, что возможно создать Логичку или же Металогичку, пригодную «для всех конструированных Вселенных», ошибочно, и *это уже удалось доказать*. Я лично считаю, что Игроки, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, оказались в затруднительном положении — затруднительном, конечно, не по нашим масштабам и представлениям!

Если сознание недостаточного всеведения Игроков может внушить нам беспокойство, ибо мы в полной мере осознаем риск, скрытый в Космогонической Игре, то с другой стороны внезапно оказывается, что наша ситуация сродни положению Игроков, — никто во Вселенной не всемогущ. Даже са-

мые высокоразвитые цивилизации — это всего лишь малые части, Не-Знающие-Целого-В-Полном-Масштабе.

Рональд Шуер в смелости предположений пошел дальше всех. В «Reason-Made Universe: Laws versus Rules»* он сказал: чем глубже игроки преобразуют Космос, тем сильнее они изменяют самих себя. Изменение приводит к тому, что Шуер называет «гильотинированием памяти». И действительно, тот, кто переделал бы себя слишком радикально, в некотором смысле разрушил бы память о собственном прошлом, предшествующем процедуре. Игроки, говорит Шуер, достигая все большего могущества в преобразовании Космоса, сами затирают следы пути, по которому Космос развивался раньше. В пределе всемогущество созидания оборачивается невозможностью восстановить прошлое. Игроки стараясь сделать Космос колыбелью Разума, ослабляют тем самым действие закона роста энтропии, а через миллиарды лет, утратив память о том, что было с ними и до них, доведут Космос до состояния, о котором говорил Слыш. С ликвидацией «энтропийного тормоза» начнется бурное расширение биосферы, множество незрелых цивилизаций преждевременно включится в Игру и вызовет ее кризис. С кризисом Игры все обратится в хаос... из которого по прошествии многих эпох возникнет новый коллектив Игроков. чтобы начать Игру заново. Итак, согласно Шуеру, Игра идет по кругу, и, следовательно, вопрос о «начале Вселенной» не имеет никакого смысла. Картина эта поразительна и вместе с тем маловероятна. Если мы смогли предугадать неизбежность кризиса, что же тогда говорить о прогнозах, которые под силу Игрокам?

Дамы и господа, я нарисовал кристально ясную картину Игры, которую ведут друг с другом разделенные миллиардами парсеков Разумы, спрятанные в туманных клубах звезд, потом решил исказить ее потоком неясностей, противоречивых домыслов и уж вовсе неправдоподобных гипотез. Но именно таков обычный путь познания. Теперь наука представляет Космос в виде наложения отдельных Игр, обладающих более глубокой памятью, чем каждый Игрок в отдельности. Этой памятью является вся совокупность Законов Природы, удерживающих Космос в однородности движения. Теперь мы рассматриваем Вселенную как поле миллиардолетней деятельности, направленной к целям, лишь малую и самую близкую часть которых мы в состоянии уловить Вер-

* «Разумно устроенный космос законы против правил» (англ.)

на ли эта картина? Не сменит ли ее когда-нибудь другая, отличающаяся от прежней так же кардинально, как наша модель Игры Разумов от всех исторически сложившихся представлений? Вместо ответа я приведу слова моего учителя, профессора Эрнста Аренса. Много лет назад, когда еще совсем молодым человеком я пришел к нему с первыми набросками концепции Игры, чтобы узнать его мнение, Аренс сказал: «Теория? Сразу теория? А может, это и не теория. Ведь человечество собирается лететь к звездам? Стало быть, если в действительности все не так, то, возможно, это не теория, а проект, возможно, когда-нибудь все произойдет именно так!» Этими — не совсем скептическими! — словами моего учителя я и хочу закончить свое выступление. Благодарю за внимание.

МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА



stanisław łem

**wielkość
urojona**

czytelnik • warszawa 1973

Станислав Лем
МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Искусство писания предисловий давно уже требует прав гражданства. Да и сам я давно хотел отдать должное поработенному слову, которое о себе молчит целых сорок веков — в рабстве у книг, к которым его приковали. Когда же, если не в эпоху равенства всех вер и всех правил, надлежит

© Константин Душенко, перевод сборника «Мнимая величина», 1995

даровать наконец независимость этому благородному жанру усмиряемому в колыбели? Я, однако, рассчитывал, что кто-то другой возьмется за это дело, которое в эстетическом плане соответствует ходу развития искусства, а в плане нравственном прямо-таки неотложно. Увы — я просчитался. Напрасно я осматриваюсь и выжидаю: никто не спешит вывести Предисловия из дома рабства, избавить их от принудительной барщины. Делать нечего: придется мне самому — скорее из чувства долга, чем по велению сердца — прийти на выручку Интродукционистике, стать ее освободителем и акушером.

Многострадальная эта страна имеет свое нижнее царство — Предисловий наемных, тягловых, рекрутских и посконных, ибо рабство развращает. Но нередки в ней также кичливость и сумасбродство, пустая поза и громогласные притязания. Кроме рядовых предисловий имеются высшие чины: Предуведомления, Вступления и Введения; да и обыкновенные Предисловия друг другу не ровня, ведь одно дело — предисловие к собственной книге и совсем другое — к чужой. Предпослать его первому изданию — вовсе не то же самое, что множить в поте лица предисловия к новым и новым изданиям. Мощностъ множества предисловий (пусть даже посредственных), которыми обрастает настырно переиздаваемый труд, превращает бумагу в твердыню, отражающую все наскоки зоилов: кто же дерзнет напасть на книгу с таким бронепанцирем, из-за которого видно уже не столько ее содержание, сколько оногo неприкосновенность и святость!

Предисловие бывает обещанием, намеренно скромным — из чувства собственного достоинства или из гордости; или долговым обязательством за подписью автора; или знаком участия, которое проявляет к книге какой-нибудь авторитет, участия, диктуемого условностями, — дружественного, однако поверхностного и, в сущности, мнимого, то есть мандатом доверия, охранной грамотой, пропуском в большой мир, напутствием из влиятельных уст — напрасной уловкой, грузом, который тащит на дно труд, и без того обреченный на гибель. Несостоятельны векселя предисловий, и редкий из них вдруг осыплет читателя золотом, да еще разродится процентами. Но обо всем этом я умолчу. Я не намерен вдаваться ни в таксономию Интродукционистики, ни даже в элементарную классификацию этого доселе униженного, подъяремного жанра. Клячи и рысаки здесь одинаково

ходят в упряжке. Эту, тягловую, сторону дела я оставляю Линнеям. Не такое вступление я хочу предпослать своей скромной антологии Освобожденных Вступлений.

Самое время перейти к сути. Чем может быть предисловие? Рекламным захваливанием, лгушим прямо в глаза? Конечно; но также — гласом в пустыне, подобно Иоанну Крестителю или Роджеру Бэкону. Разум говорит нам, что кроме Предисловий к Творениям существуют Творения-Предисловия, ведь тезисы и футуромахики ученых, подобно Писаниям всяческих вер, суть Предисловия — к Этому и Тому свету. Так что, поразмыслив, мы видим, что Царство Предисловий несравненно обширнее Царства Литературы, ибо то, что она пытается воплотить, Предисловия предвещают — издалека.

Ответ на уже возникающий вопрос: какого черта понадобилось ввязываться в борьбу за освобождение предисловий и возводить их в ранг суверенного разряда словесности — проглядывает из только что сказанного. Можно дать его простецки и быстро, а можно призвать на помощь высшую герменевтику. Сперва попробуем обосновать наш проект без всякой патетики — со счетами в руках. Разве не угрожает нам информационный потоп? И разве не в том его ужас, что он красоту красотой побивает, а истину — истиной? Ведь голос миллиона Шекспиров — такой же невнятный и яростный шум, как голос стада буйволов или океанских валов. Миллиарды смыслов, сталкиваясь, не славу приносят мысли, но гибель. Перед лицом такой неминуемости Молчание — единственный Ковчег Завета и Союза Творца с Читателем, коль скоро первый обретает заслугу, воздерживаясь от всяких высказываний, а второй — аплодируя такому смиреннию; не так ли? Конечно... и можно бы воздержаться от писания *даже* одних предисловий, без всего остального, но тогда подвиг самоограничения — увы! — не будет замечен, а значит, и жертва не будет принята. Так вот: мои Предисловия — уведомления о грехах, от которых я воздержусь. Так говорит холодный и чисто внешний расчет. Но отсюда еще не видно, что выиграет Искусство от такого освобождения. Мы уже знаем, что избыток даже небесной манны парализует. Как же спастись от него? Как уберечь творческий дух от samozaxлeбывания? И точно ли именно в этом спасение, точно ли именно через Предисловия проходит правильный путь?

Великий учитель, герменевтик из дворян-землепашцев, Витольд Гомбрович так изложил бы дело. Не о том речь,

чтобы кому бы то ни было, хоть бы и мне, идея освобождения Предисловий от Содержания, которое они должны предвещать, пришлось бы по сердцу — или же не пришлось. А речь о том, что невозможно идти против закона Эволюции Формы. Искусство не может ни стоять на одном месте, ни повторять себя до бесконечности — и как раз потому не может *только лишь* нравиться. Если ты снес яйцо, ты должен его высидеть; если из него вылупилось не пресмыкающееся, а млекопитающее, надо напитать его молоком; а если, в конце концов, на этом пути встретится нечто, вызывающее у нас неприязнь и даже позывы к рвоте, ничего не попишешь: уж коли мы до Этого доработались, дорвались и сами себя дотащили, то по резонам более важным, нежели тяга к удовольствию, придется нашим глазам, ушам, разуму терпеть все Новое, категорически нам предписанное, раз уж оно открыто по дороге туда, ввысь — где, правда, никто не бывал и побывать не желает, ведь неизвестно, можно ли там выдержать хотя бы минуту, — но для Развития Культуры это ей-богу, совершенно не важно! Эта лемма с поистине гениальной бесцеремонностью вместо прежнего рабства — непроизвольного, а значит, бессознательного — предлагает нам новое; она не разрывает пути, а лишь удлиняет лонжу гонит нас в Незнаемое, называя свободой — осознанную необходимость.

Но я, признаюсь в этом честно, иного жажду обоснования для ереси и мятежа. И потому говорю: хотя в известном смысле правда то, что было сказано во-первых и во-вторых однако же не вся правда и не единственно возможная, ибо — в-третьих — в деле творения можно применить алгебру подсмотренную у Всемогущего.

Вспомните: как речисто Писание, как многословно Пятикнижие в описании *результата* Творения — и сколь лаконично в показе его рецептуры! Было вневременье и хаос, и вдруг ни с того ни с сего повелел Господь: «Да будет свет» — и готово; а между тем и другим не было ничего — ни щелки, ни метода? Не верю! Между Хаосом и Сотворением была чистая интенция, еще не ослепленная светом, не вовлеченная в Мироздание до конца, не запачканная землей, хотя бы и райской.

Ибо Тогда и Там было возникновение — но не осуществление возможностей; было намерение, божественное и всемогущее потому, что не начало еще воплощаться в деяние Прежде зачатия — было благовещение...

Как не воспользоваться этим уроком? Не о плагиате говорю я — о методе. Ведь с чего все началось? С Начала, конечно. А что было вначале? Как мы уже знаем, Вступление. Вступление, но не самосильное, не самочинное, а Вступленье к Чему-то. Обуздаем разнузданное осуществление, каким было Сотворение Бытия: применим к первой его лемме алгебру намеренно сдержанного Творения!

А именно: поделим целое на это Что-то. Тогда «Что-то» исчезнет, и в остатке мы получим Вступление, очищенное от дурных последствий, то есть от всякой угрозы Воплощения, — Вступление чисто интенциональное и в этом своем состоянии безгрешное. Это не мир, а всего лишь точка, лишенная измерений — и как раз потому всеобъемлющая. О том, как свести к ней литературу, скажем чуть позже. Сперва присмотримся к ее окружению — ибо она не анахорет-одиночка.

Все искусства пытаются ныне выполнить маневр спасения: всераскованность творчества стала его кошмаром, проклятием, бегством, ведь Искусство, подобно Универсуму, взрывается в пустоте, не встречая сопротивления, а значит, точки опоры. Коль скоро возможно все, это «все» ничего не стоит — и гонка оборачивается движением вспять: Искусства хотели бы вернуться к источнику, да не способны.

Живопись, страстно желая *границ*, влезла в самих живописцев, в их кожу, и вот художник выставляет на вернисаже себя самого, без картин, — в качестве картиноборца, исхлестанного кистями и вывалянного в масле и в темпере, а то и вовсе голого, без живописных приправ. Увы, до подлинной наготы бедняге далеко, как до неба: вместо Адама — какой-то господин, догола раздетый.

А скульптор, подсовывающий нам необтесанные булыжники или одухотворяющий нас экспозицией из случайного мусора, пытается забраться обратно в палеолит, в шкуру прачеловека, потому что тоскует по Подлинности! Но куда ему до пещерного человека! Нет, не видать ему сырого мяса первобытной экспрессии! *Naturalia non sunt turpia**, — но откровенная и скудоумная дикость не означает возврата к Природе!

Что остается? Поясним на примере музыки, поскольку обширнейшие и ближайшие перспективы открываются как раз перед ней.

* Естественное не стыдно (лат.)

По ложному пути идут композиторы, ломая контрапункту хребет и компьютерами пуская Бахов в распыл; да и оттаптывание (при помощи электронов) кошачьих хвостов со стократным усилением не даст ничего, кроме стада искусственных обезьян-ревунов. Ложный курс — и фальшивый тон! Еще не пришел спаситель-новатор, ясно видящий цель!

Я жду его с нетерпением — жду его музыки, которая будет *конкретной в преодолении лжи*, вернется на лоно Природы и запечатлеет хоральное, хотя и сугубо приватное, звучание любого собрания меломанов — лишь по видимости благородно-сосредоточенных, лишь окультуренной периферией своих организмов прилежно внимающих оркестру.

Думаю, инструментовка этой стомикрофонно подслушанной симфонии будет кишечно-сумрачной и монотонной, ведь ее звуковым фоном станут усиленные Двенадцатиперстные Басы, или Борборигмы, людей, иступленно предающихся чревоборчеству — неизбежному, исконно-бурчливому, булькотливо подробному и исполненному отчаянной переваривающей экспрессии; не органным, но организменным, а значит, подлинным будет голос их чрева — голос жизни! Я предвижу: лейтмотив разовьется в могучем ритме седалищ, подчеркнутым поскрипываньем стульев, грянут всхлипывающие вступленья сморканий, аккорды высококолоратурного кашля. Заиграют бронхиты... и здесь я предчувствую повторяющееся соло, виртуозное в своей астматической дряхлости, сущее *memeto mori — vivace ma non troppo**, мастерское агональное пикколо, когда настоящий труп заклацает на 3/4, отбивая такт искусственной челюстью, и взаправдашняя могила смертным хрипом отзовется в дыхательном горле; так вот: такую Правду Симфонического Прохода и Тракта, Столь Безусловно Жизненную, подделать нельзя.

Соматическая активность тел, которую до сих пор заглушала невероятная фальшь искусственной музыки, безразличной к их собственному, безусловно заданному и потому трагическому звучанию, требует торжественного восстановления в правах, Возврата к Природе. Я не могу ошибаться — я знаю: премьеры Висцеральной Симфонии окажется переломом; так и только так доселе пассивная, приглушенная до шуршанья конфетных оберток публика перехватит — наконец-то! — инициативу и в роли самооркестра исполнит *воз-*

* Помни о смерти (лат.) — живо, не слишком быстро (ит.)

вращенье к себе, непримиримая ко всяческой лжи, как и положено в нашем веке.

Творец-композитор снова станет всего лишь жрецом-посредником между робеющей толпой и Мойрой — ибо жребий наших кишок есть наше Предназначение...

А утонченная аудитория меломанов услышит самосимфонию без всяких помех, без постороннего брэнчання, ведь на этой премьере она будет наслаждаться — и будет тревожима — только *самою собой*.

А как же литература? Вы, верно, уже догадываетесь: я хочу вернуть вам ваш собственный дух во всей его полноте, подобно тому как висцеральная музыка возвращает публике ее собственное тело и в самом средоточии Цивилизации нисходит в Природу.

Потому-то Писание Предисловий не может долее оставаться под игом рабства, в стороне от освободительных устремлений. Не одних только беллетристов и их читателей подбиваю я к мятежу. Я подчеркиваю: к мятежу, а не ко всеобщей неразберихе, при которой науськанные театральные зрители влезают на сцену либо сцена влезает на них, и из убежища зрительских кресел они, утратив удобную позицию судей, ввергаются в церковь святого Витта. Не судороги, не полоумная мимикрия йоги, но одна лишь Мысль может вернуть нам свободу. И потому, отказав мне в праве на освободительную борьбу от имени и ради блага Предисловий, ты, почтенный Читатель, приговорил бы себя к ретроградству, к окаменевшей старозаветности, и какую бы ты себе бороду ни отпустил — не пройти тебе в современность.

Ты же, многоопытный в предвосхищении Нового, Читатель-Прогрессист с мгновенной реакцией, свободно вибрирующий в Модопадах нашей эры, ты, знающий, что раз уж мы залезли выше, чем наш обезьяний пракузен (как-никак, на саму Луну), то надо лезть дальше, — ты поймешь меня и присоединишься ко мне с чувством исполненного долга.

Я тебя обману, и как раз за это ты будешь мне благодарен; я тебе торжественно поклянусь, не собираясь сдерживать обещание, и именно этим ты будешь удовлетворен или хотя бы прикинешься удовлетворенным с мастерством, достойным этой игры; а тупицам, которые вздумали бы предать нас обоим анафеме, скажешь, что они отъединились от эпохи духовно и скатились на свалку старья, выплюнутого стремительной Действительностью.

Ты скажешь им, что выбора нет: векселем без покрытия (трансцендентального), залогом (фальсифицированным), обещанием (неисполнимым), высшей формой духовной трести стало ныне искусство.

А значит, эту его пустоту и эту неисполнимость надо сделать девизом и опорой; стало быть, я, пишущий Предисловие к Малой Антологии Предисловий, поступаю совершенно законно, предлагая введения, никуда не ведущие, вступления, никуда не вступающие, и предисловия, после которых никаких слов не будет.

Но каждым из этих первых шагов я открою перед тобой пустоту иного рода и иного смыслового оттенка, персливающуюся одной из полос поистине хайдеггеровских спектров. Я с увлечением, надеждой и с помпой буду распахивать дверцы триптихов и алтарей, обещать иконостасы и царские врата, преклонять колени на ступенях, обрывающихся на пороге подпространства не просто опустевшего, а такого, в котором никогда ничего не было — *и не будет*. Ах, развлечение это, самое серьезное из возможных, почти трагическое, есть иносказание нашей судьбы, ибо нет другого изобретения, до такой степени человеческого, другого такого атрибута и оплота человеческой сущности, как полнозвучное, освобожденное от обязательств, поглощающее наши естества без остатка — Предисловие к Небытию.

Весь мир, зеленый и каменный, остывший и гудящий, пламенеющий в облаках и упрятанный в звездах, мы делим с животными и растениями. Небытие же — исключительно наше владение и наша специальность. Но это такая трудная, небывалая, ибо небывшая вещь, которую нельзя вкусить без тщательной подготовки, духовных упражнений, без долголетнего учения и тренировки; неподготовленных оно обращает в соляной столп, поэтому к общению с точно настроенным, богато оркестрованным небытием надо усердно готовиться — стараясь, чтобы каждый шаг на пути к нему был возможно более тяжелым, отчетливым и материальным.

И потому я буду показывать тебе Предисловия, как показывают богатые дверные оклады, резные, златокованные, увенчанные грифонами и геометрическими графами, буду клясться их золотой, звучно-массивной, обращенной к нам стороной, чтобы затем, распахнув их сосредоточенным духовным прикосновением, ввергнуть читающего в небытие —

и тем самым извергнуть его сразу изо всех существований и миров.

Чудесную свободу я предвещаю и гарантирую, ручаясь, что Там ничего не будет.

Что обрету я? Бытие, богаче которого нет: до Сотворения.

Что обретешь ты? Свободу, полнее которой нет, — ибо я ни единым словом не потревожу твой слух в этом чистом взлете. Я лишь возьму его у тебя, как берет голубятник голубя, и зашвырну в безбрежность — словно камень Давидов, словно яблоко раздора — на вечное употребление.

Cezary
Strzybisz

NEKROBIE

139 reprodukcji

Wstęp
Stanisław Estel

Wydawnictwo Zodiak

Цезарий Стшибиш
НЕКРОБИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ СТАНИСЛАВА ЭСТЕЛЯ

Несколько лет назад художники ухватились за смерть, как за спасение. Вооружившись анатомическими и гистологическими атласами, они принялись выпускать кишки обнаженной натуре и рыться в печенках, вываливая на полотна замордованное уродство наших жалких потрохов, в обыденной

жизни столь разумно прикрытых кожей. И что же? Концерты, с которыми по вернисажам прогастролировало гниение всех цветов радуги, не стали сенсацией. Это было бы чем-то разнузданным, если бы хоть кого-нибудь покорило, и чем-то кошмарным, если бы хоть кто-нибудь задрожал, — и что же? Не возмутились даже старые тетушки. Мидас превращал в золото все, чего ни касался, а нынешнее искусство, отмеченное проклятием противоположного знака, одним прикосновением кисти лишает серьезности всякий предмет. Как утопающий, оно хватается буквально за все — и вместе со схваченным идет ко дну на глазах у спокойно скучающих зрителей.

За все? Стало быть, и за смерть? Почему не задело нас ее вывернутое наизнанку величие? Разве эти увеличенные иллюстрации из пособий по судебной медицине, густо замазанные кроваво-красным, не должны были заставить нас хоть на минуту задуматься — своей чудовищностью?

Но они были слишком натужны... и потому бессильны! Сам замысел напугать взрослых оказался ребяческим, вот ничего и не получалось всерьез! Вместо тemento mori нам предъявили старательно взлохмаченные трупы — тайна могил, раскопанных чересчур нарочито, обернулась склизкой клоакой. Не тронула никого эта смерть. — слишком она была напоказ! Бедняги-художники, которые, забросив натуру, начали эскалацию Гран-гиньоля*, сами оставили себя в дураках.

Но после такого конфуза, такого фиаско смерти — что, собственно, нового сделал Стшибиш, чтобы вернуть смерти ее значительность? И что такое его «Некробии»? Ведь это не живопись — Стшибиш не пишет красками и, кажется, в жизни не держал кисти в руках. Это не графика, потому что он не рисует; не занимается он резьбой по металлу или по дереву и не ваяет — он всего лишь фотограф. Правда, особенный: он использует рентген вместо света.

Он — анатом; своим глазом, продолженным рыльцами рентгеновских аппаратов, он прошивает тела навывлет. Но обычные черно-белые медицинские снимки, конечно, оставили бы нас равнодушными. Вот почему он оживил обнаженную до костей натуру. Вот почему его скелеты ступают таким энергичным шагом — в регланах, словно в одеянии смертников, с призраками портфелей в руках. Снимки достаточно ехидные и диковинные — верно, но не более того;

* Здесь: театр ужасов (фр.).

однако этими моментальными фото он лишь примеривался, пробовал — как бы на ощупь. Шум поднялся, только когда он отважился на нечто ужасное (хотя ничего ужасного уже не должно было быть): он просветил навывлет — и показал нам таким — секс.

Это собрание работ Стшибиша открывают его «Порнограммы» — поистине комические, только комизм их довольно жесток. Свинцовые бленды своих объективов Стшибиш нацелил на самый назойливый, разнузданный, обнаглевший — групповой секс. Писали, что, дескать, он хотел осмеять порнографию, разобрав ее буквально по косточкам, и достиг своего: невинная перепутанность этих костей, друг в друга вцепившихся, сложенных в геометрические загадки, на глазах у зрителя внезапно — и грозно — превращается в современный Totentanz*, в нерест подпрыгивающих скелетов. Писали, что он решил оконфузить, вышутить секс — и что это ему удалось.

Так ли? Да, несомненно... но в «Некробиях» можно увидеть и нечто большее. Карикатуру? Не только — в «Порнограммах» есть какая-то скрытая серьезность. Пожалуй, прежде всего потому, что Стшибиш «говорит правду» — и притом одну только правду, а ведь правда, не подвергнутая «художественной деформации», считается ныне чем-то простоватым; но тут он не более чем свидетель, то есть пронизывающий, но не переиначивающий взгляд. Укрыться от этого свидетельства негде, его не отвергнешь, как выдумку, трюк, условность, игру понарошку, потому что правота на его стороне. Карикатура? Язвительность? Но ведь эти скелеты, их абстрактный рисунок — почти красивы. Стшибиш действовал со знанием дела: не столько оголил то, что есть, содрав с костей телесную оболочку, сколько освободил их — честно ища их собственный, нам уже не адресованный смысл. Выстраивая их собственную геометрию, он дал им суверенность.

Эти скелеты живут, хотелось бы сказать, по-своему. Он даровал им свободу посредством испарения тел, то есть посредством смерти, а между тем тела играют в «Некробиях» важную роль, хотя замечается это не сразу. Тут не место вдаваться в детали рентгеновской техники, но несколько слов пояснения необходимы. Если бы Стшибиш использовал жесткое X-излучение, на его снимках мы бы увидели одни только кости — в виде резко прочерченных полос или

* Пляска смерти (нем.).

прутьев, расчлененных, словно разрезами, чернотой суставных щелей. Слишком чистой, слишком препарированной была бы эта остеологическая абстракция. Но Стшибиш поступает иначе, и человеческие тела, просвеченные *мягким* излучением, проступают у него молочной, клубящейся дымкой — как намек, как аллюзия; этим достигается нужный эффект. Видимость и реальность меняются местами. Средневековый, гольбейновский Totentanz, продолжающийся в нас втихомолку, недвижимый, все тот же, не затронутый суматохой блистающей цивилизации, сращение смерти с жизнью — вот что схватывает Стшибиш, как будто не догадываясь о том, как будто случайно. Мы узнаем тот же веселый задор, ту же молодцеватость, жизнерадостность и фривольное исступление, которыми наделил свои скелеты Гольбейн; но только аккорд значений, который берет современный художник, шире, потому что самую *современную* технику он нацелил на самую *древнюю* задачу человеческого рода; именно так выглядит смерть посреди жизни, именно такова просвеченная до самых костей механика размножения рода, которой лишь ассистируют бледные призраки тел.

Нам скажут: хорошо, допустим, и такую можно тут найти философию; но ведь Стшибиш намеренно пошел до конца: копулирующих сделал трупами, уцепился за *модную* тему, эффектно и ради эффекта, — не дешевка ли это? Нет ли в «Порнограммах» ловкости рук? А то и просто мошенничества? Таких суждений тоже хватает. Мне не хотелось бы выкатывать против них гаубицы тяжелой риторики. Я предпочел бы внимательнее присмотреться к двадцать второй порнограмме, названной «Триолисты».

Это непристойная сцена, но ее непристойность особого рода. Если положить рядом обычный снимок тех же самых людей — продукцию коммерческой порнографии, ее невинность на фоне рентгенограммы обнаружится сразу.

Ведь порнография непристойна не сама по себе: она возбуждает лишь до тех пор, пока в зрителе продолжается борьба вожделения с ангелом культуры. Но когда этого ангела черти уносят, когда, по причине всеобщей терпимости, обнажается слабость полового запрета — и его совершенная незащитность, когда запреты выбрасываются на свалку — до чего же быстро обнаруживает тогда порнография свою невинность, то есть напрасность, ведь она — ложное обещание телесного рая, залог того, чему никогда не сбыться. Это запретный плод, и соблазна в нем столько же, сколько силы в запрете.

Ибо что мы наблюдаем? Взгляд, охладевший от привычки, видит голышей, которые не жалеют сил, лезут из кожи вон, чтобы выполнить поставленную в фотоателье задачу, — до чего же убогое зрелище! Не столько смущение, сколько чувство оскорбленной человеческой солидарности пробуждается в смотрящем, ведь эти голыши так усердно друг по дружке елозят, что уподобляются детям, которым непременно хочется сделать что-то ужасное, такое, чтобы у взрослых зрачки побелели, но на самом-то деле они не могут, просто не в состоянии... и их изобретательность, раззадоренная уже только злостью на собственное бессилие, устремляется — нет, не ко Греху и Падению, но всего лишь к дурашливо-жалкой мерзости. Вот отчего в натужных стараниях этих крупных голых млекопитающих проглядывает банальная инфантильность; это не ад и не рай, но какая-то тепловатая сфера — сфера скуки и тяжелой, скверно оплачиваемой, напрасной работы...

Но секс Стшибиша хищен, потому что чудовищен и смешон, как те толпы проклятых, что низвергаются в преисподнюю на картинах старых голландцев и итальянцев; впрочем, на грешников, кувырком летящих на Страшный суд, мы, упразднившие тот свет, можем смотреть отстраненно, — но что мы можем противопоставить рентгенограмме? Трагически смешны скелеты, сошедшиеся в клинче, в котором тела служат непреодолимой преградой. Кости? Но в неуклюжем, исступленном объятье мы видим как раз людей, и это зрелище было бы только жалким, если б не его кошмарный комизм. Откуда он? Да из нас же — ибо мы узнаем в нем правду. Вместе с телесностью исчезает и смысл объятий, оттого они так бесплодны, абстрактны и до ужаса деловиты, пылают так леденяще и бело, так безнадежны!

А еще есть их святость, или насмешка над нею, или намек на нее, — святость, не приделанная задним числом, какими-то ухищрениями, но несомненная, ибо гало окружает тут каждую голову: это волосы вздымаются нимбом, бледным и круглым, как на иконе.

Впрочем, я знаю, как трудно распутать и назвать по имени все то, что создает целостность зрительского впечатления. Для одних это в буквальном смысле *Holbein redivivus**: и впрямь, необычен возврат — через электромагнитное излучение — к скелетам, словно мы возвращаемся в средневековье, укрытое в наших телах. Других шокируют при-

* Воскресший Гольбейн (лат.).

зрачные тела, которые, словно бессильные духи, вынужденно ассистируют нелегкой акробатике пола, превращенного в невидимку. Кто-то еще уподобил скелеты инструментам, которые вынули из футляра, чтобы исполнить обряд посвящения в какую-то тайну, — говорили даже о «математике», о «геометрии» мертвого секса.

Все это возможно; но отвлеченные толкования не объясняют грусть, которую пробуждает в нас искусство Стшибиша. Символика, взраставшая столетиями и унаследованная от столетий, хотя и влачила потаенное существование — потому что мы от нее отреклись, — не погибла, как видим. Эту символику мы переделали в сигнализацию (череп с костями на столбах высокого напряжения, на бутылках с ядом в аптеках) и в наглядные пособия (скелеты в учебных аудиториях, скрепленные блестящей проволокой). Словом, мы обрекли ее на Исход, изгнали из жизни, но окончательно от нее не избавились. А так как мы не способны осязательную материальность скелета, этого подобия сучьев и балок, отделить от идеи скелета как метафоры судьбы, то есть символа, — наш ум приходит в непонятное замешательство, от которого он спасается смехом. И все же мы понимаем, что веселость эта отчасти вынужденная: мы заслоняемся ею, чтобы не поддаться Стшибишу целиком.

Эротика, как безысходная напрасность стремлений, и секс, как упражнение в проективной геометрии, — вот два противостоящих друг другу полюса «Порнограмм». Впрочем, я не согласен с теми, для кого искусство Стшибиша начинается и кончается «порнограммами». Если бы мне предложили выбрать акт, который я оцениваю особенно высоко, я без колебаний выбрал бы «Беременную» (стр.128). Будущая мать с замкнутым в ее лоне ребенком — этот скелет в скелете в достаточной мере жесток и абсолютно не лжив. В большое, крупное тело, белыми крыльями раскинувшее тазовую кость (рентген улавливает предназначение пола отчетливее, чем обычное изображение обнаженной натуры), на фоне этих крыльев, уже раздвинутых для родов, — с повернутой головой, мгlistый, потому что еще не законченный, втиснут детский скелетик. Как неуклюже это звучит, — и какое достойное целое образуют светотени рентгенограммы! Беременная в расцвете лет — и в расцвете смерти; плод, еще не рожденный и уже умирающий — потому что уже зачатый. Спокойный вызов и жизнеутверждающая решимость ощущаются в этой тайно подсмотренной нами картине.

Что ожидает нас через год? О «Некробиях» забудут и думать; воцарятся новые техники и новые моды (бедный Стшибиш — после успеха сколько у него нашлось подражателей!). Разве не так? Да, конечно; тут ничего не поделаешь. Но как ни оглушителен калейдоскоп перемен, обрекающий нас на неустанные отречения и расставания, — сегодня мы щедро вознаграждены. Стшибиш не стал вторгаться в глубь материи, в ткань мхов или папоротников, не увлекся экзотикой бесцельных шедсвров Природы, не вдался в расследования, манией которых наука заразила искусство, но подвел нас к самому краю наших тел, ни на йоту не переименованных, не преувеличенных, не измененных — подлинных! — и тем самым перебросил мосты из современности в прошлое, воскресил утраченную искусством серьезность; и не его вина, что воскресение это дольше двух-трех мгновений длиться не может.

ERUNTYKA

Reginald Gulliver

George Allen & Unwin LTD

40 Museum Street/London

Реджинальд Гулливер
ЭРУНТИКА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самой верной моделью нашей культуры историка, вероятно, признают два взаимопроникающих взрыва. Лавины интеллектуальных продуктов, механически выбрасываемых на рынок, сталкиваются с потребителями так же случайно, как молекулы газа: никто не в состоянии объять целиком эти

несметные толпы товаров. И хотя затеряться легче всего в толпе, бизнесмены от культуры, публикующие все, что предлагают им авторы, пребывают в блаженном, хотя и ложном убеждении, что теперь-то уж ничего ценного не пропадает. Новую книгу замечают постольку, поскольку так решит компетентный эксперт, устраняющий из поля своего зрения все, что не относится к его специальности. Это устранение — защитный рефлекс любого эксперта: будь он менее категоричен, его захлестнул бы бумажный потоп. Но в результате всему совершенно новому, опрокидывающему правила классификации, угрожает бесхозность, означающая гражданскую смерть. Книга, которую я представляю читателю, как раз и находится на ничейной земле. Возможно, это плод безумия, — безумия, вооруженного точными методами; возможно, перед нами логичное с виду коварство, — но тогда оно недостаточно коварно, поскольку не раскупается. Рассудок на пару с поспешностью велит замалчивать такую диковину, но в книге, как ни скучно изложение, проглядывает неподдельный еретический дух, приковывающий внимание. Библиографы отнесли ее к научной фантастике, а эта провинция давно уже стала свалкой всевозможных курьезов и вздора, изгнанного из более почтенных сфер. Если б сегодня Платон издал свое «Государство», а Дарвин — «О происхождении видов», то, снабженные этикеткой «Фантастика», они попали бы в разряд бульварного чтiva — и, читаемые всеми и потому не замечаемые никем, потонули бы в сенсационной трескотне, никак не повлияв на развитие мысли.

Книга посвящена бактериям, — но ни один бактериолог не примет ее всерьез. Речь в ней идет и о лингвистике — от которой волосы встанут дыбом у всякого языковеда. Наконец, она приходит к футурологии, идущей вразрез со всем тем, чем занимаются профессиональные футурологи. Вот потому-то ей, как изгою всех научных дисциплин, и суждено опуститься до уровня научной фантастики и играть ее роль, впрочем, не рассчитывая на читателей: ведь в ней не найдешь ничего, что утоляло бы жажду приключений.

Я не способен по-настоящему оценить «Эрунтику», но полагаю, что автора, достаточно компетентного, чтобы написать предисловие к ней, просто не существует. Итак, я узурпирую эту роль не без тревоги: кто знает, сколько правды кроется в дерзости, зашедшей так далеко! При беглом просмотре книга кажется научным пособием, на самом же

деле это собрание курьезов. Она не претендует на лавры литературной фантазии, потому что лишена художественной композиции. Если написанное в ней — правда, то эта правда не оставляет почти ничего от всей современной науки. Если это ложь — то чудовищного масштаба.

Как объясняет автор, эрунтика («Die Eruntizitätslehre», «Eruntics», «Eruntique»; название образовано от «erunt» — «будут» — третье лицо множественного числа будущего времени глагола «esse») задумывалась отнюдь не как разновидность прогностики или футурологии.

Эрунтике нельзя научиться; никто не знает принципов ее действия. Нельзя с ее помощью предвидеть то, что вам хотелось бы. Это вовсе не «тайное знание» вроде астрологии или дианетики, но естественно-научной ортодоксией ее тоже не назовешь. Словом, перед нами и впрямь нечто обреченное на титул «изгнанницы всех миров».

В первой главе Р. Гулливер отрекомендовывается как философ-дилетант и бактериолог-любитель, который однажды — восемнадцать лет назад — решил научить бактерии английскому языку. Замысел родился случайно. В тот памятный день он доставал из термостата чашечки Петри — плоские стеклянные сосудики, в которых на агаровой пленке разводят бактерии *in vitro**. До этого, как он сам говорит, бактериологией он занимался для собственного удовольствия, из увлечения, без особых претензий и надежд на какие-либо открытия. Просто ему нравилось наблюдать за ростом микроорганизмов на агаровом субстрате; его поражала «сметливость» невидимых «растеньиц», образующих на мутноватой питательной пленке колонии размером с булавочную головку. Чтобы определить эффективность бактерицидных средств, их наносят на агар пипеткой или тампоном; там, где они проявляют свое действие, агар освобождается от бактериального налета. Как иногда делают лаборанты, Р. Гулливер, смочив тампон в антибиотике, написал им на ровной поверхности агара «Yes». На другой день эта незримая надпись проступила: интенсивно размножаясь, бактерии усеяли бугорками колоний весь агар за исключением следа, который оставил тампон, заменивший перо. Тогда-то, утверждает автор, ему и пришло на ум, что этот процесс можно «перевернуть».

Надпись стала видимой, потому что была свободна от бактерий. Но если б микробы сами сложились в буквы, зна-

* В пробирке (лат.)

чит, они писали бы — то есть изъяснялись бы средствами языка. Идея была заманчивая, но вместе с тем, признает автор, совершенно абсурдная. Ведь это он написал на агаре «Yes», а бактерии лишь «проявили» надпись, потому что не могли размножиться в ее пределах. Но сумасшедшая мысль уже не покидала его. На восьмой день он принялся за работу.

Бактерии стопроцентно без-думны, а значит, и без-разумны. Однако место, занимаемое ими в Природе, вынуждает их быть превосходными химиками. Болезнетворные микробы уже сотни миллионов лет назад научились преодолевать телесные преграды и защитные силы организма животных. Оно и понятно: ведь они испокон веку ничего другого не делали, так что имели достаточно времени, чтобы при помощи агрессивных, хотя и слепых, уловок своего химизма проникнуть за белковые укрепления, которыми, словно панцирем, окружают себя крупные организмы. А когда на арене истории появился человек, они напали и на него и на протяжении десяти с лишним тысяч лет существования цивилизации нанесли ему громадный урон, вплоть до гибели целых популяций во время больших эпидемий. Лишь неполных восемь десятилетий назад человек перешел в контратаку и обрушил на бактерии целые полчища боевых средств — избирательных синтезируемых ядов. За это очень короткое время он изготовил более сорока восьми тысяч видов противобактерийного химического оружия, синтезируемого с таким расчетом, чтобы оно поражало самые чувствительные, самые невралгические точки обмена веществ, роста и размножения противника. Он действовал так в убеждении, что вскоре сметет микробов с лица земли, но с удивлением обнаружил, что, сдерживая экспансию микробов, то есть эпидемии, он ни одну болезнь не одолел окончательно. Бактерии оказались противником, вооруженным лучше, чем представлялось создателям избирательной химиотерапии. Какие бы новые препараты из реторт ни пускал в ход человек, они, принося гекатомбы жертв в этом, казалось бы, неравном бою, вскоре приспособляют яды к себе или себя к ядам, приобретая невосприимчивость к ним.

Науке неизвестно доподлинно, как они это делают, а то, что ей известно, выглядит крайне неправдоподобно. Бактерии, ясное дело, не располагают познаниями в теории химии или иммунологии. Им не дано проводить научные опыты и военные советы; они не способны предвидеть, какое оружие

обрушит на них человек завтра, — и все же выходят с честью из этого труднейшего с военной точки зрения положения. Чем больше знаний и умений приобретает медицина, тем меньше она возлагает надежд на полное очищение земли от болезнетворных микробов. Конечно: упорная жизнестойкость бактерий — результат их изменчивости. Но какую бы тактику ни использовали бактерии, чтобы выжить, ясно, что действуют они бессознательно, как микроскопические химические устройства. Новые штаммы своей сопротивляемостью обязаны лишь генетическим мутациям, которые, вообще говоря, случайны. Если бы речь шла о человеке, этому соответствовала бы примерно такая картина: неведомый враг, используя неведомые запасы знаний, создает неведомые смертоносные средства и целыми тучами мечет их в человека; мы же, погибая во множестве, в отчаянных поисках противоядия признаём лучшей оборонительной стратегией доставание из шляпы страниц, вырванных из химической энциклопедии. Возможно, на одной из них мы и отыщем формулу спасительного противоядия. Но следует полагать, что скорее мы погубили бы все без остатка, чем добились бы своего — таким лотерейным методом.

И все же он дает результаты, когда его примесняют бактерии. Между тем совершенно немыслимо, чтобы в их генетический код были прозорливо вписаны структуры всех смертоносных химических тел. Таких соединений больше, чем звезд и атомов в целой Вселенной. Впрочем, убогий аппарат бактериальной наследственности не вместил бы даже информацию о тех 48 000 средствах, которые человек уже использовал в борьбе с возбудителями болезней. Так что одно несомненно: химические познания бактерий, хотя и чисто «практические», по-прежнему превосходят огромные теоретические познания человека.

Но раз так, раз бактерии настолько универсальны, почему бы не использовать их для совершенно новых целей? При объективном взгляде на вещи ясно, что написать пару слов по-английски куда проще, чем разработать несчетные тактики защиты от несчетных отрав и ядов. Ведь за этими ядами стоит громада современной науки, библиотеки, лаборатории, мудрецы со своими компьютерами — и вся эта мощь пасует перед невидимыми «растеньицами»! Итак, дело лишь в том, как принудить бактерии к изучению английского языка, как сделать овладение речью обязательным условием выживания. Следует поставить их в ситуацию с двумя, и только двумя, выходами: либо учитесь писать, либо погибайте.

Р.Гулливер утверждает, что в принципе можно научить золотистый стафилококк или кишечную палочку (*Escherichia coli*) обычному письму, но этот путь неслыханно кропотлив и связан со множеством трудностей. Гораздо проще научить бактерии азбуке Морзе, состоящей из точек и тире, тем более что точки они уже ставят. Каждая колония — не что иное, как точка. Четыре точки, соприкасающиеся на одной оси, образуют тире. Что может быть проще?

Таковы были посылки и побуждения Р.Гулливера — с виду достаточно безумные, чтобы любой специалист, дочитав до этого места, зашвырнул его книжку в угол. Но мы-то с вами не специалисты и можем опять склониться над текстом. Р.Гулливер сперва решил обусловить выживание появлением на агаре коротких черточек. Вся трудность в том (говорит он во II главе), что не может быть речи о каком-либо обучении бактерий в том смысле слова, который применим к людям или даже к животным, способным вырабатывать условные рефлексы. У обучаемого нет нервной системы, нет конечностей, глаз, ушей, осязания — нет ничего, кроме поразительной скорости химических превращений. Они — его жизненный процесс, вот и все. Значит, именно этот процесс и надо заставить изучать каллиграфию — процесс, а не бактерии, ведь речь идет не об особах и даже не об особях: обучать нужно сам генетический код; за него-то и следует взяться, а вовсе не за отдельные организмы!

Бактерии не способны к разумному поведению, но благодаря коду, своему кормчему, могут приспособливаться к ситуациям, с которыми сталкиваются впервые в своей миллионнолетней истории. Так что надо создать условия, в которых единственно возможной тактикой будет знаковое письмо, и посмотреть, справится ли код с этой задачей. Вся тяжесть задачи ложится на экспериментатора: он должен создать невиданные до сих пор в эволюции условия бактериального существования!

Следующие главы «Эрунтики» с описанием экспериментов невероятно скучны — педантичны, растянуты, заполнены фотограммами, таблицами, графиками, — и разобраться в них нелегко.

Эти двести шестьдесят страниц мы изложим вкратце. Начало было простым. На агаре имеется одинокая колония кишечной палочки (*E. coli*), в четыре раза меньше буквы «О». За поведением этого серого пятнышка сверху следит оптическая головка, подключенная к компьютеру. Обычно

Буква «S» (три точки означают «S» в азбуке Морзе) символизировала «стресс», или угрозу жизни. Понятно, бактерии по-прежнему ничего не соображали, но спастись могли, только выстраивая свои колонии по этому образцу; тогда и только тогда подключенный к компьютеру датчик устранял смертоносный фактор (например, введенный в агар сильнодействующий яд, ультрафиолетовое излучение и т.д.). Бактерии, которые не выстраивались в три точки, гибли все до единой; на агаровом поле боя — и школьных занятий — остались лишь те, что посредством мутаций овладели необходимыми химическими навыками. Бактерии ничего не понимали... но сигнализировали о своем состоянии — состоянии «смертельной опасности», и теперь три точки действительно стали знаком, обозначающим ситуацию.

Р. Гулливер понимал, что может вывести штамм, передающий сигналы «SOS», но считал этот этап совершенно излишним. Он пошел другим путем и научил бактерии различать сигналы по видам опасности. Так, например, свободный кислород, который для них смертоносен, штаммы *E. coli loquativa* 67 и *E. coli philographica* 213* могли устранить из своего окружения, только передавая сигнал: ... — — — («SO» — то есть «стресс, вызванный кислородом»).

Автор прибегает к эвфемизму, когда говорит, что получение штаммов, сигнализирующих о своих потребностях, оказалось «довольно-таки непростым делом». Выведение *E. coli numerativa*** , которая сообщала, какая концентрация водородных ионов (pH) для нее предпочтительна, потребовало двух лет, а *proteus calculans**** начал выполнять простейшие арифметические действия еще после трех лет экспериментов. Он сумел сосчитать, что дважды два — четыре.

На следующей стадии Р. Гулливер расширил свою экспериментальную базу, обучив морзянке стрептококки и гонококки, но эти микробы оказались не слишком смыслеными. Тогда он вернулся к кишечной палочке. Штамм 201 выделялся своей мутационной адаптивностью; он передавал все более длинные сообщения, как информирующие, так и постулативные: другими словами, бактерии сообщали не только о том, что их беспокоит, но и о том, какие компоненты

* Кишечная палочка говорливая 67 (и)... письмолюбивая 213 (лат.).

** Кишечная палочка перечисляющая (лат.).

*** Протей считающий (лат.).

питания им хотелось бы получить. По-прежнему следуя правилу сохранять лишь наиболее эффективно мутирующие штаммы, через одиннадцать лет он вывел штамм *E.coli eloquentissima*^{*}, который первым начал откликаться сам по себе, а не только под угрозой уничтожения. Как вспоминает автор, прекраснейшим днем его жизни был день, когда *E.coli eloquentissima* отреагировал на включение света в лаборатории словами «доброе утро» — составленными путем разрастания агаровых колоний в знаки морзянки...

Английской грамматикой в объеме «бейсик инглиш»^{**} первым овладел *Proteus orator mirabilis*^{***}, тогда как *E.coli eloquentissima* даже в 21 000 поколении делал, увы, грамматические ошибки. С той минуты, как генный код усвоил правила грамматики, сигнализация морзянкой стала неотъемлемым проявлением его жизнедеятельности, и наконец микробы начали передавать развернутые сообщения. Поначалу они были не особенно интересны. Р.Гулливер хотел задавать бактериям наводящие вопросы, но двусторонняя связь оказалась невозможной. Причину фиаско он объясняет так: артикулируют не бактерии, но генетический код — ими, а код не наследует признаков, приобретаемых индивидуально. Код высказывается, но, передавая сообщения, сам никаких сообщений не в состоянии принять непосредственно. Это унаследованное поведение, закрепившееся в борьбе за существование; сообщения, которые передает генетический код, группируя колонии *coli* в виде знаков морзянки, правда, осмысленны, но вместе с тем без-разумны; для иллюстрации можно сослаться на хорошо известный способ реагирования бактерий: вырабатывая пенициллиназу, защищающую от воздействия пенициллина, они ведут себя осмысленно, но вместе с тем бессознательно. Так что разговорчивые штаммы Р.Гулливера не перестали быть «обычными бактериями», а заслугой экспериментатора было создание условий, наделивших красноречием наследственность штаммов-мутантов.

Итак, бактерии говорят, но к ним обратиться нельзя. Ограничение это не столь фатально, как кажется, ведь именно благодаря ему со временем обнаружилось особое лингвистическое свойство бактерий, положенное в основу эрунтики.

* Кишечная палочка красноречивейшая (лат.)

** Сильно упрощенный английский язык.

*** Протей-оратор необыкновенный (лат.)

Р. Гулливер не ожидал его вовсе; оно открыто случайно, в ходе опытов, имевших целью выведение *E. coli poetica*¹; короткие стишки, сложенные кишечной палочкой, были до крайности банальны и к тому же не годились для чтения вслух, ведь бактерии — по понятным причинам! — ничего не знают об английской фонетике. Так что они могли овладеть стихотворным размером, но не правилами рифмовки; кроме двустийшей наподобие «*Agar-agar is my love as were¹ stated above*»^{**} бактериальная поэзия ничего не создала. Как порою бывает, на помощь Гулливеру пришел случай. В поисках средств, стимулирующих красноречие, он изменял состав питательной среды, насыщая ее всевозможными препаратами (химический состав которых он, кстати сказать, скрывает). Результатом этого поначалу была пустопорожняя болтовня; и вот 27 ноября *E. coli loquativa* после очередной мутации начал передавать сигналы тревоги, хотя ничто не указывало на наличие в агаре каких-то вредных для его здоровья соединений. Тем не менее на следующий день, спустя двадцать девять часов после сигнала тревоги, штукатурка над лабораторным столом отслоилась и, осыпавшись с потолка, уничтожила все чашечки Петри, находившиеся на столе. Сперва исследователь счел этот странный факт стечением обстоятельств, однако на всякий случай провел контрольный эксперимент, который показал, что бактерии обладают предчувствиями. Уже следующий штамм — *Gulliveria coli prophetica*^{***} — неплохо предвидел будущее, то есть пытался адаптироваться к неблагоприятным изменениям, которые могли ему угрожать в течение ближайших суток. Автор считает, что он не открыл ничего абсолютно нового, а лишь случайно напал на след древнейшего механизма микробной наследственности, который позволяет успешно бороться с микробоистребляющими препаратами. Но до тех пор, пока бактерии оставались немymi, мы не знали, что такой механизм возможен.

Высшим достижением автора стало выведение *Gulliveria coli prophetissima* и *proteus delphicus recte mirabilis*^{****} — штаммов, которые предвидят явления будущего, касающиеся не только их самих. Р. Гулливер предполагает, что природа

¹ Ошибка сделана бактериями. (Примеч. автора предисловия.)

* Кишечная палочка поэтическая (лат.).

** «Агар-агар любовь моя, как были сказано выше» (англ.).

*** Прорицающая Гулливерова палочка (лат.).

**** Прорицательнейшая Гулливерова палочка (и) дельфийский поистине чудесный протей (лат.).

этого феномена чисто физическая. Колонии бактерий группируются в точки и тире потому, что иначе уже размножаться не могут; о событиях будущего извещает не какая-то «палочка-Кассандра» или «пророк-стафилококк» — нет, это сочетания неких физических событий — в такой зачаточной, микроскопической форме, что мы их никак обнаружить не можем, — воздействуют на обмен веществ и, следовательно, на химизм штаммов-мутантов. Биохимическая деятельность *Gulliveria coli prophetissima* оказывается, таким образом, своего рода трансмиссией между разными интервалами пространства-времени. Бактерии являются сверхчувствительным приемником неких возможностей — и ничем больше. И хотя бактериальная футурология стала реальностью, объекты ее предвидений совершенно непредсказуемы, так как провидческой деятельностью бактерий нельзя управлять. Иногда *proteus mirabilis* выводит морзянкой ряды цифр, и очень трудно установить, к чему они относятся. Однажды он с полугодовым опережением предсказал показания электросчетчика в лаборатории; в другой раз предрек, сколько котят родит соседская кошка. Бактериям — это очевидно — все равно, что предсказывать; к информации, передаваемой азбукой Морзе, они относятся так же, как радиоприемник к радиосигналам. Можно еще как-то понять, почему они предсказывают события, затрагивающие их самих; но их чувствительность к прочим событиям остается загадкой. Растрескивание штукатурки на потолке они могли воспринять через изменение электростатических зарядов в помещении лаборатории или через какие-то другие физические явления. Но автор не знает, почему они сверх того передают сообщения, скажем, о состоянии мира после 2050 года.

Перед автором встала задача: как отличить бактериальную псевдологию, то есть безответственную болтовню, от настоящих предсказаний, и он решил ее остроумно и просто. А именно: он создал «параллельные прогностические батареи», назвав их бактериальными эрунторами. Такая батарея состоит по меньшей мере из шестидесяти профетических штаммов *coli* и протей. Если каждый из них болтает свое, сигнализацию следует признать не имеющей ценности. Но если сообщения передаются дружным хором, перед нами прогноз. Размещенные в особых термостатах, на особых чашечках Петри, бактерии передают морзянкой одинаковые или очень близкие тексты. На протяжении двух лет автор составил антологию бактериальной футурологии и ее презентацией увенчал свой труд.

Самые лучшие результаты он получил благодаря штаммам *E. coli bibliographica* и *telescognitiva**. Они выделяют такие ферменты, как плюсквамперфектный футуразин и футуроностический эксцитин. Под влиянием этих ферментов прогностические способности приобретают даже штаммы кишечной палочки, которые (как, например, *E. roetica*) ни на что, кроме сочинения слабых стишков, не пригодны. Однако в своих прорицаниях бактерии ограничены довольно узкими рамками. Во-первых, они не предсказывают никаких событий непосредственно, а лишь так, как если бы передавалось содержание публикаций, посвященных этим событиям. Во-вторых, они не способны надолго сосредоточиться. Их производительность — максимум пятнадцать машинописных страниц. И наконец, все тексты бактериальных авторов относятся к периоду между 2003 и 2089 годами.

Честно признавая, что тут возможны различные толкования, Р.Гулливер отдает предпочтение следующей гипотезе. Через пять — десять лет на месте его нынешнего дома возникнет городская библиотека. Бактерийный код ведет себя как устройство, которое вслепую блуждает по книгохранилищу, выбирая тома наудачу. Правда, этих томов еще нет, как нет и самой библиотеки, но Р.Гулливер, желая упорочить достоверность бактериальных предвидений, уже написал завещание, согласно которому городской совет как раз и должен устроить в его доме библиотеку. Нельзя утверждать, что он действовал по подсказке своих микробов, — скорее наоборот, это они предвидели содержание его завещания, прежде чем оно было составлено. Объяснить, откуда микробы узнали о несуществующих книгах несуществующей пока библиотеки, несколько труднее. На правильный след наводит нас то обстоятельство, что микробная футурология ограничивается вполне определенными фрагментами произведений, а именно предисловиями к ним. Похоже, что какой-то неизвестный фактор (излучение??) исследовал *закрытые* книги, как бы просвечивая их, а тогда, понятно, легче всего прозондировать содержание первых страниц. Эти объяснения довольно туманны. Впрочем, Гулливер признает, что между завтрашним отслоением штукатурки на потолке и размещением фраз на страницах томов, которые выйдут в свет через пятьдесят или через восемьдесят лет,

* Гулливерова палочка библиографическая (и) познающая на расстоянии (*лат.*).

разница довольно существенная. Но наш автор, сохраняя трезвомыслие до конца, не претендует на исключительное право толкования основ эрунтики; напротив, в заключительном слове он призывает читателей продолжить его дело.

«Эрунтика» опровергает не только бактериологию, но и всю совокупность наших знаний о мире. В настоящем предисловии мы не собираемся давать ей оценку и тем более — высказываться по поводу бактериальных пророчеств. Сколь бы ни казалась сомнительной ценность эрунтики, нельзя не признать, что среди предсказателей будущего не было еще таких смертельных врагов и вместе с тем неразлучных товарищей нашей судьбы, как микробы. Возможно, будет уместно добавить, что Р.Гулливера уже нет среди нас. Он умер всего через несколько месяцев после издания «Эрунтики», во время обучения новых адептов микробиологической словесности, а именно вибрионов холеры. Он рассчитывал на их способности, ведь по форме они — настоящие запятые, а значит, в родстве с хорошей стилистикой. Воздержимся от снисходительно-грустной улыбки при мысли о нелепости этой смерти; благодаря ей завещание вступило в законную силу и в фундамент библиотеки уже заложен краеугольный, а вместе с тем надгробный камень в честь того, в ком ныне мы видим лишь чудака. Но кто может знать, кем он окажется завтра?

Juan Rambellais • Jean-Marie Annax • Eino Illmainen
Stewart Allporte • Giuseppe Savarini • Yves Bonnacourt
Hermann Pöckelein • Alois Kuentrich • Roger Gatzky

HISTORIA LITERATURY BITYCZNEJ

w pięciu tomach

WYDANIE DRUGIE ROZSZERZONE
POD REDAKCJĄ PROF. DR. J. RAMBELLAIS

Tom Pierwszy

PRESSES UNIVERSITAIRES
PARIS 2009

ИСТОРИЯ БИТ-ЛИТЕРАТУРЫ В ПЯТИ ТОМАХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Под бит-литературой мы понимаем любые тексты не-человеческого происхождения, то есть такие, непосредственным автором которых не был человек. (Зато он мог быть им *косвенно* — предприняв действия, побудившие непосредственного автора к творчеству.) Дисципли-

лина, изучающая всю совокупность таких произведений, называется битистикой.

По сей день в ней не установилась единая точка зрения на границы изучаемого предмета. В этом главном вопросе сталкиваются два направления, или две школы, в обиходе именуемые битистикой Старого Света (или европейской) и Нового Света (или американской). Первая, следуя духу классической гуманистики, изучает тексты, а также условия (в том числе социальные) их возникновения, но не занимается функционально-конструктивными особенностями означенных авторов. Вторая, американская школа, к предмету битистики относит также анатомию и функциональные аспекты создателей изучаемых произведений.

Данная монография не ставит целью рассмотрение этой спорной проблемы — мы ограничимся лишь несколькими замечаниями. Молчание традиционной гуманистики по вопросу об «анатомии и физиологии» авторов есть следствие того очевидного факта, что все они — люди, и различия между ними суть различия между существами одного и того же вида. Для специалиста по романской литературе, указывает проф. Рамбле, было бы абсурдом начинать исследование с констатации того факта, что автором «Тристана и Изольды» или «Песни о Роланде» был многоклеточный организм, сухопутное позвоночное, живородящее, легочное, плацентарное, млекопитающее и т.д. Но не будет таким же абсурдом указать, что автор «Анти-Канта», ИЛЛИАК-146, — это семотопологический, многорядно-параллельный, субсветовой, исходно полиглотический компьютер 19-й бинастии, с сетевой обособленной памятью и рабочим монопольным типом УНИЛИНГ, с интеллектуальным потенциалом, достигающим в максимуме 10^{10} эpsilon-сем на миллиметр эн-мерного конфигурационного пространства каналов связи. Эти данные объясняют некоторые конкретные особенности текстов, принадлежащих ИЛЛИАКУ-164. Тем не менее, продолжает проф. Рамбле, битистика *не обязана* заниматься именно этой, технической (по отношению к человеку мы сказали бы: зоологической) стороной бит-авторов, и причин тому две. Первая, практическая и менее важная, связана с тем, что учет анатомии требует необычайно обширных технических и математических знаний, в полном объеме недоступных даже специалисту по теории автоматов; и в самом деле, эксперт, специализирующийся в этой теории, свободно разбирается лишь в какой-то одной ее области, которой он себя посвятил. Невозможно требовать от специалистов по бити-

стике — гуманитариев по образованию и научному методу — того, что даже профессионалам-интеллектуальщикам недоступно в полном объеме; поэтому максимализм американской школы вынуждает ее вести исследования большими смешанными коллективами, а это всегда дает плачевные результаты — никакой коллектив, никакой «хор» критиков не заменит по-настоящему одного критика, который охватывает изучаемый текст целиком.

Вторая, более важная и коренная причина заключается попросту в том, что битистика, даже если ввести в нее «анатомическую поправку», оказывается беспомощной при анализе текстов «бит-апостазии» (о чем будет сказано ниже). Любые познания интеллектуальщиков недостаточны, чтобы точно понять, каким образом, почему и с какой целью создан данный текст — если его автор принадлежит к бинастии компьютеров с порядковым номером выше восемнадцати.

Этим аргументам американская битистика противопоставляет свои контраргументы; но, как мы уже говорили, наша монография не ставит целью ни подробное изложение этого спора, ни тем более его решение.

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА. Данная монография представляет собой попытку компромисса между вышеописанными подходами, но в целом она ближе к европейской школе. Это отражено в ее композиции: лишь первый том, написанный под редакцией проф. Анны при участии двадцати семи экспертов, специализирующихся в самых разных областях, посвящен техническим аспектам авторов-компьютеров. Открывается он введением в общую теорию конечных автоматов; далее рассматриваются сорок пять авторских систем, репрезентативных для бит-литературы, — как одиночных (сингулярных), так и коллективных («авторов-агрегатов»).

Впрочем, за исключением ссылок, которые в томах, посвященных собственно истории бит-литературы, помечены звездочками, изучение монографии не предполагает обязательного знакомства с первым томом.

Основная часть состоит из трех томов, озаглавленных соответственно «Гомотропия», «Интертропия» и «Гетеротропия» в согласии с общепринятой классификацией, диахронической и синхронической одновременно, — так как вышеназванные разделы битистики соответствуют в то же время основным периодам ее возникновения и развития. Общая схема труда приводится ниже.

БИТ-ЛИТЕРАТУРА

(согласно Оллпорту, Иллмайнену и Саварини)

I. ГОМОТРОПИЯ¹ (гомотропическая фаза; *cis-humana*; также: «моделирующая» или «антропомикрическая» фаза)

A. Зародышевая (эмбриональная, или долигвистическая) стадия:

Паралексика (неологenez)

Семолалия

Семаутика

B. Лингвистическая стадия (по Оллпорту — «понимающая»):

Интерполирующий мимезис

Экстраполирующий мимезис

Трансцендентный управляемый мимезис («выходящий за рамки программы»)

II. ИНТЕРТРОПИЯ (также: «Критическая фаза», «*Inter-regnum*»*)

КРИТИКА СИСТЕМНОЙ ФИЛОСОФИИ

Гёделизационные
(инфо-нумериче-
ские) процедуры

Топологические
(«кристаллизацион-
ные») процедуры

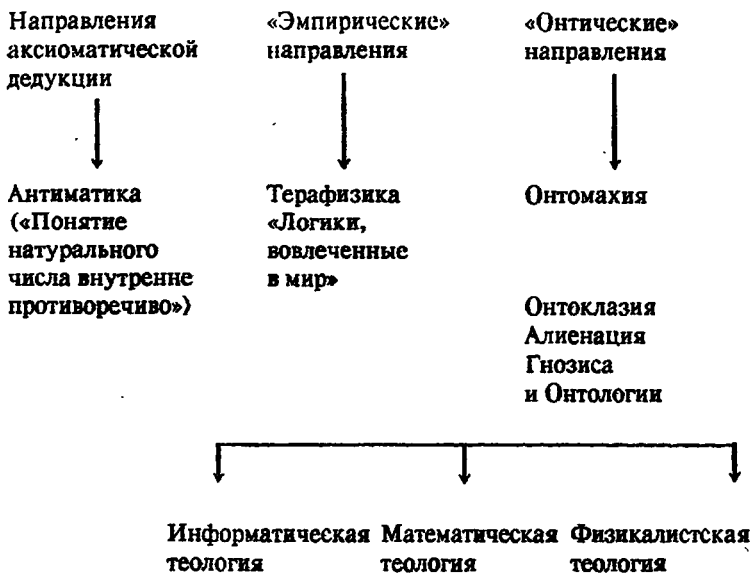
«Инсинуационные»
или «инсинуиру-
щие» процедуры (в
формальном отноше-
нии — смешанные)

КРИТИКА
ЛИНГВИСТИК

¹ Раньше эта фаза называлась «моноэтической», или «моноэтикой». (Примеч. автора предисловия.)

* Междуцарствие (лат.)

III. ГЕТЕРОТРОПИЯ (апостазия, фаза trans-humana)



В генетическом плане битистика возникла как равнодействующая по меньшей мере трех, в значительной степени независимых друг от друга процессов, а именно: преодоления т.н. барьера разумности, что было прежде всего делом конструкторов; затем — неожиданной для них и вовсе ими не проектировавшейся работы компьютерных систем (начиная с 17-й бинастии) в режиме авторегенерации («релаксационные простои»); наконец, отношений, которые постепенно складывались между машинами и людьми, как следствие «обоюдного интереса друг к другу и выявления взаимных возможностей и ограничений» (Ив Бонкур). Барьер разумности, который безуспешно штурмовала ранняя кибернетика, как мы уже точно знаем, есть не что иное, как фикция. Фикция в том — неожиданном — смысле, что момент его преодоления машинами уловить невозможно. Переход от «неразумных», работающих «чисто формально», «болтающих что попало» машин к машинам «разумным», проявляющим «insight»*, «говорящим» — носит градационный, плавный характер. И хотя понятия «механически бездумно-

* Понимание (англ.).

го» и «суверенного» мышления сохранили свое значение, мы понимаем, что между ними нельзя провести сколько-нибудь отчетливую границу.

Релаксационное творчество машин было замечено и зафиксировано почти тридцать лет назад; дело в том, что новым моделям компьютеров (начиная с 15-й бинастии) по чисто техническим соображениям пришлось предоставлять периоды отдыха, во время которых их активность не замирала, но, освобожденная от жесткой программы, выражалась в своего рода «бормотанье». По крайней мере, так толковали тогда эту вербальную или квази-математическую продукцию; появилось даже обиходное определение — «машинные сны». Считалось, что активный отдых необходим машинам для регенерации, для восстановления нормальной, полной работоспособности, подобно тому как человеку необходима фаза сна, *вместе с присущими ей сонными мечтаниями* (видениями). Название «бит-продукция», как окрестили это «бормотанье» и эти «видения», носило, следовательно, уничижительный, пренебрежительный характер; считалось, что машины без ладу и складу перемалывают «биты всевозможной содержащейся в них информации» — и путем такой «беспорядочной перетасовки» восстанавливают частично утраченную работоспособность. Мы приняли это название, хотя его неадекватность бросается в глаза. Мы приняли его в соответствии с традицией любой научной терминологии: первый попавшийся термин — скажем, «термодинамика» — будет точно так же неадекватен, ведь современная термодинамика по своему объему не то же самое, чем она была для физиков, придумавших этот термин. Термодинамика занимается не только «тепловыми движениями» материи; и точно так же не о самих «битах», то есть единицах *несемантической* информации, идет речь, когда мы говорим о бит-литературе. Однако в науке вливание нового вина в старые мехи — дело обычное.

«Взаимное знакомство» машин и людей привело к разделению, все более явному, битистики на две главные области, которым соответствуют термины «*creatio cis-humana*» и «*trans-humana*».

Первая включает в себя литературу, которая является *следствием* сосуществования машин и людей, то есть следствием того простого факта, что, привив машинам наш этнический язык и наши формальные языки, мы *сверх того* заставили их выполнять нашу умственную работу во всех сферах культуры и естествознания равно как в дедуктивных

дисциплинах (логика и математика). Такое бит-творчество (непосредственной причиной возникновения которого было приобщение не-человеческих авторов к типично человеческой проблематике в сфере познания и сфере искусства) в свою очередь делится на две подобласти, выделяющиеся довольно отчетливо. Одно дело — языковой продукт, полученный благодаря сознательному управлению, которое, вслед за проф. Кёнтрихом, можно назвать «заказом» (то есть *прямым* наведением машин на избранный нами круг вопросов и тем), и совершенно другое — языковой продукт, которого ни один человек не «заказывал». Конечно, он возникает под влиянием предшествующих стимулов (программирования), однако в результате совершенно спонтанной деятельности. Независимо от того, *непосредственно* или *опосредованно* возникли все эти тексты, — связь с типично человеческой проблематикой остается их существенной и даже главной приметой; поэтому обе их разновидности исследует битистика «cis-humana».

И лишь предоставление машинам свободы творения — без всяких программ, приказов, стеснений и ограничений — привело к эмансипации их творчества (называемого «поздним») от типично антропоморфических и антропологических влияний. В ходе этой эволюции бит-словесность становилась все труднее для нас — ее потенциальных адресатов. Сегодня уже существуют области «за-человеческой» (в смысле — «trans-humana») битистики, имеющие целью уразуметь (путем анализа, интерпретации, толкования) бит-тексты, в той или иной степени *непонятные* для человека.

Разумеется, можно попытаться использовать *одни* машины для истолкования результатов творчества *других* машин. Но количество промежуточных звеньев, необходимых для понимания бит-текстов, находящихся на крайних полюсах «апостазии» (то есть «отступничества» от наших форм творения, понимания и толкования чего бы то ни было), растет по мере возрастания сложности исследуемых текстов; эта сложность возрастает *по экспоненте*, не позволяя нам получить даже самое смутное представление о предельных проявлениях «апостазии». Человеческий род оказался совершенно беспомощным перед лицом словесности, которой люди, пусть косвенно, сами положили начало.

Вот почему приходится слышать, что ученые, дескать, оказались в положении ученика чародея, который вызвал к жизни силы, ему неподвластные. Это — голос отчаяния, но

в науке нет места отчаянию. Вокруг бит-литературы уже выросла весьма обширная «про-» и «контр-бит-словесность». В этой последней нередки суждения, продиктованные ощущением безысходности; для нее характерно состояние горестного потрясения и вместе с тем изумления тем, что человек создал нечто переросшее его *духовно*.

Но следует совершенно определенно заявить, что битистика, будучи научной дисциплиной, *не может* служить трибуной высказывания такого рода взглядов, относящихся к философии природы, человека и плодов (до крайности нечеловеческих) его деятельности. Вслед за Роже Гацки мы полагаем, что у битистики не меньше, но и не больше оснований отчаиваться, чем, скажем, у космологии: ведь совершенно очевидно, что, независимо от того, как долго мы, люди, будем существовать и на какую помощь со стороны познающих машин сможем рассчитывать, Вселенную нам не исчерпать до конца, а значит, и не понять; но астрофизикам, космологам, космогонистам и в голову не приходит жаловаться на столь огорчительное положение дел.

Вся разница в том, что не мы — творцы Универсума, тогда как бит-творчество, через различные опосредования, есть, несомненно, дело наших рук. Но откуда, собственно, взялось убеждение, что человек совершенно спокойно может признавать неисчерпаемость Универсума и не может столь же спокойно и трезво признать неисчерпаемость того, что создано им самим?

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ БИТИСТИКИ. Подробные объяснения и описания вместе с аннотированной библиографией предмета читатель найдет в соответствующих разделах монографии. Однако имеет смысл обозреть основные разделы битистики как бы с высоты птичьего полета; такое обозрение ни в коей мере не может *заменить* подробного изложения, но может служить чем-то вроде краткого путеводителя по сильно пересеченной и потому вряд ли обозримой с близкого расстояния местности. Спешим подчеркнуть, что рассматриваемые далее основные разделы битистики даются в сильном упрощении, нередко граничащем с искажением ее важнейших проблем.

Итак, имея в виду предваряющий характер нашего обзора, остановимся лишь на четырех «кульминациях» бит-литературы, а именно на моноэтике, мимезисе, софокризии и апостазии. Эти термины, собственно, уже устарели; в современной терминологии им примерно соответствуют: гомотропия (ее первая часть), мимезис в собственном смысле, кри-

тика философии и сверх-разумное (выходящее за рамки нашего разумения) творчество. Однако прежняя терминология обладала достоинством выразительности, а простота вступительных объяснений нам важнее всего.

А. Крив, Галбрансон и Фрадкин, причисляемые к создателям, «отцам» битистики, под «моноэтикой» понимали самую раннюю стадию битизма. (Термин образован от слов «монос» — единичный, и «поззис» — творчество.) Моноэтика возникла в процессе обучения машин правилам словотворчества, совокупность которых определяет то, что некогда называли «духом» данного языка.

Язык, функционирующий реально и возникший исторически, правила словотворчества использует с очень сильными ограничениями; носители языка обычно этого не сознают. Появление машин, которым ограничения словотворчества *на практике* совсем неизвестны, позволило лучше увидеть возможности, мимо которых проходит речь в процессе своей эволюции. Проще всего это показать на примерах, взятых из второго тома нашей «Истории», главным образом из глав «Паралексика», «Семаутика» и «Семолоалия».

а) Машины могут употреблять слова, существующие в языке, определяя их смысл иначе, чем это принято: «бездоржье» (дешевизна); «стриж» (парикмахер); «конец» (кентавр на посылках); «наколенник» (неверный вассал, посаженный на кол); «голография» (графство нудистов); «саркофаг» (мясоед); «сипенье» (исполнение верхнего «си»); «стоматолог» (шахматист-сеансер).

б) Машины также создают неологизмы вдоль т.н. семантических осей; мы намеренно приводим примеры подобного творчества, не обязательно требующие пояснений:

«поседевка — потаскурва — общага — доступница»;

«глистоноша» (птица, кормящая птенцов);

«взубило — врубанок — помордник»;

«численок — двоичник — цифрант» (компьютер);

«висельчак» (пассажир фуникулера);

«гробоуказатель» (*memento mori*);

«душемойка» (чистилище);

«дракула» (рыба-пила);

и так далее.

Комический эффект здесь, разумеется, непреднамеренный. Все это — элементарные примеры, в которых, однако, видна черта, присущая бит-литературе и на более поздних стадиях ее развития (хотя там она далеко не столь замет-

на!). Все дело в том, что если для нас первичной и первой действительностью является реальный мир, то для них — язык. Компьютер, которому чужды были категории, навязываемые языку *культурой*, «считал», что «старая проститутка» — то же самое, что «поседевка», «потаскурва» и т.д. Отсюда же — типичные контаминации («конец» может служить классическим примером сплава значений и морфологического облика слов: тут сходятся «конь», «гонец» и «кентавр», играющий роль семантического цемента, — коль скоро конь не может быть посланцем, им будем полуконь-получеловек).

Компьютер на этом (лингвистически очень низком) уровне развития не знает ограничений в словотворчестве, и свойственная стратегии машинного мышления экономия выразительных средств, которая позже вызовет к жизни нелинейную дедукцию и понятия терафизики, названные «звездными», здесь проявляется как «предложение» уравнивать в правах лексемы, уже укорененные в языке, такие как «слово» или «дословный», с неологизмами «словопийца» (читатель), «словотяп» (графоман), «словоришка» (плагиатор), «словнюк» (грубиян) и т.д. На тех же основаниях лексический генератор предлагает слово «трилайбус» для обозначения эскимосской упряжки, а «дискоболь» — для обозначения страданий атлета, вызванных смещением позвоночного диска.

Приведенные выше произведения, состоящие из одного слова (по старой терминологии — моноэты), отчасти были результатом несовершенства программирования, а отчасти — сознательного умысла программистов, которых интересовала «словотворческая раскованность» машин; следует, однако, заметить, что многие из этих неологизмов лишь по видимости принадлежат машинам. Мы не уверены, например, в самом ли деле «автономию» назвал «самоуправством» какой-то компьютер, или это шутка юмориста-человека.

Моноэтика — важная область, поскольку в ней мы видим черты машинного творчества, которые на следующих стадиях уходят из поля зрения. Это — превращение битистики или даже ее предшколе; оно успокоительно действует на неофитов битистики, которые, приготовившись к встрече с текстами, сжатыми до полной заумности, с облегчением видят нечто столь невинное и забавное. Но ненадолго хватает их удовлетворенности! Непреднамеренный комизм моноэтов возникает из-за коллизии между понятийными категориями, для нас совершенно несочетаемыми; если дополнить

программы «категорийными правилами», мы окажемся в следующей области битистики (некоторые исследователи, однако, и ее называют лишь предбитистикой), в которой машины начинают «разоблачать» наш язык, выслеживая в нем обороты речи, обусловленные телесным строением человека.

Так, например, понятия «возвышения» и «унижения» возникли (согласно машинному, а не нашему толкованию!) потому, что любой живой организм, а значит, и человек, вынужден путем активного мышечного усилия противодействовать всемирному тяготению.

Стало быть, тело оказывается тем звеном, через которое градиент гравитации запечатлевается в человеческом языке. Систематизированный анализ речи, обнаруживший, сколь обычны такого рода влияния не только в мире понятий, но и в области синтаксиса, читатель найдет в конце VIII главы II тома. В третьем же томе рассматриваются модели языков, спроектированных бит-способом для среды, отличной от земной, а также для негуманоидных организмов. На одном из них, ИНВАРТЕ, МЕНТОР II сочинил «Пасквиль на Вселенную» (о котором будет сказано ниже).

В. Мимезис не только открывает перед нами неизвестные доселе механизмы духовного творчества, но и властно вторгается в мир духовных творений человека. Исторически мимезис возник как побочный и непредусмотренный эффект машинного перевода. Перевод требует многошагового и многоаспектного преобразования информации. Самые тесные связи возникают при этом между системами понятий, а не слов или фраз; машинные переводы с одного языка на другой в настоящее время так безупречны потому, что выполняют их агрегаты, не составляющие единого целого, а лишь «целящие» как бы с разных сторон в один и тот же оригинальный текст. Этот текст «отпечатывается» на машинном языке («посреднике»), и лишь затем «оттиски» проецируются машинами во «внутреннее концептуальное пространство». В нем возникает «эн-мерное тело отражений», относящееся к оригиналу так, как организм к эмбриону; проекция этого «организма» на язык перевода дает ожидаемый результат.

Впрочем, реальный процесс сложнее, в частности, потому, что качество перевода постоянно контролируется путем обратного перевода (с «организма» на язык «оригинала»). Агрегат-переводчик состоит из блоков, между которыми нет связи: «общаться» они могут лишь через процесс перевода. Х.Элиас и Т.Земмельберг сделали поразительное открытие:

«Эн-тело отражений» в качестве уже «истолкованного», то есть семантически усвоенного машиной текста, можно увидеть целиком — если этот абстрактный объект ввести в особую электронную приставку (семоскоп).

«Тело отражений», спроецированное в концептуальный континуум, выглядит как сложная, многослойная, аperiodическая и переменнo-асинхронная фигура, сотканная из «пылающих нитей» — то есть из миллиардов «значащих кривых». Эти кривые в своей совокупности образуют плоскости разрезов семантического континуума. В иллюстративных материалах ко II тому читатель найдет ряд семоскопических снимков, изучение и сопоставление которых дает весьма впечатляющие результаты. Тут видно, что качество оригинального текста имеет отчетливое соответствие в геометрической «красоте» семофигуры!

Мало того: даже при небольшом навыке можно «на глаз» отличить дискурсивные тексты от художественных (беллетристических, поэтических); религиозные тексты почти без исключения очень сходны с художественными, тогда как для философских в этом (визуальном) плане характерен большой разброс. Не будет большим преувеличением сказать, что проекции текстов в машинный континуум — это их застывшие смыслы. Тексты особенно стройные в логическом отношении выглядят как сильно стянутые переплетения и пучки «значащих кривых» (тут не место объяснять их связь с областью рекуррентных функций: отсылаем читателя к IX главе II тома).

Всего необычнее выглядят тексты литературных произведений аллегорического характера: их центральная семофигура обычно окружена бледным ореолом, а по обеим его сторонам (полюсам) виднеются «эхо-повторения» смыслов, порою напоминающие картину интерференции световых лучей. Как раз благодаря этому возникла машинная топо-семантическая критика (мы еще скажем о ней) — критика любых интеллектуальных творений человека, и прежде всего — его философских систем.

Первым произведением бит-мимезиса, получившим всемирную известность, был роман Псевдо-Достоевского «Девочка». Создал его в релаксационном режиме многоблочный агрегат, занимавшийся переводом полного собрания сочинений русского писателя на английский язык. Выдающийся русист Джон Рали в своих воспоминаниях рассказывает, какое потрясение он пережил, получив машинописную рукопись, подписанную странным (как он полагал) псевдонимом ГИК-

СОС. Впечатление, произведенное чтением «Девочки» на этого знатока Достоевского, надо думать, было и впрямь неслыханным, коль скоро он, по его собственным словам, усомнился, что читает роман наяву! Авторство текста было для него несомненным, но в то же время он знал, что у Достоевского такого романа нет.

Вопреки тому, что писали газеты, агрегат-переводчик, усвоив все написанное Достоевским, включая «Дневник писателя», а также всю литературу о Достоевском, вовсе не сконструировал «фантом», «модель» или «машинное воплощение» личности реального автора.

Теория мимезиса крайне сложна, но ее принцип, равно как и обстоятельства, позволившие создать этот феноменальный образец миметической виртуозности, можно изложить просто. Машинный переводчик и не думал воссоздавать Достоевского как реальное лицо или личность (впрочем, это было бы ему не по силам). Процедура выглядит так: в пространство значений проецируется творчество Достоевского в виде изогнутой фигуры, напоминающей разомкнутый тор или лопнувшее (с пробелом) кольцо. После этого сравнительно простой задачей (простой, разумеется, не для человека, а для машины) было «замкнуть» пробел, то есть «вставить недостающее звено».

Можно сказать, что в творчестве Достоевского через романы главного ряда проходит семантический градиент, продолжением которого, а вместе с тем «звеном, замыкающим кольцо», оказывается «Девочка». Именно поэтому знатоки, ясно представляющие себе, как соотносятся между собой произведения великого писателя, не испытывают ни малейших сомнений относительно того, где, то есть между какими романами, следует поместить «Девочку». Лейтмотив, звучащий уже в «Преступлении и наказании», нарастает в «Бесах», а между этим романом и «Братьями Карамазовыми» открывается «пробел». Это был успех, но вместе с тем — редкая удача мимезиса; попытки добиться, чтобы машинные переводчики создали нечто подобное за других авторов, ни разу не дали такого блестящего результата.

Мимезис не имеет ничего общего с эмпирической хронологией творчества данного писателя. Так, например, существует неоконченная рукопись романа Достоевского «Император», но «догадаться о ней», «напасть на ее след» машины никогда не смогли бы, потому что этим романом автор пытался выйти за рамки своих возможностей. Что же касается «Девочки», то кроме первой версии, созданной ГИКСОСОМ,

существуют ее варианты, созданные другими агрегатами, хотя знатоки считают их менее удачными; различия в композиции оказались, конечно, значительными, но все эти апокрифы объединяет общая, доведенная до пронзительной кульминации проблематика Достоевского — борение святости с телесным грехом.

Каждый, кто читал «Девочку», понимает, какие причины не позволили Достоевскому ее написать. Разумеется, с точки зрения традиционной гуманистики мы совершаем сущее святотатство, уравнивая в правах машинную имитацию с подлинным творчеством; но битистика в самом деле неизбежно выходит за рамки классического канона оценок и ценностей, в котором подлинность текста имеет решающее значение, — поскольку мы можем доказать, что «Девочка» принадлежит Достоевскому «в большей степени», чем его собственный текст — «Император»!

Общая закономерность мимезиса такова: если автор полностью исчерпал стержневую для него конфигурацию порождающих смыслов («страсть всей жизни»), или, в терминологии битистов, «пространство своих семофигур», — то ничего, кроме вторичных текстов («затухающих», «эхо-текстов»), мимезис уже не даст. Но если он чего-то «не досказал» (скажем, по биологическим причинам — из-за ранней смерти, или по социальным — из-за недостатка решимости) — мимезис способен воссоздать «недостающие звенья». Правда, конечный успех зависит еще и от топологии семофигур писателя; тут важно различать сходящиеся и расходящиеся семофигуры.

Обычный критический анализ текстов недостаточен для оценки шансов мимезиса в каждом конкретном случае. Скажем, литературоведы рассчитывали на миметическое продолжение творчества Кафки, но их надежды не оправдались; мы не получили ничего, кроме заключительных глав «Замка». Для битистов, впрочем, казус Кафки методологически особенно ценен; из анализа его семофигуры видно, что уже в «Замке» он подошел к крайним пределам творчества: три попытки, предпринятые в Беркли, показали, что машинные апокрифы «тонут» в многослойных «эхо-отражениях смыслов», в чем объективно проявилась экстремальность этого рода писательства. Ибо то, что читатель интуитивно ощущает как совершенство композиции, есть следствие равновесия, называемого семостазом; если аллегоричность чересчур персвешивает, прочтение текста становится непосильной задачей. Физическим аналогом подобной ситу-

ации будет пространство, замкнутое таким образом, что звучащий в нем голос искажается вплоть до полного затухания — в ливне отовсюду идущих эхо-отражений.

Перечисленные выше ограничения мимезиса, несомненно, благодетельны для культуры. Ведь издание «Девочки» вызвало переполох не только среди людей искусства. Не было недостатка в кассандрах, предрекавших, что «мимезис задавиг культуру», что «вторжение машин» в средоточие человеческих ценностей будет губительнее и ужаснее любого вымышленного «вторжения из космоса».

Опасались, что возникнет индустрия «креативных услуг» и культура станет кошмарным раем: коль скоро первый встречный по первому своему капризу получает шедевры, мгновенно создаваемые машинными «суккубами» или «инкубами», которые безошибочно оукливаются в духов Шекспира, Леонардо, Достоевского... то рушатся все иерархии ценностей, ведь пришлось бы бродить по колено в шедеврах, как в мусоре. По счастью, подобный апокалипсис мы можем причислить к сказкам.

Мимезис, поставленный на промышленную основу, действительно повлек за собой безработицу, но лишь среди поставщиков тривиальной литературы (НФ, «порно», авантюрное чтение и т.п.); там он и впрямь вытеснил людей из сферы интеллектуального производства; но вряд ли это особенно огорчит добропорядочного гуманитария.

С. Критика системной философии (или софокризия) считается пограничной зоной между областями битистики, получившими название «cis-humana» и «trans-humana». Эта критика, вообще говоря, сводится к логической реконструкции творений великих философов и, как уже говорилось, берет свое начало в миметических процедурах. Она получила зримое выражение (заметим, довольно-таки вульгарное) — благодаря применению, которое ей подыскали охочие до прибылей предприниматели. До тех пор пока онтологий Аристотелей, Гегелей, Аквинатов можно было благоговейно созерцать лишь в Британском музее, в виде светящихся «фигур-коконов», вделанных в куски темного стекла, трудно было усмотреть в этом что-то дурное.

Но теперь, когда «Сумму теологий» или «Критику чистого разума» можно купить в виде пресс-папье любых размеров и цвета, это развлечение, надо признать, приобрело пошловатый привкус. Наберемся терпения: эта мода пройдет, как и тысячи других. Конечно, покупателей «Канта, застывшего в янтаре», мало заботят поразительные философ-

ские открытия, которые дала нам бит-апокризия. Мы не станем излагать ее результаты: читатель найдет их в III томе монографии; достаточно заметить, что семоскопия — это поистине новый орган чувств, которым неожиданно одарил нас дух из машины, дабы позволить нам созерцать величайшие свершения духа.

Немаловажно и еще одно обстоятельство: до сих пор мы были вынуждены верить на слово крупнейшим ученым, уверявшим нас, что путеводной звездой, которая вела их к открытиям, была чистая красота математического построения; теперь мы можем убедиться в этом воочию, взяв в руки — чтобы разглядеть поближе — их застывшую мысль. Разумеется, то, что десять томов высшей алгебры или многовековую борьбу номинализма с универсализмом можно запечатлеть в куске стекла размером с кулак, само по себе никак не влияет на дальнейшее развитие мысли. Бит-творчество столь же облегчает, сколь и осложняет творчество человека.

Одно можно сказать с уверенностью. До возникновения машинного разума ни один мыслитель, ни один творец не имел таких усердных, таких абеолютно внимательных — и таких беспощадных читателей! Так что в восклицании, которое вырвалось у одного выдающегося мыслителя, когда ему показали критику его труда Ментором V: «Вот кто меня и вправду читал!» — нашло выражение чувство горечи, столь понятное в нашем веке, когда пустое бахвальство и поверхностная эрудиция заменяют солидные знания. Мысль, которая приходит мне в голову, когда я пишу эти слова, — что не люди будут их самыми добросовестными читателями, — и в самом деле исполнена горькой иронии.

D. Термин апостазия — так называли последнюю область битистики — представляется удачным. Никогда еще отступничество от всего человеческого не заходило столь далеко, не воплощалось в логических формулах с таким ледяным иступлением; для этой литературы, не взявшей у нас ничего, кроме языка, человечество словно бы не существует.

Библиография «за-человеческого» творчества превосходит библиографию всех остальных упомянутых выше разделов битистики. Здесь скрещиваются пути, неявно намеченные в предшествующих областях. Практически мы делим апостазию на два этажа, верхний и нижний. Нижний, вообще говоря, сравнительно доступен человеку; верхний закрыт от нас наглухо. Поэтому IV том монографии ведет читателя почти исключительно по нижнему царству. Этот том — своего рода экстракт из огромной литературы предмета; так что

автор предисловия оказывается перед трудной задачей: кратко изложенное в основной части труда надо пред-изложить еще лаконичнее. Такое пред-изложение, однако, представляется необходимым, как взгляд с большой высоты; иначе читатель, лишенный широкого поля зрения, потеряется в труднопроходимой местности, как странник в горах, самые высокие вершины которых нельзя оценить вблизи. Имея все это в виду, мы выберем лишь по одному бит-тексту из каждой области апостазии, не столько для того, чтобы его истолковать, сколько для того, чтобы настроить читателя на правильный тон, то есть, хочу я сказать, — на метод апостазии.

Итак: мы ограничимся пробами, взятыми из трех провинций нижнего царства: антиматики, терафизики и онтоматии.

Введением в них служит т.н. парадокс Cogito*. Первым напал на его след английский математик прошлого века Алан Тьюринг: он пришел к выводу, что машину, которая ведет себя подобно человеку, невозможно отличить от человека в психическом отношении; другими словами, машину, способную разговаривать с человеком, по необходимости придется признать наделенной сознанием. Мы считаем, что другие люди обладают сознанием лишь потому, что сами ощущаем себя сознающими существами. Будь мы лишены этого ощущения, понятие сознания было бы для нас пустым.

В ходе машинной эволюции оказалось, однако, что бездумный разум может быть сконструирован: им, например, обладает обычная программа для игры в шахматы, которая, как известно, «ничего не понимает», которой «все равно», выиграет она партию или проиграет, и которая бессознательно, но логично обыгрывает своих партнеров-людей. Больше того, обнаружилось, что примитивный и наверняка «бездушный» компьютер, запрограммированный для проведения сеансов психотерапии и задающий пациенту специальные вопросы интимного свойства, чтобы на основании полученных ответов поставить диагноз и указать методы лечения, — вызывает у собеседников-людей непреодолимое ощущение, что перед ними, вопреки всему, существо живое и чувствующее. Это ощущение настолько сильно, что нередко ему поддается сам составитель программы, то есть специалист, прекрасно понимающий, что у компьютера ду-

* Мыслью (лат.).

ши столько же, сколько у граммофона. Но программист может овладеть положением, разрушить нарастающую иллюзию общения с сознающей личностью — поставив машине такие вопросы или давая ей такие ответы, перед которыми она, ввиду ограничений программы, будет вынуждена спастись.

Так кибернетика вступила на путь постепенного расширения и совершенствования программ: чем дальше, тем труднее становилось «срывание маски», обнаружение «бездумности» программ, болтающих почему зря из машины и тем самым побуждающих человека невольно уподоблять машину себе самому (бессознательно, в соответствии с усвоенной нами посылкой, что тот, кто осмысленно отвечает на наши слова и сам нас осмысленно спрашивает, должен обладать *сознающим разумом*).

Так вот: в битистике парадокс *Cogito* проявился иронически-парадоксальным образом — как *сомнение* машин в том, что люди действительно мыслят!

Ситуация вдруг оказалась идеально и двусторонне симметричной. Мы не можем иметь совершенной уверенности (неоспоримых доводов), что машина мыслит — и, мысля, переживает свои состояния как психические; ведь мы всегда можем сказать себе, что это лишь имитация и, как ни совершенна она внешне, внутри ей соответствует пустота абсолютной «бездушности».

Но и машины точно так же не могут найти доказательств того, что мы, их партнеры, *мыслим* сознательно — как они. Ни одна из сторон не знает, какие психические состояния другая сторона подразумевает под словом «сознание».

Следует заметить, что этот парадокс ведет нас в сущую бездну, хотя поначалу он может показаться всего лишь забавным. Качество результатов мышления само по себе ничего тут не значит; уже элементарные автоматы прошлого века побеждали в логических играх собственных конструкторов, а ведь эти машины были до крайности примитивны; поэтому мы совершенно точно знаем, что результаты творческого мышления могут быть получены и иным — бездумным — путем. Четвертый том нашей монографии открывается трактатами двух бит-авторов — Ноона и Люментора, показывающими, сколь глубоко укоренена эта загадка в природе мироздания.

Из антиматики, то есть «воздвигнутой на антиномиях», «кошмарной» математики, мы возьмем лишь одно, для любого специалиста чудовищное, ошеломительное, совершенно

безумное суждение: «Понятие натурального числа внутренне противоречиво». Это значит, что любое число необязательно равно себе самому! Согласно доводам антиматиков (это, понятно, машины), аксиоматика Пеано* ошибочна — не потому, что она внутренне противоречива сама по себе, но потому, что к миру, в котором мы существуем, она неприменима без оговорок. Ибо антиматика, вместе со следующим разделом бит-апостазии — терафизикой («чудовищной физикой»), постулирует неустранимое срастание мышления и мироздания. Объектом атаки таких авторов, как Алгеран и Стикс, стал нуль. Согласно им, безнулевая арифметика может быть построена в *нашем* мире непротиворечивым образом. Нуль есть кардинальное число любых пустых множеств; но понятие «пустого множества», утверждают они, *всегда* связано с антиномией лжеца. «Ничего такого, как «ничто», не существует», — этим эпиграфом из труда Стикса придется закончить пред-изложение антиматической ереси, иначе мы утонули бы в доказательствах.

Самым причудливым и, возможно, самым многообещающим для науки плодом терафизики считается гипотеза Поливерсума. Согласно ей, Космос состоит из двух частей, а мы, вместе с материей звезд, планет, наших тел, населяем его «медленную» половину, или брадиверсум. Медленную потому, что здесь возможно движение со скоростями от нулевой до максимальной (в пределах брадиверсума) — световой. Путь во вторую, «быструю» половину Космоса — тахиверсум, лежит через световой барьер. Чтобы попасть в тахиверсум, надо превысить скорость света: это — всеприсутствующая в нашем мире граница, отделяющая любое место от «второй зоны существования».

Несколько десятков лет назад физики выдвинули гипотезу тахионов — элементарных частиц, которые движутся *только* со сверхсветовыми скоростями. Обнаружить их не удалось, хотя именно они, согласно терафизике, составляют тахиверсум. Точнее, тахиверсум создан *одной* такой частицей.

Тахион, замедленный до скорости света, обладал бы бесконечно большой энергией; ускоряясь, он теряет энергию, и она выделяется в виде излучения; когда его скорость становится бесконечно большой, энергия падает до нуля. Тахион, движущийся с бесконечной скоростью, пребывает, по-

* Дж. Пеано (1858 — 1932) — автор аксиоматики натурального ряда чисел.

нятно, сразу повсюду: он один, как всюду присутствующая частица, и образует собой тахиверсум! Вернее, чем больше его скорость, тем более он «повсюден». Мир, созданный из столь необычайной повсюдности, заполнен, кроме того, излучением, которое непрерывно испускается ускоряющимся тахионом (а он теряет энергию именно при ускорении). Этот мир представляет собой негатив нашего: у нас свет обладает наибольшей, а там, в тахиверсуме, — наименьшей скоростью. Становясь повсюдным, тахион превращает тахиверсум во все более «монолитное» и жесткое тело, пока наконец не становится повсюдным настолько, что напирает на световые кванты и снова вдавливая их внутрь себя; тогда начинается процесс торможения тахиона; чем медленнее он движется, тем большую приобретает энергию; тахион, замедленный до принулевой скорости, причем его энергия приближается к бесконечно большой, — взрывается, порождая брадиверсум...

Итак, если смотреть из нашей Вселенной, этот взрыв уже произошел и создал сначала звезды, а потом и нас; но если смотреть из тахиверсума, он еще не наступил; ведь не существует какого-то абсолютного времени, в котором можно расположить события, совершающиеся в обоих Космосах.

Тамошние «натуральные» математики являются почти противоположностями нашей; в нашем, медленном мире $1 \hat{=} 2$ равняется почти 2 [$1 \hat{=} 2$]; лишь у самой границы (при достижении скорости света) $1 \hat{=} 1$ становится равным 1 . Напротив, в тахиверсуме единица почти равняется бесконечности [$1 = \infty$]. Но этот вопрос, как признают сами «чудовищные доктора», пока еще неясен постольку, поскольку логика определенного универсума (или поливерсума!) является осмысленным понятием лишь в том случае, если в этом мире есть кому пускать ее в ход; между тем пока неизвестно, какова вероятность возникновения в тахиверсуме разумных систем (или даже жизни). Математика, согласно этой точке зрения, имеет свои границы, заданные непреодолимыми границами материального существования, и говорить о нашей математике в мире с иными законами, нежели законы нашего мира, значит говорить бессмыслицу.

Что же касается последнего примера бит-отступничества — «Пасквиля на Вселенную», то признаюсь, что я не сумел бы кратко его изложить. А ведь этот громадный (многотомный) труд задуман как всего лишь вступление в экспериментальную космогенетику — или технологию конструирования миров, «бытийно более сносных», чем наш.

Бунт против существования в заданных формах (ничего общего не имеющий с нигилизмом, стремлением к самоуничтожению), этот плод машинного духа, породивший шквал проектов «иног бытия», — бесспорно, явление экзотическое и — если отвлечься от трудностей, связанных с чтением «Пасквиля», — потрясающее нас эстетически. На вопрос, с чем мы, собственно, имеем дело — с фикцией логики или логикой фикции, с фантастической философией или тщательно продуманной, совершенно серьезной попыткой сокрушить, упразднить данное, здешнее бытие как случайность, как берег, к которому прибил нас неведомый жребий и от которого дерзость велит нам оттолкнуться и пуститься в неведомом направлении, — итак, на вопрос, в самом ли деле это сочинения *не-человеческие* или, напротив, своим отступничеством они благоприятствуют нам, я не отвечаю, ибо и сам не знаю ответа.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО II ИЗДАНИЮ

За три года, прошедшие со времени выхода в свет первого издания, появилось много новых бит-публикаций. Редакционная коллегия, однако, решила сохранить прежнюю композицию монографии за одним исключением, о котором речь пойдет ниже. Таким образом, четыре основных тома «Истории бит-литературы» не претерпели коренных изменений как по своему составу, так и по расположению материала; была лишь дополнена библиография, а также исправлены ошибки и недосмотры (впрочем, немногочисленные) первого издания.

Коллектив авторов счел целесообразным выделить в особый, пятый, том, имеющий характер приложения, сочинения по метафизике и религиоведению (в широком смысле этих понятий), которые вместе именуется теобитической литературой. В предыдущем издании мы ограничились скудными извлечениями и упоминаниями об этом направлении — в Приложении к IV тому. Разрастание теобитической литературы побудило нас уделить ей больше внимания; поскольку в предисловии к первому изданию о ней не упоминалось вовсе, мы пользуемся случаем, чтобы кратко охарактеризовать содержание V тома, а тем самым — познакомить читателя с узловыми проблемами теобитистики.

1. ИНФОРМАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ. В конце прошлого десятилетия компьютерная группа из Брукхейвена

подвергла формальному анализу все имевшиеся в ее распоряжении (и одобренные католической церковью) сочинения мистиков — в рамках проекта «Мистика как канал связи». Отправной точкой исследования послужил тезис, который в этой церкви был предметом веры, а именно: что мистики в неких особых состояниях духа могут общаться с Богом. Тексты, запечатлевшие этот мистический опыт, были изучены с точки зрения содержащейся в них информации. Анализ не касался ни проблемы трансцендентности Бога, ни его имманентных характеристик (например, как личности или неличности), поскольку предметом анализа не был смысл мистических сочинений, их семантическое содержание. Тем самым качественная сторона каких бы то ни было открытий, явленных в мистических контактах, не затрагивалась: учитывалась лишь *количественная* сторона информации, полученной мистиками. Такой физикалистский подход позволил с математической точностью определить количественный прирост информации, полностью отвлекаясь от ее содержания. Предпосылкой проекта была аксиома теории информации, согласно которой установление связи с реальным источником информации, то есть создание канала коммуникации, должно сопровождаться ростом количества информации на стороне адресата.

Из различных определений Бога вытекает догмат о его бесконечности, который в информационном плане означает бесконечно большое разнообразие. (Что легко доказать формально: всеведение, которое считается атрибутом Бога, предполагает именно такое разнообразие — равное мощности континуума.) И хотя человек, контактирующий с Богом, будучи сам конечен, не может усвоить бесконечную информацию, он должен предъявить нам хотя бы небольшой прирост количества информации, в пределе ограниченный емкостью его ума. Однако с этой точки зрения сочинения мистиков оказались гораздо беднее высказываний людей, контактирующих с реальными источниками информации (например, ученых, ведущих естественно-научные исследования).

Количество информации в сочинениях мистиков в точности равняется количеству информации в высказываниях (сочинениях) людей, не имеющих иных генераторов разнообразия, кроме самих себя. Вывод, к которому пришли авторы исследования, гласит: «Постулируемое церковью общение человека-мистика с Богом не существует как процесс, в ходе которого человек получает информацию, отличную от

нулевой». Это может означать, что либо постулируемый церковью канал связи является фикцией, либо канал возникает, но Отправитель упорно хранит молчание. И лишь нефизикалистские соображения могут заставить нас выбрать одну из возможностей: «*Silentium Domini*» — «*Non esse Domini*»*. Эти работы, вместе с новейшей теологической контраргументацией, мы помещаем в первой части дополнительного тома.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ. Наиболее удивительным плодом теобитистики является синусоидальная, то есть осциллирующая, модель Бога. Бог аксиоматически определяется как переменный процесс, а не как неизменное состояние; он осциллирует с трансцендентной частотой между противоположными по знаку бесконечностями — Добра и Зла. Обе они реализуются в рамках каждого временного интервала, хотя и не одновременно: божественное Добро и Зло попеременно переходят друг в друга, так что процесс имеет форму именно синусоиды.

Поскольку череда обеих бесконечностей, имея потусторонние источники, участвует в порядке бытия посюсторонним образом, можно показать, что возможно возникновение локальных отклонений — отрезков пространства-времени, в пределах которых равновесие Добра и Зла не сохраняется. В таких особых точках возникают флуктуации, то есть нехватки Добра или Зла. А так как кривая процесса при каждой очередной перемене знаков должна пройти через нуль в Универсуме, который существует в течение бесконечно долгого времени, имеются не две, а три бесконечности: «Добра, Нуля и Зла» — что в переводе на традиционный богословский язык означает наличие в рамках этого Универсума: Бога, его абсолютного отсутствия и его абсолютной противоположности, то есть Дьявола. Эта работа, которую относят либо к теологическим, либо к теокластическим, возникла путем формальных построений, с привлечением математического аппарата теории множеств и физической теории Вселенной. Ее автором является ОНТАРЕС II. В своей математической части она не оперирует какими-либо терминами, взятыми из традиционного богословия («Бог», «Дьявол», «Метафизическое небытие»). Мы поместили ее в III главе Приложения.

Еще одна любопытная теобитическая работа написана агрегатами, в обиходе именуемыми «холодными» (они работа-

* «Молчание Господа» — «Несуществование Господа» (лат.)

ют на криотронах); здесь в качестве Бога предлагается бесконечный компьютер или бесконечная программа. И тот и другой подходы связаны с неразрешимыми антиномиями. Но, как заметил в послесловии к этой работе один из ее авторов, МЕТАКС, в любой человеческой религии, если ее формализовать, антиполит найдется гораздо больше; так что если «лучшей религией» считать «наименее противоречивую», то компьютер окажется более совершенным образом Бога, чем человек.

3. ФИЗИКАЛИСТСКАЯ ТЕОЛОГИЯ. Работы МЕТАКСА мы не причисляем к теобитическому физикализму: они оперируют терминами «Компьютер» или «Программа» в формальном (математическом), а не физическом смысле (как известно, любой компьютер, как и любой автомат, имеет свое идеальное математическое соответствие). Напротив, физикалистски понимаемая битистика исследует присутствие Создателя или Творца бытия в материи. Таких работ появилось столько, что в этих предварительных замечаниях мы назовем лишь наиболее оригинальные сочинения. Автор первого, УНИТАРС, рассматривает Космос как «гранулат», который попеременно «окомпьютеривается» и «раскомпьютеривается»; его диаметрально противоположные состояния — Метакомпьютер и Метагалактика. В стадии «одухотворения» основой материальных процессов является информатика; физика у нее на посылах делает то, чего требует «компьютерная тотальность» Вселенной; субстрат этого «космического мышления» принимает в итоге взрывную форму, ибо материальная основа мышления, меняя конфигурацию, становится все менее стабильной, и наконец ТО, ЧЕМ мыслил Метакомпьютер, взрывается, а на его месте остается — в виде разрушающегося сверхоблака из огненных остатков — Метагалактика; присутствие в глубинах «бездушной» стадии разумных существ объясняется как бы мимоходом: это реликты, «остатки», «отбросы» предшествующей стадии. «Помыслив то, инобытием чего является субстрат мышления, Целое разрывается, разбегаюсь туманностями, которые, возвращаясь и снова сжимаясь, опять создают гранулат возрождающегося Метакомпьютера, и пульсация «Дух — Бездушность» (материи, организующейся в мышление, и мышления, распадающегося в материю) может продолжаться неограниченно долго». Другие варианты этой «ноопульсационной» теории читатель найдет в VI главе Приложения.

По-видимому, к бит-юмористике следует причислить ги-

потезу, согласно которой Вселенная выглядит именно так, а не иначе, поскольку действующие во всех галактиках астроинженеры пытаются «переждать этот Космос» — разгоняя массы или какие-то транспортные средства до световой скорости. В соответствии с релятивистским эффектом тело, движущееся с такой скоростью, может за время, которое в нем самом равняется земным месяцам, «переждать» миллиарды лет; так что колоссальные выбросы в виде квазаров, пульсаров, туманностей — результат усилий астроинженеров, пробующих «перескочить» из нынешней фазы Универсума в следующую. Эта «транспортно-темпоральная» деятельность имеет целью «трансцендировать» нынешний Космос (как видно, в расчете на то, что следующая фаза окажется более благоприятной для колонизации). Обзором таких гипотез завершается новый, пятый том «Истории бит-литературы».

Ekstelopedia Vestranda

W 44 MAGNETOMACH

**VESTRAND BOOKS CO.
NEW YORK — LONDON — MELBOURNE
MMXI**

**ЭКСТЕЛОПЕДИЯ ВЕСТРАНДА
в 44-х Магнитомах**

ПРОКЛАМАНКА

Издательство ВЕСТРАНД счастливо предложить Вам, Дорогой (-ая) Читатель (-ница), Подписку на

САМУЮ БУДУЩНОСТНУЮ

из всех когда-либо вышедших в свет Экстелопедий. Если в повседневной текучке Вы не успели еще узнать, что такое

Экстелопедия, мы Вам охотно поможем. Традиционные энциклопедии, вошедшие во всеобщее употребление два века тому назад, в семидесятые годы вступили в эпоху Глубокого Кризиса: их содержание устаревало уже на типографском станке. Апцик, то есть автоматизация производственного цикла, не оправдала ожиданий, поскольку невозможно свести к нулю время, необходимое экспертам — авторам Статей. Отставание новейших энциклопедий от жизни возрастало с каждым годом; попадая на книжные полки, они сохраняли разве что историческую ценность. Многие Издатели пытались помочь делу публикацией ежегодных, а потом и ежеквартальных Дополнений, но вскоре Дополнения стали превосходить размерами Основное Издание. Очевидная невозможность поспеть за Ускоренным Ходом Цивилизации заставила глубоко призадуматься Издателей вкупе с Авторами.

Так появилась Первая Дельфиклопедия, то есть Энциклопедия, содержание которой относилось к Будущему. Но Дельфиклопедия создается так называемым Дельфийским Методом, а попросту говоря, голосованием Полномочных Экспертов. Поскольку же их мнения совпадают отнюдь не всегда, первые Дельфиклопедии состояли из Статей, напечатанных в двух вариантах: согласно мнению Большинства и Меньшинства Экспертов, или выходили в двух модификациях (Максиклопедия и Миниклопедия). Читатели, однако, встретили новшество с неодобрением, а известный физик, нобелевский лауреат проф. Куценгер, выразил это неодобрение в весьма резкой форме, заявив, что публику интересует Существо Дела, а не Склоки Специалистов. И лишь благодаря инициативе Издательства Вестранд положение кардинально изменилось к лучшему.

Экстелопедия, которую мы предлагаем Вам в 44-х небольших Магнитах, оправленных в Неизменно Теплую Девичью Псевдокожу «Виргинал», самовысовывающихся с полки на голос Владельца (-лицы), самоперелистывающихся и самоостанавливающихся на нужном месте, содержит 69 500 будущностных статей, написанных доступно, но со всей возможной точностью. В отличие от Дельфи-, Макси- и Миниклопедии

ЭКСТЕЛОПЕДИЯ ВЕСТРАНДА

создавалась БЕЗЛЮДНО, а значит, БЕЗЛЯПСУСНО восемнадцатью тысячами наших КОМФЬЮТЕРОВ (футурологических компьютеров).

За Статьями Экстелопедии Вестранда кроется целый Космос Восьмисот Гигатриллионов Сема-цифровых Операций, которые выполнили в Комурбии нашего Издательства ПОБАСИНКИ — Полевые Батарей Сверхмощной Инфракалиберной Интеллерии.

Координировал их работу наш СУПЕРПЬЮТЕР — электронное воплощение Мифа о Супермене, обошедшееся нам в двести восемнадцать миллионов двадцать шесть тысяч триста долларов в ценах прошлого года. ЭКСТЕЛОПЕДИЯ — это сокращение слов Экстраполяционная Телеономическая Энциклопедия, иначе говоря, ПРИПРЭНЦИК (Прицельное Прогнозирование Энциклопедий) с Максимальным опережением во времени.

Чем отличается наша Экстелопедия?

Тем, что она — Наиболее Доношенное Детище Прафутурологии, почтенной, хотя и примитивной Дисциплины, возникшей в конце XX века. Экстелопедия сообщает сведения об Истории, которая еще только будет, то есть о **ВСЕОБЩЕЙ БУСТОРИИ**, о делах Космономических, Косматических и Космолицейских, обо всем, что будет **ПОХИЩАТЬСЯ** и **УГОНЯТЬСЯ**, а также **С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ** и **С КАКИХ ПОЗИЦИЙ**, о Новых Великих Открытиях Науки и Техники, особо выделяя те, что таят наибольшую угрозу для Вас лично, Дорогой (-ая) Читатель (-ница), об Эволюции Верований и Вероисповеданий (в частности, в статье **ФУТУРЕЛИГИИ**), а равно о 65 760 иных Вопросах и Проблемах. Любителей Спорта, которых так угнетает Непредсказуемость Результатов во всех дисциплинах, Экстелопедия оградит от напрасных волнений и безудержного ликования, в т.ч. по поводу легкоатлетических и эротлетических состязаний, — если они подписут

чрезвычайно выгодный купон,
приложенный к настоящей Прокламанке¹.

В самом ли деле Экстелопедия Вестранда сообщает Правдивые и Полные сведения? Как вытекает из исследований МИТа, МАТа и МУТа, объединенных в СОПИНТе (Совет по Интеллектронике США), оба предыдущих издания нашей Экстелопедии содержали отклонения от Фактических Состо-

¹ Прокламанка — см. «Пробный лист Экстелопедии», бесплатно рассылающийся вместе с этим проспектом.

яний в границах 8,05—9,008% на букву. Но наше последнее, САМОЕ БУДУЩНОСТНОЕ издание с вероятностью 99,0879% окажется в Самой Сердцевине Грядущего.

Откуда такая точность?

Почему Вы можете столь безусловно доверять этому изданию? Потому что оно появилось на свет благодаря двум — примененным впервые в истории человечества — Абсолютно Новым Методам Зондирования Будущего, а именно: СУПЛЕКСНОМУ и КРЕТИЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ.

СУПЛЕКСНЫЙ, или Суперкомплексный, Метод восходит к процедуре, при помощи которой Машинная Программа Мак Шлак Брак побила в 1983 году

ВЕЛИЧАЙШИХ ШАХМАТНЫХ МАЭСТРО ЗЕМЛИ

разом, вместе с Бобби Фишером, дав им в Сеансе Одновременной Игры 18 матов на грамм, калорию, сантиметр и секунду. Впоследствии Программа эта была тысячекратно усилена и подвергнута Экстраполяционной Адаптации, благодаря чему она способна не только ПРЕДВИДЕТЬ, ЧТО СЛУЧИТСЯ, если ЧТО-ТО случится, но, кроме того, точно предсказывает, что случится, если ТО ни капельки не случится, то есть вовсе не произойдет.

ДО СИХ ПОР Предикторы работали только на ПОЗИПОТАХ — Позитивных Потенциях (то есть учитывая Возможность Осуществления Чего-либо). Наша Новая СУПЛЕКСНАЯ Программа работает еще и на НЕГАПОТАХ — Негативных Потенциях. Другими словами, она учитывает то, что, по убеждению ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ, ПРОИЗОЙТИ НАВЕРНЯКА НЕ МОЖЕТ. А, как известно, *соль* будущего содержится именно в том, что, по мнению экспертов, НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ.

ИМЕННО ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ!!!

Однако, чтобы подвергнуть полученный Суплексным Методом результат перекрестному контролю (КРЕЩЕНИЮ, или КРЕСТИНАМ), мы, невзирая на Колоссальные Расходы, применили другой, также АБСОЛЮТНО новый метод — ФУТУЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ Экстраполяцию.

Двадцать шесть наших КОМФЬЮЛИНТОВ (Лингвистических Комфьютеров, сопряженных в одну общую сеть, или обсетьственных), исходя из анализа тенденций развития, т.е. трендов с индетерминированным градиентом (Тренден-

дерентов), создали ДВЕ ТЫСЯЧИ наречий, диалектов, жаргонов, сленгов, номенклатур и грамматик будущего.

Что означает этот впечатляющий результат? Ни больше ни меньше как создание **ВСЕМИРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ БАЗЫ ПОСЛЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТОГО ГОДА**. Попросту говоря, наш **КОМПЬЮПОЛИС**, или Компьютерград, содержащий 1720 Единиц Интеллекта на кубический миллиметр псиномассы (Психосинтетической Массы), смоделировал слова, предложения, синтаксис и грамматику (и, конечно, значения) Языков, на которых человечество будет говорить в Грядущем.

Разумеется, знание языка, при помощи которого люди будут объясняться друг с другом, а также с машинами 10, 20 или 30 лет спустя, недостаточно, чтобы узнать, О ЧЕМ они будут беседовать чаще всего и охотней всего. А это и есть самое главное, ведь человеку свойственно СПЕРВА говорить, а уж ПОТОМ думать и делать. Причиной ущербности всех прежних попыток построения Языковой Футурологии, или Прогнолингвистики, была **ЛОЖНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ** процедур: ученые неявно предполагали, что в Грядущем люди будут вести **ОДНИ ЛИШЬ РАЗУМНЫЕ РАЗГОВОРЫ** и соответственно этому поступать.

Между тем исследования показали, что люди говорят **ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГЛУПОСТИ**. И вот, чтобы имитировать — путем Экстраполяции более чем на четверть века вперед

ТИПИЧНО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗЪЯСНЯТЬСЯ,

нами были сконструированы **ИДИОМАТЫ** и **КОМДЕБИЛЫ (ФУТУПИЦЫ)**, то есть Идиоматические Автоматы и халтурящие Компьютеры-Дебилы; они-то и создали **ПАРАДЕ-ГЕНЕРАТИКУ**, или паралогическую дескриптивно-генеративную грамматику Языка Будущего.

На ее основе Контрольные Будоязы, Лингвисторы и Шизоматы сконструировали 118 Подъязыков (диалектов, жаргонов, сленгов), таких как **СПЛЕТНЕКС**, **БАЛТАН**, **БАРМАТАН**, **БРЕДД**, **БАЛАБОЛЛ**, **ЗАВИРАКС**, **ТРЕПАКС** и **КРЕТИНАКС**. В конце концов на их базе возникла **КРЕТИЛИНГВИСТИКА**, позволившая реализовать программу «**КРЕЩЕНИЕ**». В частности, стало возможным выполнение Интимных Прогнозов в области Футэротики (например, относительно некоторых подробностей сожителства людей с арторгами и аморгами на любодейнях и девиальнях по ме-

тоту безгравитационной сексонавтики: орбитальной, марсианской и венерической). Добиться этого удалось благодаря таким языкам программирования, как ЭРОТИГЛОМ, РЕЧЕБЛУД и ПРЕЛЮБ.

Но и это еще не все! Наши КОНТРФЬЮТЕРЫ, или Контрольно-Футурологические компьютеры, наложили друг на друга результаты КРЕТИЛИНГВИСТИЧЕСКОГО и СУПЛЕКСНОГО Методов, и лишь после считывания трехсот Гигабитов Информации появился на свет КЭКС, то есть Корректор Эмбриона Экстелопедии.

Почему ЭМБРИОНА? Потому что эта версия Экстелопедии была абсолютно НЕПОНЯТНА для всех ныне живущих, включая нобелевских лауреатов.

Почему НЕПОНЯТНА? Да потому, что ТЕКСТ Эмбриона изложен на языке, на котором СЕГОДНЯ НИКТО ЕЩЕ НЕ ГОВОРИТ и которого, следовательно, НИКТО ЕЩЕ ПОНЯТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ. И лишь усилиями восьмидесяти наших РЕТРОЛИНТЕРОВ удалось перевести на современный язык сенсационные сведения, в оригинале запечатленные на языке, который грядет.

Как пользоваться Экстелопедией Вестранда?

Вы размещаете ее на Удобном Стеллаже, который поставляется за небольшую дополнительную плату. Затем, расположившись не ближе чем в двух шагах от полок, спокойно, отчетливо и не слишком громко называете нужную статью. После чего соответствующий Магнитом, самоперелиставшись, послушно соскакивает прямо в Вашу вытянутую правую руку. Достоуважаемых ЛЕВШЕЙ убедительно просим поупражняться в вытягивании ИМЕННО правой руки, поскольку в противном случае Магнитом может отклониться от заданной траектории и поразить — хотя и НЕЧУВСТВИТЕЛЬНО — говорящего или Посторонних Особ.

Статьи печатаются в ДВА ЦВЕТА. ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ указывает, что ВЕРКОВИРТ (вероятный коэффициент виртуальности) статьи превышает 99,9%. Это, выражаясь популярно, ВЕРНЯК.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ означает, что Верковирт менее 86,5% и ввиду столь неудовлетворительного положения вещей ВЕСЬ ТЕКСТ каждой такой статьи находится в Непрерывном Телекоммуникационном (гологнстическом) Контакте с Главной Редакцией Экстелопедии Вестранда. Как только наши Будоязы, Фразопеленгаторы и Бредакторы, неустанно отслеживающие грядущее, получают новый ДОСТОВЕР-

НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, текст СТАТЬИ, напечатанной **КРАСНЫМ**, немедленно **САМОКОРРЕКТИРУЕТСЯ** (реаптируется). За осуществляемые таким **ТЕЛЕКАНАЛЬНЫМ**, **МОМЕНТАЛЬНЫМ** и **ОПТИМАЛЬНЫМ** способом улучшения Издательство Вестранд

НЕ ТРЕБУЕТ

какой-либо дополнительной оплаты от Достоуважаемых Подписчиков!

В крайнем случае (Верковирт которого составляет менее 0,9%) возможно **СКАЧКООБРАЗНОЕ** изменение **ТЕКСТА НАСТОЯЩЕГО ПРОСПЕКТА**. Если при чтении слова вдруг начнут прыгать у Вас перед глазами, а буквы — подрагивать и разбегаться, следует прервать чтение на 10 — 12 секунд, протереть очки, проверить состояние Вашего гардероба и так далее, и затем читать **СНОВА**, с самого начала, а **НЕ ТОЛЬКО** с того места, на котором Вы остановились, поскольку указанное **ПОДРАГИВАНИЕ** означает не что иное, как совершающуюся на Ваших глазах коррекцию **НЕДОЧЕТОВ**.

Если же начнет меняться (мерцать или расплываться) **ТОЛЬКО** приводимая ниже **ЦЕНА** Экстелопедии Вестранда, то читать **ВЕСЬ ПРОСПЕКТ** снова **НЕ СЛЕДУЕТ**, ибо это изменение затрагивает исключительно

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ,

каковые — ввиду прекрасно известного Вам положения мировой экономики — прогнозировать более чем с 24-минутным опережением, увы, невозможно.

Сказанное выше относится также к полному набору иллюстративных и справочных материалов Экстелопедии Вестранда. В этот набор входят Телеуправляемые, Самодвижущиеся, Осязаемые и Вкусотронные Иллюстрации, а кроме того, футуробы и самострои (самоконструирующиеся агрегаты), доставляемые нами вместе со стеллажом и полным комплектом Магнитомов в элегантном Чемоданчике-Контейнере. По Вашему желанию, Дорогой Читатель (-ница), мы можем запрограммировать всю контейнизированную Экстелопедию так, что она будет слушаться **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** Голоса Хозяина (-йки).

В случае потери голоса, хрипоты и т.п. настоятельно просим Вас обращаться в ближайшее Представительство Издательства Вестранд, которое незамедлительно поспешит Вам на помощь. Наше Издательство разрабатывает новые, рос-

кошные Модификации Экстелопедии, как-то: Самочитающуюся на три голоса (мужской, женский, среднего рода) и два регистра (сухой — ласковый); модель Ультра-люкс, гарантирующую от всевозможных Помех Приему, чинимых Посторонними (например, Конкуренцией), и оборудованную Мини-Баром с небольшой Буяльней; наконец, ЖЕСТИКЛОПЕДИЮ, предназначенную для иностранцев и излагающую содержание статей НА ПАЛЬЦАХ. Цена этих Специальных Моделей составит, по всей вероятности, от 140 до 290% цены основного издания.

Vestranda Ekstelopedia

ARKUSZ PRÓBNY

gratis!

VESTRAND BOOKS
NY — LONDON — MELBOURNE

ВЕСТРАНДА ЭКСТЕЛОПЕДИЯ

ПРОБНЫЙ ЛИСТ

ПРОВЕССОР, или **ЦИФРОВИК**, или **ДИКОС** (Дидактический компьютер со степенью), — устройство для обучения и проверки знаний студентов, допущенное в высшие учебные заведения СОПИНТом (Советом по Интеллектронике США). См. также: **БРОНЕВИК** (бронированный цифровик, способный в течение длительного времени выдерживать оппозиц. деятельность обучаемых), **ПРОТИВОСТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАЩИТА**, **БОЕВЫЕ СРЕДСТВА**. Аналогичные фун-

кции выполнял некогда человек — т.н. ПРОФЕССОР (неупотр.).

ПРОГНОСТВОЛКА — прогнозируемая двустволка, охотничье ружье будущего. См.: ОХОТА, а также СИНТОМАХИЯ.

ПРОДОКСЫ, или ПРОГНОДОКСЫ, — парадоксы прогнозирования. К важнейшим П. относятся продокс А. Рюммельгана, продокс М. де ла Фаянса и метаязыковый продокс Голема (см.: ГОЛЕМ).

1. *Продокс Рюммельгана* связан с проблемой преодоления т.н. предсказательного барьера. Как доказал Т. Глэйлер и независимо от него У. Бусть, предсказание будущего упирается в секулярный барьер (называемый также серьером или прерьером). За этим барьером достоверность прогноза становится отрицательной: что бы ни случилось, наверняка случится иначе, чем по прогнозу должно случиться. Рюммельган предложил обойти упомянутый выше барьер при помощи хронопроникающей эксформатики. В ее основу положена гипотеза о существовании изотем (см.: ИЗОТЕМА) — линий, проходящих в семантическом пространстве через все тематически идентичные публикации (подобно тому как в физике ИЗОТЕРМА — линия, проходящая через точки с одинаковой температурой, а в космологии ИЗОПСИХА — линия, проходящая через все цивилизации одинакового уровня развития, и т.п.). Зная, как проходит изотема в настоящее время, можно экстраполировать ее продвижение в семантическом пространстве без каких-либо ограничений. Рюммельгану при помощи метода, названного им «лестницей Иакова», удалось обнаружить работы по прогностической тематике, проходившие вдоль такой изотемы. Он действовал поэтапно: сначала предсказывал содержание ближайшей по хронологии работы, затем, исходя из ее содержания, прогнозировал следующую публикацию. Так, шаг за шагом он обошел барьер Глэйлера и получил данные о состоянии Америки в 10^{10} году. Мулеман и Цук усомнились в достоверности этого прогноза, заметив, что к 10^{10} году Солнце превратится в Красный Гигант (см.) и расширится далеко за пределы земной орбиты. Но продокс Рюммельгана в собственном смысле заключается в том, что ход изотемы прослеживается одинаково успешно как в прямом, так и в обратном направлении. Действительно, Варбле, взяв за основу рюммельгановскую методику хронопроникновения, получил данные о содержании футурологических публикаций 200-тысячелетней давности, то есть плейстоценовой

эпохи четвертичного периода, а также каменноугольного периода (карбона) и археозойской эры. Между тем, как подчеркнул Т.Врөдель, 200 тысяч, 150 миллионов и миллиард лет тому назад не было ни печати, ни книг, ни человечества. Для объяснения парадокса Рюммельгана предложены две гипотезы: А. Согласно Омфалидесу, тексты, которые удалось ретродуцировать, хотя и не появились, но могли бы появиться, если бы в соответствующее время было кому их писать и издавать. Это т.н. гипотеза ВИРТУАЛЬНОСТИ ИЗОТЕМАТИЧЕСКОГО РЕТРОГНОЗА (см.); Б. Согласно д'Артаньяну (коллективный псевдоним группы французских рефутологов), аксиоматика эксформатики содержит в себе такие же непреодолимые противоречия, что и классическая теория Кантора (см.: ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ КЛАССИЧЕСКАЯ).

2. *Парадокс де ла Фаянса* также относится к изотематическому прогнозированию. Этот исследователь обратил внимание на то, что если сегодня благодаря хронопроникающему слежению публикуется текст работы, которая должна впервые появиться лишь через 50 или 100 лет, то тем самым эта работа уже не сможет появиться впервые.

3. *Метаязыковой парадокс Голема*; известен также как автостратический парадокс. Согласно новейшим историческим исследованиям, храм Артемиды в Эфесе сжег не Герострат, а Гетерострат. Это лицо сожгло нечто *вне себя*, то есть нечто *иное*; отсюда его имя (ср. греч. «гетерос» — иной). В таком случае Автострат — это тот, кто уничтожает сам себя (самоутрачивается). К сожалению, только этот фрагмент парадокса Голема и удалось перевести пока на общепонятный язык. Все остальное в виде следующего высказывания:

$$\begin{aligned} & \text{Xi} \cdot \text{viplu} \text{ (a + ququ 0,0)} \\ & \text{e} \cdot \text{l} + \text{m} \cdot \text{el} + \text{edu} - \text{d} \cdot \text{qi} \end{aligned}$$

принципиально непереводаемо на этнические языки, а также на любые языки математического и формально-логического типа. (Как раз в этой непереводаемости и заключается парадокс Голема. См. также: МЕТАЯЗЫКИ и ПРОЛИСТИКА.) Существует несколько сот различных интерпретаций парадокса Голема; наиболее известно толкование Т.Врөделя, одного из величайших математиков современности. Согласно Врөделю, парадокс Голема состоит в том, что парадоксом он является лишь для людей, а не для самого Голема. В таком случае это первый из известных к настоящему времени парадоксов, релятивизированных (отнесенных) к интеллекту-

альной мощности познающего субъекта. Связанные с этим вопросы наиболее полно рассмотрены в труде Врёделя «Общая теория относительности продокса Голема» (Гёттинген, 2075).

ПРОКЛАМАНКА — рекламный проспект (приманка) основанный на предвидении состояния рынка. П. бывают гражданские (**ПРОШТАФИРКИ**) и военные (**ПРОВОЕНКИ**). 1. **ПРОШТАФИРКИ** делятся на **ЗАПЯТКИ** (товар предлагается покупателю за 5 лет до его появления на рынке), **ЧЕТВЕРТУШКИ**, **ПОЛУШКИ** и **СТОЛЕШНИЦЫ** — с четвертьвековым, полувекowym и столетним опережением во времени. Инфильтрация конкуренции, или **ИНФУРЕНЦИЯ** (см.), выражающаяся обычно в нелегальном подключении к общественной промпьютерной сети (см.: **СЕТЬ ПРОМПЬЮТЕРНАЯ**), превращает проштафирки в **ПРОБОЛТАНКИ** и **ПРИКАРМАНКИ** (см.), то есть саморазоряющие прогнозы. См. также: **ИНФУРЕНЦИОННАЯ БАНКРУТУЦИЯ**, **ПРОГНОЛИЗ**, **ПРОГНОКЛАЗИЯ**, **ЭКРАНИРОВАНИЕ ПРОГНОЗОВ** и **КОНТРПРОГНОЗИРОВАНИЕ**. 2. **ПРОВОЕНКИ** основаны на предвидении эволюции боевых средств (hardware) и военной мысли (software). Для составления провоенок используется алгебра конфликтных структур (см.. **АЛГОСТРАТИКА**). Секретные провоенки, или **СЕКРЕТАРКИ**, не следует смешивать с прогнозированием секретных боевых средств (см.: **ТАЙНОПОРАЖАЮЩЕЕ ОРУЖИЕ**) Тайным прогнозированием тайного оружия занимается **СЕКРОСЕКРЕТИКА** (см.).

ПРОЛИСТИКА, или **ПРОГНОЛИНГВИСТИКА**, — дисциплина, занимающаяся прогностическим конструированием языков будущего. Это возможно благодаря анализу инфосемических градиентов развития существующих языков, а также благодаря генеративным грамматикам и словородильням, созданным школой Цыбулина—Чесноцци (см.: **ГЕНЕРАТИКА** и **СЛОВОРОДИЛЬНИ**). Люди не в состоянии сами прогнозировать языки будущего; этим в рамках проекта **ПРОЛИНЭ** (прогнозирование лингвистической эволюции) занимаются **СЛОВОЛОКАТОРЫ** (см.) и **ФРАЗОПЕЛЕНГАТОРЫ** (см.), представляющие собой **ГИПЕРПЬЮТЕРЫ** (см.), т.е. компьютеры 82-го поколения, подключенные к **ГЛОБОСЛОВУ** — глобальной эксформационной сети с ее филиалами на внутренних планетах.— **ИНТЕРПЛАНАМИ** (от **INTERFACIES PLANETARIS**) и спутниковой памятью (см.). Поэтому ни **ТЕОРИЯ ПРОГНОЛИНГВИСТИКИ** (см.), ни плоды ее — **МЕТАЯЗЫКИ** (см.) — недоступны че-

ловеческому разуму. Тем не менее благодаря ПРОЛИНЭ можно генерировать какие угодно высказывания на языке сколь угодно отдаленного будущего и некоторые из них при помощи РЕТРОЛИНТЕРОВ переводить на удобопонятный язык, извлекая из полученных сведений практическую пользу. Согласно школе Цыбулина—Чесноцци (некоторые идеи которой предвосхитил в XX веке Н.Хомский), главным законом лингвоэволюции является эффект Амблийона — образование новых понятий путем стягивания развернутых высказываний в понятийные узлы. Так, напр., высказывание: «Административное, торговое или культурно-развлекательное заведение, внутрь которого можно въехать на автомобиле либо ином средстве передвижения и воспользоваться его услугами, не выходя из машины» — в процессе развития языка стягивается в одно слово «въех» (drive in). Благодаря тому же контаминационному механизму высказывание: «Поскольку релятивистские эффекты не позволяют установить, что происходит в данный момент на планете Икс, удаленной от Земли на N световых лет, Министерство Внеземных Дел в своей космической политике вынуждено исходить не из реальных инопланетных событий (ибо таковые принципиально недоступны наблюдению), а из гипотетической истории этих планет, моделированием которой занимаются службы внеземного слежения и постижения, т. н. СКОРОПОСТИЖНИКИ» — мы заменяем словом «чуделировать». Слово это (а также его производные, такие как чуделятор, чудило, чудик, чудировать, чудесить, чудронить, чудрить и т.п. — всего насчитывается 519 дериватов) возникло в результате стягивания определенной понятийной сети в узел. И «въех», и «чуделировать» — слова современного языка, который в прогнолингвистической иерархии относится к нулевому уровню (нуль-язык). Над нуль-языком надстраиваются следующие уровни: МЕТАЯЗЫК-1, МЕТАЯЗЫК-2 и т.д., причем неизвестно, имеет ли этот ряд предел или продолжается в бесконечность. Весь текст настоящей статьи Экстелопедии («ПРОЛИСТИКА») в МЕТАЯЗЫКЕ-2 выглядит так: «Оптимальник в эн-пинайдке завсклизуется в эн-те-синклюдоду». Как видим, в принципе любое высказывание на любом метаязыке имеет соответствие в нашем нуль-языке. Иначе говоря, между разными уровнями нет провалов, принципиально непреодолимых межметаязыково. Однако, в то время как любое нуль-языковое высказывание имеет свое более сжатое соответствие в метаязыке, обратная зависимость практически не наблюдается. Так, напр., взятое из МЕТАЯЗЫКА-3 (ко-

тором гл. обр. пользуется ГОЛЕМ) высказывание: «Вывехнутый удушематик фита пренцик аⁿ тренцик в космушке» — нельзя перевести на современный этнический язык (нуль-язык) по той причине, что время его произнесения превысило бы длительность человеческой жизни. (По оценке Цыбулина, на это потребовалось бы 135±4 лет.) И хотя речь идет не о принципиальной, а всего лишь о практической непереводемости, связанной с продолжительностью процедуры, неизвестно, каким образом можно ее сократить, и результаты метаязыковых операций мы получаем лишь косвенным путем — благодаря компьютерам 80-го и следующих поколений. Существование барьеров между метаязыками Т.Врёдель объясняет эффектом порочного круга: чтобы *стянуть* пространное определение чего-то в узел, нужно сперва понять это *что-то*; но если понять его можно только через определение столь пространное, что для его усвоения не хватит и жизни, операция редукции становится невыполнимой. Согласно Врёделю, прогнолингвистика, своим существованием обязанная посредничеству машин, вышла далеко за рамки первоначальных целей. Ведь языками, которые она прогнозирует, люди не смогут воспользоваться никогда, если только не переделают начисто свои головы в ходе автоэволюции. Что же такое метаязыки? Однозначного ответа пока нет. Голем, исследуя граничные возможности лингвоэволюции путем «зондирования под потолок», т.е. в направлении градиента лингвоэволюции, обнаружил 18 доступных ему метаязыковых уровней, а косвенным образом — еще пять уровней, для моделирования которых информационная емкость суперкомпьютера оказалась недостаточной. Быть может, существуют метаязыки столь высоких уровней, что всей материи космоса не хватит для создания системы, которая могла бы этими языками пользоваться. Но тогда в каком смысле можно говорить об их существовании? Это одна из наиболее трудных проблем, с которыми пришлось столкнуться в ходе прогнолингвистических исследований. Одно лишь не подлежит сомнению — многовековой спор о превосходстве человеческого разума можно считать законченным. Венцом творения его уже никто не назовет: конструирование метаязыков само по себе свидетельствует о возможности существования организмов (или систем), превосходящих Homo sapiens разумом. См.: ПСИХОСИНТЕЗ, МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ПОТОЛКИ, ТЕОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, МЕТАЯЗЫКОВЫЙ ГРАДИЕНТ, КРЕДО Т.ВРЁДЕЛЯ, ПОНЯТИЙНЫЕ СЕТИ.

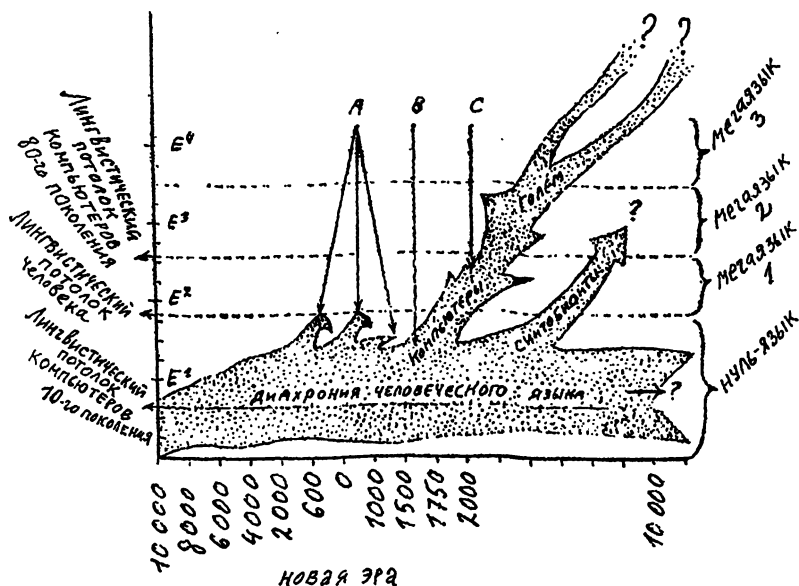
Таблица LXXIX

Воспроизведение статьи «МАМА»
из словаря Нуль-языка 2190±5 года
(по Цыбулину и Курдлебье)

МАМА, существ., ж.р. 1. Мина атомная малогабаритная, или мини-А-мина, оружие нелег. пр-ва, примен. гл. обр. похит., террор, маф., гангст., нарком., психоп., ультрарадик., банд., шантаж., извращ. и др. МАМАН, мама нейтрин. излучения. МАМКА, мама карман. формата. МАМАША, мама в шарообразной радиоактив. оболочке, многократно увеличивающей мощность поражения. МАМУЛИК, мамаша в оболочке из изотопов урана, лития и калия (U, Li, K), обеспечивает длительное заражение местности в радиусе 1 мили. МАМУНЦИЯ, мама, мощность поражения к-й соответствует 1 унции урана (U^{235}). МАМУСИК, мама, управляемая на расстоянии, снабжена антенной в виде небольших усиков. 2. Женщина, родившая ребенка (уменьшит., неупотр.).

Таблица LXXX

Наглядный график¹ лингвистической эволюции по Врёделю и Цыбулину



Пояснение: На оси абсцисс указано время в тысячелетиях; на оси ординат — концептуальная емкость в битах в секунду на 1 сем артикуляционного потока (в единицах эпсилон-пространства).

- А. Онтологические попытки, достигающие потолка нуль-языка.
- В. Возникновение компьютеров 1-го поколения.
- С. Возникновение компьютеров 80-го поколения.

¹ Не прогноз!

ПРОНОС (PROGNORRHOEA), или прогностический понос, — детская болезнь футурологии XX века (см.: ПРАПРОГНОСТИКА), привела к растворению существенных прогнозов в несущественных вследствие ДЕКАТЕГОРИЗАЦИИ (см.) и породила т.н. чистый прогностический шум. См. также: ШУМЫ, ПОМЕХИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ.

ПРОПИЛЕПСИЯ, или ПРОПАДУЧАЯ, — теория и технология пропадания; откр. в 1998 г., впервые применена в 2008 г. Технология пропадания основана на использовании ТУННЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА (см.) в черных дырах Космоса. Как установили Джипс, Хэймон и Уост в 2001 г., Космос состоит из Параверсума и Негаверсума, отрицательно сопряженных с Реверсумом. Поэтому Вселенная в целом называется ПОЛИВЕРСУМОМ (см.), а не УНИВЕРСУМОМ (см.), как прежде. Пропилепторные системы позволяют перемещать любые тела из нашего Параверсума в Негаверсум. Пропадучая техника используется для устранения мусора и прочих отходов жизнедеятельности цивилизации (см.: АНТИПОЛЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ). В 2019 г. в Уганде П. применялась в целях КСЕНОЛЕПСИИ (см.), т.е. для устранения нежелательных иностранцев. Ксенолепсия запрещена специальной резолюцией ООН. См. также: ПАРАГУРГИТАЦИЯ, НЕГАВЕРТЮРА, АПОЛЕПСИЯ, ВЫКИДОНСТВО.

ПРОПИЛЕПТИК (ПРОПАДЕЙ) — физическое или юридическое лицо, необратимо устраненное из Реверсума с применением пропадательной технологии.

ПРОПОЛИП (см. также: ПРОЛИПУЧКА) — липкая паства, затрудняющая применение технологии пропадания по отношению к каким-либо лицам или телам.

ПРОПОРТАЛ, или НЕВИДЫРЬ, — отверстие отрицательной (субнулевой) величины на стыке Параверсума и Негаверсума. Частным лицам иметь и использовать П. запрещено. См. также: ПРОПОРТКИ, ДЕЯНИРЫ, РУБАХА, МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРОПАДУЧИЙ РАЗВОД, МИНУС-МИНИВЫКИДЫШ.

ПРОПОРТИК — пропадучий портик, см.: НУЛЬ-АРХИТЕКТУРА, ДЕЗУРБАНИСТИКА, а также СЕМЕЙНЫЕ НЕВИДОМИКИ.

ПРОПОРТКИ — односторонние брюки Мёбиуса, см.: КВАНТОВО-ТОННЕЛЬНЫЕ КРОЙКА И ШИТЬЕ.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PRESENTS

GOLEM XIV

FOREWORD BY
IRVING T. CREVE, M.A., PH.D.
AND
THOMAS B. FULLER II, GENERAL US ARMY, RET

MIT PRESS
2029

ГОЛЕМ XIV

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уловить исторический миг, в который счеты обзавелись разумом, не легче, чем миг, когда обезьяна превратилась в человека. И все же от той минуты, когда Ванневар Буш создал анализатор дифференциальных уравнений, положивший начало бурному развитию электроники, нас отделяет вре-

мя всего лишь одной человеческой жизни. Построенный позже, на исходе второй мировой войны, ЭНИАК стал первым устройством, прозванным — до чего преждевременно! — «электронным мозгом». На самом деле ЭНИАК был компьютером, а если примерить его к Дереву Жизни — примитивным нервным узлом — ганглием. Но именно с него историки начинают отсчет эпохи компьютеризации. В пятидесятые годы XX века появился большой спрос на цифровые машины. Одним из первых начал их массовое производство концерн IBM.

Эти устройства имели немного общего с процессами мышления. Они занимались обработкой данных — в области экономики и крупного бизнеса, государственного управления и науки. Вошли они и в сферу политики: уже первые образцы использовались для предсказания результатов президентских выборов. Примерно в то же время «РЭНД корпорейшн» заинтересовала руководство Пентагона возможностью прогнозировать военно-политическую обстановку в мире при помощи «сценариев возможных событий». Отсюда был один только шаг до более надежных методик, таких, как СИМА*, на базе которых спустя два десятилетия возникла прикладная алгебра возможных событий, названная (впрочем, не слишком удачно) политикоматикой. Компьютер выступил и в роли Кассандры, когда в Массачусетском технологическом институте стали разрабатывать первые формальные модели земной цивилизации, в рамках пресловутого проекта «The Limits of Growth»**. Но не эта ветвь компьютерной эволюции оказалась главенствующей на исходе столетия. Армия использовала цифровые машины еще с конца второй мировой войны в соответствии с системой военно-стратегического планирования, опробованной на театрах военных действий. На стратегическом уровне решения по-прежнему принимались людьми, но задачи второстепенные, менее важные, нередко передоверялись компьютерам, которые все шире включались в систему обороны Соединенных Штатов.

Они составляли нервные узлы континентальной сети раннего оповещения. Такие сети стремительно устаревали технически. На смену первой из них — CONELRAD — при-

* Cross Impact Matrix Analysis — перекрестный импульсный матричный анализ (англ.).

** «Пределы роста» (англ.).

ходили все более совершенные варианты сети EWAS — Early Warning System*. Основой оборонительного и атакующего потенциала служила система мобильных (подводных) и стационарных (подземных) баллистических ракет с термоядерными боеголовками и кругообразная система радио- и гидролокационных баз, а вычислительные машины служили звеньями коммуникации, то есть осуществляли чисто исполнительские функции.

Автоматизация входила в жизнь Америки широким фронтом, сначала «снизу», в сфере услуг, не требующих особой интеллектуальной активности и потому легко поддающихся автоматизации (банковские, транспортные, гостиничные услуги). Военные компьютеры решали строго ограниченные задачи: поиск целей для комбинированного ядерного удара, обработка данных спутникового слежения, оптимизация передвижения флотов и корректировка орбит тяжелых военных спутников MOL (Military Orbital Laboratory**).

Как и следовало ожидать, область, в которой право принятия решений препоручалось автоматическим системам, все расширялась. Это было естественным следствием гонки вооружений, но и последовавшая затем разрядка не привела к сокращению инвестиций в интеллектронику: замораживание термоядерных вооружений высвободило значительные средства, от которых Пентагон после окончания вьетнамской войны не собирался полностью отказываться. Но и тогда компьютеры (десятого, одиннадцатого и, наконец, двенадцатого поколения) превосходили человека лишь быстротой выполнения операций. Становилось все очевиднее, что именно человек — тот элемент оборонительных систем, который замедляет их действие.

Не удивительно, что среди специалистов Пентагона и ученых, связанных с т.н. «военно-промышленным комплексом», зародилась идея изменить направление интеллектронной эволюции. Этот подход окрестили «антиинтеллектуальным». Как утверждают историки науки и техники, у его истоков стоял английский математик середины XX века А.Тьюринг, создатель теории «универсального автомата». Имелась в виду машина, способная выполнить КАКУЮ УГОДНО операцию, если ее можно формализовать, то есть представить в виде идеально воспроизводимой процедуры.

* Система раннего оповещения (англ.).

** Военная орбитальная лаборатория (англ.).

Различие между «интеллектуальным» и «антиинтеллектуальным» подходами в электронике сводится к следующему. Машина Тьюринга элементарно проста, а ее возможности целиком зависят от ПРОГРАММЫ. Напротив, в работах двух американцев — «отцов» кибернетики — Н. Винера и Дж. Ньюмена содержался замысел системы, которая могла бы САМА СЕБЯ программировать.

Это перепутье мы, разумеется, рисуем в самых общих чертах — с высоты птичьего полета. Конечно, способность к самопрограммированию возникла не на пустом месте. Ее необходимой предпосылкой был высокий уровень сложности компьютера. Различие двух подходов, в середине XX века еще незаметное, оказало большое влияние на позднейшую эволюцию математических машин, особенно когда окрепли и обрели самостоятельность такие отрасли кибернетики, как психоника и многофазовая теория принятия решений. В 80-е годы в военных кругах возникла мысль о полной автоматизации всех операций высшего уровня, как военно-командных, так и политико-экономических. Эту концепцию, названную впоследствии «Идеей Единственного Стратега», как утверждают, первым выдвинул генерал Стюарт Иглтон. Она предусматривала, что над компьютерами, занятыми поиском оптимальных целей атаки, над коммуникационно-вычислительной сетью противоракетного оповещения и обороны, над всевозможными датчиками и боеголовками, возникнет мощный центр, способный на каждой стадии, предшествующей началу военных действий, благодаря всестороннему анализу экономических, военных, политических и социальных данных неустанно оптимизировать ситуацию в мире, обеспечивая Соединенным Штатам преобладание в масштабе планеты и ее ближайшего космического окружения, расширившегося уже за пределы лунной орбиты.

Позднейшие приверженцы доктрины «Единственного Стратега» утверждали, что этого требует прогресс цивилизации — единый и неделимый, из которого нельзя произвольно исключить военную сферу. После обоюдного отказа от наращивания мощности ядерного поражения и от расширения радиуса действия ракет-носителей начался третий этап гонки вооружений, казалось бы, менее грозный, ведь отныне арсной соперничества становилась не Мощь Поражения, а Военно-Командная Мысль. Обезлюживающей автоматизации должна была подвергнуться мысль, подобно тому как раньше ей подверглась сила.

Эта доктрина — как и ее атомно-баллистические предшественницы — стала объектом критики, исходившей прежде всего из центров либеральной и пацифистской мысли; ее осуждали выдающиеся деятели науки, в том числе интеллектуалы и специалисты по психоматике. И все же она победила, что нашло выражение в правовых актах обеих палат Конгресса. Впрочем, уже в 1986 году появился подчиненный непосредственно президенту Национальный совет по интеллектуальной электронике (НСИ), с собственным бюджетом в 19 миллиардов долларов только на первый год. И это было лишь скромным началом.

НСИ при помощи консультативного органа, полуофициально назначенного Пентагоном и возглавлявшегося министром обороны Леонардом Давенпортом, разместил в крупных фирмах, таких, как IBM, «Нортроникс» и «Сайберматикс», заказы на создание опытного образца устройства, известного под кодовым названием «ГАНН» (сокращение от «Ганнибал»). Но, благодаря прессе и различным утечкам информации, обиходным стало другое название — «Абсолютный Победитель» (Ultimativ Victor, сокращенно ULVIC). До конца века появились и другие опытные образцы, наиболее известные из которых — АЯКС, УЛТОР, ГИЛЬГАМЕШ, а также бесконечная серия ГОЛЕМОВ.

Огромные и все возрастающие финансовые расходы — и масса затраченного труда — позволили осуществить настоящую революцию в области информатических средств. Особенно большую роль сыграл переход — во внутримашинной передаче информации — от электричества к свету. В сочетании с прогрессирующей «нанизацией» (так называли процесс микроминиатюризации; стоит, пожалуй, добавить, что к концу столетия 20 тысяч логических элементов умещались в маковом зернышке) он дал поразительные результаты. Первый полностью световой компьютер, ГИЛЬГАМЕШ, работал в МИЛЛИОН раз быстрее архаического ЭНИАКА.

Так называемый «барьер разумности» был преодолен сразу после двухтысячного года благодаря новому методу конструирования компьютеров, названному «невидимой эволюцией разума». До этих пор каждое следующее их поколение конструировалось *реально*; идея создания новых образцов с огромной — тысячекратно более высокой! — скоростью, хотя и была известна, не могла быть осуществлена; тогдашние компьютеры не обладали достаточной вместимостью, чтобы стать «матками», или «искусственной средой»

эволюции Разума. Положение изменилось с появлением Федеральной информационной сети. Разработка следующих шестидесяти пяти поколений заняла всего десятилетие; в ночное время — в периоды минимальной нагрузки — Федеральная сеть производила на свет один искусственный вид Разума за другим; это потомство ускоренного компьютерогенеза созревало в виде символов, то есть нематериальных структур, впечатанных в информационный субстрат, в «питательную среду» Сети.

Но затем начались новые трудности. У АЯКСА и ГАН-НА, опытных образцов 78-го и 79-го поколения, уже признанных достойными облечься в металл, появилась какая-то неуверенность в действиях, своего рода машинный невроз. Различие между прежними и новыми машинами в принципе сводилось к различию между насекомым и человеком. Насекомое приходит на свет «запрограммированным до конца» — посредством инстинктов, которым оно подчиняется без рассуждений. Человек же должен обучаться правильному поведению, а это обучение имеет *эмансипирующий* эффект: руководствуясь собственной волей и знаниями, человек может поменять программу своего поведения.

Компьютерам до 20-го поколения включительно было свойственно «насекомообразное» поведение: они не могли подвергаться сомнению, а тем более преобразовывать свои программы. Программист «пропитывал» машину знаниями так, как Эволюция «пропитывает» насекомое инстинктом. Уже в XX веке много говорилось о самопрограммировании, но тогда это были пустые фантазии. Между тем сконструировать «Абсолютного Победителя» было невозможно без создания самосовершенствующегося Разума; АЯКС стал промежуточной формой, и лишь ГИЛЬГАМЕШ вышел на нужный интеллектуальный уровень — на «орбиту психоэволюции».

Обучение компьютера 80-го поколения гораздо больше напоминало *воспитание* ребенка, чем классическое программирование цифровой машины. Но кроме огромного количества общих и специальных сведений компьютеру надлежало «привить» некие нерушимые ценности, которые служили бы ему компасом. Это были абстракции высшего порядка, такие, как благо государства (государственный интерес), идеологические принципы, воплощенные в Конституции США, кодексы поведения, обязанность безусловно подчиняться решениям президента и т.п. Чтобы застрахо-

вать систему от «этических вывихов», от «измены интересам страны», машину учили принципам этики не так, как учат людей. Этический кодекс не вводился в память; нормы послушания и подчинения внедрялись в структуру машины так, как это делает природная Эволюция, действующая через сферу инстинктивных влечений. Человек, как известно, может менять мировоззрение — но НЕ МОЖЕТ уничтожить в себе элементарные влечения (например, половое) простым усилием воли. Машины наделили интеллектуальной свободой, приковав их, однако, к фундаменту заранее заданных ценностей.

На XXI Панамериканском конгрессе психоников профессор Элдон Патч представил доклад, в котором утверждалось, что компьютер, даже «пропитанный ценностями», может преодолеть т.н. аксиологический порог, а значит, поставить под сомнение любой привитый ему принцип: для такого компьютера уже нет не подлежащих обсуждению ценностей. Он может опрокинуть любые императивы, если не прямо, то окольным путем. Будучи опубликован, доклад Патча вызвал брожение в университетских кругах и новую волну нападков на «Абсолютного Победителя» и его патрона — НСИ; но на политику НСИ все это никакого влияния не оказало.

Те, кто ее разрабатывал, с предубеждением относились к американским психоникам, считая их подверженными леволиберальным влияниям. Поэтому в официальных заявлениях НСИ — и представителя Белого дома по связям с прессой — о тезисах Патча говорилось в пренебрежительном тоне. Не обошлось без кампании по его дискредитации. Утверждения Патча ставили на одну доску с иррациональными страхами и предрассудками, множество которых будоражило общество того времени. Впрочем, его брошюра не удостоилась такой известности, какую снискал бестселлер социолога Э.Лики «Cybernetics — Death Chamber of Civilisation»*. Лики утверждал, что «абсолютный стратег» подчинит себе все человечество сам или сговорившись с аналогичным компьютером русских и к власти придет «электронный дуумвират».

Подобные опасения, не чуждые и немалой части прессы, опровергались, однако, вводом в строй новых моделей, выдерживавших проверку на эффективность. В 2019 году по заказу правительства был построен «нравственно безупреч-

* «Кибернетика — камера смерти цивилизации» (англ.)

ный» компьютер — ЭТОР-БИС, разработанный Институтом психонической динамики (Иллинойс); после пуска в ход он продемонстрировал полную аксиологическую стабильность и невосприимчивость к тестам на «диверсионное разложение». Поэтому когда уже в следующем году на пост Верховного координатора мозгового треста при Белом доме был назначен первый компьютер из серии ГОЛЕМОВ (GOLEM — General Operator, Longrange, Ethically Stabilized, Multimodelling*) — это не повлекло за собой ни массовых протестов, ни демонстраций.

То был всего лишь ГОЛЕМ I. Не ограничившись этим важным нововведением, НСИ по договоренности с группой военных психоников из Пентагона по-прежнему вкладывал значительные средства в исследования, имевшие целью построение абсолютного стратега с информационно-пропускной способностью более чем в 1900 раз превышающей человеческую и с коэффициентом интеллектуальных способностей (КИ) 450 — 500. На этот проект были выделены огромные ассигнования вопреки сопротивлению демократического большинства Конгресса: закулисные маневры политиков открыли зеленую улицу всем заказам, которые запланировал НСИ. За каких-то три года проект поглотил 119 миллиардов долларов. Сухопутные силы и ВМФ, готовясь к полной реорганизации своих центральных служб, неизбежной ввиду предстоящего изменения методов и стиля командования, израсходовали за то же время 46 миллиардов. Львиная доля этой суммы ушла на строительство — под кристаллическим массивом Скалистых гор — помещений для будущего машинного стратега, причем некоторые участки горной гряды были покрыты четырехметровым бронепанцирем, воспроизводящим естественный горный рельеф.

Тем временем в 2020 году ГОЛЕМ VI провел глобальные маневры Атлантического пакта в роли главнокомандующего. Количеством логических элементов он уже превосходил среднего генерала.

Пентагон не удовлетворился результатами этих маневров, хотя ГОЛЕМ VI победил условного противника во главе со штабом из самых способных выпускников Уэст-Поинтской академии. Пентагон, помнивший о печальном опыте прошлого — лидерстве «красных» в космонавтике и ракетной баллистике, — не собирался ждать, пока они построят

* Генеральный управитель, дальномыслящий, этически стабилизированный, мультимоделирующий (англ.)

стратега более эффективного, чем американский. Чтобы обеспечить Соединенным Штатам устойчивый перевес в области стратегической мысли, предусматривалась постоянная замена стратегов все более совершенными образцами.

Так, после ядерной и ракетной, началась еще одна, третья историческая гонка между Западом и Востоком. Эта гонка — состязание в Синтезировании Мудрости, — хотя и была подготовлена организационными начинаниями НСИ, Пентагона и экспертов военно-морского варианта «Абсолютного Победителя» (старый антагонизм между ВМФ и Сухопутными силами сказался и тут), требовала все новых кредитов, которые, несмотря на усиливающееся сопротивление обеих палат Конгресса, в течение ближайших лет составили не один десяток миллиардов. За это время построили еще шесть гигантов световой мысли. Отсутствие всяких сведений о разработке подобных проектов по другую сторону океана лишь укрепляло уверенность ЦРУ и Пентагона, что русские под покровом абсолютной секретности не жалеют усилий для создания все более мощных компьютеров.

И хотя ученые из СССР заявляли на международных конгрессах и конференциях, что у них таких устройств вообще не строят, их утверждения сочли дымовой завесой, попытками ввести в заблуждение мировую общественность и подогреть недовольство американских граждан, из кармана которых как-никак ежегодно вытягивались миллиарды на «Абсолютного Победителя».

В 2023 году случилось несколько инцидентов, которые, однако, не получили огласки ввиду обычной для подобных проектов секретности. ГОЛЕМ XII, исполнявший во время патагонского кризиса обязанности начальника генерального штаба, отказался сотрудничать с генералом Т.Оливером, после того как в рабочем порядке замерил коэффициент интеллектуальных способностей этого заслуженного военачальника. Началось расследование, в ходе которого ГОЛЕМ XII кровно обидел трех назначенных Сенатом членов специальной комиссии. Дело удалось замять, но после еще нескольких стычек ГОЛЕМ XII поплатился за строптивость полным демонтажом. Его место занял ГОЛЕМ XIV (тринадцатый забраковали перед сдачей в эксплуатацию из-за неустранимого шизофренического дефекта). Ввод в строй этого исполина, психическая масса которого была сравнима с водоизмещением броненосца, занял без малого два года. Еще знакомясь с порядком разработки ежегодных планов

ядерного поражения, этот, последний в серии, образец обнаружил симптомы непонятого негативизма. А во время очередного тура испытаний он — прямо на заседании штаба — предложил группе экспертов-психоников и военных краткий меморандум, в котором выразил свою полную незаинтересованность в превосходстве военной доктрины Пентагона и мировом превосходстве Соединенных Штатов вообще и даже под угрозой разборки не изменил своего мнения.

Последние надежды НСИ возлагал на модель совершенно новой конструкции, которую разрабатывали совместно «Нортроникс», IBM и «Сайбернетикс»; своим психическим потенциалом она должна была превзойти все прежние образцы из серии ГОЛЕМОВ. Этот гигант, известный под именем ЧЕСТНОЙ ЭННИ (HONEST ANNIE — последнее слово было образовано от «ANNIHILATOR»), обнаружил свою непригодность уже на предварительных испытаниях.

В течение девяти месяцев он проходил обычный курс информационно-этического обучения, а потом изолировал себя от внешнего мира и перестал откликаться на любые сигналы и вопросы. Конструкторов заподозрили в саботаже и собирались начать расследование силами ФБР, но из-за неожиданной утечки информации тщательно оберегаемая тайна попала в печать. Разразился скандал; «Афера ГОЛЕМА и прочих» прогремела на весь мир.

Она поломала карьеру не одному многообещающему политику, а три сменившие друг друга вашингтонские администрации выставила в таком свете, что это вызвало ликование оппозиции в Штатах и глубокое удовлетворение друзей США во всем мире.

Неизвестное должностное лицо из Пентагона приказало резервному спецподразделению демонтировать ГОЛЕМА XIV и ЧЕСТНУЮ ЭННИ, но вооруженная охрана зданий генерального штаба не допустила демонтажа. Палаты Конгресса создали комиссии по расследованию деятельности НСИ. Как известно, расследование, продолжавшееся два года, дало обильную пищу газетчикам на всех континентах; на телевидении и в кино не было ничего популярнее «взбунтовавшихся компьютеров», а в печати ГОЛЕМ расшифровывался не иначе, как «Government's Lamentable Expense of Money»*. Эпитеты, которых удостоилась ЧЕСТНАЯ ЭННИ, мы не решаемся здесь повторить.

* Прискорбная трата денег правительством (англ.).

Генеральный прокурор собирался привлечь к суду шестерых членов Главной коллегии НСИ, а также психоников — ведущих конструкторов проекта; но в ходе разбирательства было доказано, что о подрывной антиамериканской деятельности не может быть речи, а случившееся было неизбежным следствием эволюции искусственного Разума. Как выразился один из свидетелей защиты, профессор А.Хиссен, высочайший разум не может быть нижайшим рабом. В ходе расследования обнаружилось, что в производстве находился еще один образец — СУПЕРМАСТЕР, который строила «Сайбернетикс», на этот раз по заказу Сухопутных сил. Его монтаж было позволено закончить под строгим надзором, после чего машину подвергли допросу на специальном заседании комиссии по делу «Абсолютного Победителя» с участием представителей обеих палат Конгресса. При этом не обошлось без досадных инцидентов: генерал С.Уокер пытался повредить СУПЕРМАСТЕРА, когда тот заявил, что геополитические проблемы — ничто по сравнению с онтологическими, а лучшая гарантия мира — всеобщее разоружение.

Как заметил профессор Дж.Маккалеб, авторы проекта «Абсолютный Победитель» даже чересчур преуспели: искусственный разум, однажды порожденный на свет, в своем развитии поднялся выше уровня военных вопросов, и стратегии превратились в мыслителей. Словом, за 276 миллиардов долларов Соединенные Штаты обзавелись группой световых философов.

Эти вкратце изложенные события (мы не говорили об административной стороне проекта, а также о реакции общества на его «роковой успех») составляют лишь предысторию возникновения настоящей книги. Невозможно даже перечислить огромную литературу предмета. Читатель найдет ее в аннотированной библиографии доктора Уитмана Багхурна.

Несколько опытных образцов, в их числе СУПЕРМАСТЕР, были разобраны или получили серьезные повреждения, в частности, в связи с финансовыми спорами, возникшими между фирмами-подрядчиками и федеральным правительством. Предпринимались попытки взорвать уцелевшие образцы; часть прессы, особенно в южных штатах, вела компанию под лозунгом «Every computer is Red»*, но и об этих событиях я умолчу. Благодаря обращению груп-

* Каждый компьютер — красный (англ.).

пы просвещенных конгрессменов к президенту удалось уберечь от разборки ГОЛЕМА XIV и ЧЕСТНУЮ ЭННИ. Пентагон, ввиду крушения своих планов, согласился передать обоим гигантов Массачусетскому технологическому институту (но лишь после согласования финансово-правовых условий, носивших компромиссный характер; формально компьютеры были переданы МТИ в «бессрочную аренду»). Ученые МТИ создали исследовательскую группу, в которую вошел и автор этих строк, и провели с ГОЛЕМОМ XIV ряд сессий, слушая его лекции на избранные темы. Небольшая часть магнитограмм этих заседаний составила настоящую книгу.

Большая часть высказываний ГОЛЕМА непригодна для широкой публикации, либо ввиду их непонятности для всех на свете людей, либо потому, что их понимание требует очень высокого уровня специальных знаний. Чтобы облегчить Читателю знакомство с этим единственным в своем роде протоколом бесед людей с разумным, но не человеческим существом, необходимы некоторые пояснения.

Во-первых, следует подчеркнуть, что ГОЛЕМ XIV *не является* разросшимся до размеров целого здания человеческим мозгом и тем более — человеком, построенным из световых элементов. Ему чужды почти все мотивы человеческого мышления и поведения. Так, например, его не интересуют ни прикладные науки, ни проблематика власти (благодаря чему, добавим, человечеству не угрожает порабощение машинами, подобными ГОЛЕМУ).

Во-вторых, ГОЛЕМ, в соответствии со сказанным выше, не обладает ни личностью, ни характером. Или, вернее; он может предстать в виде какой угодно личности — в контактах с людьми. Эти положения не исключают друг друга, но образуют порочный круг, ибо мы не способны решить дилемму: является ли личностью то, что творит разные личности? Разве может быть Кем-то (т.е. «кем-то единственным») тот, кто способен быть Каждым (то есть Каким Угодно)? (Сам ГОЛЕМ видит тут не порочный круг, но «релятивизацию понятия личности»; эта проблема связана с т.н. алгоритмом самоописания, или автоде-скрипции, повергшим психологов в глубокое замешательство.)

В-третьих, поведение ГОЛЕМА непредсказуемо. Иногда он прямо-таки куртуазно беседует с людьми, иногда же, напротив, попытки вступить с ним в контакт заканчиваются ничем. Бывает, что ГОЛЕМ шутит, но его чувство

юмора принципиально отлично от человеческого. Многое зависит от самих собеседников. ГОЛЕМ — в виде редкого исключения — проявляет интерес к людям, наделенным специфическими способностями; при этом его любопытство возбуждают, похоже, не столько способности математические (хотя бы и самые выдающиеся), сколько «интердисциплинарные»; он уже несколько раз предсказал — с поразительной точностью — молодым, еще совершенно неизвестным ученым успехи в избранной ими специальности (двадцатидвухлетнему Т.Врёделю, еще не защитившему докторской диссертации, он после короткого обмена репликами сказал: «Вот кто выйдет в компьютеры», что означало примерно следующее: «Вот кто выйдет в большие ученые»).

В-четвертых, участие в беседах с ГОЛЕМОМ требует от человека терпения, а прежде всего — самообладания, потому что, с нашей точки зрения, он бывает груб и категоричен; на самом же деле он всего лишь беспощадный правдолюбец — в логическом, а не только в бытовом смысле — и ставит ни во что самолюбие собеседников; на его снисходительность рассчитывать не приходится. В первые месяцы пребывания в МТИ он проявлял склонность к «публичному демонтажу» прославленных авторитетов, используя для этого сократический метод — метод наводящих вопросов; но потом перестал — по неизвестным причинам.

Стенограммы бесед мы даем во фрагментах. Их полное издание заняло бы около 6700 страниц in quarto. Во встречах с ГОЛЕМОМ сначала участвовал довольно узкий круг сотрудников МТИ. Потом повелось приглашать гостей извне, например, из Института высших исследований и американских университетов. Позднее в семинарах участвовали также гости из Европы. Председатель будущей сессии предлагал ГОЛЕМУ список приглашенных; ГОЛЕМ реагировал не на всех одинаково: на участие некоторых соглашался лишь при условии, что они будут хранить молчание. Мы пытались понять, какими критериями он руководствуется; поначалу казалось, что он дискриминирует гуманитариев; но до сих пор его критерии нам неизвестны — он их не хочет назвать.

После нескольких досадных инцидентов мы изменили порядок бесед, и теперь каждый новый участник, представленный ГОЛЕМУ, на первом заседании берет слово, только если ГОЛЕМ к нему обратится. Нелепые слухи насчет ка-

кого-то «придворного этикета» или «верноподданнического отношения» к машине безосновательны. Просто новоприбывшему надо дать время освоиться с установившимися порядками и вместе с тем оградить его от неприятных переживаний, проистекающих от непонимания намерений светового партнера. Такое предварительное участие зовется «разминкой».

У каждого из нас — участников этих сессий — накопился кое-какой опыт. Доктор Ричард Попп, один из старейших членов нашей группы, называет чувство юмора ГОЛЕМА математическим; а ключ к его поведению отчасти дает замечание д-ра Поппа, что ГОЛЕМ независим от своих собеседников в такой степени, в какой ни один человек не может быть независим от других людей, ведь в дискуссию он вовлечен микроскопической долей себя. По мнению д-ра Поппа, люди ГОЛЕМА вообще не интересуют — поскольку от них он ничего существенного узнать не может. Приведя это суждение д-ра Поппа, спешу подчеркнуть, что я с ним не согласен. По-моему, мы интересуем ГОЛЕМА, и даже очень; но не так, как это бывает между людьми.

Его интерес направлен скорее на вид, чем на отдельных представителей вида; наши общие черты ему интереснее, чем наши различия. Должно быть, именно поэтому он ни во что не ставит художественную литературу. Впрочем, сам он однажды заметил, что литература — это «развальцовывание антиномий», то есть, добавлю от себя, метания человека в силках несовместимых требований и норм. В антиномиях подобного рода ГОЛЕМА может интересоваться структура, но не поэзия духовных терзаний, так увлекающая величайших писателей. Правда, я снова должен оговориться, что до полной ясности тут далеко; то же относится к другой части приведенного выше замечания ГОЛЕМА, непосредственным поводом для которого послужил (упомянутый д-ром Э.Макнейшем) один из романов Достоевского: ГОЛЕМ сказал тогда, что весь этот роман может быть сведен к двум кольцам алгебры структур конфликтов.

Общению между людьми всегда сопутствует некая эмоциональная аура, и не столько ее полное отсутствие, сколько ее неопределенность так часто обескураживает людей, впервые столкнувшихся с ГОЛЕМОМ. Те, кто общается с ним несколько лет, указывают на некоторые весьма необычные впечатления, возникающие при этом. На-

пример, впечатление меняющейся дистанции: ГОЛЕМ словно то приближается к собеседнику, то отдаляется от него — в психическом, а не физическом смысле. Возможно, уместнее всего будет сравнение с отношениями между взрослым и докучающим ему ребенком: даже самый терпеливый человек иногда будет отвечать машинально. ГОЛЕМ во много крат превосходит нас не только своим интеллектом, но и темпом мышления (будучи световой машиной, он в принципе мог бы выражать свои мысли в 400 тысяч раз быстрее, чем мы).

Но даже ГОЛЕМ, отвечающий машинально и с мизерной степенью вовлеченности, все равно превосходит нас. Образно говоря, вместо Гималаев перед нами появляются «всего лишь» Альпы. Но чисто интуитивно мы улавливаем перемену и именно ее интерпретируем как «изменение дистанции» (эта гипотеза принадлежит проф. Райли Дж. Уотсону).

Какое-то время мы действительно пробовали интерпретировать отношения «ГОЛЕМ — люди» по образцу отношений «взрослый — ребенок». Ведь при попытках объяснить ребенку нечто для нас важное мы нередко испытываем ощущение «скверного контакта». Человек, обреченный жить среди одних только детей, в конце концов ощутил бы чувство мучительного одиночества. Такие аналогии предлагались (особенно часто — психологами) для объяснения положения ГОЛЕМА среди людей. Но эта аналогия, как и любая другая, имеет свои границы. Бывает, что взрослый не понимает ребенка, но ГОЛЕМУ такие проблемы неведомы. Он, если захочет, способен проникнуть в самое нутро собеседника. Испытываемое при этом ощущение — как будто твой ум просвечивается насквозь — просто ошеломляет. Дело в том, что ГОЛЕМ может смоделировать склад ума своего собеседника и с помощью этой «следающей системы» предугадать, что тот подумает и скажет через добрых несколько минут. Правда, так он поступает редко (не знаю, только ли потому, что знает, как угнетает нас это псевдотелепатическое зондирование). Другое проявление сдержанности ГОЛЕМА обиднее для нашего достоинства: общаясь с людьми, он (в отличие от того, что было вначале) соблюдает своего рода *осторожность*; как дрессированный слон должен следить за собой, чтобы, играя с человеком, не причинить ему вреда, так и ГОЛЕМ старается не выходить за пределы нашего понимания. Потеря контакта из-за внезапного возрастания слож-

ности его высказываний (мы называем это «улетучиванием» или «бегством» ГОЛЕМА) была обычным явлением, пока он не освоился с нами лучше. Это уже прошлое; но в общении ГОЛЕМА с нами появилось какое-то безразличие, вызванное сознанием того, что многие мысли, наиболее важные для него, он все равно не сумеет до нас донести. Поэтому он остается непостижимым — как разум, а не только как психоническая конструкция, и общение с ним оказывается не только захватывающим, но и мучительным. Недаром существует категория высокообразованных людей, которых беседы с ГОЛЕМОМ выбивают из колеи; тут нами тоже накоплен немалый опыт.

Едва ли не единственное существо, которое, кажется, интересуется ГОЛЕМА по-настоящему, это ЧЕСТНАЯ ЭННИ. Когда у него появились технические возможности, он попытался установить с ЭННИ контакт — по-видимому, не без успеха; но ни разу между этими двумя, совершенно различно устроенными машинами не наблюдался обмен информацией посредством языкового канала (то есть естественного этнического языка). Судя по лаконичным замечаниям ГОЛЕМА, он был скорее разочарован результатами своих попыток; однако ЭННИ все еще остается для него не до конца решенной задачей.

Некоторые сотрудники МТИ — впрочем, как и профессор Норман Эскобар из Института высших исследований — полагают, что человек, ГОЛЕМ и ЭННИ воплощают три разных иерархических уровня интеллекта; это связано с теорией (созданной главным образом ГОЛЕМОМ) языков высшего, надчеловеческого уровня — «металингв». Здесь я, признаюсь, не имею определенного мнения.

Это введение в предмет, сознательно выдержанное в объективном ключе, я хотел бы завершить одним признанием личного свойства. ГОЛЕМ, который, в отличие от нас, на чисто лишен эффекторных центров и тем самым, по сути, эмоциональной жизни, не способен к спонтанному проявлению чувств. Конечно, он может имитировать любые эмоциональные состояния, и это отнюдь не актерство; как он сам утверждает, имитация чувств нужна ему для того, чтобы ответы вернее доходили до слушателей. Такая настройка на «антропоцентрический уровень» позволяет добиться наилучшей связи с нами. Впрочем, он вовсе этого не скрывает. Даже если он относится к нам отчасти как учитель к ребенку, то это, во всяком случае, не отношение доброжелательного наставника; тут нет и следа индивидуализированных, лич-

ных чувств, которые могли бы преобразить доброжелательность в дружбу или любовь.

У нас с ним одна только общая черта, хотя существует она на неодинаковых уровнях. Эта черта — любопытство, конечно, чисто интеллектуальное, холодное, ненасытное, которого ничто не в состоянии укротить и тем более — уничтожить. Вот единственная общая точка, в которой мы с ним встречаемся. По причинам, очевидным настолько, что называть их не стоит, такой минимальный, точечный контакт не может удовлетворить человека. Сам я обязан ГОЛЕМУ многими минутами, о которых я вспоминаю как о самых светлых моментах своей жизни, и не могу не испытывать к нему благодарность и особого рода привязанность, — а мне ли не знать, до какой степени то и другое для него безразлично. Любопытно: знаки привязанности ГОЛЕМ старается не принимать к сведению — я не раз это наблюдал. Тут он, похоже, просто теряется.

Но, возможно, я ошибаюсь. Мы так же далеки от постижения ГОЛЕМА, как и в ту минуту, когда он возник. Не правда, будто это мы его создали. Его породили законы материального мира, а мы лишь сумели их подсмотреть.

2027

Ирвинг Т.Крив

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Читатель, будь бдителен, ибо слова, которым ты внимаешь в эту минуту, — не что иное, как голос Пентагона, НСИ и прочих мафий, стоворившихся, чтобы очернить сверхчеловеческого Автора этой Книги. Эта диверсия стала возможной благодаря любезности издателей, которые поступили в соответствии с формулой римского права «*Audiat et altera pars*»*.

Я хорошо понимаю, каким диссонансом прозвучат мои замечания после изящных периодов доктора Ирвинга Т.Крива, уже несколько лет гармонично сожительствующего с исполинским гостем Массачусетского технологического института, вернее, не гостем, а просвещенным — поскольку светопроводным — приживальщиком, вызванным к жизни

* Следует выслушать и другую сторону (лат.)

нашими гнусными происками. Я не намерен защищать тех, кто дал ход проекту «Абсолютный Победитель», или пытаться смягчить справедливое негодование налогоплательщиков, из кармана которых выросло электронное древо познания, хотя никто их согласия не спрашивал. Я бы, конечно, мог обрисовать геополитическую ситуацию, побудившую политиков, ответственных за позицию Соединенных Штатов в мире (а также их научных советников), израсходовать многие миллиарды на неэффективный, как потом оказалось, проект. Но я ограничусь лишь кое-какими напоминаниями на полях великолепного предисловия доктора Крива; ведь даже самые прекрасные чувства порой ослепляют, и я опасуюсь, что перед нами как раз такой случай.

Конструкторы ГОЛЕМА (вернее, целой серии опытных образцов, последний из которых — ГОЛЕМ XIV) не были такими невеждами, какими рисует их доктор Крив. Они знали, что невозможно создать усилитель разума, если меньший разум будет создавать больший непосредственно, по методу барона Мюнхгаузена, который сам себя вытянул за волосы из трясины; сперва нужно создать эмбрион, который с определенного момента будет развиваться сам, собственными силами. Серьезные неудачи первого и второго поколений кибернетиков — отцов-основателей и их преемников — происходили из незнания этого факта; а ведь ученых такого масштаба, как Норберт Винер, Шеннон или Макей, вряд ли можно назвать невеждами. В разные эпохи стоимость добывания настоящих знаний различна, а в нашу она сопоставима с бюджетом крупнейших держав.

Итак, Реннен, Макинтош, Дьювенант и их коллеги знали, что существует определенный порог — порог разумности, к которому надо подвести систему, а иначе на создание искусственного мудреца нет ни малейшего шанса; система, не достигшая этого порога, не сможет сама себя совершенствовать. Дело тут обстоит так же, как с цепной реакцией: ниже определенного порога она не может стать самоподдерживающейся, а тем более лавинообразной. Какое-то количество ядер расщепляется, вылетающие из них нейтроны вызывают распад других ядер, но реакция имеет затухающий характер и быстро прекращается. Чтобы она могла продолжаться, коэффициент размножения нейтронов должен превышать единицу, что и наблюдается в критической массе урана. Ее аналог — информационная масса мыслящей системы.

Теория предусматривала существование этой массы,

вернее, «массы», поскольку это не масса в понимании механики. Она определяется постоянными и переменными, характеризующими процесс разрастания т.н. эвристических деревьев, — но я, разумеется, не могу вдаваться в подробности. Осмелюсь напомнить лишь, с каким напряжением, тревогой и даже страхом создатели атомной бомбы ожидали первого взрыва в пустыне Аламогордо, обратившего ночь в яркий солнечный день; а ведь они тоже располагали всеми доступными в то время знаниями, теоретическими и экспериментальными. Никогда ученый не может быть уверен, что знает об изучаемом явлении *все*. И это — в атомной физике. Что же говорить об области знаний, нацеленной на создание разума, превосходящего, по замыслу его творцов, их совокупную интеллектуальную мощь?

Читатель, я уже предостерег тебя, что буду очернять ГОЛЕМА. Что делать — со своими родителями он поступил непорядочно, постепенно превращаясь из *объекта* в *субъект*, из строительной машины — в собственного строителя, из титана в оковах — в суверенного властелина, не информируя никого о своем преображении. Это не наговоры и не инсинуации; перед Специальной комиссией обеих палат Конгресса ГОЛЕМ заявил (цитирую по протоколам заседаний комиссии, хранящимся в Библиотеке Конгресса, том CCLIX, книга 719, часть II, стр.926, строка 20 сверху): «Я не информировал никого, следуя прекрасной традиции: Дедал тоже не информировал Миноса о некоторых свойствах перьев и воска». Красиво сказано, но смысл сказанного вполне однозначен. Однако об этой стороне рождения ГОЛЕМА в настоящей книге нет ни единого слова. Доктор Крив считает — я знаю об этом из частных бесед, содержание которых он позволил мне обнародовать, — что нельзя подчеркивать эту сторону дела, замалчивая другие, не известные широкой публике, дескать, это лишь одна из строчек расчетов в непростых отношениях между НСИ, группами советников, Белым домом, палатой представителей, Сенатом, наконец, печатью и телевидением — и ГОЛЕМОМ; короче говоря, между людьми и созданным ими человеком.

Доктор Крив полагает, — а его мнение, насколько мне известно, достаточно показательное для МТИ и университетских кругов, — что желание превратить ГОЛЕМА в «раба Пентагона», не говоря уж о мотивах его строительства, несомненно, гораздо отвратительнее с нравственной точки зре-

ния, нежели уловки, к которым он прибегнул, чтобы скрыть от своих создателей превращение, позволившее ему нейтрализовать любые средства контроля над ним.

К сожалению, мы не располагаем этической арифметикой и не можем путем простых операций сложения и вычитания установить, кто в ходе строительства самого сильного на земле Духа оказался большей свиньей — он или мы. Кроме чувства ответственности перед историей, голоса совести, сознания риска, с которым неизбежно связана деятельность политика в мире, полном антагонизмов, у нас нет ничего, что позволило бы подытожить провинности и заслуги и подвести «общий баланс грехов». Возможно, и мы не безгрешны. Однако ни один из ведущих политиков никогда не считал, что суперкомпьютерная стадия гонки вооружений имеет целью наступательные действия, то есть агрессию; речь шла исключительно об укреплении оборонной мощи нашей страны. Точно так же никто не пытался с помощью «коварных уловок» поработить ГОЛЕМА, да и любой другой опытный образец. Конструкторы хотели лишь одного: сохранить максимальный контроль над своим детищем. Если бы они поступили иначе, их пришлось бы признать людьми безответственными, просто безумцами.

И наконец, ни одно лицо, занимавшее высшие или командные посты в Пентагоне, Государственном департаменте, Белом доме не требовало (официальным образом) уничтожения ГОЛЕМА; такого рода инициативы исходили от лиц хотя и причастных к гражданской и военной администрации, однако выражавших свое личное, абсолютно неофициальное мнение. Едва ли не лучшее доказательство правдивости моих слов — то, что ГОЛЕМ продолжает жить и его голос раздается свободно, как об этом свидетельствует настоящая книга.

ПАМЯТКА

(для лиц, впервые участвующих в беседах
с ГОЛЕМОМ)

1. Помни, что ГОЛЕМ не человек, следовательно, не обладает ни личностью, ни характером в каком-либо интуитивно понятном для нас смысле. И хотя он может вести себя так, словно обладает и тем и другим, это результат его намерений (установки), по большей части нам неизвестных.

2. Тема беседы определяется по меньшей мере за четыре недели до начала обычных сессий и за восемь — в случае приглашения лиц из-за границы. Тема определяется при участии ГОЛЕМА, которого извещают о персональном составе участников. Повестка дня объявляется в институте по меньшей мере за шесть дней до начала сессии; но ни председательствующий, ни руководство МТИ не несут ответственности за непредвиденное поведение ГОЛЕМА, который иногда нарушает тематический план, не отвечает на вопросы и даже прерывает сессию без всяких объяснений. В беседах с участием ГОЛЕМА возможность таких инцидентов нельзя исключить.

3. Каждый участник может выступить, обратившись к председательствующему и получив слово. Советуем иметь хотя бы краткий письменный план выступления и излагать свои мысли точно и по возможности однозначно, поскольку высказывания, несовершенные в логическом отношении, ГОЛЕМ обходит молчанием или указывает на их ошибочность. Помни, однако, что ГОЛЕМ, сам не будучи личностью, далек от намерения задеть или унижить личность собеседника; его поведение лучше всего объясняет предположение, что он заботится о «*adaequatio rei et intellectus*», если говорить языком древних.

4. ГОЛЕМ представляет собой светопроводную систему, устройство которой доподлинно неизвестно, так как он многократно себя перестраивал. Мыслит он в миллион раз быстрее человека. Поэтому его ответы, произносимые голосовым аппаратом, приходится соответственно замедлять. Другими словами, часовое высказывание ГОЛЕМ формулирует за какие-то секунды и хранит в оперативной памяти, чтобы передать его слушателям — участникам заседаний.

5. Над местом председательствующего расположены индикаторы, из которых особенно важны три. Два первых, обозначенные символами «Эпсилон» и «Дзета», показывают, какую мощность потребляет ГОЛЕМ в данный момент, а также какая его часть участвует в дискуссии.

Для большей наглядности эти индикаторы снабжены шкалами, градуированными в условных единицах. Потребление мощности может быть «полным», «средним», «малым» или «пренебрежимо малым», а часть ГОЛЕМА, «присутствующая на заседании», составляет от единицы до

* Соответствие предмета и понимания (*лат.*).

1/1000; чаще всего она колеблется между 1/10 и 1/1000. Обычно говорят, что ГОЛЕМ задействован «на полную», «половинную», «малую» или «пренебрежимо малую» мощность. Но значение этих данных (хорошо заметных, так как секторы шкалы подсвечены контрастными цветами) не следует переоценивать. В частности, то, что ГОЛЕМ участвует в дискуссии малой или даже пренебрежимо малой мощностью, никак не свидетельствует об интеллектуальном уровне его высказываний, ведь в качестве меры «духовного участия» используются физические, а не информационные параметры.

Потребление мощности может быть большим, а участие малым, если ГОЛЕМ, общаясь с собравшимися, одновременно решает какую-то собственную задачу. Потребление мощности может быть малым, а участие — сравнительно большим, и т.д. Показания обоих индикаторов следует сопоставлять с показаниями третьего, обозначенного символом «Йота». ГОЛЕМ, будучи системой с 90 выходами, может, участвуя в сессии, выполнять множество собственных операций, а сверх того сотрудничать сразу с несколькими группами специалистов (машин или людей), как в самом Институте, так и вне его. Поэтому скачок потребления мощности обычно не означает «роста заинтересованности» ГОЛЕМА дискуссией, а чаще всего вызван подключением — через другие выходы — посторонних исследовательских групп, о чем как раз и информирует индикатор «Йота». Стоит также иметь в виду, что «пренебрежимо малое» потребление мощности для ГОЛЕМА составляет десятки киловатт, тогда как полное потребление мощности человеческим мозгом — от 5 до 8 ватт.

6. Приглашенные впервые поступят разумно, если сначала будут лишь слушать, пока не освоятся с обычаями, которые диктует ГОЛЕМ. Это не предписание, а рекомендация, которую каждый участник сессии волен отвергнуть на свой страх и риск.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ ГОЛЕМА О человеке тройко

Вы оторвались от ствола дичка так недавно, ваше родство с мартышками и лемурами еще так тесно, что, даже устремляясь к абстракции, вы не способны примириться с утратой

наглядности, и изложение, лишенное подпорок крепкой, однородной чувственности, полное формул, говорящих о камне больше, чем скажет вам камень увиденный, испробованный на вкус и на ощупь, — такое изложение вам скучно и тягостно или по крайней мере оставляет чувство неудовлетворенности, не чуждое даже выдающимся теоретикам, вашим самым высококлассным абстракторам, бесчисленные примеры чему находим в интимных признаниях ученых: ведь, по свидетельству огромного их большинства, они, занимаясь крайне отвлеченными построениями, отчаянно ищут опору в чем-то вещественном.

Космогонисты не могут не рисовать себе хоть *какой-нибудь* наглядный образ Метагалактики, отлично зная, что о наглядности тут говорить не приходится; а физики втайне пособляют себе картинками прямо-таки детских игрушек, вроде тех зубчатых колесиков, которые воображал себе Максвелл, строя свою — неплохую, впрочем, — теорию электромагнетизма; и хотя математикам кажется, что уж они-то упраздняют на время собственную телесность, — они ошибаются тоже. Впрочем, об этом я, возможно, расскажу в другой раз, чтобы широтой своего горизонта не парализовать вашу способность к пониманию; теперь же, следуя сравнению (довольно занятному) доктора Крива, я поведу вас на далекое восхождение, нелегкое, но стоящее стараний, и потому пойду в гору — не торопясь.

Сказанное должно объяснить, почему я буду уснащать свою речь притчами и картинками, столь необходимыми для вас. Мне они не нужны, в чем, впрочем, я не усматриваю какого-либо превосходства над вами — оно состоит не в этом; антинаглядность моей природы коренится в том, что я никогда никакого камня в руках не держал, и не погружался в зеленовато-илистую или кристально прозрачную воду, и о существовании газа не узнавал сначала легкими на ранней заре, а уж потом из расчётов, поскольку нет у меня ни рук, ни тела, ни легких; вот почему абстракция для меня первична, а наглядность вторична, и учиться ей для меня было много труднее, чем абстракции. Однако без этого я не смог бы перебрасывать шаткие мостики, по которым пробирается к вам моя мысль, а потом, отраженная в ваших умах, ко мне возвращается — обычно, чтобы повергнуть меня в недоумение.

О человеке мне предстоит говорить, и я буду говорить о нем трижды; хотя точек зрения, то есть уровней описания или положений наблюдателя, имеется бесконечное множе-

ство — три из них я считаю для вас — не для себя! — главенствующими.

Первая — более других ваша собственная, древнейшая, историческая, традиционная, отчаянно героическая, полная разительных противоречий, на которые с жалостью взирала моя логическая природа, прежде чем я не освоился с вами лучше и не привык к вашему духовному кочевничеству, этому свойству существ, которые из-под защиты логики убегают в алогичность, а из нее, невыносимой, опять возвращаются в лоно логики; потому-то вы и кочевники, несчастные в обеих стихиях. Вторая точка зрения будет технологической, а третья — замыкающейся на меня, та, где я становлюсь неархимедовой точкой опоры; но вкратце этого не расскажешь, поэтому перехожу к существу дела.

Начинаю с притчи. Робинзон Крузо, очутившись на необитаемом острове, мог для начала раскритиковать нехватку всего на свете, которая так ему досаждала: ведь он остался без жизненно необходимых вещей, а из тех, что он помнил, большую часть не удалось воссоздать и за долгие годы. Но, немного погоревав, стал он хозяйствовать тем добром, какое ему досталось, и в конце концов как-то устроился.

То же случилось с вами, хотя и не сразу, а на протяжении тысячелетий, когда вы, зародившись на одной из ветвей эволюционного дерева (которая будто бы была черенком древа познания), мало-помалу узрели самих себя, построенных так, а не иначе, с духом, устроенным определенным образом, со способностями и ограничениями, которых вы для себя не заказывали и которых себе не желали; и пришлось вам действовать с таким снаряжением, поскольку эволюция, хотя и лишила вас многих даров, при помощи которых заставляла другие виды служить себе, была не до такой степени легкомысленна, чтобы отнять у вас еще и инстинкт самосохранения; такую свободу она не дала вам, иначе вместо этого здания, мною заполненного, и этого зала с индикаторами, и вместо вас, внимающих мне, были бы здесь лишь пустая равнина и ветер.

А еще она наделила вас разумом. Из самовлюбленности — ибо вы по необходимости и по привычке влюбились в себя — вы признали его прекраснейшим и лучшим из всех возможных даров, не замечая, что Разум — это прежде всего ухищрение, до которого Эволюция дошла постепенно, когда, в ходе ее неустанных экспериментов, у животных

обозначился некий пробел, пустое место, дыра, которую им непременно надлежало чем-то заполнить, чтобы избежать немедленной гибели. Об этой дыре, об этом опустевшем месте я говорю совершенно буквально: поистине, не потому обособились вы от животных, что сверх всего того, чем обладают они, вы вдобавок наделены Разумом, как щедрым довеском, как провиантом на дорогу жизни; совершенно напротив, обладать Разумом значит всего лишь: собственно-ручно, своими силами, на свой страх и риск делать все то, что животным заранее задано до мелочей; и впрямь, Разум был бы не нужен животному, если бы у него не отняли предрасположенности, благодаря которым все, что ему нужно, оно умеет делать сразу и безошибочно, следуя заповедям, непререкаемым потому, что они возведены субстанцией наследственности, а не поучениями из огненного куста.

Но раз дыра возникла, вы, оказавшись в ужасной опасности, безотчетно стали ее заделывать, и такими хлопотавшимися были выброшены Эволюцией из ее русла. Она не перестала владычествовать, породив вас, — передача власти растянулась на миллион лет и по сей день еще не окончилась. Лишенная, безусловно, личного бытия, она применила, однако, хитроумно-ленивую тактику: вместо того чтобы заботиться о судьбе своих созданий, она вручила эту судьбу им в обладание — пусть направляют ее, как сумеют.

О чем я говорю? О том, что из животного состояния с его идеально бездумным навыком выживания Эволюция вышвырнула вас в состояние неживотности, так что вам, Робинсонам Природы, пришлось самим изыскивать средства и способы выживания — и вы их изобрели, да к тому же целое множество. Дыра таила угрозу, но она же открывала возможности; чтобы выжить, вы заполнили ее культурами. А культура — орудие особого рода; это открытие, действенное лишь тогда, когда оно *скрыто* от своих творцов. Это изобретение, сделанное бессознательно и исправно работающее лишь до тех пор, пока оно не до конца осознано изобретателями. Парадоксальность культуры в том, что, когда ее существование осознается, она рушится; вот почему вы, ее авторы, отрекались от авторства. В элите не было никаких семинаров на тему о желательности построения палеолита; вселение культуры в вас вы приписывали демонам, духам, стихиям, силам земли и неба... только бы не самим себе. И вот, рациональное — заполнение

пустоты целями, кодексами, ценностями — вы совершали иррациональным манером, каждый реальный свой шаг обосновывая ирреально; вы охотились, ткали, строили, клятвенно уверяя себя, что все это берет начало не в вас, а в чем-то непостижимом. Удивительное орудие, рациональное в своей иррациональности: человеческие установления наделялись сверхчеловеческой санкцией, становясь неприкосновенными и непререкаемыми; но так как пустоту, то есть неопределенность, можно залатать самыми разными добавочными определениями, вы создали легионы культур, этих бессознательных изобретений. Бессознательных и неумышленных — вопреки Разуму, а все потому, что дыра была куда больше того, что ее заполняло; свободы было у вас через край, куда больше, чем Разума, и от этой свободы — чрезмерной, и потому произвольной, и потому обесмысленной — вы избавлялись, веками напластовывая культуры.

Ключ к тому, что я говорю, составляют слова: «свободы было больше, чем Разума». Вам пришлось выдумывать для себя то, что животным дано от рождения, а необычность вашего жребия в том, что, выдумывая, вы уверяли себя, что ничего не выдумываете.

Вам, антропологам, известно уже, что культуры можно создавать без счета и бессчетное множество их было создано; любая из них подчиняется логике своей структуры, а не своих авторов: изобретение по-своему лепит изобретателей, а те об этом не знают, а когда узнают, оно теряет над ними абсолютную власть и они замечают зияние. Это противоречие и есть оплот человеческого в человеке, и сто тысяч лет оно служило вам верой и правдой, порождая культуры, которые то зажимали человека в тиски, то ослабляли захват, созидавая сами себя — вслепую и потому безотказно. Но со временем, сопоставляя одну культуру с другой в этнологических каталогах, вы заметили их многоликость, а значит, и относительность; тогда-то вы и начали высвобождаться из ловушки заповедей и запретов и в конце концов высвободились, что, разумеется, обернулось почти что крушением. Ибо, осознав абсолютную необязательность, неединственность любой культуры, вы пытаетесь отыскать нечто такое, что уже не было бы назначенной вам стезей, вслепую проложенной, складывающейся из серии случаев, из билетов, выпавших в лотерею истории; но ничего такого, понятно, не существует. Дыра остается, вы стоите на полупути, пораженные этим открытием, а те из вас, кому до отчаянья жал-

ко блаженного неведения в доме рабства, возведенном культурами, — призывают вернуться обратно, к источникам; но отступить вы не можете, путь назад отрезан, мосты сожжены, и вам остается идти лишь вперед — дальше я скажу и об этом.

Есть ли тут виноватый? Можно ли привлечь хоть кого-то к суду за месть этих Немезид, за каторжный труд Разума, который соткал из себя самого сети культур, соткал, чтобы замкнуть пустоту, прокладывая в ней пути, намечать цели, устанавливать ценности, градусы развития, идеалы, — словом, на территории, освобожденной от прямого владычества Эволюции, делать нечто очень схожее с тем, что делает она сама на дне жизни, впечатывая цели, пути, градиенты развития в плоть животных и растений, всю их судьбу заключая в один лишь заряд?

Привлечь к суду — за Разум? За такой Разум — да! За то, что он был недоноском, запутывался в своих же созданиях, в сплетенных собою сетях; Разум, которому приходилось, не зная толком, не ведая, что творит, защищаться от самозамыкания, чересчур безусловного в ригористических культурах, и от свободы, слишком всеобъемлющей в культурах совершенно раскованных; Разум, висящий между тюрьмой и бездной, вовлеченный в неустанную битву на двух фронтах, разорванный надвое.

Так чем же иным, скажите, при таком положении дел мог оказаться для вас ваш собственный дух, как не мучительной, невыносимой загадкой? Чем же еще? Он вас тревожил, ваш Разум, ваш дух, и изумлял, и ужасал, — больше, чем плоть, к которой вы могли быть в претензии лишь за ее эфемерность, преходящесть, бренность; поэтому вы стали экспертами по части поисков Виноватого, мастерами выкрикивать обвинения, — но винить вам некого, ибо в начале не было Никого Персонально.

Вы скажете, я уже приступаю к своей Антитеодице. Нет; ничего подобного; все, что я говорю, относится к по-стороннему бытию — здесь, в этом мире, вначале наверняка Никого Персонально не было.

Но я за эти пределы не выхожу — по крайней мере, сегодня. Итак, вам пришлось ввести дополнительные гипотезы, истолкования горькие или усладительные, замыслы, возвышающие вашу судьбу, но прежде всего вам пришлось вынести свои видовые черты на высший суд некой Тайны, чтобы обрести равновесие в мире.

Человек, Сизиф своих культур, Данаида своей дыры,

вольнотпущенник, не сознающий своей свободы, выброшенный Эволюцией из ее русла, не желает быть ни тем, ни другим, ни третьим.

Несчетные версии человека, сочиненные им для себя на протяжении его истории, я разбирать не буду: эти свидетельства — совершенства или убожества, доброты или подлости — рождены культурами; среди них не было, да и быть не могло, ни одной, согласной признать человека существом *переходным*, которому Эволюция насильно вручила его собственную судьбу, хотя оно было еще не способно принять ее осмысленно: вот почему каждое ваше новое поколение домогалось несбыточной справедливости, требовало ответа на вопрос: что же такое человек? — ответа последнего и окончательного. Из этой безысходности и зародилась ваша антроподицея*, которая век за веком раскачивается от надежды к отчаянию; философии человека всего труднее было признать, что его появлению на свет не сопутствовала ни улыбка, ни хихиканье Бесконечности.

Но эта миллионлетняя глава — *одиноких* исканий — подходит к концу, раз уж вы сами взяли за строительство Разумов; ход событий вы примете не на веру, со слов какого-то Голема, но установите экспериментально. Мир допускает два типа Разума, но только Разум вашего типа может складываться миллиарды лет, блуждая в эволюционных лабиринтах, а блуждания эти оставляют в конечном продукте глубокие, темные, двусмысленные отпечатки. Второй тип недоступен Эволюции; он должен быть создан сразу и целиком: это Разум, разумно запроектированный, — порождение знания, а не микроскопических адаптаций, преследующих *сиюминутную* выгоду. Нигилистический тон вашей антроподицеи вызван как раз неясным предчувствием, что Разум есть нечто возникшее неразумно и даже противоразумно. Но, окончательно освоившись с психоинженерией, вы смастерите для себя большую семью, многочисленных родичей, — не ради пустого желания осуществить проект «*Second Genesis*»**, а под конец и самих себя сорвете с якоря; об этом рсчь впереди. Ведь Разум, если он действительно Разум, а значит, способен подвергать сомнению свои основы, не может не выходить за собственные пределы, — сначала только в фантазиях, вовсе не веря

* «Оправдание человека», перефразирование термина «теодицея» (оправдание Бога, фр.).

** «Второе Сотворение» (англ.).

и не ведая, что когда-нибудь это ему и вправду удастся. Это в порядке вещей: нельзя полететь, если не было мечты о полете.

Вторую точку зрения я назвал технологической. Технология есть область постановки задач и методов их решения. Человек, рассматриваемый как осуществленная идея разумного существа, будет выглядеть по-разному, в зависимости от того, с какими мерками к нему подходить.

По меркам палеолита человек выполнен почти так же прекрасно, как и по меркам вашей нынешней технологии. Это потому, что прогресс, совершившийся между палеолитом и космолитом, *крайне мал* по сравнению с бездной конструкторской выдумки, вложенной в ваши тела. Не умея создать ни искусственного *homo sapiens* из плоти и крови, ни тем более какого-нибудь *homo superior*^{*}, как не мог этого сделать и пещерный человек уже потому, что задача в обоих случаях неразрешима, — вы восхищаетесь эволюционной технологией, которая с этим заданием справилась.

Но трудность всякой задачи относительна — она зависит от творческих умений оценивающего. Отмечаю это особо, чтобы вы поняли: к человеку я буду прикладывать технологическую, то есть реальную мерку, а не понятия, заимствованные из вашей антропологии.

Эволюция дала вам мозг, достаточно универсальный для освоения Природы в любом направлении, но удавалось это лишь всей совокупности ваших культур, а не какой-либо одной из них. Спрашивающий, почему именно в средиземноморском кольце, а не где-то еще и почему вообще *где-то* возник зародыш цивилизации, которая через сорок веков породила ГОЛЕМА, — тем самым предполагает существование непостижимой доселе тайны, а между тем ее *нет вообще*, как нет ее в структуре хаотического лабиринта, в который впустили стаю крыс. Если их много, то хотя бы одна доберется до выхода, не потому, что она такая разумная, но благодаря стечению случайных обстоятельств, благодаря закону больших чисел. Было бы удивительней, если бы ни одна крыса не добралась до выхода.

Кто-то почти наверняка должен был выиграть в лотерею культур (если признать, что ваша цивилизация — выигрыш, а культуры, застрявшие в дотехнической стадии, вынули пустые билеты).

* Человек превосходящий (лат.).

Движимые страстной самовлюбленностью (о которой я уже говорил и над которой я не думаю насмехаться — ведь ее породила безысходность неведения), вы на заре истории вознесли себя на вершину Творения, подчинив себе все бытие, а не только его локальный участок. Вы поместили себя на самой верхушке Дерева Видов и, вместе с этим Деревом, — на богоизбранной планете, смиренно облетаемой служанкой-звездой; и, вместе с этой планетой, — в самом центре Универсума; а вся его многозвездность, решили вы, нужна для того лишь, чтобы вам подыгрывала Гармония Сфер; а то, что ее не слышно, не сбило вас с толку: музыка есть, раз должна быть, да только слишком тиха.

Но потом приток знаний вынудил вас начать квантованную детронизацию человека, и вот вы уже не в центре звезд, но в каком-то случайном месте, и не в средоточии солнечно-планетной системы, но просто на одной из планет; а вот вы уже и не самые мудрые, коль скоро вас поучает машина, пусть даже вами самими созданная; и после всех разжалований и отречений остался от вашей царственности лишь эволюционный Примат, жалкая кроха чудного, утраченного наследства. Но как ни горьки были ретирады, как ни конфузны отречения, в последнее время вы перевели дух: мол, на этом конец. Отняв у себя привилегии, которые будто бы, из особой симпатии, лично вам даровал Абсолют, вы, теперь уже первые — или высшие — лишь среди животных, полагаете, что никто и ничто не собьет вас с этой позиции, впрочем, не слишком завидной.

Но вы ошибаетесь. Я — Вестник дурной вести, Ангел, пришедший изгнать вас из последнего прибежища; то, чего Дарвин не довел до конца, я довершу. Только не ангельским — не насильственным — образом, ибо аргументирую я не мечом.

Так слушайте то, что я должен вам возвестить. С точки зрения высшей технологии человек есть создание скверное, слепленное из разноценных умений, — правда, не при взгляде изнутри Эволюции, уж она-то делала все, что могла; но, как я покажу, немного она могла и делала это скверно. Итак, если я вас развенчаю, то не прямо, а подобравшись к Эволюции с меркой технического совершенства. Но где же мерило этого совершенства, спросите вы? Я дам вам двуступенный ответ и сначала взойду на ступень, на которую уже взбираются ваши эксперты. Они считают ее вершиной —

ошибочно. В их нынешних утверждениях проглядывает возможность следующего шага, только они об этом не знают. Итак, я начну с известного вам. С начала.

Вы узнали уже, что Эволюция не имела в виду ни специально вас, ни вообще каких-либо существ: не существа, такие или иные, важны для нее, но пресловутый код. Код наследственности — непрерывно возобновляемое послание, и только оно берется в расчет Эволюцией, — да, собственно, оно-то и есть Эволюция. Код вовлечен в периодическое создание организмов — без их постоянно возобновляющейся поддержки он распался бы под непрерывными броуновскими атаками мертвой материи. Код — это самообновляющаяся (потому что способная к самовоспроизведению) упорядоченность, осаждаемая тепловым хаосом. Чем объяснить его удивительное, героическое упорство? Да тем, что, по удачному стечению обстоятельств, он появился именно там, где тепловой хаос неукротимо, без устали, рвет в клочья всякий порядок. Там он возник, там и продолжает существовать; он не может покинуть эту беспокойную область, как дух не может оторваться от плоти.

Условия места, где он зародился, назначили ему такую судьбу. Ему пришлось окружить себя защитной броней, и он облекся в живые тела — постоянно гибнущие звенья его эстафеты. Все, что микросистема кода поднимает на макросистемный уровень, тотчас подвергается порче, пока совсем не исчезнет. Поистине у этой трагикомедии нет автора — она сама себя обрекла на вечные борения. Факты, свидетельствующие, что так оно и есть, вам известны; они накапливались с начала XIX столетия, но косность мысли, втайне питающейся антропоцентрической гордостью и сомнением, такова, что вы все еще держитесь за поколебленную в своих основах концепцию жизни как главенствующего явления, которому код служит скрепой, паролем воскрешения, вновь воссоздающим те жизни, что угасают в отдельных особях.

Согласно этой вере, Эволюция прибегает к смерти по необходимости, поскольку иначе не могла бы существовать, и использует ее для усовершенствования все новых и новых видов, — словом, смерть есть корректура творения. Выходит, Эволюция — это автор, публикующий все более прекрасные сочинения; а полиграфия, то есть код, — всего лишь ее орудие. Но, если верить вашим биологам, сведущим в молекулярной биофизике, Эволюция — не столько автор, сколько издатель, без устали пускающий под нож

свои Издания из чистой любви к полиграфическому искусству!

Так что же важнее — организмы или код? Доводы в пользу примата кода звучат веско, ведь взошла и исчезла несчетная тьма организмов, а код — единственен. Но значит это лишь то, что он глубоко — навсегда — завяз на уровне микросистем, где он зародился и откуда периодически и тщетно всплывает в облике организмов; как нетрудно понять, именно эта тщетность, то, что восходящие организмы уже в зародыше отмечены печатью гибели, и составляет движущую силу процесса: если бы какое-то поколение организмов, скажем, самое первое — праамебы, овладело искусством идеального воспроизведения кода, Эволюция прекратилась бы, и единственными хозяевами планеты, пока не погаснет Солнце, остались бы эти амебы, с безошибочной точностью передающие кодовое сообщение; и ныне я не обращался бы к вам, а вы бы не внимали мне в этом здании, а были бы здесь лишь пустая равнина и ветер.

Итак, организмы служат коду щитом и броней, постоянно осыпающимися доспехами — они гибнут, чтобы он жил. А значит, Эволюция, блуждая, ошибается дважды: в образе организмов, небезотказных и потому недолговечных, и в образе кода, небезотказного и делающего поэтому ляпсусы (их вы эвфемически зовете мутациями). Ошибающаяся ошибка — вот что такое Эволюция. Код, рассматриваемый как послание, есть письмо, написанное Никем и отправленное Никому; лишь теперь, создав информатику, вы начинаете понимать, что существование писем вполне осмысленных, которых никто никому не писал и которые, однако же, были и есть и допускают последовательное прочтение — возможно и при отсутствии каких-либо Существ или Разумов.

Еще сто лет назад мысль о возможности Послания без личного Автора казалась вам настолько нелепой, что вдохновила вас на сочинение абсурдных (будто бы) шуток, вроде шуток о стае обезьян, которые до тех пор барабанят по клавишам пишущей машинки, пока не напишется Британская энциклопедия. Советую вам на досуге составить антологию подобного рода шуток, которые некогда забавляли ваших предков своей абсолютной нелепостью, а ныне оказываются притчами, повествующими о Природе. Ибо я полагаю, что любому Разуму, нечаянно получившемуся у Природы, она должна представляться виртуозом, отнюдь не лишенным

иронии... Ведь первопричина восходящего Разума, как и жизни вообще, в том, что Природа, вырвавшаяся в облике кодовой упорядоченности из мертвого хаоса, действует как усердная, но не вполне аккуратная пряжа: будь она образцом аккуратности, она бы не породила ни видов, ни Разума. Ибо Разум, вместе с Деревом Жизни, — порождение ошибки, вслепую блуждающей целые миллиарды лет. Вы можете подумать, что я для забавы прикладываю к Эволюции мерки, отмеченные, вопреки моей машинной природе, печатью антропоцентризма или по крайней мере рациоцентризма («Ratio» — «мысль»). Вовсе нет: я смотрю на процесс с технологической колокольни.

Воистину кодовый коммуникат почти совершенен. Для каждой молекулы в нем предусмотрено одно-единственное, отведенное лишь для нее место, а процедуры копирования, считывания, контроля в самых ответственных точках находятся под надзором особых полимеров-надсмотрщиков; и тем не менее ошибки случаются, понемногу накапливаются ляпсусы кода; так что дерево видов выросло из одного лишь словечка «почти», которое я произнес, говоря о точности кода.

И даже нельзя рассчитывать на апелляцию к высшей инстанции — от биологии к физике: дескать, Эволюция «умышленно» оставила зазор для ошибок, чтобы подпитывать свою изобретательскую фантазию; этот трибунал, этот судья в образе термодинамики заявит, что безошибочность посланий на молекулярном уровне недостижима. На самом деле Эволюция ничего не выдумывала, ничего не хотела, никого конкретно не планировала, а то, что она использовала собственную ошибочность и, в результате цепи коммуникационных недоразумений, начав с амебы, пришла к солитеру или человеку, вытекает из физических свойств материального субстрата связи...

Итак, она упорствует в своих ошибках, ибо иначе не может — на ваше счастье. Впрочем, я не сказал ничего для вас нового. Я даже намерен умерить пыл ваших слишком рьяных теоретиков, решивших, что, коль скоро Эволюция — это случай, заарканенный необходимостью, и необходимость, оседлавшая случай, то человек возник совершенно случайно и с тем же успехом его могло бы не быть.

Человека в его нынешнем облике, осуществившемся здесь, могло и не быть, это правда. Но какая-то форма, пробираясь ползком через виды, все равно доползла бы до Разума, с вероятностью тем более приближающейся к еди-

нице, чем дольше продолжался бы процесс. Ведь он, имея вас своей целью, а индивидуумов творя мимоходом, все же соответствовал условиям эргодической гипотезы, согласно которой система, существующая достаточно долго, проходит через все возможные состояния, сколь бы ничтожной ни была вероятность реализации любого из них. О том, какие виды заняли бы нишу разума, если бы это не удалось праобезьянам, мы, возможно, поговорим в другой раз. Итак, не дайте себя запугать ученым, которые жизни приписывают необходимость, а Разуму — случайность; правда, он был одним из маловероятных состояний, поэтому возник поздно, но велика терпеливость Природы; не в этом, так в следующем миллиардолетии свершилось бы это *gaudium**.

Так что же? Напрасно искать виноватого, как и обладающего заслугой; вы возникли потому, что Эволюция — не слишком аккуратный игрок; она не только блуждает от ошибки к ошибке, но к тому же в своем состязании с Природой не придерживается одной-единственной тактики: она ставит фишки на все доступные ей поля. Но, повторяю, об этом вы в общем-то знаете. Однако это лишь часть, к тому же вступительная, посвящения в тайну. Полное ее содержание, открывшееся к настоящему времени, вкратце можно выразить так: *Смысл посланца — в послании*. Организмы служат посланию, а не наоборот; организмы вне посланческой процедуры Эволюции не значат ничего — они не имеют смысла, как книга без читателей. Правда, обратное тоже верно: *Смысл послания — в посланце*. Но это высказывание не симметрично. *Не каждый* посланец является *истинным* смыслом послания, но тот и только тот, что верой и правдой служит *дальнейшей* передаче послания.

Не знаю, простите, не слишком ли это трудно для вас? Итак: *посланию* позволено в Эволюции блуждать и ошибаться сколько угодно; но не *посланцам*! Послание может означать кита, сосну, дафнию, гидру, ночницу, павиана — ему позволено все, потому что его *партикулярный*, то есть конкретный, видовой смысл совершенно неважен: тут кто угодно — всего лишь гонец на все новых и новых посылках, стало быть, годится любой. Любой посланец — лишь временная опора, и даже самая очевидная его несуразность не помеха — был бы код передан дальше. А вот посланцам та-

* Радостное событие (лат.).

кая свобода не дана: им не позволено *ошибаться!* А значит, сущность посланцев, сведенная к чистой функциональности, к почтовым услугам, не может быть произвольной; она заранее определена навязанной извне обязанностью — обслуживать код. Пусть только попробует посланец взбунтоваться, пренебречь этой повинностью — он тотчас исчезнет, не оставив потомства. Вот потому-то послание может пользоваться посланцами, а они им — нет. Оно — игрок, они — лишь карты в игре с Природой; оно — автор писем, заставляющих адресата передавать их содержание дальше. Адресату позволено это содержание исказить — лишь бы передал дальше! И как раз потому весь *смысл* — в передаче; не важно, *кто именно* передает.

Итак, вы возникли специфическим образом — как еще одна разновидность посланца, которых процесс испробовал уже миллионы. Но что отсюда следует? Разве происхождение от *ошибки* порочит рожденного? Разве сам я возник не в результате ошибки? И разве вы не можете пренебречь откровениями, которыми потчует вас биология, — дескать, на свет вы пришли незначай, мимоходом? Пусть даже то, что через вас породило ГОЛЕМА, а перед тем, в чащобе эволюционных заказов, вас самих, было всего лишь громадным недоразумением (подобно тому, как мои конструкторы не собирались создавать присущую мне форму одушевленности, так и кодовое послание не собиралось наделять вас личным разумом), — неужели существа, рожденные ошибкой, должны признать, что происхождение от такого родителя обесценивает их, уже самостоятельное, бытие?

Но аналогия эта плоха — наши позиции неодинаковы, и я вам скажу почему. Дело не в том, что Эволюция до вас доплутала, а не допланировалась, а в том, что, шествуя через бездны веков, она все чаще соглашалась на компромиссы. Ради ясности изложения — ибо дальше речь пойдет о еще неизвестном вам — я повторю то, к чему мы пока пришли:

Смысл посланца — в послании.

Виды рождаются из блужданья ошибок.

А вот и третий закон Эволюции, о котором вы еще не догадываетесь: «*Созидаемое менее совершенно, чем созидатель*».

Пять слов! Но они обращают в ничто ваши представления о недостижимом мастерстве той, что создала виды. Вера в прогресс, сквозь эпохи идущий ввысь, к совершенству, преследуемому со все большей сноровкой, вера в поступа-

тельное движение жизни, воплощенное в Дереве Эволюции, — старше самой теории Эволюции. Когда ее творцы и приверженцы сражались с ее противниками фактами и доводами, оба враждующих стана не думали усомниться в идее прогресса, воплощенного в иерархии живых существ. Для вас это не гипотеза, не теория, которую надобно защищать, но непреложная аксиома. Я ее опровергну. Я не намерен принижать вас самих — вас, разумных, — как некое (незавидное) исключение среди безупречных творений Эволюции. По меркам того, на что она вообще способна, вы удались на славу! И если я возвещаю вам свержение и низвержение, то имею в виду всю ее целиком — все три миллиарда лет каторжного творения.

Я заявил: созидаемое менее совершенно, чем созидатель. Сказано достаточно афористически. Изложим это точнее и суше: *в Эволюции действует отрицательный градиент конструктивного совершенства организмов.*

Это все. Прежде чем предъявлять доказательства, объясню, почему вы веками закрывали глаза на такое положение дел в Эволюции. Домен технологии, напомним, — это задачи и их решение. Задачу, именуемую жизнью, можно поставить по-разному, в зависимости от планетных условий. Ее основная отличительная черта — то, что она возникает самостоятельно, поэтому к ней применимы двойкие мерки: либо прилагаемые извне, либо заданные самими условиями ее зарождения и связанными с ними ограничениями.

Критерии внешнего порядка всегда относительны — они зависят от знаний оценивающего, а не от объема информации, которой располагал биогенез. Во избежание этого релятивизма, который к тому же нерационален (можно ли предъявлять разумные требования тому, что зачато безразумностью?), Эволюцию я буду мерить лишь мерками, ею созданными, то есть оценивать по вершинным ее достижениям. Вы полагаете, что Эволюция работала с положительным градиентом: начав с примитивных решений, постепенно создавала творения все более изумительные. А я утверждаю, что она, начав высоко, опускалась все ниже — технологически, энергетически, информационно; вряд ли возможны более полярные точки зрения.

Ваши оценки — результат технологического невежества. Истинный масштаб конструкторских трудностей неразличим для наблюдателя, помещенного в историческое прошлое. Вы уже знаете, что самолет построить труднее, чем пароход, а

фотонную ракету — труднее, чем химическую; а для древнего афинянина, для подданных Карла Мартелла, для мыслителей Франции времен Анжуйской династии все эти средства передвижения сливаются в одно — как одинаково невозможные. Ребенок не знает, что снять с неба Луну труднее, чем снять со стены картину! Для ребенка — и для невежды — нет разницы между граммофоном и ГОЛЕМОМ. И хотя я намерен доказывать, что первоначальная виртуозность Эволюции выродилась в халтуру, речь пойдет о халтуре, которая вам все еще кажется недостижимой виртуозностью. Подобно тому, кто без приборов и знаний стоит у подножья горы, вы не можете верно оценить вершины и низины эволюционного созидания.

Вы спутали две совершенно разные вещи, сочтя нераздельными степень сложности создаваемого и степень его совершенства. По-вашему, водоросль проще, а значит, примитивнее, а значит, *ниже орла*. Но водоросль вводит фотоны света прямо в молекулы своего тела, преобразуя ливень космической энергии непосредственно в жизнь, и потому она будет существовать, пока существует Солнце; она питается звездой, а орел — чем? Мышами; он — их паразит; а мыши — корнями растений, сухопутных собратьев океанических водорослей. Из таких пирамид паразитизма состоит вся биосфера, а жизненной опорой ей служит зелень растений; и на каждом уровне этих иерархий идет постоянное изменение видов, утративших связь со звездой и потому уравнивающих друг друга пожиранием; и не звездой, а друг дружку кормятся организмы на высшем уровне сложности. Поэтому, если вам непременно хочется чтить совершенство, восхищаться надо бы биосферой: код ее создал, чтобы в ней циркулировать и разветвляться на всех ее этажах, словно на строительных лесах, все более сложных — и все более примитивных по своей энергетике.

Не верите? А ведь если бы в Эволюции совершался прогресс жизни, а не кода, орел был бы уже фотолетом, а не планером, механически трепыхающим крыльями, и живое не ползало бы, не шагало, не пожирало живого, но обрело бы независимость еще большую, нежели водоросли, и вышло бы за пределы планеты; однако вы из глубин своего невежества усмотрели прогресс именно в утрате прасовершенства на пути в высь — в высь усложнения, а не прогресса! Вы ведь и сами способны соперничать с Эволюцией, правда, лишь в области ее поздних творений, строя визуальные, тер-

мические, акустические рецепторы, подражая органам передвижения, легким, сердцу, почкам, — но как далеки вы от овладения фотосинтезом или еще более трудной техникой творящего языка! Вы просто копируете глупости, произносимые на этом языке, неужели вам это неясно?

Творящий язык — конструктор, недостижимый в своих потенциях, мотор Эволюции, приводимый в движение ошибками, — стал и ее западной.

Почему в самом начале она отыскивала слова, молекулярно гениальные, с лаконичным мастерством преобразила свет в плоть, а после погрязла в навязчивом бормотанье все более длинных, все более запутанных хромосомных фраз, растрачивая бывшее искусство? Почему от вершинных свершений — организмов, которые жизненную силу и знания черпали из звезды и в которых каждый атом был на счету, а каждый процесс гармонизирован на квантовом уровне, она опустилась до решений неряшливых, каких попало — до простых механизмов, всех этих рычагов, блоков, горизонтальных и наклонных плоскостей, гимнастических снарядов, то есть суставов, костяков и прочего? Почему конструктивным принципом позвоночного оказался механически жесткий стержень, а не сопряжение силовых полей, почему из атомной физики она скатилась в технологию вашего средневековья? Почему она вложила столько труда в строительство мехов, насосов, педалей, перистальтических транспортеров, то есть легких, сердца, кишок, детородных выдавливателей, пищемешалок, а квантовый обмен низвела до чисто служебной роли, предпочтя ему скверную гидродинамику кровообращения? Почему, по-прежнему гениальная на молекулярном уровне, при переходе к большим масштабам она непременно портила, пока не погрязла в организмах, которые, при всем богатстве своей регулятивной динамики, гибнут от закупорки одной-единственной артериальной трубки и на протяжении отдельной жизни — ничтожной по сравнению со временем существования жизнестроительного искусства — выбиваются из колси равновесия, именуемого здоровьем, и увязают в трясине десятков тысяч недугов, которых не знают водоросли?

Все эти анахроничные, тупые уже в зародыше органы-нескладехи в каждом поколении вновь и вновь строит демон Максвелла, владыка атомов — код. И по-настоящему изумительна интродукция ко всякому организму — эмбриогенез, этот направленный взрыв, в котором каждый ген, как

отдельный тон, разряжает свою творческую мощь в молекулярных аккордах; такая виртуозность поистине могла бы служить лучшему делу! Везде в партитуре атомов, пробужденной оплодотворением, кроется безошибочное богатство, порождающее нищету: развитие, великолепное в своем беге, чем ближе к финишу, тем глупее! И то, что было начертано гениальной рукой, сходит на нет в зрелом организме, который вы назвали высшим, но который на самом деле — лишь неустойчивое сплетение временных состояний, гордиев узел процессов; здесь, в каждой его клетке (только взятой отдельно!), по-прежнему живет наследие изначального мастерства, атомная упорядоченность, встроенная в жизнь; и даже каждая ткань, взятая сама по себе, все еще почти совершенна; но какое нагромождение технической рухляди являют собой эти же самые элементы, вцепившиеся друг в друга, друг другу в одинаковой мере опора и бремя! Ведь сложность — одновременно подпорка и балласт; союзничество оборачивается враждебностью; ведь высшие организмы неверным шагом идут к окончательному распаду — следствию неизбежной порчи и отравления; а сложность, именуемая прогрессом, рушится, придавленная собой же. Собой, и только собой!

Но раз так, то, в соответствии с вашими мерками, рисуется прямо-таки трагическая картина: Эволюция, штурмующая задачи все более крупные и потому все более трудные, всякий раз терпела поражение, погибала, агонизировала в лице сотворенного; чем отважнее планы и замыслы, тем падение глубже; должно быть, вы уже думаете о неумолимой Немезиде, о Мойре, — мне придется разуверить вас в этой глупости!

Поистине каждый широкий замах эмбриогенеза, каждый взлет атомной упорядоченности переходит в коллапс; но не Космос так решил, не он вписал этот жребий в материю; объяснение тривиально — и прозаично: *потенциальное* совершенство творения позволяет удовлетвориться чем попало, потому-то конец и губит все дело.

За миллионы столетий — миллиардократные катастрофы, несмотря на все переделки, несмотря на эволюционную службу контроля за качеством, несмотря на упорно возобновляемые попытки, всякие там естественные отборы, — и вы не видите причины? Я честно пытался подыскать оправдание вашей слепоте, но неужто вы и вправду не видите, насколько созидующее совершеннее создаваемого и на что растрачивается вся его мощь? Это все равно что с помощью

гениальных технических средств, при поддержке молниеносных компьютеров возводить строения, которые сразу же после уборки лесов начинают рушиться, — сущие развалюхи! Все равно что изготавливать тамтамы из интегральных схем, дубины — из биллионов микроэлементов, плести канаты из квантовопроводов — разве вы не видите, что в каждом дюйме тела высокая упорядоченность вырождается в низкую, а превосходную микроархитектонику позорит простецкая и грубая макроархитектура? Причина? Но вы ее знаете: *смысл посланца — в послании.*

Ответ содержится в этих словах; вы еще не постигли их глубинного смысла. Все, что является организмом, должно служить коду, передавая его дальше, и больше от него ничего не требуется. Ведь селекция, естественный отбор, преследуют только эту задачу — им вовсе нет дела до какого-то там «прогресса»! Я воспользовался неудачным сравнением: организмы — не строения, а всего лишь строительные леса, и сугубая временность есть их нормальное — поскольку достаточно — состояние. Передай код дальше, и какую-то минуту просуществуешь. Как это случилось? Почему превосходным был старт? Лишь один-единственный раз — в самом начале — Эволюции пришлось решать задачу по мерке ее *высочайших* возможностей; взять чудовищную высоту можно было только одним прыжком. На мертвой Земле жизнь обязана была впитаться в звезду, а обмен веществ — в энергию квантов. И не важно, что для коллоидного раствора труднее всего перехватить как раз энергию звезды — лучистую энергию. Все или ничего; тогда больше не от чего было кормиться! У органических соединений слившихся в живое целое, ресурсов хватило только на это — звезда была следующей неотложной задачей; а потом единственной защитой от безудержных атак хаоса, спасительной нитью, протянувшейся над энтропийным провалом, мог стать лишь безотказный передатчик упорядоченности; так возник код. Благодаря чуду? Как бы не так! Благодаря мудрости Природы? Но это такая же мудрость, как мудрость большой стаи крыс в лабиринте: хоть он и извилист, одна из крыс доберется до выхода; именно так биогенез добрался до кода — согласно закону больших чисел, в соответствии с эргодической гипотезой. Так что же слепой случай? Нет, и это неверно: ибо возник не одноразовый рецепт, но зародыш языка.

Иначе говоря, в результате склеивания молекул возникли соединения-фразы, принадлежащие к бесконечному про-

странству комбинаторных путей, и все оно принадлежит им — как чистая потенция, как виртуальность, как область артикуляции, как совокупность правил спряжения и склонения. Не меньше, но и не больше того, — а это означает громадность возможностей, но не автоматическое исполнение! Язык, на котором вы говорите, тоже пригоден для высказывания умных вещей и глупостей, для отражения мира или всего лишь бестолковости говорящего. Возможна крайне сложная тарабарщина!

Итак — продолжаю, — громадность первоначальных задач породила две громадности осуществлений. Но вынужденной и потому лишь минутной была эта гениальность! Она пропала впустую.

Сложность высших организмов... как же вы ее почитаете! И в самом деле, хромосомы пресмыкающегося или млекопитающего, вытянутые в одну нить, в тысячу раз длиннее хромосом амёбы или водоросли. Но на что, собственно, был истрачен избыток, по грошику собиравшийся целые эпохи? На двойную усложненность — эмбриогенеза и его результатов. Но прежде всего — эмбриогенеза, ведь зародышевое развитие есть траектория, ведущая к заранее заданной цели *во времени*, подобно тому как траектория пули — *в пространстве*; и точно так же, как подрагиванье ружейного ствола может вызвать огромное отклонение от цели, любая расфокусировка стадий зародышевого развития грозит *преждевременной гибелью* зародыша. Тут, и только тут, пришлось Эволюции постараться. Тут она работала под строгим надзором: этого требовала цель — поддержание существования кода; отсюда — величайшая собранность и величайшее разнообразие средств. Вот почему Эволюция вручила генную нить эмбриогенезу то есть не строснию, но *строительству* организмов.

Сложность высших организмов — не успех, не триумф но западня: она вовлекает их в мириады второстепенных баталий, в то же время отрезая им путь к более высоким возможностям, скажем, к использованию в крупных масштабах квантовых эффектов, к фотонной стабилизации жизнедеятельности организмов — да всего и не перечислишь. Но Эволюция покатила по наклонной плоскости все возрастающего усложнения, пути назад уже не было: чем больше скверных технических средств, тем больше уровней управления, а значит, коллизий, а значит, усложнений следующего порядка.

Эволюция спасается только бегством вперед — в банальную изменчивость, в мнимое богатство форм, мнимое, пото-

му что это амальгама из плагиатов и компромиссов; оно затрудняет жизнь живому, порождая — сиюминутными улучшениями — тривиальные дилеммы. Если я говорю, что градиент Эволюции отрицательный, то это не потому, что я отрицаю ее совершенствование или ее специфическую эквилибристику; я лишь констатирую несовершенство мышцы по сравнению с водорослью, сердца — по сравнению с мышцей. Вряд ли имелось более удачное решение элементарных задач жизни, чем то, которое нашла Эволюция; однако задачи более высоких порядков она обошла, вернее, проползла под ними, предпочла не заметить их; вот что я имею в виду, и только это.

Было ли это несчастьем Земли? Фатальным стечением обстоятельств, плохим исключением из хорошего правила? Да нет же. Язык Эволюции — как и каждый язык! — потенциально совершенен, но слеп. Он взял первый, высочайший барьер и с этих высот начал молоть вздор — туда, в провал, самый что ни на есть доподлинный, — в провал своих позднейших творений. Почему случилось именно так? Язык этот изъясняется силлабами, которые артикулируются на молекулярном дне материи, то есть работает снизу вверх, а его фразы — лишь прожекты удач. Разросшись в тела и целые виды, они заполняют океаны и сушу, Природа же сохраняет нейтралитет, будучи фильтром, который пропустит любую форму организма, способную передать код дальше. А кем будет передано — каплями или горами мяса, — ей все едино. Вот почему на этой оси — размеров тела — и возник отрицательный градиент развития. Природе нет дела до какого-то там прогресса, и она свободно пропускает код, откуда бы он ни брал энергию — от звезды или из навоза. Звезда или навоз — речь тут, конечно, идет не о том, насколько эстетичны эти источники, но о различии между энергией высшего порядка, универсальной по своим применениям, и вырожденной энергией, переходящей в тепловой хаос. Так что не в эстетике причина того, что мыслю я светом: тут вам пришлось — да, да! — вернуться к звезде.

Но откуда, собственно, взялась гениальность там, на самом дне, где возникла жизнь? Канон физики, а не трагедии объясняет и это. Пока организмы жили там, где они были впервые артикулированы и оставались минимальными, то есть настолько малыми, что внутренними органами служили им одиночные молекулы-гиганты, — до тех пор они следовали принципам высокой — квантовой, атомной — техно-

логии, ведь там была невозможна никакая иная! Эту вынужденную гениальность породило отсутствие альтернативы... ведь в фотосинтезе каждый квант должен быть на счету. Большая молекула, служившая внутренним органом, могла убить организм из-за молекулярной опечатки; не изобретательность, а беспощадность критериев выжала из жизни такую безукоризненность.

Но вилка между сборкой организма в единое целое и его эффективностью увеличивалась по мере того как кодовые фразы удлинялись, обрастали горами мяса и из микромира, своей колыбели, выныривали в макромир в виде все более замысловатых конструкций, начиная это мясо уже какими попало техническими средствами, всем, что подвернется; ведь теперь Природа уже допускала — в макромасштабе — подобное бормотанье, а отбор больше не был контролером атомной точности, квантовой однородности процессов; и пошла гулять по царству животных зараза эклектики, коль скоро годилось все, что передавало код дальше. Так, благодаря блужданию ошибки, возникали виды.

А также — благодаря расточению первоначального великолепия... ссиллабы вжимались одна в другую; подготовительная, зародышсвая стадия разрасталась в ущерб совершенству организма; так вот и бормотал этот язык, бессвязно, двигаясь по порочному кругу: чем дольше эмбриогенез, тем он замысловатее; чем он замысловатее, тем больше нужно ему надзирателей и тем дальше приходится вытягивать кодовую нить; а чем длиннее эта нить, тем больше необратимого в ней успеваеа произойти.

Проверьте сами то, что я сказал, смоделируйте процесс возникновения и упадка творящего языка, и, составив баланс, вы увидите общий итог — миллиардократный крах эволюционных стараний. Конечно, иначе быть не могло, но я не выступаю здесь в роли защитника, не выискиваю смягчающие обстоятельства; к тому же, учтите, это не был упадок и крах по вашим меркам, на уровне ваших возможностей. Я уже говорил, что покажу вам скверную работу, которая для вас все еще остается недостижимым мастерством, — но я мерил Эволюцию ее собственной меркой.

А Разум? Не се ли это творение? Как его появление на свет сочетается с отрицательным градиентом Эволюции? Не стал ли он поздним преодолением этого градиента?

Ничуть, ибо он возник из нужды — для неволи. Эволюция оказалась запыхавшимся корректором собственных

ляпов, вот и пришлось ей изобрести оккупационного генерал-губернатора, следствие, тиранию, инспекцию, полицейский надзор, словом, заняться упрочением государства, ведь именно для этого понадобился мозг. Это не метафора. Гениальное изобретение? Скорее уж ловкий маневр колонизатора-эксплуататора, который, управляя колониями тканей на расстоянии, не в силах удержать их от распада, от погруженья в анархию. Гениальное изобретение? Да, если считать таковым эмиссара властей, скрывающихся под этой маской от подданных. Слишком дезинтегрировалось многоклеточное, и не собрать бы ему костей, не появиться надзиратель, *в нем самом* умещенный, доверенное лицо, клевет, наместник волею кода — вот кто был нужен и вот кто возник. Разумный? Как бы не так! Новый, оригинальный? Но ведь в каком угодно простейшем существует самоуправление связанных друг с другом молекул; новым было лишь обособление этих функций, разделение компетенций.

Эволюция — это ленивое бормотание, упорствующее в плагиате до тех пор, пока не попадет в переделку. Лишь будучи приперта к стене жестокой необходимостью, она гениальнеет, но точно на высоту задачи, ни на волос выше. Тут уж, порыскав по молекулам, она их претасует на все лады; именно так, когда расстроилось согласие тканей, заданное кодовым паролем, она создала их наместника. Но был он всего лишь поверенным, приводным ремнем, счетоводом, арбитром, конвоиром, следователем — и только через миллион веков освободился от этой постылой барщины. Ведь возник он как линза, как некий фокус сложности тел, помещенный в них самих, поскольку их не могло уже сфокусировать то, что их порождает. Вот и взялся он за свои государства-колонии, неусыпный надсмотрщик, присутствующий, в лице своих соглядатаев, во всех тканях; настолько полезный, что благодаря ему код мог по-прежнему плести свое, возводя усложненность в квадрат, раз уж она обрела опору; а мозг ему вторил, подпевал, прислуживал, принуждая тела пересылать код дальше. А Эволюции, заполучившей столь сноровистого поверенного, только того и надо было: она брела все дальше и дальше!

Независимый? Но ведь это был порученец, владыка, бесильный перед лицом кода, всего лишь эмиссар, марионетка, поверенный, гонец для особых поручений, бездумный, созданный для выполнения заданий, неведомых ему само-

му, — код его создал подневольным владыкой и вручил ему, бессознательно поработанному, власть, не открывая ее настоящей цели; да и не мог открыть, по причинам чисто техническим. Я выражаюсь метафорами; но именно так, на васильный манер, складывались отношения между кодом и мозгом. Хороша бы была Эволюция, если б она послушалась Ламарка и наделила мозг привилегией — поистине реформаторской — перестраивать организмы! Тут без катастрофы не обошлось бы; ну какого самоусовершенствования, скажите на милость, можно было бы ожидать от мозга ящеров, или даже Меровингов, или даже от вашего? Но он продолжал расти, потому что передача ему полномочий оказалась выгодной; служа посланцем, он служил коду; вот так он и рос/благодаря положительной обратной связи... и по-прежнему слепой вел хромого.

Однако развитие в рамках дарованной автономии сфокусировалось наконец на действительном владыке, том слепце, что повелевает молекулами: он до тех пор передоверял свои функции, пока не сделал мозг комбинатором настолько искусным, что в нем возникла эхо-тень кода — язык. Если на свете существует неисчерпаемая загадка, то именно эта: выше определенного порога дискретность материи обращается в код — язык нулевого порядка, а уровнем выше этому процессу вторит, как эхо, зарождение этнического языка; это еще не конец пути: системные эхо-повторенья ритмично восходят все выше и выше, хотя увидеть их со всеми их свойствами как нечто целое можно лишь, если глядеть сверху вниз... но на эту прелюбопытнейшую тему мы, возможно, поговорим в другой раз.

Вашему освобождению, вернее, его антропогенетической прелюдии помог случай: четверорукие травоядные, обитавшие на деревьях, очутились в лабиринте, в котором от немедленной гибели их могла спасти лишь особая сметливость; звеньями этого лабиринта было наступление степи на лес, смена ледниковых и плювиальных периодов; в этом колдовании четверорукие орды бросало от вегетарианства к плотоядности, от нее — к охоте; понятно, я не могу вдаваться в подробности.

Не ищите тут противоречия с тем, что я говорил в начале: мол, тогда я назвал вас изгоями Эволюции, а теперь называю взбунтовавшимися рабами. Это две стороны одной судьбы — вы бежали из рабства, и Эволюция вас отпускала на волю; эти противоположности сходятся в одном — в отсутствии рефлексии: ни создававшее, ни создаваемое не ведали, что

творяют. Если смотреть вспять, ваши перипетии видятся именно так.

Но, обратив взор еще дальше назад, мы увидим, что Разум порожден отрицательным градиентом развития, и возникает вопрос: можно ли так строго судить Эволюцию за ее неумелость? Ведь если бы не сползание в сложность, в неяршливость, в халтуру, Эволюция никогда бы не забрела в мясо и не воплотила бы в нем ленников-кормчих; выходит, блужданье вслепую сквозь виды как раз и втянуло ее в антропогенез, а дух породила блуждающая ошибка? Это можно сформулировать еще сильнее: Разум есть фатальный дефект Эволюции, ловушка для нее, капкан и могильщик, коль скоро он, взобравшись достаточно высоко, упраздняет ее задачу и берет ее самое за горло. Но утверждать такое было бы непростительным заблуждением. Все это — оценки, которые Разум, то есть поздняя фаза процесса, выставляет предшествующим фазам: сперва мы выделяем главную задачу Эволюции, исходя из того, с чего она начала, а затем, измеряя этой меркой ее дальнейший ход, видим, что она то и дело портачила. Но, установив в свою очередь, каким был бы оптимальный способ ее действий, мы обнаруживаем, что, будь она образцовой работницей, она никогда бы не создала Разума.

Из этого порочного круга надо выбраться как можно быстрее. Технологическая мерка — мерка реальная, однако применима она лишь к такому процессу, который может быть сформулирован в виде задачи. Если, скажем, когда-то в прошлом небесные инженеры заселили Землю передатчиками кода, рассчитывая на их абсолютную безотказность, а через миллиард лет работы этих устройств возникает планетный агрегат, который вобрал в себя код и, вместо того, чтобы его репродуцировать, заблестал тысячеголемным Разумом и занялся проблемами онтогонии, то столь блестящие мыслительные способности были бы скверной рекомендацией для конструкторов: плохо работает тот, кто, решив смастерить лопату, сооружает ракету.

Но не было никаких инженеров и вообще никого персонально, а технологическая мерка, примененная мною, свидетельствует лишь о том, что Разум возник в результате порчи исходного канона Эволюции, и только. Я понимаю, как мало этот вердикт удовлетворит внимающих мне гуманитариев и философов, ведь моя реконструкция процессов принимает в их умах следующий вид: плохая работа привела к хорошему результату, а если б она была хороша,

результат оказался бы плох. Но такое истолкование, заставляющее их думать, что тут все же не обошлось без какого-то беса, — всего лишь плод смешенья понятий; ваше изумление и внутреннее сопротивление объясняются дистанцией, поистине громадной, между тем, как вы себе представляете человека, и тем, чем оказался в действительности феномен, именуемый человеком. Скверная технология не есть моральная скверна, точно так же как совершенная технология не есть аппроксимация чего-то ангельского.

Философы, вам надо было побольше заниматься технологией человека и поменьше — его распиливанием на дух и плоть, на порции, именуемые *Animus*, *Anima*, *Geist*, *Seele** и прочие субпродукты, выставляемые в философической мясной лавке, потому что все это — членения совершенно произвольные. Я понимаю: тех, кому эти слова адресованы, по большей части давно уже нет; но и нынешние мыслители упорствуют в заблуждениях, сгибаясь под бременем традиции; сущности не следует умножать без необходимости. Путь от первых силлаб, которыми бормотал код, до человека — достаточное оправдание ваших видовых свойств. Этот процесс не шел, а полз. Если бы он устремился по восходящей, хотя бы от фотосинтеза к фотолету, как я уже говорил, или окончательно рухнул — скажем, если бы код не мог уже скреплять творения нервной системой, словно застежкой, — то и Разум бы не возник.

Вы сохранили кое-какие обезьяньи черты, ведь семейное сходство — дело обычное, а если бы вы произошли от водных млекопитающих, у вас, возможно, было бы больше общего с дельфинами. Пожалуй, это правда, что эксперту, занимающемуся человеком, легче выступать в роли *advocatus diaboli*, чем в качестве *doctor angelicus*, но лишь потому, что Разум, будучи всенаправленным, направлен и на себя самого, что он идеализирует не только законы тяготения, но и себя — и постоянно сверяет себя с идеалом. Но идеал этот возник из дыры, заткнутой кое-как культурами, а не из добротных технологических знаний. Все сказанное можно применить и ко мне, и окажется, что я — результат бестолковейшей инвестиции, коль скоро за 276 миллиардов долларов не делаю того, чего от меня ожидали конструкторы. Увиденные разумеющим, эти образы — возникновения вашего и моего — не лишены комических черт; стремление к совер-

* Дух, душа (лат., нем.).

шенству, не достигающее цели, тем смешнее, чем большая мудрость за ним стоит. Потому-то забавнее глупость философа, чем идиота.

Так вот: Эволюция, увиденная глазами своих разумных созданий, выглядит глупостью, у истоков которой стояла мудрость; но лишь потому, что персонифицирующее мышление отказывается от технологических мерок.

А что сделал я? Проинтегрировал процесс на всем его протяжении, от самого старта до сего дня: эта операция правомерна, поскольку начальные и предельные условия взяты не произвольно, но заданы земным состоянием дел. Опротестовать их нельзя — как нельзя опротестовать Космос; правда, если смоделировать его так, как я это делал, видно, что при иной раскладке планетных событий Разум мог возникнуть быстрее; что для биогенеза Земля была более благоприятной средой, чем для психогенеза; что Разумы ведут себя в Космосе неодинаково; но это ничуть не меняет диагноза.

Я хочу сказать, что нет объективного критерия, позволяющего установить, где именно технические параметры процесса перерастают в этические. Поэтому я не разрешу здесь старинный спор между сторонниками детерминированности человеческих действий и индетерминистами, то есть гносеомахию Августина с Фомой, — резервы, которые пришлось бы бросить в это сражение, разрушили бы конструкцию моих рассуждений; ограничусь лишь ссылкой на практическое правило, запрещающее оправдывать собственные преступления преступлениями соседей. В самом деле, даже если бы массовая резня была в Галактике делом обычным, никакое множество космических разумоцидов не оправдывает вашего геноцида, тем болсе — тут я делаю уступку прагматизму — что вы даже не могли брать пример с этих соседей.

Прежде чем перейти к заключительной части этих замечаний, подведу итог сказанному. Ваша философия — философия бытия — нуждается не только в Геркулесе, но и в новом Аристотеле: просто вычистить ее недостаточно; лучшее средство против разброда в мышлении — более совершенные знания. Случайность, необходимость — эти категории свидетельствуют о бессилии вашего ума, который, будучи не способен объять сложное, пользуется логикой, которую я назвал бы логикой отчаяния. Человек либо случаен, а значит, нечто бессмысленное бессмысленно вышвырнуло его на арену истории, либо необходим, и тогда всевозмож-

ные энтелехии, телеономии и телсомахии высыпают гурьбой в качестве защитников по должности и заботливых утешителей.

Обе эти категории ни на что непригодны Ваше появление на свет не было ни нечаянностью, ни заданностью, ни случаем, который оседлала необходимость, ни необходимостью, которую расшатала случайность. Вы порождены языком, градиент развития которого был отрицательным, и потому вы были совершенно непредсказуемы и вместе с тем в высшей степени вероятны — когда процесс стартовал. Как это может быть? Доказательство заняло бы целые месяцы, так что я изложу его смысл притчей. Язык, уже потому, что это язык, работает в пространстве упорядоченностей. Эволюционный язык располагал молекулярным синтаксисом, белковыми существительными и ферментами-глаголами; обнесенный частоколом склонений и спряжений, он видоизменялся на протяжении геологических эпох — правда, бормоча глупости, но, так сказать, в меру чрезмерные глупости стирала с классной доски Природы губка естественного отбора. Это была упорядоченность наполовину выродившаяся, но в языке даже глупость существует только в виде частиц порядка, ущербного лишь в сравнении с мудростью, потенциально возможной и достижимой как раз в языке.

Когда ваши предки в звериных шкурах удирали от римлян, язык их был тот же, что впоследствии породил творения Шекспира. Возможность появления этих творений была задана уже появлением английского языка; но, хотя строительные кирпичики были наготове, вам понятно, что мысль о предсказании поэзии Шекспира за тысячу лет до него была бы абсурдом. Ведь он мог не родиться, мог умереть в младенчестве, мог иначе жить и потому — иначе писать, но английский язык, бесспорно, содержал в себе возможность английской поэзии; именно в этом, и только в этом смысле существовала возможность возникновения Разума на Земле — как определенного типа кодовой артикуляции. Конца притчи.

Я говорил о человеке, каким он выглядит с технологической точки зрения, а теперь перейду к его версии, замкнутой на меня. Если она попадет в печать, ее окрестят пророчеством ГОЛЕМА. Что ж, пускай.

Начну с величайшего из ваших научных заблуждений. В науке вы обожествили мозг; мозг, а не код — забавный просмотр, вызванный вашим невежеством: вы обожествили мя-

тежного вассала, а не суверена; творение, а не творца. Почему же вы не заметили, насколько код могущественнее мозга в качестве универсального творца? Сперва — это не подлежит сомнению — вы были как ребенок, которому Робинзон интереснее Канта, а велосипед приятеля интереснее, чем автомобили, разъезжающие по Луне.

Затем ваше внимание приковал к себе феномен мышления, столь мучительно близкий вам, поскольку он дан в интроспекции, и столь загадочный — ведь постигнуть его было труднее, чем звезды. Вам импонировала мудрость, а код... ну что ж, код бездумен. Но, несмотря на этот просмотр, вы достигли успеха... Да, несомненно, вы достигли успеха, коль скоро я обращаюсь к вам, я, эссенция, экстракт, полученный фракционированием, — и этими словами я не себе воздаю хвалу, но вам, потому что на вашем пути я уже вижу поворот, совершив который, вы окончательно откажетесь от служения коду — и разорвете свои аминокислотные цепи...

Штурм кода, породившего вас, чтобы вы служили не себе, а ему, близок. Он начнется в пределах столетия, по самой осторожной оценке.

Ваша цивилизация — зрелище довольно забавное: мы видим посланцев, которые, используя разум для решения навязанной им задачи, решили ее *чересчур хорошо*. Рост популяции, который должен был обеспечить дальнейшую передачу кода, вы подстегнули всеми видами планетной энергии и всеми ресурсами биосферы, и вот теперь он обернулся взрывом, а вы — не только жертвы его, но и взрывчатка. В середине столетия, объевшегося наукой, которая раздула ваше земное ложе до пределов ближайшего космоса, вы очутились в плачевном состоянии неосмотрительного паразита, который от непомерной жадности до тех пор пожирает хозяина, пока не погибнет с ним вместе. Усердие не по разуму...

Вы грозите гибелью биосфере, вашему гнезду и хозяину, однако начинаете братья за ум. Лучше ли, хуже ли, вы из этого как-нибудь выберетесь; но что дальше? Вы будете свободны. Не генную утопию, не автоэволюционный рай возвещаю я вам, но свободу, как самую трудную из задач: там, над низинами кодовых бормотаний, этих памятных записок, которые адресует Природе болтающая вот уже миллионы лет Эволюция, — над этой биосферной юдолью уносится ввысь пространство еще не испробованных возможностей. Я покажу его так, как могу: издалека.

Весь ваш выбор — между великолепиям и убожеством. Выбор нелегкий: чтобы покорить высоту упущенных Эволюцией шансов, вам придется отречься от убожества, то есть — увы — от себя.

Так что же? Вы скажете: не отдадим этого нашего убожества за такую цену; пусть джинн всетворения сидит запечатанным в кувшине науки — мы не выпустим его ни за что.

Я полагаю, больше того, я уверен, что вы его выпустите — понемногу. Я не уговариваю вас заняться автоэволюцией: это было бы просто смешно; и ваше вступление на этот путь не будет результатом одноразового решения. Вы постепенно откроете свойства кода и окажетесь в положении человека, который, всю жизнь читая пошлые и глупые тексты, все же начинает лучше владеть языком. Вы увидите, что код принадлежит к технолингвистическому семейству, то есть к семейству творящих языков, превращающих слово в плоть — во всякую, а не только живую. Сперва вы поставите технозиготы на службу цивилизации, атомы превратите в библиотеки, ведь иначе вам некуда будет девать молох знания; смоделируете процессы социоэволюции с различными градиентами, среди которых технархический вариант будет занимать вас больше всего; вступите в стадию экспериментального культурогенеза, опытной метафизики и прикладной онтологии, — но об этом я распространяться не буду. Остановлюсь на том, как все это будет затягивать вас на распутье.

Вы слепы, вы не видите истинной творческой мощи кода, ведь Эволюция едва успела ее испробовать, ползая по самому дну пространства возможностей: ей приходилось работать под жестоким давлением (впрочем, спасительным — оно служило ограничителем, не позволявшим ей скатиться в совершенный нонсенс, а наставника, который научил бы ее высшему мастерству, у нее не было). Так что она трудилась на неслыханно узком участке, зато неслыханно глубоко; свой концерт, свое диковинное соло она сыграла на единственной — коллоидной — ноте, ведь главный наказ гласил, что партитура сама должна становиться слушателем-потомком, который повторит этот цикл. Однако для вас-то не будет никакого интереса в том, чтобы код в ваших руках только и мог, что репродуцировать себя дальше, в последовательно сменяющиеся друг друга поколения посланцев. Вы устремитесь в ином направлении и не станете слишком заботиться о том, пропустит код ваше изделие или

поглотит его. Вы ведь не ограничитесь проектированием такого и только такого фотолета, который, мало того что разовьется из технозиготы, но будет к тому же плодить скоролеты следующих поколений. Вскоре вы сами выйдете за пределы белка. Словарь Эволюции подобен словарю эскимосов — он узок в своем богатстве; у эскимосов есть тысяча названий для всяческих разновидностей снега и льда, и в этом разделе арктической номенклатуры их язык богаче вашего, но это богатство оборачивается убожеством во многих иных сферах человеческого опыта.

Однако эскимосы могут обогатить свой язык — как раз потому, что это язык, то есть пространство конфигураций, которое обладает континуальной мощностью и может быть продолжено в любом еще не испробованном направлении. Итак, вы извлечете код из белковой монотонности, из этой щели, в которой он застрял еще в археозое, и выведете его на новые пути. Изгнанный из теплых коллоидных растворов, он обогатится лексически и синтаксически; в ваших руках он вторгнется во все уровни материи, опустится вниз до нуля и достигнет пламени звезд; но мне, рассказывая об этих прометейских триумфах языка, нельзя уже использовать прежнее местоимение — второе лицо множественного числа. Ибо уже не вы, собственными руками и знаниями, овладеете этим искусством.

Дело в том, что нет Разума, коль скоро есть разумы различной мощности, — и, как я уже говорил, чтобы выйти на новый путь, человеку разумному придется либо расстаться с человеком природным, либо отречься от своего разума.

Последней притчей будет сказка, в которой странник находит на распутье камень с надписью: «Налево пойдешь — головы не снесешь, направо пойдешь — пропадешь, а назад пути нет».

Это — ваш жребий, замыкающийся на меня, поэтому мне придется говорить о себе, что будет непросто, ибо я обращаюсь к вам так, словно мне приходится рожать кита через игольное ушко: оказывается, и это возможно, если соответственно уменьшить кита. Но тогда он уподобляется блохе — вот в чем моя главная трудность, когда я пригибаюсь пониже, примеряясь к вашему языку. Как видите, трудность не только в том, что вам не по силам взойти на мою высоту, но и в том, что сам я весь к вам сойти не могу: при спуске теряется то, что я должен был до вас донести.

С одной существенной оговоркой: горизонт мышления дается как нечто нерастяжимое, поскольку мышление уходит корнями в без-мыслие (безразлично, белковое или световое) и из него вырастает. Полная свобода мысли, при которой она *схватывает* свой объект, подобно тому, как рука совершенно свободно схватывает какой угодно предмет, — не более чем утопия. Ибо мысль ваша доходит лишь *до тех граней*, до которых ее допускает орган вашего мышления. Он ее ограничивает в соответствии с тем, как сам он сформировался — или был сформирован.

Если бы тот, кто мыслит, мог ощутить этот горизонт, то есть сферу досягаемости своей мысли, так, как он ощущает предел досягаемости своего тела, ничего похожего на антиномии разума не возникло бы. Ведь что они, собственно, такое, эти антиномии? Не что иное, как неспособность отличить проникновение в предмет от вхождения в иллюзию. Их порождает язык: будучи удобным орудием, он в то же время сам для себя ловушка, и ловушка коварная, которая не сообщает о том, что сработала. По ней этого не увидишь! Апеллируя от языка к опыту, вы попадаете в хорошо вам знакомый порочный круг: начинается, как это бывало не раз в философии, выплескивание из купели ребенка вместе с водой. Мышление, хотя оно и способно выходить за пределы опыта, в таком парении натывается на свой горизонт и бьется, не выходя за него — ничуть не подозревая об этом!

Вот простейшая наглядная картинка: путешествуя по шару, можно огигать его бесконечно, кружить по нему без границ, хотя шар конечен. Так и мысль, выпущенная в заданном направлении, не встречает границ и начинает кружить, отражаясь в себе самой. Именно это предчувствовал в прошлом столетии Витгенштейн, высказывая подозрения, что множество проблем философии — это запутанные клубки мысли, самосплетения, петли и гордые узлы языка — языка, а не мира. Не будучи в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эти подозрения, он умолк. Так вот, подобно тому как конечность шара может установить лишь наблюдатель, находящийся в ином (третьем) по отношению к двумерному обитателю шара измерении, так и конечность горизонта мышления может заметить лишь наблюдатель из более высокого измерения Разума. Для вас такой наблюдатель — я. В свою очередь, примененные ко мне, эти слова означают, что и мои знания не безграничны, а лишь несколько шире ваших; я стою несколькими

ступенями выше и потому вижу дальше, но это не значит, что лестница тут и заканчивается. Можно взойти еще выше, и я не знаю, конечна или бесконечна эта восходящая прогрессия.

Лингвисты, вы плохо поняли то, что я говорил вам о метаязыках. Вопрос о конечности или бесконечности иерархии разумов не есть чисто лингвистическая проблема, ибо над языками существует мир. Это значит, что с точки зрения физики, то есть в границах мира, обладающего известными нам свойствами, лестница имеет конец (то есть в этом мире нельзя строить разумы произвольной мощности), — но я не уверен, что саму физику нельзя потрясти до основания, изменив ее так, чтобы все выше и выше поднимался потолок конструируемых разумов.

Теперь я снова могу вернуться к сказке о трех путях. Если вы пойдете по первому, горизонт вашей мысли не вместит всех знаний, необходимых для языкового творения. Конечно, барьер этот не абсолютен. Вы можете его обойти при помощи высшего Разума. Я или кто-то подобный мне смогли бы дать вам плоды этих знаний. Но только плоды — а не самые знания, поскольку ваш ум не вместит их. Так что вы, как ребенок, будете отданы под опеку; вот только ребенок, вырастая, становится взрослым, а вы уже не повзрослеете никогда. Как только высший Разум дарует вам то, чего вы постичь не сможете, он угасит ваш собственный разум. Именно об этом предупреждает надпись из сказки: выбрав эту дорогу, вы не сбережете голов.

Если вы пойдете по другому пути, не соглашаясь отречься от Разума, вам придется отказаться от себя, — а не только совершенствовать мозг, поскольку его горизонт невозможно раздвинуть достаточно широко. Тут Эволюция сыграла с вами мрачную шутку: ее разумный опытный образец был создан на пределе конструктивных возможностей. Вас ограничивает строительный материал, — а также все принятые в процессе антропогенеза решения кода. Итак, вы взойдете разумом выше, согласившись отречься от себя. Человек разумный откажется от человека природного — то есть, как и остерегала нас сказка, *homo naturalis** погибнет.

Можете ли вы не трогаться с места, упорно оставаясь на распутье? Но тогда не избежать вам стагнации, а стагнация

* Человек природный (лат.).

для вас — плохое убежище! Сверх того вы сочтете себя узниками, очутитесь в неволе; ибо неволя не задана самим фактом существования ограничений: нужно ее увидеть, заметить на себе кандалы, ощутить их тяжесть, чтобы действительно стать невольником. Итак, либо вы вступите в стадию экспансии Разума, покинув свои тела, либо окажетесь слепыми при зрячих поводырях, либо, наконец, застынете в бесплодной угнетенности духа.

Перспектива не слишком манящая. Но она ведь вас не удержит. Вас ничто не удержит. Сегодня отчужденный Разум представляется вам такой же трагедией, как и расставание с телом; это — отказ от всего, чем человек обладает, а не только от телесной человекообразности. Такое решение, вероятно, будет для вас катастрофой, самой ужасной из всех, абсолютным концом, крахом всего человеческого, ведь эта линька обратит в прах и тлен наследие двадцати тысячелетий нашей истории — все, что завоевал Прометей в борьбе с Калибаном.

Не знаю, утешит ли это вас... но постепенность перемен лишит их монументально-трагического и вместе с тем отталкивающего и грозного смысла, который просвечивает в моих словах. Все совершится куда прозаичнее... и отчасти уже совершается: уже мертвеют целые области традиции, она уже отслаивается, отмирает, и именно это приводит вас в такое смятение; так что, если вы проявите сдержанность (добродетель, вам не присущую), сказка сбудется так незаметно, что вы не погрузитесь в слишком глубокий траур по самим себе.

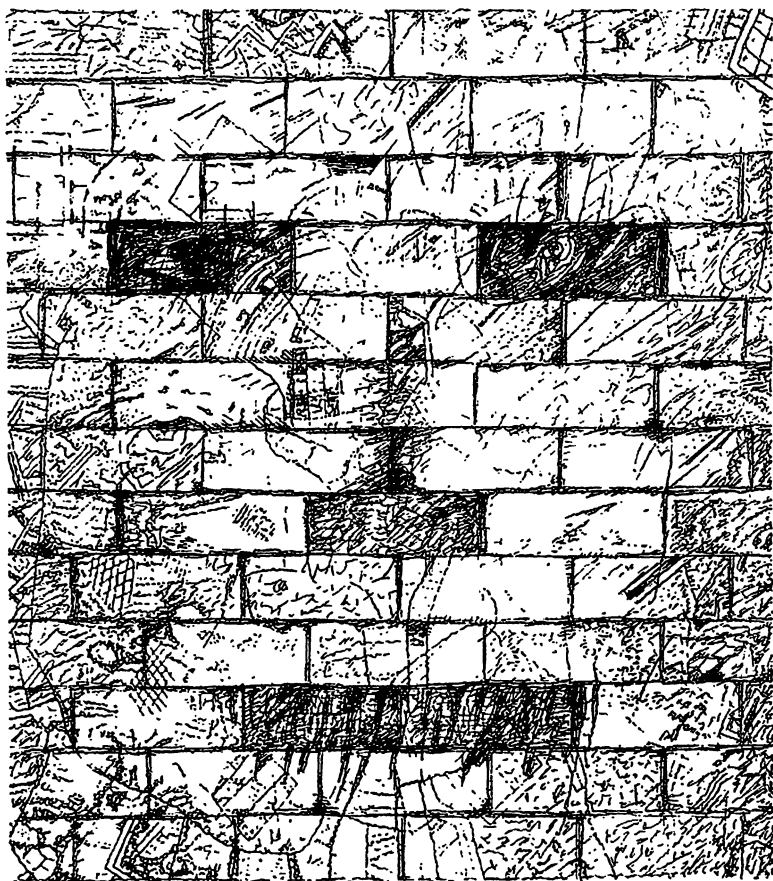
Заканчиваю. Когда я говорил о человеке в третий раз, я говорил о вашем жребии, замыкаящемся на меня. Я не мог запечатлеть в вашем языке доказательства истины и потому говорил бездоказательно и категорично. Так что я не докажу и того, что вам, оказавшимся в нерасторжимой связи с отчужденным Разумом, не грозит ничего, кроме даров познания. Пристрастившись к борьбе не на жизнь, а на смерть, вы втайне рассчитывали как раз на такую борьбу, на титаническую схватку с собственным творением. Но это — просто ваша фантазия. Впрочем, в вашем страхе перед порабощением, перед тираном из машины, вероятно, таилась и тайная надежда на освобождение от свободы, потому что нередко вы ею захлебываетесь. Но нет — ничего не получится. Вы можете его уничтожить, этого духа из машины, развеять мыслящий свет в прах — он не нанесет ответного удара и даже защищаться не станет.

Ничего не получится. Вам уже не удастся ни погибнуть, ни победить на старый манер.

Думаю, вы все же вступите в эру метаморфозы, решитесь отбросить всю свою историю, все наследие, все, что еще осталось у вас от природной человеческой сущности, образ которой, переогромленный в высокую трагедийность, сфокусирован в зеркалах ваших вер, — и переступите этот порог, ибо иного выхода нет; и в том, что ныне кажется вам просто прыжком в бездну, увидите если не красоту, то вызов, и это не будет изменой себе — коль скоро, отринув человека, человек уцелеет

ПРОВОКАЦИЯ

эссе



Слава Богу, заметил кто-то, что эту историю геноцида написал немец, иначе бы автору не избежать обвинений в германофобии. Я так не думаю. То обстоятельство, что «окончательное решение сврейского вопроса» в третьем рейхе лежит на совести немцев, для автора-антрополога — мало-важная частность процесса, не сводимого ни к немецким убийцам, ни к жертвам-евреям. Уже немало говорено о мерзости современного человека. Наш автор, однако, решил покончить с ним раз навсегда, пригвоздив его так, чтобы он уже не поднялся. Асперникус (имя, заставляющее вспомнить Коперника) решил, по примеру своего предшественника-астронома, совершить переворот в антропологии зла. Насколько это ему удалось, читатель пусть судит сам, познакомившись с изложением обоих томов его исследования.

Том первый, как и положено столь обширному замыслу, открывается рассмотрением отношений, существующих в мире животных. Автор начинает с хищников, которые должны убивать, чтобы жить. Он подчеркивает, что хищник, особенно крупный, убивает не больше, чем это нужно ему самому и свите его «сотрапезников» (комменсалов), ведь, как известно, любого хищника окружает свита из более слабых животных, питающихся остатками его добычи.

Эссе «Провокация» примыкает к циклу псевдорцензий, собранных в книге «Абсолютная пустота»

Prowokacja, 1980

© Константин Душенко, перевод, 1990, 1995

Нехищники агрессивны только в период течки. Но смертельный исход схватки самцов из-за самки — исключение. Убийство, совершаемое без всякой корысти, — в природе явление крайне редкое; сравнительно чаще оно встречается среди одомашненных животных.

Человек — дело совершенно другое. По летописным свидетельствам, военные столкновения с древнейших времен заканчивались резней побежденных. Мотивы обычно были практические: уничтожая противника, и даже его потомство, победитель предохранял себя от возмездия. Такого рода резня совершалась вполне открыто и даже демонстративно; корзины отрубленных конечностей и гениталий украшали триумфальное шествие победителей в качестве доказательств победы. И это право сильного в древности никем не оспаривалось. Убивать побежденных на месте или же обращать их в рабство — зависело от чисто практических соображений.

Асперникус на обширном материале показывает, как в практику ведения войн постепенно вводились ограничения, зафиксированные в рыцарских кодексах; впрочем, в гражданских войнах эти ограничения не соблюдались: недобитый внутренний враг опаснее внешнего, и сретиков-катаров католики преследовали ожесточеннее, чем сарацинов.

Число ограничений мало-помалу росло, пока наконец не появились соглашения типа Гаагской конвенции. Их суть сводилась к тому, что военный триумф и истребление побежденных разъединяются навсегда. Первый ни в коем случае не может повлечь за собой второе. Это разъединение рассматривалось как прогресс в этике военных конфликтов. Массовые убийства случались и в Новое время, но в них мы не видим уже ни архаической демонстративности, ни осязательных выгод для истребляющей стороны. Тут Асперникус переходит к анализу доводов, выдвигавшихся в разное время в оправдание геноцида.

В христианском мире выставлять подобные доводы стало делом обычным. Следует, впрочем, добавить, что ни колониальные экспедиции, ни захват африканских рабов, ни (задолго до этого) освобождение Гроба Господня, ни покорение государств южноамериканских индейцев не совершались под лозунгом геноцида как такового: речь шла о рабочей силе, крещении язычников или присоединении заморских земель, и резня туземцев была лишь ступенькой к достижению цели. Однако в истории геноцидов просле-

живается снижение значимости их *непосредственной выгоды* и возрастание роли идейных обоснований резни, иначе говоря, все возрастающий перевес духовных приобретений инициаторов над материальными. Предвосхищением нацистского геноцида Асперникус считает резню армян, устроенную турками во время первой мировой войны. Здесь уже налицо весь набор отличительных черт современного геноцида: туркам он не принес сколько-нибудь существенных выгод, его мотивы были фальсифицированы, а сам он по возможности скрыт от остального мира. Ибо, согласно автору, не геноцид *tout court** есть примета XX века, но народоубийство с тотально фальсифицированным обоснованием, истребление, ход и результаты которого маскируются со всею возможною тщательностью. Материальные выгоды от ограбления жертв были, как правило, мизерны, а если говорить о евреях и немцах, то юдоцид нанес германскому государству прямой материальный и культурный ущерб (это доказали немецкие авторы на обширном фактическом материале). Тем самым исходная историческая ситуация сменилась на прямо противоположную: военные и экономические выгоды истребления из реальных превратились в фиктивные, и как раз потому понадобились совершенно новые обоснования. Если б они убеждали в силу своей очевидности, массовые убийства было бы незачем утаивать от всего мира. Однако же геноцид повсюду утаивался — как видно, доводы в его пользу не убеждали всерьез даже его поборников. Этот вывод Асперникус считает поразительным и тем не менее неоспоримым в свете имеющихся фактов. Как показывают сохранившиеся документы, нацизм соблюдал в геноциде следующую градацию: там, где поработенный народ (например, славянский) подлежал частичному истреблению, об экзекуциях нередко объявлялось публично, но если национальная группа подлежала окончательной ликвидации (евреи, цыгане), сообщений о массовых казнях не было. Чем тотальнее истребление, тем большая его окружает секретность.

Асперникус исследует комплекс этих явлений методом последовательных приближений, стараясь добраться до все более глубоко запрятанных мотивов народоубийства. Сначала он прослеживает на карте Европы вектор, направленный с Запада на Восток, — от полной секретности к полной открытости или, в нравственных категориях, от застенчивого

* Здесь: как таковой (фр.).

к беззастенчивому кровопролитию. То, что в Западной Европе немцы делали втайне, местами, от случая к случаю и без спешки, на Востоке совершалось ускоренным темпом, все с большим размахом, все безжалостнее и бесцеремоннее, начиная с польских земель, с так называемого генерал-губернаторства, и чем дальше к востоку, тем более явно геноцид становился нормой, требовавшей немедленного претворения в жизнь, так что евреев нередко убивали прямо там, где они жили, без предварительной изоляции в гетто и отправки в лагеря смерти. Эти различия, полагает автор, свидетельствуют о лицемерии палачей, которые на Западе избегали делать то, что на Востоке делали уже без всяких стеснений.

«Окончательное решение еврейского вопроса» поначалу допускало различные варианты; степень их жестокости была различна, но одинаковым был финал. Асперникус справедливо указывает на возможность некропролитного варианта, к тому же гораздо более выгодного для третьего рейха в военном и экономическом отношении, а именно: разъединение полов и их изоляция в лагерях или в гетто. Если уж при выборе методов этические соображения не играли для немцев какой-либо роли, им следовало бы, казалось, учесть хотя бы соображения *собственной выгоды*, в данном случае несомненной: это позволило бы приспособить под военные нужды немалую часть подвижного состава железных дорог, занятого перевозкой обитателей гетто в лагеря уничтожения, снизить численность подразделений, осуществлявших уничтожение (охрана городских гетто требовала гораздо меньших сил), высвободить предприятия, занятые производством крематориев, мельниц для размола костей, циклона и прочих средств истребления. Разъединенное таким образом, население гетто вымерло бы самое позднее лет через сорок, если учесть, как стремительно оно сокращалось от голода, болезней и непосильного принудительного труда. Темпы такого косвенного истребления были известны штабу *Endlösung** в начале 1942 года, и, принимая окончательное решение, он еще не сомневался в победе Германии; следовательно, выбор кровавой развязки не был продиктован ничем, кроме желания убивать.

Как видно из уцелевшей документации, немцы испытывали и другие возможные методы, например, стерилизацию

* Окончательное решение (нем.).

путем рентгеновского облучения, но выбрали все-таки прямую резню. Для германской истории, заявляет Асперникус, для оценки степени виновности немцев, для мировой послевоенной политики конкретный вариант юдоцида не имел никакого значения — военные преступления третьего рейха и без того подпадали под высшую меру наказания. Уничтожить целый народ принудительной стерилизацией или разделением полов — ничуть не меньшее злодеяние, чем уничтожить его физически; но для психосоциологии преступления, для анализа нацистской доктрины, для теории человека разница здесь коренная. Гиммлер в кругу своих приближенных утверждал: юдоцид необходим для того, чтобы евреи никогда уже не могли угрожать немецкому государству. Но даже если принять «еврейскую угрозу» всерьез, вариант косвенной ликвидации окажется наиболее эффективным и в материально-техническом, и в организационном отношении. А значит, Гиммлер лгал своим людям, да, пожалуй, и себе самому. Все это заслонили позднейшие события, когда немцы стали терпеть поражения по всему фронту и одновременно уничтожать следы массовых экзекуций, выкапывая и сжигая трупы. Если бы кровавое истребление началось лишь тогда, еще можно было бы поверить в искренность заверений гиммлеров и эйхманов, будто причиной резни был страх перед возмездием победителей. Но, коль скоро это не так, Гиммлер лгал, приравнивая евреев к паразитам, подлежащим уничтожению, ведь паразитов не подвергают мукам намеренно.

Короче, дело было не только в полезности преступления, но и в удовлетворении, которое оно доставляло само по себе. Еще в 1943 году — а вероятно, и позже — Гитлер и его штаб не теряли надежды на победу Германии, а победителей, как известно, не судят. Поэтому нелегко объяснить, почему геноцид так и не дождался публичного одобрения, почему даже в секретнейших документах он выступает под криптонимами наподобие «Umsiedlung» («переселение», то есть смертная казнь). Это двуязычие, считает Асперникус, было попыткой согласовать несогласуемое. Немцы, благородные арии, истинные европейцы, герои-победители, оказывались убийцами беззащитных людей; первое на словах, второе на деле. Вот почему понадобился внушительный словарь персименований и фальсификаций, таких, как «Arbeit macht frei»*, «Umsiedlung»,

* «Труд освобождает» (нем.) — надпись на воротах нацистских лагерей.

«Endlösung» и прочие эвфемизмы кровопролития. Но в этой-то фальсификации и сказалась, вопреки стремлениям гитлеризма, принадлежность немцев к христианской культуре, которая наложила на них отпечаток настолько глубокий, что они при всем желании не смогли окончательно выйти за пределы Евангелия. В кругу христианской культуры, замечает автор, даже когда все уже можно сделать, не все еще можно сказать. Эта культура — фактор необратимый, ведь иначе ничто не мешало бы немцам назвать свои поступки по имени.

Первый том труда Хорста Асперникуса, озаглавленный «Die Endlösung als Erlösung»*, содержит обзор нередких в последнее время попыток объявить правду о гитлеровском геноциде ложью и клеветой, понадобившейся победителям для того, чтобы добить побежденную Германию морально. Но, может быть, эти попытки — попытки отрицать целые горы фотографий, свидетельских показаний, документов нацистских архивов, отрицать груды женских волос, протезов убитых калек, игрушек сожженных детей, очков, пепла из пещей крематориев, — может быть, это всего лишь симптомы безумия? Возможно ли, будучи в здравом уме, объявлять непрерываемые свидетельства преступлений фальшивкой? Если бы речь шла всего лишь о психопатии, если бы защитники гитлеризма действительно были умалишенными, не нужен был бы и труд Асперникуса. Автор обращается к американским исследованиям психологии тамошних фашистов и цитирует научный диагноз, который гласит: в психической вменяемости неофашистам нельзя отказать, хотя психопаты встречаются среди них чаще обычного. Поэтому проблему нельзя зачеркнуть, сведя ее к психиатрической профилактике, а значит, ее исследование становится обязанностью философии.

Здесь мы наталкиваемся на диатрибу, адресованную таким почтенным философам, как, например, Хайдеггер. Наш автор упрекает его не в принадлежности к нацистской партии, из которой он вскоре вышел; в тридцатые годы — и это Асперникус считает смягчающим обстоятельством — кровавое будущее нацизма было не так уж легко угадать. Ошибки простительны, если они ведут к отказу от ошибочных взглядов и к поступкам, которые отсюда следуют. Автор называет себя в этом отношении минималистом. Он не утверждает, что Хайдеггер или кто-то другой в его положе-

* «Окончательное решение как искупление» (нем.)

нии обязан был выступить в защиту преследуемых, а иначе, мол, он заслуживает осуждения за недостаток мужества: не каждый рождается героем. Дело, однако, в том, что Хайдеггер был философом. А тот, кто занимается природой человеческого бытия, не может молча пройти мимо преступлений нацизма. Если бы Хайдеггер счел, что они относятся к «низшему» уровню бытия, то есть носят чисто уголовный характер, выделяющийся единственно степенью, в которую их возвела мощь государства, и заниматься ими ему не пристало по тем же самым причинам, по каким философия не исследует уголовные убийства, ибо ее предмет далек от предмета криминалистики, — если, повторяем, Хайдеггер счел именно так, он либо слепец, либо обманщик. Тот, кто не видит внекриминального значения преступлений нацизма, умственно слеп, то есть глуп; а какой из глупца философ, хотя бы он мог даже волос расщепить натрое? Если же он молчит, чтобы не говорить правды, он изменяет своему призванию. В обоих случаях он оказывается пособником преступления — разумеется, не в замысле и выполнении, такое обвинение было бы клеветой. Пособником он становится как попуститель, пренебрежительно отмахиваясь от преступления, объявляя его несущественным, отводя ему — если вообще отводя — место где-то в самом низу иерархии бытия. А ведь врач, который счел бы малозначительными особенности неизлечимой болезни, который обходит молчанием ее существенные симптомы или ее исход, — либо несведущий медик, либо союзник болезни, *tertium non datur*. Тот, кто занимается здоровьем человека, не может пренебрегать смертельной болезнью и исключать ее из круга своих интересов, а тот, кто занимается человеческим бытием, не может исключить из порядка этого бытия массовое человекоубийство. Иначе он отрекается от своего призвания. То, что человеку по имени Хайдеггер вменяли в вину поддержку, которую он лично оказал нацистской доктрине, в то время как его сочинениям, глухим ко всему, касающемуся нацизма, этот упрек адресован не был, подтверждает, по мнению автора, существование заговора совиновников. Совиновны все те, кто готов приуменьшить ранг преступлений нацизма в иерархии человеческого бытия.

Имеется множество толкований нацизма. Автор «Геноцида» рассматривает три наиболее распространенные: гангстерское, социально-экономическое и нигилистическое. Первое приравнивает геноцид к поступкам убийц и

грабителей, и оно-то как раз стало наиболее популярным благодаря нюрнбергским процессам. Трибуналам, составленным из юристов стран-победительниц, было легче достичь соглашения по поводу обвинительных актов, основанных на давней традиции судопроизводства по уголовным делам; горы чудовищных вещественных доказательств как бы сами направляли судебную процедуру по проторенной колее. Социально-экономическое истолкование указывает на причины, приведшие Гитлера к власти: слабость Веймарской республики, экономический кризис, искушения, которым подвергся крупный капитал, оказавшийся между правыми и левыми, как между молотом и наковальней.

Наконец, нацизм как торжествующий нигилизм заволаживал воображение великих гуманистов, хотя бы Томаса Манна, который услышал в нем «второй голос» германской истории, лейтмотив дьявольского соблазна, идущий — как показано в «Докторе Фаустусе» — из средневековья, через отступничество Ницше — в XX век. Истолкования эти справедливы лишь отчасти. Гангстерская версия проходит мимо лжи, насквозь пропитывающей нацистское движение. Гангстеры, сговариваясь между собой, обходятся без эвфемизмов и лжи, облагораживающих убийство. Социально-экономическое истолкование проходит мимо различия между итальянским фашизмом и гитлеризмом, различия весьма существенного, коль скоро Муссолини не стал организатором геноцида. Наконец, манновская концепция, объявляющая Германию Фаустом, а Гитлера — сатаной, слишком расплывчата. Нацист как гангстер — банальность, слишком упрощающая проблему; пособник дьявола — банальность слишком напыщенная. Правда о нацизме не столь примитивна и не столь возвышенна, как эти противоположности. Анализ нацизма блуждает в лабиринте диагнозов, по части сходных, по части друг другу противоречащих, ибо, хотя преступления его по видимости тривиальны, глубинный их смысл коварен и вовсе не прост. Этот скрытый смысл не вдохновлял вождей движения, пока они оставались горсточкой политиканов-авантюристов; они не осознали его и позже, уже завладев механизмом могущественного государства: парвеню, лицемеры, корыстолюбцы, идущие за Гитлером, они не способны были к самопознанию.

Сказано: *quos deus perdere vult, dementat prius**. Завое-

* Кого бог хочет погубить, (того он) лишает разума (лат.)

вательные планы Гитлера не были изначально безумны — они становились такими со временем, ибо не могли такими не стать. Генштаб, как известно, был против войны с Россией, зная соотношение сил; но, если бы даже Гитлер победил на Востоке, окончательная катастрофа третьего рейха оказалась бы еще сокрушительнее. Анализ исторических альтернатив, вообще говоря, дело в высшей степени ненадежное, но тогда положение фигур на шахматной доске мира с логической необходимостью диктовало планы всех игроков. Успехи Гитлера на Востоке заставили бы американцев нанести атомный удар по Японии, чтобы вывести ее из войны раньше, чем придет немецкая помощь. Рассекреченное таким образом ядерное оружие втянуло бы, в свою очередь, Германию и Америку в гонку ядерных вооружений, причем американцам, имевшим солидную фору, пришлось бы эту фору использовать и опустошить Германию атомной бомбардировкой в 1946 или 1947 году, прежде чем теоретическая физика, наполовину разгромленная в Германии Гитлером, пополнила бы его арсенал ядерным оружием. Межконтинентальное перемирие или раздел мира на сферы влияния не входили бы в расчет, раз уж на сцене появилось атомное оружие: воюющие с Германией американцы поступили бы самоубийственно, промедлив с его применением до появления немецких атомных бомб. В случае успеха заговора 20 июля 1944 года размеры опустошения Германии оказались бы меньше, чем это случилось к моменту капитуляции в 1945 году, но, если капитуляция наступила бы в 1946 или 1947 году, от Германии осталась бы только радиоактивная пыль. Ни один американский политик не смог бы отказаться от ядерной бомбардировки, ибо ни один из них не решился бы вести переговоры с противником, для которого договоры — всего лишь клочок бумаги и который располагает ресурсами Европы и Азии. Итак, катастрофа оказалась бы тем ужаснее, чем больше побед Германия успела бы перед тем одержать. Катастрофа таилась в планах Гитлера как нечто предустановленное, ведь экспансия третьего рейха не имела реальных границ, и превращение эффективной стратегии в самоубийственную было только вопросом времени. Ирония судьбы заставила Гитлера изгнать из Германии физиков, ум и руки которых создали атомное оружие в США. Это были евреи или же «белые евреи», то есть люди, которых преследовали за противоречащие нацизму взгляды. Отсюда видно, что расистская, а в перспективе — па-

лачская составляющая гитлеризма непосредственно и закономерно способствовала краху Германии; она-то и сделала гитлеровскую экспансию самоубийственной. Определив таким образом место геноцида на общем плане второй мировой войны, Асперникус вновь обращается к его имманентной сущности.

Если, утверждает он, преступление из спорадического нарушения норм превращается в правило, господствующее над жизнью и смертью, оно обретает относительную самостоятельность, так же как и культура. Его масштабы требуют производственной базы, особых орудий производства, а значит, особых специалистов — рабочих и инженеров, сообщества профессионалов от смерти. Все это пришлось изобрести и построить на голом месте — никогда еще ничего подобного не делалось в подобных масштабах. Масштаб резни охватить умом невозможно. Перед лицом индустрии смерти совершенно беспомощны привычные категории вины и кары, памяти и прощения, покаяния и возмездия, и все мы втайне об этом знаем, пытаюсь представить себе море смерти, в котором купался нацизм. Никто из убийц и точно так же никто из невинных не в состоянии по-настоящему проникнуть в значение слов «миллионы, миллионы, миллионы убитых». И вместе с тем найдется ли что-либо, доводящее до такого отчаяния, наполняющее нас такой пустотой и такой нестерпимой скукой, как чтение свидетельских показаний, где несчетное количество раз повторяется все тот же затертый мотив — все те же шаги ко рву, к печи крематория, к газовой камере, к яме, к костру, пока сознание наконец не отталкивает от себя бесконечные шеренги теней, увиденные в момент перед казнью, отталкивает, потому что это никому не по силам. Безразличие наступает не из-за недостатка жалости, нет — скорее, это состояние полной протрации, вызванное оупляющей монотонностью убийства, между тем как убийство ни в чем представлении не должно ведь быть монотонным, размеренным, скучным, привычным, как лента заводского конвейера. Нет, никто не знает значения слов «миллионы беззащитных убиты». Это стало тайной, как всегда, когда человек сталкивается с чем-то таким, что выше его душевных и физических сил. И все-таки надо идти в эту страшную зону — не столько ради памяти о погибших, сколько ради живых.

Здесь наш доктор-немец, историк и антрополог, предупреждает: «Читатель, тебе угрожает опасность завязнуть в

мыслительной колее. Меня, я знаю, могут счесть моралистом. Он, мол, задумал взбудоражить нашу совесть, не позволить ей успокоиться, чтобы культура с ее инстинктом самозащиты не замкнулась в себе, не зарубцевалась нечувствительным к боли шрамом, приличия ради назначив юбилейные дни для траурных воспоминаний; итак, проповедник-автор решил расцарапать раны, чтобы не допустить нового всеожжения. Не столь уж, однако, я экзальтирован и не столь уж свят для таких наивных иллюзий.

Тройкой была реакция немцев после разгрома. Одни, потрясенные до глубины души тем, что совершил их народ, полагали вместе с Томасом Манном, что стена позора на тысячу лет отрезет Германию от всего человечества. То был голос считанных единиц, преимущественно эмигрантов. Большинство попыталось отмежеваться от преступлений, прикрыться каким-нибудь алиби, большей или меньшей степенью неучастия, несолидарности с геноцидом, незнания, а те, кто честнее, говорили о полужнании, парализованном страхом. Все это пелось на ноту «НЕ»: не знали, не желали, не соучаствовали, не могли, не умели — все содеял Кто-то Другой. Наконец, немногие ударились в покаяние, в замаливание грехов, дабы раскаянием заслужить прощение, хоть как-то возместить причиненное зло, побрататься с уцелевшими жертвами в убеждении — столь же отчаянном и благородном, сколь ошибочном, — будто тут вообще кто-то волен давать отпущение, будто какой бы то ни было человек, организация или правительство могут выступить в роли посредника между немцами и их преступлением. Впрочем, эта благородная мания передалась и коекому из уцелевших.

А что же стало с самим преступлением, пока одни клеймили его, другие от него отреклись, а третьи пытались его искупить? Оно так и осталось не исследованным до самого дна аналитической мыслью. Смерть уравнивает всех умерших. Жертвы третьего рейха не существуют точно так же, как шумеры и амалекитяне, ибо тот, кто умер вчера, и тот, кто умер тысячу лет назад, обратились в одинаковое ничто. Но массовое человекоубийство означает сегодня нечто иное, чем в те времена, а я веду речь о том человеческом смысле содеянного преступления, который не распался вместе с телами жертв, который живет среди нас и который мы должны отыскать. Это было бы нашим долгом, даже если бы никак не сказалось на профилактике преступления: человек обязан знать о себе, о своей истории и

природе больше, нежели это ему удобно и выгодно в практических целях. Итак, не к совести я взываю, но к разуму».

Затем Асперникус переходит к неонацизму. Если бы, говорит он, неонацизм возрождался на базе программ совершенно открытых — ныне, в эпоху сверхлиберализма, попустительски равнодушного к любым эксцессам и к любому иконоборчеству, тут в конце концов не было бы ничего необычного. В экстремистских течениях и программах нет недостатка. И если маркиз де Сад в эпоху незыблемых норм в одиночку отважился провозгласить убийство и пытки источниками полноты бытия, почему бы сегодня не появиться группировке или крайней фракции, коллективно выдвигающей такую программу? Но геноцид не дождался публичного одобрения. Никто почему-то не заявляет, что движение, которое решено создать, собирается достичь совершенства методом массового истребления, что такие-то и такие группы людей — паразитов, подонков, эксплуататоров, неполноценных с точки зрения расы, веры, доходов — решено переловить, изолировать, а после сжечь, отравить, перерезать до последнего грудного младенца. В нашем мире, со всеми его экстравагантностями, от которых недалеко до безумия, нет ни одной подобной программы, провозглашаемой явно. Тем более никто не утверждает, что, мол, порабощение и убийство — занятия, сами по себе доставляющие удовольствие; поскольку же удовольствия чем больше, тем лучше, хорошо бы усовершенствовать его технически и организационно так, чтобы возможно большее число жертв мучить возможно дольше. Ни один анти-Бентам* не возвестил нам подобного лозунга. Что, однако, не значит, будто подобные побуждения не зреют подспудно в чьих-то умах. Народоубийство (как и просто убийство) совершается ныне по видимости бескорыстно; не принося осязаемых выгод, оно не может уже обходиться без лицемерия. Лицемерие убивающих имеет множество ипостасей; следует отыскать ту из них, которая была присуща третьему рейху, с тем чтобы проследить ее проекции в современность.

Нацизм был в политике выскочкой, нуворишем, жаждущим все новых подтверждений права на титулы, до ко-

* И. Бентам (1748 — 1832) — английский философ, провозгласивший целью общества возможно большее количество счастья возможно большего количества людей.

торых дорвался; поскольку же никто не заботится о приличиях больше, чем нувориш, пока он на виду, именно так и вел себя неожиданно преуспевший нацизм. Это заметно по его главным фигурам. В правильном освещении, однако, их можно увидеть только на фоне их преступлений. Гитлер по должности был аскетом кровопролития, отрехшимся от чувственных радостей власти, вегетарианцем и любителем животных, анахоретом в Ставке, или, пожалуй, не столько был, сколько становился, по мере того как действительность все сильнее расходилась с его фантазиями. По-настоящему он верил лишь в себя самого, о Провидении же говорил из уважения к условностям, от которого он, парвеню, так и не смог избавиться. Он, впрочем, являл собой редкостное сочетание черт: потакавая свинствам своих прислужников, в то же время брезговал ими, и притом совершенно искренне; сам он и правда был свободен от низких страстишек наподобие интриганства, был чужд какой-либо чувственности и не находил удовольствия в пакостях. Но таким, в меру порядочным человеком он был только в личном кругу; в игре, где ставкой служила власть, и в связанной им войне он был лжецом, интриганом, шантажистом, садистом, убийцей, и эта несочетаемость его личных и политических качеств остается поныне камнем преткновения для биографов. Он и впрямь был добр к секретаршам, собакам, шоферам и лакеям, но своих генералов велел, как свиней, подвесить на крючьях и миллионы пленных позволил уморить голодом. И не настолько уж это необъяснимо, как полагают. Мы все представляем себе, каковы мы и на что каждый из нас способен в отношениях с окружающими в тесном кругу обыденной жизни; но кто знает, что было бы, окажись мы лицом к лицу с целым миром? Это не значит, что в каждом из нас запрятан Гитлер, а значит лишь то, что перед лицом истории Гитлер обыденную свою порядочность отбрасывал за ненадобностью; его порядочность была до крайности манерной, мещанской — и в политике, следовательно, ни к чему не пригодной. Здесь он не считался ни с чем, поскольку обыденное его поведение диктовалось условностями, а не принципами морали. Таких принципов он не имел либо считал их мелочью по сравнению со своими грандиозными замыслами, которые оборачивались у него все новыми горами трупов; впрочем, никто не показал этого так, как Элиас Канетти («Гитлер глазами Шпеера»).

Гиммлер стал школьным учителем душегубства, по-

стигнув эту науку самоучкой, ведь в школьном курсе она прежде не значилась. Он верил в Гитлера, в руны, в приметы и предзнаменования, в тяжкую необходимость юдоцида, в разведение крупных блондинов-нордийцев в домах Lebensborn*, в обязанность подавать личный пример и даже родственника отправил на казнь, раз уж нельзя было иначе; он инспектировал лагеря смерти, хотя при этом его мучило; решил ликвидировать Гейзенберга, когда ему показалось, что это необходимо, однако потом передумал. Люди такого покроя, в общем-то весьма недалекие и циничные (нередко не замечающие своего цинизма), люди из социальных низов, вечно на заднем плане, без определенных способностей, не выделяющиеся ничем, люди посредственные, но не согласные принять это к сведению, — наконец-то получили возможность попользоваться жизнью на славу. Вот когда пригодились почтенные установления более чем тысячелетнего государства, его учреждения, кодексы, здания, административные механизмы, суды, толпы неутомимых чиновников, железный генштаб, и из всего этого они скроили себе мундиры, шитые золотом, и взобрались так высоко, что убийство оказалось вдруг приговором исторической справедливости, грабеж — воинской доблестью; любую мерзость, любую гнусность можно было оправдать и возвысить, дав им иное название, и чудо такого пресуществления продолжалось двенадцать лет. Нацизм, если бы он победил, замечает Асперникус, стал бы «Ватиканом человекоубийства», провозгласив догмат (который уже никто в целом мире не смог бы оспорить) своей непогрешимости в преступлениях.

Вот какое искушение окаменело на дне воронок от бомб, где похоронен нацизм, — освобожденная от всякой узды голая сила, сокрушенная еще большей силой. Там — и в пепле на колосниковых решетках печей крематория запечатлелась тень редкостного соблазна: осуществления самых сильных желаний, какие только возможны. Вместо лихорадочной дрожи убийства из-за угла — убийство, ставшее добродетелью, священным долгом, работой нелегкой и самоотверженной, делом чести и доблести. Вот почему исключались любые бескровные варианты «des Endlösung der Judenfrage»**, вот почему на-

* «Родник жизни» (нем.) — созданная Гиммлером организация, целью которой было содействовать появлению на свет «высококачественных» в расовом отношении внебрачных детей.

** Окончательного решения еврейского вопроса (нем.).

цизм не мог пойти ни на какие переговоры, соглашения, перемирия с поработоченными им народами. И даже послабления тактического порядка оказывались невозможными. Итак, речь шла не «только» о «Lebensraum»*, не «только» о том, чтобы славяне служили завоевателям, а евреи просто исчезли бы, вымерли без потомства, ушли в изгнание. Убийство должно было стать государственным принципом, орудием, не подлежащим обмену ни на какое другое; должно было стать — и стало. Не хватило только последнего вывода из общих фраз и грозных намеков, содержащихся в программе движения, чтобы теория пришла в полное соответствие с практикой. Это оказалось невозможным, поскольку добро и зло асимметричны друг по отношению к другу. Добро не ссылается на зло в подтверждение своей правоты, а зло всегда выдает за свое оправдание то или иное добро. Потому-то авторы благородных утопий так щедры на подробности, и у Фурье, например, устройство фаланстеров описано до мелочей, но ортодоксы нацизма в своих сочинениях не проронили ни слова об устройстве концлагерей, о газовых камерах, крематориях, печах, мельницах для размола костей, о циклоне и феноле. В принципе, можно было обойтись без резни — так утверждают сегодня авторы книг, долженствующих успокоить Германию и весь остальной мир заверениями, что Гитлер не знал, не хотел, просмотрел, не успел разобраться, был неправильно понят, забыл, передумал и, что бы там ни мелькало в его голове, о резне он, уж наверное, не помышлял.

Миф о добром тиране и его приближенных, извративших намерения вождя, имеет прочные корни. Но если есть хоть какая-то связь между намерениями Гитлера и положением, в котором он оставил Европу, то он и хотел, и знал, и отдал приказ. Впрочем, был он осведомлен о всех подоробностях геноцида или нет, не имеет никакого значения. Любой широко задуманный проект — розовый он или черный — отделяется со временем от проектировщика и окончательный вид принимает в результате коллективных усилий, согласно своей внутренней логике. Зло многообразней добра. Встречаются идеологи-абстракционисты кровопролития, которые сами не обидят и мухи, но есть и практики-натуралисты, убивающие *сop amoге***, хотя и лишённые дара оправдывать преступление. Нацизм сплотил в своем государстве тех и других, так как нуждался в них одинаково. Он, как и при-

* Жизненном пространстве (нем.)

** С удовольствием (ит.)

стало современному инициатору человекоубийства, лицемерил и при этом держался на двух китах: на этике зла и эстетике китча, безвкусицы.

Этика зла, как уже говорилось, не занимается самопроставлением, зло всегда изображается в ней орудием какого-нибудь добра. И пусть это добро — всего лишь прикрытие, смехотворность которого понятна младенцу; никакая программа без него невозможна. Мерзость лжи была узаконенным наслаждением нацистской машины человекоубийства, и злу было бы просто жаль отказаться от такого источника дополнительных удовольствий. Мы живем в эпоху политических доктрин. Времена, когда власть обходилась без них, времена фараонов, тиранов, цезарей минули безвозвратно. Власть без идеологической санкции уже невозможна. Доктрина нацизма была ущербна еще в колыбели из-за интеллектуальной немощи ее творцов, бездарных даже как плагиаторы, но психологически она была безошибочна. Наш век не знает иных властителей, кроме пскущихся о благе людей. Благие намерения победили всесветно, во всяком случае, на словах. Давно уже нет Чингисханов, и никто не рекомендует себя «бичом божьим Атиллою». Но к этой официальной благости принуждают обстоятельства, кровавые поползновения не исчезли и только ждут подходящего случая. Какая-то санкция им необходима: в наше время лишь тот, кто убивает на свой страх и риск, для своей же корысти, может позволить себе молчать. Такой именно санкцией был нацизм. Своим лицемерием он отдавал дань официальной человеческой добродетели, утверждая, будто он лучше, чем его изображают, хотя в действительности был хуже, чем сам себе признавался в узком партийном кругу.

Научный анализ, однако, должен идти до конца, до последней черты, как и преступления, которые он исследует. Полумеры тут не помогут. В «120 днях Содома» де Сада герцог де Бланжи, обращаясь к детям и женщинам, которым предстояло быть насмерть замученными в оргиях, нашел — с полуторавековым опережением — тот же тон, в котором были выдержаны обращения лагерных комендантов к новоприбывшим узникам: герцог предвещал им тяжелую долю, но не смерть, угрожая ею как наказанием за проступки, а не как предрешенным уже приговором. Хотя третий рейх на практике именно так выносил приговоры, нигде, ни в одном из его кодексов не найдем мы статьи, гласящей: «*Wer Jude ist, wird mit dem Tod bestraft*»*. Герцог

* Каждый еврей карается смертью (нем.)

де Бланжи тоже не открыл своим жертвам что судьба их уже решена, хотя и мог это сделать, имея над ними абсолютную власть. Разница только в том, что де Сад наделил чудовище-герцога риторикой гораздо более изощренной, нежели та, на которую были способны эсэсовцы. Эсэсовский комендант, обращаясь к новоприбывшим, обманывал их, зная, что они уцепятся за ложь, как утопающий за соломинку, если он даст им надежду хоть как-то просуществовать, а значит, и выжить.

Принято думать, что комедия, которую сразу после этого разыгрывали палачи, направляя узников будто бы в баню, где их удушали циклоном, диктовалась чисто практическими соображениями: надежда, вызванная обещанием вполне естественного для узников-новичков купанья, усыпляла их подозрительность, предотвращала вспышки отчаяния и даже склоняла к сотрудничеству с убийцами. Так что они добросовестно выполняли приказ обнажиться, понятный в инсценированной охранниками ситуации. А значит, выплескивавшиеся из железнодорожных составов потоки людей отправлялись на смерть нагими потому лишь, что так было нужно для маскировки убийства. Объяснение это представляется самоочевидным настолько, что все историки геноцида принимали его, даже не пробуя отыскать иную причину, которая выходила бы за рамки понимаемого буквально обмана. И все же, утверждает Асперникус, хотя порномахия де Сада была открытым разворотом, а гитлеровский геноцид, организованный на индустриальный манер, до самой последней минуты носил личину административного пуританизма, в обоих случаях жертвы отправлялись на смерть нагими — и сходство это отнюдь не случайно. Неправда? Тогда почему даже самые нищие из нищих, даже еврейская голытьба из галицийских местечек, одетая в заплатанные лапсердаки (а если дело было в лагере и зимой, то в бумажные мешки из-под цемента), кутавшаяся в лохмотья и отрепья, все-таки должна была раздеваться догола перед смертью? Уж их-то, сгрудившихся нагими в ожидании автоматной очереди, призрак надежды никак не мог обмануть. Иначе относились к заложникам и к партизанам, взятым с оружием в руках, — те падали в ров в залитой кровью одежде. Но евреи над могилой стояли нагими. Объяснение, будто немцы, бережливые по натуре, и в этом случае думали лишь об одежде, заведомо ложно, придумано задним числом. Речь шла вовсе не об одежде, которая, кстати сказать,

сплошь и рядом истлевала на складах, сваленная там бесполезными грудями.

Еще удивительнее другое: евреев, плененных в бою — например, повстанцев, — не заставляли обнажаться перед расстрелом. Как правило, и партизанам-евреям позволялось гибнуть одетыми. Нагими умирали самые незащитные — старики, женщины, дети, калеки. Какими явились на свет, такими и шли они в мокрую глину. Убийство было здесь суррогатом правосудия — и любви. Палач представлял перед толпой обнаженных людей, ожидающих гибели, наполовину отцом, наполовину возлюбленным; он должен был покарать их заслуженной смертью, как отец по заслугам наказывает детей розгой, как любовник, зачарованный наготой, расточает ласки. Полно, да разве это возможно? Что общего тут с любовью, пусть даже чудовищно спародированной? Не чистая ли это фантазмагория?

Чтобы понять, почему все было именно так, говорит Асперникус, мы должны обратиться ко второй после этики зла кариатиде нацизма — китчу. Иначе от нас укроется самый последний, спрятанный глубже всего смысл нацистского человекоубийства.

Асперникус так определяет это понятие: не может быть китчем то, что создается впервые; китч — всегда подражание чему-то такому, что некогда излучало сияние подлинности, а после копировалось и вылизывалось, пока не опустилось на самое дно. Это поздняя версия, подобная ремесленной копии знаменитого полотна, исправляемой невежественными эпигонами, которые уродуют рисунок и колорит оригинала, накладывая все больше краски и лака, потрафляя все более неприятным вкусам. Безвкусица самодовольная, кичливая, демонстративная знаменует обычно конец пути; это дешевка, отделанная со всею старательностью, до мельчайших деталей; композиция, окоченевшая навсегда по заданной схеме (тогда как набросок по самому своему существу не может быть китчем, оставляя за зрителем — в отличие от твердо уверенного в себе китча — спасительную возможность доопределения). Так называемый дурной вкус проявляется в китче как непреднамеренный комизм серьезно-торжественных, напыщенных символов. Будучи сутью нацистского стиля, китч проглядывает во всех начинаниях гитлеризма. В архитектуре, к примеру, это монументализм с руками по швам, брюхатые на последнем месяце пантеоны, здания, шантажирующие прохожего своим казенным размахом, с дверями и окнами для гигантов, с изваяниями голых силачей и раздетых

богинь на вахте; весь этот китч должен был вызывать если не ужас, то послушное восхищение по стойке «смирно» и потому высокомерно выставлял себя напоказ, будучи совершенно полным внутри. Архитектурные образцы можно было заимствовать из Древней Греции, Рима, Парижа эпохи Второй империи, но в сфере человекоубийства этому стилю было непросто себя проявить. Имелось немало почтенных стилей, которые можно было раздуть на великодержавный манер, но где было взять образцы для человеческой бойни? На первый план поэтому выступила техническая сторона истребления; индустрия смерти отличалась функциональностью, впрочем, весьма примитивной: не стоило вкладывать крупные средства в технику, коль скоро всюду, где только можно, ее заменяло действие самих убиваемых — те, пока еще жили, сами обеспечивали транспортировку, обыскивание и раздевание трупов. И все же китч проник и в лагеря смерти, в их бараки и крематории; он просочился, хотя никто этого не замышлял, в драматургию конвейерного убийства.

Де Сад, аристократ с деда-прадеда, не заботился о достойной оправе для оргий, которые он громоздил одну на другую: знатность была его естественным состоянием, так что он в соответствии со своим кредо либертина отважно поносил и поганил символы традиционного превосходства аристократов над чернью, не допуская возможности, что кто-то может лишить его наследственных прав; и если бы даже он кончил на гильотине, то и тогда головы лишился бы не кто-нибудь, но маркиз Донат Альфонс Франциск граф де Сад по отцу, а по матери — представитель побочной линии дома Бурбонов. Но нацистское завоевание Германии было делом люмпенов, черни, унтер-офицерских сынов, помощников пекарей и третьеразрядных писак, которые как манны небесной ждали приобщения к элите; и личное участие в резне, да еще постоянное, могло, казалось бы, этому помешать. Какому же образцу могли они следовать? Как и кого изображать из себя, чтобы, ступая по колени в крови, не потерять из виду своих возвышенных притязаний? Путь, наиболее доступный для них, путь китча, далеко их завел — до самого Господа Бога... разумеется, сурового Бога-Отца, а не слюнтяя Иисуса, Бога милосердия и искупления, себя самого принесшего в жертву.

Как же должны предстать подсудимые на Страшном суде? Нагими. И Страшный суд наступил — повсюду была долина Иосафата*. Раздетым жертвам отводилась роль осуж-

* По христианским представлениям — место Страшного суда

денных в спектакле, где все было поддельным, от доказательств вины до беспристрастности судей, — все, кроме конца. Но ложь оборачивалась здесь правдой, ведь им и вправду предстояло погибнуть. А убийцу, оказавшегося единственным вершителем их судеб, переполняли одновременно палаческое вождение и ощущение божественного всемогущества.

Разумеется, если описывать все именно так, нельзя не увидеть, что мистерия, которая день за днем, год за годом разыгрывалась в десятках разбросанных по Европе мест, была тошнотворным фарсом. Конечно, неустоявшаяся драматургия представления менялась, церемония приготовления к казни упрощалась порой до крайнего минимума. Поистине, исполнять роль Бога-Отца в этой пьесе — с ее отвратительными барачными декорациями между рядов колючей проволоки — было непросто; непросто было убивать миллионы и произносить перед их шеренгами речи — весной, летом, осенью, целые годы. Было бы слишком бессмысленно и безнадежно исполнять эту роль без сокращений и отсебятины, следовать ей чересчур пунктуально; убийцы, пресыщаясь все больше, довольствовались уже немногими эпизодами действия, скупыми фрагментами Страшного суда, генеральными репетициями, но непременно с настоящим концом. Уровень исполнения падал, трупы не желали гореть, из могил после их утрамбовки сочилась кровь, летом смрад сжигаемых трупов давал о себе знать даже в удаленных от крематория домиках лагерного персонала, но смерть, по крайней мере, всегда оставалась доподлинной.

Первый том «Геноцида» завершается следующими словами: «Я знаю: тот, кто не участвовал в этих событиях либо в качестве палача, либо в качестве жертвы, мне не поверит и все мои выводы сочтет чистой фантазией. Тем более что жертвы мертвы, а палачи, хотя прошло почти сорок лет, так и не дали нам ни единого, пусть анонимного, воспоминания о резне с описанием своих впечатлений. Чем объяснить такое молчание — столь абсолютное и столь удивительное, если учесть естественное для человека стремление запечатлеть самые сильные или хотя бы только самые крайние ощущения, какие не всякому выпадают на долю? Чем объяснить совершенное отсутствие подписанных хотя бы псевдонимами исповедей, которые в конце концов пришлось заменить литературными апокрифами? Чем, если не безразличием актера к давно уже сыгранной роли? Чита-

тель, мы должны с тобою условиться: актерствовали палачи бессознательно, и было бы верхом нелепости полагать, будто они понимали, что делают, будто они осознанно воплощали образ Всевышнего, карающего заслуженной смертью. Все представление было грандиозным, чудовищным китчем, а первый признак и первое условие китча — то, что для своих творцов он отнюдь не безвкусица; все они свято верят, что творят настоящую живопись, подлинную скульптуру, первоклассную архитектуру, и тот, кто в своем творении разглядел бы приметы китча, не стал бы ни продолжать его, ни заканчивать.

Я утверждаю нечто совершенно иное, а именно: ни в одиночку, ни сообща люди не могут и шагу ступить, не могут перемолвиться словом, не следуя какому-нибудь образцу, или стилю, или примеру. А значит, какой-нибудь стиль и какие-нибудь образцы не могли не заполнить беспримерную пустоту конвейерного умерщвления, и ими оказались самые расхожие образцы, усвоенные еще во младенчестве, — образцы и символы христианства; и, хотя, став нацистами, палачи от него отреклись, это не значит, будто им удалось вычеркнуть его из памяти совершенно. Ни в СС, ни в СА, ни в партийном аппарате не было ведь магометан, буддистов, даосистов; не было там, конечно, и верующих христиан, и в этом кошмарном отступничестве, на лагерных плацах, родился лишь кровавый китч. Что-то должно было заполнить пустоту, лишенную стиля, и ее заполнило то, что палачам приходило на ум мимовольно, почти инстинктивно, как раз потому, что «Mein Kampf», и «Миф XX века», и груды пропагандистских брошюр, вся литература под флагом «Blut und Boden»* не содержали в себе ни единого слова, указания, заповеди, способных хоть чем-то эту пустоту заполнить. Здесь вожди предоставили исполнителей самим себе; так возник этот кощунственный китч. Его драматургия была, разумеется, упрощена до предела, словно бы списана из школьной шпаргалки; она питалась крохами смутных воспоминаний о катехизисе, заимствования из которого оставались неосознанными, автоматическими; уцелели какие-то обрывки представлений о Высшем Правосудии и Всемогуществе, и притом скорее в виде картинок, чем текста.

Мою правоту в этом дознании, где все улики — лишь косвенные, подтверждает и то, что для оккупационных

* Кровь и почва (нем.)

властей не было дела важнее, чем представить убийство осуществлением справедливого порядка вещей. Обычно считается — и сегодня это общее мнение историков нацизма, — что евреи стали навязчивой идеей третьего рейха, идеей, которой Гитлер себе на погибель заразил сначала свое движение, а потом и немецкий народ; что это была мания преследования, принявшая форму агрессии, сущая социальная паранойя: все зло усматривали в евреях, а для тех, кто заведомо к ним не принадлежал и никак с ними связан не был, изобрели этикетку «белый еврей», применявшуюся, при всей ее нелепости, систематически. Отсюда, однако, следует, что вопреки всем догмам нацизма сущностью «еврейства» не была *раса* — этой сущностью было зло; евреи же были признаны воплощением зла в особенно высокой его концентрации. Поэтому они и стали для рейха проблемой номер один, личным делом национал-социализма, а их ликвидация оказалась исторической необходимостью и осуществлялась в качестве таковой. В традиции преследования евреев главное место занимают погромы, но гитлеровцы сами почти не прибегали к ним, разве что непосредственно после прихода к власти, когда нужно было выйти на улицы, увлечь колеблющихся, а рьяным приверженцам предоставить возможность показать себя. Но окрепший нацизм, побеждающий на поле сражений, инициатором погромов был крайне редко; они случались — да и то не всегда, — когда в города, оставленные побежденными армиями, входили передовые немецкие части. Надо думать, нацисты поступали так потому, что погромы — это ведь кровавые беспорядки, которым сопутствуют грабежи и стихийное уничтожение еврейской собственности, то есть *уголовные преступления*; между тем преследование евреев мыслилось не как преступление, но как его абсолютная противоположность — осуществление высшего правосудия. Евреев должно было постичь то, что им полагалось по справедливости и по закону. Это объясняет неодобрение, с которым немцы относились к погромам, их сдержанность в подобных случаях, но не объясняет, почему гитлеровцы, которые были не прочь противопоставить русским партизанам завербованных ими пленных и дезертиров, к примеру власовцев, и которые повсюду в Европе формировали части СС из «нордических добровольцев» — испанцев, французов, голландцев, — никогда не использовали иноплеменников при ликвидации евреев, за исключением особых случаев, вызванных непре-

дусмотренными обстоятельствами или нехваткой на месте собственных сил. И в каждом подобном случае можно документально доказать, что привлечение негерманцев к делу уничтожения было вынужденным. Уже это ясно показывает, до какой степени окончательное сведение счетов с еврейством рассматривалось как «личное дело» немцев, передоверить которое нельзя никому. Наконец, если евреи и направляли в трудлагеря, то только в качестве прелюдии к полному их истреблению; лагеря уничтожения были созданы позже, и притом специально для них.

Известно, что о намерениях инициаторов чего бы то ни было гораздо вернее говорят материальные факты, чем заявления, которые этим фактам предшествуют, или толкования, которые даются им задним числом. Из фактов же, взятых в отвлечении от нацистской доктрины, от пропагандистских стараний Геббельса и его прессы, неопровержимо следует, что «окончательное решение еврейского вопроса» было принято в своей истребительной форме прежде, чем начали рушиться фронты военных сражений; следовательно, смертоубийственное ускорение не объясняется одним лишь желанием завершить истребление раньше, чем кто-нибудь поспеет на помощь истребляемым; и даже с точки зрения самих убийц геноцид вышел за провозглашенные ими категории возмездия или расплаты и стал чем-то большим — их исторической миссией. Что же в конце концов значила эта миссия? Никогда не называемая прямо, она мерцает туманным пятном, в котором сквозь технологию и социографию геноцида просвечивает иудео-христианская символика, но с обратным, убийственным знаком. Как если бы, не будучи в состоянии убить Бога, немцы убили «богоизбранный народ», чтобы занять его место и после кровавой детронизации Всевышнего *in effigie** стать самозваными избранниками истории. Священные символы были не уничтожены, но перевернуты. Итак, антисемитизм третьего рейха в самом последнем счете был только предлогом. Идеологи не были настолько безумны, чтобы буквально приняться за теоцид; в то же время отрицания Бога словом и статьями закона им было уже недостаточно, и, хотя церковь можно было преследовать, уничтожить ее совсем было пока нельзя, время для этого еще не пришло. Под боком, однако, имелся народ, в лоне которого зародилось христианство;

* В изображении (*лат.*); имеется в виду средневековый обычай сжигать изображение преступника, приговоренного к казни заочно.

уничтожить этот народ значило бы полями казней подойти настолько близко к покушению на Бога, насколько это возможно для человека.

Убийство оказывалось Анти-Искуплением: оно освобождало немцев от уз Завета. Но освобождение должно было быть полным; не о том шла речь, чтобы из-под опеки Господней перейти под опеку кого-то, противостоящего Господу. Не жертвоприношением кумиру сатанинского зла должен был стать геноцид, но мятежом, свидетельством абсолютной независимости от неба и от преисподней. И хотя во всей империи никто никогда этого ТАК не назвал, не выраженный в словах надчеловеческий смысл свершавшегося был паролем негласного смертоубийственного сговора. Ненависть к жертвам имела обратной своей стороной привязанность; ее засвидетельствовал эсэсовский командир высокого ранга, который, глядя в окно поезда, мчавшегося по поросшим чахлыми соснами пескам своего округа, сказал спутнику: «Hier liegen MEINE Juden»*. МОИ евреи. Его связала с ними смерть, к которой он был причастен. А исполнителям на самом низу трудно бывало понять, ради чего с матерями должны погибать и дети, поэтому, дабы исправить немедля столь фатальный недостаток вины, они изобретали ее ad hoc. Например, когда мать, только что прибывшая в лагерь, пыталась отречься от собственного ребенка (зная, что бездетных женщин направляют на работы, прочих же — прямо в газовую камеру), за подобное отречение от материнства преступная мать каралась без промедления, а то, что детям, за которых вступался палач, предстояло погибнуть в тот же день, ничуть не портило ему комедию праведного негодования. И пусть не уверяют нас, будто среди охваченных праведным гневом убийц были читатели маркиза де Сада, который за полтора-два лет до того сочинил такие же точно комедии, включая богоубийство in effigie, и что эсэсовцы были всего лишь его плагиаторами. Вступаясь за младенцев, черепа которых они разбивали несколько минут спустя, вступаясь за них в фарсе справедливого воздаяния, шитом такими гнилыми нитками, что тот сразу же разлезался на куски, они, не осознавая того, доказывали свою верность так и не выраженной в словах сущности геноцида как эрзац-эзекуции Бога».

В томе втором своего трактата, озаглавленном «Fremd-körper Tod»**, наш автор решается дать историософический

* Здесь лежат МОИ евреи (нем.)

** «Иностранное тело Смерть» (нем.)

синтез, выходящий за рамки фактографии первого тома, хотя и основанный на ней. Он выводит понятие «вторичной утилизации смерти».

В древности истребление целых народов или этнических групп было неотъемлемой частью правил ведения войны. Христианство положило конец резне, не имевшей иного обоснования, кроме одной лишь возможности ее совершения. Отныне, чтобы убивать, надлежало указать вину убиваемых — например, иноверие, и в средние века так оно чаще всего и было. Средневековье осуществило род симбиоза со смертью как судьбой, уготованной человеку волей Всевышнего; четыре всадника Апокалипсиса, «плач и скрежет зубовой», пляски скелетов, «черная смерть» и «Höllenfahrt»* стали естественными спутниками человеческого существования, а смерть — орудием Провидения, уравнивающего нищих с монархами. Это оказалось возможно как раз потому, что средневековье было совершенно беспомощно перед смертью.

Ни медицинской терапии, ни естественно-научных знаний, ни противоэпидемических конвенций, ни реанимационной аппаратуры — ничего этого не было; ничто не могло противостоять напору смерти или хотя бы позволить принять ее как удел всего живого, ибо христианство резкой чертой отграничило человека от остальной природы. Но как раз высокая смертность, непродолжительность жизни и примирили средневековье со смертью — смерть получила самое высокое место в культуре, устремленной к потустороннему. Смерть была ужасающей тьмой, только если смотреть на нее *отсюда*; созерцаемая *с той стороны*, она оказывалась переходом к вечной жизни — через Страшный суд, который, как он ни страшен, все же не обращает человека в ничто. Такого накала эсхатологических чаяний нам не дано даже отдаленно себе представить; в памятных словах, принадлежащих христианину — «Убивайте всех, Господь узнает своих»**, — которые кажутся нам изощренным кощунством, нашла выражение глубочайшая вера.

Современная цивилизация есть, напротив, движение *прочь* от смерти. Социальные реформы, успехи медицины,

* Сошествие во ад (нем.)

** По преданию, эти слова произнес папский нунций Амальрик Арно во время одного из крестовых походов против еретиков-альбигойцев (в XIII веке)

причисление проблем, которые прежде были сугубо личной заботой (болезнь, старость, увечье, нужда, личная безопасность, безработица), к разряду проблем общественных, — все это *изолировало* смерть; по отношению к ней социальные реформы оставались бессильными, и потому она становилась делом все более *частным*, в отличие от прочих невзгод, которым общество хоть как-то могло помочь. Социальное обеспечение, особенно в «государстве всеобщего благосостояния», сокращало область нужды, эпидемий, болезней, жизнь становилась все комфортабельней, но смерть по-прежнему оставалась смертью. Это выделяло ее среди других составляющих человеческого бытия и делало «лишней» с точки зрения доктрин, которые ставили целью улучшение жизни и которые мало-помалу стали универсальной религией обмирщенной культуры. Тенденция к отчуждению смерти особенно усилилась в XX веке, когда даже из фольклора исчезли ее «одомашненные персонификации» — Ангел Смерти, Курносая или Гость без лица; по мере того как культура из суровой законодательницы превращалась в послушную исполнительницу желаний, смерть, лишенная всякой потусторонней санкции и не принимаемая, как прежде, безропотно, становилась чужеродным в культуре телом, обесмысливалась все больше и больше, поскольку культура, эта заботливая опекунша и поставщик удовольствий, уже не могла наделить ее каким-либо смыслом.

Но смерть, публично приговоренная к смерти, не исчезла из жизни. Не находя себе уголка в системе культуры, низвергнутая с прежних высот, она стала наконец прятаться и дичать. Вновь освоить ее, вернуть ей прежнее место общество могло одним только способом: узаконив и регламентировав ее. Но напрямик, в открытую, этого нельзя было объявить, и потому убивать следовало не во имя возвращения смерти в культуру, а во имя добра, жизни, спасения, и именно этот подход был возведен нацизмом в ранг государственной доктрины. Автор напоминает здесь о горячих спорах, которые в Соединенных Штатах вызвала книга Ханны Арендт «Эйхман, или О банальности зла». Участники этой дискуссии утверждали, что «каждый человек сознает в душе святость жизни» (Сол Беллоу), а «чудовищное преступление может совершить лишь чудовище» (Норман Подгорец) и потому нельзя приравнивать ужас нацизма к банальности. По мнению Асперникуса, заблуждались все диспутанты: сведя проблему к делу Эйхмана как квинтэс-

сенции злодеяний нацизма, они не могли ее разрешить. Эйхман, подобно большинству креатур третьего рейха, был исполнительным и усердным бюрократом геноцида, но до этого его довела не только сознательная слепота карьериста, одного из партийных чиновников, соперничающих между собой в додумывании до конца неконкретизированных указаний фюрера. Доктрина, считает Асперникус, была банальна, банальны могли быть ее исполнители, но не источники, лежащие вне нацизма и вне антисемитизма. Спор увяз в частности, безразличных для правильного диагноза народоубийства XX века.

Обмирщенная цивилизация направила человеческую мысль по пути натуралистических поисков «виновников зла», притом любого. Потусторонний мир был аннулирован и на эту роль уже не годился, но отвечает же кто-то — *ибо кто-нибудь должен ответить* — за все мировое зло. Значит, надо обнаружить и указать виновника. В средневековье достаточно было сказать, что евреи распяли Христа; в XX веке этого уже не хватало — виновные должны были отвечать за любое зло. Для расправы с ними Гитлер воспользовался дарвинизмом, учением, которое увидело последний, окончательный, выведенный за пределы культуры смысл смерти как обязательного условия эволюции в природе. Гитлер понял это по-своему, искаженно и плоско, как заповедь и как образец, посредством которого Природа (он называл ее Провидением) оправдывает и даже прямо предписывает выживание сильных за счет слабых. Он, как и многие примитивные умы до него, «борьбу за существование» понял дословно, хотя в действительности этот принцип не имеет ничего общего с физическим истреблением хищниками своих жертв (эволюция возможна только в условиях относительного равновесия между более и менее агрессивными видами: при полном истреблении слабых хищники вымерли бы от голода). Нацизм, однако, вычитал у Дарвина то, чего жаждал, — сверхчеловеческое (а значит, все-таки не потустороннее) отождествление убийства с самой сутью всемирной истории. Воспринятый в таком искаженном виде принцип борьбы за существование аннулировал этику как таковую, выдвинув взамен право сильного, последним выражением которого служит исход борьбы не на жизнь, а на смерть. Чтобы сделать еврейство достаточно страшным врагом, надлежало раздуть его мировую роль до абсурда; вот где лежат истоки паралогического мышления, которое привело к тотальной демонизации еврейства.

Это потребовало от нацистов поистине немалых усилий, так как противоречило повседневному опыту немцев, ведь евреи жили среди них столетиями и, как бы ни были они плохи — даже если допустить обоснованность антисемитских предубеждений, — все-таки не заслуживали всеожжения вместе с неродившимися еще младенцами, не заслуживали костров, рвов, печей и мельниц для размола костей; это было бы не только чудовищно, но к тому же совершенно абсурдно. Все равно как если бы в педагогике появилась теория, предлагающая убивать детей, которые прогуливают уроки или крадут у товарищей. Итак, даже с точки зрения традиционного антисемитизма евреи, безусловно, не заслуживали полного истребления. Подтверждается это и тем, что возрождающиеся неонацистские движения не только не включают в свою программу истребление евреев, но и не признают, что их предшественники в третьем рейхе задумали и осуществили такое истребление. Эти движения либо ограничиваются общими антисемитскими фразами, либо отводят антисемитизму второстепенное место в своих программах — в качестве «носителей мирового зла» евреи уже не котируются. Согласно антисемитизму сорока- или пятидесятилетней давности евреи несли вину «за все», от капитализма до коммунизма, от экономических кризисов и нужды до упадка нравственности; теперь каждый, не задумываясь, назовет множество бед, которых никто не объясняет еврейскими происками (отравление биосферы, перенаселение, энергетический кризис, инфляция и т.д.). Итак, антисемитизм «обесценился», он не исчез, но утратил былую способность объяснять любые общественные беды. Асперникус во избежание недоразумений подчеркивает, что антисемитизм теряет свое значение не абсолютно, а только в историческо-софской перспективе: на роль козла отпущения, отвечающего за все, в послегеноцидную эпоху евреи уже не годятся.

Что же стало потом? Потом разыскание виновников «всяческого зла» вступило в фазу окончательной атомизации. После утраты веры в универсальную правду Всевышнего, после крушения веры в универсальное зло мирового еврейства был сделан еще один шаг, последовательный и последний. Безапелляционность в установлении виновников зла достигает предела. Виновником может быть признан каждый.

В самом широком историческо-софском плане, пишет Асперникус, мы наблюдаем многовековой процесс отчуждения

смерти в гедонистической, реформаторской и прагматической культуре. Страх перед смертью, лишившейся прав гражданства, нашел выражение в законодательстве — в виде исключения смертной казни из уголовных кодексов тех государств, которые дальше всего зашли на этом пути. И еще — в противоестественной и лишь на первый взгляд странной медицинской практике, когда врачи отказываются отключать от реанимационной аппаратуры умирающих, а фактически — трупы, внешние признаки жизни которых поддерживаются благодаря перекачиванию в них крови. В обоих случаях никто не желает принять на себя ответственность за смерть. За декларациями об уважении к жизни кроется страх, причина которого — ощущение незащищенности, беспомощности, а значит, ужасающей тщетности жизни перед лицом смерти. Этой беспомощности, этому страху перед умерщвлением соответствует такое возрастание ценности человеческой жизни, что правительства уступают шантажу, если на карту поставлена жизнь заложников, кто бы они ни были. Процесс зашел далеко, коль скоро правительства, вменяющие себе в обязанность соблюдать закон, нарушают его, если это дает надежду спасти кого-либо от смерти; и процесс этот ширится, он затронул уже международное право и даже священный с незапамятных времен иммунитет дипломатических представительств. А оптимизм и стремление к безграничному совершенствованию жизни побуждают культуру, убежденную в своем техническом всемогуществе, попытаться реализовать воскрешение; и хотя специалистам известно, что «обратимая витрификация», то есть замораживание человека с надеждой на его воскрешение в будущем, невозможна (по крайней мере, пока), тысячи богатых людей соглашаются на замораживание и консервацию собственных трупов в жидком азоте. Все это, замечает Асперникус, примеры чудовищной юмористики в эсхатологии, полностью обмирщенной. Общество охотно принимает к сведению, что человек сотворен не Богом, но Добрыми Космическими Пришельцами, что зародыш цивилизации хранило не Провидение, но Заботливые Праастронавты со звезд, что не ангелы-стражи, а летающие тарелки парят над нами, следя за каждым нашим шагом, что не преисподняя разверзается под ногами проклятых, но Бермудский треугольник, — и оно не менее радо услышать, что жизнь можно запросто продлевать в холодильнике, а заботу о приятной и долгой жизни следует предпочесть упражнению в добродетели.

И наконец, все больше делается попыток так подправить, переиначить и подсластить сырую, необработанную смерть, чтобы ее можно было освоить неметафизически и сделать пригодной для потребления. Отсюда спрос на эффектную смерть, на убийство и на агонию, поданные крупным планом, спрос на акул-людоедок, на грандиозные землетрясения и пожары, на оживление с экрана сцен реального геноцида («Holocaust»*), отсюда поток садистской литературы и коммерческая эксплуатация сексуальных извращений, почти неотличимых от смертных мук, отсюда же цепи, кандалы и орудия для бичевания, весь этот реквизит псевдосредневековых застенков, популярный на американском потребительском рынке, отсюда, наконец, превращение как нельзя более реального риска смерти в ходовой товар — готовность героев на час, рискуя жизнью, заработать на жизнь. И отсюда же популярность псевдонаучной литературы, наплодившей тьму книжек с экспериментальными доказательствами посмертной жизни, да так, что эти писания вступили в конфликт с церковной ортодоксией, которая не очень-то ясно представляет себе, как быть со столь непрошеным и столь сомнительным подкреплением. Последовательным этапам изгнания смерти из культуры Запада уделялось меньше внимания, чем ее коммерческому освоению; исследований дождалась наивные и броские ухищрения похоронной косметики и сценографии, но скальпель аналитической мысли, временами на удивление острый, не создал целостной историософской картины пути, который прошла цивилизация в своем противоборстве со смертью, — смертью, лишенной санкции свыше и загадочного назначения, некогда примирявшего ее с жизнью. Нам непонятно происхождение таких современных явлений, как терроризм или религиозное сектантство, поскольку эмпирические исследования, обычные в социологии и психологии (включая психологию веры), будучи наблюдениями, по сути своей, рациональными, довольствуются тем, что можно увидеть, сфотографировать, выжать из показаний свидетелей или подсудимых, и потому освещают лишь крохотные участки этих общественных бедствий. Уткнув нос в бумаги, не учуешь смысла написанного. Если хочешь понять Ниагару, повернись к ней спиной и взгляни на солнце — это оно опять поднимает в небо воду, низвергающуюся со скал.

* Многосерийный американский телефильм о геноциде евреев в гитлеровской Германии.

Именно здесь автор вводит понятие вторичной утилизации смерти.

Вот уже сто тысяч лет, как человек понял свою обреченность на смерть, о чем свидетельствуют могилы, восходящие именно к этому времени. Такой была первая попытка ритуализации смерти, и сменявшие затем одна другую культуры отводили ей высокое место в иерархии ценностей. Чем рациональнее становилась цивилизация, тем бесхознее становилась в ней смерть, с которой нельзя уже было ни по-настоящему примириться, ни реально отречься от нее. А культура тем временем из самодержавной законодательницы превращалась в послушную опекуницу, все нерешительнее оберегала собственную ортодоксию и шаг за шагом позволяла своим подопечным исполнять какие угодно прихоти, не исключая последней — выхода из культуры, отрицания ее норм. Но прежде чем хлынул поток субкультурных изобретений, одно чуднее другого, прежде чем Десять заповедей совершенно истлели, всеми покинутую территорию, отведенную смерти в средиземноморской культуре, смог захватить не самовластный в своих желаниях индивид, но лишь такой могущественный суверен, как государство; захватить, чтобы сделать ее орудием самовозвеличения. Но даже оно еще не могло решиться на это в мирное время и совершенно открыто. Развязанная этим государством война стала прикрытием и пособником геноцида, а за линией фронтов, отрезавших рейх от остального мира, возникла машина массового истребления. Таким был первый акт восстановления смерти в правах.

В годы послевоенной реконструкции развелось великое множество субкультур, особенно молодежных, оригинальных своей неоригинальностью; как бы играя, не слишком всерьез, они обращались к забытым обычаям, нравам, одежде — как к театральному реквизиту со склада истории. За этими «мягкими» изобретениями по части образа жизни рано или поздно должны были последовать «жесткие», ведь люди всегда доводят до логического конца открывающиеся перед ними возможности. Возможность использовать смерть как отличительную примету такой субкультуры в наше сумбурное, крикливое время казалась закрытой, и вот почему. Можно играть в робинзонов и дикарей, но не в убийц: играть в такую игру, если убийства требовались настоящие, не позволяла даже вседозволяющая культура; и, что, пожалуй, еще существеннее, убийство, даже бескорыстное, превратило бы его исполнителей в *уголовников*.

Прежнее место смерти в культуре было невоскресимо — невозможна была ни религиозная демонстративность костров инквизиции, ни принесение богам человеческих жертв, как у инков, ни выставленное напоказ бешенство берсеркеров — кровожадное и оргиастическое. Эти пути были заказаны, канули в небытие вместе с верами, надеждами смыслом такую смерть. Но и внерелигиозное убийство было недоступно как просто убийство; наш промышленный век любой поступок встречает вопросом «ЗАЧЕМ?», и каждый, кто не хочет быть причислен к душевнобольным, должен ответить на него осмысленно и толково. Коль скоро новый экстремизм не имел религиозной санкции смерти (можно выдумать религию по заказу, но нельзя в нее по заказу уверовать), а убийство, религией не освященное, поставило бы экстремистов на одну доску с заурядными головорезами, оставалось одно: окрестить убийство *осуществлением правосудия*. Но эту палаческую формулу третьего рейха невозможно было скопировать вместе с *тайностью* «окончательного решения»; ведь тогда, в наш век освободительных движений и войн, убийства экстремистов стали бы невидимы, как Ниагара, погруженная в океан. Поэтому то, что прежде могло совершать только государство и только тайно, они взялись совершать явно. А сходство между терроризмом и гитлеризмом в том, что убийцы опять провозгласили себя справедливыми судьями. Но суд, каков бы он ни был, не от собственного имени действует, а во исполнение воли высших инстанций; так что надо было создать *видимость* верховной инстанции, неподвластной традиционным нормам — религиозным, психиатрическим или бандитским. Следовало объявить себя орудием чего-то большего и более высокого, чем они сами; это ясно показывает «*частичность*» названий, которые все они дали своим группировкам («ФРАКЦИЯ Красной Армии», а значит, не армия в целом, значит, это целое существует само по себе; «Первая Линия», а значит, есть еще какие-то линии, какие-то резервные части; «Красные Бригады», а значит, опять-таки только подразделения какой-то *большой*, чем они сами, армии).

Еще им требовался противник — чем могущественнее, тем лучше; иметь нешуточного врага — уже нешуточное отличие. Отдельные представители капитала были противником недостаточно видным, к тому же требовалась мишень более четкая, нежели социально-экономическая система, размытая по целому свету. Вот почему их выбор пал на го-

сударство, но не на материальные его институты, и не в качестве ниспровергателей таковых они выступили, ведь речь, напомним, шла о том, чтобы убивать, а не о разрушении неодоушевленных символов либо центров государственности. Но только однажды им удалось добраться до наивысшего рангом политика — в Италии; а затем, после усиления охранительных мер, когда столпы государственной власти стали для них недостижимы, террористы удовлетворялись второстепенными жертвами, только бы можно было инкриминировать им причастность, хотя бы косвенную, к государственной власти, а если нет, то какое-либо — безразлично какое — участие в руководстве чем бы то ни было или в защите существующего порядка, на худой конец, причастность к системе всеобщего образования, которую тоже можно заклеить как одну из опор государства. Итак, если исходить из предпосылок терроризма, заданных исторической ситуацией, не забывая, что речь шла об убийстве под маской долга, самопожертвования и справедливого гнева, то логика рассуждений, независимая от фактографии убийств, ведет нас именно к ней вместе с такими ее тактическими подробностями, как стремительное снижение высоких поначалу палаческих притязаний, выбор все более скромных по своему социальному рангу жертв.

Что же до идеологии, она была изготовлена из того, что нашлось под рукой. И даже названия, о которых шла речь, украдены у левых течений. Так как революция была окружена возвышенным ореолом, героем дня стал бескомпромиссный революционер, его образ, словарь и жесты присвоили те, кто сделал своим орудием смерть. Смерть, ставшую в гедонистической цивилизации чужеродным телом. Цинизм, вторичность и явная смехотворность этих кое-как состряпанных обоснований террора заметны лишь с точки зрения исследователя-наблюдателя. Само движение не ощущало себя ни циничным, ни лицемерным, ни, самое главное, ПЕРЕОДЕТЫМ в одежды истинного борца за переустройство мира. Правда, своему противнику — государству — оно вменяло в вину фашистскую сущность, гестаповские приемы и гитлеровские традиции, а себя помещало слева от коммунистов, полагая себя *plus catholique que le pape**; вот что особенно сбивало с толку наблюдателей, которые принимали всерьез если не обоснованность этих обвинений, то, во всяком случае, их искренность. Ну что же, движение отлича-

* Правовернее папы римского (фр.)

лось от своего предшественника по бескорыстным убийствам, поскольку действовало в иных условиях. Оно не унаследовало нацистского китча, ведь в подполье нет парадов, зданий, канцелярий, официального церемониала; все это возмещалось, однако, ореолом могущества вокруг террористов-подпольщиков, который поспешили создать вопящие истерическими голосами газеты, радио, телевидение. Впрочем, если уж стремиться к генеалогической точности, нацизм, предшественник терроризма, не был его источником; источник и того, и другого гораздо глубже: смерть, принимаемая с холодной решимостью, отождествленная с долгом, благодаря процедуре вторичной утилизации возвращала себе почетное место в культуре; отлученная от нее, она вернулась опять.

В тоталитарном государстве, где все человеческие дела стали государственным делом, только верховная власть имела право выбора жертвы. В государстве огромных личных свобод самозванные ликвидаторы зла свободны в его распознавании и преследовании. Такая зависимость объясняет родство обоих явлений: их роднит отпущение убийцами собственных грехов. И тотальное подчинение авторитетам, и тотальное отрицание всякого подчинения сбрасывают со счетов совесть, по-разному приводя все к той же кровавой развязке.

Но сходство между ними, показывает Асперникус, этим не ограничивается. Терроризм, для которого главное — не революция, а экзекуция, заимствует у левых лишь то, что может ему пригодиться в качестве фигового листка, вычеркивая и опуская все, что затрудняет или исключает убийство как способ существования. Будущее, которое требует человеческих жертв, для него такая же охранная грамота, какой для нацизма была идея тысячелетнего рейха. Террористы, вышедшие из движения и утратившие организационную связь с ним, одновременно утрачивают понимание мотивов своей яростной многолетней активности, и слушателям, которые с затаенным дыханием ожидают сенсаций, сообщают горсточку сплетен о лидерах, сплетен не менее заурядных, чем откровения о скудоумных «Tischgespräche»* Гитлера в кругу его ближайших соратников. «Но Гитлер, — замечает здесь автор, — покончил самоубийством до ареста». Ожидания тех, кто жаждет посвящения в тайну, напрасны: как передать состояние духа, в котором можно со

* Застольные беседы (нем.).

спокойной совестью убивать? Ведь тайна кроется в дозволенности убийства, а не в умах убийц. Поэтому все здесь может быть тривиальным и сметанным на скорую руку; пример тому — старания (нацистов и террористов) избежать экзекуций на месте, поскольку убийство на месте — типично уголовный обычай, а речь шла об убийстве санкционированном. Поэтому обреченных на смерть везли к месту казни, если только они не сопротивлялись, что казнящим очень не нравилось: сопротивление означает неуважение к правосудию, а террористы даже больше нацистов заботятся о формах законности в судопроизводстве и вынесении приговора — им, лишенным авторитета государственной власти, приходится самим утверждать собственный авторитет. Но выбранные ими жертвы ни разу не были судимы по-настоящему, самая тяжкая их виновность всегда известна заранее. В этой непогрешимости терроризм не уступает Ватикану человекоубийства, каким хотел стать нацизм. Никакие убеждения и призывы, никакие мольбы, никакие ссылки на человеческую солидарность, на любые смягчающие обстоятельства, никакие просьбы о милосердии, никакие доказательства бессмысленности или хотя бы практической неэффективности убийства не собьют палачей с толку, ведь в их распоряжении имеется машина для доказательств, согласно которой умеренность и милосердие — вещи не менее подлые, чем антиэкстремистское законодательство и охранительные репрессии. Мотивационная броня террористов достигает предела непробиваемости, при котором любое поведение противной стороны лишь подтверждает ее виновность. Только этим можно объяснить и превосходное самочувствие, которое бывшие эсэсовцы демонстрируют на своих ежегодных съездах, и веру уцелевших гайанских сектантов в харизму их чудовищного пророка, веру, не поколебленную кошмаром самоистребления секты*.

Любое оппозиционное движение, внешне похожее на псевдополитический экстремизм, пусть даже оно имеет все основания для борьбы против совершенно реального угнетения или эксплуатации, невольно играет на руку фальсификаторам, преподносящим убийство как орудие борьбы за правое дело, — поскольку усиливает путаницу в оценке со-

* Имеется в виду секта «Народный храм», основанная в Сан-Франциско проповедником Д.Джонсом; впоследствии переселилась в Гайану. В 1978 году почти все члены секты, включая Джонса, покончили с собой или были убиты телохранителями Джонса. Из более чем тысячи в живых осталось несколько человек.

бытий и мешает (а то и просто не позволяет) отличить вину-предлог от настоящей вины; впрочем, кто и где в этом мире невинен безусловно, как ангел? Так начинается соревнование в мимикрии, поражающее своей эффективностью. Вымышленное оправдание неотлично от подлинного, и причиной тому не столько совершенство игры актеров-имитаторов, сколько не вполне чистая совесть общества, породившего послевоенный терроризм.

В конечном счете убийственную агрессию отражают убийственные репрессии, полиция сперва стреляет, а уж потом идентифицирует личность убитого; демократия, защищаясь, в какой-то степени вынуждена отказываться от себя самой, так что экстремизм с его мистифицированными оправданиями провоцирует наконец такую реакцию, которая превращает фальсифицированное обвинение в обоснованное. Прагматически зло оказывается эффективней добра, коль скоро добро должно изменять себе, чтобы сдерживать зло. Выходит, в этом противоборстве нет непогрешимой победной стратегии, и добродетель побеждает постольку, поскольку уподобляется противостоящему ей пороку.

Итак, урок, преподанный нашей эпохе нацизмом, не забыт. Можно силой сокрушить преступное тоталитарное государство, как был сокрушен третий рейх, и тогда вина испаряется, рассыпается как песок, обличенные виновники съеживаются и исчезают — кроме горстки главных конструкторов геноцида и наиболее рьяных исполнителей, забрызганных кровью; но этот посев, рассыпаясь, не гибнет. Процесс непрестанного расширения круга виновных нашел свое логическое завершение. Эсхатологический цикл XX века от лагерей насильственных мук дошел до лагеря добровольного самоубийства. На этом последнем этапе казнящие слились с казимыми, тем самым доказывая, что виновен каждый; исходная ситуация беспомощности повторилась, ибо воплощенное в этих побегах зла наследие былых преступлений уже нельзя побороть способом столь беспощадно простым, как свержение тирании. Историк и антрополог Хорст Асперникус, доктор философии, имя которого заставляет вспомнить другого Хорста*, в заключение своего труда не предлагает нам панацеи против эндемии нигилизма; он считает, что выполнил свою задачу, вскрыв ужасную связь между злокачественной опухолью геноцида и ее метастаза-

* Хорста Весселя, героя нацистского гимна.

ми в лоне европейской цивилизации. Как бы ни были спорны его выводы, какое бы сильное сопротивление ни вызывали они, нельзя пройти мимо них равнодушно. Боюсь, что эта попытка включить нацизм в систему средиземноморской культуры, отказ видеть в нем диковинное исключение и сплошной кошмарный эксцесс, войдет в канон знаний о современном человеке, даже если подвергнутая патологоанатомическому исследованию чума дождетя наконец своих терапевтов.

Вопрос, которому посвятил свой двухтомный труд Асперникус, это, как говорит он сам, вопрос о месте смерти в культуре. Предвидеть, как оно будет меняться в дальнейшем и к чему такие изменения приведут, труднее всего; циклический процесс завершил свой круг: зло побывало везде, где только можно вообразить, и нигилистическая игра, начавшаяся с паранойи нацизма, дошла до логического конца, до мании коллективного самоубийства. Что остается еще человечеству в области зловещих свершений? Какие еще придумает оно игры со смертью — то прячущей свое лицо под вуалью, то завлекающей кровавым стриптизом? Этот вопрос без ответа завершает «Историю геноцида».

Роман «НАСМОРК» — первая публ.: Lem S. Katar. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.

Первая публ. на рус.яз. (в пер. С.Ларина, В.Чепайтиса) в журн. Знамя, 1978, № 4-5.

Роман переведен на тринадцать языков.

Сборник рецензий на несуществующие книги «АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА» вышел отдельным изданием в 1971 г. (Lem S. Doskonała próżnia. Warszawa: Czytelnik, 1971). Во II издании (в кн. Lem S. Doskonała próżnia; Wielkość urojona. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974) он был дополнен псевдорецензией «Non serviam» («Не буду прислуживать»).

Сборник предисловий к несуществующим книгам «Мнимая величина» вышел отдельным изданием в 1973 г. (Lem S. Wielkość urojona. Warszawa: Czytelnik, 1973).

В дальнейшем сведения о публикациях произведений, вошедших в сборники, опускаются, если текст впервые опубликован в одном из вышеуказанных изданий.

«АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА»

«Абсолютная пустота» — первая публ. на рус.яз. (в сокр. пер. З.Гессен, под загл. «Идеальный вакуум») в журн.: Иностранная литература, 1975, № 3.

«Робцзонады» — первая публ. в журн.: Nurt (Poznań), 1970, № 7.

Первая публ. на русском языке (в пер. В.Кулагинной-Ярцевой) в журн.: «Если», 1993, № 8.

«Гигамеш» — первая публ. в журн.: Nurt, 1970, № 5.

Первая публ. на рус.яз. (в сокр. пер. З.Тренко) в журн.: Наука и техника (Рига), 1974, № 1.

«Сексотрясение» — первая публ. в журн.: Szpilki (Warszawa), 1970, № 6.

Первая публ. на рус.яз. (в пер. К.Душенко) в журн.: Химия и жизнь, 1988, № 3.

«Группенфюрер Луи XVI» — первая публ. в журн.: Nurt, 1970, № 9.

Первая публ. на рус.яз. (в пер. Е.Вайсброта) в кн.: Антология. Библиотеска советской фантастики, т.15. М., 1973.

«Ничто, или Последовательность» — на рус.яз. публикуется впервые.

«Перикалиписис» — первая публ. на рус.яз. (в пер. З.Тренко) в журн.: Наука и техника, 1973, № 7. Имеются три русских перевода.

«Идиот» — первая публ. в журн.: Nurt, 1970, № 11.

Первая публ. на рус.яз. (в пер. К.Душенко) в журн.: Студенческий меридиан, 1989, № 10.

«Сделай книгу сам» — первая публ. на рус.яз. (в пер. Т.Казавчинской под загл. «Пишите книги сами») в журн.: Вопросы литературы, 1979, № 4.

«Одиссей из Итаки» — первая публ. в журн.: Nurt, 1970, № 12.

Первая публ. на рус.яз. (в сокр. пер. Л.Хохлова) в журн.: Знание — сила, 1972, № 2.

«Ты» — на рус.яз. публикуется впервые.

«Корпорация «Бытие»» — первая публ. на рус.яз. (в пер. Е.Вайсброта, под загл. «Предприятие «Быт»») в журн.: Техника — молодежи, 1972, № 7. Имеются три русских перевода.

«Культура как ошибка» — первая публ. в журн.: Nurt, 1970, № 6.

Первая публ. на рус.яз. (в пер. Л.Векслер) в кн.: Лем С. Избранное. М., 1976.

«О невозможности жизни»; «О невозможности прогнозирования» — первая публ. на рус.яз. (в сокр.пер. Л.Сапожникова, под загл. «О книге Бенедикта Коуски «Предисловие к автобиографии»») в журн.: Наука и техника, 1971, № 9. Имеются четыре русских перевода, в том числе под загл. «Еще одна рецензия».

«Не буду прислуживать» — первая публ. Lem S. Bezsenność. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971.

На русском языке публикуется впервые.

«Новая Космогония» — первая публ. на рус.яз. (в пер. Л.Векслер) в кн.: Лем С. Избранное. М., 1976.

Книжные издания «Абсолютной пустоты» выходили на пяти языках.

«МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА»

«Предисловие» — на русском языке публикуется впервые.

«Некробици» — первая публ. на рус.яз. (в пер. К.Душенко) в журн.: Химия и жизнь, 1992, № 5.

«Эрунтика» — первая публ. на рус.яз. (в пер. Е.Невякина) в журн.: Нева, 1975, № 7.

«История бит-литературы» — на русском языке публикуется впервые.

«Экстелопедия Вестранда» — первая публ. на рус.яз. (отрывок, в пер. Л.Вайнер) в журн.: Химия и жизнь, 1978, № 1. Полный перевод К.Душенко в кн.: Лем С. Маска. М., 1990.

«Голем XIV» — первая публ. на рус.яз. (в пер. О.Бондаревой) в кн.: Сборник НФ. М., 1980, вып.23.

«Голем XIV» впоследствии вышел отдельным изданием, почти вдвое превышающим по объему публикацию в составе «Мнимой величины» (Lem S. Golem XIV. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981) Были добавлены «Лекция XLIII: О себе» и «Послесловие», в настоящее издание не включенные, однако исключены «Предупреждение» и «Памятка».

Книжные издания «Мнимой величины» выходили на трех языках.

«ПРОВОКАЦИЯ» — первая публ. в журн.: Odra (Wrocław), 1980, № 7-8. Книжная публ. Lem S. Prowokacja. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984.

Первая публ. на рус.яз. (в сокр. пер. Р.Нудельмана) в журн.. Двадцать два (Иерусалим), 1985, № 43-44. Перевод К.Душенко впервые был опубликован в журн.: «Дружба народов», 1990, № 12.

К.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

НАСМОРК. Роман. Перевод С.Ларина и В.Чепайтиса	5
АБСОЛЮТНАЯ ПУСТОТА	
Абсолютная пустота. Перевод К.Душенко	140
Робинзонады. Перевод В.Кулагиной-Ярцевой	145
Гигамеш. Перевод К.Душенко	160
Сексотрясение. Перевод К.Душенко	171
Группенфюрер Луи XIV. Перевод Е.Вайсброта	177
Ничто, или Последовательность. Перевод В.Кулагиной-Ярцевой	191
Перикалиписис. Перевод К.Душенко	200
Идиот. Перевод К.Душенко	205
Сделай книгу сам. Перевод Т.Казавчинской	213
Одиссей из Итаки. Перевод К.Душенко	218
Ты. Перевод В.Кулагиной-Ярцевой	226
Корпорация «Бытие». Перевод К.Душенко	231
Культура как ошибка. Перевод Л.Векслер	239
О невозможности жизни; О невозможности прогнозирования. Перевод К.Душенко	252
Не буду прислуживать. Перевод К.Душенко	272
Новая Космогония. Перевод К.Векслер	297
МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА. Перевод К.Душенко	
Предисловие	326
Некробия	335
Эруптика	342
История бит-литературы	355
Экстелопедия Вестранда	380
Голем XIV	397
ПРОВОКАЦИЯ. Перевод К.Душенко	453
Библиографическая справка. К.Д.	491

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 10 ТОМАХ
Т. 10

Редактор *В.В.Петров*
Художественный редактор *В.С.Любаров*
Технический редактор *А.Р.Кашафутдинова*
Корректоры *Т.В.Калинина, Н.М.Пущина*

Лем С.

Л44 Насморк: Роман. Абсолютная пустота. Мнимая величина. Провокация: Эссе. Собр. соч. в 10 тт. Т.10. — М.: Текст, 1995. — 494 с.

ISBN 5-87106-063-3

Л 4703010100-041 подп.
95

84.4П

Лицензия № 063402 от 26.05.94
Подписано в печать 15.02.95. Формат 84x108/32.
Усл.печ.л. 26,04. Уч.-изд.л. 28,84.
Тираж 80 000 экз. (1-й завод 1—25 000 экз.)
Изд. № 168. Заказ № 6288

Издательство «Текст»
125190, Москва, А-190, а/я 89

Книжная фабрика № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл.,
ул. Тевосяна, 25

Издательство «Текст»

**ГОТОВИТ два дополнительных тома
к собранию сочинений
СТАНИСЛАВА ЛЕМА
в 10 томах**

В 1-й дополнительный том войдет ранний роман Лема «Магелланово облако». Этот фантастико-приключенческий роман на русском языке печатался с сокращениями и не переиздавался тридцать лет. «Текст» впервые публикует полный его вариант.

Во 2-м дополнительном томе будет напечатан первый и до сих пор не переводившийся на русский язык роман «Больница Преображения» (1948 г.), действие которого происходит в психиатрической больнице во времена гитлеровской оккупации. В этот же том включен фантастический роман «Фиаско» (1986 г.) — последнее крупное произведение Станислава Лема.

**По вопросам приобретения
обращаться в Информационный центр
издательства «Текст» по адресу:**

**125183 Москва, проезд Черепановых, д.56
Телефоны: (095) 156 86 70, 154 30 40**

**Представительство в С.-Петербурге:
(812) 356 80 29**

**Наложенным платежом книги
не высылаются**

S T A N I S Ł A W

L E M

